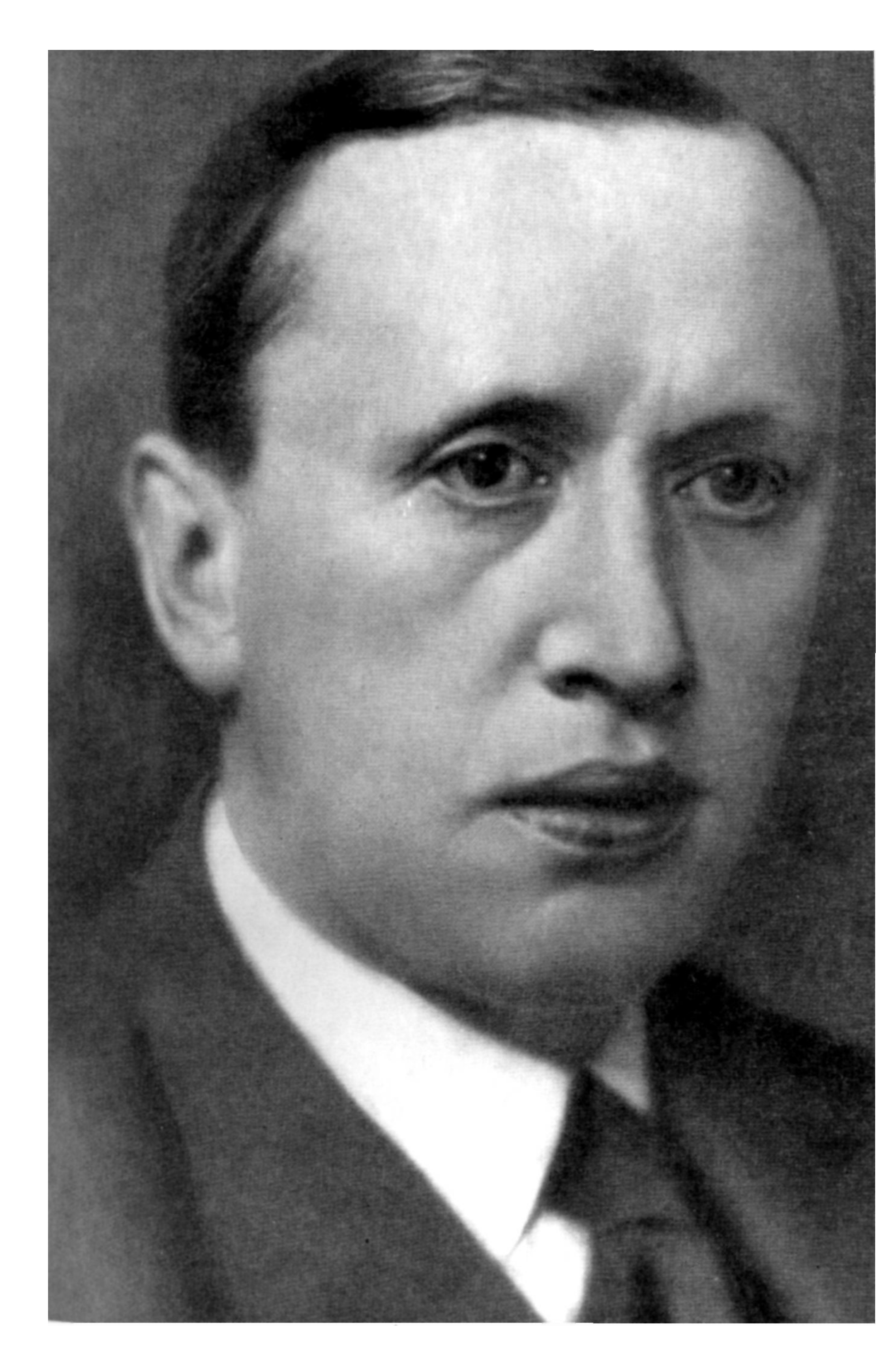
Карел Чапек







МОСКВА «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1975

Карел Чапек

Собрание сочинений в семи томах

С иллюстрациями
Карела и Иозефа Чапеков

Редакционная коллегия:
Н. Л. АРОСЕВА, О. М. МАЛЕВИЧ,
С. В. НИКОЛЬСКИЙ, Б. Л. СУЧКОВ

Москва «Художественная литература» 1975

Карел Чапек

Собрание сочинений

Том третий

Романы

Перевод с чешского

Москва «Художественная литература» 1975

И (Чехосл)
Ч 19

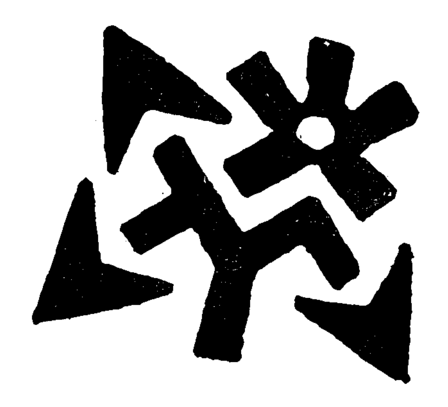
Комментарии
И. Бернштейн

Оформление художников
Л. Шумилиной и Л. Рабичева

Ч $\frac{70304-024}{028(01)-75}$ подписное

Гордубал

Перевод
Ю. МОЛОЧКОВСКОГО



Хотя эта история в некоторых частностях отражает подлинное происшествие, в целом она является вымышленной. Автор не хотел изображать в ней конкретных людей и события.

Часть первая

I

Вот тот пассажир, второй от окна, в измятом костюме: кто скажет, что это американец? Чепуха, американцы не ездят в пассажирском, только в экспрессах, да и то им кажется медленно; вот в Америке поезда не чета нашим, вагоны куда длинней, и белоснежный уэйтер[1] разносит воду со льдом и айскримы[2], слыхали? «Алло, бой! — гаркнет американец. — Подай пива, пива на всех, заплачу хоть пять долларов, дэм!»[3] Да что говорить, братцы, в Америке — вот где житье!

Пассажир, второй от окна, дремлет, усталый, потный, разинув рот, и голова у него мотается, как неживая. Господи боже, вот уже одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать дней; пятнадцать дней и ночей сидеть на чемодане, спать на полу или на скамейке, не умывшись, одеревенев, ошалев от грохота машин; это уже пятнадцатый день; хоть бы ноги вытянуть, подложить под голову сена и спать, спать, спать...

Толстая еврейка у окна брезгливо отодвигается в угол. Заснет еще да повалится на меня, как мешок; кто его знает, что за человек — вид у него такой, словно в одежде на земле валялся; чудной ты какой-то, пересесть бы подальше, ах, боже, скорей бы доехать...

---

[1] официант (от *англ.* waiter).
[2] мороженое (от *англ.* ice-cream).
[3] проклятье! (от *англ.* damm)

Второй от окна пассажир клонится вперед и, дернувшись, просыпается.

— Ну и жара, — осторожно завязывает разговор старичок, похожий на лавочника. — Далеко едете?

— В Кривую, — с трудом произносит «чудной» попутчик.

— Так, так, в Кривую, — благосклонно кивает лавочник, человек бывалый. — А издалека ли?

Попутчик, не ответив, вытер грязной рукой потный лоб, от слабости у пего кружится голова. Лавочник обиженно засопел и отвернулся к окну. А тот уже не решается взглянуть в окно, уставился на заплеванный пол и ждет, чтоб его спросили еще раз, тогда он объяснит: да, издалека. Из самой, знаете, Америки. Вот как, из самой Америки? И в такую даль собрались в гости? Нет, я домой еду. В Кривую. Там у меня жена и дочка, Гафией звать, Гафией. Уезжал — три года ей было. — Значит, из Америки... И долго вы там прожили? — Восемь лет. Да, уже восемь лет минуло. И все это время был у меня джоб [1] на одном и том же месте. Майнером [2] работал. В Джонстоне. Там со мною земляк работал — Михал Бобок его звали. Михал Бобок из Таламаша. Убило его, уж пять лет, как убило. С тех пор и поговорить не с кем — с американцами разве поговоришь?.. Бобок — тот научился по-ихнему, но, знаете, коли у тебя жена, только о том и думаешь, как ей все по порядку рассказывать будешь, а на чужом языке разве расскажешь? А зовут ее Полана.

— Как же вы работали, если ничего по-ихнему не понимаете? — Ну, как! Скажут: хеллоу, Гордубал! И покажут мой джоб. В день по семь долларов получал, вот как. Севен [3]. Только дорого все в Америке, господа. Двух долларов даже на харчи не хватает. За ночлег — пять долларов в неделю.

Вмешался пассажир напротив: — Но, пан Гордубал, вы, верно, накопили порядочно деньжат? — Э, скопить-то бы можно. Да я посылал их домой жене. Говорил я вам, что ее зовут Поланой? Каждый месяц, господа, по пятьдесят, шестьдесят долларов, а то и все девяносто. Но это только пока Бобок жив был, он-то знал грамоту. Смекалистый

---

[1] работа (от *англ.* job).
[2] Шахтер (от *англ.* miner).
[3] Семь (*англ.*).

был этот Бобок, да уже пять лет, как его балкой зашибло. С тех пор я не мог деньги домой посылать и клал их в бенк[1]. Верите ли, набралось больше трех тысяч, а потом их украли. — Не может быть, пан Гордубал, что вы говорите? — Иес, сэр[2], три тысячи долларов с л и ш к о м . — И вы не подали в суд? Эх, как подашь? Наш формен[3] водил меня к какому-то лойеру[4]; тот похлопал по плечу: о'кей да о'кей[5], только нужно внести эдванс[6]. Формен ему сказал: ю ар эсуэйн[7], — и повел меня обратно. Вот оно как в Америке, что говорить. — Господи Иисусе, пан Гордубал, три тысячи долларов? Это же огромные деньги, целое состояние! Отец небесный, какое несчастье! Три тысячи долларов — сколько же это на наши деньги?

Юрай Гордубал испытывает глубокое удовлетворение: эх, как бы вы все тут на меня смотрели, начни я только рассказывать! Со всего трейна[8] собрались бы поглядеть на человека, у которого в Америке украли три тысячи долларов. Иес, сэр, это я!.. Юрай Гордубал поднимает глаза и оглядывает соседей; толстая еврейка жмется в угол, лавочник обиженно глядит в окно и жует беззубым ртом, тетка с корзиной на коленях смотрит на Гордубала так, словно чего-то очень не одобряет.

Юрай Гордубал опять замыкается в себе. Ну и ладно, набиваться не стану; пять лет ни с кем не говорил — и н и ч е г о . — Так что же, пап Гордубал, вы из Америки возвращаетесь без гроша? — Нет, что вы, джоб у меня был хороший, только денежки я больше в бенк не клал, ю бет[9]. В сундучок, сударь, ключик под рубаху, вот и все. Семьсот долларов домой везу. Well[10], сэр, я бы там еще пожил, да остался без эмплоймента[11]. После восьми лет работы! Локаут, сэр. Слишком много угля, что ли. Из нашего пита[12] шестьсот человек получили лив[13], сударь. Везде

---

[1] банк (от *англ.* bank).
[2] Да, сударь (от *англ.:* Yes, sir).
[3] старшой (от *англ.* formen).
[4] адвокат (от *англ.* lawer).
[6] ладно (от *англ.* o'key).
[6] аванс (от *англ.* advance).
[7] Вы — свинья! (от *англ.:* You are a swine!)
[8] поезд (от *англ.* train).
[9] будьте покойны (от *англ.* you bet).
[10] Ладно (от *англ.* well).
[11] работа (от *англ.* employment).
[12] шахта (от *англ.* pit).
[13] увольнение (от *англ.* leave).

увольняют и увольняют. Нигде нет работы. Вот я и возвращаюсь. Домой, понимаете? В Кривую. Жена там у меня и землица. Гафии тогда три года было. Семьсот долларов за пазухой везу, опять хозяйствовать стану... Или на фэктори[1] наймусь, а то лес валить.

— А что, пан Гордубал, не скучали по жене и дочке? — Скучал, ей-богу! Но я, знаете ли, посылал им деньги и думал: вот это на корову, это на полоску земли, это Полане — пусть купит, что нужно. Каждый доллар — на что-нибудь. И когда я отдавал деньги в бенк, думал: вот и целое стадо коров. Иес, сэр, их-то и украли. — А жена вам писала? — Нет. Неграмотная она. — А вы ей? — No, sir. Can't write, sir[2]. С тех пор как помер Михал Бобок, я ничего ей не посылал, только деньги откладывал. — Но вы хоть телеграфировали ей, что едете? — Что вы, — денег жалко. Да она бы и перепугалась, если бы рассыльный пришел, а меня не испугается. Ха-ха! Что вы! — А может, она думает, вы померли, пан Гордубал: столько лет не получала весточки. — Помер? Такой мужик, как я, да чтоб помер? — Юрай Гордубал разглядывает свои узловатые руки. — Такой мужик! Скажете тоже! Полана умная, Полана знает, что я вернусь. — Все мы под богом ходим. А что, если Поланы нет в живых? — Shut up, sir[3]. — Ей было двадцать три, когда я уехал, и крепкая она, сэр, крепкая, как кремень. Не знаете вы Поланы! С такими деньгами, это с долларами-то, что я ей посылал, да чтобы она умерла?! No, thank you[4].

Надутый лавочник у окна утирает пот голубым платком. Может, опять скажет: ну и жара!

— Да что вы, сэр?! И это вы называете жарой? Побывали бы вы на лоуэрдеке[5]. Или в антрацитовой шахте. Туда посылают ниггеров[6], но я-то выдержал, иес, сэр. За семь долларов. Хэллоу, Гордубал! Хэллоу, you niggers[7]. Ах, сударь, многое может выдержать человек. Лошадь — та нет. Туда уже нельзя было спускать лошадей, возить вагонетки. Слишком жарко, сударь! Или лоуэрдек на паро-

---

[1] фабрика (от *англ.* factory).
[2] Нет, сэр. Я не умею писать, сэр (*англ.*).
[3] Помалкивайте, сэр (*англ.*).
[4] Нет, спасибо (*англ.*).
[5] нижняя палуба (от *англ.* lowerdeck).
[6] негр (от *англ.* nigger).
[7] вы, негры! (*англ.*)

ходе... Можно многое выдержать, только бы столковаться... Чего-то им от тебя надо, а чего — не поймешь; кричат, злятся, разводят руками... Скажите на милость, как мне в Гамбурге расспросить о дороге до Кривой? Им-то можно кричать, а мне нет. В Америку ехать — дело как по маслу идет: один вас на пароход посадит, другой встретит, а вот обратно, сударь, обратно выбраться не поможет никто. No, sir. Трудна дорога домой, сударь.

И Юрай Гордубал качает головой, и уже она качается сама, мотается из стороны в сторону, тяжелая, как неживая, и засыпает Юрай. Толстая еврейка у окна возмущенно поджимает губы; тетка с корзиной на коленях и обиженный лавочник выразительно переглянулись: ну и народ пошел. Быдло.

II

Кто это, кто шагает по той стороне долины? Видали — в ботинках, механик, что ли? В руках черный чемоданчик, поднимается в гору; не было б так далеко, приставил бы ладошки ко рту да крикнул: хвала господу Иисусу Христу, прохожий, который час? — Два пополудни, пастушок; не было б так далеко, спросил бы и я: чьих коров пасешь? — А ты бы, может, объяснил: вот эти — Лыска, Пеструха, Звездочка, Рыжая и эта телка — Поканы Гордубаловой. — Так, так, парень, ладные коровки, поглядеть приятно; только не пускай ты их к Черному ручью, там трава кислая и вода горькая. Стало быть, Поланы Гордубаловой? А раньше у нее всего две коровы было... А что, парень, может, у нее и волы есть? — Ах, господи, да еще какие. Подольские, рога — руки раскинь, — до концов не дотянешься. Два вола, сударь. — Ну, а овцы? И овцы и бараны, сударь, те пасутся повыше, на Дурной Полонине. Умна и богата Полана. — А мужа у нее нет? Что машешь рукой, разве нет у нее хозяина? Эх, дурень, своих не узнает — заслонил глаза от солнца ладонью и стоит, стоит как пень.

Сердце Юрая колотится в горле: надо передохнуть; ха-ха-ха... Очень уж сильно и так внезапно забилось. Гордубал захлебывается, как человек, упавший в воду: вот он дома, вдруг, сразу, а всего-то шагнул в каменистый овражек, и уже — захлестнуло со всех сторон: ну Да, этот овражек испокон веков тут, кусты терновника,

давным-давно опаленные кострами пастухов; по-прежнему цветет на осыпи коровяк, тропинка теряется в тимьяне и сухой траве, вот и камень, поросший мхом, и горечавка, и можжевельник, вот опушка, и сухие коровьи лепешки, и заброшенный пастуший шалаш; нет больше Америки и нет восьми лет; все как было: блестящий жук на листьях чертополоха, скользкая трава, далекие колокольцы коров, седловина над Кривой, бурые заросли осоки и дорога к дому...

Дорога, и упругие шаги горца, который обут в постолы и никогда не был в Америке, дорога, и запах коров и леса, дорога, прогретая солнцем, как хлебная печь; дорога в долину, каменистая, вытоптанная скотом, с лужами от ручейков, скачущая по камням... ах, господи боже, какая чудесная тропинка, быстрая, как ручей, мягкая от травы, она шуршит щебнем, хлопает в лужах и вьется под кронами деревьев; нет, сэр, это не шлакобетонный тротуар в Джонстоне, скрипящий под подошвой, нет ни рейлингов [1], ни толпы, шагающей к майне [2], — ни души кругом, ни души, только тропинка, ручей да колокольцы коров — дорога домой, стремление домой, бубенцы на шеях телят и синие цветы у ручья...

Юрай Гордубал шагает размашисто — что ему чемодан, что ему восемь лет: вот дорога домой, ноги сами несут тебя; так в сумерки возвращается стадо: коровы с полным выменем позвякивают колокольцами — бим-бам, бим-бам, и бубенцы телят; не присесть ли тут, не подождать ли темноты, войти в деревню под перезвон колокольцев в час, когда бабы выходят на порог, а мужики стоят у заборов: гляньте-ка, гляньте, кто это идет? А я, как стадо с поля, — прямиком в распахнутые ворота. Добрый вечер, Полана! Я тоже возвращаюсь не с пустыми руками.

Или нет, подождать до ночи, когда пройдет скотина и все уснут, и стукнуть в окно: Полана, Полана! — Иисусе Христе, кто там? — Я, Полана, чтоб ты первой увидела меня; слава тебе, господи! А где Гафия? — Гафия спит; разбудить? — Нет, нет, пускай спит. — Слава богу!

И Гордубал зашагал быстрее. Ей-богу, легко идти, когда так спешат-торопятся мысли! И не поспеть за ними,

[1] здесь: перила, ограждающие тротуар в местах наиболее оживленного уличного движения (от *англ.* railing).

[2] шахта (от *англ.* mine).

как ни беги; мысли обгоняют, они уже у рябины, что растет у околицы, — кыш, гуси, кыш!.. Вот ты и дома. Закричать бы во все горло: эй, все, кто есть, гляньте, кто идет, какой американец, тру-ту-ту, дивитесь, boys [1], хэллоу! Но — тихо, тихо: вот твои дом, Полана треплет лен на дворе, подкрасться сзади и закрыть ей глаза. — Юрай! Как ты узнала меня, Полана? — Слава богу, мне ли не знать твои руки, Юрай!

Гордубал бежит по долине, не чуя в руке чемодана, а в нем — вся Америка: синие сорочки, костюм из вельвета и теддибэр [2] для Гафии, а тебе, Полана, материя на платье, какие носят в Америке, душистое мыло и handbag [3] с цепочкой, а это flashlight [4], Гафия, нажмешь кнопку — и он светит, а тут картинки из газет, это я для тебя вырезал, знаешь, дочка, сколько их было — я восемь лет собирал их, по пришлось оставить, не поместились в сьюткейсе [5]. Постой-ка, там у меня еще кое-что есть!

Ну вот, слава богу, и ручей; никаких железных мостов, только камни в воде, нужно прыгать с одного на другой, балансируя руками. Эн, ребята, у этих ольховых корней мы мальчишками, мокрые по уши, засучив штаны, ловили раков; а цел ли крест на повороте дороги? Слава богу, вот он, клонится над проселочной дорогой, мягкой от теплой пыли, пахнущей скотом, соломой и рожью; сейчас должен быть забор Михальчукова сада: вот и он, покосившийся, заросший сиренью и орешником — такой же, как был; слава тебе, господи, вот я и в деревне, здраво дошли, Юрай Гордубал! И Юрай Гордубал останавливается — черт знает, отчего таким тяжелым стал вдруг чемодан, вот только утереть пот и... Господи, что ж это я не умылся в ручье, что ж не вынул бритву, зеркало да не побрился у воды! А то ни дать ни взять цыган, бродяга, разбойник; не поворотить ли назад и умыться, прежде чем покажусь Полане? Нельзя, Гордубал, тебя уже заметили; из-за Михальчукова забора, из канавы в лопухах таращит глазенки удивленный малыш. Окликнешь его, Гордубал? Спроси: чей ты, не Михальчуков ли? И мальчуган, шлепая босыми ножонками, пустится наутек.

---

[1] ребята, парни (от *англ.* boys).
[2] игрушечный медведь (от *англ.* teddy-bear).
[3] сумочка (от *англ.* handbag).
[4] карманный фонарик (от *англ.* flashlight).
[5] чемодан (от *англ.* suitcase).

А если обойти деревню и пробраться домой задами? — думает Гордубал. Ну да, не хватало, чтоб выбежали, накинулись на меня: «Эй, куда? Ходи по дороге, не то огрею кнутом!» Ничего не поделаешь, придется идти деревней; ох, господи, хоть бы чемодан не оттягивал руку!

Бабье лицо за окошком с геранью, выпученные глаза подсолнухов, старуха на дворе выплескивает что-то, словно разглядывает тебя задом, детишки останавливаются, таращатся: глянь-ка, чужой идет! Дед Кирилл жует пустым ртом и даже глаз не подымает; еще один толчок в сердце, и — с нами бог! — входи, склонив голову, в ворота твоего дома.

Ах, дурень, можно ли так ошибиться? Разве это Гордубалова деревянная изба, деревянный хлев и бревенчатый амбар? Это целая усадьба: каменный дом крыт черепицей, на дворе колодец с железным насосом, железный плуг и бороны железные — поместье, да и только; живей, Гордубал, живей убирайся отсюда со своим черным чемоданчиком, пока не вышел хозяин и не сказал: «Ты что тут торчишь?» — «Добрый день, хозяин, не жила ли здесь Полана Гордубалова?.. Прошу прощенья, знать, ошибся...»

На крыльцо выходит Полана и останавливается как вкопанная. Судорожно прижимая руки к груди, она тяжело и прерывисто дышит, и глаза у нее лезут на лоб.

III

И теперь не знает Юрай Гордубал, что сказать: столько начал придумал — что ж ни одно не подходит? Не закрыл он глаз Полане, подкравшись сзади, не стукнул ночью в окошко, не пришел со словами благословения в вечерний час возвращения стада; ввалился, щетинистый и неумытый, чего ж удивляться, если женщина испугалась? И голос мой наверняка чужой, хриплый... вразуми, господи, что можно вымолвить эдаким нечеловеческим голосом?

Полана отступает, слишком далеко отступает — ах, Полана, я бы и так прошмыгнул — и произносит голосом, — да нет, это почти и не голос, почти не ее голос:

— Входи, я... позову Гафию.

Гафия — это хорошо, но сперва мне хотелось бы положить тебе руки на плечи, Полана, и сказать: «Ну, я сам

не рад, что перепугал тебя; слава богу, вот я и дома». Ишь как ты все здесь устроила: новая кровать, гора подушек, стол тоже новый и крепкий; на стене иконы, таких и в Америке нет; пол дощатый, и цветы на окнах, — хорошо ты, Полана, хозяйничала!

Юрай Гордубал тихонько усаживается на свой чемодан. Умна Полана, умеет вести хозяйство; по всему видать, у нее не меньше дюжины коров, а может, и больше. Слава богу, не зря я работал; только до чего же жарко в шахте, милая, знала бы ты, что там за пекло!

Не идет Полана; Юраю Гордубалу уже не по себе, как тому, кого оставили одного в чужой избе. Погожу во дворе, решает он, заодно умоюсь. Эх, спять рубаху, пустить струю студеной воды на плечи, на голову, намочить волосы, брызгаться и гоготать от удовольствия: гей! Но это вроде бы не к месту, не время, еще не время! Накачаю пока немного воды (прежде тут был деревянный сруб, и бадья с журавлем, и глубокая тьма внизу, каким холодом и сыростью опахивало тебя, когда, бывало, наклонишься; а теперь — как в Америке, там у фермеров тоже такие колонки... С полным ведром — в хлев, напоить коров, чтоб громко зафыркали, чтоб ноздри влажно заблестели, только немного воды... Юрай намочил грязный платок, вытер лоб, лицо, руки, затылок, — а-ах, как приятно холодит! Гордубал выжал платок, поискал, куда бы его повесить, — но нет, мы еще не дома, — и он сунул мокрый платок в карман.

— Твой отец, Гафия, — слышит Гордубал, и Полана подталкивает к нему одиннадцатилетнюю девочку с испуганными голубыми глазами.

— Вот какая ты, Гафия? — смущенно бормочет Гордубал (вот уж, право, такой большой девочке — медвежонка!) и хочет погладить ее по голове: только одним пальцем, Гафия! Но девочка уклоняется, жмется к матери, не спуская глаз с незнакомца.

— Поздоровайся же, Гафия, — говорит Полана строго и подталкивает девочку в спину.

— Ах, Полана, оставь ее, что худого, коли ребенок оробел?

— Добрый день! — шепчет Гафия и отворачивается.

Что-то странное происходит с Юраем, слезы застлали глаза, лицо ребенка дрожит и расплывается. Ну, ну, что

же это, — э, ничего, пройдет, просто я уже сколько лет не слышал «добрый день».

— Пойди сюда, Гафия, — суетится Гордубал, — погляди, что я тебе привез.

— Иди, глупая, — толкает девочку Полана.

Гордубал склоняется над чемоданом, — матерь божья, как все измялось в дороге, и где же электрический фонарик, то-то Гафия удивится!

— Смотри, Гафия, нажмешь тут кнопку, и он светит... Что это, не хочет светить. — Гордубал нажимает кнопку, вертит фонарик во все стороны и хмурится. — Что с ним сделалось? Ага, наверно, батарейка высохла, знаешь, как жарко было на нижней палубе... А он горел, Гафия, горел ярко, как солнышко. Постой, я привез тебе картинки, погляди... — Гордубал вынимает газетные и журнальные вырезки, которыми переложена одежда. — Иди сюда, Гафия, посмотри, вот она — Америка.

Девочка смущенно мнется и оглядывается на мать. Полана сухо и строго кивает: «Иди!» Гафия робко, неохотно подвигается к этому чужому, долговязому человеку, — ах, выскочить стрелой за дверь и бежать, побежать к Марийке, к Жофке, к девчонкам, которые там, на задах, нянчат маленького хорошенького щеночка...

— Погляди, Гафия, какие дамы! А тут, гляди-ка, дерутся, а? Это футбол, игра такая в Америке, понимаешь? А вот высокие дома...

Гафия уже касается его плечом и робко шепчет:

— А это что?

Гордубала охватывает радостное умиление — ну вот, ребенок уже привыкает!

— Это... это Felix the cat[1].

— Да ведь это киска, — протестует Гафия.

— Ха-ха, конечно, киска! Ты умница, Гафия! Ну да, это такой... американский кот, ол райт[2].

— А что он делает?

— Он... он лижет tin[3], понимаешь? Жестянку от консервов. Это эдвертисмент[4] консервов, вот что.

---

[1] кот Феликс (*англ.*).
[2] правильно (от *англ.* all right).
[3] жестянка (от *англ.* tin).
[4] реклама (от *англ.* advertisement).

— А тут что написано?

— Это... это по-американски, Гафия; ты не поймешь. А вот гляди, пароходы, — поспешно меняет тему Гордубал, — на таком и я плыл.

— А это что?

— Это трубы, понимаешь? Внутри корабля паровая машина, а сзади такой... такой пропеллер...

— А что здесь написано?

— Это ты прочтешь как-нибудь в другой раз, ты ведь умеешь читать? — вывертывается Гордубал. — А вот смотри-ка: столкнулись два кара...[1]

Полана стоит на крыльце, руки, на груди, и сухим пристальным взглядом смотрит во двор. Позади нее в избе наклонились друг к другу две головы, медленный мужской голос пытается объяснить это вот и то: «Так это делают в Америке, Гафия, а это, смотри, я сам видел», — и запинается этот голос, мешкает, бормочет: «Ну, ступай, Гафия, где мама-то?»

Гафия выскакивает на крыльцо, точно вырвавшись из плена.

— Подожди, — останавливает ее Полана, — спроси, может, он хочет есть... или пить.

— Не надо, душа моя, не надо, — отказывается Гордубал и спешит к порогу. — Спасибо, что подумала обо мне, вот уж спасибо, не к спеху. У тебя, верно, дело есть...

— Дела всегда хватает, — неопределенно откликается Полана.

— Вот видишь, Полана, видишь, не буду тебе мешать, делай свое дело, а я пока... я что...

Полана поднимает на него глаза, будто хочет что-то сказать, будто хочет сказать вдруг очень много — так много, что губы дергаются, — но она проглатывает это и идет по своим делам, ведь работы всегда хватает.

Гордубал, стоя в дверях, смотрит ей вслед: пойти за ней в сарай? Нет, пока еще нет: в сарае темно, нехорошо как-то. Восемь лет, братец, это — восемь лет! Разумная женщина Полана, не бросается на шею, как девчонка; хотелось бы спросить ее о том о сем, о поле, о скотине, да бог с ней, коли у нее дела много. Полана всегда такая была. Работящая, ловкая, умная.

---

[1] автомобиль (от *англ.* car).

Задумчиво оглядывает двор Гордубал. Дворик чистый, порос лапчаткой и купавой, ни следа навозной жижи. Пойти, что ли, осмотреть хозяйство? Нет, не надо пока, не надо. Полана сама скажет: взгляни теперь, Юрай, как я хозяйничала: все кирпичное и железное, новое все, а стоило столько-то и столько-то. А я скажу: хорошо, Полана. Я тоже принес кое-что в хозяйство.

Хорошо Полана управляется; и стройная она, стройная, как девушка, господи, какая прямая спина! Всегда она так прямо держала голову, еще в девушках... Гордубал вздохнул и почесал затылок: что ж, пусть будет по-твоему, Полана; восемь лет сама себе хозяйкой была, этого сразу не отбросишь. Сама потом скажешь: хорошо, когда мужчина в доме.

Задумчиво оглядывает Гордубал свой двор. Все изменилось, все по-новому, удачлива в хозяйстве Полана. А вот этот навоз, голубчики, этот навоз мне не нравится. Пахнет конюшней, не хлевом. На стене два хомута, на дворе лошадиный помет. А Полана и не заикнулась, что лошадей держит; слушай, Полана, лошадь — не женское дело. На конюшне мужик нужен, вот что.

Гордубал озабоченно морщит лоб, — да, это — удар копытом в дощатую перегородку; лошадь бьет копытом, видно, пить хочет. Отнести ей воды в брезентовом ведре — нет, нет; вот когда Полана скажет: «Пойдем, Юрай, погляди наше хозяйство». В Джонстоне тоже были лошади в штольнях; ходил я к ним погладить по морде, — видишь ли, Полана, коров там не было, ухватить бы корову за рог, потрясти ей голову, ого-го-го, старуха! А лошадь... Ну, слава богу, есть теперь у тебя мужик в доме.

И вдруг пахнуло старым, знакомым запахом — чем-то с детства знакомым... Гордубал принюхивается долго и с наслаждением. Дрова! Смолистый запах дров, запах сосновых поленьев на солнце. Юрая так и тянет к поленнице, хороша грубая кора поленьев, по его огрубелой руке, а вот и колода с воткнутым топором, деревянные козлы и пила, его старая пила, отполированная его ладонями. Гордубал глубоко вздохнул, — здраво дошли и добро пожаловать! — снял пиджак и положил полено на крепкие плечи козел.

Потный, счастливый, он пилит дрова на зиму.

IV

Юрай выпрямился, вытер пот. Вот уж верно — эта работа не та, что в шахте, и запах не тот; хорошие, смолистые дрова у Поланы, ни пней, ни сушняка нет. Закрякали утки, с гоготом рассыпались гуси, где-то загремела телега и стремительно завернула к дому. Полана выскочила из сарая, бежит, бежит (ах, Полана, и бегаешь ты совсем как девушка!), распахнула ворота.

Кто же это, кто к нам приехал? Хлопанье кнута, — н-но! — высоко взвивается золотистая теплая пыль, и во двор влетает упряжка; стучит телега, ею стоя — на венгерский лад — правит парень, он высоко держит вожжи, высоким голосом нараспев тянет «тпр-ру!» и, соскочив на землю, шлепает коней по влажной шее.

Подходит Полана, бледная, решительная какая-то:

— Это Штепан, Юрай, Штепан Манья.

Человек, нагнувшийся над постромками, резко выпрямившись, оборачивается к Юраю. Уж больно ты черен, дивится про себя Гордубал, прямо ворон, прости господи!

— В работниках у меня был, — добавляет Полана твердо и отчетливо.

Парень пробормотал что-то и склонился к постромкам; отстегнув, вывел лошадей из оглобель и, держа обеих одной рукой, другую протянул Гордубалу:

— Добро пожаловать, хозяин!

Хозяин поспешно вытер руку о штаны и подал ее Штепану; Гордубал растерян и вместе с тем польщен, он смутился, пробормотал что-то и еще раз тряхнул Штепану руку — по-американски.

Невелик Штепан, а ладен. Ростом Юраю по плечо, а глядит ему прямо в глаза — дерзко и вызывающе.

— Славные кони, — бормочет Гордубал и тянется погладить по морде. Но кони шарахаются и встают на дыбы.

— Поберегись, хозяин, — предостерегает Манья, и в глазах его блестит насмешка, — это венгерские.

Ах ты, черномазый, думаешь, я не понимаю в конях? И правда, не понимаю, да привыкнут кони к хозяину.

Лошади дергают головами, вот-вот вырвутся. Руки в карманы, Гордубал, и ни с места, пусть этот черномазый не думает, что ты боишься!

— Вот этот трехлетка, — рассказывает Манья, — от кавалерийского жеребца. — Манья хватает коня за уздечку. — Ц-ц-ц! Э-э! Вот черт! Айда! — Конь дергает головой, а Штепан только смеется.

Полана подходит ближе, протягивает коню ломоть хлеба. Штепан, блеснув в ее сторону глазами, скалит зубы, удерживая коня за уздечку.

— Э-э, постой!

Штепан стискивает зубы от усилия, и конь стоит точно вкопанный и, красиво выгнув шею, берет губами хлеб с хозяйкиной ладони.

— Н-но! — кричит Манья и, крепко ухватив коней под уздцы, ведет их в конюшню.

Полана глядит им вслед.

— Четыре тысячи дают за жеребца, — сообщает она оживленно, — а я не продам. Штепан говорит, что конь все восемь стоит. А кобылу будем к осени крыть... — Что за черт, почему она смутилась и словно прикусила язык. — Надо им корму задать, — говорит она неуверенно и хочет отойти.

— Так, так, корму, — одобряет Юрай. — Добрый конь, Полана, а что, и в упряжке тоже хорош?

— В упряжке? Да таких коней жалко запрягать, — раздраженно говорит Полана. — Это тебе не деревенская кляча.

— Ну, пожалуй, — сдерживается Гордубал. — Оно и верно, жаль такого молодца. Хорошие кони, голубка, поглядишь — душа радуется.

Манья уже выходит из конюшни с двумя брезентовыми ведрами в руках.

— Восемь тысяч возьмем за него, хозяин, — уверенно говорит он. — А кобылу к осени крыть надобно. Эх, и жеребца я для нее подыскал — чистый дьявол.

— Брут или Хегюс? — оборачивается Полана с полдороги.

— Хегюс. Брут тяжел будет. — Манья скалит зубы под черными усиками. — Не знаю, как вы, хозяин, а я недорого дам за тяжелого копя. Сила есть, а породы никакой. Породы-то нет, хозяин.

— Гм... да, — неуверенно отзывается Гордубал, — порода дело такое... Ну, а коровушки, Штепан?

— Коровы? — удивляется Штепан. — Вы о коровах?

Да, есть у хозяйки две коровы, говорит, молоко нужно. А вы еще не были в конюшне, хозяин?

— Н-нет. Видишь ли, я только что приехал, — отвечает Гордубал и теряется — ведь вот уже груду дров напилил, этого не скроешь. И все-таки Гордубал доволен, что легко перешел со Штепаном на «ты». Так и полагается между хозяином и работником.

— Да, — продолжает Гордубал, — я как раз собирался туда.

Штепан, наполнив ведро водой, охотно ведет хозяина в конюшню.

— У нас там... у хозяйки там жеребеночек, трехнедельный, и кобыла жеребая. Два месяца назад покрыли. Сюда, хозяин. А этот мерин считай что продан. Две с половиной тысячи. Добрый конь, да я запрягаю трехлетку — надо объездить. Норовистый. — Манья опять скалит зубы. — Мерин этот для армии. Наших коней всегда для армии брали.

— Так, так, — поддакивает Юрай, — чисто у тебя здесь, Штепан. Ну, а самому приходилось служить в солдатах?

— В кавалерии, хозяин, — ухмыляется Манья и поит из ведра трехлетку. — Вы только гляньте... что за голова! А круп! Эх! Ц-ц-ц! Осторожно, хозяин. — И Штепан хлопает лошадь по шее кулаком, — Ух, разбойник! Вот это конь!

Гордубалу не по себе от острого запаха конюшни. То ли дело хлев, — родной запах навоза, молока, пастбища.

— А жеребенок где? — спрашивает он.

Жеребенок, еще совсем мохнатый, сосет матку. Он весь состоит из одних ног. Кобыла поворачивает голову и умными глазами косится на Гордубала. Ну, а ты-то зачем здесь? Растроганный Юрай гладит ее по теплому, гладкому, как бархат, заду.

— Добрая кобыла, — говорит Штепан, — да тяжелая. Хозяйка продать ее хочет. А только знаете, хозяин, мужику коня не купить, а в армию берут лошадей горячих, прямо огонь. Тихие им не годятся. Там все один к одному. Не знаю, как вы на это дело смотрите, хозяин...

— Ну, в том Полана знает толк, — неуверенно бормочет Гордубал. — А вот как насчет волов? Есть волы у Поланы?

— Да на что волы, хозяин? — ухмыляется Манья. — На поле хватит кобылы да мерина. А мясо нынче не в цене. Свинина — еще куда ни шло. Видали, какой кабан у хозяйки? Да шесть свиней, да четырнадцать поросят. Поросята — те нарасхват, за ними, хозяин, к нам издалека едут. И свиньи у нас — что слоны; рыло черное, копыта черные...

Гордубал задумчиво качает головой.

— Ну, а молоко для поросят где вы берете?

— У мужиков, понятно, — смеется Манья. — «Эй, не надобно ли нашего борова для твоей грязной свиньи? Такого надежного боровка во всей округе не сыщешь! А сколько ведер молока, сколько мешков картошки за это дашь?» Право слово, хозяин, не стоит самому спину гнуть на такой работе! До города далеко, торговля плохая. Глупый народ, хозяин. Разводят все только для себя, — так пусть нам отдают, коли продать не умеют.

Гордубал неопределенно кивает. Правда, правда, торговля у нас всегда была плохая, гуси и куры — еще туда-сюда. А у Поланы все на свой лад. Да, знает хозяйка толк в делах, что верно, то верно.

— Товар продать — надо далеко съездить, — рассуждает Штепан, — и такой товар, что барыш приносит. Ну, кто пойдет на рынок с горшком масла? Сразу по носу видать, что за душой у тебя ничего нет, — ну и сбавляй цену, а то — катись к черту...

— А ты сам-то откуда? — удивляется Гордубал.

— Из степи. Рыбары, знаете?

Гордубал не знает, но кивает: так, так, из Рыбар. Хозяину все должно быть известно.

— У нас, сударь, край богатый. А раздолье какое! Взять хотя бы рыбарское болото, вся округа здешняя поместится, как ножик в кармане. А трава, хозяин, по самую грудь. — Манья машет рукой. — Эх, паршивые тут места. Пашешь, одни камни ворочаешь. А у нас — копаешь колодезь, а чернозем так и прет.

Гордубал нахмурился. Что ты знаешь, татарин! Я, я *тут* пахал и каменья ворочал. Зато леса какие! Господи, воля твоя. А что за пастбища!

Раздосадованный Юрай выходит из конюшни. Паршивый край, говоришь? Так какого же черта ты сюда лезешь? А плохо ли здесь скотине? Ну, слава богу — вон и она, уже идет по домам. В долине и за околицей, звенят

колокольцы — тихо, мерно, как коровьи шаги. Тонкие бубенчики на шеях телят заливаются словно второпях. Ну-ну, и вы будете коровами, и вы пойдете степенно и важно, как все стадо. Колокольцы звенят все ближе, и Юрай готов снять шапку, точно это крестный ход. Отче наш, иже еси на небесах... вон плывет, словно река, дробится на крупные брызги, разливается по всей деревне. Коровы одна за другой отделяются от стада, и — бим-бом, дзинь-дзинь — каждая заворачивает в свой хлев. Запах пыли и молока, — и вот колокольцы звякнули в воротах, и две коровы, мирно качая головами, тянутся в хлев Гордубалов. Юран глубоко вздыхает: ну, вот я и дома, слава те господи, вот оно, возвращение домой.

Благовест стада рассыпается по деревне и затихает; нетопырь зигзагами носится следом за скотиной — на мух охотится. Добрый вечер, хозяин! В хлеву протяжно мычит корова. Иду, иду! Юрай, вытянув в темноте руки, входит в хлев, нащупывает рога, твердый косматый лоб, влажные коровьи губы и ноздри, морщинистую кожу на шее. Потом, шаря в потемках, находит подойник и трехногую скамеечку, садится к полному вымени и начинает выдаивать сосок за соском. Молоко тонкими струйками, журча, брызжет в подойник, и Юрай тихо, вполголоса начинает петь.

V

Юрай Гордубал усаживается во главе стола, складывает руки и читает молитву. Так нужно, раз он теперь хозяин. Полана сидит, поджав губы и сложив руки. Гафия таращит глаза и не знает, что делать. Штепан мрачно уставился в пол. Видно, давно вы не молились, а, Полана? Штепан-то небось другой веры, но за столом полагается молитва. Ишь как вам не по себе!

Все едят молча, торопливо, одна Гафия еле-еле копается в тарелке.

— Ешь, Гафия, — строго приказывает Полана, но сама почти ни к чему не прикасается. Только Штепан громко хлебает, нагнувшись над тарелкой.

После ужина Манье не терпится уйти.

— Постой маленько, Штепан, — останавливает его Гордубал, — что же это я хотел сказать... Да! Ну, а каков урожай в нынешнем году?

— Сенокос был хороший, — уклончиво отвечает Манья.

— А рожь?

Полана бросает быстрый взгляд на Штепана.

— Рожь... — мнется Штепан, — да ведь хозяйка продала поле, что там, на горе. Нестоящая работа, хозяин, одни каменья.

У Гордубала екнуло сердце.

— Одни каменья, — ворчит он. — Верно, одни каменья. Да ведь поле — это самое главное, Полана!

Штепан самоуверенно скалит зубы.

— Выгоды с него ни на грош не было, хозяин. Луга у реки куда лучше. Кукуруза там в человеческий рост.

— У реки? — дивится Гордубал. — Ты купила поле в степи, Полана?

Полана проглатывает какие-то слова, готовые сорваться у нее с языка.

— Помещичьи луга, хозяин, — объясняет Манья, — земля там хорошая, глубокая, прямо хоть свеклу сажай. Только свеклу разводить невыгодно. Много чего невыгодно, хозяин. Куда доходнее держать лошадей. Выходишь одного коня — и денег получишь больше, чем за год мужицкой работы. Прикупить бы еще участок в степи и построить там конюшню. — У Штепана заблестели глаза. — А коню в степи привольнее, хозяин. Конь не коза.

— Помещик луга уступит, — размышляет Полана и вслух считает, во сколько они обойдутся; но Гордубал не слушает, Гордубал думает о ржаном и картофельном полях, которые продала Полана. Правда, там много камней, да ведь они испокон веков были! Уж такое наше дело, братец! Года за два до отъезда я распахал участок на косогоре. Э-эх, да что ты понимаешь в мужицкой работе!

Гафия подкралась к Штепану и оперлась локтем о его плечо.

— Дядечка Штепан! — шепчет она.

— Ну, чего тебе? — смеется Манья.

Девочка мнется.

— Ничего, просто так.

Штепан сажает ее на колени и покачивает.

— Ну, что ты хотела сказать, Гафия?

— Дядя Штепан, — шепчет Гафия ему на ухо, — я сегодня щенка видела. Какой хорошенький!

— Ну да! — притворно удивляется Манья. — А я видал зайчиху с тремя зайчатами.

— Ох! — вырывается у Гафии. — А где?

— В клевере.

— А осенью будешь на них охотиться?

Штепан косится на Гордубала:

— Ну, как знать.

«Хороший человек, — с облегчением вздыхает Гордубал. — Ребенок его любит. Ко мне эдак вот не подошла. Ну, ничего, привыкнет. А про картинки, что я привез ей из Америки, даже и не вспомнила. Надо бы что-нибудь Штепану подарить». И Гордубал ищет глазами свой чемодан.

— Вон твои вещи, на лавке сложены, — показывает Полана. «Всегда она была заботливая», — думает Юрай и с важным видом подходит к лавке.

— Вот это тебе, Гафия. Картинки. А вот Тэдди-бэр.

— Что это, дядя? — интересуется Гафия.

— Медведь, — объясняет Манья. — Ты когда-нибудь видела живого медведя? Они водятся наверху, в горах.

— А ты видел? — пристает Гафия.

— Ну, видел. Ворчат мишки, вот эдак: уррр-уррр!

— Это тебе, Полана, — нерешительно предлагает Гордубал. — Все пустяки, не знал я, что... — Юрай отворачивается и роется в своих вещах. Что бы такое выбрать для Маньи? — А вот это, Штепан, — мнется он, — это, верно, тебе сгодится. Американский нож и трубочка американская.

— Ох! — глухо вырывается у Поланы, глаза ее наполняются слезами, она выбегает вон.

Что с тобой, Полана?

— Покорно благодарю, хозяин, — кланяется Манья и, показав в улыбке все зубы, подает Юраю руку. Эге-ге, ну и хватка у тебя! Может, померимся силой?

— Слава богу, — вздыхает про себя Гордубал, — вот и дело с концом.

— Покажи ножик, дядя, — привязывается Гафия.

— Гляди, — хвастается Штепан, — вон какой нож! Из Америки. Я тебе американскую куклу вырежу, хочешь?

— Да, дядя, — пищит Гафия, — а не обманешь?

Юрай улыбается широкой, блаженной улыбкой.

VI

Однако и это не все. Юрай знает, что еще полагается сделать. Ежели человек вернулся из Америки, он должен в трактире показаться, с соседями поздороваться, чарочку им поставить. Пусть всякий видит, что не со срамом Гордубал воротился, не с пустой мошной. Эй, трактирщик! Всем по чарке, да поживей наливай. Не знаешь, что ли, Гордубала, майнера из Америки. Пусть по всей деревне весть разнесется: «Знаете, кто вернулся? Пойдемте взглянуть на Гордубала... Жена, подай армяк или шапку».

— Я скоро вернусь, Полана. Иди себе спать и не жди меня, — говорит Юрай и по притихшей темной улице с ухарским видом шагает в трактир. Хорошо пахнет в деревне — дровами и стадом, соломой, сеном... А вот пахнуло гусями, а вот крапивой и пупавником.

В трактире нет уже старого Сало Берковича, какой-то рыжий еврей поднимается из-за стойки.

— Что угодно, сударь? — недоверчиво осведомляется он.

В углу сидит одинокий завсегдатай. Кто бы это мог быть? Кажется, Пьоса, ну конечно, Андрей Пьоса по прозвищу Гусар. Он глядит на Юрая, точно готов крикнуть: «Ты ли это, Юрай?» Да, я, Андрей Гусар, видишь ведь, что я.

Нет, не закричал Пьоса, смотрит пристально.

— А что, хозяин, жив еще старый Беркович? — спрашивает Гордубал, чтобы показать, что он здешний.

Веснушчатый трактирщик ставит на стол чарку водки.

— Шесть лет, как схоронили его.

Шесть лет? Ох, Пьоса, срок немалый! Что останется от человека через шесть лет? А через восемь? Восемь лет, хозяин, не пивал я водочки. Иной раз, ей-богу, и рад бы напиться, залить горе на чужбине, да запретили водку в Америке. Зато больше долларов шло Полане; видишь: коня купила и поле продала. Одни, мол, каменья. А ты небось поле не продал, Андрей. Ты ведь не был в Америке.

Трактирщик стоит у стойки и посматривает на Юрая. Заговорить, что ли, с гостем, — колеблется он. Нет, видать, неразговорчив гость, сморит как-то странно, лучше его не трогать. Кто бы это мог быть? У Матея Пагурко

сын где-то на чужбине; может, это сын Матея? Или это Гордубал, муж Поланы, тот, что в Америке?

Юрай прищурился. Корчмарь отворачивается и переставляет стаканы на стойке.

А что ты, Пьоса, прячешь глаза? Окликнуть тебя, что ли? Так-то вот, Андрей Пьоса. За восемь лет отвык человек разговаривать, язык не поворачивается. А ведь даже конь и корова любят, чтобы с ними поговорили. Правда, Полана всегда молчалива, а восемь лет разлуки не сделают человека общительнее, одиночество болтать не научит. Я и сам не знаю, как начать: она не спрашивает — я молчу, она молчит — и мне спрашивать не хочется... Эх, чего там, Штепан — хороший работник, ну и поговорит за хозяйку. А хозяйка, что ж, продала поле, купила землю в степи, вот тебе и все...

Гордубал пьет водку и покачивает головой. Жжет, чертово зелье! Однако ж человек ко всему привыкает. Штепан, кажется, парень хороший, разбирается в лошадях и Гафию любит. Ну а Полана — та привыкнет, и все пойдет честь честью. Эх, Пьоса! А что, на твою жену тоже иной раз находит? Ты ее поколотишь, и все тут. А Полана — словно дворянка, вот оно как, Андрей. Умная, работящая, чистая — слава тебе, господи! Странная, это правда. Зато походка у нее какая, братец! Другой такой ни у одной бабы в деревне нет. Не ладится у меня с ней, дружище. Эх, ворваться бы мне вихрем в дом, закружить ее, чтоб дух захватило. Вот как надо бы, Андрей. А у меня, понимаешь, не вышло. Перепугалась она, оробела, точно я с того света прибыл. И Гафия тоже вроде как испугалась. И ты, Андрей. Однако ж приехал я, ничего не поделаешь. Не сломался лед сразу, так растает помаленьку. За твое здоровье. Андрей!

Андрей Пьоса, по прозвищу Гусар, поднимается и идет к дверям, будто и не видал Гордубала. В дверях он оборачивается и бросает хрипло:

— С приездом, Юрай!

Чудак ты, Гусар! И почему бы тебе не подсесть ко мне за стол? Не думай, что я вернулся нищим, найдется у меня несколько добрых сотен долларов, про них еще и Полане не сказано. Однако же узнал меня Пьоса! Так оно все и наладится помаленьку.

Гордубал развеселился.

— Эй, хозяин, налей-ка мне еще стопочку!

Двери распахиваются, в трактир, точно весеннее половодье, врывается какой-то молодчик. Да ведь это Василь Герич! Василь! Друг закадычный! Завидел Юрая и сразу к столу. Василь! Юрай! Колюч дружеский поцелуй и смердит табаком, однако ж радость какая!

— Здорово, Василь!

— Здравствуй, Юрай, — озабоченно произносит Василь, — как это ты вернулся?

— Да неужто мне там до самой смерти жить, глупая твоя голова? — смеется Гордубал.

— Ну, — мямлит Герич уклончиво, — не сладко сейчас живется в деревне... Жив, здоров — так и слава богу.

Чудной ты, Василь! Сел на краешек скамейки и спешишь поскорее опрокинуть стопку.

— Что нового?

— Да вот на той неделе, после пасхи, старый Кекерчук помер, упокой, господи, душу его! А прошлым воскресеньем молодой Гороленко обвенчался с Михальчуковой дочкой. Летом черт нам ящур наслал... Да, Юрай, старостой меня выбрали. Наверно, назло. Начальство я теперь.

Разговор обрывается. Василь не знает, о чем еще рассказать, потом поднимается и сует Юраю руку:

— Помогай тебе бог, Юрай. Мне пора.

Юрай усмехается и вертит стопку отяжелевшими пальцами. Не тот Василь, что был прежде! Ах, владыка небесный, как Василь пил — окна звенели! Однако же вошел и поцеловал сразу — вот это товарищ! «Помогай тебе бог, Юрай». Да на лбу у меня написано, что ли, как мне не повезло дома? Ну, не повезло, так еще повезет, все образуется. Полегоньку, потихоньку, глядь, и стану своим в доме. Денежки у меня есть, Василь. Я и поле могу купить, и коров, сколько вздумается, хоть целую дюжину. Погоню их на выпас, на самый Воловий Хребет. А вечером зазвонят двенадцать колокольцев, и Полана побежит к воротам, словно девушка...

В трактире тихо, хозяин дремлет за стойкой. Что ж, человеку полезно одиночество. Голова кружится, кругом идет, от этого, милый, в ней лучше укладываются мысли. Пора домой. Двинусь-ка я потихоньку, полегоньку, медленно, шаг за шагом, как возвращается стадо. А что, если примчаться домой, как лихая запряжка, ворваться вихрем

во двор, чтоб искры посыпались, выпрямиться, горделиво поднимая вожжи, и спрыгнуть — вот он я, Полана! Теперь уж не выпущу тебя! Подниму высоко, отнесу в дом на руках, обниму — дух захватит. Какая ты мягкая, Подана. Восемь лет, восемь лет думал я о жене и теперь вот иду к ней...

Гордубал стискивает зубы, — на лице перекатываются желваки. «Эй, кони лихие, эй! Пусть нас слышит Полана, пусть дрогнет от испуга и радости, пусть знает — муж вернулся!»

VII

Пьяный идет Гордубал домой. А кругом лунная ночь. Захмелел, потому что отвык от водки, отвык от таких мыслей, потому что идет к жене. Что ты хмуришься, месяц? Я ли не иду тихо, я ли не иду так легко, что и росинка с травы не упадет? Эге, собаки-то как разбрехались в деревне — идет, мол, Юрай Гордубал, вернулся после восьмилетней разлуки, ишь как руки расставил, не терпится ему обнять жену. Вот ты и у меня в руках, Полана, да все мало мне, хочется чувствовать тебя коленями, и губами, сжимать пальцами... Полана, Полана!.. Что хмуришься, месяц? Да, я пьян, потому что пил для смелости, потому что хочу ворваться в дом, зажмурить глаза, взмахнуть руками — вот и я, Полана, я всюду, где твои руки, твои ноги, твои губы... Какая же ты большая, ладная, как хорошо обнимать тебя...

Идет Гордубал лунной ночью и дрожит всем телом. Не окликну, не скажу ни слова, не смущу ее покоя. Войду тихо, тихо. Вон та светлая тень — это ты... Не называй меня по имени, это я. Ничто не шелохнется, так бережно я обниму тебя, не нарушу лунного покоя, не скажу ни слова, не дохну... Ах, Полана, станет так тихо, что будет слышно, как падают звезды.

Нет, нет, не там светит месяц, не на нас он хмурится. Светит он над черным лесом, а у нас дома темно, у нас дома одна темнота дышит. Пошаришь руками и найдешь жену. Спит она или не спит — не видать, но все здесь полно ею. Она тихо смеется и подвигается, чтобы и ты мог лечь. Но разве хватит места для такого верзилы, придется ему втиснуться в ее объятия. А она шепчет тебе

что-то на ухо, ты и сам не поймешь, что — ведь слова холодны, но горяч приглушенный шепот; и еще гуще становится тьма, она такая густая и плотная, что к ней можно прикоснуться, и это уже не тьма, а жена, ее волосы и ее плечи, ее прерывистое дыхание у твоего лица. «Ах, Полана, — шепчет Гордубал, — По-ла-на!»

Тихо отворяет он калитку и вздрагивает. На крыльце в лунном свете сидит Полана и ждет.

— Полана, — бормочет Гордубал, и сердце у него замирает, — почему ты не спишь?

Полана дрожит от холода.

— Жду тебя. Я хотела спросить: летом мы получили за двух лошадей семь тысяч, так как... что ты думаешь...

— Ах, вот оно что, — отзывается Гордубал нерешительно, — ну, ладно, мы завтра потолкуем.

— Нет, сейчас, — упорствует Полана, — для того я и ждала тебя. Не хочу я больше ходить за коровами... и работать в поле... не хочу!

— Ну, и не будешь, — говорит Гордубал, уставясь на ее руки, белеющие в лунном свете. — Теперь я здесь. Я буду работать.

— А Штепан?

Юран молча вздыхает. К чему сейчас рассуждать об этом?

— Ну, — ворчит он, — на двоих у нас работы не хватит.

— А как же лошади? — быстро возражает Полана. — За ними кто-то должен ходить. Ты ведь не умеешь...

— Верно, — соглашается Гордубал, — ну, да там видно будет.

— Я хочу знать сейчас, — твердит Полана, сжимая кулаки.

Ишь ты какая быстрая!

— Как хочешь, Полана, как хочешь, — слышит Гордубал свой голос. — Пусть останется Штепан, голубушка. Я с деньгами приехал, все для тебя сделаю.

— Штепан умеет ходить за лошадьми, — говорит Полана, — такого не скоро найдешь. Он пять лет у меня служит. — Она встает, странная и бледная в лунном свете. — Покойной ночи, Юрай. Иди потише, Гафия спит.

— А ты? Ты к-куда? — спрашивает пораженный Гордубал.

— На чердак, спать. Ты хозяин, тебе в избе спать. — В выражении ее лица мелькает что-то упрямое, злое. — Штепан спит в конюшне.

Недвижно сидит Гордубал на крыльце и смотрит в лунную ночь. Так, так. Голова совсем не варит, как деревянная. Что-то засело в мозгу, не дает покоя. «Ты хозяин, тебе в избе спать». Так, так.

Где-то вдали тявкает собачонка, в хлеву звякнула цепью корова. «Тебе в избе спать». Эх, голова мякинная! Сколько ни качай ею, трещит — и все тут. Ты, мол, хозяин. Все твое: эти белые стены, двор, все хозяйство кругом, целая изба для тебя, вон какой ты барин, можешь развалиться один на постели. Ты — хозяин! Но отчего же это никак не встать, почему голова такая тяжелая? Видно, водка была скверная, видать, подлил мне древесного спирта чертов шинкарь. Однако ж шел-то я домой чуть ли не с плясом... Так. Значит, в избе. Хочет Полана уважить хозяина, как гость будет он спать... Безграничная усталость охватывает Гордубала. Ага! Полана хочет, чтобы он отдохнул, набрался сил, малость понежился с дороги. И то верно, устал он, сил нету подняться, ноги, как студень... А месяц уже забрался на крышу.

— «Про-бил один-над-ца-тый час, хра-ни свя-тый боже нас!» — кричит нараспев ночной сторож. В Америке так не кричат. Странная ты, Америка! Только бы сторож меня не увидал — нехорошо, — пугается вдруг Гордубал и неслышно, как вор, крадется в избу. Снимая пиджак, он слышит тихое дыхание. Слава богу! Полана здесь, она пошутила. А я-то, дурень, торчу на дворе. Юрай тихо-тихо подкрадывается к постели, протягивает руку. Мягкие волосы, тонкие слабые ручки — Гафия! Ребенок что-то пробормотал во сне и уткнулся лицом в подушку. Да, Гафия. Юрай тихонько садится на край постели, поправляет одеяло на девочке. Ах, боже мой, как же тут лечь, разбудишь ведь ребенка. Полана, верно, хотела, чтобы девочка привыкла к отцу. Так, так. Отец и дочка в избе, а она на чердаке.

Новая мысль вдруг осенила Юрая и не дает ему покоя. «Иду на чердак», — сказала она. А что, если это нарочно?.. Мол, ты глупый, можешь прийти ко мне. Знаешь ведь, где я — на чердак пошла спать. На чердаке-то нет Гафии. Гордубал стоит в темноте, точно столб, и сердце у него колотится. Полана — гордая, она не скажет —

возьми меня. Нужно ее добиваться, как девушки, надо искать ее в потемках, а она беззвучно засмеется: «Ах, Юрай, глупый ты, восемь лет я тебя ждала...»

Тихо-тихо крадется Юрай на чердак. Экая тьма! Полана, где же ты, я слышу, как стучит твое сердце.

— Полана, Полана! — шепчет Гордубал и шарит в потемках.

— Уйди, уйди! — жалобно, почти как стон, раздается в темноте. — Я не хочу, прошу, Юрай, прошу тебя, прошу...

— Я ничего, Полана, — отчаянно пугается Гордубал, — я только... спросить... Хорошо ли тут тебе спать?

— Прошу тебя, уходи! Уходи! — дрожит от ужаса во тьме голос жены.

— Я хотел сказать... — заикается Гордубал, — все будет по-твоему, голубушка. И лужки на равнине можешь прикупить...

— Уходи, уходи! — не помня себя кричит Полана, и Юрай стремглав скатывается вниз, точно в пропасть. Но нет, не упал он в пропасть, а сидит на нижней ступеньке... и все-таки падает в бездну. Так глубоко упасть, о господи, так глубоко! Кто это тут стонет, а? Это ты, ты! Я? Нет, это не я, я еле-еле дышу. Я не виноват, если громко застонал... И еще, и еще... Ну, не стыдись же, дай себе волю, ты дома, ты хозяин!

Гордубал сидит на ступеньке и тупо смотрит перед собой. «Тебе в избе спать, — сказала она, — ты хозяин». А, вот оно что! Восемь лет ты, Полана, была сама себе хозяйкой и сейчас сердишься, что есть и над тобой хозяин. Эх, голубушка, поглядела бы ты, какой это хозяин: сидит на ступеньке и хнычет, словно малец. Утереть бы ему нос передником. Вот так хозяин! Гордубал неожиданно чувствует улыбку у себя на губах. Да, да, он смеется, — хозяин! Какой он там хозяин. Батрак! Батрак пришел к коровам, госпожа моя, а ты, Полана, будешь хозяйкой. Как барыня будешь жить, будут у тебя коровы и кони, Штепан и Юрай. Коров для тебя выхожу, Полана, — загляденье! И овец тоже. Все твое будет, всем будешь заправлять.

Вот и сердце успокоилось, и в груди не хрипит. Гордубал вбирает в себя воздух, расправляет легкие, как кузнечный мех. Что ж, хозяйка, батраку не место в избе. Батрак пойдет спать в хлев — вот где его место. Там

спится лучше, там человек не один, рядом слышно живое дыхание. Когда ты один, страшновато вслух разговаривать, а с коровой можно поговорить, она повернет голову и выслушает тебя. Хорошо спится в коровнике.

Тихо-тихо бредет Юрай в хлев. Вот он — теплый запах скотины; звякнула цепочка на загородке. Это я, коровушки, это я! Слава богу, соломы хватит, чтобы выспаться человеку.

Пробил две-над-ца-тый час,
Храни свя-тый бо-же нас...

Нет, этого не было в Америке!

Бабы, лучины не жгите без толку.
Ночью от них до беды недолго...

Туу-туу-туу! — слышно издалека, точно рев коровы. Это ночной сторож трубит в рог.

VIII

Штепан закладывает телегу.

— Добрый день, хозяин. Хотите поглядеть на лужки?

Юрай хмурится. Что я, барский приказчик, чтоб ездить в телеге осматривать поля? А впрочем, почему бы не съездить? Дома делать нечего, некуда даже на покос выйти. Взглянуть разве на Поланины владения.

На Штепане широкие холщовые штаны и синий фартук. Сразу видать — из степи. И черномазый, как цыган. Гикнет на коней — упряжка летит с грохотом, со звоном. Юрай ухватился за телегу, а Штепан стоит, сдвинув шапку на затылок и высоко подняв вожжи, размахивает бичом над лошадиными спинами. Ну, ну, полегче, нам ведь не к спеху!

— Слушай, — недовольно ворчит Юрай, — зачем ты так сильно натягиваешь вожжи? Смотри, как они дергают мордой. Больно ведь им!

Штепан оборачивается, ухмыляясь.

— Так нужно, хозяин. Чтобы повыше держали голову.

— Зачем? — возражает Гордубал. — Пусть держат, как привыкли.

— За это хорошо платят, хозяин, — объясняет Штепан. — Всякий покупщик первым делом смотрит, как конь

голову держит. Вы гляньте-ка, сударь, гляньте — как они славно бегут: одними задними ногами, а передними только перебирают. Н-но!

— Да не гони ты их так! — просит Гордубал.

— Пусть учатся *бегать*, — равнодушно возражает *Штепан*. — Какой прок, хозяин, от смирного коня?..

А как возит Штепан Полану? — думает Гордубал. Наверно, вся деревня оборачивается: вон едет Гордубалова жена. Ну, прямо помещица! Гордая, руки сложила на груди. А чего не быть ей гордой? Слава богу, Полана не как все женщины. Крепкая и прямая, что сосна. Дом построила, словно барская усадьба, семь тысяч взяла за пару коней, значит, можно держать голову высоко. Это, братцы, всегда на пользу!

— Вот она, *степь*, — показывает кнутом *Штепан*. — До тех акаций вся земля хозяйкина.

Весь разбитый, Гордубал слезает с телеги. Растрясталки меня, дьявол! Так вот она, степь? Вправду, трава по пояс, да сухая, жесткая. Нет *уж*, — брось ты басни рассказывать! — где тут свеклу посадишь? Степь, она степь и есть.

Манья чешет в затылке.

— Прикупить бы, хозяин, еще вон тот кусок, и можно хоть три десятка коней пасти.

— *Ну*, — возражает *Гордубал*, — трава-то совсем сухая, ни жиринки в ней.

— А на что он, жир? — ухмыляется *Штепан*. — Конь, хозяин, должен быть поджарый. На убой его откармливать, что ли?

Гордубал не отвечает. Подходит к лошадям, гладит их по мордам.

— Ну, ну, малыш, ты молодец, не бойся... Что прядешь ушами? Экий ты умница! Ну, чего хочешь, почему бьешь копытом?

Штепан распрягает лошадей, выпрямляется и говорит резко:

— С конями разговаривать нельзя, хозяин. Испортятся.

Гордубал быстро оборачивается. Дерзость такая — да хозяину? Нет, верно, он просто так. Не хочет, чтобы лошади ко мне привыкали. Да я не буду в твои дела путаться, бес ты эдакий. Ну-ну, не злись!

Штепан пускает лошадей пастись и берет косу — накосить сена. Эх, дурень, надо было взять с собою и вторую косу, — вздыхает Юрай и принимается разглядывать горы над Кривой. Вот где настоящие поля! Правда, камней многовато, но зато картошка, овес, рожь растут. Тут вот рожь еще не снята, а там уже вяжут снопы.

— А кто же купил наше поле наверху, Штепан?

— Какой-то Пьоса.

Ага! Пьоса. Андрей Пьоса — Гусар. Вот почему он тогда в корчме не подошел. Совестно ему, что выманил землю у бабы. Юрай глядит вверх. Странно! Поле Гордубала точно спустилось с гор и разлеглось здесь, в степи...

— А Рыбары где? Тут, внизу? — интересуется Гордубал.

— Вон там, — говорит Штепан. — В той стороне. Три часа езды отсюда.

— Три часа! Не близко, стало быть, до Рыбар.

Гордубал от нечего делать срывает стебелек и жует его. Трава кислая какая-то, скрипучая. Нет, у нас в горах на полонине трава совсем другая на вкус, пряная, тимьяном отдает. Юрай бредет по степи все дальше и дальше. Экая гладь, ничего не видно, одно небо, да и то какое-то пыльное, не то что в горах. А вот кукурузное поле. И вправду, высока кукуруза, в человечий рост, настоящие заросли. А что толку? Разве свиней сюда пустить? Нива — это другое дело, она как тулуп.

Акация? Юрай не любит акацию. Там, наверху, терн и шиповник, рябина и можжевельник и никаких дурацких акаций.

Уже скрылся из вида Манья в фартуке и высоких сапогах. Как это так — не поговорить с конем? Конь — умная тварь, не хуже коровы. От слов он смирней делается.

Степь расстилается перед Юраем, нагоняя на него тоску. Словно море, — куда ни глянь, везде одно и то же. Поднял голову Юрай — посмотреть на вершины. Эх вы, горы, горы, и вас равнина делает маленькими, незаметными. А пошагай-ка в гору, поймешь, что это за край! И Юрай, не выдержав, отправляется домой пешком, махнув рукой на Штепана с его телегой. «Погляжу по дороге на хлеба», — думает он.

Целый час идет Гордубал, а горы все еще далеко. Экая жара тут, и ветерок не повеет; вот она, степь ваша.

Подумать, так далеко завез меня Штепан! Знай понукает коней — и мы уже на краю света. Резвые рысаки у Поланы. «Какой прок, хозяин, от смирного коня?»

Гордубал шагает уже добрых два часа. Слава богу, вот наконец и деревня. Нищий цыганский табор раскинулся среди зарослей белены и дурмана. Вот и кузница у дороги. Гордубал останавливается, озаренный неожиданной мыслью. Постой, Полана, я тебя потешу. Он заворачивает к кузнецу.

— Эй, мастер, сделайте мне крюк.

— Какой крюк?

— Ну, крюк как крюк, к дверям, для запора. А я подожду.

Кузнец не узнает Гордубала — в кузнице темно, и горн слепит глаза. Крюк так крюк. Кузнец с грохотом кует железо.

— А что, кузнец, хороши кони у Гордубаловой?

— Ну и кони, — не кони, а черти! Только для господ они, не для мужицкой работы, дядюшка. А подковать их — ого! Два парня держат такого беса.

Гордубал глядит на раскаленный кусок железа. Да, принесу я, Полана, кое-что для твоего хозяйства.

— И дорого стоит такой конь, а, кузнец?

— Разрази меня гром! — плюет кузнец. — Слышал, что хотят за него восемь тысяч. Эдакие деньги за лошадь! А какой от нее толк? Охромеет такой леший — и все тут. Не в пример лучше гуцульский коняга или мерин: спина как алтарь, грудь будто орган в церкви. Куда там! Эх, в старину бывали кони! А нынче трактор! Говорят, помещик луга продает, — зачем, мол, сено, и кони ни к чему, теперь всюду машины.

Гордубал кивает головой. Верно, машины — как в Америке. Надо приглядеть, чтобы Полана не наделала глупостей. Наедут машины — что тогда с лошадьми делать? То-то и оно. Нет, нет, Полана, не отдам я своих долларов на луга. Поле и коровы — другое дело, а машиной сыт не будешь. Как? Думаешь, от коров и поля доходу нет? Мало ли что: может, и нет, зато хлеб свой и молоко. Так-то!

Получив не остывший еще кусок железа, Гордубал отправляется домой. Кажется, Полана варит обед. Юрай прокрадывается по лестнице на чердак и укрепляет крюк на дверях изнутри. Вот. Теперь еще петельку...

По лесенке подымается Полана и, сдвинув брови, смотрит, что это мастерит Гордубал. Сейчас, верно, спросит. Нет, не спрашивает, только смотрит в упор.

— Готово, Полана, — бормочет Гордубал, — я приделал тут крюк, чтоб ты могла запираться.

IX

Глупо это выходит, Юра, Юрай? Ходишь по двору, глядишь по сторонам и не знаешь, за что приняться. Капусту разводить? Не мужская это работа. Кормить кур? Свиней? Это тоже бабье дело. Дров ты уже напилил, наколол, забор починил, еще кое-что смастерил из досок, а теперь бездельничаешь, как старый Кирилл, что трясет бородой там, на дворе, у Михала Герпака. А соседки судачат — хорош хозяин, руки в карманы да зевает во весь рот. Гляди, пожалуй, челюсть вывихнешь!

Внизу, на лугах, Манья. Ну и что? «Нельзя с конями разговаривать» — и все. Торчи себе там один, на что мне твоя степь. Ишь ты, батрак, явился бог весть откуда и учит еще: «Вы бы то-то и то-то сделали, хозяин». Не твое дело мне указывать. Однако ж, ежели что из дерева сработать надо, я сделаю... Раньше лес рубили, а теперь, слыхать, и на дерево спросу нет. Лес на корню гниет, а лесопилки стоят.

Господи, одно осталось — коров пасти! Не двух — люди бы засмеяли, — а дюжину. Погнать бы их на Воловий Хребет да топор захватить — от медведей. И никто не скажет — не разговаривай с коровами. На скотину покрикивать надо.

Но Полана и слышать не хочет, — за корову, мол, мясник восемь сотенных даст, да и то из одолжения. Ну, что мясник, мясник! Выхаживать скотину и для себя можно. Но коли не хочешь, ладно. А на лужки в равнине деньги тратить не стану!

Или запрячь коров в телегу — и в поле снопы возить. Шагаешь, шагаешь, рука на ярме — пошевеливайся, эй-эй! Торопиться некуда — идешь в ногу с коровами. Даже в Америке не научился Гордубал ходить иначе. Как нагрузишь телегу снопами, колеса придержишь за спицы и чувствуешь, будто весь воз в твоих руках. Тогда, слава богу, понятно, на что тебе руки даны. Вот это, Полана,

мужская работа. Ах, смилуйся, боже, какое безделье, зря пропадают руки! Да какие руки — крепкие, умелые, американские.

Тебе-то что, Полана, — у тебя все кипит, дела всегда хватает, тут — куры, там — свиньи, еще в кладовку поспеть надо. А мужчине срам стоять у забора! Хоть бы сказала ты: «Юрай, сделай то и это». А ты носишься стрелой, словом с тобой перекинуться не успеешь. Я мог бы тебе про Америку рассказать. Там, Полана, парню можно и подметать, и посуду мыть, и пол скрести, и ему не стыдно. Привольно живется бабам в Америке. Ты вот хмуришься, чуть я возьму что-нибудь в руки, мол — не годится это, люди смеяться будут. Ну что ж, пускай смеются, дурни. Пойду в конюшню — лошадей накормить, напоить, — дуется Штепан. Нельзя, видишь ли, с конями разговаривать. Он все знает! Ходит злющий, того и гляди, сожрет меня глазищами. С хозяйкой словом не обмолвится, отвечает нехотя, знай глазами зыркает. Злится, лицо пожелтело от злости, сам себя точит... И Полана его боится, говорит: «Сходи, Гафия, скажи Штепану, чтобы сделал то-то и то-то, спроси Штепана о том о сем». Гафия не робеет. «Дядя», — позовет, а он ее покачает на коленке: «Вот так, Гафия, жеребенок скачет, так идет кобыла». И запоет. А увидит кого, сразу будто в рот воды наберет, и спрячется в конюшню.

Гордубал чешет затылок. Черт знает, почему меня боится Гафия. Одна играет, а как приду — глазенки вытаращит и удрать норовит. Ну, беги, беги. Эх, Гафия, я бы вырезал тебе игрушки, только прижмись к моему плечу и гляди, что выйдет. А сколько бы я порассказал тебе об Америке, дочка: негры там, и машин пропасть... Ну, да бог с тобой, Гафия, иди к своему Штепану. Не тронь ее, Полана: битьем никого не выучишь. Вот кабы и ты ко мне подсела, кабы мы вместе потолковали, пришла бы и Гафия послушать, оперлась бы локтем о мое колено. Уж я бы порассказал — дитя и рот разинет. Ну, авось зимой у печки...

Внизу в деревне гогочут спугнутые гуси и грохочет телега — это возвращается Манья. Юрай махнул рукой и ушел за амбар. Не буду я тут стоять, нос к носу с ним. Всего-то охапку сена привез, а шуму — на всю деревню. За амбаром тихо, хорошо, тут человек как у Христа за

пазухой. Эх, сад запустили! Раньше тут груши и сливы росли, а теперь — ничего. Того нет, чтобы вырубить старые деревья и осенью посадить саженцы. Ничего не осталось, одни бесплодные деревца. Бог с вами! Был тенистый садик, а теперь крапива растет да свиньи роются. Господи боже!

Не думай, Полана, я в Америке многое повидал. Глядел да приглядывался, — вот, мол, неплохо бы это завести и у нас. Хорошие у них есть вещички, удобные, полезные, всякие такие приспособления. А какие овощи там разводят! Либо кроликов. Лучше бы кроликов, ведь у нас много ботвы от овощей. Все бы пошло на лад, все бы я устроил, только бы ты захотела, Полана, только взглянула бы одним глазком — что, мол, такое Юрай мастерит.

Что это, Юрай? Клетка для кроликов. То-то Гафия порадуется! И шубку ей сошьешь. Или, скажем, голубятня. А не хочешь ли пчелок, Полана? Я бы сделал ульи, настоящие, не колоды, а ульи со стеклышками сзади, чтобы был виден рой. У нас в Джонстоне майнер был один, поляк, великий охотник до пчел; у него, знаешь, даже сетка была такая, надевать на голову... Человек всему может научиться. Лишь бы ты захотела, Полана, лишь бы глянула. Спросила хотя бы: «Как вот это делают в Америке?» Нет, не спросит! А когда не спрашивают — трудно говорить. Совестно что-нибудь делать только себе на радость; для себя — точно в игрушки играешь. А для другого — плюнешь на руки и пошло. Вот как оно бывает, Полана.

Слава богу, вон уж со звоном возвращается стадо, вечер настал. Сейчас придут наши коровушки, надо их привязать, напоить, погладить. Гафия кричит: «Штепан, батя, вечерять!» Штепан громко хлебает, Полана молчит, Гафия шепчется с дядей Штепаном. Ну, что с ними поделаешь? Покойной ночи всем.

Гафия в избе, Полана на чердаке, Штепан в конюшне.

Еще разок обойти двор и забраться в хлев спать. Руки под голову, и можно разговаривать вслух. Поговорить с самим собой о том, что бы еще затеять и как бы все могло быть. А коровы все понимают — повернут головы и глядят...

X

— Передай, Гафия, что я вернусь к вечеру.

Кусок хлеба с садом — и айда в горы! У Гордубала легко и немного грустно на душе, как у ребенка, который удрал от матери. Он глядит на деревню сверху. Что-то переменилось в ней? Но что же? Что? Прежде тут было Гордубалово поле. Правда, было, да говорят, одни каменья. Однако ж Пьоса убрал рожь, есть у него тут и картошка, и полоска льна. Смотри, как сошлось старое Пьосово поле с Гордубаловым. А повыше, где рябины, — оттуда вся деревня видна как на ладони. Как не подивиться божьей премудрости: Кривой называется деревня, и верно — свернулась, словно корова лежит. Крыша за крышей, все одинаковые, будто стадо овец. А вот та белая усадьба — Поланина. Будто чужая здесь, думает Юрай. Крыша новая, красная; так и спросил бы: кто это здесь поселился? Верно, из степи кто-нибудь, там у них дерева нет, привыкли крыть черепицей...

Равнина. Отсюда видна и равнина. Синяя, ровная, как море, ну, равнина — и все тут. Потому они и ездят быстро, что скучна им дорога. Шагаешь, шагаешь, и все словно на одном месте. Нет, не пошел бы я на равнину без дела. А здесь! Разве можно сравнить: на душе праздник; идешь куда глаза глядят — а вокруг знакомые все приметы. Вот сейчас до поворота через ручей, потом до той елки, через выгон, вверх, а оттуда прямо в лес. К полудню дойдешь до леса, — сплошной бук, стволы светло-серые, словно на них туман лег. Повсюду, как огоньки, цветут цикламены. А вон погляди, какой славный гриб! Лезет из сухих листьев, так и прет — белый, крепконогий. Знаешь что, гриб, оставайся ты тут целый, невредимый. Не нарву я даже кукушкиных слезок и колокольчиков, только букетик земляники наберу для Гафии, там, на опушке, где она слаще.

Гордубал останавливается, затаив дух: серна! На другой стороне склона стоит серна, светлая, чуть-чуть желтоватая, как прошлогодняя листва, стоит в папоротнике и прислушивается. Кто там: человек или пень? Я пень, я чурбан, просто темный сук. Только не убегай! Неужели и ты боишься меня, зверюга лесная? Нет, не боится. Щиплет листок за листком да поглядывает, словно коза. Потом блеет — бе-бе — и, топнув копытцами, мчится дальше.

Юрай вдруг чувствует себя счастливым, легко шагается ему в гору, ни о чем не хочется думать. Идет себе и идет, хорошо ему.

— А я видел *серну*, — скажет он вечером Гафии.

— Где?

— Да где же, как не в горах. В степи, Гафия, серн не бывает.

А вот и... никто не знает, что это такое: развалившийся старый *сруб*, — что за бревна, хоть колокольню строй! — зарос коровяком, «вороньим глазом», дикими лилиями, чемерицей, папоротником и геранькой. И впрямь диковинное место, словно заколдованное: лес тут на север глядит — лес черный, заросший мхом. Черна и топка здесь земля. Говорят, тут бродит нечистая сила. Грибы растут какие-то белесые, бесцветные, студенистые. И всегда здесь сумрачно и дико. Ни белки не слыхать, ни букашки, один черный лес кругом. Дети боятся ходить сюда, да и мужик войдет — перекрестится. Вот и *опушка*, — черника по колено, а лишайнику сколько! Колючие кустики ежевики хватают тебя за ноги. Эх, нелегко выпускает лес человека на полонину, надо через кустарник продираться, словно ты кабан. Вдруг — бац, словно выпихнули тебя из лесу, словно лес сам тебя *вытолкнул*, — и ты на полонине. Слава богу, наконец-то выбрался!

Широка ты, полонина, лишь кое-где поднимаются ели, большие, крепкие, как храм божий.

Хочется шапку снять и поздороваться вслух: «Здравствуйте». Трава гладкая, скользкая, короткая, ступать по ней мягко, как по ковру. Длинная открытая полонина лежит среди лесов. Раскинулось широко над нею небо, словно разлегся добрый молодец — грудь нараспашку, лежит себе да глядит в окна божьих теремов... Ох, как легко дышится!

Юрай Гордубал стал вдруг совсем маленьким, он как муравей бежит по широкой поляне. Куда ты, куда, муравеюшка? А туда, на гору, на самое темечко — пастись вместе с другими черными мурашками. Вон куда я спешу. Широка ты, широка, полонина.

Широка, о господи! Скажешь ты про те красные точки, что это стадо волов? Хорошо господу богу — глядит себе сверху и думает: вот это черное пятнышко — Гордубал, а вон то светлое — Полана. Посмотрим, сойдутся они или придется их подтолкнуть пальцем.

А тут, глядь, со склона что-то черное прямиком к Гордубалу мчится. Несется кувырком по косогору, прямо под ноги. Да кто ты такой? Ах ты черный песик! Что разоряешься, лаешь? Ну, иди, иди, разве похож я на вора? Подойди сюда, ты молодчина, пес. Иду повидать пастуха в горах. Вон уж и стадо слыхать.

— Гей! — кричит Гордубал пастуху.

Большеглазые волы спокойно поглядывают на Гордубала и продолжают пастись, помахивая хвостами. Пастух стоит неподвижно, как куст, и молча смотрит на пришельца.

— Гей! — кричит Юрай. — Это ты, Миша? Ну, слава богу.

Миша глядит и — ни слова.

— Не узнаешь? Я — Гордубал.

— А-а, Гордубал, — говорит Миша, не удивляясь. Чему удивляться?

— Я из Америки вернулся...

— Чего?

— Из Америки.

— А, из Америки.

— Чьих волов пасешь, Миша?

— Чего?

— Чьи волы, говорю?

— А, чьи волы! Из Кривой.

— Так, так, из Кривой. Хорошая животина. А ты как, Миша, здоров? Я пришел тебя повидать.

— Чего?

— Ну, повидать.

Миша — ни слова, только хлопает глазами. Отвыкаешь говорить здесь, в поднебесье. Гордубал ложится на траву, опершись о локоть, и жует стебелек. Здесь другой мир, здесь говорить не полагается, да и не надо. С апреля до сентября пасет стадо Миша, неделями души живой не видит.

— Скажи, Миша, был ты когда-нибудь там, внизу, в степи?

— Чего?

— В степи, говорю, был, Миша?

— А, в степи? Нет. Не бывал.

— А наверху? На Дурном бывал?

— Бывал.

— А за той горой?

— Нет. Не бывал.

— Вот видишь, а я в самой Америке был. Да что проку? Даже жену свою — и ту не понимаю.

— Там, — говорит Миша, — там не такие выгоны.

— Слушай, — спрашивает Юрай, как допытывался, бывало, еще мальчишкой, — что такое там было, где сруб в лесу?

— Чего?

— Сруб, говорю, в лесу.

— А, сруб.

Миша задумчиво попыхивает трубкой.

— Кто его знает. Говорят, разбойники крепость ставили. Да мало ли что болтают...

— А верно, что там нечистый ходит?

— И то!.. — неопределенно отзывается Миша.

Гордубал переворачивается на спину. Благодать, думает он себе. А что там внизу, и не знаешь. Люди суетятся, мешают друг другу, вот-вот сцепятся, как петухи; стиснешь зубы — только бы не закричать.

— Жена у тебя есть, Миша?

— Чего?

— Жена у тебя есть?

— Нету.

Над равниной не увидишь таких облаков. Небо там пустое. А здесь их — точно коров на выгоне. Человек лежит на спине и пасет облака. Они плывут, и он плывет с ними, даже странно — какой он легкий, поднимается вместе с облаками! Куда же идут эти тучки, куда денутся вечером? Растают. Но разве может что-нибудь исчезнуть просто так?

Гордубал опирается на локоть.

— Хочу спросить тебя кой о чем, Миша. Не знаешь ли ты какой приворотной травы?

— Чего?

— Траву приворотную знаешь? Ну, чтоб девка в тебя влюбилась.

— А, — ворчит Миша, — на что мне?

— Да не тебе, а, скажем, другому надобно.

— На что она? — сердится Миша. — Не к чему.

— А все-таки знаешь ты такую траву?

— Не знаю, — отплевывается Миша. — Что я, цыганка?

— Да ведь лечить ты умеешь?

Миша ни слова, только помаргивает.

— А ты нешто знаешь, какой смертью умрешь? — говорит он вдруг.

Гордубал садится, и сердце у него учащенно колотится.

— Думаешь скоро, дядя Миша?

Миша задумчиво моргает.

— А кто его знает. Долго ли жить человеку!

— А сколько лет тебе, Миша?

— Чего?

— Сколько лет тебе?

— А я не знаю. На что знать?

— Правильно, на что знать? — вздыхает Гордубал.

Зачем, к примеру, знать, о чем думает Полана. Там, внизу, человек мучится от этого, а здесь думай, голубка, что хочешь. Была бы счастлива — не думала бы. Просто чудно, как все это далеко отсюда, так далеко, прямо сердце замирает. Когда человек один остается, он точно с большущей высоты на себя смотрит и видит, как он суетится, сердится, волнуется... А сам-то всего-навсего эдакий перепуганный, маленький муравеюшка, который не знает, куда деться.

Великое спокойствие нисходит на Юрая. Такое великое, что сердцу больно. Гляньте-ка, эдакий мужик, а вздыхает, вздыхает под бременем благодати. Эх, как не хочется вставать и спускаться в деревню. Да что там — не хочется, просто сил нет. Лежать бы здесь тихо, тихо, чтобы в душе все смирилось и улеглось. Лежать дни и недели, лежать, пока все утихнет и заживет. Лежать дни, лежать недели и ждать, пока все успокоится внутри. Пусть ворочается купол небесный, пусть вол наклоняет над тобой голову и фыркает прямо в лицо, пусть сурок приглядывается — человек ты или камень. Камень, конечно, и зверек прыг на тебя, поднимается на задние лапки и прислушивается... Гордубал лежит, раскинув руки: нет сейчас ни Гордубала, ни Поланы, только небо, земля, ветер и звяканье коровьих колокольцев. Облака тают, как дыхание на стекле, от них не остается и следа... Вол небось думает: хлопот-то у меня сколько, а сам всего-навсего пасется, позвякивая бубенцом...

Зачем знать? Смотри. Ведь и бог смотрит. У него громадный, спокойный коровий глаз. Ветер гудит, и кажется,

что это гудит само время. И откуда только оно берется?.. Зачем знать?

Скоро вечер, Юрай возвращается домой, идет лугами, входит в лес — шагает легко, размашисто. На душе у него умиротворение, ничто не тревожит его. Ладно, По-ана, не буду больше торчать у тебя на глазах, тесен двор для двоих. Найдется где-нибудь работенка, а если нет, заберусь сюда наверх, посижу до вечера. Долго ли жить человеку? Зачем, скажи на милость, двум муравьям мешать друг другу, ведь места хватает, непонятно даже, откуда его столько. А я могу и издалека поглядывать на свой дом. Слава, богу, вершин у нас не перечесть. Можно забраться высоко, высоко, под самую бороду богу, и глядеть оттуда. Залезть туда, где гуляют только облака и тают, как пар.

Уже слышен звон стад, а Гордубал все еще сидит на поросшей тимьяном меже, держит букетик ягод в руке и глядит вниз на новую красную крышу. Двор виден как на ладони. Взять бы Гафию сюда и показать ей — гляди, Гафия, чем не игрушка?

На двор выходит крохотная светлая фигурка и останавливается. А вон из конюшни появляется другая фигурка — темная, идет к первой и становится рядом. Они не двигаются, как игрушечные. Муравьи — те шевелили бы усиками, бегали бы взад и вперед, а люди чудные, стоят рядом — и ничего больше. «Зачем знать?» — думает Гордубал. Но странно, почему они так долго, так неподвижно стоят?! Даже страшно делается — стоят и не шелохнутся.

Где же, Юрай, мир, что ты нес с гор? Где то бремя, что гнетет тебя? Многое ты взял оттуда, и много в том печали. Раскинул руки и несешь теперь свой крест. А те двое внизу стоят и стоят. Ах, господи, хоть бы уж тронулись с места! Вот наконец светлая фигура сорвалась и исчезла. А черная все стоит, не движется... Ну вот, слава богу, и ее уже нет.

С букетиком ягод возвращается домой Гордубал. Только ягоды принес, да и те забыл во дворе. И опять все четверо сидят за столом. «Я видел серну, Гафия», — хочется сказать Гордубалу, но не выговорить этих простых слов, застревают они в горле, точно большие куски.

Полана не ест, бледная, словно вырезанная из кости. Штепан насупился над тарелкой, мнет пальцами хлеб, и вдруг, бросив нож, убегает, точно подавился.

— Что с дядей Штепаном? — вздыхает Гафия.

Полана ни слова. Молча она убирает со стола, посинела вся, дрожь никак не унять.

А Гордубал уходит к коровам. Лыска поворачивает к нему голову, звенит цепью. Что, хозяин? Почему ты так тяжело дышишь? Эх, Лыска, зачем тебе знать? Тяжко, тяжко все это, хуже, чем цепь. Там, в горах, звякали бы мы с тобой колокольцами, ты да я, — много там места, и богу его хватает. А среди людей тесно. Двое-трое сойдутся, и такая теснота! Что, не слыхать разве, как звенят наши цепи?..

XI

Напился Манья в ту ночь, нажрался как свинья. Не в Кривой, а у корчмаря еврея в Толчемеши. Подрался с парнями, говорят, до ножей дело дошло. Кто знает? Но к утру вернулся, опухший, избитый, отсыпается теперь в конюшне. «Надо бы коней напоить, — думает Юрай, — да не буду я в твои дела мешаться. Нельзя с конями разговаривать. Ну и ладно, смотри за ними сам».

Полана — тень-тенью, глаза бы на нее не глядели. «Ох, и дела! — хмурится Гордубал. — Что делать?»

И душно, душно, как перед грозой, мухи кусаются, не дают покоя. Ох, какой нехороший день! Юрай бредет в сад за амбаром. Да и здесь ему не по себе. Ну что тут делать? Одна крапива, а сколько черепков — не оберешься, и мусора, мусора... Полану не видать, притаилась где-то в клети... Прости тебя бог, Полана, не понимаешь ты, как тяжко мне здесь...

Гордубал озабоченно чешет потный затылок. Быть грозе! Надо бы Штепану убрать сено под крышу.

Гордубал перелезает через плетень, обходит деревню задами, поглядывает на небо — как там?

Деревня сзади — точно стол, когда на него глядишь снизу: один неотесанные бревна да срубы. И будто никто не видит тебя, словно со всем миром ты играешь в прятки; кругом — заборы да лопухи, капуста, объеденная гусеницей, свалка какая-то, белена, дурман и цыгане, цыганские шатры за деревней. Юрай останавливается в нерешительности: куда я зашел, ей-богу. Полана одна, Штепан сам не свой, спит в конюшне...

Сердце вдруг забилось у Гордубала... Черт побери эту цыганку! Сидит прямо на земле, жирная, старая ведьма, ищет в голове у цыгана.

— Чего хочешь, хозяин? — хрипло каркает цыганка.

— Можешь ты сварить приворотное зелье?

— Да как не смочь! — скалит зубы цыганка. — А что за это дашь?

— Доллар, американский доллар, — хрипит Гордубал, — два доллара.

— Эй ты, падаль! — ругается цыганка. — За два доллара собаки не случишь, за два доллара — слышишь? — не заколдуешь и корову.

— Десять долларов, — взволнованно шепчет Гордубал, — десять, цыганка.

Цыганка мигом смолкает и протягивает грязную ладонь. Давай!

Юрай неверной рукой торопливо шарит в кармане.

— Свари крепкое зелье, цыганка, не на одну ночь, не на месяц, не на год. Чтоб сердце смягчилось, чтобы развязался язык, чтобы она радовалась, когда видит меня.

— Гей, — бормочет цыганка. — Илька, разведи огонь.

Морщинистыми руками, похожими на птичьи лапы, она роется в мешке.

Ах, стыд какой! Все небо тучами затянуло, быть грозе. Вари, цыганка, вари лучше. Эх, Полана, видишь, до чего ты меня довела!

Цыганка бормочет, бросая щепотки каких-то снадобий из мешка в котелок. Скверный запах! И от шепота цыганки, оттого что трясет она головою, колдует руками, страшно становится Юраю. Он готов сквозь землю провалиться. Это ради тебя, Полана, только ради тебя. Ах ты, грех какой!

Бежит Юрай к дому, в руках у него зелье; бежит он, торопится — вот-вот грянет буря. Рысцой спешат коровы с грузом жита, разбегаются по домам дети, клубится пыль на дороге. Запыхавшись, открывает Гордубал калитку и на минутку прислоняется к забору. Сердце колотится — не унять. Из-за тебя, Полана!

Из конюшни вдруг выскакивает жеребец-трехлетка, останавливается, ржет и устремляется к воротам.

— О-о! — кричит Юрай и машет перед ним руками.

Из дома выбегает Полана. Конь прянул, взвился на дыбы, носится по двору, вскидывает то передние, то задние ноги, роет копытами землю.

Откуда ни возьмись — Гафия, бежит через двор к матери, пищит от ужаса и вдруг падает. Вскрикнула Полана, взревел Гордубал. Ох, ноги как деревянные, неужто не прыгну...

А из конюшни уже мчится Манья, развеваются широкие белые рукава... Конь на дыбы, а человек вцепился в гриву; конь рвется, да нет, не стряхнуть Штепана, повис он, как дикая кошка.

Рвется конь, мотает головой, подкидывает задом. Хлоп — Манья сброшен, но не выпустил гривы из рук — упав на колени, сдерживает коня.

Только теперь ноги у Гордубала словно ожили. Он бежит к Гафии. Конь волочит Манью по двору, но Штепан уже на ногах и тянет, тянет его за гриву. Гордубал держит ребенка на руках, хочет унести его в дом и замирает на месте, так захватило его зрелище — борьба человека с животным. Полана прижала руки к груди. А Манья засмеялся пронзительно, заржал, точно конь, и галопом, скачками повел укрощенного, фыркающего жеребца к конюшие.

— Возьми ребенка, — говорит Гордубал, но Полана не слышит. — Полана, слышишь, Полана!

Впервые Юрай кладет руку ей на плечо.

— Полана, вот Гафия!

Взглянула. Ах, неужели у тебя и раньше были такие глаза, Полана? Разве дышала ты когда-нибудь так часто полуоткрытым ртом? Как ты похорошела!.. И вот все погасло.

— Ничего с ней не сталось, — бормочет Полана и несет домой всхлипывающую Гафию.

Из конюшни выходит Манья, утирает рукавом кровь с лица, сплевывает кровавую слюну.

— Все в порядке, — бросает он.

— Идем, — зовет его Гордубал, — идем, Штепан, я полью тебе воды на голову.

Штепан фыркает от удовольствия под холодной струей и весело брызгается.

— Было дело, а? — оживляется он. — Взматерел жеребец, хозяин, потому и дикий такой. — Манья ухмыляется, мокрый, растрепанный. — Эх, хорош будет жеребчик!

Юраю хочется сказать: «Молодец ты, Штепан, здорово обуздал коня...» Но между мужчинами ни к чему такие слова. И, проворчав: «Быть грозе», — Гордубал убирается за амбар. Небо потемнело на юге — недобрый знак: идет гроза из степи. Жеребец вырос на славу, а тебя вот уже и ноги не слушаются, не можешь вовремя ребенка поднять. Верно, стар я стал, стар, а, Полана? А может, другое что? Не пойму, отчего это ноги онемели, точно кто заколдовал их?

Господи, как быстро темнеет! Вот и гром загремел. Цыганка зелье дала, а тут видишь — жеребец взыграл. А я не вцепился в гриву коню, перепугался, прилип к месту. Не я, Штепан схватил... Еще бы не схватить — молодой! Ах, Полана, Полана, зачем ты так смотрела на него, отчего зарделась?..

Вот она, гроза, уже здесь, — мечется, как вспугнутый конь, искры летят из-под копыт. А ты не вцепился в гриву коня, онемели у тебя ноги, отказались служить. Не прыгнул ты, не закричал... А Штепан... Тьфу, мерзко цыганское пойло, жеребец от него взбесился, а ты это пойло готовишь Полане. Почему же не ты к жеребцу кинулся? Полана бы смотрела, стиснув руки, и глаза б у нее сияли, как никогда...

Юрай помаргивает, не чувствуя теплых капель на шее.

Небо раскалывается пополам, треск, грохот. Гордубал поспешно крестится и срывается с места. Нет, не все сделано, надо вылить в крапиву цыганкино зелье. И бегом, под навес, глядеть, как бушует буря.

XII

Где же еще быть Юраю? Забился за амбар и думает. Ну, ладно, старый я. А, скажи на милость, с чего это началось? Живешь, ничего не знаешь, сегодня такой же, как вчера, и вдруг — старый. Точно тебя сглазили. Уж не вцепишься в гриву шалому коню, не подерешься в корчме. Берешь ребенка на руки, вместо того чтобы коня ловить. В прежнее время, наверно, не побоялся бы коня. А когда-то ведь дрался я в корчме, славно дрался, даже с Геричем, хоть Василя спроси, Полана. И на тебе — старый... А Полана — не старая.

Ну что ж, хоть бы и старый. Ребенка тоже кому-то надо на руки взять. Эх, Полана, мог бы и я показать тебе,

к примеру, какой я хозяин! Зажила бы ты барыней, девок бы наняла на работу да распоряжалась: «Эй, Марика, кинь зерна курам, да поживее! Аксена, напои коров!» Правда, три тысячи долларов у меня украли, да ведь есть еще семьсот. Можно кое-что сделать. Я, голубушка, недаром в Америке побывал: молодой или старый, а знаю, что к чему на белом свете. Вот, говорят, невыгодно коров держать и всякое такое. Нет, надобно торговать умеючи. В Америке, скажем, мужик не ждет мясника, сам едет к нему в город и пишет договор — столько-то голов в год, столько-то весселей [1] молока в день, ол райт. Вот как дело-то делается! Почему и у нас, скажи на милость, не наладить то же самое? Купить коня и возок. Продай ты своих коней, Полана, я хочу лошадку смирную, с ней и поговорить можно, и в город съездить. Ого, скажут, американец наш всему выучился, недаром поездил по белу свету. Домой приезжает, привозит полный кошель денег. Глядишь, и соседи ко мне потянутся. «Не продашь ли в городе пару гусей, Юрай?» — «Отчего не продать, да только не понесу я двух гусей под мышкой и не стану кричать: «Кому гусей!» Нет, пятьдесят, а то и сто гусей в неделю, — смастерить клетки и айда с гусями в город. Вот как, земляки, бизнес делается. Или дрова — пятьдесят возов дров. Если картофель — так вагонами. Вон он какой, Гордубал, понабрался ума в Америке! Да и ты, Полана, скажешь тогда: умный Юрай, молодым за ним не угнаться. «Эй, Марика, Аксена, хозяин с рынка вернулся, снимите с него сапоги!» А что ты делала целый день, душенька? За хозяйством приглядывала, с батраками бранилась, и еще... еще тебя ждала, Юрай.

Гордубал сидит на пне и раздумывает: попробовать, что ли? А почему бы и нет? Человек до тех пор молод, пока делом занят. Не то, так другое. Купить, к примеру, скалу под Менчулом: камень там как мрамор, — и возить его в город. Разве у них, внизу, есть такой камень? Грязь либо пыль. Небо — и то пыльное. А камень сам ломать буду, мало ли я наломал его в Америке! И с динамитом, братцы, работать сумею. Выдолбишь дыру, заложишь патрон... «Все прочь отсюда! Шевелись!» И — трах! Вот это мужская работа! Верно, Полана? Что против нее — поймать жеребца! Буду ходить с красным флажком в ру-

---

[1] сосуд (от *англ.* vessel); здесь: бидон.

ке: эй, берегись, взрываю! Славно буду греметь, а ты, чужак, лови коней в поле.

Мало ли какие еще можно затеять дела? Что у вас в степи? Ничего, одно ровное место. А здесь, у Кислого ручья, в воде — железо, вода ржавая от него. Под Татарукой какой-то камень в земле блестит, точно смола. Бабы болтают, что в горах закопаны клады. Походить по горам — на Дурной да на Черный Верх, за Татинскую да за Тупую, — кто знает, что там можно найти. В наше время, братцы, добро и под землей ищут. А дома ни словечка. «Завтра, Полана, еду в Прагу, договорюсь с господами». И все. А потом господа понаедут и прямо к Гордубалу во двор. «Добрый день, дома ли господни Гордубал, вы клад отыскали: такой минерал, мы его уже лет пятьдесят ищем». Почему бы и нет? Вот вам и «одни каменья»! Да знаешь ли ты, что в том камне? Не знаешь, так помолчи лучше.

Гордубал смутился. Все это глупости, наверно. Но камень под Менчулом — не глупость. Только волов нужно — пару или две. Серые подольские волы с рогами, как расставленные руки. Ох и животины! Вот так идти бы с грузом камней по дороге, рядом с волами. Э-гей, ц-ц-ц... Шевелитесь! А ты со своими лошадьми — съезжай с дороги. А чьи волы-то? Гордубала. Ни у кого во всем крае таких волов нет!

Гордубал вынимает из-за пазухи кошель и пересчитывает деньги. Семьсот долларов. Двадцать тысяч с лихвой на наши деньги. Солидный капитал, Полана! С ним можно новую жизнь начать. Увидишь еще, какой Юрай молодец. Ум — это сила. Дорого стоит конь, что высоко держит голову, а ты погляди-ка лучше на вола: помахивает головой да тащит на хребте ярмо, и проку от него не в пример больше.

Юрай, покачивая головой, плетется во двор. Во дворе Полана чистит горох. Она хмурится, стряхивает с подола шелуху и уходит в дом.

XIII

Гордубал сидит в трактире, весело ему. Слава богу, сегодня тут шумно: Михальчук тут и Варварин, Подерейчук Михайла, Герпак по прозвищу Кобыла, Феделеш

Михал и Феделеш Гейза, Федюк, Гриц, Алекса, Григорий и Додя-лесник. Соседи толкуют о том, что надо бы пострелять диких кабанов, вредят они посевам. Григорию принадлежит скала под Менчулом, хорошо бы потолковать с ним, начать издалека, с оглядкой: хочу, мол, вымостить камнем дорогу в поле... Эх, огорчается Юрай, поля-то ведь нет у меня. У Пьосы оно теперь, вон он сидит, насупился. Нет у меня поля, что мне до их забот. Пусть сами кабанов гонят, мне-то какое дело, хмурится Гордубал. У вас свои заботы. У меня свои.

Мужики тем временем толкуют о том, как приняться за охоту.

Юрай пьет медленно, думая о своем. Сдвинула брови и ушла в дом. Ладно, Полана, когда-нибудь и ты захочешь поговорить: так, мол, и так, Юрай. А я сдвину брови да пойду в трактир. Погляжу, придется ли это тебе по душе. Что у меня рожа страшна, глаза гноятся, что ли? Или рот кривой, как у нищего Ласло? Да, постарел я, сожрала меня шахта, одни жилы остались да спина. Досыта полазил на четвереньках в забоях. Одни руки да коленки остались. Видела бы ты, в каких дырах приходилось добывать уголь! До сих пор харкаю черной пылью. Мало чем я могу поправиться, Полана, но работать умею, голубка, увидишь...

— Эй, американец, — с усмешкой кричит Феделеш Гейза, — что же не покажешься! Верно, пришел угостить земляков!

Гордубал кивает головой.

— Пришел, пришел! Угощу, да по-американски: корчмарь, подай Гейзе кружку воды! А коли тебе этого мало, Гейза, возьми ведро, заодно рожу умоешь.

— А что тебе до моей рожи? — смеется Гейза. — Была бы моей жене по сердцу.

Юрай хмурится — какое мне дело до твоей жены? Вот и угощай таких. Да я бы угостил! Ей-богу, соседи, я бы рад выпить с вами, крепко обнять вас и — петь, петь, прикрыв глаза... Да только на другие дела пригодятся мне доллары. Затея есть у меня, соседи, хорошая затея, американская. Вот подождите, начну ломать камень... «Эге, — скажут, — Гордубал-то, видно, спятил, мало, что ли, у нас каменьев!» А время придет — увидите, как американец из камня добудет сметану.

Михал Феделеш запевает, другие подтягивают. Эх, хорошо посидеть с дружками. Давненько не слышал я песен, давненько! Юрай прикрывает глаза и вполголоса начинает подпевать, полузакрыв глаза. Понемногу он расходится и вдруг — с чего это, черт возьми, он так распетушился? — запевает во весь голос, покачиваясь в такт песне.

— Эй ты! — кричит Феделеш Гейза. — Кто с нами не пьет, тот и не поет. Пой себе дома, Гордубал!

— Или Штепана пошли сюда, — вставляет Федюк, — он, говорят, поет почище твоего.

Юрай встает, громадный, долговязый, макушка под потолок.

— Пой себе, Гейза, пой, — говорит он мирно, — я все равно домой собрался.

— А чего дома-то делать, — ухмыляется Михал Федел е ш . — Там у тебя батрак есть.

— Богач нашелся! — роняет Гейза. — Батрака для жены нанял...

Гордубал быстро оборачивается.

— Гейза! — процедил он. — Ты про кого это?

Гейза насмешливо глядит на него и покачивается на носках.

— Про кого? Есть тут у нас один.

Мужики поднимаются с лавок.

— Оставь его, Гейза, — уговаривает Варварин.

Кто-то берет Гордубала за плечи и дружески тянет из трактира.

Гордубал вырывается и вплотную подходит к Федешу.

— Ты про кого это? — повторяет он хрипло.

— Дурень у нас только о д и н , — раздельно произносит Гейза Феделеш и вдруг, точно стегнув Гордубала хлыстом, добавляет: — Потаскух, как Полана, хватает.

— Выходи вон! — ревет Гордубал и проталкивается к выходу. Гейза спешит за ним, торопливо раскрывая в кармане нож. Эй, берегись, Гордубал, получишь удар в спину! Но Гордубал знай пробирается к дверям, а Гейза за ним, крепко зажав в кулаке нож так, что даже рука вспотела.

Все бросаются вон из трактира. Юрай поворачивается к Федешу.

— Ты! — хрипит о н . — Ну, подходи.

Гейза тяжело дышит и, пряча нож за спиною, готовится к прыжку. Длинными, как оглобли, ручищами Гордубал обхватывает Гейзу, прижав ему руки к бокам, подымает на воздух, поворачивается и кидает оземь. Гейза, присев, сипит от ярости. Снова поднимает его Гордубал и снова швыряет оземь, словно толчет щебень. И вдруг у Гейзы подламываются ноги, он падает навзничь, разметав руки, и — трах! — стукается головой о какую-то кадушку; и вот лежит замертво — не человек, а куча тряпья.

Гордубал тяжело дышит и поводит налитыми кровью глазами.

— Откуда я знал, что там кадушка? — бормочет он, точно оправдываясь.

Но тут на его голову обрушивается удар. Второй, третий. Два, три, четыре человека сосредоточенно колотят Гордубала доской по голове, так что гул идет.

— Отстаньте, — рычит Гордубал, размахивая в темноте руками, бьет кого-то по носу и падает, тщетно порываясь встать.

— Дерутся! — вопит чей-то голос. Гордубал приподнимается и валится снова; удары сыплются на него со всех сторон, он со стоном еще раз пытается встать...

— Вы чего тут! — раздается чей-то торопливый, задыхающийся голос; кнут хлещет по пыхтящему клубку тел. Кто-то ревет от злости. Эй, берегись ножа! Но Василь Герич тяжело переводит дыхание и помахивает бичом над распростертым Гордубалом. Юрай силится встать.

— Проваливайте отсюда! — бушует староста, щелкая кнутом...

Эх, не будь ты староста, попало бы и тебе... Да не в том дело, что староста, — а просто здорово дерется Василь Герич. Вот уж и бабы решились выйти на улицу и, сложив руки на груди, поглядывают на трактир.

Юрай Гордубал снова пытается встать, голова его на коленях у Василя, кто-то обмывает ему лицо. Это Пьоса.

— Это не честный файт[1], Василь, — бормочет «американец», — сзади и двое на одного.

Эх, Юрай, шестеро их было, голубчик, а не двое, и все с досками от забора. Дубовая у тебя голова, Юрай, ежели не треснула пополам.

---

[1] борьба, драка (от *англ.* fight).

— А что Гейза? — беспокоится избитый.

— Гейза свое получил, — говорит староста. — Унесли его.

Юрай удовлетворенно вздыхает.

— Не станет теперь распускать язык, сволочь эдакая, — ворчит он и пытается встать. Слава богу, полегчало, он уже стоит на ногах, держась за голову. — За что они на меня? — удивляется он. — Пойдем выпьем еще, Василь. Не дали мне спеть, проклятые!

— Ступай домой, Юрай, — уговаривает староста. — Я тебя провожу. Не ровен час, еще подкараулят тебя.

— Очень я их боюсь! — храбрится Гордубал и, пошатываясь, бредет домой.

Нет, я не пьян, Полана! Побили меня в корчме. А за что побили? Просто так, голубушка, шутки ради. Силою мы померились с Феделешем Гейзой.

— А знаешь, Василь, — оживившись, начинает Юрай, — у меня в Америке тоже был файт. Кинулся на меня с молотком один майнер. Немец, что ли. А только другие отобрали у него молоток и поставили нас в круг. Деритесь голыми руками. Эх, Василь, крепко мне тогда досталось по роже, а немца я все-таки уложил. И никто не мешался в нашу драку.

— Слушай, Юрай, — строго говорит Герич, — не ходи больше в корчму. Не то опять быть драке.

— Да почему? — дивится Гордубал. — Я к ним не лезу.

— Ну, — не сразу отвечает староста, — надо же им подраться? Иди спать, Юрай. А завтра — уволь своего батрака.

Гордубал нахмурился.

— Что ты болтаешь, Герич? И ты тоже лезешь в мои дела?

— Зачем держать чужака в доме? — настаивает Василь. — Иди, иди спать. Эх, Юрай, не стоит Полана того, чтобы за нее дрались.

Гордубал останавливается как вкопанный.

— И ты туда же? Такой же, как они! — произносит он наконец. — Не знаешь ты Полану. Только я один ее знаю, а ты... Ты не смей.

Василь дружески кладет ему руку на плечо.

— Юрай! За восемь лет нагляделись мы на нее...

Гордубал гневно сбрасывает его руки.

— Проваливай, проваливай, не то... Пока я жив, Герич, видит бог, с этого дня не знаюсь с тобой. А был ты мне лучшим другом.

И, не оборачиваясь, Гордубал плетется домой. Герич фыркнул в ответ и еще долго тихонько ругался в темноте.

XIV

Утром Штепан запрягает лошадей — собрался в степь. Из хлева выползает Гордубал, опухший, страшный, глаза налиты кровью.

— Я поеду с тобой, Штепан, — объявляет он кратко.

Н-но! И телега мчится по деревне. Юрай не глядит ни на встречных, ни на коней. Выехали за околицу.

— Стой, — приказывает Гордубал, — слезай с телеги. Поговорить надо.

Штепан дерзко рассматривает побитое лицо хозяина. Чего, мол, тебе?

— Слушай, Манья, — нетвердо начинает Гордубал, — по деревне сплетни ходят про Полану и про тебя. Все это вранье — я знаю, по надобно с этим покончить. Понял?

Штепан пожимает плечами.

— Нет, не понял.

— Надобно тебе уйти от нас, Штепан. Ради Поланы. Заткнуть людям рты. Так надо, понял?

Штепан вызывающе в упор глядит на Гордубала. Тот отводит взгляд.

— Понял.

Юрай машет рукой.

— Так. А теперь езжай.

Манья стоит, сжав кулаки, — кажется, вот-вот бросится на Гордубала.

— Делай свое дело, Штепан, — ворчит Гордубал.

— Ну ладно! — цедит сквозь зубы Штепан, прыгает в телегу, замахивается кнутом и — р-раз! — хлещет коней по головам.

Кони попятились, заплясали и рванулись вперед бешеным скоком. Телега понеслась, бренчит на лету, вот-вот рассыплется на куски.

Гордубал стоит на дороге, глотая пыль, потом медленно поворачивается и, понурив голову, идет домой. Эх, Юрай, так ходят старики!

XV

За одну неделю сильно сдал Юрай; казалось, у него кости стучат. Да как тут не похудеть, скажите на милость: пустяк ли это — утром убраться, поросят накормить, почистить коней, выгнать коров в стадо, вычистить хлев, дочку отправить в школу. Потом на лошадях в степь — пора убирать кукурузу. В полдень — домой, сварить для Гафии обед, напоить коней, засыпать корму птице — и снова в степь, опять работа. А к вечеру тоже надо спешить домой, сготовить ужин, позаботиться о скотине, да еще неумелыми руками зашить Гафии юбчонку. Растет ребенок, играет, долго ли порвать одежду? Нелегко поспеть всюду, трудно не упустить чего-нибудь. Вечером валится Гордубал на солому как чурбан, но долго не может уснуть от тревоги. А вдруг забыл что?.. Ах, боже мой, ну, конечно, забыл! Не полил цветы на окнах. И, кряхтя, встает Гордубал и плетется за лейкой.

А Полана — точно и нет ее. Заперлась в клети наперекор мужу. Что поделаешь, растерянно думает Гордубал, гневается хозяйка, почему не посоветовался с ней. Почему не спросил: «Что скажешь, Полана, хочу, мол, уволить работника... Эх, жена, сама посуди, мог ли я сказать тебе: «Так и так, Полана, вот что о тебе болтают». Да что тут толковать, взял да уволил батрака, злись себе на здоровье. Насильно тебя не погоню хозяйничать!

Ох, а так недостает Полaниных рук! Неделя только прошла, а как все заросло! Кто бы подумал — сколько работы лежит на бабе! Мужику и половины не переделать. Ничего, сама увидит; перестанет сердиться и засмеется: «Ох, и недотепа ты, Юрай, ни прибрать, ни сварить не умеешь. Ну что спросишь с мужика!»

Однажды увидел ее мельком. Вернулся зачем-то во двор, а она стоит в дверях. Точно тень. Под глазами круги, и на лбу упрямая складка. Отворотился Гордубал: «Я — ничего, я тебя, голубушка, не видел».

А Полана исчезла, как тень.

Ночью, когда Гордубал забрался в солому, слышит он, что где-то тихо скрипнула дверь. Полана! Вышла на двор и стоит. А Юрай — руки под головой, глядит во тьму, и сердце у него замирает.

Коровы, лошади, Гафия, куры, поросята, поле, цветы — господи боже мой, хватает дел! Но труднее всего

соблюсти видимость, что в семье все в порядке. Чтобы люди не судачили: у Гордубалов, мол, неладно. Есть у Юрая замужняя сестра, могла бы помочь, могла бы обед сварить, да нет уж — благодарю покорно, лучше не надо. Соседка кивает из-за забора: посылайте, мол, Гафию днем ко мне, Гордубал, позабочусь о ней. Спасибо, соседка, спасибо большое, не беспокойтесь. Полана чуточку прихворнула и слегла. Я могу за нее и сам похозяйничать. Нечего вам тут вынюхивать!..

Встретил Юрай Герича, тот глядит на него, видно, поздороваться хочет. Отвернулся Гордубал: иди себе, иди, я тебя и знать не знаю.

А Гафия все робеет. Глядит, не моргнет, верно, скучает без Штепана. Что поделаешь — ребенок! А люди невесть что болтают, рот им не заткнешь...

Коровы, кони, кукуруза, поросята, вот еще прибрать в свинарнике и напоить свиней. Надо бы желоб прочистить, чтобы стекала навозная жижа. Гордубал принимается за работу, пыхтит от усердия; сейчас на свете нет ничего, кроме свинарника. Погоди, Полана, придешь сюда, подивишься: свинарник — точно изба. Вот еще свежей воды принести... И Гордубал идет с ведерком к колодцу.

Во дворе, на дышле телеги, уселся Манья, качает на коленях Гафию и что-то ей рассказывает.

Гордубал ставит ведерко на землю и, заложив руки в карманы, идет прямиком к Штепану.

Манья одной рукой отодвигает Гафию, другую сует в карман. Глаза его сузились, блестят, как лезвие ножа, в сжатой руке виден какой-то предмет, нацеленный прямо в живот Гордубалу. Гордубал усмехается. Знаю, знаю, как стреляют из револьвера. Видел в Америке. Вот тебе, — и он вынимает из кармана закрытый нож и бросает его наземь. Манья сует руку обратно в карман, не спуская глаз с хозяина.

Гордубал оперся рукой о телегу и глядит сверху вниз на Штепана. «Что мне делать с тобой? — думает он. — Господи боже, что мне с ним делать?»

Гафия удивленно переводит взгляд с отца на Штепана, со Штепана на отца и не знает, чего же ей ждать дальше.

— Ну, Гафия, — бормочет Гордубал, — ты рада, что пришел Штепан?

Девочка — ни слова, только глядит на Манью. Гордубал нерешительно чешет затылок.

— Чего ж ты расселся, Штепан? — медленно говорит он. — Ступай напои коней.

XVI

Гордубал прямиком к клети и стучит в дверь.

— Отвори, Полана!

Дверь открывается, в ней тенью Полана.

Гордубал садится на сундук, упирается руками в колени и глядит в землю.

— Манья вернулся, — говорит он.

Полана ни слова, только дышит чаще.

— Болтали тут... — бормочет Юрай. — Про тебя и про работника. Потому и уволил. — Гордубал сердито засопел. — Да вернулся все-таки, черт. Так это нельзя оставить, Полана!

— Почему? — вырвалось у Поланы. — Из-за глупых речей?

Гордубал серьезно кивает головой.

— Да, из-за глупых речей, Полана. Мы ведь на людях живем: Штепан — мужчина, пускай сам за себя постоит. А ты... Эх, Полана, ведь я как-никак муж тебе, хотя бы перед людьми. Так-то.

Полана молча опирается о косяк, ноги ее плохо слушаются.

— Вишь ты, — тихо говорит Гордубал, — вишь ты, Гафия привыкла к Штепану. И он привязался к ребенку. Да и кони — им не хватает Маньи. Хоть он с ними и крут, а скучает без него скотина... — Юрай поднимает глаза. — Что скажешь, Полана, не обручить ли нам Гафию со Штепаном?

Полана вздрогнула.

— Да разве можно? — испуганно вырывается у нее.

— Правда, Гафия мала еще, — рассуждает вслух Гордубал. — Да ведь обручить — не выдать. В старые времена, Полана, обручали даже грудных детей.

— Да ведь... она на пятнадцать лет моложе его, — возражает Полана.

Юрай кивает.

— Как и мы с тобой, голубушка. Это бывает. А так Манье нельзя оставаться у нас: чужой он. Жених Гафии — другое дело. Он уже свой в семье, будет себе жену зарабатывать...

Полана начинает соображать.

— И тогда останется?.. — Ее голос точно натянутая струпа.

— Останется? Ну да, почему не остаться? У своих, у родных. Уже не чужак, а зять. И людям рты заткнем. Увидят, что... что болтали глупости. Ради тебя, Полана. А потом... ну, сдается мне, что любит он Гафию и толк в конях знает. Не очень работящий, правда, да ведь от трудов праведных не наживешь палат каменных,

Полана напряженно думает, наморщив лоб.

— А, по-твоему, Штепан согласится?

— Согласится, голубушка. Деньги у меня есть, достанутся и ему. Мне от них какой прок? А Штепан — он жаден, луга хочет купить, коней, земли на равнине побольше. Разгорятся глаза! Будет жить у нас как у Христа за пазухой. Чего ему раздумывать?

Лицо Поланы опять непроницаемо.

— Как хочешь, Юрай. Только я ему об этом говорить не буду.

Юрай встает.

— Сам скажу. Не беспокойся, и с адвокатом посоветуюсь, как и что. Надо какую-то бумагу подписать. Все устрою.

Гордубал медлит. «Может, скажет Полана что-нибудь», — думает он. Но Полана вдруг заторопилась:

— Надо ужин готовить.

И Юрай, как обычно, плетется к себе за амбар.

XVII

И повез Манья хозяина в Рыбары — договариваться с родителями. Н-но, но! Эх, кони! Головы кверху, поглядишь — сердце радуется.

— Так у тебя, Штепан, — задумчиво спрашивает Гордубал, — один старший брат, один младший и сестра замужняя? Гм! Хватает вас... А верно, что у вас кругом одна равнина?

— Равнина! — охотно отзывается Штепан, сверкнув зубами. — У нас все больше буйволов разводят да коней. Буйволы любят болото, хозяин.

— Болото? — размышляет Юрай. — А нельзя ли его высушить? Видывал я такие дела в Америке.

— Зачем сушить? — смеется Штепан. — Земли избыток, хозяин. А болота жалко, там камыш растет, из него зимой корзины плетут. Вместо досок камыш у нас. Телега — плетеная, забор, хлев — плетеные. Глядите, вон такая телега едет.

Юраю не нравится равнина, конца ей нет. Да что поделаешь!

— Отец жив, говоришь?

— Жив. Вот удивится, как увидит, кого я привез, — оживляется Штепан. — Ну, приехали, вот и Рыбары.

Штепан — шапку на затылок, щелк бичом и словно барона катит Гордубала по деревне и подвозит к дому. Навстречу выходит невысокого роста крепкий парень.

— Эй, Дьюла! — кричит Штепан, — поставь коней под навес, задай им корму и напои. Сюда, хозяин!

Гордубал мимоходом бросает беглый взгляд на усадьбу. Амбар развалился, по двору бродят свиньи, кудахчут индюшки. В притолоке двери торчит огромное шило.

— Вон тем шилом, хозяин, плетут корзины, — объясняет Штепан. — А новый амбар будем весной ставить.

На пороге стоит длинноусый старик — старый Манья.

— Привез к вам, отец, хозяина из Кривой, — не без важности возглашает Штепан. — Хочет с вами потолковать.

Старый Манья вводит гостя в избу и недоверчиво ждет, что будет дальше. Гордубал садится с достоинством на самый кончик лавки — надо же дать понять, что дело еще не на мази, — и просит:

— Рассказывай, Штепан, что и как.

Штепан скалит зубы и выкладывает чудную новость: хозяин, мол, выдаст за него свою единственную дочку, Гафию, когда та подрастет. А сейчас он приехал договориться об этом с отцом.

Гордубал кивает: да, так.

Старый Манья оживился.

— Эй, Дьюла, подай сюда водки! Милости просим, Гордубал. Как доехали?

— Хорошо.

— Ну, слава богу. А урожай каков?

— Урожай добрый.

— Дома все здоровы?

— Благодарим покорно, здоровы.

Когда было сказано все, что полагается, старый Манья осведомляется:

— У вас, стало быть, одна дочка, Гордубал?

— Одна. Больше не дал господь.

Старик посмеивается, ощупывая глазами собеседника.

— Не говорите, Гордубал, может, еще и сынка бог пошлет. Распаханное поле хорошо родит.

Юрай делает движение, словно хочет махнуть рукой.

— Наверняка будет сынок, наследник, — ухмыляется старик Манья, не спуская глаз с Гордубала. — Вид у вас на славу, Гордубал, еще полсотни лет хозяйствовать будете.

Гордубал поглаживает затылок.

— Что ж, это как бог даст. Однако ж я не заставлю Гафию ждать наследства. Приданое для нее, слава богу, найдется.

У старого Маньи загораются глаза.

— Как же, как же, слыхал, слыхал. В Америке, говорят, деньги на земле валяются, ходи да подбирай. А?

— Оно, конечно, не так-то просто, — замечает Гордубал со вздохом. — Известное дело, Манья, как с деньгами. Держишь их дома — украдут. Положишь в банк — украдут тоже. Лучше всего их в хозяйство вложить.

— Святая правда! — соглашается старый Манья.

— Гляжу я на вас, — рассудительно продолжает Гордубал, — много народу ваша земля не прокормит. Болото да пустырь. Такой земли пропасть надо, чтобы одному хозяину прокормиться.

— Ваша правда, — осторожно соглашается старик. — Трудно у нас делить наследство. Вот мой старший Михаль все хозяйство получит, а двое других — только долю деньгами.

— По скольку? — выпаливает Гордубал.

Старый Манья огорченно замигал: «Ишь ты какой прыткий, не даст и опомниться человеку».

— По три тысячи, — ворчит он сердито, покосившись на Штепана.

Гордубал быстро прикидывает.

Трижды три девять. Для круглого счета десять. Стало быть, цена всему хозяйству десять тысяч?

— Как это так — трижды три?! — сердится старик. — А дочка?

— Верно, — соглашается Гордубал, — значит, скажем, тринадцать тысяч?

— Нет, нет! — качает головой старик. — Это вы как, Гордубал, шутите?

— Какие шутки? — настаивает Гордубал. — Просто хотелось знать, Манья, что стоит хозяйство у вас на равнине.

Старый Манья смущен. Штепан вытаращил глаза. Уж не хочет ли богач Гордубал купить их хозяйство?

— Такое хозяйство, как наше, не купите и за двадцать тысяч, — неуверенно говорит старик.

— Со всем, что тут есть?

Старик усмехается.

— Ишь вы хитрый, Гордубал! У нас одних коней во дворе четыре, нет, пять.

— Коней я не считал.

Старый Манья сразу стал серьезным.

— А вы, Гордубал, зачем приехали? Хозяйство покупать или дочку сватать?

Гордубал багровеет.

— Хозяйство? Это чтобы я купил хозяйство у вас в равнине! Это болото, что ли? Камыш на свистульки? Спасибо вам, Манья, уж я скажу напрямик. Коли договоримся сейчас и обручится ваш Штепан с Гафией, запишите свою усадьбу на Штепана, а я после свадьбы выплачу Михалю его долю, и Дьюле тоже.

— А Марии? — вырвалось у Штепана.

— Ну, и Марии. Больше никого у вас нет? Пускай Штепан хозяйничает тут в Рыбарах.

— А Михаль куда? — не понимает старик.

— Ну, получит свою долю и пускай идет себе с богом. Парень молодой, охотнее возьмет деньги, чем землю.

Старый Манья качает головой.

— Нет, нет, — бормочет он, — так не выйдет.

— Отчего ж это не выйдет? — горячо вмешивается Штепан.

— А ты проваливай отсюда, да поживей! — обрывает его старик. — Чего лезешь в разговоры?

Обиженно ворча, Штепан выходит во двор.

Дьюла, разумеется, вертится около лошадей.

— Ну как, Дьюла! — Штепан хлопает брата по плечу.

— Добрый коняга? — тоном знатока говорит паренек. — Дашь прокатиться?

— Слишком хорош для тебя, — цедит Штепан и кивает головой на избу. — Наш старый...

— Что?

— Эх, ничего! Так и норовит счастью моему помешать!

— Какое счастье?

— А никакое! Что ты смыслишь?..

Тихо на дворе; только свинья похрюкивает, точно разговаривает сама с собой, да с болота доносится голос коростеля, лягушки квакают.

— А ты останешься в Кривой, Штепан?

— Наверно. Еще не решил, — важно отвечает Штепан.

— А хозяйка?

— Тебе-то какое дело? — скрытничает старший брат.

Ох и комары! Ласточки чуть не чиркают крыльями по земле. Штепан широко зевает — едва челюсть не вывихнул. Интересно, что там поделывают старики в избе? Не откусили друг другу носы?

Штепан с досады и от скуки вытаскивает из косяка шило и с силой вгоняет его в дверь.

— А ну, вытащи! — предлагает он Дьюле. — Не осилишь!

Дьюла осиливает.

Некоторое время они забавляются шилом, загоняя его в дверь, так что щепки летят.

— Эй! — говорит наконец Дьюла. — Пойду к девкам, что с тобой зря время терять.

Темнеет, небо над равниной затягивается синим туманом. «Зайти, что ли, в избу? — думает Штепан. — Нет, назло не пойду! «Убирайся, — крикнет старый, — не лезь в разговор». А кому, спрашивается, «американец» сватает дочь? Ему или мне? Разве не могу я сам за себя постоять? А он — «убирайся, проваливай». Нечего командовать, — злится Штепан, — я уже не ваш теперь».

Разомлевший от водки, Гордубал наконец выходит из избы. Видно, старики договорились. Старый Манья провожает гостя, похлопывая его по спине. Штепан уже стоит

у лошадей, держит уздечку, как заправский конюх. Гордубал, заметив это, с одобрением кивает головой.

— Так, значит, в воскресенье, в городе! — кричит старый Манья, и телега срывается с места. — Счастливый путь!

Штепан косится на хозяина и упрямо молчит. Небось сам расскажет.

— Вон наша река, — показывает Штепан кнутом.

— М-м.

— А вон там воз с камышом — это наш Михаль едет. У нас камыш на подстилку идет, стелем заместо соломы.

— Так. — И Гордубал больше ни слова.

Штепан правит, старается, из кожи лезет вон, а хозяин только головой покачивает. Не выдержал наконец Манья.

— Так что же, хозяин, сколько вы им дали?

Гордубал поднимает брови.

— Что?

— На чем сошлись, хозяин?

Гордубал медлит. И нехотя отвечает:

— По пять тысяч каждому.

Молча обдумывает новость Штепан, а потом цедит сквозь зубы:

— Опутали вас, хозяин. Хватило бы и по три.

— М-м, — ворчит Гордубал, — отец твой что пень дубовый.

«Эх ты, — думает Штепан, — добро даешь другим, а со мной говоришь так, словно получаю только я».

— И тебе тоже пять тысяч, — добавляет Гордубал, — на обзаведение.

«Ладно! — думает Штепан. — Однако ж теперь я ему вроде сына. Как же будет с жалованьем? Теперь мне платить нельзя, как батраку. Отдал бы мне хоть того жеребенка. Продай, мол, а деньги себе возьми, Штепан, ты теперь у нас свой».

— Правь как следует! — распоряжается Гордубал.

— Слушаюсь, хозяин.

XVIII

И вот все уже едут из города. Дело сделано, договор у адвоката составлен исправный, обошелся в двести крон.

И то запишите, господин адвокат, и этого не забудьте.

Мужик в денежных делах осторожен, его, братцы, не проведешь. Да вот еще что! Пишите: половину хозяйства в Рыбарах считать за Гафией. Хорошо, соглашается адвокат, внесу вам и такую кла-у-зу-лу. Вот, братцы, и клаузула тут есть. А потом все подписались. Юрай Гордубал — поставил три креста во имя отца и сына и святого духа; старый Манья три креста, а Михаль Манья, с букетиком на шляпе, важно надувает щеки и подписывается полным именем. С ними и Мария, по мужу Яношова, — у нее на голове шелковый платок, и Штепан, праздничный с головы до пят... Больше никто не будет подписываться? Нет, нет: Дьюла остался с лошадьми, да и годами еще не вышел. Ну, так, готово, господа, желаю вам всяческих благ. Две сотни обошлось, зато исправная работа, и кла-у-зула там есть.

А потом все вместе в трактир, спрыснуть сделку. Теперь уж хочешь не хочешь, Юрай Гордубал, а надо быть на «ты» со старым Маньей. Они даже поссорились маленько, как полагается родственникам.

— Езжай, Штепан!

Штепан и рад бы вести себя с Гордубалом по-сыновьему, да какой с ним разговор? Сидит Гордубал в телеге, держится руками за край, глаза запрятал под самые брови, почти не отзывается. «Эх, диковинное какое обручение, — думает Штепан. — Батрак хозяину не ровня... Н-но!»

Вот и въехали в Кривую резвой рысью, простучали подковы. Юрай Гордубал исподлобья глянул кругом и вдруг взмахнул рукой, щелкнул пальцами, поет, гикает, точно на масленице.

«Пьяный, должно быть, — думают люди, оборачиваясь на него. — С чего это так разошелся «американец» Гордубал?»

На площади толпятся девушки и парни, приходится ехать шагом. Юрай поднимается, обнимает Штепана за плечи и кричит на всю улицу:

— Зятя везу, во! Эх! Ого-го!

Штепан пытается стряхнуть его руку и шипит:

— Тише, хозяин!

Но Гордубал с силой сжимает его плечо, так что Манья чуть не кряхтит от боли.

— Слышите! — бушует Юрай. — Зятя везу! Гафии обручение празднуем!

Штепан хлещет копей кнутом, хмурится, в кровь кусает губы.

— Опомнитесь, хозяин! Ишь как перехватили!

Телега с грохотом заворачивает во двор Гордубала. Юрай отпускает Штепана и сразу делается тихим и серьезным.

— Прогуляй *коней*, — распоряжается он *сухо*. — Видишь, все в мыле.

XIX

Растерялась Полана, не знает, что и думать о Юрае. Гордубал потащил Штепана в трактир: он, мол, не батрак уже, а почитай что сын. Не прячется больше Гордубал за амбаром, а ходит гоголем по деревне, останавливается и судачит с бабами. Вот, мол, Гафию просватал, правда, мала еще, да привыкла к Штепану, пока отца не было дома. А Штепан, соседушка, на нее прямо молится, как на икону. Радость — такие дети. Штепана Гордубал превозносит до небес — работящий какой, славный будет хозяин, отец ему в наследство усадьбу в Рыбарах оставит. По всей деревне мелет языком Гордубал, а дома молчит как убитый. То да это сделай, Штепан, — и баста.

Шатается по деревне Юрай и посматривает, с кем бы еще постоять, поболтать. Даже Гейзе Феделешу махнул рукой, только от Герича отвернулся. А тот уж было руку протянул. Нет! Пока жив, не знаюсь с тобой; не о чем нам разговаривать. Знать не знаю и знать не хочу, что у тебя на уме.

Бабы смеются: диковинное обручение! Жених насупился, как бирюк, молчит, на всех дуется. Невеста на речке играет с подружками, юбчонку засучила по пояс, понятия нет еще, что такое стыд. А Гордубал размахивает руками на площади, хвалится будущим зятем. Полана — хоть и чудная баба, да тоже хмурится, видит, что вся затея — людям на смех, а сама дома сидит, носа не высунет. Так-то, соседушки, уж и не говорите, что у Гордубалов все ладно.

Разве не видит Гордубал, что Штепан сердится. Может, и видит, но сторонится Штепана. Бросит через плечо, что да где сделать, и идет куда-то по своим делам. А Штепан провожает его таким взглядом, словно готов вцепиться ему в глотку.

Наконец не выдержал Штепан: стал посреди двора, поджидает хозяина, зубы стиснул, так что желваки заходили на скулах. Гордубал проходит по двору.

— Пора ехать, Штепан.

И идет дальше.

Манья загораживает ему дорогу.

— Мне с вами потолковать надо, хозяин.

— Ну, чего еще? — уклоняется Гордубал, — Занялся бы лучше делом.

Штепан даже посерел от ярости. Странно, ведь он всегда был смуглый.

— Что это вы болтаете про меня и Гафию? — выпалил он.

Гордубал поднимает брови.

— Что болтаю? Что просватал дочку за батрака.

Манью коробит от злости.

— А почему? А зачем вы... Люди меня на смех поднимают: «Скоро ли, мол, крестины, Штепан?», «Беги, Штепан, к своей невесте, ее гусак обидел».

Гордубал гладит затылок.

— Не слушай их, пусть потешаются. Надоест.

— Мне, мне это надоело, хозяин! — цедит сквозь зубы Манья. — Не хочу быть посмешищем!

Гордубал тяжело вздыхает.

— И я тоже не хочу, потому и обручил вас. Ну, чего еще?

— Не хочу, — скрипит зубами Манья. — Не буду я тут торчать женихом сопливой девчонки всей деревне на смех.

Гордубал — руки еще на затылке — мерит его глазами.

— Погоди — как ты сказал? Не будешь?

Манья дрожит от бешенства, вот-вот заплачет.

— Не буду, не хочу! Что хотите делайте, а я...

— Не будешь?

— Не буду.

Гордубал засопел.

— Подожди здесь.

Манья стоит, захлебываясь от ярости, — ему стыдно быть посмешищем всей деревни. Лучше уж убраться отсюда, чем...

Гордубал выходит из хлева и рвет какую-то бумагу. Рвет на мелкие клочки и бросает их в лицо Манье.

— Вот. Больше ты не жених. Передай отцу, что я порвал договор. — Рука в белом рукаве быстро взлетает и указывает на ворота. — Проваливай!

Манья быстро дышит, глаза его суживаются, как нож.

— Не уйду, хозяин.

— Уйдешь! А вздумаешь вернуться, у меня ружье есть.

Штепан багровеет.

— А если не уйду, тогда что?

Гордубал грудью надвигается на него. Манья отступает.

— Полегче! — шипит он.

— Не уйдешь?

— Пока не прикажет хозяйка, не уйду.

Застонав, Гордубал внезапно бьет Манью коленом в живот. Манья корчится от боли, но тут огромная ручища хватает его за шиворот, другая за штаны, поднимает на воздух, и Штепан летит через забор в крапиву.

— Так. — Гордубал переводит дух. — Не захотел в ворота, полетел через забор. — И он тащится обратно, поглаживая темя. Странно: как-то горячо в затылке...

За соседским забором слышно хихиканье.

XX

Полана, конечно, заперлась в каморе и притихла, точно ее и в живых нет.

Рано утром Гордубал запрягает в телегу жеребца-трехлетку и смирного мерина. Неравная пара! Мерин уныло мотает головой, жеребец держит голову кверху. Ну и парочка!

— Скажи матери, Гафия, что я еду в город. К вечеру, бог даст, вернусь.

Пусть коровы мычат от голода, пусть лошади бьют копытами, пусть визжат свиньи и поросята. Может, перестанет Полана упрямиться, не выдержит ее крестьянская душа, выйдет Полана и займется скотиной. Да и можно ли сердиться, когда рядом божья тварь?

Мерин помахивает головой, жеребец держит ее высоко. Вот и Штепан тоже высоко держит голову. Жеребца-трехлетку он запрягал вместе с кобылкой — они, мол, хорошо идут в паре. Эй ты, деревенщина, чего кусаешь ме-

рина... Полана, наверно, выйдет из клети, пока меня нет, накормит скотину и птицу, порадуется на них. Вот видишь, и не спеша можно доехать до города.

Перво-наперво к адвокату.

Так и так, сударь, хочу, чтоб записали вы мою последнюю волю. Никто не ведает, когда придет смертный час. Вот какая воля моя: женат я, жену Поланой звать. Надо, чтобы она наследовала после мужа.

— А что вы завещаете ей, господин Гордубал? Усадьбу, деньги или ценные бумаги?

Гордубал косится с недоверием: «Зачем тебе знать?» Напиши: все, что имею.

— А! Ну, тогда запишем: все имущество движимое и недвижимое...

Гордубал кивает.

— Так, так, сударь, хорошо сказано. Пишите: «За любовь ее и верность супружескую завещаю все движимое и недвижимое имущество».

Вот и подписано — во имя отца и сына и святого духа. Гордубал медлит.

— А что, сударь, нельзя ли поехать в Америку снова?

— Куда там, господин Гордубал, в Америке своих рабочих избыток, никого теперь не пускают к себе американцы.

— Гм! Так. А нет ли какой-нибудь фэктори в городе?

— А, фабрика! Есть фабрики, да стоят, не работают; трудные настали времена, господин Гордубал. — Адвокат вздыхает, точно и ему приходится нести бремя трудных времен.

Гордубал кивает головой. Что поделаешь, люди уже не нужны. Никому не нужен такой Гордубал. А жалко, зря пропадают умелые руки. А вот кони нужны, конь, что высоко держит голову.

...Юрай Гордубал ищет командира эскадрона. Вон там, говорят ему, в казармах.

— Что, дядя, сына пришел навестить?

— Нет, не сына, хочу жеребчика продать, господин драгун.

— Здесь лошадей не покупают, — объясняет солдат, а руки уже сами тянутся к жеребцу, ощупывают ноги и шею. — Серна, а не конь, хозяин.

Тут подошел кто-то из офицеров:

— Коня продать? Трудное дело, хозяин. — И качает головой. — Сейчас мы не берем лошадей. Говорите, ваш конь призывался еще летом? Хороший конь. А объезжен ли? Что? Не объезжен? И под седлом он еще не ходил? Ах вот как, ваш работник ездил на нем без упряжки.

Вокруг уже собралось несколько офицеров.

— Что, дядюшка, можно ли попробовать жеребца?

— Отчего же нет? — отзывается Гордубал. — Только конь-то норовистый, сударь.

— А хоть бы и норовистый! Дайте-ка, ребята, узду и седло. Поглядим, сбросит ли он Тоника.

Не успел Гордубал и глазом моргнуть, как один из офицеров был уже на коне. Жеребец подпрыгнул, взвился на дыбы и сбросил седока. Тот ловко упал на спину и смеется:

— А ну-ка, ребята, ловите коня!

Толстый командир хохочет так, что даже живот у него колышется.

— Ну, хозяин, конь у вас знаменитый! Вы пока подержите его дома, а мы подадим рапорт, чтобы разрешение дали на покупку.

Гордубал, нахмурясь, запрягает коня.

— Что поделаешь, сударь, продам его цыгану или живодеру.

Командир чешет затылок.

— Слушайте, жалко ведь жеребца... Вы что, непременно хотите его с рук сбыть?

— Да, — бормочет Гордубал, — не ко двору он мне.

— Ну, оставляйте, — решает командир, — а мы вам расписку дадим, что конь у нас, а потом напишем, сколько вам за него причитается. Идет?

— Идет, чего ж тут, — соглашается Юрай. — Коняга хороший, сударь, голову высоко держит. За него восемь тысяч давали...

— Тогда забирайте его обратно, — быстро вставляет командир.

— Можно и за пять продать, — уступает Гордубал.

Какой-то толстый военный около командира слегка кивает головой.

— Пять тысяч — это другое дело, — соглашается командир. — Стало быть, мы вам напишем, А раздумаете

продавать, возьмете коня назад. Идет? Получайте расписку.

Гордубал едет домой. На груди у него расписка с печатью и мешочек с долларами. Мерин бежит рысью, помахивая головой. А жеребчика уже нет. Точно во второй раз ушел Штепан. И кобылу бы лучше продать вместе с жеребенком. Но-о-о, меринок! Чуть вожжами тебя тронешь, ты и бежишь. Как это так — не разговаривать с лошадьми? Заговоришь с ним — конь повернет голову и махнет хвостом. Видно, что понимает. И головой покачивает — значит, думает. Далеко еще ехать, милый, да ведь в гору приятно бежать. Ну-ну, не бойся, это только ручеек пересек нам дорогу. Оставь овода, я его сам прогоню. Гей! И Юрай начинает протяжно, тихо петь.

Мерин косится большим глазом на хозяина: ты чего расшумелся? А Гордубал покачивает головой и поет:

Эх, Полана, злодейка Полана!
Сохрани тебя господь...

XXI

Потерял Гордубал покой. Ранним утром уходит со двора. Бросает хозяйство на волю божью и болтается неведомо где. Даже в Тибаве был.

— А что, Гелетей, не нужен тебе работник к скотине или в поле?

— Зачем мне работник, Гордубал, у меня два сына. А для кого ты, братец, ищешь места?

Потом в Татинском лесничестве.

— Нет ли работы? Лес рубить?

— Нету, братец, тысячи метров дров гниют в лесу,

— Ну, с богом. А что, не строится ли где железная дорога или шоссе? Не рвут ли динамитом скалы?

— Куда там, дяденька, куда там! Все нас забыли, да и для кого строить?

Что поделаешь, сяду где-нибудь, подожду, пока стемнеет. Издалека слышен звон — идет стадо, пастух щелкает бичом, точно стреляет, и где-то тявкает овчарка. В полях поют. Что делать? Юрай сидит и слушает, как гудят мухи. Закрыв глаза, он может прислушиваться часами. Ведь никогда не бывает полной тишины, все время слышна жизнь: то жук загудит, то заверещит белка. И отовсю-

ду поднимается к небесам мирный звон колокольцев — то пасутся стада.

К вечеру Гордубал крадучись пробирается домой. Гафия принесет *поесть*, — ах, какая это еда? Пес, и тот жрать не станет. А впрочем, все равно. Кусок не идет в горло. Да и недосуг Полане готовить ужин.

Ночь. Вся деревня спит, а Гордубал ходит с фонарем, делает что может: убирает хлев, выгребает навоз, носит воду. Тихо, чтобы никого не разбудить, делает Юрай всю мужскую работу.

...Бьет одиннадцатый час,
Помилуй, господи, нас.

И Юрай потихоньку забирается в хлев.

Ну, коровушки, сделал я на завтра кое-что за Полану.

А утром снова на Воловье поле. Искать работу.

— Эй, Гарчар, не нужен тебе помощник?

— Что ты, спятил или только из тюрьмы вышел, дружище? После жатвы работу ищет?

«*Не разоряйся*, — думает *Гордубал*. — У меня в кошеле хватит денег на половину твоей усадьбы! Нечего нос задирать». И Юрай, понурившись, плетется домой. А зачем? Да так, просто по горам пройтись, не оставаться же в чужом краю.

Юрай сидит на опушке, у Варваринова поля. И сюда доносятся колокольчики стад, должно быть, с Леготского хутора. Что-то поделывает Миша там, наверху, в лугах?..

Внизу — ручей, а у ручья стоит женщина. Юрай прищуривается, чтобы лучше видеть. Уж не Полана ли это? Нет, нет! Откуда здесь взяться Полане? Издалека любая баба похожа на Полану.

Вот из леса выскочил черномазый парень. «Нет, это не *Манья*, — мелькает у *Юрая*, — с какой бы стати он пришел с той стороны?» Черномазый останавливается возле женщины. «Но чем они так долго толкуют? — удивляется *Гордубал*. — Небось какая-нибудь девушка и ее милый из Леготы или из Воловьего поля. Сходятся тайком, чтобы не вздули его наши парни».

А те двое все стоят и стоят. Воркуйте себе на здоровье, я не смотрю. Солнце уже над Менчулом, скоро вечер, а двое все стоят и не могут наговориться. Где бы еще поискать работу? Не нужен ли майнер в соляных

копях? Далеко, правда, копи, да что за беда... А те двое все стоят. Нет, не стоит спрашивать в копях, все равно зря...

Глянь-ка, уж нет тех двоих. Стоит только один и словно покачивается... Э, нет, это не один покачивается, а двое, как будто борются. Так тесно прижались друг к другу, словно один человек.

У Гордубала замирает сердце. Бежать туда, вниз! Нет, домой — поглядеть, дома ли Полана. Конечно, дома, где же ей еще быть? Господи, да что же это с ногами? Как свинцовые они. Гордубал вскакивает и бежит. Мимо леса, по полевой тропинке, опрометью к деревне. Ох, ох, колет в боку, точно шилом, которым плетут корзины. Гордубал задыхается, но торопится изо всех сил. Слава тебе, боже, вот и деревня. Гордубал еще прибавляет шагу. Ох, как колет в боку! Господи, когда же дом?! Ну, еще немного! Вон они, ворота. Надо крепко прижать руку к боку, тогда не так больно.

Запыхавшись, Гордубал подбегает к воротам и в изнеможении опирается о верею; голова у него кружится, дыхание вырывается со свистом.

Двор пуст. Полана, наверно, в клети или еще где-нибудь. И вдруг Юраю все становится до смерти безразлично. Не все ли равно, где она? Зачем идти в клеть, говорить что-то. Гордубал хрипло дышит и, прислонившись к столбу, еле держится на ногах.

Калитка отворяется, и во двор несмело входит Полана, взволнованная, румяная. Завидя Юрая, она растерянно останавливается и торопливо оправдывается:

— А я была у соседки. У соседки, Юрай, Герпаковой, ходила поглядеть на ребенка.

Юрай выпрямляется во весь рост, поднимает брови.

— Я не спрашиваю тебя, Полана.

XXII

Юрай по привычке направился было за амбар. Но в сердце колет так, что нет сил идти. Юрай делает вид, будто ему хочется посидеть тут, на камне, у ворот, поглядеть на двор.

У Поланы вдруг оказывается уйма работы: она сыплет зерно курам, метет крыльцо, — словом, поспевает всюду.

— Девчонку родила Герпакова, — сообщает она доверительно.

Эх, Полана, с чего стала ты вдруг такой разговорчивой?

— М-м, — рассеянно бурчит Гордубал.

Смеркается. Полана распахивает ворота: скоро коровы вернутся с пастбища.

— Помнишь, Юрай, — начинает она нерешительно, — ты говорил, что... хочешь купить еще коров?

— Нет, не надо, — бормочет Гордубал.

Кивая головами, идут в стойло коровы. Бим-бам, бимбам. Юрай встает. Слава богу, полегчало!

— Покойной ночи, Полана, — говорит он.

— Ты что? Не будешь ужинать?

— Нет, не буду.

Полана преграждает ему дорогу.

— Юрай! Я постелю тебе в избе. Что скажут люди? Ты — хозяин, а спишь с коровами.

— Оставь людей в покое, — глухо отзывается Гордубал. — Мало ли что еще они говорят.

Юрай уходит. Угрюмо глядит ему вслед Полана. Стариковская спина у Юрая!

Гордубал ложится на солому. В боку больше не колет, но на сердце тяжело, болит оно. Дом затихает как-то смущенно. Гафия лепечет вполголоса, словно на нее прикрикнули: тише, мол, не шуми тут! Будто тяжелобольной в доме.

Тишина. Дом спит, спит вся деревня. Кряхтя, поднимается Гордубал с соломы, зажигает фонарь, идет поглядеть, где что надо справить.

Опять колет в боку, чтоб его разорвало! Надо бы вычистить стойла и подстелить коням. Надо бы то, надо бы это, да что-то сегодня неможется! Юрай заглядывает в курятник, в свиной хлев, в амбар, взбирается по лесенке на сеновал — не загорелось бы сено. Ох, как колет в боку! Юрай обходит двор и идет в сад. Зачем? Да так, не забрался бы кто чужой. Кто бы мог забраться? Конечно, никто, а впрочем, бог весть. А чердак? Полана ведь не спит на чердаке, там теперь сложена кукуруза. Полана перебралась в клеть. Затаив дух, подавляя стон, Гордубал поднимается по чердачной лестнице, пытается отворить дверь, но она не поддается, что-то мешает, слышно, как что-то сыплется и шуршит. Верно, кукуруза завалилась

и придавила дверь. Значит, на чердаке тоже никого. Да и кому бы там прятаться? Вот глупости!

Гордубал стоит посреди двора, как черный столб, и смущенно чешет в затылке. Зачем, удивляется он, зачем я тут хожу? Сколько лет жил здесь этот Манья, ну и я не стерег двор, не бродил с фонарем. Так зачем же теперь? Гордубала охватывает тупое безразличие. Кабы я уже лежал в хлеву и услышал вдруг чужие шаги, встал бы или нет? Нет, не встал бы. Крикнул бы: «Кто. там?» Нет. Только бы дух затаил. Эх, господи, да разве за взрослыми людьми уследишь?! Ну да, а я следил, господи прости, а сам притворялся, что работаю в потемках. Да разве устережешь чье-нибудь сердце? Глупый ты, глупый!

Ну, что ж, пускай Манья вернется. Теперь все равно. Все равно. Все переболело. Снявши голову, по волосам не плачут.

У Герпаков заплакал ребенок. Вот видишь, может, и правда, Полана ходила поглядеть на ребеночка. Что ж тут особенного? Бабы ведь души не чают в детях. Сейчас Герпакова, наверно, дает ему грудь. Помнишь, Полана, как ты кормила Гафию? Поведешь, бывало, плечом, и грудь опять прячется под рубашку. Одиннадцать лет прошло. А я-то в Америку... Глупый, глупый!

Гордубал глядит на звезды. Господи, сколько их! Наверно, прибавилось за эти годы. Раньше их было не так много... Прямо страх берет... Все равно, все равно, все спадает, как шелуха, одно за другим. Была Америка, было возвращение. Были Герич, Феделеш, Манья — много чего было. А теперь — ничего нет. Все равно. Слава богу, отлегло от сердца.

Тру-ту-ту — трубит вдали ночной сторож. А звезд столько, что дрожь пробирает.

Покойной ночи, Полана, покойной ночи, покойной ночи!

XXIII

Раннее утро, еще никто не проснулся, а Юрай уже вышел из деревни и шагает в горы. К пастуху Мише. Зачем? Да так, потолковать с человеком.

Гор еще не видно, в воздухе повис туман. Юрая немного знобит, но боли в боку нет. Только дышать труд-

но, — верно, от тумана. Юрай проходит мимо своего бывшего поля и останавливается перевести дух. Поле уже вспахано — вот вам и одни каменья! Видать, стоит овчинка выделки.

Тяжело дыша, Гордубал шагает дальше. Туман поднялся и перевалил через лес. Скоро осень. Гордубал поднимается в гору, прижимает руки к груди. Вот опять колет; теперь колет все время — вверх ли идешь или вниз. Чуть-чуть повыше опять туман. Но это уже не туман, а облака, носом можно учуять, как они пропитаны влагой. Осторожнее, не стукнуться бы об них головой! Вот облака перевалили через хребет; теперь Гордубал идет в облаках, в трех шагах ничего не видно. Приходится пробираться на ощупь, сквозь густой туман, не зная, где ты. И Гордубал, хрипло дыша, медленно, с трудом шагает в облаках.

Заморосил мелкий холодный дождь. Наверху, на полонине, пастух Миша накинул на голову мешок и, щелкая кнутом, гонит волов к шалашу. Что это рядом с ним? Не разберешь — зверь, куст или камень. А, это умный песик — Чувай! Чувай обегает стадо и сам гонит волов, только звон доносится из тумана.

Миша сидит на пороге пастушьей хижины и глядит во мглу. Туман временами редеет, и видно, как волы жмутся друг к другу. Потом все опять заволакивает тучами, только дождь шумит. Сколько сейчас может быть времени? Наверно, около полудня, Чувай вскакивает, настораживается и тихо ворчит. Из тумана появляется тень.

— Ты здесь, Миша? — окликает сиплый голос.

— Здесь.

— Ну, слава богу!

Это Гордубал, он промок насквозь, зуб на зуб не попадает. Со шляпы струйками стекает вода.

— Что шляешься под дождем? — сердито спрашивает Миша.

— С утра... не было дождя, — сипит Юрай. — Ночь была ясная. Это хорошо, что дождь... земле дождь нужен.

Миша, задумавшись, моргает.

— Погоди, я огонь разведу.

Гордубал сидит на сене и глядит на огонь. Потрескивают, дымят дрова. Тепло разливается по телу Юрая — да еще Миша накинул ему на спину мешок. Уф, даже жарко! Словно в майне. Юрай с учит зубами и гладит

мокрого, вонючего Чувая. Э-э, что там, я и сам-то пахну, как мокрый пес.

— Миша, — запинаясь, говорит Юрай, — а что... там... за сруб в лесу?

Миша кипятит в котелке воду и бросает в нее какието травы.

— Я знаю, худо тебе, — ворчит он, — и чего шляешься под дождем, дурень?..

— У нас в майне была штольня, — торопливо рассказывает Юрай, — там всегда капала вода. Всегда. Кап-кап-кап, точно часы идут... А знаешь, у Герпаковой родился ребенок. Полана ходила поглядеть... Нигде нет работы, Миша, никому не нужны люди.

— А ведь все новые родятся, — ворчит Миша.

— Надо, чтобы родились, — трясется в ознобе Юрай, — для того и женщины на свете. Ты не женатый, не знаешь, не знаешь ничего, Миша. Ну что ты можешь сказать, раз не женат? А надо, брат, обо всем подумать. Надо, чтобы было записано — «за любовь ее и верность супружескую». Иначе люди могут бог знает что сказать. Эх, жалко, украли у меня три тысячи долларов. Зажила бы она, как барыня, а? Правда! Ну, скажи, Миша.

— Верно, — бормочет Миша, раздувая огонь.

— Вот видишь. А мне говорят — дурень. Завидуют, что такая жена у меня. Голову держит высоко, как господский конь. Вот какой народ: все норовят обидеть человека. Пошла-то она всего лишь к соседке, взглянуть на ребеночка, а люди болтают бог весть что. Растолкуй им, Миша, что я сам видел, как она вышла от соседки.

Миша серьезно кивает головой.

— Скажу, все скажу.

Юрай переводит дух.

— Я затем и пришел, понял? Ты не женат, тебе не за что мстить. Мне они не поверят. Ты им скажешь, Миша? Пусть поймут, что пришлось нанять батрака, раз хозяин был в отлучке. Полана на чердаке запиралась, крючок крепкий такой, я сам видел... А Герич городит бог весть что! Мол, восемь лет и все такое. Скажи, кто знает ее лучше — Герич или я? Поведет плечом — и грудь опять под рубашкой... Тот парень, что был внизу у ручья, не наш, он леготский, я сам видел. Он пришел с той стороны. А люди — сразу за сплетни.

Миша качает головой.

— На, выпей-ка это, помогает.

Юрай глотает горячий отвар и глядит в огонь.

— Хорошо у тебя тут, Миша. Ты им все расскажи, тебе поверят. Ты, говорят, все знаешь. Скажи, что была она хорошая, верная жена... — Дым ест глаза, у Юрая навертываются слезы; нос у него совсем заострился. — Я, я один знаю, какая она! Эх, Миша! Хоть сейчас бы поехал опять в Америку, чтобы копить для нее деньги...

— Выпей-ка разом, — говорит Миша. — И согреешься.

У Гордубала на лбу выступает обильный пот. Его охватывает приятная слабость.

— Много я мог бы порассказать про Америку, Миша, — произносит он. — Многое позабыл, да подожди, вспомню...

Миша молча подбрасывает дров в костер, Гордубал прерывисто дышит и что-то бормочет сквозь сон. Дождь перестал, лишь с елок над шалашом падают тяжелые капли. А туман все сгущается. Порой замычит вол, и Чувай бежит поглядеть на стадо.

Миша чувствует на спине напряженный взгляд Гордубала. Юрай уже несколько минут не спит и глядит запавшими глазами на Мишу.

— Миша! — хрипит Гордубал. — Может человек сам с собой покончить?

— Чего?

— Может человек себе положить конец?

— Зачем?

— Чтобы не думать больше. Есть такие думы, Миша, что... лучше бы их не было. Думаешь... например, что она врет... что не была у соседки... — У Юрая дергаются губы. — Как от них избавиться, Миша?

Миша сосредоточенно молчит.

— Трудное дело. Думай до конца.

— А если в конце... только конец? Может человек себе положить конец?

— Не надо, — медленно говорит Миша. — Зачем? И так умрешь.

— А скоро?

— Если хочешь знать — скоро.

Миша встает и выходит из шалаша.

— Спи теперь, — говорит он, обернувшись в дверях, и исчезает в тумане.

Гордубал пытается встать. Слава богу, ему уже лучше, только голова как-то не держится и тело точно из тряпок — слабое, вялое.

Юрай, пошатываясь, выходит из шалаша. Кругом туман, не видно ни зги, только слышатся колокольцы, тысячи волов пасутся в облаках и звенят колокольцами. Юрай бредет неведомо куда. «Надо вернуться домой», — думает он и идет.

Идет куда глаза глядят. Иногда ему кажется, что под гору, — он точно валится куда-то. Временами похоже, что лезет он в гору, — и это так трудно, дыхание захватывает в груди. Э, все равно, лишь бы домой. И Юрай Гордубал погружается в туман.

XXIV

Гафия нашла отца в хлеву. Коровы беспокойно мычали, и Полана послала ее поглядеть, что случилось. Гордубал лежал на соломе и хрипел.

Он уже не противился, когда жена отвела его в избу, только как-то недоуменно и с усилием поднял брови. Полана раздела его и уложила в постель.

— Дать тебе чего-нибудь, Юрай?

— Ничего, — пробормотал он и опять забылся. Ему снилось что-то — вот не вовремя разбудили! Но что это было? Нет, Герич не был в Америке... Все опять спуталось, придется начать сначала. Эх, как давит грудь! Верно, это песик Чувай улегся на меня. Юрай беспокойно гладит волосатую грудь. Спи, спи, мохнатый, как у тебя бьется сердце! Ох, и тяжел ты, плут!

Гордубал ненадолго задремал, а когда проснулся, то увидел, что Полана стоит в дверях и испытующе смотрит на него.

— Ну, как тебе?

— Лучше, голубушка. — Он не решается заговорить, боясь, что исчезнет родной дом и возникнет опять каморка в Джонстоне. Да, да здесь совсем как дома: расписной сундук, дубовый стол, стулья. У Гордубала сильнее забилось сердце. Наконец-то я дома! Господи, какая же длинная дорога — четырнадцать дней на лоуэрдеке, да еще в поезде. Тело точно разломанное. Только не шевелиться,

а то опять все исчезнет. Лучше закрыть глаза и думать — вот я здесь, дома.

Все опять смешалось: майнеры в Джонстоне, Гарчар, драка — побили тогда Гордубала; Юрай бегает по штольне, увертывается, прыгает на лестницу в шахте, карабкается вверх. А сверху стремительно падает подъемник, вот-вот разобьет ему голову, ей-богу, разобьет. Гордубал просыпается от собственного стона.

Нет, не надо спать, так легче. Широко раскрыв глаза, Юрай разглядывает мебель в комнате. Так легче. Гордубал чертит пальцем в воздухе и рассказывает Мише про Америку.

Я, брат, всегда шел на самую тяжелую работу. Только крикнут; «Хеллоу, Гордубал!» — я и иду. Один раз засыпало штольню, даже плотники отказались лезть. Двадцать долларов я в тот раз заработал. Сам инженер мне руку пожал. Да, Миша, вот так взял и пожал...

Гордубалу чудится, что он спускается в шахту. Все вниз и вниз. Толстая еврейка и какой-то старик строго смотрят на него. «Сто восемьдесят один, сто восемьдесят два, сто восемьдесят три, — считает Гордубал и кричит: — Стоп, стоп! Дальше некуда. Тут конец шахты!» Но клеть мчится все дальше вниз, жара невыносимая, нет сил дышать. Куда они едут? Видно, в самое пекло. Юрай хватает ртом воздух и просыпается. Светает. В дверях стоит Полана и пристально глядит на мужа.

— Мне уже лучше, — шепчет Гордубал, и в глазах его появляется нежность, — не сердись, Полана, я скоро встану.

— Лежи, — говорит Полана и подходит к нему. — Что болит-то?

— Ничего. Со мной и в Америке случалось такое. Доктор говорил — флю [1]. Флю. Через два дня буду здоров, как рыба. Завтра встану, голубушка. Задал я тебе хлопот, а?

— Хочешь чего?

Гордубал качает головой.

— Мне и верно полегчало сегодня. Вот хорошо бы водицы кружечку... Да я и сам могу...

— Сейчас принесу.

Она уходит. Гордубал поправляет подушки за спиной, запахивает на груди рубашку. А то Полана увидит меня

---

[1] грипп (от *англ.* flue).

таким пугалом, думает он. Умыться бы да щетину сбрить. Полана вот-вот будет тут, наверно, и на кровать присядет, пока я буду пить. Юрай подвигается, чтобы освободить место на кровати, и ждет. Видно, забыла обо мне, думает он. Бедная, сколько у нее хлопот. Хоть бы Штепан вернулся. Скажу ей, как придет: «А что, Полана, может, вернуть. Манью?»

В избу входит Гафия с кружкой воды в руках. Девочка несет ее осторожно, высунув от усердия язычок.

— Спасибо, Гафия, умница ты у меня, — вздыхает Гордубал, — а что, дядя Штепан тут?

— Нету.

— А что мамка делает?

— Во дворе стоит.

Гордубал не знает, что и сказать, даже про воду забыл.

— Ну, иди, — бормочет он, и Гафия опрометью выскакивает за дверь. Юрай тихонько лежит и слушает. Лошади в конюшне стучат копытами. Напоила ли их Полана? Нет, сейчас, наверно, еще поит свиней — вон как расхрюкались. Как же, за день набегается хозяйка. Надо бы вернуть Штепана... Поеду в Рыбары, скажу: «Эй, ты, лежебока, отправляйся к коням! Полане одной не управиться. Вечером возьму и поеду», — думает Юрай. В глазах у него темнеет, и все исчезает.

В комнату заглядывает Гафия, мнется у двери и бежит обратно. «Спит!» — шепчет она матери. Полана молчит, напряженно думая о чем-то своем.

В полдень Гафия снова на цыпочках входит в избу, Гордубал лежит, закинув руки за голову, и глядит в потолок.

— Маменька велела спросить: не надобно ли чего? — выпаливает она.

— Я думаю, Полана, — говорит Юрай, — нужно вернуть Манью.

Гафия в недоумении раскрывает рот.

— А как вам, легче?

— Спасибо, легче.

Гафия выбегает.

— Говорит, что поправился! — докладывает она Полане.

— Совсем поправился?

— Не знаю.

С полудня стало совсем тихо. Гафия не знает, чем ей заняться. Мать не велела ей убегать — сиди, мол, дома, может, хозяин попросит чего. Гафия играет на крыльце с куклой, которую ей вырезал Штепан.

— Не ходи никуда, — наказывает она кукле. — Хозяин лежит, а ты стереги двор. Да не плачь, а то наподдам.

Гафия идет на цыпочках посмотреть, что делается в избе. Гордубал сидит на кровати и покачивает головой.

— Что делает мать, Гафия?

— Ушла куда-то.

Гордубал кивает.

— Передай ей, чтоб вернула Штепана. А жеребца он может получить обратно. Хочешь, чтоб у тебя были кролики?

— Хочу.

— Я тебе смастерю клетку для кроликов такую, как у майнера Иенсена. Эх, Полана, много чего есть в Америке! Все заведем. — Гордубал качает головой. — Хочешь, Гафия, я возьму тебя наверх, в луга? Там есть такой чудной сруб, даже Миша не знает, что там было. Иди, иди, скажи матери, что Штепан вернется.

Гордубал чувствует какое-то удовлетворение. Он ложится и закрывает глаза. Темно, точно в штольне. Бух-бух, это где-то бьют киркой по камню... Вот Штепан ухмыляется — одни, мол, каменья. Да, каменья. А знаешь ли ты, дурень, что такое работа? По работе судят о мужчине. Что за дрова у тебя на дворе, голубушка? Ровные да гладкие поленья, а я, бывало, корявые пни раскалывал. Вот это мужская работа — колоть пни. Или добывать из-под земли камень.

Гордубал доволен. Немало я поработал на своем веку, Полана, ей-богу, немало. Хорошо это. Сложив руки на груди, Гордубал спокойно засыпает.

Проснулся он уже под вечер, тяжелые сумерки разбудили его.

— Гафия, — позвал Гордубал. — Гафия, где Полана?

Тишина. Издалека доносится звон, это стадо возвращается с поля. Гордубал вскочил с кровати и натянул штаны. Надо отворить ворота коровам. Голова у Юрая кружится — видно, от долгого лежания. Он ощупью пробирается во двор и распахивает ворота. В голове шумит, дышится тяжело — однако ж, слава богу, удалось выбраться на воздух. Звон близится, нарастает, ширится,

как река. Все полно звоном этих колокольцев. Юраю хочется стать на колени, перезвон колокольцев звучит для него неслыханным великим благовестом. Степенно покачивая головами, во двор входят две коровы с полным выменем.

Юрай прислоняется к воротам. Ему хорошо, спокойно, как на молитве.

Во двор вбегает раскрасневшаяся от быстрой ходьбы Полана.

— Ты уже встал, Юрай? — восклицает она. — А где Гафия?

— Да, встал, — виновато оправдывается Гордубал. — Мне уже легче.

— Иди, иди, полежи, — настаивает Полана. — Утром будешь совсем здоров.

— Как хочешь, голубушка, как хочешь, — послушно и ласково отзывается Гордубал. — Я мешать тебе не стану.

Он закрывает ворота, закладывает засов и медленно идет в избу. Когда ему приносят ужин, он уже спит.

Часть вторая

I

— Юрая Гордубала убили!

Староста Герич быстро натягивает рубаху.

— Беги, парень, за полицией, — торопливо говорит он. — Скажи, чтобы шли к Гордубалам.

На Гордубаловом дворе, ломая руки, мечется Полана.

— Ах, господи, господи! — голосит она. — Кто же это его? Убили хозяина, убили!

Испуганная Гафия забилась в угол; через забор глядят ошеломленные соседки; кучка мужчин теснится у калитки. Староста идет прямо к Полане, кладет ей руку на плечо.

— Перестаньте, хозяйка, что с ним такое? Куда он ранен?

— Н-не-знаю... — трясется Полана. — Я там не была, я не могу...

Староста пристально глядит на нее. Полана бледна, взволнована; она лишь заставляет себя метаться и причитать.

— А кто его видел?

Полана поджимает губы.

А во двор уже входят полицейские и закрывают калитку перед носом у любопытных. Полицейских двое: старый толстяк Гельнай без оружия и в расстегнутом мундире и Бигл, новый служака, — этот сияет новехонькой формой и исполнен усердия.

— Где он? — вполголоса спрашивает Гельнай.

Полана кивает на избу и причитает.

«Американец» Гордубал лежит на постели, будто спит.

Гельнай снимает каску и, несколько смущенный, утирает пот. Староста Герич, помрачнев, остается в дверях. Только Бигл деловито идет к постели и наклоняется над трупом.

— Посмотрите на грудь, — говорит он, — крови совсем мало. Похоже, что его закололи.

— Свой кто-то! — бурчит староста.

Гельнай не спеша оборачивается.

— Что вы хотите этим сказать, Герич?

— Да так, ничего. — Староста качает головой. «Бедняга Юрай!» — думает он

Гельнай чешет в затылке.

— Смотрите, Карел, окно-то разбито!

Но Карел Бигл, расстегнув рубашку на груди убитого, рассматривает рану.

— Странно, — цедит он сквозь зубы, — видимо, не ножом. И крови мало...

— Взгляните на окно, Бигл, — повторяет Гельнай. — Тут кое-что интересно для вас.

Бигл оборачивается к окну. Окно заперто, только в одном квадрате выдавлено стекло.

— Ага! — не без удовольствия замечает Бигл. — Здесь? Но в эту дыру никто не пролезет, Гельнай. А вот на стекле царапины от алмаза, но они сделаны изнутри! Очень занятно!

Герич на цыпочках подходит к кровати. Бедняга Юрай, как он осунулся! А глаза закрыты, точно спит...

Бигл аккуратно открывает окно и выглядывает наружу.

— Так я и думал! — самоуверенно возглашает он. — Осколки-то снаружи, Гельнай...

Гельнай засопел.

— Значит, кто-то свой, а, староста? — говорит он в раздумье. — А где, кстати, Штепан Манья?

— Верно, у себя дома, в Рыбарах, — неохотно отзывается староста.

Бигл тем временем сует нос во все углы. Вещи не разбросаны, нигде ни следа взлома...

— Не нравится мне это, Карлуша, — говорит Гельнай.

Бигл ухмыляется.

— Слишком глупо, да? Погодите, я все приведу в порядок. Я, Гельнай, люблю ясные случаи.

Толстый, осанистый Гельнай расхаживает по двору.

— Подойдите сюда, Гордубалова. Кто был в эту ночь дома?
— Одна я, да Гафия — дочка.
— Где вы спали?
— В клети, с Гафией.
— Дверь во двор была заперта, так ведь?
— Понятно, заперта.
— А утром тоже заперта? Кто ее открыл?
— Я, как рассвело.
— А кто первый увидел труп?
Молчание. Полана поджимает губы.
— Где ваш батрак? — внезапно вставляет Бигл.
— Дома, в Рыбарах.
— Откуда вы знаете?
— Ну... я думаю...
— Я не спрашиваю, что вы думаете. Откуда вы знаете, что он в Рыбарах?
— Я... не знаю.
— Когда он был тут последний раз?
— Дней десять назад... Получал расчет.
— Когда вы его видели последний раз?
— Десять дней назад.
— Лжете! — беспощадно отрезает Бигл. — Вы виделись с ним вчера, нам все известно.
— Неправда! — испуганно восклицает Полана.
— Признайтесь, Гордубалова, — настаивает Гельнай.
— Нет... Да... Вчера мы встретились...
— Где? — нажимает Бигл.
— Не дома.
— Где «не дома»?
Полана прячет глаза.
— За деревней.
— Что вы там делали? Ну, живее!
Полана молчит.
— У вас было свидание с ним, вот что, — вмешивается Гельнай.
— Нет, видит бог! Случайно попался мне...
— Где? — повторяет Бигл.
Измученные глаза Поланы останавливаются на Гельнае.
— Случайно встретились... Он спросил, когда ему прийти за вещами. У него тут одежда осталась в конюшне.

— Видать, впопыхах отсюда убрался. Да? За что его выгнал хозяин?

— Поссорились.

— Когда он хотел прийти за вещами?

— Сегодня... Сегодня утром.

— И не пришел?

— Нет, не пришел.

— Потому что был ночью! — восклицает Бигл.

— Не был, не был он здесь. Дома ночевал.

— Откуда вы знаете?

Полана кусает губы.

— Я не знаю.

— Идите за мной, Гордубалова, — резко приказывает Бигл. — Там, около убитого, у вас развяжется язык.

Полана пошатнулась.

— Оставьте ее, — бормочет староста Герич. — Она брюхатая.

II

Гельнай сидит на дворе, предоставив Биглу обыскивать дом. Тот все ищет и ищет, прямо-таки глаза горят от усердия. Он обшарил конюшню, хлев, все перерыл, теперь полез на чердак. Доволен он и оживлен чрезвычайно.

«Ну и дела! — думает Гельнай. — Но с меня хватит возни с цыганами да поддержания общественного порядка. Пусть себе Карлуша потешится».

Из избы выходит доктор и направляется к колонке вымыть руки. Бигл тут как тут и полон нетерпения.

— Ну что, ну как?

— Все выяснится на вскрытии, — изрекает доктор. — Но, по-моему, удар был нанесен гвоздем или чем-то в этом роде. Несколько капель крови... Странное дело...

Полана подает ему полотенце.

— Спасибо, хозяюшка. Послушайте, ваш муж ничем не хворал?

— Вчера лежал, лихорадило его.

— Ага. А когда вы ждете ребенка?

Полана краснеет.

— К весне, ваша милость.

— К весне? Ну, нет, мамаша, к новому году, вот когда.

Бигл радостно смотрит вслед уходящей Полане.

— Вот вам и причина, Гельнай. Гордубал-то ведь вернулся из Америки только в июле.

Гельнай засопел.

— Гордубалова считает, что кто-то забрался снаружи. Дескать, с неделю назад ее муж подрался в корчме с Гейзой Феделешем. Разбил ему голову. Гейза — драчун, и будто бы он отомстил. Вот вам еще одна отличная версия, Карлуша.

Доктор тоже смотрит вслед Полане и говорит рассеянно:

— Экая жалость! Вы ее арестуете, и мне не удастся видеть роды. Тут редко приходится бывать при родах. Бабы рожают, как кошки... А у этой роды будут трудные.

— Почему?

— Стара, худа, лет сорок, верно?

— Что вы! — говорит Гельнай, — едва ли тридцать.

— Так вы говорите, Гордубал болел перед смертью? Как это можно определить по мертвецу?

— Тайна медицины, Гельнай! Впрочем, вам я скажу: под кроватью был полный ночной горшок.

— А я и не заметил! — с завистью восклицает Бигл.

— Так, всего хорошего, господа, — говорит доктор, покачиваясь с пяток на носки. — А о дне вскрытия дадите мне знать, ладно?

— Я еще раз пройдусь по дому, — бормочет Бигл. — А потом можно и в Рыбары.

— Что это вы, Карлуша, все ищете? Еще какую-нибудь версию?

— Улики, — сухо говорит Бигл. — И орудие преступления.

— Ага! Желаю удачи!

Гельнай вразвалку направляется к забору и завязывает разговор с соседкой. Он зубоскалит с ней так долго, что наконец получает тряпкой по голове и цветочек на память.

В уголке у сарая жмется перепуганная Гафия. Гельнай строит ей рожи и скалится так страшно, что Гафия сперва пугается, а потом начинает передразнивать его.

Спустя некоторое время Бигл вылезает откуда-то из-

за амбара. Гафия сидит на коленях у полицейского Гельная и рассказывает ему, что у нее будет клетка для кроликов.

— Ничего не нашел! — с досадой сообщает Бигл. — Но я еще сюда вернусь. Не может быть, чтобы... Вы велели Геричу приготовить подводу в Рыбары?

— Уже ждет, — отвечает Гельнай и легким шлепком отпускает Гафию.

— Что вы, Гельнай, обо всем этом думаете?

— Видите ли, Бигл, — серьезно начинает Гельнай. — Я об этом вообще не собираюсь думать. Хватит, за двадцать пять лет я много передумал. Осточертело.

— Но убийство — это ведь не шутки! — авторитетно изрекает Бигл.

— Вот именно, не шутки, Карлуша, — отвечает Гельнай, покачав головой. — Но только знайте, к убийству в деревне нужен совсем другой подход. Вы — человек городской, во всем этом не разбираетесь. Будь это убийство с целью грабежа, я бы сам шарил да вынюхивал, как и вы. Но убийство в семье... И я вам скажу, Бигл, — нисколько не удивительно, что Гордубала убили.

— Почему?

— Такая несчастливая у него была планида. Это у него, голубчик, на носу написано.

— Черта с два — на носу! — усмехается Бигл. — В его постели спал молодой батрак, вот вам и вся история. Все очень ясно, милый Гельнай!

— Как же! — ворчит Гельнай. — Нет, такие случаи никогда не бывают ясными. Вот увидите, Карел. Зарезать человека ради денег — это простое дело; раз, два — и готово. А вы тут рассудите; дни и недели таить в себе замысел, дни и ночи обдумывать... Это, знаете ли, Бигл, все равно что заглянуть в пекло. Вам все ясно, потому что вы здесь новичок, а я всех знал, Карлуша, всех троих. Э, да что говорить, едем-ка в Рыбары.

III

— Штепан дома?

— Нету, ушел в город.

Бигл отталкивает Михаля Манью и вбегает в дом. Гельнай тем временем пускается со старым Маньей

и Михалем в разговор о погоде, о зайцах и о том, почему у них навозная жижа течет на дорогу.

Бигл возвращается. С ним — Штепан, бледный, упирается, весь в сене.

— А вы сказали, что его нет дома, — накидывается Бигл на Михаля.

— Он с утра говорил, что пойдет в город, — бормочет Михаль. — Сторож я ему, что ли!

— А он спрятался на сеновале. Вы зачем прятались? А?

— Я не прятался, — насупясь, отвечает Штепан. — С чего бы мне прятаться? Спал — и все тут.

— Видно, ночью не выспались?

— Выспался, почему не выспался?

— Так почему же вы сейчас спали?

— Потому что... нечего делать, вот почему. Хватит, намаялся в батраках.

— Вчера он работал, ей-богу, работал, целый день пахал поле, — торопливо вступается старый Манья.

— Я вас не спрашиваю! — огрызается Бигл. — Марш в избу, быстро. И вы, Михаль, тоже.

— Охо-хо-хо! — вздыхает Гельнай. — Так что вы скажете, Штепан, насчет того, что случилось с Гордубалом?

— Я здесь ни при чем! — вырывается у Штепана.

— Значит, вы уже знаете, что он убит? — торжествующе кричит Бигл. — Откуда вам это известно?

— Ниоткуда. А просто я как увидел полицейских, сразу смекнул, что с Гордубалом неладно.

— Почему именно с Гордубалом?

— Потому что, потому что... мы с ним поссорились. — Штепан стискивает кулаки и зубы. — Выгнал меня из дому, пес эдакий!

Бигл слегка разочарован.

— Смотрите, Манья, вы, значит, признаетесь, что поссорились с Гордубалом?

Штепан злобно усмехается.

— Это всякий знает.

— И вы хотели ему отомстить?

Штепан фыркает.

— Повстречайся он мне... не знаю, что бы я ему сделал!

Бигл с минуту размышляет. Штепана голыми руками не возьмешь.

— Где вы провели эту ночь? — режет он напрямик.

— Дома был, здесь. Спал.

— Это мы еще проверим. Свидетели есть?

— Есть. Михаль, Дьюла, старик мой, их спросите.

— Вы меня не учите, кого спрашивать, — накидывается на него Бигл. — Вчера днем вы говорили с Гордубаловой. О чем?

— Не говорил я с ней, — заявляет Штепан твердо и категорически. — И не видел даже.

— Лжете! Она сама призналась, что ходила на свидание с вами. И вы спрашивали ее, когда приходить за вещами.

— Я ее десять дней не видел, — настаивает Штепан. — Как ушел от них, так и не был в Кривой. И хозяйку не видел.

Бигл свирепеет.

— Погодите, я вас научу говорить правду! Идемте, покажите, где вы ночевали сегодня.

Штепан, пожав плечами, ведет Бигла в избу. Гельнай стучит в окошко.

— Эй, старик, подите-ка сюда.

Старик Манья выходит, опасливо помаргивая.

— Сделайте милость, скажите, что случилось?

Гельнай машет рукой.

— Да Гордубала этой ночью избили, досталось ему палкой по морде. Слушайте, папаша, это не Штепан ли постарался?

Старик качает головой.

— Вот уж нет, с вашего позволения. Штепан не мог, Штепан дома был, спал. Эй, Михаль, поди-ка сюда. Скажи, где был Штепан этой ночью?

Михаль сначала молчит, потом говорит не спеша:

— Где же ему быть? Спал наверху, со мной и с Дьюлой.

— Так, так, — кивает головой Гельнай. — Я так и думал. А Гордубала не любили в деревне? Разбогател, приехал из Америки и даже соседей не угостил.

Старый Манья поднимает руку.

— Ох, и разбогател. На шее носил мешочек с долларами.

— Вы видели?

Ну, конечно, старый Манья видел, ведь Гордубал приезжал к нему покупать усадьбу и деньги показывал. Больше семисот долларов, изволите ли видеть. А в деревне — что верно, то верно — его не любили. У гордого человека нет друзей.

Гельнай серьезно кивает.

— Что это у вас дверь вся исколота, Манья?

— От шила это. Шило сюда втыкаем, которым плетем корзины. Круглый год тут торчит.

— Покажите-ка, какое оно, — интересуется Гельнай. — Первый раз слышу, что корзины делают шилом.

— Прутья вот этак сплетают. — Манья чертит рукой в воздухе. — Еще вчера здесь было шило, — сердится он. — Куда оно запропастилось, а, Михаль?

— А ну его, — равнодушно отмахивается Гельнай. — Другой раз буду здесь, погляжу. А вот жижа у вас течет на дорогу, это не годится, Манья. Дорога казенная.

— Прошу прощения, как будем навозить поле, все вывезем...

— Надо, чтобы была настоящая яма, цементная. Небось денег не хватает в хозяйстве?

— Ох, не хватает! — усмехается старик. — Амбар надо ставить новый. Михаль — глупый парень. Штепан куда толковей, вот бы кому быть хозяином.

С поля едет Дьюла, в телеге у него охапка сена, но шуму столько, словно гром везет.

— Подойди-ка сюда, парень, — по-отечески зовет его Гельнай. — Допрошу и тебя для порядка. Где был Штепан сегодня ночью?

Дьюла, разинув рот, вопросительно глядит на старика и на Михаля. Но никто и бровью не ведет.

— Здесь был, — ворчит Дьюла, — со мной и с Михалем спал на чердаке.

— Молодец! — хвалит Гельнай. — А что, хотел бы ты поступить в кавалерию?

Подросток блеснул зубами.

— Еще бы!

Бигл выходит из избы, тихонько ругаясь.

— Подите сюда, Гельнай. Штепана я хватил немного по морде и запер в избе.

— Этого не полагается, — замечает Гельнай. — Неприкосновенность личности и всякое такое.

Бигл непочтительно ухмыляется.

— Плевать мне на неприкосновенность личности! Хуже то, что я ничего не нашел. А как вы?

— Алиби, хоть убей, Карел. Всю ночь дрых на сеновале, как примерный мальчик.

— Врут! — восклицает Бигл.

— Ясно, что врут. Это у них в крови, друг мой.

— На суде заговорят, — злится Бигл.

— Плохо вы их знаете. Откажутся давать показания или будут ложно присягать. Как ни в чем не бывало. В деревне, Карлуша, это нечто вроде народного обычая.

— Так что же нам делать? — хмурится Бигл. — Арестовать нам сейчас Штепана, как вы думаете, Гельнай, а? Можно головой ручаться, что это он...

Гельнай кивнул головой.

— Ясно. Только смотрите, Бигл...

Он не докончил. Где-то слабо звякнуло стекло.

— Стой! — ревет Бигл и бросается за угол дома. Гельпай, не торопясь, следует за ним. На земле барахтаются два человека, в конце концов Бигл оказывается сверху.

— Давайте, я его подержу, Карел, — предлагает Гельнай.

Бигл поднимается и тащит за собой Штепана, выворачивая ему руку.

— Пошевеливайся! — хрипит он. — Вставай! Я тебе покажу, как от меня бегать!

Штепан, тяжело дыша, морщится от боли.

— Пустите, — хрипло бормочет он. — Я только хотел в Кривую... за вещами.

Дьюла кидается между ними.

— Пустите его, — кричит он. — А то я...

Гельнай берет Дьюлу за плечо.

— Легче, легче, малыш! А вы, Михаль, не вмешивайтесь не в свое дело. Штепан Манья, вы арестованы именем закона. Ну, иди, дурень, иди.

Штепана Манью везут в город. Уже не на коне он, не скачет с гордо поднятой головой, и все же люди останавливаются поглядеть. По бокам его — полицейские, с ружьями между колен. Не сдвинута у Штепана шапка на затылок, не смотрит он на долину — там вон река,

там пасутся кони, виднеется болото за камышом... Молча сидит Штепан, уперся взглядом в рыжий затылок возницы.

Гельнай расстегивает мундир и заводит со Штепаном дружескую беседу. О Гордубале ни слова, все о хозяйстве, о доме в Рыбарах, о лошадях. Штепан сперва дичится, потом увлекается разговором.

Да, да, хорош был жеребчик. Зря его продал хозяин, бог весть кому и зачем. Восемь тысяч можно было бы за него взять, продать на конный завод, а перед тем пустить его на ту черную кобылу. Эх, сударь, хотел бы я поглядеть на них... У Маньи загораются глаза. Такого коня продал хозяин — грех, да и только! Мерина надо было продать или кобылу, вот что. А не жеребца... — Штепан искренне взволнован.

«С арестованными говорить не полагается, разве что вполне официально!» — огорченно думает Бигл.

— Вот вез бы нас тот жеребец, — говорит Штепан точно про себя, — я сам бы взял вожжи... То-то бы прокатились, эх!

IV

— Смотрите, Гельнай, — сказал вечером Бигл, — это кто-то из своих. Окно выдавлено изнутри, чтобы похоже было на взлом. Через дверь в избу не попасть, дверь была на засове. Значит, убийца был в доме уже с вечера...

— Не был, — возразил Гельнай. — Гафия мне сказала, что дядя Штепан вечером к ним не приходил.

— Хорошо. Значит, ночью его впустил кто-нибудь из домашних. Опять же выходит, что убийца не мог быть посторонним человеком. Штепан здесь пять лет в батраках жил. Вся деревня знает, что все это время у него была любовная связь с хозяйкой.

— Погодите. Во-первых, всего только четыре года. Первый раз это случилось на сеновале. Потом она ходила к нему каждую ночь в конюшню. Я, Карел, все это разузнал у Гафии.

— Ваша Гафия что-то многовато знает, — усмехнулся Бигл.

— Да, все деревенские дети такие...

— Теперь дальше: Гордубалова беременна, разумеется, от Штепана. Гордубал ведь приехал из Америки толь-

ко в июле. Она знала, что все это откроется. Гордубал ни с кем не собирался делить жену.

Гельнай отрицательно покачал головой.

— Едва ли, Бигл. Гордубал ночевал в хлеву, а она — на чердаке или в клети. Я узнал это от соседки.

— А к батраку она все равно ходила.

— Как сказать, — задумчиво произнес Гельнай. — Гафия думает, что не ходила. Правда, последнее время Полана отлучалась из дому. Соседка видела, как она шла куда-то за деревню.

— Вот человек! — удивился Бигл. — У вас сплетен, точно у старой бабы! А я стараюсь логически воспроизвести картину.

— Ага! А не лучше ли, Карлуша, заниматься этим делом про себя?

— Нет, вслух это лучше получается. Итак: этот болван Гордубал настолько доверял Штепану, что просватал ему малолетнюю Гафию. Вы только подумайте, Гельнай, это же настоящее средневековье — обручать ребенка!

Гельнай пожал плечами.

— Но потом, видно, Гордубал догадался, что жена изменяет ему, и выгнал Штепана.

Гельнай недовольно засопел.

— Что вы мне рассказываете, Бигл! Сперва Штепан ушел от них, и только потом хозяин обручил его с Гафией. Спросите любую бабу в деревне.

— Гм... — смутился Бигл. — Как же все это связать?

— Не знаю, Карлуша, не знаю. Я не умею составлять этих... как вы их называете?.. логических картин. Все это дело — семейная трагедия, и случай вовсе не ясный. Да он и не может быть ясным. Вы не семейный, Бигл. То-то и оно!

— Да ведь все ясно, Гельнай, как дважды два четыре. Полана хочет избавиться от мужа. Штепан не прочь жениться и заполучить усадьбу. Они сговариваются — и готово. Вчера она бегала за ним...

Гельнай покачал головой.

— Опять не то. Гафия говорит, что вчера сам хозяин посылал ее: иди позови Штепана, пускай вернется. А впрочем, какое мне дело? Послушайте, Бигл, у покойного на шее не было мешочка с деньгами?

— Какого мешочка? — изумился Бигл. — Ничего не было.

— Вот видите! — говорит Гельнай. — А в мешочке больше семисот долларов. Поищите-ка их, Карлуша!

— Вы думаете — это убийство с целью ограбления?

— Ничего я не думаю. Однако же пропали денежки! Старый Манья однажды видел их у Гордубала. А семейство Манья нуждается в деньгах, — им нужно новый амбар строить.

Бигл тихо свистнул.

— Та-а-ак! Значит, настоящая причина в деньгах?

— Возможно, — соглашается Гельнай. — Обычно так бывает. Или месть, Бигл. Это тоже солидная версия. Гордубал швырнул Штепана через забор. Прямо в крапиву. За такое дело, Карлуша, в деревне ножом мстят. Так что можете выбрать любую версию, какая вам больше по вкусу.

— Что вы хотите этим сказать? — нахмурился Бигл.

— Хочу помочь вам логически воссоздать картину... — невинно замечает Гельнай. — А еще вполне вероятно, что Манья убил его из-за того жеребца.

— Ну, это уж глупо!

— Вот именно. В семейных делах как раз и убивают сдуру, милый Бигл.

Бигл обиженно молчит.

— Не сердитесь, Карлуша, — говорит Гельнай. — Тогда я вам скажу, чем был убит Гордубал. Шилом для плетения корзин.

— Откуда вы знаете?

— Вчера у Маньи пропало шило. Ищите его, Бигл.

— А как оно выглядит?

— Не знаю. Вероятно, вроде большой иглы. Вот и все новости, Бигл, — заключает Гельнай, принимаясь сосредоточенно выколачивать трубку. — Кроме разве того, что Маньи будут вывозить навоз.

V

Гельнай и Бигл, попивая вино, дожидаются конца вскрытия.

— Где вы нашли этот алмаз для резки стекла, Бигл?

— В клети у Гордубалов. Что вы скажете?

— Вот они, мужики, какие! — с огорчением говорит Гельнай. — Ему жалко выкинуть вещь, даже если это улика. Пригодится, видите ли, в хозяйстве. — Гельнай виртуозно сплевывает. — Жмоты!

— Гордубалова уверяет, что алмаз у них был давно, еще до отъезда Гордубала в Америку. Но стекольщик Фаркаш вспомнил, что Штепан с месяц назад покупал у него алмаз.

Гельнай свистнул.

— Целый месяц! Вот видите, Бигл, какое странное дело: они задумали это месяц тому назад. Убить кого-нибудь сгоряча, вдруг, могу, пожалуй, и я. Но вот эдак, готовиться долго, исподволь... А доллары не нашлись, вы говорите?

— Нет. Но в клети, кроме того, был электрический фонарик. Сейчас я выясню, где и когда Штепан купил его. Тоже вещественное доказательство, а? По-моему, налицо достаточно оснований, чтобы начальство выдало ордер на арест Гордубаловой. А они требуют, чтобы мы нашли еще какие-нибудь солидные улики.

Гельнай ерзает на стуле.

— У меня, Карлуша, тоже кое-что есть. Штепанов деверь, некий Янош, рассказывает, будто неделю назад Штепан пришел к нему на пашню и сказал: «Ты, Янош, можешь получить хороший куш, пару волов получишь, сам их выберешь на базаре», — и все, мол, за легкое дело: прикончить Юрая Гордубала.

— Здорово! — восхищается Бигл. — И что же Янош?

— «А ну тебя, — сказал будто бы Янош. — Откуда у тебя такие деньги?» — «У меня-то их нет, — ответил Штепан, — зато есть у хозяйки. А у нас сговорено пожениться, как только мы избавимся от Гордубала».

— Значит, попались, — глубоко вздыхает Бигл. — Оба замешаны одинаково.

Гельнай кивает.

Выходит доктор. Он закончил вскрытие и спешит, семеня короткими ножками и близоруко поглядывая по сторонам.

— Господин доктор, — окликает его Гельнай. — Не можете ли вы задержаться на минутку?

— А! — отзывается доктор. — Ну, допустим. Дайте-ка мне сливовицы. Бедняга уже попахивает. Работа не из

приятных. — Он быстро опрокидывает стопку и крякает. — А знаете, господа, что зарезали-то они — покойника?

Бигл таращит глаза.

— Что-о?

— Почти покойника. Он уже чуть дышал. Агония. Воспаление легких в острейшей форме. Правое легкое насквозь гнилое, желтое, как печенка. Покойник не дожил бы и до утра.

— Значит, убийство было напрасным? — медленно говорит Гельнай.

— Да. Кроме того, на аорте вздутие — величиной с кулак. Не будь даже воспаления легких, достаточно было небольшого потрясения — и конец. Бедняга!

Полицейские удрученно молчат. Наконец Бигл откашливается и спрашивает:

— Ну, а причина смерти, доктор?

— Убийство. Прободение сердца в области левого желудочка. Крови вытекло очень мало, потому что уже наступила агония.

— Чем, по-вашему, нанесена рана?

— Не знаю. Гвоздем, шилом, большой мешочной иглой. Короче говоря, тонким остроконечным ребристым металлическим предметом длиною около десяти сантиметров, овального поперечного сечения... Довольно с вас?

Гельнай вертит стакан в толстых пальцах.

— А что, доктор... нельзя ли признать, что он... умер от воспаления легких? Видите ли, раз ему все равно суждено было умереть... стоит ли поднимать всю эту возню?

— Нет, так не годится, Гельнай! — кричит Бигл. — Ведь убийство налицо.

Доктор сверкнул очками.

— Было бы досадно, господа. Случай весьма занимательный. Редко приходится видеть убийство иглой или чем-нибудь в этом роде. Я положу сердце убитого в спирт и отправлю его, — доктор просиял, — одному видному эксперту в Прагу. Так что вы получите авторитетнейшее заключение. Ничего не поделаешь — это убийство, так говорит закон. Но, боже, какое ненужное убийство!

— Ничего не поделаешь! — повторяет Гельнай. — А один осел считает, что это ясный случай...

VI

Банка с сердцем Гордубала треснула в дороге, и спирт вытек. В лабораторию ученого мужа сердце прибыло в весьма неважном состоянии.

— Опять что-то прислали, — возмутился эксперт, седовласый господин. — Что там написано в бумаге? «Обнаружена колотая рана»? Ох уж эти мне сельские эскулапы!

Ученый авторитет огорченно вздохнул и издали воззрился на сердце Гордубала.

— Пишите: колотая рана исключена, отверстие слишком мало. Сердечная мышца прострелена пулей малого калибра. И поскорее уберите это!

— Пожалуйте письмецо из Праги, — приветствовал Гельуай Бигла, вернувшегося из Рыбар. — К вашему сведению, Карлуша, Гордубал был не заколот, а застрелен из малокалиберного ружья. Вот оно как.

У Бигла опустились руки.

— А что говорит наш доктор?

— Что говорит? Ругается на чем свет стоит. Не знаете вы его, что ли? И настаиваете на своем. Итак, значит, малокалиберное ружье. Пуля, правда, не обнаружена, но ничего не попишешь. Ищите человека с малокалиберной винтовкой, Бигл.

Бигл швырнул свою каску в угол.

— Я этого так не оставлю, Гельнай, — пригрозил он. — Я никому не позволю запутывать дело. Господи боже, все уж было почти готово, все сходилось — и вот пожалуйста! Разве можно с этим сунуться в суд? Милый человек, где мы добудем малокалиберную винтовку?

Гельнай пожимает плечами.

— Вот видите, а все потому, что вы не дали бедняге Гордубалу спокойно отдать богу душу от воспаления легких. Сами виноваты: вы и доктор.

Бигл в бешенстве садится на стул.

— Проклятое письмо испортило мне все удовольствие. Самое большое удовольствие за эти дни.

— Какое же?

— Я нашел доллары, семьсот долларов с лишним. И мешочек. Под балкой на чердаке в Рыбарах.

Удивленный Гельнай вынимает трубку изо рта.

— Вот это здорово, Карлуша! — одобрительно говорит он.

— Ну уж и пришлось поискать. — Бигл переводит дух. — Знаете, сколько я провозился в Рыбарах? Сорок шесть часов! Я подсчитал! Ни одной соломинки не оставил в покое, все переворошил. Штепан провалился со своим алиби. Как вы думаете, Гельнай, хватит этого присяжным? Деньги нашлись, алмаз, купленный Штепаном, — тоже неплохое доказательство, а кроме того, противоречия в показаниях. Получается законченная версия, а?

— Даже четыре версии, — соглашается Гельнай.

Бигл машет рукой.

— Какие там четыре! Налицо обыкновенное, заурядное, мерзкое убийство из-за денег. Я вам расскажу все, как было, Гельнай. Гордубал знал, что Манья — любовник его жены, и боялся его. Вот почему он носил деньги с собой, вот почему обручил Манью с Гафией, вот почему в конце концов выгнал его и запирался в хлеве. Совершенно ясный случай.

Гельнай задумчиво помаргивает.

— А я, Карлуша, все думаю о лошадях. Штепан любит лошадей... У него одно на уме: как бы прикупить земли и завести табун. А тут, как раз рядом с гордубаловскими лужками, продавался участок земли. Манья, наверное, хотел, чтобы Гордубал купил его, а тот все нет да нет. И денежки припрятал за пазуху. Я не удивлюсь, если это окажется настоящей причиной.

— Ну, знаете, что в лоб, что по лбу. Так и так выходит из-за денег. Только не из любви к Полане.

— Кто знает...

— Нет, уж это вы оставьте, Гельнай. Вы старый служака и знаете деревню, а я молодой и, черт возьми, немного разбираюсь в женщинах. Видел я эту Полану — некрасивая, костлявая баба, да и старая к тому же. Правда, связь у них была, но, я думаю, что это ей стоило немалых денег. Из-за нее, Гельнай, Гордубал бы не погиб, из-за нее Штепан не пошел бы на убийство! А ради денег — да. Это ясно как божий день. Гордубал был деревенский скряга. Полане не терпелось получить наследство, чтобы содержать любовника, а Штепан — тот охоч до денег, — вот и все. Говорю вам, Гельнай, тут нет ни капли

романтики. — Бигл щелкнул пальцами. — Грязная история и вполне ясная, друг мой.

— Отлично приведено в систему, вы молодец, Бигл! — похвалил Гельнай. — Не хуже, чем у господина прокурора. Все у вас выходит так просто...

Польщенный Бигл расплылся в улыбке.

— ...Но все-таки, по-моему, Карлуша, было бы еще проще, если бы Гордубал скончался по воле божьей. Воспаление легких — и аминь. Вдова вышла бы за Штепана, родился бы у них ребеночек... Но вас не устраивает такой простой вариант, Бигл.

— Нет. Меня устраивает правда, Гельнай. Доискаться ее — дело настоящего мужчины.

Гельнай задумчиво моргает.

— А вы уверены, Карлуша, что вы ее нашли, эту настоящую правду?

— Эх, если бы еще найти шило!..

Часть третья

— ...Судебное заседание по делу Штепана Маньи, двадцати шести лет, батрака, холостого, вероисповедания реформатского, и Поланы Гордубаловой, урожденной Дурколовой, вдовы, тридцати одного года, вероисповедания греко-католического, обвиняемых как сообщников в убийстве с заранее обдуманным намерением Юрая Гордубала, крестьянина деревни Кривой, объявляю открытым.

Встаньте, подсудимый. Вы слышали обвинительное заключение. Признаете себя виновным?

Подсудимый виновным себя не признает. Юрая Гордубала не убивал, в ту ночь спал у себя дома в Рыбарах. Деньги, что были за балкой, получил от хозяина, как приданое за Гафию. Алмаз у стекольщика не покупал. С хозяйкой в связи не был. Больше ничего сказать не имеет.

Подсудимая себя виновной не признает. Об убийстве ничего не знала, только поутру... На вопрос, откуда она узнала, что муж убит, сообщает, что видела только разбитое окно. С батраком в связи не была. Алмаз купил сам хозяин несколько лет назад. Убийца, скорее всего, проник через окно, потому что дверь всю ночь была на запоре.

Обвиняемая садится — подурневшая, желтая, в последней стадии беременности, из-за чего пришлось даже ускорить разбор дела.

Процесс тянется, подчиняясь неумолимой рутине судопроизводства. Зачитываются протоколы и заключения, шуршит бумага, присяжные стараются принять вид внимательных и благочестивых слушателей. Подсудимая сидит неподвижно, как изваяние, только глаза бегают беспокойно. Штепан Манья вытирает временами пот со

лба и старается уразуметь все, что слышит. Кто знает, какая здесь закорючка, как повернут дело эти важные господа? Почтительно склонив голову, Штепан слушает и шевелит губами, как будто повторяя про себя каждое слово.

Суд приступает к допросу свидетелей.

Вызван Василий Герич, староста деревни Кривой, высокий, плечистый мужик. Он серьезно и не спеша повторяет слова присяги.

Свидетель одним из первых увидел покойника. Верно ли, что он сказал при этом: «Свой кто-то»?

— Верно.

— А почему?

— Так, по догадке, ваша милость.

— Известно ли вам, свидетель Герич, что Полана Гордубалова была в связи со Штепаном Маньей?

Свидетелю известно, он сам упрекал в этом Полану еще до приезда Гордубала.

— Обижал ли Гордубал свою жену?

— Вздуть ее надо было, ваша милость, — говорит Василий Герич, — дурь из нее выбить. Даже обед мужу варить не хотела.

— Жаловался ли Гордубал на свою жену?

— Нет, не жаловался, только от людей прятался да таял, как свеча.

Полана сидит, выпрямившись, и глядит в пространство.

Полицейский вахмистр Гельнай дает показание в соответствии с обвинительным заключением. Он указывает на вещественные доказательства. Вот стекло из избы покойного, поцарапанное изнутри алмазом. В тот день было грязно, и под самым окном была лужа, а в горнице не обнаружено ни следа грязи, и пыль на подоконнике осталась нетронутой.

— Может ли взрослый человек пролезть в это отверстие?

— Нет, не может. Голова и то не пройдет, а туловище и вовсе застрянет.

Допрашивается младший полицейский Бигл. Бигл стоит как на параде, исполненный служебного рвения. Его показания в точности соответствуют обвинительному акту. Алмаз он нашел в запертом ящике. Обвиняемая не хотела отпереть его, уверяя, что ключ утерян. Ящик был

взломан, а ключ позднее нашелся на дне ведра с овсом. Свидетель также обнаружил в Рыбарах деньги покойного.

— Кроме того, — Бигл повышает голос, — я позволил себе принести еще кое-что, господин судья. — Бигл разворачивает носовой платок. — Я нашел это вчера, когда у Маньи вывозили навоз. Вещь была брошена в выгребную яму.

Бигл кладет на судейский стол тонкий, остроконечный металлический предмет, овального сечения, длиной сантиметров пятнадцати.

— Это что?

— Это, разрешите доложить, шило для плетения корзин. Принадлежало семье Манья и исчезло в день убийства.

Бигл держится невозмутимо, но в душе торжествует и наслаждается всеобщим вниманием. Пять недель он искал это проклятое шило, и наконец — вот оно.

— Подсудимый, вам знаком этот предмет?

— Нет, незнаком.

Мрачный, упорствующий Штепан садится на место.

Дает показания доктор. Он настаивает на том, что убийство совершено тонким остроконечным предметом овального сечения. Если бы Гордубал был застрелен, пуля осталась бы в теле. Между тем никаких ее следов не обнаружено. Доктор пространно объясняет разницу между колотой и огнестрельной раной. Кроме того, при столь малом калибре выстрел должен быть произведен почти в упор, так что был бы ожог на коже или, во всяком случае, рубашка была бы опалена.

— Могла быть рана нанесена этим предметом?

— Да, могла. Нельзя сказать с уверенностью, что именно этим, но, во всяком случае, этот предмет достаточно тонок и остер, чтобы нанести такую рану. Очень, очень подходящая вещица, — оценивает доктор. — Да, смерть наступила мгновенно.

И импульсивный доктор бегом возвращается на свое место.

Показания дает тюремный врач. Полана Гордубалова, по всем признакам, на восьмом месяце беременности.

— Обвиняемая! — произносит судья. — Можете не вставать. Кто отец ребенка, которого вы ждете?

— Юрай, — шепчет, опуская глаза, Полана.

— Со дня приезда Гордубала прошло пять месяцев. От кого же ребенок?

Полана молчит.

Старый Манья отказывается от показаний. Штепан сидит, закрыв лицо руками, старик утирает слезы кумачовым платком.

— Кстати, Манья, знаком вам этот предмет?

Старый Манья утвердительно кивает.

— Это же наше шило, мы им плетем корзины. — И он хочет сунуть шило в карман.

— Нет, нет, старина, шило останется здесь!

Михаль и Дьюла тоже отказываются давать показания. Судья вызывает Марию Ярношову.

— Будете давать показания?

— Буду.

— Правда, что ваш брат Штепан подбивал вашего мужа на убийство Юрая Гордубала?

— Правда, ваша милость. Но мой муж не пойдет на такое дело. Хоть сто пар волов ему дай.

— Был Штепан в любовной связи с хозяйкой?

— А как же, сам дома хвалился. Дурной человек Штепан, ваша милость. Нехорошо было обручать с ним малого ребенка. Слава богу, что все расстроилось.

— А что, свидетельница, очень злился ваш брат, когда Гордубал его выгнал?

Мария крестится.

— Ах, господи, ходил как черт, не ел, не пил, даже курить бросил...

Свидетельницу отпускают, она с плачем оборачивается в дверях.

— Ах, ваша милость, до чего мне жалко Штепана! Дозволите оставить ему малость денег на пропитание?

— Нет, нет, матушка, не нужны ему деньги. Ступайте себе с богом.

Суд вызывает свидетеля Яноша.

— Будете давать показания?

— Как господа прикажут.

— Правда ли, что Штепан предлагал вам убить Гордубала?

Свидетель смущенно хлопает глазами.

— Верно, говорил мне Штепан о чем-то. Дескать, ты бедняк, Янош, а мог бы разжиться деньгой.

— Как разжиться?

— Почем я знаю, ваша милость? Глупые были речи.

— Он предлагал вам убить Гордубала?

— Кажись, что нет, ваша милость. Давно дело было, разве все упомнишь! Речь о деньгах шла. Штепан всегда о деньгах. Зачем мне помнить всякие глупости? «Ты, говорит, дурень». А хоть бы и дурень. За дурость людей не тащат на виселицу.

— А вы не пьяны, свидетель?

— Чарочку, ваша милость, выпил для храбрости. Боязно говорить с начальством.

Судебное заседание переносится на следующий день.

Штепан старается встретиться глазами с Поланой, но вдова Гордубала, точно вырезанное из кости изваяние, не смотрит на Штепана, идет, костлявая, некрасивая, неловкая. На Штепана никто даже и не глядит — только на нее. Что Штепан? Черномазый парень. Велика важность — мужчина убил мужчину. А вот когда мужа убивает собственная жена, — господи боже ты мой! Что за жизнь, если даже жене верить нельзя? Дома в собственной постели и то не спокоен человек, — зарежут, как скотину на бойне.

Вдова Гордубала проходит словно между стен ненависти, которые смыкаются за нею, как волны.

— Эх, нужно было бы Гордубалу пришибить ее топором, как волка, что попался в капкан! Повесить ее! — волнуются бабы. — Нет на свете справедливости, если не повесят Полану!

— А ну вас, бабы! — ворчат мужики. — Вашего брата не вешают. Засадят ее в тюрьму до самой смерти.

Если бы судили женщины, они бы повесили эту дрянь.

— Я сама бы накинула ей петлю на шею.

— Оставь, Марика, не бабье это дело. А вот Штепку, как пить дать, повесят.

— Вот видишь, Штепку повесят, а ведь он убил чужого человека. Нет, если Полану не повесят, все жены начнут мужей убивать. Причины всегда найдутся — в семейной-то жизни! Нет, нет, надобно ее повесить!

— Да как же ее вешать, ежели она ребенка носит!

— Вот еще, ребенка! Черта родит, а не ребенка.

Суд вызывает свидетеля Симона Фазекаша, по прозвищу Леца. В день убийства он видел Полану со Штепаном. Обвиняемые стояли у ручья.

— Штепан Манья, вы продолжаете утверждать, что не были в тот день в Кривой и не виделись с Поланой Гордубаловой?

— Нет, не был, ваша милость.

— Обвиняемая, разговаривал с вами Манья у ручья?

— Нет, не разговаривал.

— А полицейским вы сказали, что да.

— Они меня заставили.

Показание дает Юлиана Варваринова, соседка Гордубала.

— Да, Гордубала я много раз видела. Ходил сам не свой. Полана ему и есть не давала, когда он уволил Штепана. А батраку, бывало, кур пекла да поросят. Каждую ночь шлялась к нему в конюшню. Смилуйся над ней, боже, — отплевывается соседка, — а только как вернулся Гордубал, бог весть, где она сходилась со своим полюбовником. В конюшню-то больше не таскалась. В последнее время Гордубал все ходил с фонарем, сторожил, видно.

— Послушайте, свидетельница, вы видели, как Гордубал швырнул Штепана через забор? Был тогда на Штепане пиджак?

— Не было пиджака, ваша милость, одни штаны да рубаха.

— Так он и ушел без пиджака?

— Так, так, ваша милость.

— Следовательно, пиджак, который сейчас на нем, остался с другими вещами в доме Гордубала? Штепан Манья, когда вы приходили в Кривую за пиджаком?

Штепан встает, растерянно моргая.

— Вы унесли пиджак в ту ночь, когда был убит Юрай Гордубал. Можете сесть.

И прокурор с торжествующим видом отмечает что-то в бумагах.

— Уведите обоих подсудимых, — распоряжается председатель суда. — Свидетельница Гафия Гордубалова.

Вводят голубоглазую, миловидную девочку. Тишина, ни единого вздоха.

— Не бойся, малышка, подойди сюда, — отечески говорит председатель суда. — Если не хочешь, можешь не давать показания. Ну, как, будешь отвечать?

Девочка с недоумением глядит на важных господ в мантиях.

— Хочешь отвечать?

Гафия послушно кивает:

— Да.

— Ходила твоя мать в конюшню, когда там был Штепан?

— Ходила, каждую ночь.

— Видела ты их вместе?

— Видела. Один раз дядя Штепан обнял ее и повалил на солому.

— Ну, а хозяин, твой отец, бывал когда-нибудь вместе с мамкой?

— Нет, не бывал, только дядя Штепан.

— А когда отец вернулся из Америки, мама после того бывала с дядей?

Гафия отрицательно качает головой.

— А откуда ты это знаешь?

— Да ведь хозяин приехал, — говорит девочка серьезно и уверенно. — Дядя Штепан тогда сказал: «Не останусь у вас больше; все, мол, пошло по-иному».

— Хороший человек был хозяин?

Гафия неопределенно пожимает плечиками.

— А Штепан?

— Да, Штепан был хороший.

— Была мамка ласкова с хозяином?

— Нет, не была.

— А с тобой? Любила тебя?

— Нет. Не любила. Она только дядю Штепана любила.

— Хорошо она его кормила?

— Хорошо. Он и мне давал.

— А ты кого больше всех любишь?

Девочка смущенно мнется:

— Дядю Штепу.

— Расскажи, Гафия, про ту последнюю ночь, когда умер отец. Где ты спала?

— С мамкой в клети.

— Не проснулась ли ты среди ночи?

— Проснулась. Кто-то стукнул в окно, а мамка сидела на постели.

— А потом что?

— Потом ничего. Мамка сказала: «Спи, не то побью».

— И ты заснула?

— Конечно, заснула.

— И ничего больше не слышала?

— Ничего. Только кто-то ходил по двору да мамки на постели не было.

— А кто там ходил, не знаешь?

Гафия удивленно открывает рот.

— Ну, кто! Известно, дядя Штепан, кому еще быть с мамкой!

В зале стоит тишина, от которой захватывает дыхание.

— Объявляю перерыв, — поспешно говорит председатель и сам уводит Гафию за руку. — Ты умница, малышка, — бормочет он. — Умница и хорошая девочка. Счастье твое, что ты ничего не понимаешь.

Присяжные шарят по карманам, ищут, что бы подарить Гафии, и толпятся вокруг девочки, гладя ее по голове.

— Где же дядя Штепан? — спрашивает Гафия серебристым голоском.

Толстый Гельнай, тяжело дыша, пробирается к ней.

— Пойдем, малышка, пойдем. Я отведу тебя домой.

Но коридоры забиты публикой. Гафии суют все подряд, кто яблоко, кто яичко, кто кусок сладкой булки, все растроганно сморкаются в носовые платки, бабы лезут целовать девочку и ревут. Гафия судорожно цепляется за толстый палец Гельная и сама вот-вот расплачется.

— Смотри не хнычь, — увещевает девочку Гельнай. — Я тебе конфетку куплю.

И девочка уже прыгает от радости.

Судебное следствие продолжается. Дело — точно хитро завязанный узел, его приходится распутывать сразу несколькими руками.

Суд выслушивает показания Андрея Пьосы, по прозвищу Гусар, Алексы Воробца и его жены Анны, потом жены соседа Герпака. Все они показывают против Поланы. Боже мой, чего только не знают люди друг о друге! Просто срам! Не приходится богу судить людей, их судят ближние.

О желании выступить свидетелем заявляет какой-то Миша-пастух.

— Говорите, свидетель. Можете не присягать.

— Чего?

— Можете не присягать. Сколько вам лет?

— Чего?

— Сколько вам лет?

— Не знаю... Да на что мне. Во имя отца и сына и святого духа. Передает вам Юрай Гордубал, что была ему Полана доброй и верной женой.

— Простите, Миша, как так передает? Когда это он вам говорил?

— Чего?

— Когда он вам говорил это?

— А, когда... Не помню. Дождик был тот раз. Он мне и говорит: скажи им, Миша, они тебе поверят.

— Бог с вами, папаша, и для этого вы пришли из Кривой?

— Чего?

— Ну идите, идите, с богом, больше вы не нужны.

— А! Ну спасибо. Слава господу Иисусу Христу.

Показания дает стекольщик Фаркаш.

— Алмаз этот купил у меня Штепан Манья.

— Вы узнаете его?

— Как не узнать. Вот он, с желтинкой.

— Встаньте, обвиняемый Манья. Признаете ли вы, что покупали алмаз у свидетеля? Не признаете? Можете сесть. Запирательством вы себе не поможете.

Показания дают Баранова, Грыцова, жена Федора Бобала. Эх, Полана, сраму-то сколько! Все тычут в тебя пальцами, обличают твой блуд, каждая баба бросает камень в тебя, неверную жену. О Штепане все забыли. Зря ты стараешься, не закроешь руками огромный живот, не спрячешь своего греха. Штепан убивал, а ты грешила. Глядите на бесстыдницу: головы не склонит, слезы не уронит, не ударится оземь! Словно хочет сказать всем: болтайте, болтайте, мне-то что.

— Подсудимая, имеете ли вы что-нибудь прибавить к свидетельским показаниям Марты Бобаловой?

— Нет.

И села, как изваяние, не склонив головы, не покраснев от стыда.

— Больше свидетелей нет. Отлично. Объявляется перерыв судебного заседания до завтрашнего дня. Но как толково отвечала маленькая Гафия, а, коллега? Эдакий ребенок и все видел! Ужасно, ужасно. А все-таки ее рассказ — как чистый ручеек. Такая простота, точно и не

было ничего дурного. Зато вся деревня против Поланы. Плохи ее дела. Ну, и Штепан, разумеется, виновен, но что Штепан — второстепенная фигура. Да, да, коллега, деревня понимает, что здесь дело перешло в область нравственности. Можно сказать, что деревня Кривая мстит за попранную мораль. Здесь не просто *измена*, — деревня снисходительна к изменам. А Полана повинна не только в супружеской измене, здесь нечто худшее.

— А что именно?

— Она возбудила против себя общественное негодование, ненависть всей деревни.

Будь проклята Полана! Все видели, как она сидит, высоко подняв голову?! И сраму не боится! Даже еще усмехнулась, когда Бобалова сказала, что бабы хотели ей выбить окна за разврат. Да, да, вскинула голову еще выше и усмехнулась, точно гордится этим. Да что вы говорите, сосед! Жаль, я ее не видел! Да хоть хороша ли собой? Хороша? Куда там! Говорю вам, околдовала она Штепана, отвела ему глаза. Тощая, а глаза как уголья. Ох и злая баба, говорю вам. А девочка-то ихняя, подумайте! Как картинка! Мы все плакали, глядя на нее. Бедная сиротка! Вы подумайте, эта женщина и ребенка не стеснялась. Блудила на глазах у собственной дочери. Ведьма, ведьма, говорю вам... Надо и мне, сосед, на нее поглядеть.

Пустите нас, люди добрые, дайте пройти, и мы хотим видеть ее, срамницу. Ничего, ничего, потеснимся, набьемся, как в церкви на пасху, только пустите. Эй, люди, не напирайте, вонь от ваших тулупов такая, что задохнутся почтенные судьи. Прочь от дверей!

Вот она, глядите. Та, тощая, что сидит так прямо. Кто бы подумал, что это она? Баба — как все бабы. А где Штепан? Вон, одни плечи видны. А этот, что встал, высокий, в мантии, это сам прокурор. Тише, тише, дайте послушать.

— Господа присяжные заседатели! Резюмируя все обстоятельства этого дела, кои удалось установить в результате блестящей работы полицейских органов (Бигл в зале подталкивает Гельная), а равным образом благодаря показаниям свидетелей, я, со своей стороны, считаю долгом поблагодарить тех и других. За всю свою долголетнюю судебную практику я еще не встречал процесса, в котором свидетельские показания были проникнуты таким

глубоким, таким горячим сочувствием делу торжества справедливости. Вся деревня, все население Кривой — мужчины, женщины и дети выступали здесь перед нами не только как свидетели, но и как обличители этой распутной женщины перед богом и людьми. Не я, представитель закона, но сам народ обвиняет ее. Преступление вы будете судить по букве закона. Но по совести народной судите этот грех.

Твердо уверенный в себе, прокурор на мгновение заколебался. «Что такое я говорю о грехе? Судим мы душу человека или поступки его? Да, поступки, но разве не в душе рождаются они?.. Берегись, заведешь свою речь в тупик, говори проще, дело ведь такое ясное...»

— Уважаемые господа присяжные заседатели! Случай, в котором вам предстоит разобраться, вполне ясен, ужасающе ясен в своей простоте. Перед нами три фигуры. Первая — это крестьянин Юрай Гордубал, — простак, добрая душа и, видимо, слегка тугодум. Он живет в Америке, тяжелым трудом зарабатывает пять-шесть долларов в день, из них четыре посылает домой жене, чтобы ей лучше жилось. — Голос прокурора приобретает странные гортанные интонации. — И этими, кровавым потом заработанными деньгами его жена платит батраку-любовнику, не брезгающему быть на содержании у стареющей хозяйки. На что только не пойдет ради денег Штепан Манья! Разрушить семью эмигранта, оторвать мать от ребенка, а потом по наущению своей любовницы убить спящего хозяина — на все идет Манья ради пачки долларов. Какое злодейство, какой грех корыстолюбия! (Прокурор слегка колеблется. Не то, не то! Преступление и грех — разные вещи. Это же судебный процесс, а не суд божий.)

— Другая фигура — жена Гордубала. Вот она перед вами — холодная, жестокая, расчетливая. Между нею и молодым работником не может быть любви, даже греховной любви, только блуд, только разврат, грех и грех... Она содержит его как игрушку своей похоти, она балует его, забыв о собственной дочери. Бог воздал ей за это: в блуде своем она зачала ребенка. И вот возвращается муж из Америки. Точно сам всевышний посылает его — наказать прелюбодеяние. Но Юрай Гордубал — добряк. Я думаю, никто из нас, присутствующих здесь мужчин, не стерпел бы того, что молча сносил этот многотерпели-

вый и бесхарактерный супруг. Видимо, дороже всего ему было спокойствие в доме. С возвращением Гордубала прекратился приток долларов. Хозяйке нечем теперь содержать молодого дармоеда, и Штепан Манья оставляет служение греху. И что же? Непостижимо слабохарактерный Гордубал, явно под давлением жены, сам предлагает ему руку своей дочери. Сулит ему и дом и деньги, лишь бы тот вернулся... — Прокурор чувствует в горле спазму отвращения. — Но и этого мало. Штепан, видимо, шантажирует Гордубала, грозит ему чем-то, и тогда даже этот многотерпеливый человек не выдерживает. Он выгоняет наглого приживальщика. С этого момента Гордубалом овладевают опасения за свою жизнь. Он пытается найти работу где-нибудь подальше, за горами, ночью он бродит с фонарем, осматривая двор. Но злодейский план уже составлен. Старый муж слишком мешает сластолюбивой жене и алчному батраку. Разврат и корыстолюбие объединились против него. Гордубал заболевает, он не может больше сторожить дом, не может защищаться. И наутро его находят с пронзенным сердцем. Убит! Убит во сне!

И это конец? Прокурор сам удивляется. Ведь он подготовил блестящее, убедительное заключение. Но оно как-то вылетело из головы, вот — конец. Прокурор садится, сам не зная, как это вышло, и вопросительно глядит на председателя суда. Тот одобрительно кивает. Присяжные шушукаются, шмыгают носом, двое откровенно утирают слезы. Прокурор облегченно вздыхает.

Встает адвокат Маньи, человек мощного телосложения, знаменитый юрист.

— Господин прокурор в конце своей сильной речи упомянул о сердце Юрая Гордубала. Да позволят мне господа присяжные заседатели призвать это сердце к делу оправдания моего подзащитного...

И пошло, и пошло... Мол, даже обвинение признает разногласие в мнениях судебной экспертизы. Проколото сердце Юрая Гордубала или прострелено? Где подлинное орудие преступления: это ничтожное шило из хозяйства Маньи или огнестрельное оружие неведомого убийцы? Я, со своей стороны, предпочел бы поверить отзыву выдающегося научного авторитета, который с полнейшей определенностью заявляет о наличии огнестрельной раны из оружия мелкого калибра. Итак, господа, если Юрай Гор-

дубал был застрелен, то вполне очевидно, что убийца — не Штепан Манья...

И так далее. Шаг за шагом, помахивая толстой рукой, знаменитый адвокат разбивает доводы обвинения.

— Нет ни единого доказательства виновности моего подзащитного. Весь обвинительный акт — сплошное умозаключение. Не апеллируя даже к чувствам уважаемых господ присяжных, я осмеливаюсь выразить уверенность, что на основе обвинительного акта и материалов судебного следствия господа присяжные не могут признать Штепана Манью виновным.

И знаменитый юрист с победоносным видом тяжело опускается в кресло.

Точно чертик из коробочки, выскакивает новая черная фигурка — молодой, смазливый адвокат Поланы Гордубаловой.

— ...Нет ни одного прямого доказательства соучастия моей подзащитной в убийстве Юрая Гордубала. Все доказательства — лишь догадки, выведенные путем умозаключения из второстепенных обстоятельств дела, из гипотетической связи, надуманной обвинением. Господа присяжные заседатели! Вся эта гипотеза построена на предположении, что Полана Гордубалова была заинтересована в смерти мужа или что она была ему неверна. Я мог бы здесь сказать: если супружеская измена — достаточное основание для убийства, скольких людей в деревне и в городе не было бы сейчас в живых? Итак, подобную аргументацию мы лучше оставим в стороне. Спрашивается — откуда мы знаем о прелюбодеянии Поланы Гордубаловой? Правда, здесь перед нами продефилировала вся деревня и показала против обвиняемой. Но подумайте, господа, кто из нас уверен в своих ближних и соседях! Кто из вас знает, что говорят о нем окружающие? Быть может, говорят вещи похуже, чем об этой несчастной женщине. Самое безупречное поведение не убережет вас от кривотолков и унизительной клеветы. Обвинение не упустило ни одного свидетеля, которому бы хотелось очернить беззащитную женщину...

— Протестую против оскорбления свидетелей! — восклицает прокурор.

— Да, да, это неуместно, — замечает председатель суда. — Прошу вас, господин защитник, воздержаться от таких выпадов.

Смазливый господин быстро и учтиво кланяется:

— Пожалуйста. Итак, суд выслушал *всех* свидетелей, пожелавших выступить против Поланы Гордубаловой. Но суд забыл еще об одном свидетеле, я бы сказал, свидетеле главном. Этот свидетель — убитый Юрай Гордубал! — Смазливый господин взмахивает в воздухе бумагой. — Господа присяжные заседатели! За десять дней до смерти крестьянин деревни Кривой Юрай Гордубал подписал вот это завещание. Он словно предчувствовал, что потребуется его вмешательство, и велел написать в завещании следующие слова. — Молодой защитник читает высоким патетическим голосом: — «Все свое имущество, движимое и недвижимое, завещаю жене моей Полане Гордубаловой, урожденной Дурколовой, за любовь ее и верность супружескую». Вот, не угодно ли! «За любовь ее и верность супружескую»! Таково завещание Юрая Гордубала, таково его показание в этом деле. Слышали вы сегодня слова пастуха Миши? «Передает вам хозяин Гордубал, что По-ана была ему доброй и верной женой»? Признаюсь, я сам был потрясен этими словами, они прозвучали, как голос с того света. А вот перед вами эти слова, здесь, на бумаге. Свидетельство единственного человека, который действительно знал Полану. Батрак Манья хвастался сестре, что состоит в связи с хозяйкой. Вот о чем болтал батрак, а вот (щелчок по завещанию) слова ее мужа перед всевышним. Решайте сами, господа, кому верить...

Молодой адвокат задумчиво наклоняет голову.

— Итак, если отпадает версия о прелюбодеянии моей подзащитной, отпадают тем самым какие бы то ни было побуждения избавиться от мужа. Но ведь она на восьмом месяце беременности, — возразят мне. Ах, господа, можно привести свидетельства многих медицинских авторитетов, указывающих, насколько ошибочно бывает определение сроков беременности. — И шустрый адвокат перечисляет целый ряд авторитетов и ученых мнений.

Прожженный адвокат Штепана покачивает головой. Эх, подпортил дело! Присяжные не любят ученых аргументов. А ловкий ход — это завещание!

— Представьте себе, господа присяжные заседатели, что вы осудите эту женщину, и ребенок Юрая Гордубала, живое доказательство ее верности и любви супружеской, появится на свет в тюрьме, будет заклеймен, как ребенок

блудницы... Именем всего, что нам свято, предостерегаю вас, господа присяжные заседатели, от судебной ошибки, которая погубит еще не родившееся дитя!

Смазливый господин садится и утирает пот надушенным платком.

— Поздравляю, коллега, — гудит ему на ухо матерый судейский волк. — Неплохо, неплохо.

А прокурор уже поднимается для реплики. Лицо его побагровело, руки дрожат.

— Ребенок так ребенок! — восклицает он хрипло. — Коллега защитник! Здесь говорил ребенок Юрая Гордубала — Гафия. Ее слова, надо полагать, вы не назовете (удар кулаком по столу) клеветой! Надеюсь! (Смазливый адвокат кланяется, пожав плечами.) Впрочем, приношу вам благодарность за завещание Юрая Гордубала. Это единственное, чего нам не хватало здесь, — прокурор выпрямляется во весь рост, — чтобы дорисовать облик этой женщины, облик поистине демонический, которая, уже обдумав план убийства своего туповатого и бесхарактерного добряка мужа, изобретает еще этот последний утонченный штрих в свою защиту. Заставить несчастного завещать ей одной все свое имущество, да еще выдать ей нечто вроде морального алиби! «За любовь ее и верность супружескую»! И добряк послушно подписывает это. Готово! Теперь уже ни единого геллера не останется на долю маленькой Гафии, все попало в руки развратницы — на любовника, на потребу ее греховных страстей.

Прокурор задыхается от гнева. Поистине это уже не процесс, а суд божий, где клеймят грехи человеческие. Слышно, как тяжело и напряженно дышит богобоязненный люд в зале.

— ...И вот упал всепроникающий луч на дело Юрая Гордубала. Та циничная, бесчувственная, своекорыстная воля, которая заставила неграмотного Юрая поставить три креста под этим ужасным обличающим завещанием, та же самая страшная воля, господа, направила руку убийцы — Штепана Маньи. Этот ничтожный деревенский альфонс был не только орудием разврата, он стал и орудием преступления. Но виновник всего — эта женщина! — кричит прокурор, уставив указующий перст на Полану. — Она уличена этим завещанием! Только дьявол

мог изобрести такое адское издевательство. «За любовь ее и верность супружескую»... Иезавель Гордубалова, признаете вы наконец, что убили Юрая Гордубала?

Полана поднимается бледная до синевы, обезображенная беременностью. Ее губы беззвучно шевелятся.

— Молчите, хозяйка, молчите! Я сам все скажу, — внезапно раздается хриплый, прерывистый голос.

Штепан Манья стоит, скривившись от душевного напряжения.

— Уважа... уважаемые судьи! — заикается подсудимый, и вдруг неудержимые рыданья сотрясают его.

Прокурор, немного удивленный, наклоняется к Штепану.

— Успокойтесь, Манья, суд будет рад выслушать вас.

— Это я... это я... — всхлипывает Штепан. — Я... я... хотел отомстить ему... за то, что... он выбросил меня через забор... Люди надо мной смеялись... Я спать не мог... все думал... как ему отомстить... И пошел...

— Хозяйка открыла вам дверь? — перебивает председатель.

— Нет, хозяйка... хозяйка ничего не знала. Я вечером... никто не видел... хозяин лежал в избе... Я залез на чердак и спрятался...

В зале Бигл возбужденно толкает Гельная.

— Ложь, ложь! — Бигл вне себя. — Он не мог попасть на чердак, дверь изнутри завалена кукурузой. Я там был утром. Гельнай! Я сейчас же заявлю суду!..

— Сядь! — хмурится Гельнай и тянет Бигла за рукав. — Только посмей сунуться, олух!

— ...А ночью, — заикаясь, продолжает Штепан, вытирая глаза и нос, — ночью... я спустился оттуда... и в избу. Хозяин спал, а я тем шилом... Оно никак не лезло... а он все лежит и не двигается... — Штепан шатается, конвойный подает ему стакан воды. Штепан жадно пьет и утирает пот со лба. — А потом... я вырезал окно алмазом... и взял деньги, чтобы было похоже на грабеж... И опять на чердак... и через окошко вниз... — Штепан переводит дыхание. — А потом... я стукнул в окно... к хозяйке... мол, пришел за пиджаком.

— Полана Гордубалова, это правда?

Полана встает, поджав губы.

— Неправда. Не стучал он.

— Хозяйка ничего не знала, — сбивчиво твердит Штепан. — И ничего у нас с ней не было. Один раз, правда, хотел повалить ее на солому, но она не далась... а тут пришла Гафия. И больше ничего не было. Ей-богу, ничего.

— Отлично, Штепан, — произносит прокурор и весь подается вперед. — Но у меня есть еще вопрос. Я его берег до поры до времени, раньше он не был нужен. Полана Гордубалова, верно, что еще до Штепана Маньи у вас был другой любовник — батрак Павел Древота?

Полана судорожно ловит ртом воздух и хватается за голову. Конвойные полувыносят, полувыводят ее из зала.

— Прерываю судебное заседание, — объявляет председатель. — В связи с новыми обстоятельствами, выяснившимися в результате признания подсудимого Маньи, суд завтра выедет на место преступления.

Во дворе Гордубала Бигл дожидается приезда суда. Вон они едут, важные господа. Бигл торжественно берет под козырек. С дороги, через забор, глазеет народ, точно ждет бог весть какого чуда.

Сегодня великий день для Бигла.

Он ведет присяжных на чердак.

— Пожалуйста. Чердак как и был, никто сюда не входил со дня убийства. У самой двери еще тогда лежала груда кукурузы. Если бы кто-нибудь попытался открыть дверь, кукуруза высыпалась бы на лестницу.

Бигл нажимает на дверь, и с чердака проливается золотой кукурузный дождь.

— Я надеюсь, вам не трудно будет подняться наверх, господа? — учтиво говорит Бигл.

Чердак завален кукурузой, хочется валяться и прыгать в ней. А вот и оконце. Это через него-то якобы вылез Манья?

— Но ведь окошко заперто изнутри на задвижку, — говорит один из присяжных, деловито оглядывая чердак. — Если здесь со дня убийства никого не было, Манья не мог выбраться через это окно.

И в самом деле не мог, на подоконнике стоит целая батарея каких-то запыленных склянок и жестянок, видно, копившихся годами. Чего только не берегут мужики! Вылезая через окно, Манья должен был сперва убрать весь

этот хлам, не правда ли? Ну конечно! А что там внизу, под окном?

— Под нами комната, где произошло убийство, а перед избой садик. Прошу вас проследовать за мной.

Суд степенно направляется в садик. В одном из окон внизу выставлена рама.

— Вот здесь, не угодно ли, было вырезано отверстие в стекле. Прямо над нами оконце чердака, через которое якобы выскочил Манья. — И Бигл добавляет скромно: — Сразу же после убийства я тщательно осмотрел садик и не обнаружил под окном ни одного следа. А грядки были только что вскопаны, и накануне шел дождь...

Председатель суда одобрительно кивает.

— Штепан явно лжет. Но вам бы следовало сразу же после убийства заглянуть на чердак.

Бигл щелкает каблуками.

— Господин судья, я не хотел рассыпать кукурузу. Но для верности я тотчас же забил дверь на чердак гвоздиками, так что туда никто не мог попасть. Сегодня утром я эти гвоздики вынул, а на двери прикрепил кусок нитки.

Председатель доволен.

— Отлично, отлично, я вижу, вы обо всем позаботились, господин... господин...

Бигл выпятил грудь.

— Младший полицейский Бигл!

Еще один милостивый кивок.

— Между нами говоря, господа, нет никаких сомнений в том, что Манья лжет. Однако, поскольку мы здесь, вам, наверное, небезынтересно будет заглянуть в избу?

Из-за стола встает рослый, плечистый, медлительный крестьянин. Семья обедает.

— Это Михаль Гордубал, брат покойного. Он временно хозяйствует тут...

Михаль Гордубал низко кланяется господам.

— Аксена, Гафия, живо подайте господам стулья.

— Не надо, хозяин, не надо. А почему вы не вставите новую раму, холодно ведь, сквозит из окна.

— А зачем новую? В суде рама-то, жалко покупать другую.

— Так, гм... Я вижу, вы заботитесь о Гафии. Она умный ребенок, берегите ее хорошенько, сиротку. Это ваша жена, не так ли?

— Верно, господин, верно. Деметрой звать, Ивана Вариводюка дочка, из Магурице.

— Вижу, вы ждете прибавления семейства.

— Ждем, ждем, коли пошлет господь, да святится имя его.

— А нравится ли вам в Кривой?

— Нравится, — говорит Михаль и машет рукой. — Простите, господа, а нельзя ли и мне на работу в Америку?

— Как Юрай?

— Как он, покойник, дай ему, господь, царствие небесное.

И Михаль провожает господ к воротам.

Суд возвращается в город. (Н-но, лошадки, н-но, важных гостей вы везете! А деревня похожа на Вифлеем, ей-богу!)

Судья наклоняется к прокурору.

— Еще не поздно, коллега. Не закончить ли нам с этим делом на вечернем заседании? Ведь сегодня разговоров будет меньше, чем вчера...

Прокурор слегка краснеет.

— Сам не знаю, что со мной вчера сделалось. Говорил точно в трансе. Словно я не прокурор, а мститель. Хотелось греметь, проповедовать...

— Мне показалось, что я в храме, — задумчиво произносит председатель. — Вся публика затаила дыхание. Странные люди... Я тоже чувствовал, что мы судим нечто большее, чем преступление, — мы судим грех...

Слава богу, сегодня в зале будет пусто. Сенсация миновала. Все пойдет как по маслу.

Все пошло как по маслу. На вопрос — виновен ли Штепан Манья в предумышленном убийстве Юрая Гордубала? — присяжные восемью голосами ответили «да» и четырьмя «нет».

И на вопрос — виновна ли Полана Гордубалова в со-

участии в убийстве? — ответили «да» всеми двенадцатью голосами.

На основании этого вердикта присяжных суд приговорил Штепана Манью к пожизненному тюремному заключению, а Полану Гордубалову, урожденную Дурколову, — к заключению сроком на двенадцать лет.

Полана стоит как неживая, подняв голову. Штепан Манья громко всхлипывает.

— Уведите их!

Сердце Юрая Гордубала затерялось и так и не было погребено.

Метеор

Перевод
Ю. МОЛОЧКОВСКОГО



I

Резкий ветер налетает порывами, гнет деревья в больничном саду. Деревья страшно волнуются, они в отчаянии, они мечутся из стороны в сторону, как толпа, охваченная паникой. Вот они замерли, дрожа: ого, как нам досталось! Тише, тише, разве вы ничего не слышите? Бежим, бежим, сейчас он налетит снова...

Молодой человек в белом халате прохаживается, покуривая, по саду. Скорее всего, это молодой врач. Ветер развевает его красивые волосы, белый халат плещется, как флаг. Трепли, ерошь их, буйный ветер! Ведь девушки тоже любят растрепать эту пышную шевелюру... Какая уверенная посадка головы, какая молодость и нескрываемое самодовольство!

По дорожке бежит молодая сестра, платье липнет под ветром к ее красивым ногам. Обеими руками она придерживает волосы, глядя снизу вверх на растрепанного, рослого врача и что-то быстро говорит ему. Ну, ну, сестра, зачем же такой взгляд и эти волосы...

Молодой врач эффектным жестом отбросил сигарету и, прямо по газонам, зашагал к корпусу. Ага, кто-то из больных умирает! Потому и надо идти тем самым медицинским шагом, в котором есть поспешность, но нет растерянности. Врачебную помощь требуется оказать спокойно и рассудительно. А Поэтому, молодой человек, не спешите чрезмерно к ложу умирающего! Ты же, сестричка, беги скорей, беги легким шагом, в котором чувствуется забота и усердие. Кстати говоря, от этого несколько выигрывают твои прелести. Хорошая девушка, скажут люди, жаль, что такая пропадает в больнице.

Значит, там кто-то при смерти. Под вой ветра и шум мечущихся деревьев умирает человек. В больнице привыкли к смерти, но все-таки... Горячая рука шарит по белому одеялу. Жалкая, беспокойная рука, за что ты хочешь ухватиться, что хочешь оттолкнуть? Что, никто тебя не берет? Ну, ну, ладно, я здесь, не бойся, не ищи. Уже нет того страшного одиночества, которое тебя так пугает.

Молодой врач наклоняется, волосы падают ему на лоб, он берет встревоженную руку, щупает запястье и бормочет:

— Пульс нитевидный, агония. Поставьте здесь ширму, сестра.

Но нет, мы не посадим этого легкомысленного юнца к постели человека, умирающего под раскаты небесного органа, под звуки vox coeli, vox angelica[1] и скорбных людских голосов. Нет, сестричка, это не exitus, это только припадок, скажем сердечный. Холодный пот и беспокойство — это страх, вызванный ощущением удушья. Впрыснем ему морфий, и он уснет...

Писатель отворачивается от окна.

— Доктор, — спрашивает он, — что это за корпус, там напротив.

— Терапевтический, — ворчит хирург, не сводя глаз с пламени спиртовки. — А что?

— Просто так, — отвечает писатель, снова устремив взгляд в окно, на кроны деревьев, раскачиваемые ветром. Стало быть, это сестра из терапевтического. А я то уже начал воображать, как у нее дрожат губы, когда она стоит у кровавого стола в операционной. «Возьмите это, сестра, и дайте вату... Вату!» Все происходит совсем не так. Она торчит около больного как кукла (потому что еще неопытна) и глядят на растрепанную шевелюру молодого человека в белом халате. Ну, ну, все понятно! Она влюблена в него по уши и часто заходит к нему в кабинет. Какой красавчик, какой самоуверенный лохматый фанфарон! Не бойся, девочка, с тобой ничего не случится, я ведь врач и знаю что к чему.

Писатель раздосадован. Знаем, в чем дело: каждому мужчине знакома эта досада и злость при виде привлекательной женщины, которая принадлежит другому. Сексуальная зависть или ревность, скажем так. Надо будет подумать, не основана ли вообще половая мораль на нашем недовольстве тем, что какие-то другие люди наслаждаются друг другом... У нее красивые ноги... как их обрисовал ветер! В этом все дело. А я сейчас же выдумал черт знает что! Я слишком пристрастен...

Писатель не в духе. Хмурясь, глядит он, как ветер ломает деревья. Сколько напрасных усилий, боже мой! Как тоскливо от этого ветра!

---

[1] голос небесный, голос ангельский (*лат.*).

— Что? — переспрашивает хирург.

— Как тоскливо от этого ветра.

— Да, он действует на нервы, — соглашается хирург. — Давайте лучше выпьем кофе.

II

В комнате пахнет карболкой, кофе и табаком. Крепкий, добрый мужской запах, вроде лазаретного. Или нет, постойте, как в карантине. Кубинский табак, кофе из Пуэрто-Рико и буря на Ямайке. Жара, ветер, пальмы гнутся и потрескивают на ветру... «Семнадцать новых больных, доктор. Мрут как мухи». — «Полейте все креолином, принесите хлорную известь, пошевеливайтесь же! И охраняйте все выходы, никого не выпускать, у нас эпидемия. Да, никто из нас не выйдет отсюда живым...» Писатель улыбается своим мыслям. Только вот что, доктор, распоряжаться в таком случае придется мне, автору. Бой веду я, старый колониальный лекарь, закаленный ветеран борьбы с эпидемиями. А вы будете моим научным сотрудником. Или нет, лучше не вы, а тот молодой, лохматый терапевт. «Ну-с, молодой человек, у нас семнадцать новых больных, отличный научный материал. Как поживают ваши бактерии?» У молодого человека глаза от страха вылезли из орбит, пряди волос падают на лоб. «Доктор, доктор, я, кажется, заразился». — «А, стало быть — восемнадцатый случай. Уложите его. Эту ночь, сестра, около него буду дежурить я...» Ах, как эта девушка смотрит, как она смотрит на его волосы, слипшиеся от пота. Ясно, она его любит. Глупая девчонка! Если я уйду, она, чего доброго, поцелует его и подхватит заразу. Как шумят и потрескивают под ветром эти растрепанные ореодоксы!.. Горячая рука, за что ты хочешь ухватиться? Не тянись к нам, мы ничего не знаем, мы ничего не можем... Дай мне руку, я поведу тебя, чтобы ты не боялся... «Пульс нитевидный, агония. Поставьте здесь ширму, сестра...»

— С сахаром? — спросил хирург.

Писатель очнулся от дум.

— Что?

Врач молча поставил перед ним сахарницу.

— Ох, и работы было сегодня! — заметил он. — Скорей бы в отпуск.

— Куда вы поедете?

— Охотиться.

Писатель внимательно посмотрел на немногословного хирурга.

— Съездили бы куда-нибудь подальше — поохотиться на тигров и ягуаров. Пока они еще не перевелись.

— Я не прочь.

— Послушайте, а вы представляете себе, как выглядят эти места? Можете вообразить... ну, скажем, рассвет в джунглях? Щебет неведомых птиц, похожий на звуки ксилофона, аромат рома и масла...

Хирург покачал головой.

— Ничего я не представляю. Черт побери, я все это должен видеть, понимаете, видеть. — И он добавил, прищурясь: — Когда на охоте стреляешь, то смотришь в оба.

Писатель вздохнул.

— Вам хорошо, друг мой. А я всегда смотрю и все время при этом фантазирую. Вернее, фантазия вдруг начинает работать самостоятельно, в воображении разыгрываются какие-то сцены, действие идет само по себе... Ну, конечно, я вмешиваюсь: советую, поправляю и прочее. Понимаете?

— А потом все это излагается на бумаге? — бурчит хирург.

— Что вы! Обычно нет. Такой вздор! Вот сейчас, пока вы варили кофе, я выдумал две глупейшие истории о вашем курчавом коллеге из терапевтического отделения. А скажите, пожалуйста, — спросил вдруг писатель, — что он за человек?

Хирург поколебался.

— Ну, — выговорил он наконец, — чуточку фанфарон... Очень самонадеян — как все молодые врачи. А в общем, — он пожал плечами, — не знаю, что может быть в нем интересного для вас.

Писатель не удержался.

— А нет ли у него романа с этой маленькой медсестрой?

— Не знаю, — проворчал хирург. — Вам-то какое дело?

— Никакого, — хмуро согласился писатель. — Да и вообще — какое мне дело до реальной действительности? Вы думаете, что мое ремесло — выдумывать, сочинять, забавляться?.. — Он наклонил массивные плечи. — В том и беда, что для меня чрезвычайно важна действитель-

ность! Потому-то я ее и выдумываю; потому я все время должен что-то сочинять, добираясь до сути вещей. Мне мало того, что я вижу, я хочу знать больше; для того и сочиняю всякие небылицы. Имеет ли это какой-нибудь смысл? И при чем тут действительная жизнь? Вот я сейчас начал писать... М-да, начал писать, — повторил он рассеянно. — Я понимаю, что это... только вымысел. Уж я-то знаю, что такое вымысел, как он делается. Скажем, одна доля действительности, три доли фантазии, две доли логических комбинаций, а остальное — хитроумный расчет: надо, чтобы была новизна и созвучность эпохе, надо, чтобы что-то решалось или доказывалось, а главное, чтобы было интересно. Но вот что самое странное, — воскликнул писатель, — все эти трюки, вся эта ничтожная литературщина создают в человеке, который ими занимается, страстную навязчивую иллюзию, будто бы все это происходит на самом деле. Представьте себе фокусника, который извлекает из цилиндра кроликов и сам верит, что это не фокус и не трюк. Какое сумасбродство!

— Вам что-то не удалось, а? — сухо спросил хирург.

— Не удалось. Однажды вечером я шел по улице и вдруг слышу сзади женский голос: «Так ты со мной не поступишь...» Только эти слова — ничего больше, может быть, это мне даже послышалось. «Ты так со мной не поступишь...»

— Ну, а дальше? — помолчав, спросил врач.

— Что же дальше? — нахмурился писатель. — К этим словам я сочинил целую историю. Женщина была права. Понимаете, изнуренная, озлобленная, несчастная женщина. Вы и не представляете себе, в какой нужде живут эти люди!.. Но она была права, она — это воплощение семьи, домашнего очага, в общем, воплощение порядка. А он... — писатель махнул рукой, — бесчестный, безалаберный человек, тупой и стихийный бунтарь, лентяй и грубиян...

— А чем это кончилось?

— Что?

— Чем это кончилось? — терпеливо повторил хирург.

— Не знаю. Но она должна быть права. Во имя всего на свете, во имя всех божеских и человеческих законов, она должна быть права. Понимаете, все зависело от того, что она права. — Писатель крошил пальцами кусочек сахару. — Но этот тип вбил себе в голову, что он тоже прав. И чем ужаснее и строптивее он становился, тем больше

считал себя правым. Понимаете, оказывается, он тоже страдал. Ничего не поделаешь! Как только он начинал жить настоящей жизнью, он не давал командовать собой и жил по-своему, трудно и упрямо. — Писатель пожал плечами. — Знайте же, что в конце концов я сам стал этим беспутным и отчаянным бродягой. Чем сильнее он страдал, тем больше я чувствовал себя в его шкуре... А вы говорите — вымысел!

Писатель отвернулся к окну, — есть вещи, о которых легче говорить, отвернувшись.

— Не получается у меня этот сюжет, надо от него избавиться. Мне хотелось бы... хотелось бы отвлечься как-нибудь... позабавиться чем-нибудь нереальным, что не имеет решительно ничего общего с действительностью и со мной самим. Отделаться бы наконец от этого гнетущего перевоплощения. Почему, скажите, пожалуйста, я должен переживать чужие горести? Мне хотелось бы фантазировать о чем-нибудь далеком, бессмысленном... Словно пускать мыльные пузыри...

Зазвонил внутренний телефон.

— Так почему же вы этого не сделаете? — спросил хирург, снимая трубку, но у него не было времени дожидаться ответа. — Алло! — сказал он. — Да, у телефона... Что? Но... Так несите его в операционную... Конечно... Я сейчас приду... Привезли кого-то, — объяснил он, вешая трубку. — С неба свалился; иначе говоря, упал и сгорел самолет. Еще бы, черт возьми, в такую бурю... Говорят, пилот весь обуглился, а тот другой... бедняга... — Врач помедлил. — Придется мне вас покинуть. Погодите, я пришлю сюда одного пациента. Интересный случай. То есть с медицинской точки зрения весьма заурядный: я вскрывал ему абсцесс на шее. Но он ясновидец. Тяжелый невропат и прочее. Вы ему не очень-то верьте.

И, не слушая протестов гостя, хирург выскочил за дверь.

III

И это ясновидец? Унылая фигура в полосатой пижаме, голова набок, шея забинтована — ну и жалок ты, бедняга! Пижама висит на нем, как на вешалке. Ясновидец нетвердой походкой подходит к столу и дрожащими,

негнущимися пальцами зажигает сигарету. До чего же близко поставлены у него ввалившиеся глаза! До чего рассеянный и застывший взгляд!

«Нечего сказать, милого собеседника подсунул мне доктор! О чем только разговаривать с эдаким страшилищем? О, конечно, только на потусторонние темы! Думается, что с загробными личностями было бы нетактично заводить разговор о последних событиях».

— Ну и ветер! — заметил ясновидец.

Писатель вздохнул с облегчением: будь благословенна погода, эта спасительная тема для разговора, когда людям нечего сказать друг другу. «Ну и ветер», — говорит, а сам даже не взглянул, как безжалостно за окном буря гнет деревья. Еще бы — ясновидец! Зачем ему глядеть в окно: уставится на кончик своего длинного носа и уже знает, что на улице бушует буря. Ну и дела! Говорите что угодно, а это и есть то самое второе зрение...

Надо было видеть эту парочку: писатель, приподняв массивные плечи и выпятив подбородок, с бесцеремонным любопытством и даже с откровенной неприязнью разглядывает склоненную голову, узкую грудь и тонкий, торчащий нос человека, сидящего напротив. Уж не укусит ли он сейчас ясновидца? Нет, не укусит. Во-первых, из чисто физической брезгливости, а во-вторых, потому, что это ясновидец и в нем есть что-то непонятное и отталкивающее. А ясновидец, по-птичьему наклонив голову, глядит перед собой и ничего не замечает. Между обоими залегло напряженное, антагонистическое отчуждение.

— Сильная личность, — пробормотал ясновидец, словно обращаясь к самому себе.

— Кто?

— Тот, которого привезли. — Ясновидец выпустил струйку дыма. — В его душе страшное напряжение, я бы сказал, пламя, пожар, вулкан... Ну, сейчас, понятно, это лишь догорающее пожарище.

Писатель усмехнулся — ему претили всякие возвышенные и неточные выражения.

— И вы тоже слышали об этом? — сказал он. — Горящий самолет и все прочее.

— Самолет? — рассеянно переспросил ясновидец. — Значит, он летел? Подумать только, в такую бурю! Как раскаленный метеор, которому суждено сгореть. К чему такая спешка? — Ясновидец покачал головой. — Не знаю,

не знаю. Он в беспамятстве и не сознает, что с ним произошло... Но ведь по виду почерневшего очага можно догадаться о высоте пламени. Как в нем все выжжено. И как все еще раскалено!

Писатель раздраженно фыркнул. Нет, это хворое чучело попросту невыносимо. Еще бы не раскалено, если известно, что пилот старел заживо. А у этого полосатого чучела не нашлось даже словечка сожаления. Впрочем, кое в чем он прав, зачем пострадавший летел в такую бурю?

— Любопытно! — бормотал ясновидец. — Да еще издалека! Пересек океан. Странно — человек всегда сохраняет отпечаток тех мест, где он только что был. Этот человек несет на себе отпечаток морских просторов.

— По чему же это заметно?

Ясновидец пожал плечами.

— Просто отпечаток моря и далей. Он, должно быть, много путешествовал. Вы не знаете, откуда он?

— Это вы могли бы узнать и сами, — сказал писатель предельно язвительным тоном.

— А как узнать? Ведь он в беспамятстве и ничего не сознает. Могли бы вы прочитать закрытую книгу? Это, правда, возможно, но трудно, чрезвычайно трудно.

— Читать закрытую книгу? — проворчал писатель. — Я бы сказал, что такое занятие по меньшей мере ни к чему.

— Для вас, — сказал ясновидец, скосив глаз куда-то в угол, — Да, вам это ни к чему. Вы писатель, не правда ли? Так будьте довольны, что вы не нуждаетесь в точном мышлении и не пробуете читать закрытые книги. Ваш путь легче.

— Что вы имеете в виду? — Писатель воинственно подался вперед.

— Именно то, что сказал. Сочинять и познавать — разные вещи.

— А из нас двоих вы именно тот, кто познает, не так ли?

— На сей раз вы угадали, — ответил ясновидец и кивнул, как бы поставив носом точку и прекращая этим разговор.

Писатель усмехнулся.

— Мне кажется, у нас едва ли найдется общий язык. Я ведь только сочиняю, выдумываю, что мне взбредет в голову, верно? Из чистой блажи и прихоти.

— Я знаю, — перебил его ясновидец, — вы тоже думали о человеке, упавшем с неба. Вы тоже представляли его над океаном. Знаю. Но вы пришли к этому логическим путем: большинство авиалиний ведут к портам. Абсолютно поверхностное заключение, сударь. Из того, что он мог перелететь океан, не следует, что он действительно его перелетел. Типичное non sequitur [1]. Действительность нельзя подменять возможностью. Но знайте же, — сердито воскликнул ясновидец, — этот человек действительно прилетел из-за океана. Я это знаю.

— Откуда?

— Очень просто: из анализа впечатлений.

— А вы его видели?

— Нет, не видел. Мне не нужно видеть скрипача, чтобы знать, что он играет.

Писатель в раздумье погладил затылок.

— Впечатление моря... У меня оно, наверное, возникло потому, что я вообще люблю море. Но я не думаю сейчас о морях, которые я видел. Мне грезится море, теплое и густое, как масло; у него жирный блеск. Оно покрыто водорослями и похоже на луг. Иногда из воды выскакивает что-то блестящее и тяжелое, как ртуть.

— Это летучие рыбы, — откликнулся ясновидец, словно отвечая на собственные мысли.

— Черт вас побери! — пробормотал писатель. — Вы правы, это на самом деле летучие рыбы!

IV

С тех пор как ушел хирург, прошло немало времени. Наконец он вернулся и рассеянно проворчал:

— А, вы еще здесь!

Ясновидец уставился в пространство, куда был устремлен его меланхолический нос.

— Тяжелое сотрясение мозга, — сказал он. — Очевидно, повреждены внутренние органы. Трещина в черепной коробке и перелом нижней челюсти. Ожоги второй и третьей степени на лице и руках. Fractura claviculae [2].

— Совершенно верно, — задумчиво согласился хирург. — Надежды мало. А вы-то откуда знаете?

---

[1] ложное заключение (*лат.*).
[2] перелом ключицы (*лат.*).

— Вы сейчас думали об этом, — ответил ясновидец, словно оправдываясь.

Писатель нахмурился. Ну тебя к черту, фокусник. Не собираешься ли ты поразить меня своим трюком? Да если бы ты даже угадывал чужие мысли слово за словом, я тебе не поверю, не жди.

— Собственно, кто он такой? — спросил он, чтобы переменить тему разговора.

— Кто его знает, — ответил доктор. — Документы сгорели. В карманах у него оказались французские, английские и американские монеты. И голландские центы. Может быть, он летел через Роттердам? Но это был не рейсовый самолет.

— А сам он ничего не сказал?

Хирург покачал головой.

— Где там! Полная потеря сознания. Я не удивлюсь, если он вообще больше не заговорит.

Наступила гнетущая пауза. Ясновидец встал и поплелся к дверям.

— Закрытая книга, а? — произнес он.

Писатель мрачно смотрел ему вслед, пока тот не исчез в коридоре.

— Вы действительно думали так, как он сказал, доктор?

— Что?.. А, ну да, разумеется. Это диагноз, который я только что продиктовал. Не нравится мне такое чтение мыслей. Ведь это разглашение врачебной тайны.

Этим, по-видимому, для него вопрос был исчерпан.

— Да ведь он шарлатан! — не сдержался писатель. — Никто не может читать чужие мысли. В какой-то степени их можно разгадать логическим путем... Вот, например, когда вы вошли, я сразу понял, что вы думаете о... человеке из самолета. Я видел, что вы озабочены и в чем-то сомневаетесь, что положение больного очень серьезно. А, — подумал я про себя, — погоди-ка, наверно, у этого пациента повреждены внутренние органы.

— Как вы узнали?

— Путем логических умозаключений. Я вас знаю, доктор, вы не рассеянный человек. Но когда вы вошли, то сделали вот такое движение, будто расстегивали операционный халат, которого на вас уже не было. Ясно, что мысленно вы еще были около пациента. Понятно, — сказал я себе, — что-то не дает ему покоя. Наверно, то, что

он не мог ни видеть, ни прощупать, — вернее всего, повреждение внутренних органов.

Хирург хмуро кивнул.

— Но ведь я на вас смотрел, — продолжал писатель. — В этом весь фокус: смотреть и рассуждать. Честная работа. А ваш кудесник, — презрительно проворчал он, — смотрит на кончик своего носа и рассказывает, о чем вы думаете. Я внимательно следил, он даже не взглянул на вас. Просто... противно!

И снова тишина, лишь за окном завывает ветер.

— Вы и сейчас думаете о раненом, доктор. Скажите, в нем есть что-то необыкновенное, да?

— У него ведь нет лица, — тихо ответил хирург. — Сильные ожоги... Ни лица, ни имени, ни сознания. Если бы я хоть что-нибудь мог узнать о нем!

— Или вот еще что: почему он летел в такую бурю? Куда он так торопился? Что боялся потерять?.. Что так нетерпеливо и бессмысленно гнало его вперед? Ясно, он не страшился смерти. «Я заплачу вдесятеро, если вы возьметесь доставить меня, пилот. Западный ураганный ветер? Тем лучше, значит, полетим быстрее!» При нем ничего не оказалось?

Хирург отрицательно покачал головой.

— Что ж, пойдемте посмотрим, если он не дает вам покоя, — решился он неожиданно и встал.

Сестра милосердия, сидевшая у постели больного, с трудом поднялась. У нее толстые отекшие ноги и плоское невыразительное лицо — старая, заезженная медицинская лошадь. Старик на соседней койке равнодушно отвернулся, он был слишком занят собственными страданиями, чтобы перешагнуть пропасть, которая обычно лежит между больными и всеми прочими людьми.

— Все еще не пришел в себя, — доложила сестра и сложила руки на животе; видно, так полагается стоять монашке, когда она, как старый солдат, рапортует начальству. Старуха помаргивала озабоченно и сочувственно. Писателю вдруг вспомнились глаза обезьян — и ему стало стыдно. Но что поделаешь, если у этих животных они удивительно похожи на человеческие!

Итак, вот он, этот пациент. Писатель с замирающим сердцем готовился к зрелищу, от которого захочется бежать, содрогаясь и в ужасе закрыв лицо; но перед ним чистенький и почти красивый свиток бинтов, большой

и тщательно свернутый клубок — чистая работа умелых рук. У клубка есть даже руки, сделанные из ваты, вощанки и марли, — большие белые лапы лежат на одеяле. Какую куклу умеют смастерить здесь из бинтов и ваты! Кто бы мог подумать!..

Писатель нахмурил брови и со свистом втянул в себя воздух. Ведь *оно* дышит! Едва-едва приподнимаются и опускаются белые лапы на одеяле. Черное отверстие в бинтах, — это, наверно, рот. А что это за темное пятно под нежным венчиком ваты... ах, боже... Нет, слава богу, это не потухшие человеческие глаза, а всего лишь опущенные веки. Было бы страшно, если бы он смотрел...

Писатель наклонился над искусной перевязкой, и вдруг углы закрытых глаз пациента дрогнули. Писатель отшатнулся, ему стало жутко.

— Доктор, — прошептал он, — он не проснется, доктор?

— Не проснется, — серьезно ответил хирург, а сиделка моргала по-прежнему сочувственно и озабоченно, так же равномерно, как капает вода.

Порыв сострадания в душе писателя улегся. Эти двое вполне спокойны, успокойся же и ты, успокойся, все в порядке. Так же равномерно, как капает вода, поднимается и опускается на груди пациента белое одеяло. Все в порядке, нет ни паники, ни испуга, не случилось никакого несчастья, никто не мечется, не заламывает рук. И боль утихнет, сделавшись составной частью больничной рутины... Равномерно стонет безучастный больной на соседней койке.

— Бедняга, — пробурчал хирург, — изувечен до неузнаваемости.

Сестра перекрестилась. Писатель тоже с радостью осенил бы крестом голову пострадавшего, но постеснялся и смущенно взглянул на врача. Тот кивнул: «Пошли». Они на цыпочках вышли из палаты. Говорить не о чем: пусть теперь сомкнется гладь тишины и порядка, пусть ничем не нарушится равновесие молчания. Тише, тише, мы покидаем что-то удивительное, строгое и достойное.

Только у ворот больницы, где начинается шум и суматоха обыденной жизни, хирург произнес задумчиво:

— Странно, ведь нам о нем ничего не известно. Придется записать его как пациента Икс. — Он махнул рукой. — Лучше не думать о нем.

V

Вторые сутки пациент Икс не приходит в сознание, температура лезет вверх, а сердце слабеет. Сомнения нет — жизнь по каплям уходит из этого тела. Боже, какая забота! Как заткнуть щель, если неизвестно, где она? Остается лишь смотреть на безмолвное тело, у которого нет ни лица, ни имени, ни даже ладони, на которой можно прочитать следы минувшего. Будь у него хоть имя, хоть какое-нибудь имя, в нем не было бы чего-то... чего, собственно? Ну, тревожащего, что ли. Да, да, это называют загадочностью.

Сестра милосердия, кажется, избрала этого безнадежного пациента предметом своей особой заботы. Усталая, она сидит на жестком стуле у ног больного, в головах которого на табличке нет имени, а только написан по-латыни диагноз; она не сводит глаз с белой, слабо и прерывисто дышащей куклы. Старуха, видимо, молится.

— Ну-с, почтеннейшая, — без улыбки обращается к ней хирург. — Тихий пациент, не так ли? Что-то он вам очень уж по душе.

Сестра милосердия быстро заморгала, словно собираясь оправдываться.

— Да ведь он один-одинешенек. Имени — и того нет... (Словно имя — опора для человека.) Он мне приснился сегодня... — продолжала она, проводя рукой по лицу. — Вдруг очнется он и захочет что-то сказать... Уж я-то знаю, ему нужно высказаться. — У хирурга готово было сорваться с языка: «Сестричка, этот человек не скажет больше даже «покойной ночи», — но он промолчал и ласково потрепал сиделку по плечу. В больнице не приняты многословные одобрения. Старая монашка вынула большой накрахмаленный платок и с чувством высморкалась.

— Хоть кто-нибудь будет рядом с ним, — смущенно оправдывалась она. Казалось, она нахохлилась от озабоченности, набралась еще больше терпения и уселась еще прочнее, чем прежде. Да, чтобы он не был совсем одинок!

Чтобы не был совсем одинок... Но разве с другими пациентами возятся столько, сколько с этим? Хирург раз двадцать за день пройдет по коридору, чтобы словно невзначай заглянуть в шестую палату: «Ничего нового, сестра?» Нет, ничего. То и дело кто-нибудь из врачей или

сиделок сует голову в дверь: не тут ли такой-то? Но это просто предлог для того, чтобы немножко постоять у безыменного ложа. Люди переглядываются: «Бедняга!» — и на цыпочках выходят из палаты. А сестра милосердия сидит, чуть заметно покачиваясь, в своем великом безмолвном бдении.

Уже третий день — и все еще беспамятство, температура поднялась за сорок. Пациент беспокоен, его руки шарят по одеялу, он бормочет что-то невнятное. Как сопротивляется организм, хотя в нем нет ни сознания, ни воли, которые помогли бы борьбе! Только сердце стучит, словно ткацкий челнок в порванной основе: оно бегает вхолостую и уже не протаскивает нить жизни. Машина не ткет, но она еще на ходу.

Сестра милосердия не сводит глаз с постели человека, лежащего без сознания. Хирургу хочется сказать ей: «Ну, ну, сестрица, напрасно вы тут сидите, все равно это ни к чему, идите-ка лучше отдохнуть». Она моргает озабоченно, видно что-то вертится у нее на языке, но усталость и дисциплина не позволяют ей заговорить. Около этой постели вообще говорят мало и тихо. «Зайдите потом ко мне, сестра», — распоряжается хирург и идет по своим обычным делам.

...Тяжело, неуклюже усаживается сестра в кабинете хирурга и, не зная, как начать, отводит глаза. От волнения щеки ее пошли красными пятнами.

— Ну что, сестрица, что? — помогает ей хирург, словно маленькой девочке.

И вдруг у нее вырывается:

— Он опять мне приснился сегодня!

Ну вот и сказала, и доктор не засмеялся, не сказал ничего, что могло бы смутить почтенную сестру. Наоборот, он с интересом поднял глаза и стал ждать.

— Не то чтобы я верила в сны... — смущенно уверяет сестра. — Но если две ночи подряд снится один и тот же сон с продолжением, это неспроста. Я, правда, иногда толкую сны, но это так, от скуки... Для себя самой я ничего не жду от них. Мои сны никогда не сбывались. Вот и теперь не из суеверия я обеспокоена тем, что мне приснилось. Понятное дело, сны могут повторяться. Но чтобы они продолжались, как продолжается жизнь наяву, этого со снами не должно быть. Может, мне и не следовало бы рассказывать вам этот сон... Ну, да простит меня матерь

божия! Я больше привыкла к докторам, а не к священникам, и расскажу все, как на духу.

Хирург серьезно кивнул.

— Я расскажу вам все, — продолжала сестра, — потому что мой сон — о вашем пациенте. Я перескажу вам то, что уже потом сложилось у меня в голове. Во сне это скорее было похоже на разные картинки, они все время менялись. Одни были отчетливые, другие несвязные и спутанные; иной раз они шли вперемежку, другой раз наплывали друг на друга. То мне казалось, что этот человек сам рассказывает, то я сама смотрела на что-то. Все это было запутанно и бессмысленно, мне хотелось проснуться, но я не могла. Сон был живой и яркий, он будто продолжался и днем, но днем я просто вспоминала его в связном виде, а не как разрозненные картины, и это уже был не сон. Все в мире казалось бы нам сном, если бы в нем не было какого-то порядка. Ведь порядок — это то, что существует только в действительности. А сон этот потому меня и напугал, что в нем все было гораздо больше связано, чем в обычных снах. Я могу рассказать вам его только так, как понимаю сейчас.

РАССКАЗ СЕСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ

Вчера вечером он явился мне впервые. На нем был белый костюм с медными пуговицами, на ногах краги, на голове белый шлем, но не похожий на военный. Такой одежды я никогда не видела раньше. Лицо у него было желтое, как у цыгана, а глаза лихорадочные, будто у тифозного больного. Наверное, у него был жар, потому что он заговаривался.

Если вам кто-нибудь снится, вы не слышите его голоса и не замечаете, что он шевелит губами. Вы только знаете, что он вам говорит. Я никогда не могла понять, как это получается. Помню только, что он обратился ко мне и быстро заговорил на каком-то непонятном языке. Он несколько раз произнес слово «сор», но я не знаю, что оно значит. Он был в нетерпении, чуть ли не в отчаянии, что я его не понимаю, и говорил долго, а потом, словно сообразив, где он, заговорил как бы по-нашему, и я вдруг стала понимать.

«— Сестра, — сказал он, — умоляю вас, окажите мне услугу. Вы же знаете, в каком я состоянии. Боже, что за

несчастье, что за несчастье! Не понимаю, как это случилось: земля внезапно ринулась нам навстречу. Если бы я хоть пальцами мог писать по одеялу, я бы все написал. Но взгляните, что со м н о й ... — Он протянул мне свои руки без повязок. Сейчас мне уже трудно сообразить, что в них было у ж а с н о г о . — Не могу, не м о г у , — жаловался о н . — Взгляните на мои руки... Я вам все расскажу, но, ради бога, помогите мне довести до конца одно дело. Я летел как помешанный, чтобы все устроить. Но вдруг земля качнулась и стала падать на нас. Я знал, это авария: навстречу взметнулось пламя, какого я никогда не видывал, а ведь я повидал немало — я видел горящий пароход, горящих людей, видел, как пылает целая гора... Но об этом я не стану рассказывать... Все уже не важно, кроме одного, самого необходимого. «Кроме о д н о г о , — повторил о н , — но теперь я вижу, что в этом одном — вся жизнь. Ах, сестра, вам сказали, что со мной? Не ранен ли я в голову? Ведь я все забыл и помню только одно, в чем для меня сейчас жизнь. Я забыл, что делал, не помню, где я бывал, забыл имена и не знаю даже, как меня зовут. Все это пустяки, не стоит придавать им значения... Наверное, у меня сотрясение мозга... ведь я не могу вспомнить ничего, кроме этой катастрофы... Если вам назовут мое имя, з н а й т е , — оно фальшивое. А если я сам начну нести всякий вздор о приключениях на островах, считайте это бредом. Все это осколки... я сам не пойму чего... из них уже не сложить истории человека. Человек весь в том, что ему еще осталось совершить. Остальное — осколки и обломки, в которых сразу не разберешься. Да, да, иной раз человек выкопает что-нибудь из прошлого и думает: это я. Но со мной дело хуже, сестрица; случилось что-то такое, отчего моя память разбилась вдребезги, и в ней не осталось ничего цельного, кроме мысли о том, что я собирался еще совершить».

VI

Сестра милосердия рассказывала, слегка покачиваясь и не поднимая глаз, словно повторяла текст, выученный наизусть.

— Удивительно, как ясен и неясен одновременно был этот сон. Не знаю, где происходило дело. Он сидел на

деревянных ступеньках, которые вели в какую-то соломенную *хижину*. — Она *запнулась*. — Да, эта хижина стояла на сваях, как стол на ножках... А он сидел, расставив ноги, на нижней ступеньке и выбивал пепел из трубки об ладонь другой руки. Голову он наклонил так, что виден был только белый шлем, казалось, что голова у него перевязана.

«— Вы должны знать, сестра, — продолжал он, — что я не помню своей матери. Собственно, я никогда ее не видел, но в памяти у меня осталось какое-то пустое место, где чего-то недоставало. Вот видите, моя память и раньше была неполной, в ней не хватало *матери*. — Он кивнул головой при этих *словах*. — И потому на карте моей жизни никогда не исчезнет белое пятно. Я не мог познать самого себя, ибо не знал матери.

— Что касается отца, — продолжал он, — то скажу вам откровенно: в наших отношениях не было ни сердечности, ни доверия. По правде сказать, нас разделяла глухая, непримиримая вражда. Дело в том, что мой отец был на редкость примерный человек. Он занимал видное положение в обществе и был преисполнен сознания, что неукоснительно выполняет свой долг, который он считал смыслом жизни. А смысл жизни для него состоял в том, чтобы посвятить себя работе, преуспевать и пользоваться уважением сограждан. Это настолько важные обязанности, что выполнение их может быть прервано лишь смертью. Отец и в самом деле умер торжественно и достойно, словно удовлетворенный тем, что выполнил и эту свою обязанность. Меня он преимущественно поучал и при этом обычно ставил в пример себя. Человеческую жизнь он, скорее всего, считал чем-то уже вполне готовым, вроде дома, доставшегося по наследству, или фирмы, полученной от предшественника. Он чрезвычайно уважал самого себя, свои принципы и заслуги. Прожитая им жизнь казалась ему достойным примером для сына. Возможно, по-своему он любил меня и заботился о моем будущем, но представлял его себе лишь повторением собственного жизненного пути. Я ненавидел отца, ненавидел изо всех сил и назло исподтишка поступал ему наперекор, делал совсем не то, что он мог ожидать от разумного, послушного сына. Я был ленив, упрям, порочен и уже подростком спал со служанками, до сих пор помню их шершавые руки... Я вносил в отчий дом затаенную ди-

кость и думаю, что самоуверенность старика была поколеблена моим поведением. Для него я был олицетворением необузданности и хаоса жизни, сопротивляться которым он был не в силах.

Не стану рассказывать вам о своей молодости, сестра. Да и что говорить, она была довольно заурядной. Если не считать кое-каких пустяков, то, в общем, мне стыдиться нечего. Правда, в детстве я был ребенком злым и испорченным, но в юности мало чем отличался от сверстников. Как и они, я прежде всего был полон самим собой. У меня были свои любовные привязанности, свои переживания, свои взгляды, в общем — все свое. Человек лишь позднее убеждается, что все, казалось бы, столь личное, индивидуальное — на самом деле характерно для всех, и он должен был тоже пройти через это, воображая себя первооткрывателем. Воспоминания детства прочнее воспоминаний молодости. Детство — это настоящее открытие совершенно нового мира, а юность... Бог весть, откуда в ней берется столько заблуждений и призрачных представлений. Потому-то она и уходит безвозвратно. К счастью, не каждый сознает, как он был обманут, как глупо попался на удочку жизни. Мне не о чем вспомнить, а если в памяти что-то и всплывает, я чувствую, что теперь я уже не тот и меня это не касается.

В то время я уже не жил с отцом. Оп был мне чужд и далек, как никто в мире, и когда я стоял у его гроба, мне показалось страшным и неправдоподобным, что я зачат этим чужим, сейчас уже обезображенным смертью человеком. Ничто, ничто уже не связывало меня с покойным, и слезы на моих глазах были вызваны лишь чувством полного одиночества.

Кажется, я уже говорил вам, что унаследовал от отца довольно значительное состояние. Но и деньги были мне противны, словно и на них лежал отпечаток отцовской порядочности и его чувства долга. Он создал богатство, чтобы жить в нем и после смерти, чтобы воплотить в деньгах свою жизнь и общественное положение. Я не любил этих денег и мстил им, используя лишь на потребу своей лености и на удовольствия. Я бездельничал, работать не было необходимости. А чего стоит жизнь, если в ней нет твердости и неподатливости камня? Я мог удовлетворять все свои прихоти, но это было так скучно, сестра. Придумывать, как убить день, труднее, чем дробить камень! Все

это ничего не стоило. Поверьте, сестра, неустойчивый человек получает от жизни меньше, чем нищий».

Помолчав немного, Он сказал:

«— Как видите, мне, право, незачем жалеть о своей молодости. Если я сейчас мысленно возвращаюсь к ней, то не для того, чтобы припасть к роднику юности. Мне стыдно, что я был молод, ибо тогда я испортил свое будущее. Это было самое шальное, самое бестолковое время моей жизни. И все же именно в молодости со мной произошло событие, важности которого я в ту пору не оценил. Я говорю «событие», но в нем не было ничего исключительного: я познакомился с девушкой и решил, что овладею ею. Правда, я любил ее, но в молодости и это вполне естественно. Свидетель бог, это была не первая моя любовь и даже не сильнейшее из моих увлечений, которых я уже не помню».

VII

Сиделка озабоченно покачала головой.

— Все это он рассказывал словно на исповеди. Было видно: от меня он ничего не таит. Без сомнения, он готовился к смерти. И мне осталось только молиться о том, чтобы всевышний чудом или по милосердию своему принял эту исповедь, совершенную во сне и обращенную к особе, этого недостойной. Быть может, господь посчитается и с тем, что человек в беспамятстве не может так глубоко сожалеть о содеянном, как это необходимо для полного покаяния.

«— Опишу вам, какая она была, — продолжал он. — Странно, теперь я не помню ее лица. Помню только серые глаза и голос, чуть резковатый, как у мальчишки. Она тоже рано потеряла мать и жила с отцом, которого боготворила. Это был прекрасный человек, талантливый инженер. Ему и себе на радость она выучилась на инженера и пошла работать на завод. Оба очень гордились этим. Сестра, милая, видели бы вы ее там, в кузнечном цеху, среди паровых молотов, станков, раскаленного железа и полуобнаженных молотобойцев! Она походила и на девочку, и на эльфа, и на смелого мальчика-подростка. Рабочие ее обожали, относились к ней особенно бережно потому, что она жила в мире мужчин. Однажды она привела меня в свой цех, — и после этого я в нее влюбился.

Такой хрупкой, такой нежной, отважной казалась она среди сильных мужских тел, блестящих от пота. Меня покорил ее негромкий, чуть хриплый голос, авторитет инженера, командующего огнем, металлом, работой... Скажут — в цеху не место девушке. Прости, господи, мне грешному, но именно там я захотел ее мучительно и безудержно, там, в тот момент, когда она принимала какую-то работу и сердито хмурила свои тонкие брови. А может, когда она стояла рядом со своим громадным стариком отцом и он положил ей руку на плечо, словно сыну, которым гордится и которому передает дело своей жизни. Рабочие называли ее «господин инженер», а я уставился на ее девическую шею, охваченный мучительным желанием, которое тревожило меня, словно в нем было что-то противоестественное.

Она была безмерно счастлива: счастлива потому, что гордилась отцом и собой, счастлива тем, что люди любят ее и она сама зарабатывает свой хлеб. Счастье ее было такое спокойное, ясное, уравновешенное. Спокойствие светилось в ее взгляде, слышалось в скупых словах, произнесенных мальчишеским голосом. Ее ладони и пальцы были вечно измазаны тушью, и я любил эти пятна... А я тогда был тщеславным и фатоватым юнцом, полным напускной самоуверенности. Но эта девушка как-то сбивала меня с толку. «Хочет быть бесполым существом», — думал я и с какой-то злостью вбил себе в голову, что покорю ее как женщину. Мне казалось, что тем самым я возьму над ней верх. Видимо, мне стало стыдно за себя, за свое ничтожество и праздность, и потому только мне хотелось насладиться триумфом мужчины-завоевателя. Поймите, так я объясняю это себе сейчас, а тогда была лишь любовь, лишь влечение, лишь неодолимое желание склониться над ней и вырвать у нее трудное признание в любви».

Он задумался и помолчал немного.

«— А теперь, сестра, я перехожу к тому, о чем мне очень трудно говорить, но пусть будет высказано все! Это была не первая моя любовь, когда — судите, как вам угодно, — все происходит почти непроизвольно и неотвратимо. Я хотел завоевать девушку и пробовал всякие средства, которые бросили бы ее в мои объятия. Стыдно вспомнить, какими нелепыми, грубыми и беспомощными казались все известные мне светские фортели против своеобразной, самобытной, почти суровой прямоты этой чистой, цело-

мудреной девушки. Я видел, что она выше всего этого и выше меня, что она сделана из более благородного материала, чем я, но я уже не мог отступить. Странное существо человек, сестра! Я упивался мучительными и мерзкими мечтами о том, как с помощью обмана, гипноза, наркотиков или еще чего-нибудь подло овладею девушкой, оскверню ее... знаете, как оскверняют храм. Я ничего не скрываю от вас, сестра, ничего. Я казался себе исчадием ада. И пока я унижал ее в своей душе, она меня полюбила! Да, полюбила и однажды отдала мне свою любовь так же просто, как растение отдает созревший плод. Все вышло иначе, совсем иначе, чем представлялось моему распаленному воображению. И знаете, я был тогда неловок, как юноша, еще не знавший женщины...»

При этих словах он закрыл лицо руками и замер.

«— Да, я скот, — продолжал он, — я заслуживаю всего, что потом произошло со мной... Я наклонился над ней — она лежала, прикрыв глаза, — я старался насладиться воображаемым триумфом. Мне хотелось, чтобы из глаз ее брызнули слезы, чтобы от отчаяния и стыда она закрыла лицо руками. Но лицо девушки было спокойно и ясно, она дышала ровно, будто спала. Мне стало не но себе, я прикрыл ее и отошел к окну, разжигая в душе бесовскую гордыню. А когда я обернулся, она смотрела на меня открытым, ясным взором, улыбнулась и сказала: «Ну вот, теперь я твоя!»

Я перепугался, да, перепугался, изумленный и униженный, а она вся светилась нежностью, уверенностью, чистотой... не знаю даже, как это назвать. Очень просто: я твоя, и все тут. Так случилось, — мы вместе, и ничего нельзя поделать. Как легко и просто, какое несомненное и великое решение. Да, все решено, все теперь вернее верного, все ясно до конца: умненькая девчушка высказала это уверенно, без колебаний: «Теперь я твоя». Подумайте, как она горда, как довольна, что открыла в себе эту благословенную, живую, верную и надежную правду. Глаза ее еще широко раскрыты от изумления необыкновенным, ошеломляющим открытием, а сама она уже проникается великим спокойствием незыблемого решения. Мелкие черты лица, несколько секунд назад искаженные смятением и болью, теперь приняли новое, определенное выражение, я бы сказал — выражение человека, который

обрел самого себя. Да, теперь я знаю, кто я такая: я твоя, и то, что случилось, правильно, таков порядок вещей. Словно улеглась зыбь, успокоилась водная гладь и стала прозрачной до самого дна.

Я ничего не скрываю от вас, сестра. Если бы она закрывала лицо руками, сотрясаясь от рыданий, если бы в глазах ее был упрек: «Нехороший, что ты со мной сделал!» — я ощутил бы торжество победы. Это торжество могло быть злым или добрым, гордым или великодушным или жалостливым, каким угодно. Быть может, я упал бы перед ней на колени, клянясь в любви и целуя ее руки, испачканные тушью. Но не моя это была победа, на мою долю достались лишь смятение и стыд. Я что-то заикнулся о любви. Она удивленно подняла брови: к чему, разве нужно говорить об этом? Я твоя, и этим высказано все: и признание в любви, и взаимность, и свершившееся, и все «да» в мире. Грубо и нескромно было бы сейчас болтать о чувствах, о благодарности. Зачем? Да, это свершилось, я твоя. А если ты будешь еще говорить, мне покажется, что ты чувствуешь себя виноватым. Ах, сестра, сестра, разве вы не понимаете, какая была в этом мудрая зрелость, достоинство и чистота? Разве не случилось так, что я хотел греха, а она превратила его в святыню? Какой позор! Я не нашелся, что ей ответить. А она с интересом осматривала мою квартиру, словно видела ее впервые, и напевала песенку. Она, которая прежде никогда не пела! Да, она чувствовала себя как дома, хотя и не говорила об этом, она чувствовала, что здесь ее место.

Потом она улыбнулась, подсела ко мне и заговорила своим негромким, чуть хриплым голосом... не о настоящем или будущем, а о себе, о своем детстве, о девических увлечениях. Она отдавала мне свое прошлое, как будто с этих пор все должно было принадлежать мне. А меня грызло странное чувство унижения и неполноценности. Я попытался снова обнять ее, но она лишь подняла руку, и этого было достаточно, чтобы смирить меня. «Нет, — сказала она, совсем не стесняясь, — в другой раз...» Все это было так просто и несомненно: я — твоя, и наша любовь не пустая блажь, а разумное, стойкое, нужное чувство. И она поцеловала меня в губы, словно говоря: не хмурься, малыш! Словно она была моей матерью, словно она была старше и сильнее, взрослее меня. Это было

нестерпимо сладко и вместе с тем, прости меня боже, унизительно, как пощечина...

Потом она ушла. Вы знаете, сестра, труднее всего человеку уходить. В том, как он уходит, отражается обычно все его смущение и растерянность, опрометчивость, уверенность в себе, легкомыслие или самомнение. Берегитесь, когда уходите, вы беззащитны, ваша спина выдает вас!

Не помню, как она ушла: постояла в дверях, чуть наклонив голову, и вдруг исчезла. Совсем легко и тихо. Это важно, потому что я никогда уже больше не видел ее. Ибо в ту же ночь я сбежал, как мальчишка».

VIII

Почтенная сестра громко, с сердцем, высморкалась в накрахмаленный носовой платок и продолжала:

— Так он сказал мне. Это был низкий поступок... и, кажется, он раскаивается. А я скажу, что нечего ему целиком оправдывать эту девушку, — выходит, она отдалась ему добровольно. Хотя, судя по его рассказу, она добрая и благородная натура, ее постигла заслуженная кара, и сейчас трудно решить, не оказался ли этот человек в какой-то мере орудием в руках божьих. Но это не уменьшает его вины.

«— Размышляя теперь, — сказал он мне потом, — о странных причинах, побудивших меня к бегству, я вижу их совсем в ином свете. Я был тогда молод и исполнен всевозможных авантюрных и туманных замыслов. Кроме того, во мне с детства жил протест против всего, что называется долгом, острое и боязливое отвращение к тому, что могло связать меня. Эту боязнь я считал тягой к свободе. Меня испугала строгость и серьезность чувств этой девушки. И хотя она была нравственно выше меня — я боялся, что буду связан навеки. Я решил, что надо выбирать между нею и самим собой. И я выбрал себя.

Сейчас я знаю больше и смотрю на мир иными глазами. Сейчас я понимаю, что она прошла больший путь, чем я, что она решила для себя все, а я ничего, что она была взрослой, а я остался растерянным, несложившимся, безответственным юнцом. То, что я воспринимал как протест против пут, было страхом перед ее превосходством,

страхом перед ее великой уверенностью. Мне не дано было познать радость преданности, я не мог сказать: и я твой тоже, весь твой, неизменно твой, полностью и бесповоротно. Не было во мне цельности, и я не мог отдать себя целиком... Я рассказываю вам об этом сухо, словно подводя итоги. Я вправе говорить так, потому что это баланс моей жизни: приход и расход. Она мне отдала себя, сказав: «Теперь я твоя». А я... Все, что у меня нашлось для нее, была любовь, страсть и какие-то смутные посулы, нечто вроде векселя без обеспечения. — Он тихо засмеялся. — Я, видите ли, коммерсант, сестра, и хотел бы привести свои дела в порядок. Знайте же, что мое бегство было бегством банкрота. Я остался должен этой девушке — должен самого себя...»

— Мне показалось, — продолжала сиделка, — что он улыбается, насмехаясь надо мной. Я попыталась заговорить, но он ухмылялся все язвительнее и постепенно исчез. Я с трудом открыла глаза, встревоженная столь ярким сновидением, и помолилась за него и за девушку. Признаюсь, эта история целый день не выходила у меня из головы. Ночью я долго ворочалась. Наконец я заснула, и он тут же явился, будто ждал этой минуты. Он опять сидел там, на ступеньках, склонив голову, грустный и тревожный. За хижиной волновалось на ветру поле, поросшее чем-то вроде кукурузы или болотной травы.

«— Это не кукуруза, — вдруг заговорил он. — Это сахарный тростник... Может показаться, что я много лет был дельцом на южных островах, скупал сахарный тростник и гнал из него ром, aguardiente как его там называют. Но это не важно. В действительности я был всего лишь незрелым юнцом, бежавшим в мир. Меня огорчает, что обо всем этом я вам рассказал как-то нескладно, мне хотелось бы исправить неблагоприятное впечатление. Я знаю, например, что вы в известной мере осуждаете эту девушку. В ее поведении вы склонны видеть греховную податливость плотскому искушению. Будь это так, ее безграничная честность и терпение совершенной любви, которые я в ней видел, были бы только самообманом влюбленного юноши. Но если это так, сестра, то совершенная любовь жила во мне самом, хоть я и не сознавал этого, и тогда мое бегство надо считать чистым безумием, непостижимым поступком, и такой же непостижимой была вся моя остальная жизнь. Я знаю, это так называемое

«косвенное доказательство». Можно возразить, что жизнь человеческая вообще непостижима, что ее невозможно объяснить. Но я вижу, что вы другого мнения.

Есть еще одно косвенное доказательство правоты моих слов. Это доказательство — жизнь, которую я вел после своего странного бегства. Должно быть, я поступил как самый последний трус и тем самым нарушил извечный закон жизни, потому что с тех пор надо мной тяготело проклятие. Оно сказывалось не в трудностях и неудачах, которые мне встречались, а в том, что с тех пор я не знал ни покоя, ни постоянства. Поверьте, сестра, скверная с тех пор была у меня жизнь! Жизнь без милостей судьбы, жизнь человека, не искупившего своей вины. Так сказали бы вы. Что касается меня, то я слишком мирской человек и просто сознаюсь, что жил по-скотски, как бродячий пес, авантюрист и сомнительный делец. Клянусь, в моей жизни было столько подлости и обмана, что даже трудно себе вообразить. И только потому, что в тот важный момент я постыдно не устоял. Слишком я был пуст, ничтожен и духовно незрел, чтобы принять то, что так неожиданно встретилось мне на пути, — жизнь во всей ее целостности... Постойте, как бы это объяснить? Я хочу сказать: порядок, определенность, устойчивость незыблемого решения. Если истинная жизнь есть определенность и постоянство, значит, я бежал от истинной жизни. Вы не представляете, сестра, как зыбок и недолговечен всякий порок. Его надо постоянно подогревать, но и это не помогает: человеку не заполнить всего себя злом. Богохульник, убийца, завистник или распутник живут удивительно куцей и шаткой жизнью. Вот. и я не могу создать единой картины своей жизни, вся она состоит из обрывков, клочков, осколков, которые не складываются в целое. Напрасно возимся мы со своими ничтожными и дурными деяниями; они нелепы и несвязны, они лишь обломки и хаос, без конца и без начала. Да будет так, да будет так. Аминь. А вы называете это нечистой совестью.

Поверьте, мои карманы когда-то были набиты золотом. Я могу показать вам свои плечи, на них шрамы от ударов бича и укусов мулаток. Пощупайте вот здесь: моя печень увеличена от пьянства. Я валялся в желтой лихорадке, меня, как дезертира, преследовали вооруженные солдаты. Я мог бы рассказать вам о полсотне разных своих жизней, но все они — ненастоящие, от них остались только

шрамы. Вот в этой хижине я лежал смертельно больной, одинокий, как подбитая кошка, пересчитывал свои жизни и не мог в них разобраться. Наверное, я выдумал их в горячке, это были гадкие и жуткие сны. Двадцать лет минуло, и все это — сплошь запутанные, бессмысленные, зыбкие сновидения... В тот раз я попал в больницу, и nurses [1] в белых фартучках обкладывали меня льдом. Боже, как это было приятно, как освежало... эти компрессы, и белые фартучки, и все остальное. Мне показалось, что я нужен кому-то. Но тогда меня уже коснулась смерть».

IX

— По-моему, это перст божий, — заметила сестра милосердия. — Болезнь есть предостережение свыше. Мудро поступает церковь, посылая слуг своих к ложу больного, чтобы помочь ему найти правильный путь на этом распутье. Но в наше время люди слишком страшатся болезней и смерти и потому не внемлют предостережениям и не умеют прочитать слова, начертанные огненной рукой болезни.

«— Тогда меня коснулась смерть, — продолжал он, — меня спасли от нее, но я лежал обессиленный, слабый, как муха. Не скажу, чтобы я боялся смерти. Скорее, я удивлялся, что вообще способен умереть, то есть совершить такой серьезный и решительный поступок. Мне казалось, что от меня требуют чего-то значительного, важного и окончательного, и нельзя было отказываться, ссылаясь на неспособность. Я чувствовал безмерную неуверенность и робость. Странно, ведь прежде я не раз смотрел в лицо смерти и, свидетель бог, вел жизнь бурную и часто исполненную опасностей. Но прежде костлявая представлялась мне лишь риском или случайностью, я умел смеяться над ней и спорить с нею. Теперь она предстала передо мной как неизбежность, как непостижимый, но окончательный и неотвратимый исход. Подчас меня охватывали слабость и безразличие, и я говорил ей: «Ладно, я закрою глаза, а ты делай свое дело, делай его без меня и поскорей. Я ничего не хочу знать». А иной раз, я злился на себя за

[1] сиделки (*англ.*).

эту детскую трусость. Да ведь смерть — это пустяки, — твердил я себе, — умирать совсем не трудно, это всего лишь конец. У каждого приключения был свой конец, и теперь станет одним концом больше. Но, странное дело, сколько я ни размышлял, я не мог представить себе смерть как внезапный конец, — раз, и перерезана нить жизни. Я увидел ее тогда совсем рядом, и она казалась мне чем-то неизмеримым и длительным. Я не могу объяснить толком, в чем тут дело, но смерть очень протяженна во времени, она *длится.* По правде говоря, эта протяженность страшила меня. Я малодушно боялся, что не справлюсь. Ведь я никогда не предпринимал чего-нибудь длительного, никогда не подписывал договора, который связывал бы меня на долгий срок. Мне нередко представлялась возможность прочно обосноваться на месте и жить достойно, без чрезмерного напряжения сил, но всякий раз я испытывал острое и непреодолимое отвращение к такому образу жизни и считал это следствием своего непоседливого характера, который требует перемен и экзотики. Неужели теперь мне предстоит заключить контракт навеки? Я обливался холодным потом и стонал от ужаса. Нет, это немыслимо, это не для меня, не для меня! Господи боже, помоги мне, ведь я еще недостаточно взрослый, чтобы решать бесповоротно и окончательно. Вот если бы умереть на время, скажем, месяца на три, на полгода, тогда я согласен, вот моя рука. Но не требуй от меня, смерть, чтобы я сказал: «Теперь я твой...»

И вдруг, сестра, меня словно осенило. Я снова увидел ее, девушку, в тот миг, когда она лежала передо мной, исполненная радости и уверенности, и шептала: «Теперь я твоя». И снова воспоминание о ее решимости жить и мой жалкий трепет перед неизбежностью смерти заставили меня почувствовать свое ничтожество и унижение. И я начал понимать, что жизнь, как и смерть, бесконечна, что все живое, по-своему и в меру сил своих, стремится быть вечным. Это как бы две половинки, одна дополняет другую и одна немыслима без другой. Да, это так: смерть целиком поглощает лишь нелепую и случайную жизнь, а жизнь цельную и устремленную она лишь увенчивает. Две половинки смыкаются в вечности. В горячечном бреду они представлялись мне полыми полушариями, которые нужно сложить, чтобы они сомкнулись. Но одно из них было истерто и согнуто, почти обломок, и мне никак

не удавалось сложить его с другим, безупречно гладким, которое знаменует собой смерть. Надо исправить, твердил я себе, надо их подогнать друг к другу. «Теперь я твоя...»

И тогда я выдумал себе жизнь, сестра. Я говорю — выдумал, потому что многое в моем прошлом никуда не годилось и было отброшено и, наоборот, мне не хватало важного и нужного. И в юности моей тоже многое можно было бы исправить, но на ней я долго не задерживался. Самым важным было и остается, чтобы в той, настоящей жизни, которой не было и вместе с тем которая как-то была... были не события и факты, а чувства... Это вроде книги с вырванными страницами... Боже, что я хотел сказать? От лихорадки путаются мысли... Да, так вот, главное, что в той, настоящей жизни все было совсем иначе, понимаете? То есть должно было быть иначе, это главное! И те события, которые должны были произойти в действительности, они... о н и... — Зубы у него стучали, но он с д е р ж и в а л с я. — Помните, я вам рассказывал... рассказывал вам... как она лежала у меня... и шептала: «Теперь я твоя». Все это святая правда, сестра. Но дальше, дальше все должно было пойти иначе! Сейчас я знаю это, потому что в меня вошли жизнь и смерть. «Да, и это х о р о ш о, — должен был сказать тогда я. — Ты моя, и ты будешь ждать. Будешь ждать, пока я вернусь, постигнув жизнь и смерть. Ты же видишь, что я еще недостаточно зрел для жизни. Я еще... еще не такой цельный, чтобы быть постоянным, не такой смелый, чтобы решать. Во мне еще нет той цельности, что в тебе... что в тебе... Ну, скажи, пожалуйста, что ты будешь делать с такой бесформенной массой? Я ведь и сам не знаю, что из меня выйдет, не знаю, я еще не разобрался в самом себе. Тебе что, ты вечная, ты знаешь все, что нужно, ты знаешь, что ты принадлежишь мне. А я...»

Он дрожал всем телом.

«— Погоди, и я приду и скажу: «Теперь я твой». Ах, сестра, поймите, она все это знала, она понимала, хоть я и не произнес этих слов. Потому она и сказала: «Нет, в другой раз». Значит, я должен вернуться, не правда ли? Ну скажите, скажите сами, ведь это значит, что она ждет меня, верно? Потому она и не попрощалась, потому я даже не заметил, как она ушла. Я вернусь, и обе половинки сомкнутся, как жизнь и смерть. Теперь я твой! Нет никакой другой, настоящей и цельной жизни, кроме той, что

должна быть. — Он вздохнул глубоко, как человек, который освободился от огромной тяжести. — Сольются воедино любовь, жизнь и смерть — все, что неоспоримо в моей душе. Я твой, только теперь я понял свое место. Единственная достоверность — это принадлежать другому. Себя самого, всего себя я нашел в том, что я принадлежу другому человеку. Слава богу, слава богу, наконец-то я у цели!

Нет, пустите меня, я не могу ждать! Я возвращаюсь к ней! И она лишь улыбнется: ну вот, теперь я твоя. А я уже не буду бояться, не отрекусь от нее, я иду, иду к ней! Я знаю, что она уже рвет тесемки и пуговицы на своем платье... Поторопитесь, вы же знаете, что я спешу домой!.. Вы называете это бурей? Бросьте, я видел циклоны, видел столбы смерчей. Этот ветерок недостаточно силен, чтобы унести меня. Разве вы не видите, вот она летит ко мне в объятия, наклонилась и летит... Берегись, мы столкнемся лбом и зубами... берегись, ты падаешь на меня... я падаю... как ты нетерпелива, как ты прижимаешь меня к своим плечам, к себе...»

Он начал бредить в лихорадке.

«— Что это, пилот летит в пустоту? Передайте ему, сестра, что это не в той стороне, пусть повернет обратно. Или нет, пойдите к ней, скажите, что я возвращаюсь. Вы же знаете, что она ждет. Умоляю, передайте ей, что я уже в пути... Пусть только пилот найдет место, где приземлиться. Писать ей я не мог, не знал, где она... — Он поднял на меня взгляд, полный отчаяния. — Что... что же вы, почему же вы не скажите ей? Я вынужден летать кругом, кругом, по замкнутому кругу, а вы только моргаете, глядя на меня, и не хотите ничего передать ей, потому что... — Вдруг он начал изменяться у меня на глазах: голова обвязана бинтами, сам дрожит, и я увидела, что он хохочет. — Я знаю, вы злая, завистливая, противная монашка. Вы злы на нее за то, что она познала любовь. Можете не завидовать ей: знайте, что тогда я и в этом смысле сплоховал. Может быть, потому я и повел себя так трусливо, понимаете? Знайте же, в другой раз...»

Сестра милосердия печально уставилась своими грустными, смиренными глазами в одну точку.

— Потом он богохульствовал. Словно дьявол говорил его устами: он изрыгал проклятия и непристойности... Господи, прости меня и помилуй! — Она перекрестилась. —

Это было очень страшно, потому что слова произносила кукла без глаз и рта. От страха я проснулась. Да, да, надо было взять четки и молиться за спасение его души, а я вместо этого пошла в палату и поставила ему градусник. Он лежал без сознания, температура сорок и три десятых, его трясла лихорадка.

X

Сейчас у больного всего лишь тридцать восемь и семь. Он бредит, перевязанные руки беспокойно шевелятся на одеяле.

— Вы не знаете, сестра, что он говорит? — спрашивает хирург.

Сестра милосердия отрицательно качает головой и строго поджимает губы.

— Он говорит «йеср», — вмешивается старик с соседней койки. — «Йеср» да «йеср».

— «Yes, sir»[1], — догадался хирург. — Стало быть — по-английски.

— А еще он говорил «маньяна»[2], — вспомнил старик, — «маньяна» или «маняня». — Старик хрипло хихикнул. — «Маньяна, маньяна». Лепечет, как младенец в пеленках.

Старику это слово почему-то казалось очень смешным, он задыхался от смеха, у него хрипело в горле. Пришлось на него прикрикнуть.

И до сих пор никаких сведений о том, кто же такой пострадавший. Писатель звонит трижды в день:

— Алло, нет ли каких подробностей?

— Нет, ничего не знаем.

— Тогда скажите, в каком он состоянии?..

Но разве по телефону пожмешь плечами — мол, пока жив.

Днем температура продолжает падать, но пациент — хоть его почти не видно из-под бинтов — становится еще желтее; у него началась икота: «То ли печень повреждена, то ли у него желтуха», — ломает себе голову хирург и, чтобы внести ясность, приглашает на консультацию из-

---

[1] Да, сэр (*англ.*).

[2] утро, завтра (от *исп.* mañana).

вестного терапевта. Знаменитость — бодрый, розовый старичок — так и сыплет шутками. При виде почтенной сестры милосердия он от радости чуть ли не обнимает ее.

— Да, да, немало мы с вами поработали, прежде чем вас перевели в хирургическое!

Хирург вполголоса и преимущественно по-латыни излагает ему историю болезни. Терапевт, помаргивая, смотрит сквозь золотые очки на фигуру, сделанную из бинтов и ваты.

— Не приведи господь, — озабоченно говорит он и присаживается на край койки.

Сестра милосердия молча откидывает одеяло. Терапевт втягивает ноздрями воздух и поднимает глаза.

— Диабет?

— Откуда вы знаете? — ворчит хирург. — Я, конечно, велел сделать анализ мочи... нет ли в ней крови. Оказалось, что есть и сахар. Вы что, определяете по запаху?

— И обычно не ошибаюсь, — кивает терапевт. — Ацетон всегда различишь. Наша ars medica[1] — на пятьдесят процентов интуиция, голубчик.

— Я не полагаюсь на интуицию, — отзывается хирург. — Я только... прямо, с первого взгляда чувствую: вот у этого я не стал бы оперировать... даже мозоль. С ним непременно случится эмболия. Или еще что... А почему — мне и самому непонятно.

Терапевт легонько ощупывает ладонью и пальцами тело человека, который лежит без сознания.

— Я бы охотно его выслушал, — прочувствованно говорит он, — да, пожалуй, не стоит беспокоить, а? — И, сдвинув очки на лоб, осторожно, почти нежно, доктор прикладывает розовое ухо к груди больного. Тихо так, что слышно, как муха бьется об оконное стекло. Наконец старик поднялся. — Да, сердце у него изношено, — пробормотал он. — Оно, милый мой, могло бы многое порассказать. Правая легочная доля не в порядке. Печень увеличена...

— А почему он такой желтый? — вырвалось у хирурга.

— Я и сам хотел бы это знать, — задумчиво отозвался терапевт. — Почему так падает температура?.. Покажите мне мочу, сестра. — Сиделка молча подала ему сосуд — в

[1] искусство медицины (*лат.*).

нем было несколько капель густой темной жидкости. — Скажите, пожалуйста, — удивленно подняв глаза, спрашивает старый врач, — как попал к вам этот человек?.. Ах, вы не выяснили, откуда он взялся? Не было у него озноба, когда его к вам привезли?

— Да, был, — ответила сестра.

Врач сосчитал про себя до пяти.

— Пять... максимум шесть дней, — пробормотал он. — Это почти невозможно! Мог он долететь сюда... скажем, из Вест-Индии, за пять-шесть дней?

— Едва ли, — усомнился хирург. — Почти исключено. Разве только через Канарские острова...

— Стало быть, не совсем исключено, — укоризненно произнес старый врач. — Потому что, скажите на милость, где он еще мог подхватить fiebre amarilla[1]. — Он произнес «амарилья» с каким-то особым удовольствием.

— Подхватить что? — не поняв, переспросил хирург.

— Typhus icteroidis — желтую лихорадку. Я за всю свою жизнь видел только один случай, — это было тридцать лет назад, в Америке, Сейчас у него фаза trompeuse[2], переходящая в фазу пожелтения.

Хирург, видимо, сомневался.

— Послушайте, — сказал он неуверенно. — А может, это болезнь Вейля?

— Браво, коллега! — воскликнул старик. — Может быть! Давайте проверим на морских свинках. Как раз работа для моего лохматого ассистента. Ему бы только мучить этих животных. Если свинка останется жива и здорова, значит, я прав. Но мне кажется, — скромно добавил он, — что я не ошибаюсь.

— Но почему?

Терапевт развел руками.

— Интуиция, коллега. Завтра температура опять поднимется и начнется vomito negro. Я непременно пришлю сюда своего юношу, пусть сделает анализ крови.

Хирург смущенно почесал затылок.

— А... скажите, что такое красная лихорадка?

— Красная лихорадка? А, fievre rouge. Это так называемая антильская лихорадка.

---

[1] желтую лихорадку (*исп*).
[2] ложная (*франц.*).

— Ею болеют только на Антильских островах?

— Да, на Антильских островах, в Вест-Индии, на Амазонке. А что?

— Да, так, — замялся хирург и покосился на сестру милосердия. — Но ведь желтая лихорадка встречается и в Африке, не так ли?

— В Нигерии и в соседних областях, но туда она занесена из других стран. При словах «желтая лихорадка» мне представляется Гаити или Панама, весь этот пейзаж — пальмы и прочее.

— Но как он попал сюда с этой лихорадкой? — рассуждал хирург. — Инкубационный период равен пяти дням, верно? А за пять дней... Выходит, что он летел всю дорогу.

— Выходит, — сказал терапевт таким тоном, что, мол, нынче это сущий пустяк. — Видно, торопился. И куда его черти несли? — Пальцы врача отбивали дробь на спинке кровати. — Думаю, сам он уже не скажет вам, почему так спешил. Очень плохое сердце. Этот человек, видно, многое перенес.

Хирург слегка кивнул и взглядом выслал сестру из палаты.

— Я вам кое-что покажу, — сказал он и открыл бедра больного. У самого паха виднелись белые шрамы, один длинный и четыре покороче, расположенные полукругом. — Пощупайте, какие они глубокие, — показал хирург. — Я все думал, отчего бы они могли быть...

— Ну, и?..

— Если он жил в тропиках, это может быть след лапы хищного зверя. Посмотрите, как конвульсивно сжались когти. Для лапы тигра они маловаты. Скорее всего, это ягуар... стало быть, речь может идти об Америке.

— Вот видите, — старый врач торжествующе высморкался, — уже выясняется его биография. Locus [1]: Вест-Индия. Curriculum vitae [2]: охотник и авантюрист...

— И моряк. На левом запястье под бинтом у него татуировка — якорь. Он из так называемой хорошей семьи: ступни у него довольно узкие...

— И вообще, сказал бы я, интеллигентное тело. Анамнез: пьяница, явный алкоголик. Застарелая легочная

[1] Местонахождение (*лат.*).
[2] Биография (*лат.*).

болезнь, которая недавно активизировалась, видимо, в результате лихорадки инфекционного происхождения. Скажу вам, меня эта красная лихорадка вполне устраивает. — В глазах терапевта блеснула радость. — И следы излеченной фрамбозии. Ах, коллега, мне вспоминаются мои мальчишеские мечты о дальних странах, индейцах, ягуарах, отравленных стрелах и всем прочем. Какой любопытный случай! Скиталец, который уезжает в Вест-Индию... Зачем? Видимо, бесцельно, если судить по почтовым штемпелям судьбы. Там он ведет странную, беспокойную жизнь, сердце у него для его лет невероятно изношено, он пьянствует с тоски и от жажды, обычной у диабетиков... Я прямо как на ладони вижу эту жизнь, коллега! — Старый врач, задумавшись, почесал кончик носа. — А потом внезапное и стремительное возвращение, безумная погоня за чем-то... И вот, уже у самой цели, он умрет у нас на руках от желтой лихорадки, которой его заразил жалкий крохотный stegomyia fasciata[1] в последний день блужданий в тропиках.

Хирург покачал головой.

— Он умрет от сотрясения мозга и внутреннего кровоизлияния. Оставьте мне мой диагноз.

— Желтая лихорадка у нас редкость, — настаивает терапевт. — Пожелайте ему, коллега, славной кончины, пусть он покинет этот мир как редкий и замечательный пациент. Разве не похож он в этих повязках, безликий и безымянный, на воплощенную тайну? — Старый врач бережно прикрыл одеялом бесчувственное тело. — Ты еще кое-что расскажешь нам при вскрытии, бедняга. Но тогда книга твоей жизни будет уже захлопнута.

XI

Утром температура у больного поднялась до тридцати восьми с лишним, бинты у рта потемнели, словно от проступившей крови. Пациент совсем пожелтел, как и следовало ожидать, и таял на глазах.

— Ну что? — осведомился хирург у сестры милосердия. — Сегодня ночью он вам не снился?

Сестра решительно покачала головой.

[1] комар стегомия (*лат.*).

— Нет. Я молилась, и это помогло. А кроме того, — хмуро добавила она, — я на всякий случай приняла тройную порцию брома.

Вошла другая сестра и доложила, что пациент с абсцессом на шее лежит в жару, икает, ничего не говорит и слабеет. Недовольно ворча, хирург заспешил к ясновидцу, так что полы его белого халата развевались на ходу.

Ясновидец, с заострившимся носом, уныло торчащим кверху, лежал, закрыв глаза.

— Ну, с какой стати у вас жар? — рассердился хирург. — Покажите! — Температура была тридцать восемь с лишком. Хирург сердито снял с больного повязку, — рана была отличная, чистая, вокруг ни следа воспаления. И вообще никаких признаков болезни, вот только икота и чуть пожелтели белки глаз.

Хирург бредет по коридору и снова заходит в палату номер шесть. Там, у постели пациента Икс, стоит знаменитый терапевт в обществе четырех молодых врачей в белых халатах и со смаком произносит: «Fiebre amarilla».

— Ничего не поделаешь, коллега, — обращается он к хирургу, — придется вам поделиться этим пациентом: с нами. Такой редкостный и интересный случай. Вот погодите, здесь соберется весь факультет со всеми светилами науки. Вы бы хоть повесили над постелью балдахин и надпись под хвойной гирляндой: «Добро пожаловать!» Или что-нибудь в этом духе. — Он высморкался, словно в рог затрубил. — С вашего разрешения мы возьмем у него несколько капель крови. Господин ординатор, распорядитесь, чтобы ассистент взял у больного кровь.

Получив по инстанции это распоряжение, высокий, длинноволосый ассистент, стоявший у левого локтя корифея терапии, наклонился к предплечью больного и протер его кожу ваткой.

— Когда вы освободитесь, — проворчал хирург, обращаясь к старику, — я попрошу вас на минутку.

Но старый доктор еще не исчерпал своих восторгов по поводу желтой лихорадки и продолжал говорить о ней, пока хирург вел его в палату ясновидца.

— Ну вот, — сказал хирург. — А теперь скажите мне, что с ним.

Старик засопел и взялся за пациента, легко и искусно ощупывая его, тихо приказывая вздохнуть, не дышать, вздохнуть глубже, лечь, сказать, если будет больно, и все прочее. Наконец он оставил пациента в покое, в раздумье потер себе кончик носа и подозрительно воззрился на ясновидца.

— А что с ним может быть? Ничего, все в порядке... Тяжелый невропат, — добавил он бесцеремонно. — Не пойму только, почему у него жар.

— Вот видите, — накинулся хирург на ясновидца. — А теперь скажите, приятель, что вы вытворяете.

— Ничего я не вытворяю, — попытался отрицать больной. — Но, может быть, мое самочувствие связано с тем пациентом, а?

— С каким?

— С тем, из самолета. Ведь я все время о нем думаю. У него снова жар?

— Вы его видели?

— Нет, не видел, — пробормотал ясновидец, — но я думал... сосредоточился на нем. Понимаете, такой контакт страшно изнурителен.

— Он ясновидец, — поспешно объяснил хирург. — А вчера у вас была температура?

— Да, была, — признался ясновидец. — Но иногда я... прерывал контакт, и температура падала. Это можно регулировать волей.

Хирург вопросительно взглянул на светило терапии. Тот ерошил бородку и размышлял.

— А боли? — спросил он вдруг. — Болей у вас не было? Я имею в виду боли, которые ощущает тот пациент.

— Да, были... — как-то стесненно и нехотя ответил ясновидец. — Собственно, это были чисто душевные явления, хотя и локализованные на определенных участках тела. Трудно определить точно, — робко оправдывался он, — но я назвал бы это психической болью.

— А где вы ее ощущали? — быстро спросил терапевт.

— Вот тут, — показал ясновидец.

— Ага, в верхней части брюшной полости. Правильно, — удовлетворенно проворчал старый врач. — А здесь, под ложечкой?

— Давит и подташнивает.

— Очень хорошо, — обрадовался терапевт. — И больше ничего?

— Ужасно болит голова, вот здесь, в затылке... И спина. Словно меня перешибли пополам.

— Coup de barre[1], — обрадовался старый доктор. — Это же coup de barre, дружище! Вы замечательно определили. Желтая лихорадка. Все симптомы. Как по-писаному!

Ясновидец испугался.

— Что вы говорите! Вы думаете, я мог подхватить желтую лихорадку?

— Нет, что вы! — усмехнулся терапевт. — Будьте покойны, у нас нет такого комара. Самовнушение, — ответил он на вопросительный взгляд хирурга и, видимо, решил, что вопрос вполне исчерпан. — Самовнушение. Я не удивлюсь, если у него в моче обнаружат следы белка и крови. Когда имеешь дело с истериком, — добавил он наставительно, — ничему не следует удивляться. Они выкидывают такие фокусы... Повернитесь к свету!

— Но у меня слезятся глаза, — запротестовал ясновидец. — Мне больно от света.

— Превосходно, голубчик, — похвалил его терапевт. — Совершенно верная клиническая картина, друг мой. Вы прямо-таки клад для диагностика — умеете хорошо наблюдать... То есть наблюдать самого себя. Отличный пациент! Представьте себе, многие люди совсем не умеют определить, где и что у них болит.

Ясновидец был явно польщен.

— А здесь, господин доктор, — несмело признался он, — у меня сосет.

— Эпигастрический симптом, — похвалил терапевт, словно экзаменуя усердного студента. — Отлично!

— И во рту, — припоминал ясновидец, — будто все опухло.

Старый доктор опять громогласно высморкался, словно торжествующе затрубил.

— Вот видите, — обратился он к хирургу, — налицо все симптомы febris flavae. Мой диагноз подтверждается. Подумать только: тридцать лет я не видел больного желтой лихорадкой! — с чувством добавил он. — Тридцать лет — немалый срок!

Хирург не разделял восторгов терапевта и, нахмурясь, смотрел на ясновидца. Тот отдыхал, изнуренный и обессиленный.

[1] Прострел (*франц.*).

— Для вас подобные эксперименты вредны, — строго заметил он. — Больше я вас тут не оставлю, отправляйтесь лучше домой. А то вы внушите себе все болезни, какие только есть в клинике. Словом, забирайте свою зубную щетку и . . . — Он указал на дверь.

Ясновидец меланхолично кивнул в знак согласия.

— Я бы тут и не выдержал, — смущенно признался он. — Вы понятия не имеете, как это изнурительно. Будь он... этот самый некто, пациент Икс, в сознании, я бы воспринимал его ощущения отчетливо, ясно... как черное на белом. А в таком глубоком беспамятстве... — Ясновидец покачал головой. — Чудовищная, почти безнадежная работа! Ничего определенного, никаких очертаний. — Он пошевелил в воздухе тонкими пальцами. — К тому же лихорадка, эдакий хаос в подсознании... все перепутано и бессвязно. А кроме того, здесь всюду чувствуется его присутствие, все только и думают о нем: и вы и сиделки — все! — Лицо ясновидца выражало глубокое страдание. — Я должен уйти отсюда, иначе я сойду с ума!

Терапевт с интересом слушал, склонив голову набок.

— Скажите, — спросил он, — вы что-нибудь узнали о нем?

Ясновидец сел, дрожащими пальцами зажег спичку и закурил сигарету.

— Да, кое-что! — Он с облегчением выпустил клуб дыма. — Что бы я ни узнал, у меня все равно будут пробелы и неясности. — Он махнул рукой. — Познавать — значит, постоянно сталкиваться с загадками. Если вы спрашиваете, натолкнулся ли я на них, отвечу «да». Стало быть, я и узнал нечто. Я понимаю, вы бы хотели, чтобы я вам рассказал, но предпочитаете не расспрашивать. — Он подумал, прикрыв глаза. — Но мне необходимо избавиться от мыслей об этом человеке. Если я расскажу их вам, я смогу отложить свои мысли в долгий ящик, как вы изволили бы выразиться. Человек никогда не избавится от того, о чем молчит.

РАССКАЗ ЯСНОВИДЦА

Ясновидец уселся на постели, подтянув худые колени к подбородку, и, кося глазами, уставился в пространство, тощий и карикатурный в своей полосатой пижаме.

— Прежде всего надо объяснить мой метод и некоторые исходные понятия, — не без колебания начал он. — Вот, например, представьте себе, круг, кольцо из медной проволоки. — Он начертил в воздухе круг. — Круг — вещь зримая. Мы можем представить его себе как отвлеченное понятие, можем дать ему математическое определение, но психологически круг есть нечто представляемое зрительно. Если завязать вам глаза, вы сможете ощупать проволоку и сказать: «Это круг». У вас было бы *ощущение* круга. Существуют люди, которые могут с закрытыми глазами, *на слух,* различать форму тела, издавшего звук. В данном случае они *услышали* бы круг, если бы по нему ударили палочкой. А если бы по этой проволоке ползла мыслящая муха, у нее тоже осталось бы вполне отчетливое ощущение круга. Надо понять, как тесно соприкасаются эти чисто физические ощущения круга с душевным состоянием человека, который в полной темноте *чувствует* близость круга. Чувствует без помощи зрения, слуха или осязания. И это совершенно точное ощущение. Скажу вам, что, если исключить таким образом физическое восприятие, у вас будет гораздо более отчетливое ощущение именно круга, а не материала, из которого он сделан. Ибо форма — а не материал! — категория психологическая. И когда я говорю «ощущение круга», я имею в виду не какое-нибудь предположение или догадку, а совершенно точное, острое, я бы сказал, мучительно ясное восприятие. Но сформулировать это восприятие и выразить его словами чрезвычайно трудно...

Ясновидец вдруг замолк.

— А почему, собственно, я выбрал для примера именно круг? Вот, видите, я предвосхищаю собственный рассказ. Ощущение замкнутого круга... Это образ параллели тропика и одновременно образ жизни... — Он отрицательно покачал головой. — Вот, так и у нас ничего не выйдет. Я знаю, вы оба скептически относитесь к телепатии. И справедливо. Телепатия — вздор, нельзя познавать вещи и явления на расстоянии, надо приблизить их: звезды — с помощью астрономических выкладок, материю — с помощью микроскопа и анализа. А если мы исключим чувственные восприятия, то можем приблизиться к чему угодно, сосредоточившись на мысли об этом предмете. Я допускаю, что бывают предчувствия, откровения, видения и сны. Я их допускаю, но отвергаю и отрицаю, как

метод. Я не провидец, я аналитик. Подлинная действительность не является нам зримо, ее нужно извлечь точной работой, анализом, сосредоточенной волей. Вы признаете, что человеческий мозг — орудие анализа, но почему-то отвергаете мысль, что он может быть своего рода линзой, которая приближает вещи к нам. причем мы даже не трогаемся с места и не открываем глаз. Удивительная линза, сила которой меняется в зависимости от концентрации нашего внимания и воли. Удивительное приближение, которое происходит не в пространстве и времени, — оно проявляется лишь в степени интенсивности ощущений и познаний внутри вас. Удивительная воля, которая вводит в ваше сознание вещи, от вас независимые. Человек мыслит представлениями, которые возникли помимо его воли, пришли к нему извне, и он не может влиять на них. Он только концентрирует на них свое внимание. То же со зрительными и слуховыми восприятиями, — мы воспринимаем органами чувств и нервными центрами вещи и явления вне нас. Также можно воспринимать мысли и переживать чувства, находящиеся вне нас, и воспоминания о том, что было не с вами и не касается непосредственно вашего «я». Это так же естественно, как видеть и слышать, но вам не хватает внимания и навыка.

Хирург нетерпеливо заерзал на стуле, но ясновидец, очевидно, не заметил этого; он упивался своими поучениями, размахивал руками, мотал головой и каркал, полный самодовольной уверенности, что сладкозвучно поет.

— Внимание! — продолжал он и приложил палец к носу. — Я сказал — мысли, воспоминания, представления, чувства. Все это грубые и неточные термины психологии, и я воспользовался ими только потому, что они привычны для вас. В действительности же, воспринимая так, как я описал, я воспринимаю *круг,* а не материал, из которого он сделан; я воспринимаю и ощущаю человека в обобщении, а не его отдельные переживания, мысли и воспоминания. Понимаете, — сказал он, морща лоб и стараясь отыскать нужное слово. — Это абстрактный человек, абстракция, в которой сейчас содержится все, чем он когда-либо был и что делал, но не в порядке следования событий, а как... как... — он размахивал руками, словно подводя какой-то итог, — ...как если бы вы зафиксировали на кинопленке всю жизнь человека, от рождения до последней минуты, а потом наложили бы все эти кадрики

один на другой и сразу спроецировали их на экран. «Какая неразбериха!» — скажете вы. Да, это так, ибо прошлое и настоящее слились воедино и образовался лишь общий контур жизни, неописуемый и безгранично самобытный. Некий сугубо индивидуальный абрис, в котором отражено *все.* — Нос ясновидца трагически вытянулся. — Все, в том числе и *будущее!* — прошептал он. — Этот человек не выживет!

Хирург фыркнул. Это он тоже знал. И наверняка.

— Попробую объяснить вам это доступнее, — продолжал ясновидец. — Вот, скажем, придет сюда человек с чрезвычайно чутким обонянием. Встречаются такие люди. Прежде всего он почувствует общий, довольно неприятный и очень сложный запах. Но если у него есть способность обонятельно «наблюдать», он начнет анализировать этот суммарный запах и различит в нем запах больницы, хирургии, табака, мочи, еды, нас троих и наших жилищ. Может быть, он узнает даже, что на этой койке до меня умер старый человек, видимо, после операции почек.

Хирург нахмурился.

— Кто вам сказал об этом?

— Никто. Просто вы не знаете, что такое обонятельный интеллект. Умея сосредотачиваться, можно расчленить данное суммарное восприятие, выявить в нем составные элементы или хронологическую последовательность. Если ваше *целостное* впечатление от какой-нибудь личности достаточно отчетливо, вы можете, при известных способностях к анализу и логическому мышлению, развернуть это впечатление в последовательные картины его биографии. Из общего абриса жизни можно дедуктивным путем извлечь отдельные события. Я бы сказал, это примерно то же самое, что по известной конечной сумме найти отдельные слагаемые. Вы возразите, что это безнадежная задача. Да, это трудно, но возможно. Поймите, что, по внутренней сути, четверка, возникшая как сумма двух двоек, совсем не то же самое, что четверка, полученная путем прибавления единицы к тройке.

Ясновидец сидел ссутулясь, позвонки на его спине выступали гребнем.

— Ужасно! — простонал он. — Беспамятство и горячка этого человека ужасны. Представьте себе, чем больше

я на нем сосредотачивался, тем больше погружался в бредовое полуобморочное состояние. То есть не я, я-то бодрствовал, но я ощущал в себе все это бессознательное и горячечное. Понимаете, я должен был обнаружить это в себе, иначе... иначе ничего бы не вышло, и я не постиг бы.

Ясновидец вздрогнул, его осунувшееся лицо выражало такое страдание, что на него жалко было смотреть.

— Продираться сквозь жуткое беспамятство, сквозь хаос помраченных чувств, в котором, подобно льдинам, плыли физические страдания, и при этом все время... все время с предельной четкостью ощущать общий облик этой жизни, *это*... — Дико озираясь, он прижал руки к вискам, закатил глаза и простонал: — О, боже, боже, от этого с ума сойдешь!

Старый врач кашлянул и извлек из кармана коробочку карамелек.

— Нате, дружок, *угощайтесь*, — пробурчал он.

Это была великая честь, которой он мало кого удостаивал, собственно, только тяжелобольных с ярко выраженными клиническими симптомами.

XIII

Ясновидец оживился, принялся сосать карамельку и сел на постели, скрестив ноги, как турок или портной.

— Я вам сейчас объясню это *иначе*, — сказал *он*. — Но предупреждаю, что и это только сравнение. Заставьте звучать камертон «ля», и тотчас зазвучит струна «ля» на скрипке или на рояле, придет в колебание, пусть неслышное для нас, все, что способно звучать в тоне «ля». В сущности, зазвучим и мы, прислушиваясь и повторяя этот звук. Музыкально наблюдательны те люди, кто умеет прислушиваться к самому себе. Представьте себе, что жизнь — это некий аккорд, что человек звучит, звучит его мысль, память, подсознание. И его прошлое тоже постоянно звучит. Это безмерно сложный полифонический аккорд, в котором резонирует и прошлое: его затихающие отголоски немолчно звучат в основных и соответствующих тонах; они окрашивают собой звуки настоящего. Представьте себе далее, что и в нас возникают такие же волны, если мы находимся в каком-то контакте

с человеком, посылающим в пространство колебания определенной частоты, как и каждый из нас... Каждый! Резонанс может быть слабее или сильнее, все дело в нашей настройке, в нашей восприимчивости, сосредоточенности и силе данного контакта. Резонанс может быть таким слабым и неясным, что мы его не замечаем. Но он может быть столь сильным и глубоким, что мы слышим только его, только этот посылаемый нам сигнал. Но даже когда мы не слышим звучания, он эмоционально отражается в наших симпатиях или антипатиях, в неясных и необъяснимых реакциях, которыми мы инстинктивно отвечаем на воздействия совсем незнакомых людей...

Ясновидец был явно доволен и усердно сосал карамельку, причмокивал, как младенец у материнской груди.

— Да, да, именно т а к , — убежденно повторил он. — Надо уметь прислушиваться к самому себе. Нужно исследовать свое «я», чтобы распознать ту тихую, многозвучную весть, которую посылает кто-нибудь другой. Ясновидение есть лишь самонаблюдение. То, что называют телепатией, это восприятие не издалека, а с самого близкого расстояния, и потому особенно труднодоступное. Это чтение в самом себе. Представьте себе, что вы приведете в действие сразу все клавиши, регистры и педали органа. Возникнет оглушительный хаос звуков, но вы познаете в нем силу, размах и благородство этого инструмента. Конечно, никаким анализом вы не сможете определить, что прежде исполняли на этом органе, потому что у органа нет памяти (по крайней мере, для нашего слуха), которая придала бы особую окраску его теперешним звукам. Так вот, тот первый, нерасчлененный резонанс, которым мы отвечаем на чьи-то индивидуальные частоты, это то же прежде всего ощущение размаха, жизненной силы и своеобразия... ощущение вполне определенной и единственной в своем роде пространственной формации, в которой развивалась эта жизнь со всеми ее индивидуальными особенностями и перспективой.

Ясновидец слегка запнулся.

— Вот видите, я все свалил в кучу: орган и перспективу, зрение и слух. Очень трудно объяснить эти вещи. Наши слова — всего лишь несовершенные отражения наших ощущений — зрения, слуха, осязания. Ими не выразишь точно того, что недоступно этим элементарным органам чувств. Поэтому наберитесь терпения, господа.

— Не смущайтесь, — ободряюще прогудел старый терапевт. — Эта подмена представлений и восприятий характерна для некоторых душевных расстройств, аналогичных галлюцинациям. Продолжайте, пожалуйста, вы даете клинически правильную картину.

— Характерно, — продолжал ясновидец, — что, анализируя это общее целостное восприятие, вы получите совсем иную картину жизни, чем та, которую вам дает опыт. Жизнь человека состоит из отдельных фактов. Минуты и часы складываются в день, дни — в годы. Часы и дни — это, стало быть, строительный материал жизни. Человек состоит из своего опыта, ощущений, свойств, поступков, проявлений. Все это составляет как бы мозаику, которая создает подобие целого. Но желая представить себе это целое, мы в действительности вызываем в памяти лишь большее или меньшее количество таких кусочков, вершину эпизодов, нагромождение частностей. Например, вы, — вдруг обратился он к терапевту, — вы вдовец, не так ли? Вспомните свою покойную жену, которую вы горячо любили, с которой в мире и согласии прожили четверть века. Я вам скажу, что всплывает в вашей памяти: ее смерть! Тяжкая борьба за жизнь, следя за которой вы беспомощно опускали руки, проклиная свою медицину... Ее привычка разрезать книги шпилькой, привычка, с которой вы тщетно боролись; день вашей первой встречи; счастливый день, когда вы вместе собирали ракушки где-то у моря.

— В Римини, — растроганно сказал старик и махнул рукой. — Хорошая она была женщина.

— Да, хорошая. Но даже если вы часами станете вспоминать о ней, вам придут в голову только вереницы все новых и новых подробностей, несколько фраз, эпизодов, и все. Так выглядит ваше представление о жизни самого близкого вам человека.

Старый врач снял очки и начал тщательно протирать их. Хирург усиленно сигнализировал ясновидцу взглядом: не надо, хватит об этом, перемените курс.

— Да, — повиновался ясновидец и на всех парах устремился в другом направлении. — Опыт не может дать нам иного представления; мы никогда не воспринимаем человека или его жизнь в целом, а всего лишь разрозненные частности и отдельные моменты, да и то, слава богу, большую часть их упускаем из виду. Из такого материала

нельзя ни воссоздать, ни предугадать целостной жизни. Поверните назад, говорю я. Попытаемся исходить, логически исходить из представления о целостной, подытоженной жизни, не разделенной на прошлое и настоящее. Это же замечательно! — вдруг воскликнул он и в восторге чуть не принялся рвать на себе волосы. — Представим себе реку, всю реку, не извилистую линию на карте, а полноводную, настоящую реку, всю воду, которая когда-либо протекала в ее берегах. Тогда наше представление о ней охватит и ее истоки, и воды моря, все моря мира, облака, снег и водяные пары, — дыхание мертвых и радугу на небе. Все это вместе, кругооборот всех вод на свете, и будет наша река. Как это замечательно, какая необъятная действительность! — в восхищении всхлипывал он. — Это прекрасно и потрясающе — воспринимать ощущение жизни и человека во всей его целостности, во весь рост! Нет, нет, нет, — твердил он, помахивая пальцем, — эту целостность нельзя дробить на дни и часы, нельзя разменивать на мелочь воспоминаний. Но ее можно и нужно разделить на закономерности, на внутренние причинности, подобные возведенным сводам, которые составляют здание одной жизни. Здесь нет случайностей, здесь все необходимо и прекрасно, здесь во всем проявляется взаимосвязь причин и следствий. Нет свойств, нет событий, есть лишь силы. Есть их борьба и равновесие, обусловившие сферу действия человека.

В уголках его рта появились пузырьки пены, вид его был страшен, он даже осунулся от возбуждения.

— Ну, ну, — проворчал старый терапевт и вынул часы. — Прилягте минут на пять, друг мой, и помолчите. Закройте глаза и дышите глубоко и медленно.

XIV

Ясновидец открыл глаза и глубоко вздохнул.

— Можно продолжать? В самом деле, все это действует на нервы... — Он потер себе лицо. — Итак, об этом человеке, что упал с неба... Как его называть?

— Мы называем его «пациентом Икс», — сказал хирург.

Ясновидец сел на постели.

— Да, пациент Икс. Если вы ждете, что я сообщу вам его имя, род занятий, из какого города он прилетел и так далее, то заранее предупреждаю: я ничего этого не знаю. Такие подробности несущественны. Большую часть своей жизни он занимался не тем, что было в то время его профессией. Я ощущаю в жизни этого человека громадный размах, простор, море, но он не путешественник. Понимаете, жизненный простор путешественника измерим, а здесь... У него нет цели. Нет отправной точки, от которой можно было бы отмерять расстояния и определять направления.

Ясновидец недовольно помолчал.

— Нет, нет, надо начать иначе. Собственно, правильно было бы начать с его смерти — она вот-вот наступит — и двигаться назад, словно мы вьем веревку. Жизнь Цезаря началась, когда родился Цезарь, а не сморщенный, плачущий младенец. Историю жизни надо бы начинать с последнего вздоха человека, тогда понятнее будет, как формировалась его жизнь и какое значение имело для нее все, что он пережил. Только смертью завершается юность и рождение человека. — Ясновидец покачал головой. — Но я не могу. Какое несчастье, что мы мыслим в категориях времени!

— Например, — продолжал он после паузы, — если я скажу вам, что он не знал матери, это прозвучит как начало биографии. А для меня это не начало, а конец долгой и трудной ретроспекции. Пациент Икс лежит в беспамятстве и ничего больше не сознает. Но и под этим беспамятством, в самой его бездне, глубоко, глубоко в душе этого человека, живет одиночество, и даже в беспамятстве ему не грезится ничья родная тень. Откуда оно, это внутреннее одиночество, где его истоки? Нужно вернуться назад, к началу жизни, эти истоки там. Он был единственным сыном и не знал матери. Никогда не было руки, за которую этот ребенок мог бы ухватиться, никто не говорил ему: «Ничего, ничего, дай я поцелую, и все пройдет». Удивительно, как ему не хватало этого в жизни! Не было голоса, который уверил бы его, что «все пройдет». «Не плачь, не мечись, пойди поиграй, вот тебе рука, держись за нее». Не было такой руки, и потому он никогда, понимаете, никогда не мог ухватиться за нее... — Ясновидец сделал беспомощный жест. — Он был силен, но нетерпелив. У него не было опоры...

— Одиночество! — продолжал *ясновидец*. — Он искал одиночества, чтобы избежать разлада между собой и окружающим миром. Он пытался растопить, как кусок льда, свое внутреннее одиночество в безграничных просторах моря и дальних стран. Ему все время нужно было с чем-то расставаться, чтобы найти внешний повод для одиночества. Оно нигде не оставляло *его*... — Ясновидец нахмурился. — Ну, а где же его семья? Почему отцовская рука не заменила материнскую? Об этом нужно спросить его самого. Надо присмотреться к этому человеку — что за колючая раздражительность сидит в нем. Он не ладит с людьми и прямо ищет случая столкнуться с ними, ему вечно кажется, что нужно обороняться, он постоянно вступает в конфликты... Вернемся назад! Назад к ребенку, у которого нет матери и который ведет скрытую и ожесточенную борьбу с отцом. Отец и сын не понимают друг друга. Вдовец стремится приказывать за себя и за мать, он удваивает свой родительский авторитет и злоупотребляет им мелочно, нечутко, с педантической придирчивостью. Ребенок неизбежно оказывает сопротивление, и этот протест закрепляется в нем как устойчивый психический рефлекс. Всю жизнь потом он не может избавиться от конфликта с обществом, правопорядком, дисциплиной, подчинением и так далее. До самой смерти он как бы все еще борется с отцом.

Ясновидец говорил раздраженно, стиснув кулаки, словно в нем самом шла эта яростная борьба.

— Интересно, как две эти антагонистические силы, одиночество и конфликт, сталкиваются во всей жизни этого человека. Конфликт нарушает одиночество, одиночество снимает конфликт. Но не завершается ни то, ни другое, несмотря на все свое одиночество, он не становится отшельником, несмотря на все тревоги борьбы, он не знает торжества *победы*, — тоска одиночества всегда одолевает его. Он задумчив и неуживчив, вспыльчив и беспомощен. Вы бы сказали, что он неустойчив, но эта неустойчивость — эмоциональный баланс двух противоборствующих сил.

Перечислим, что в нем отвечает одиночеству: мечтательность и стремление к покою. Безразличие, покорность судьбе, недостаток воли, лень и меланхолия, отсутствие цели, равнодушие и апатия — да, да, апатия. А что приводит к конфликтам? Неудовлетворенность, предприимчивость,

пылкий и изобретательный дух, тщеславие, упрямство и строптивость, импульсивность и так далее. Поскольку вы определяете человека суммой его свойств, попробуйте-ка соединить все эти противоречивые качества! Этот человек, стало быть, или ленив, или предприимчив... А может быть, он, так сказать, «полосатый», и эти особенности чередуются, а? Нет, никогда вы не поймете человека, если будете только перечислять его свойства. Нет никаких свойств, есть силы, которые противоборствуют, доминируют или тормозят одна другую. А человек в своем настоящем даже не знает, что самое незначительное движение, которое он сейчас совершает, быть может, является итогом взаимодействия сил, сталкивавшихся в нем всю жизнь, подобно молниям, разрядившим напряжение между рождением и смертью.

Представьте себе человека, который блуждает с места на место, от острова к острову, бредет, куда глаза глядят и куда забросит случай. Все это от лени и безразличия, — просто он бесцельно ищет одиночества и уголка для апатических мечтаний. Но те же блуждания могут быть результатом нетерпения, быть может, он стоял на носу корабля, нетерпеливо постукивая ногой по палубе, как беспокойный конь, — скорей бы прибыть на место, скорей бы набраться новых впечатлений и, покинув познанные места, устремиться дальше, к иным пределам. Перед нами два мира, два различных микрокосма, внешние очертания которых, быть может, и совпадают. Мир мужа, который валит деревья, строит хижины и разбивает плантации, совсем не похож на мир лежебоки, что глазеет на верхушки пальм, наслаждаясь и томясь своим одиночеством. Идя по следам пациента Икс, я нашел эти два столь несхожих мира. Они наплывали друг на друга, как часто бывает во сне. И сквозь контуры того мира, где усердно рубят и обтесывают деревья, проглядывал другой мир, проглядывало грустное, вялое лицо человека, познавшего тщету всего. А сквозь него вновь проступал тот, первый облик — жизнь, в которой кричат, торопятся, строят, пререкаются и вечно предпринимают что-нибудь, бог весть зачем и к чему. Это... это была не явь, а кошмар, гротеск! — воскликнул ясновидец. — Одну жизнь человек может переживать, но две могут только мерещиться. У того, кто бродит одновременно в двух мирах, нет почвы под ногами, он летит в пустоте, и ему незачем измерять свое

падение, ибо и звезды падают вместе с ним. Слушайте, — вскричал ясновидец, — этот человек был не совсем настоящий, большую часть своей жизни он прожил словно во сне!

XV

Ясновидец замолк, искоса поглядывая на кончики своих пальцев.

— Где он жил? — спросил хирург.

— Тропики... — пробормотал ясновидец. — Острова... У меня ощущение чего-то темно-коричневого, похожего на жженый кофе, асфальт, ваниль или кожу негра.

— Где он родился?

— Здесь, где-то здесь, — неопределенно показал ясновидец. — У нас в Европе.

— А кем он был?

— Надсмотрщиком, кажется. Человеком, который кричит на людей. — Ясновидец наморщил лоб, силясь вспомнить. — Но прежде он был химиком.

— Где?

— Ну, на сахарном заводе, — недовольно ответил ясновидец, словно его раздражал вопрос о таких очевидных вещах. — Подходящее место для человека с двумя разными мирами в душе, не так ли? Зимой страда, спешка, крики, а летом тихо, завод стоит, только в лаборатории работает человек. Или грезит... — Он начертил в воздухе шестиугольник. — Вы ведь знаете, как в химии пишутся формулы? В виде шестиугольника, на каждой стороне буква. Или как пересекающиеся лучи...

— Он говорит о структурных формулах, — пояснил терапевт. — Это называется стереохимией: наглядное изображение сочетаний атомов в молекулах.

Ясновидец кивнул как-то почти одним носом.

— Да, — сказал он. — Представьте себе, как эти формулы складываются в какую-то сетку. Наш химик смотрит в пространство и видит, что они сливаются, переплетаются, скрещиваются. Он переносит это на бумагу и злится, когда кто-нибудь мешает ему. Зимой не то, зимой работа на всех парах, всеобщий аврал и ажиотаж. А вот летом... небольшая заводская лаборатория, залитая солнцем, сладковатый запах жженого сахара. Икс сидит, приоткрыв рот и уставясь на свои формулы. Они похожи

на соты, где шестигранные ячейки сливаются в сплошной узор. Но это не плоскость, это трехмерное, четырехмерное пространство. Иксу никак не удается изобразить его на бумаге... А жара какая! Слышно, как муха, жужжа, бьется о стекло.

Ясновидец замигал, задумчиво склонив голову.

— Это не минутный эпизод: так проходят недели, месяцы... не знаю, сколько лет. Он все силится сконструировать это химическое построение из формул, которые сплетаются и взаимно дополняют друг друга. Это уже не реальные и известные химические соединения, а какие-то гипотетические, вымышленные комбинации, новые, несуществующие сочетания, которые восполняют пробелы в химии. Новые, еще неведомые «изо» — изомеры и полимеры... — неуверенно произносит ясновидец, — полимеры и поливаленты, которые наталкивают нашего химика на вывод о совсем неожиданных сочетаниях атомов. Он грезит об этих предполагаемых соединениях и их потенциальных возможностях: тут и медикаменты, и красители, и небывалые запахи, и взрывчатые вещества, и пластмассы, которые изменят облик мира. Он исписывает тетрадь за тетрадью формулами бензола, кислот, сахаров и солей, которых нет в природе, но которые находят свое место в его системе химических построений. Химик все больше начинает верить, что возможно предугадать и рассчитать неизвестные молекулярные соединения, так же как Менделеев рассчитал неизвестные элементы. Химик страшно рад, что он опровергает и рушит современную науку, — опять тот же мотив протеста и конфликта. Он начинает лабораторные опыты с этими гипотетическими молекулярными соединениями, но опыты не удаются, заводская лаборатория для них недостаточна. Тогда химик берет две или три свои, как ему кажется, самые наглядные и бесспорные формулы, которые только надо технически осуществить, и идет с ними к прославленному авторитету, ученому с мировым именем, чтобы убедить этого бонзу от науки, что стоит провести широко задуманный эксперимент.

Ясновидец пожал острыми плечами.

— Разумеется, результат был убийственный. Корифей науки несколькими словами в пух и прах разбил гипотезы молодого химика. Вздор, это невозможно, вы, очевид-

но, не знакомы с работами такого-то и такого-то, прочтите ту и эту монографию. И под конец великодушное снисхождение: впрочем, можете остаться работать у меня, я вам поручу кое-какую работу, например, поправлять фитили горелок или обслуживать фильтры. А если вы проявите терпение и научитесь работать, как ученый... Но пациент Икс не был терпелив и не хотел учиться работать, как ученый. Бормоча что-то нечленораздельное, он покинул кабинет корифея и бежал от развалин своего химического воздушного замка в такой панике, что... что остановился лишь на пороге совсем иного мира, где негры добродушно и совсем ненаучно скалили белые зубы.

Ясновидец поднял палец.

— Не поймите меня превратно. Бонза от химии поступил правильно и честно, он оградил науку от дилетантства. Он охотно принял бы доказанные факты, но принципиально отверг гипотезы, которые прежде всего внесли бы в науку беспорядок и неуверенность. Он должен был опровергнуть гипотезу нашего химика, ибо в жизни ничто не происходит случайно и наобум, ею управляет необходимость.

Хирург, видимо, опасаясь, что ясновидец опять перейдет к отвлеченным рассуждениям, быстро спросил:

— Больше он уж не занимался химией?

— Нет, не занимался. Он не знал внутреннего голоса, который сказал бы ему: «Ничего, это пройдет, поди поиграй, малыш». Каждая катастрофа в его жизни бывала окончательной и непоправимой. Когда несколько слов корифея разрушили все его построения, в нем вдруг с необычайной силой вспыхнуло свойственное ему ощущение одиночества и заброшенности... понимаете, почти удовлетворение тем, что он потерпел такой провал, что все пошло прахом. Он спрятал свои тетради, даже не взглянув в них, бросил работу на сахарном заводе — лететь так уж с треском! — и сам ужаснулся своему ощущению тщеты и никчемности, а еще больше тому, что, собственно говоря, отлично чувствует себя среди этой страшной разрухи.

— Он был *молод*, — заметил *хирург*. — Разве у него не было никакой привязанности?

— Была...

— Девушка?

— Да.

— Он любил ее?

— Да.

Стало тихо. Ясновидец, охватив руками колени, опустил глаза и раздраженно присвистнул.

— Не буду рассказывать всего, — процедил он наконец. — Я ведь не его биограф. Конечно, и в его любви было одиночество и протест, и, конечно, он погубил ее, как губил все в своей жизни: из упрямства и из-за того, что ушел, захотев одиночества. Какое опустошение! Теперь можно присесть и созерцать осколки разбитого вдребезги. Ребенком он, бывало, прятался в кладовке со старым хламом. Там его никто не видел, там он был наедине с собой, и его протест таял в одиночестве. Все время одна и та же закономерность, один и тот же ритм жизни. — И ясновидец начертил что-то в воздухе. — Упрямство толкает его вперед, одиночество освобождает. Он не двинулся бы с места, но его подстегивает протест. Из упрямства он отстаивал бы свои позиции, но одиночество в нем словно машет рукой: «Э-э, стоит ли, к чему все это?» И опять начинаются скитания.

Ясновидец поднял голову.

— Быть может, он был гениальным химиком и его идеи преобразили бы мир. Но не думаете же вы, что у человека его склада хватило бы терпения шаг за шагом, от опыта к опыту, ценой обидных ошибок и неудач, кропотливой и научной работой доказать правильность своих построений? Он стоял на пороге великого открытия, но его пугал планомерный, неустанный труд, который постепенно продвигал бы его вперед. Он должен был потерпеть фиаско. Это фиаско было внутренней закономерностью, собственно, нечто вроде бегства от непосильной задачи. Останься он химиком, он бы все равно блуждал между опытами и фантазиями, от проблемы к проблеме, без цели, теряясь в слишком широких просторах. Поэтому он должен был скитаться среди людей и островов, чтобы этим как-то подменить блуждания своего духа... Вы, — ясновидец ткнул пальцем в сторону терапевта, — говорили что-то о подмене представлений. Знайте же, что существует и подмена судьбы и что иногда внешние события подменяют собой гораздо более глубокие сдвиги, происходящие внутри нас.

XVI

Ясновидец потянулся к сигарете. Хирург щелкнул зажигалкой и дал ему прикурить.

— Muchisimas gracias[1], — пробормотал ясновидец, низко поклонившись и не заметив, что хирург при этом внимательно наблюдает реакцию его зрачков.

— Любопытно, — продолжал он, сплевывая табачные крошки, — любопытно, какой след оставляет на человеке его среда, то, что мы называем окружающей обстановкой. Для его внутреннего «я» она нечто гораздо большее, чем просто совокупность факторов, определяющих его поведение. Скорее можно сказать, — неуверенно продолжал ясновидец, — что сама среда как-то обусловлена жизнью и внутренним миром человека, словно в ней просто... реализуется предопределенная ему судьба. Да, это правильно, если воспринимать жизнь человека как нечто цельное, а не как цепь случайностей.

Возьмем, например, историю пациента Икс. У меня сразу же возникает впечатление необыкновенно широких пространств — моря, разные страны, — понимаете? — чисто пространственное и количественное обилие одиночества, частые уходы и тревога, которая побуждает его бродить по свету. Человек сложной души живет в сложной и странной обстановке. Душная, прогретая солнцем заводская лаборатория, где он метался между формулами и грезами, для него была как бы прообразом жарких стран, в которых он будет скитаться, вдыхая запах жженого сахара. В какой стране он был? У меня сложилось вполне отчетливое обонятельно-пространственное ощущение. Знойный воздух дрожит над коричневым полем. Несмолкаемое громкое жужжание и прерывистый гул, гортанные выкрики и визгливый смех и толкотня. Край летаргии и лихорадочного возбуждения. И без конца море, беспокойное флуоресцирующее море. Корабли, пахнущие разогретым деревом, смолой и шоколадом. Гваделупа, Гаити или Тринидад.

— Как вы сказали? — воскликнул хирург.

— Что? — рассеянно переспросил ясновидец.

— Вы сказали Гваделупа, Гаити или Тринидад.

— Я так сказал? — удивился ясновидец. — Не помню.

---

[1] Большое спасибо (*исп.*).

Я вообще не думаю о названиях. — Он наморщил лоб. — Странно, как это у меня вырвалось. Случалось ли вам осознавать смысл фразы лишь после того, как вы ее произнесли? Со мной сейчас так и было. Куба, Ямайка, Гаити, Пуэрто-Рико, — перечислял он, как школьник. — Мартиника, Барбадос, Антильские и Багамские острова, — с облегчением закончил он. — Боже, сколько лет я не вспоминал этих названий. Мне нравились экзотические слова: Антилы, антилопы, мантильи... — Он вдруг запнулся. — Мантильи, мантильи... Погодите! Испанки... Куба... Он был где-то на Кубе! У меня такое... ощущение чего-то испанского... Не знаю, как это объяснить. Что-то вроде романса...

— Вы только что сказали «muchisimas gracias», — напомнил хирург.

— В самом деле? А я и не заметил. — Он задумчиво покосился в угол. — Все это создает... такую своеобразную обстановку. Старинные испанские фамилии, аристократия, замкнутый мирок гордых традиций, мантильи и кринолины.... И тут же американские морские офицеры... Какие контрасты! Сколько тут людей разных рас и диких народов... вплоть до негров на лесоразработках, негров, которые раздирают зубами живых кур. Вуду, вуду! Писк и кваканье спаривающихся лягушек, монотонный стук колес деревянной мельницы, размалывающей сахарный тростник, визг и вопли мулаток, охваченных экстазом страсти, сверкающие тела и зубы... Ну и жара, ну и жара! — бормотал ясновидец, обливаясь потом, просторная пижама прилипла у него на спине. — Гудение ночной бабочки и треск, когда она влетает в огонь... А над головой Южный Крест, похожий на химическую формулу, и тысячи созвездий, которые образуют на небе формулы неведомых, тяжело благоухающих сплавов.

— И опять, — он помахал пальцем, — все это и вне его, и в нем самом одновременно: лень и буйство, слепая созидательная сила и сонная одурь, жар двух лихорадок — мертвящей и плодотворной. И все, все только в нем самом! Вот опять эти лягушки, спаривающиеся от бесконечной скуки, однообразие, унылое, как стук деревянной мельницы, рев зверей, шлепанье босых ног во тьме — кто-то ищет душной, безотрадной встречи... Жуткие, пылающие звезды... человек во вселенной, пришпиленный к земле, как жук на булавке... И снова корабль рвется

с якорной цепи и монотонно покачивается в стоячей воде порта. Неодолимое желание скрыться от этих лягушек и от мельницы.... Ощущение, что все должно быть иначе, но стоит ли волноваться... Кусочки мира или кусочки души — не все ли равно? Все равно!

— Он был алкоголиком, а? — спросил терапевт. — Запойный пьяница, не так ли?

— Как знать, отчего пьет человек — от одиночества или от упрямства, — неопределенно ответил ясновидец. — Что он заглушает в себе и топит в алкоголе: лед одиночества или дрожащий огонек ярости? Вы правы, он очень опустился. Он мог бы быть властелином, мордастым боссом, а не валяться, опухнув от рома и высохнув, как щепка, от лихорадки. Почему он не создал себе золотого тельца, который привязал бы его к одному месту? Собственность делает человека оседлым и рассудительным. Он мог стать богачом и бояться смерти.

— И это все? — помолчав, спросил хирург.

Ясновидец усмехнулся.

— Хотите, чтобы я выдумал что-нибудь, да? Красавицу креолку, в которую он был влюблен? Экзотическую революцию, ради которой он рисковал жизнью? Хищных зверей и циклоны? Жизнь, полную увлекательных приключений? Сожалею, — насмешливо протянул он, — но события — не моя специальность. Я смотрю на жизнь как на единое целое и не могу развлечь вас занятными эпизодами. — Ясновидец был раздосадован тем, что потерял нить мысли. — Понимаю, — пробормотал он, — вас интересует шрам у него на ноге. Ничего особенного, так, случайность. Он не был азартным охотником и не искал опасностей. — Наморщив лоб, ясновидец вспоминал. — На него напал хищник, за которым охотились другие, — воскликнул он наконец, радуясь, что отделался от досадной частности. — Правда, он многое испытал в жизни, но лишь потому, что сначала был нетерпелив и горяч, а это часто приводит к происшествиям, которых не случается с людьми мирного нрава. Потом он обленился и отупел, стал обрастать деньгами, хотя и не стремился к этому. Скитаться он стал меньше, но на смену пришло сонное, дурманящее блуждание мысли. Большую часть жаркого дня он валялся дома, с трудом дыша полуоткрытым ртом, и слушал, как бьются о сетку мухи, часами, да что

там — целыми днями глядел в потолок и на стены, оклеенные обоями с шестиугольным узором, похожим на пчелиные соты. Он созерцал их, бездумный, неподвижный.

XVII

— Интересно, — размышлял ясновидец, — что от сознания одиночества его жизнь становилась как-то законченнее и почти приходила в равновесие. Видимо, в детстве его тоже окружали стены, оклеенные такими или похожими обоями, и уже тогда ему было знакомо чувство одиночества. Заплачь он тогда вслух, пришла бы нянька и спросила, что с ним. А сейчас около него старая негритянка с отвисшими грудями, которые шлепаются одна о другую, как сонные рыбы. Быть может, вся его жизнь — лишь сон среди этих симметричных узоров. Кто знает, как долго длится сон — мгновение или час. Все остальное появлялось, собственно, лишь затем, чтобы нарушить застывшее уединение осиротевшего ребенка: отец со своими нотациями, школа, юность, сахарный завод и эта суета... Боже, сколько было лишней суеты! Какая-то огромная, пятнистая, оранжево-зеленая букашка бегает по узорчатым обоям, но не напрямик, стремясь к определенной цели, а все мечется из стороны в сторону, остановится на мгновение — и снова устремляется куда-то. Химик глядит на нее целыми часами: ему лень встать и сбросить насекомое. А еще что? Ах да, еще яростно и раздраженно жужжит муха и бьется в оконную сетку. Вот и все. Звуки, что доносятся сюда извне, болтовня негров, стук мельницы, сухой шелест пальм, шуршание тростниковых снопов, треск солнечного пожара, тысячеголосый гул — все это только наваждение. Можно закрыть глаза и слушать, как эти звуки улетают в никуда.

В этом летаргическом состоянии наш химик случайно взял в руки не то лист бумаги, не то какую-то специальную брошюрку, равнодушно полистал ее и задержался взглядом на шестиугольнике, из углов которого выбегали лучи, надписанные атомными формулами. К чему, к чему это? Его давно уже не интересуют подобные вещи. Но узоры на стене вдруг превращаются в химические формулы и словно усмехаются. Наш химик снова берет в руки брошюрку и, нахмурясь, внимательно разглядывает рису-

нок, с трудом осмысливая научный текст. Вдруг он садится, потом вскакивает, бегает по комнате, ударяет себя по лбу. Да ведь это та самая схема, та распроклятая химическая формула, с которой тогда, больше двадцати лет назад, — боже, как давно, как ужасно давно это было! — он приходил к корифею химии: «Господин профессор, разрешите провести широкие лабораторные опыты с этим гипотетическим соединением». Профессор поднял густые брови: «Бессмысленно, невозможно! Видимо, вы не знаете мнения такого-то и такого-то авторитета, не читали такие-то и такие-то труды. Я и сам уже давно научно доказал, что бензоловая группа...» — и так далее...

Пациент Икс бегает по комнате и возбужденно посмеивается. А вот тут какой-то американец — ну конечно, американец! — черным по белому пишет, что, мол, это таит небывалые экономические возможности...

Икс останавливается как громом пораженный. «Да это же всего-навсего одно звено цепи. Шестиугольники примыкают друг к другу, как соты в улье, в согласии с законами геометрии. Они этого еще не знают, никто еще об этом не догадался! — посмеивается Икс— А у меня все это записано и начерчено в тетрадках, они сложены в ящике, где-то в кладовке с хламом. Там еще лежали поломанные игрушки и платья покойной матери. Наверное, все это давно сожрали термиты... Ах да, там, на севере, нет термитов, стало быть, в ящике все цело».

Ясновидец стал покачиваться.

— Сидит он на постели, покачивается из стороны в сторону и с трудом вспоминает, как дальше шли формулы и как все они были связаны между собой. Но он уже отупел от пьянства и безделья, возраста и одиночества. Он стучит кулаком по научной брошюрке, словно заставляя ее сдаться, но что поделаешь, что поделаешь — вместо химических формул ему мерещится Южный Крест, Эридан, Кентавр и Гидра. Он пытается отмахнуться от всего этого, но в душе, как заноза, сидит острое, сосущее беспокойство. И вдруг, как молния, мелькает мысль: поеду домой и отыщу эти тетради! Словно камень упал с сердца, так вдруг стало легко и свободно. Он встал, открыл окно, выпустил муху, которая все еще отчаянно билась о сетку, и освободил насекомое, беспомощно сновавшее по стене.

Склонив голову набок, ясновидец словно любовался этой картиной.

— Любопытно, — продолжал он, — что этот поступок можно объяснить двояко, объяснения будут совершенно различные, но оба правильные. И вы, и сам Икс, неожиданно решивший вернуться на родину, сказали бы, что он хочет помешать краже своего духовного состояния. Он вдруг страшно забеспокоился за свои тетради, поняв, что они могут иметь ценность. Бесспорно, это дело сулило немалые деньги, — обстоятельство, небезразличное для Икса, — к тому времени он был уже не молод. Но главное заключалось в том, что это *его* достояние: акцент тут на я, от него никогда и никто не может избавиться. *Свое* дело, *свое* право, *свое* творение мы отстаиваем столь же инстинктивно и ожесточенно, как собственную жизнь.

— Но с другой стороны, — развивал свою мысль ясновидец, наклонив голову в другую сторону, словно обретая тем самым нужный угол зрения, — все это были непосредственные импульсы и, я бы сказал, лишь поводы для того, чтобы совершить решающий шаг. Если же смотреть на пациента Икс в свете общего итога его жизни, дело обстоит совсем иначе. Главным для него было не духовное достояние, а нечто более значительное и веское: его долг, от которого он когда-то уклонился, смирившись со своим поражением. Он не выполнил задачи, которая оказалась ему не под силу, выпустил ее из рук. С тех пор он жил бесплодной, призрачной, словно бы чужой жизнью. Можно было сказать, что он сбился с пути. В таких случаях говорят «трагическая вина»; это была и в самом деле его вина, хотя он не мог поступить иначе. И вот сейчас он возвращается сам или возвращен какой-то внутренней закономерностью на путь, с которого он сбился, ибо ему не было дано терпения и решимости пройти этот путь до конца. Возвращается человек, физически погибший, отравленный дурманом усталости, но возмужавший. Он познал страшный и неотвратимый императив жизни, ибо чувствует, что должен умереть. Круг замкнулся, и все неизбежное свершается.

— Значит, он хотел вернуться? — минуту спустя спросил хирург.

— Да. Но прежде ему пришлось продать имущество и привести в порядок дела. И чем дальше задерживали его внешние помехи, тем острее нарастало нетерпение,

С каждым днем нарастала его поспешность, становилась все судорожнее. Он был вне себя, охваченный манией возвращения, каждая минута терзала его. В конце концов, бросив все на произвол судьбы, он помчался домой, домой, туда, откуда он когда-то уехал...

— На пароходе? — спросил хирург.

— Не знаю. Но если бы даже он мчался со скоростью света — и это казалось бы ему невыносимо медленным, он стискивал бы кулаки в неистовом нетерпении. Да, его возвращение было таким же стремительным и безудержным, как его головокружительное падение.

— Я справлялся с картой, — заметил хирург. — Он мог лететь в Европу через Флориду и Канаду. Или через порт Натал и Дакар. Но чистая случайность, что он смог нанять самолет.

— Случайность! — проворчал ясновидец. — Случайностей не бывает. Он должен был спешить. Он оставил за собой огненный след, как метеор.

— А почему он потерпел аварию?

— Потому что был уже дома. — Ясновидец поднял глаза. — Дома он должен был погибнуть, поймите. Довольно и того, что он вернулся.

XVIII

Что делать, что делать, если сердце так быстро слабеет! Оно бьется все чаще и чаще, кровяное давление падает. Скоро это изношенное сердце остановится, как бы захлебнувшись... и конец. Конец пациенту Икс... А кто это поставил букетик около его постели?

— Теперь ведь есть новая вакцина против желтой лихорадки, — говорит знаменитый терапевт. — Но только откуда ее взять?.. Впрочем, он умрет от сердечной недостаточности, тут уж ничего не поделаешь.

Сестра милосердия перекрестилась.

— Этот ваш ясновидец — изрядный психопат, — продолжал старик-корифей, присев на край постели. — Но чередование жажды одиночества и тревожной непоседливости он описал очень интересно. Налицо картина циклического депрессивного психоза у субъекта с неуравновешенной психикой. Это проливает свет на историю пациента Икс.

— А много ли мы о нем знаем?.. — Хирург пожал плечами.

— Все же кое-что знаем, коллега, — возразил терапевт. — Его тело уже говорит о многом. Известно, например, что он долго жил в тропиках, он родился не там: ведь он болел разными тропическими болезнями, стало быть, не акклиматизировался. Зачем же, скажите пожалуйста, он полез в такие гиблые места?

— Не знаю, — проворчал хирург. — Я не ясновидец.

— Я тоже нет, но я врач, — не без колкости отозвался старик. — Учтите, он был невропат-циклотимик, человек с раздвоенной неустойчивой психикой, легко поддающийся депрессии...

— Это вам наболтал ваш вещун? — усмехнулся хирург.

— Да. Но пателлярные рефлексы говорят то же самое. Гм, что же я хотел сказать? Ну вот, такой циклотимии легко вступает в конфликт со средой или со своим занятием. Бессильный превозмочь отвращение ко всему, он сжигает мосты и спасается бегством. Будь он физически слабее, он, может, и примирился бы с неудачей. Но этот тип богатырского сложения, вы заметили?

— Конечно.

— Реакции у него должны быть чрезвычайно бурные, прямо вулканические. Мне, врачу, не следовало бы этого говорить, но для многих людей физическая слабость — нечто вроде тонких и спасительных пут: слабые люди инстинктивно притормаживают свои реакции, боясь надорваться. А этому нечего было остерегаться, и потому он отважился на прыжок... прямо в Вест-Индию, а?

— Он был моряком, — напомнил хирург.

— Это тоже свидетельствует о навязчивой идее скитания, не так ли? Как вы сами отметили, у него тело интеллигентного человека. Пациент Икс не родился бродягой и если стал матросом или авантюристом, то после какого-то тяжелого жизненного перелома. Что это был за конфликт? Каков бы он ни был, он обусловлен его конституцией.

Терапевт наклонился над сфигмометром, укрепленным на руке больного.

— Плохо дело, — вздохнул он. — Давление падает. Уже недолго. — Он потер себе лоб и жалостливо поглядел на неподвижное, слабо и прерывисто дышащее тело. —

Удивительно: в колониях есть хорошие врачи, как же они допустили, чтобы его тело так изъела фрамбозия? Вероятно, врачи были очень далеко. А может быть, его пользовал негритянский колдун на Гаити или еще где-нибудь. М-да, голубчик, он жил далеко от цивилизации.

Старик громко высморкался и аккуратно сложил платок.

— Его жизнь?.. В ней нам теперь кое-что ясно.

Он задумчиво покачал головой.

— Он пил, не мог не напиваться до бесчувствия. Представьте себе, в тамошнем климате, при такой нестерпимой жаре... Это была не жизнь, а умопомрачение и затемнение чувств, непрерывный бред.

— Больше всего меня интересует, почему он вернулся, — сказал хирург в приливе необычной для него общительности. — Почему, собственно, он возвращался... с такой лихорадочной поспешностью? Лететь в эдакую бурю, словно нельзя было подождать... И потом желтая лихорадка... Значит, за четыре-пять дней до аварии он еще был там, в тропиках, не так ли? Значит... право, я не знаю... он должен был буквально перепрыгивать с самолета на самолет. Странно! Я все думаю, какая же необыкновенно важная была у него причина — так спешить. И — трах — он разбился в этой гонке!..

Старый врач поднял голову.

— Слушайте... он все равно был обречен. Даже если бы не разбился. Его песенка спета.

— Почему?

— Диабет, печень... а главное, сердце. Его все равно нельзя было спасти. Эх, коллега, это не пустяк — возвращаться домой. Такой далекий путь! — Старик встал. — Снимите с него сфигмометр, сестричка. Что ж, он вернулся и уже почти дома. Больше он не блуждает, теперь он на верном пути... Верно ведь, а, голубчик?

«Милый доктор, когда у вас найдется свободное время, прочтите эти странички. Скажу вам заранее: в них идет речь о человеке, который упал с неба. У вас в больнице его называют пациентом Икс. Вы советовали мне забыть о нем, но я не послушался, и вот результат — эта рукопись. Не будь он безыменным пациентом, знай вы о нем

хоть что-нибудь, мне бы, наверное, и в голову не пришло размышлять об этом человеке. Но его фатальное инкогнито не давало мне покоя. Из этого вы можете заключить, насколько случайны и поверхностны причины, которые будят нашу мысль.

Я думал все это время о нем, то есть сочинял его историю — один из тысячи рассказов, которые я никогда не опубликую. Скверная это привычка — смотреть на людей и на вещи как на материал для рассказа. Но стоит только ступить на этот путь — и пиши пропало: вы, как говорится, срываетесь с цепи, ничто не мешает вам выдумывать что угодно, ибо сфера возможного неисчерпаема, оно таится в каждом человеке, в каждом событии, оно беспредельно и радостно волнует своими просторами. Но лучше остановись! В каком бы направлении ты не двигался — ты поймешь, что по этому пути вымысла можно идти лишь уверенно, если проверять правильность каждого своего шага. В этом все дело! И вот ломай себе голову, какая из возможностей наиболее возможна и правдоподобна, подкрепи ее знаниями и доводами, обуздывай свою фантазию, чтобы она не сбилась с того таинственного и верного направления, который называется художественной правдой.

Какая нелепость — высасывать правду из пальца, выдумывать характеры и события, а потом относиться к ним, как к подливным. Выскажу вам сумасбродную метафизическую идею: самая вероятная возможность из всех *была бы действительностью.* Вот она, навязчивая идея всех фантастов: гоняться за действительностью в дебрях нереального. Если вы думаете, что нас удовлетворяет сочинение вымыслов, вы ошибаетесь. Наша мания еще чудовищнее: мы пытаемся создавать самую действительность.

Короче говоря: трое суток (включая сон и сновидения) меня мучила история одной жизни, которую я сам бессовестно выдумал — от начала до конца. Я не написал бы этого рассказа для читателей, как не написал многих других. Но чтобы избавиться от мыслей о нем... Кроме того, вы в какой-то мере создали моего героя из бинтов и ваты, и потому возвращаю его вам. Не говорю уже о том, что вы посоветовали мне пускать мыльные пузыри. Этот пузырь мог бы быть очень ярким. Но сдается мне, нынче слишком суровое время для того, чтобы завороженным взглядом созерцать яркие, изменчивые краски жизни...»

Хирург скептически прикинул, сколько страниц в рукописи. В этот момент отворилась дверь, и сестра молча кивнула головой, видимо, в сторону палаты номер шесть. Хирург отбросил рукопись и выскочил. Ага, значит, конец...

Он слегка нахмурился, увидев, что на постель пациента Икс присел молодой длинноволосый врач (эти терапевты скоро мне тут на голову сядут!) и щупает пульс у неподвижного тела. Миловидная сестра (тоже не из нашего отделения), видимо, новенькая, не сводит глаз с пышной шевелюры ассистента.

Хирург хотел оказать что-то не слишком любезное, но ассистент, который еще не видел его, поднял голову:

— Пульс не прощупывается. Поставьте здесь ширму, сестра.

РАССКАЗ ПИСАТЕЛЯ

XIX

Вспомним прежде всего происшествие, которое дает нам повод вернуться к ряду предыдущих событий. Чтобы реконструировать эту историю, волей-неволей приходится начать с конца.

Жарким ветреным днем разбился самолет. Пилот сгорел заживо, пассажир смертельно ранен и не приходит в сознание. Невольно представляешь себе, как окрестные жители сбегаются к горящим обломкам. Они возбуждены, как всякие очевидцы катастрофы, они замирают от ужаса и наперебой советуют, что предпринять, но никто не отваживается поднять бесчувственное тело, всех парализовали страх и физическое отвращение. Потом прибегают полицейские, и в общей сумятице возникает какое-то подобие порядка. Полицейские кричат на людей, одному велят сделать то, другому другое. Любопытно, что люди внешне неохотно, но с внутренним облегчением послушно выполняют эти распоряжения. Они бегут за пожарными, за доктором, вызывают машину «скорой помощи». Тем временем полицейские записывают свидетелей, а собравшиеся почтительно молчат и переминаются с ноги на ногу — ведь они присутствуют при официальной процедуре. Мне никогда не приходилось быть очевидцем такой катастрофы, но я захвачен ею, я тоже один из зрителей, я тоже со

всех ног, запыхавшись, бегу по меже, торопясь поглядеть, что случилось, но стараюсь не затоптать посевы (ведь я сельский житель). Я тоже ужасаюсь и даю советы, высказываю мнение, что летчик, наверно, не выключил мотора и надо, мол, было гасить песком... Все эти подробности я выдумал совсем бескорыстно и зря, потому что они не нужны мне ни для этого, ни для какого-либо другого сюжета, и я даже не смогу похвалиться знакомым, что был свидетелем крупной катастрофы. У вас, доктор, нет ни капли фантазии. Вы сказали только «бедняга», и этим вопрос был для вас исчерпан (помимо вашей чисто врачебной функции). Какая простая и правильная реакция! А я хватаюсь за страшные и мучительные подробности, расписываю их самому себе. Мне часто бывает стыдно, когда я вижу, как люди просто и по-человечески реагируют на разные жизненные события, которые для меня — лишь повод дать волю своей сумасбродной фантазии. Не знаю, что это у меня такое: непоседливая игра воображения или, наоборот, своеобразная и упрямая дотошность... Но, возвращаясь к нашему случаю, скажу, что я разукрасил это смертельное падение столькими гнетущими и невероятными подробностями, что теперь в стыде и раскаянии готов отказаться от всех внешних деталей и изобразить аварию самолета как падение архангела с перебитыми крыльями. Для вас все это проще, — вы скажете: «Бедняга», — и словно осените крестным знамением место происшествия.

Мой рассказ, возможно, кажется вам несколько сбивчивым. Фантазия сама по себе, по-видимому, аморальна и жестока, как ребенок: она увлекается ужасным и смешным. Как часто вел я своих вымышленных героев путями страдания и унижения лишь для того, чтобы острее жалеть их. Таковы мы, создатели вымысла: для того, чтобы прославить своего героя или воздать ему должное, мы прежде обрекаем его на тяжелый удел, возлагаем на его плечи безмерное бремя страданий и борьбы. Но разве не в этом смысл жизни? Если человек хочет доказать, что прожил жизнь не зря, он покачает головой и скажет: «Да, много мне довелось пережить!» Так вот, доктор, давайте разделим обязанности, вы будете из любви к человеку и по призванию врачевать его недуги и исправлять физические недостатки. А я из любви к человеку и тоже по призванию буду награждать его

лишениями и конфликтами и вкладывать персты в его раны, хоть у меня и нет целительного бальзама. Вы погладите шов, который отлично сросся, а я с трепетом измерю глубину раны, но в конце концов, может быть, окажется, что и я умеряю страдания, рассказывая, как они мучительны.

Итак, я стараюсь оправдать литературу за ее пристрастие к трагедии и к насмешке. Ведь и то и другое — это окольные пути, изобретенные фантазией для того, чтобы своими средствами, своими нереальными путями создавать иллюзию реальности. Действительность сама по себе не трагична и не смешна; она слишком серьезна и бесконечна, чтобы быть смешной или трагичной. Сочувствие и смех — это только наш отклик на события, происходящие вне нас. Вызовите любым способом в читателе такой отклик — и вы создадите у него впечатление, что вне нас произошло нечто подлинное; вымысел выглядит тем подлиннее, чем сильнее искусственно созданный им эмоциональный резонанс. Господи боже, каких только трюков и фокусов не изобретаем мы, творцы вымысла, для того чтобы покрепче встряхнуть очерствевшую читательскую душу!

Милый доктор, в вашей жизни серьезного и добросовестного врача остается не много места для сочувствия и смеха. Вы не будете с содроганием глядеть на человека, обливающегося кровью, вы сотрете кровь и окажете необходимую помощь. Вы не станете потешаться над смешным видом человека, облитого соусом, а, наоборот, посоветуете ему вытереться; в результате смолкнет хохот окружающих и инцидент будет исчерпан. Ну, а мы, писатели, придумываем происшествия, которых вы не можете отменить, в которые не можете практически вмешаться. Они непоправимы и неизменны, как история. Поэтому отбросьте книгу или отдайтесь во власть чувств, которыми она проникнута, и ищите за ними действительность, отвечающую этим чувствам.

А вот вам профессиональный вывод из сказанного: вступив на путь вымысла, я избираю события незаурядные, потрясающие. Я оцениваю фантазию, как мясник тушу: сенсация должна быть тучной, упитанной. Вот, например, авария самолета и гибель человека — ужас

и сумятица, мимо которых нельзя пройти равнодушно. Боже, какой безнадежный хаос! Что делать с этими поломанными крыльями и упорами, как собрать и скрепить их, чтобы самолет взлетел хоть еще раз, подобно бумажному змею на веревке, конец которой у меня в руке? На все это можно только глядеть, затаив дыхание от страха, или вздохнуть и сказать серьезно и сочувственно, как сказал один порядочный человек: «Бедняга!»

XX

О фантазии говорят, что она блуждает. Может быть, иной раз это и так (только не в художественной литературе), но гораздо чаще фантазия бежит, чуткая и внимательная, словно охотничий пес, вынюхивая свежий след. Она сопит от усердия, рвется с поводка и тянет нас то туда, то сюда. Вы охотник и знаете, что собака, идущая по следу, как бы ни был извилист ее путь, не блуждает, а держится его упорно и настойчиво. Должен вам сказать, что правильно натренированная фантазия не имеет ничего общего с неопределенным мечтательством. Она работает, и притом весьма ревностно и целеустремленно. Правда, иной раз ей приходится остановиться или бежать зигзагами, но лишь затем, чтобы убедиться, что это не то направление, которое ей нужно. Куда ты спешишь, неугомонная собачка, за чем гонишься, где твоя цель? Цель? Какая цель? Я бегу за кем-то живым и еще не знаю, где его настигну.

Поверьте мне, писать роман — занятие, больше похожее на охоту, чем, например, на постройку храма по готовым чертежам. До самого последнего момента нас подстерегают сюрпризы — мы попадаем в самые неожиданные места, но лишь потому, что в упоении неуклонно идем по горячему следу. Преследуя белого оленя, мы почти случайно, мимоходом открываем новые страны. Творчество — это приключение; и больше я не буду расхваливать это з а н я т и е, — довольно! Заблудиться невозможно, пока мы точно придерживаемся следа. Куда бы мы по нему ни шли — хоть на Стеклянную гору пли за огненным хвостом м е т е о р а, — направление избрано правильное, и, слава богу, мы не сбились с пути. Стоит ли говорить здесь о том, как худо писателю, если он собьется с пути; умол-

чим о недостойных и беспомощных попытках двигаться дальше, о бесславном возвращении, когда фантазия, как усталый и пристыженный пес, плетется за нами следом, вместо того чтобы бежать впереди...

Говоря по существу, к черту фантазию, она не нужна, она не помогает нам заглянуть дальше кончика собственного носа, если бока ее не вздрагивают, как у ретивого охотничьего пса. Пусть лучше она ляжет у ваших ног, если не чует еще незримого пути и не рвется, высунув язык, бежать по следу до самого конца. То, что называют т а л а н т о м, — это в большинстве случаев увлечение или одержимость, стремление преследовать что-то живое, гнаться за зверем, затерявшимся в просторах мира. Мир, дорогой мой, велик, его не объять нашим опытом, он состоит из горсточки фактов и космоса возможностей. Все, чего мы не знаем, — это возможность, а каждый отдельный факт — лишь звено в цепочке предшествующих и будущих возможностей. Ничего не поделаешь; если мы идем по следам человека, нужно пуститься в этот мир домысла, нужно вынюхивать все возможные шаги героя, прошлые и будущие, надо преследовать его своей фантазией, чтобы он предстал перед нами во всей своей пока еще не выявленной реальности. Совершенно неважно, взят он из жизни или целиком вымышлен. Он может быть Ариелем или коробейником, оба сотканы из чистого и бесконечного материала возможности, в которой содержится все, в том числе и подлинно сущее. То, что называется былью или героем, взятым из жизни, для нас лишь одна из тысяч возможностей, да еще, быть может, не самая закономерная и значительная. Всякая быль — это лишь наугад раскрытая страница или наугад прочтенное слово в сивиллиной Книге мудрости; мы же хотим знать больше.

Я пытаюсь объяснить вам, что, руководясь фантазией, мы переступаем рубеж бесконечности, выходим в мир, не ограниченный нашим опытом, лежащий за пределами познания, содержащий неизмеримо больше того, что нам известно. И скажу вам, что мы ни за что не отважились бы вступить в эти беспредельные края, если бы не ворвались туда совсем случайно и внезапно, в стремительной погоне за чем-то ускользающим от нас. Если бы бес-искуситель шептал нам: «Ну-ка, придумай что-нибудь несуществующее», — мы бы смутились и отказались от столь пустого

и бессмысленного занятия. Нам было бы страшно пуститься без цели в неизвестном направлении по этому Mare tenebrarum [1]. Зададимся же вопросом: какой смысл человеку, который не хочет, чтобы его считали безумцем или обманщиком, выдумывать что-то несуществующее? Есть только один ответ, к счастью, ясный и несомненный: оставьте его в покое — он не может иначе. Он поступает так не по своей воле, его тянет, как на аркане, он гонится за чем-то, и его извилистый путь — это путь необходимости. А что такое необходимость, спросите не его, а бога.

Почему, спрашивается, мое внимание так занимает человек, упавший с неба? Почему именно он, а не Ариэль и не Гекуба? Что мне Гекуба! Но ведь может случиться и так, что на некоторое время для меня не будет ничего более важного в мире, чем Гекуба, что я стану единоборствовать с ней, пока она не благословит меня, как ангел Иакова. И милостью судьбы мне будет суждено найти в своей душе жизнь и страдания этой старой, опухшей от слез женщины. А впрочем, бог с ней, с Гекубой! Быть может, я лишь по легкомыслию не уделяю ей должного внимания, но, как я уже сказал, сейчас меня занимает человек, который не долетел до своей цели. И виноваты в этом, по-моему, вы; вы сказали со своей обычной деловитостью: «А какого черта он летел в такую бурю?» Да, вот именно, какого черта? Черт побери, какого черта? Тысяча чертей, какого черта он летел в такую бурю? Какая неотложная, неотвратимая причина заставила его предпринять этот безрассудный полет? Тут есть чему удивиться и о чем поразмыслить. Да, человек может случайно погибнуть при катастрофе. Но если он летит всему наперекор, это уже не случайность. Ясно, что по каким-то причинам он *должен был* лететь. Вот тут, над этими обломками, похожими на груду поломанных игрушек, завершилось крупное событие, в котором слились случайность и необходимость. Необходимость и случайность — две опоры треножника, на котором восседает Пифия. Третья опора — это тайна.

Вы показали мне этого человека без лица и без имени — человека без сознания. Сознание — последний пас-

---

[1] Море мрака (*лат.*).

порт жизни; у кого его нет, тот поистине Неизвестный в самом строгом и мрачном смысле этого слова. Когда вы стояли над постелью пациента Икс, не мучила ли вас мысль, что мы обязаны установить его личность, что это наш нравственный долг перед ним? Мучила, я видел это по вашим глазам! «Хоть бы узнать, кто он такой и куда спешил, тогда можно было бы сообщить его близким, что он здесь, и этим выполнить долг гуманности». Я не так гуманен, как вы, я не думал о его делах, меня обуял азарт следопыта. И теперь меня не удержит никто и ничто. Счастливо оставаться, а я отправляюсь по следу! Но поскольку он Неизвестный, я выдумаю его, начну искать в его возможностях. Вы спрашиваете, какое мне до него дело? Если бы я это знал! Знаю только одно — сейчас я одержим мыслью о нем.

XXI

Я сказал «азарт следопыта» и убеждаюсь, что это верно. Возник этот азарт чисто случайно и благодаря такому пустяковому обстоятельству, что просто стыдно сознаться. Когда пострадавшего привезли к вам, вы сказали, что его документы, видимо, сгорели, а в карманах нашлась лишь пригоршня монет: французских, английских, американских и голландских. Меня поразила такая коллекция. Правда, можно было предположить, что человек побывал во всех этих странах и потому в его карманах осталась неизрасходованная мелочь. Но сам я, путешествуя, всегда стараюсь на границе избавиться от мелких монет страны, которую покидаю: во-первых, потому что их уже больше не обменяешь, во-вторых, для того, чтобы они не путались с другими. Мне пришло в голову, что для нашего Икса все это, видимо, была привычная мелочь и он жил в странах, где она постоянно в ходу. Ага, сказал я себе, Антильские острова, Пуэрто-Рико, Мартиника, Барбадос и Кюрасао, — таковы американские, британские, голландские и французские колонии с валютой метрополий.

Психологически мотивируя этот скачок моей мысли от пригоршни монет к Вест-Индии, я вспоминаю, что:

1. В тот день дул сильный ветер, который напомнил мне ураган: ассоциация с Подветренными островами в знаменитыми циклонами Карибского моря.

2. Я был расстроен, зол на себя, недоволен собой и своей работой. Мысли мои блуждали, меня тянуло куда-то, я тосковал о далеких экзотических странах: для меня это обычно Куба — остров моих грез.

3. Навязчивая, с оттенком зависти мысль о том, что пострадавший прилетел откуда-то издалека. Отсюда невольная связь моего плохого настроения с происшедшим событием.

4. И наконец само происшествие — авария самолета, сенсация, вызывающая почти приятное волнение и одновременно желание разукрасить ее романтическим домыслом. Характерно, что катастрофы с человеческими жертвами особенно действуют на нашу фантазию.

Все это предопределило мою — сейчас я вижу, что весьма шаткую, — гипотезу: судя по пригоршне монет, путешественник прилетел из Вест-Индии. Но в тот момент я был просто в восторге от своей проницательности и считал ясным как день, что потерпевший жил на Антильских островах. Я был взволнован и очень доволен собой. Когда вы вели меня к постели пациента Икс, я шел в полной уверенности, что иду поглядеть на пришельца с островов моей мечты. Я не сказал вам о своем открытии, опасаясь, что вы пренебрежительно хмыкните, — есть у вас такая скверная привычка. Мне не хотелось, чтобы вы брали под сомнение гипотезу, которой я был прямо-таки покорен.

Пострадавший оказался в беспамятстве и производил жуткое впечатление. Его нечеловеческий вид, эти бинты, загадочность, которую они ему придавали, надев на него маску молчания и неизвестности... Но главным для меня было то, что он с Антильских островов, что это человек, который побывал *там.* Это оказалось решающим. С той минуты он стал *моим* героем Икс, судьбу которого мне нужно было разгадать. И я пустился по его следу. Это был, друг мой, долгий и извилистый путь.

Да, теперь я уже разобрался во всем. Сейчас мне ясно: то, что я считал остроумным и достоверным умозаключением, строго говоря, было просто полюбившейся мне фантазией. Поэтому я уже не напишу рассказа о пациенте Икс. Ведь могло бы оказаться, а может быть, уже и оказалось, что этот человек всего лишь коммивояжер из Галля или заурядный американец, внушивший себе, что

такой энергичный коммерсант, как он, не может ждать сутки, пока уляжется непогода. Какое убожество! Я могу сочинить что угодно, но с условием, что сам поверю в это. Если во мне подорвана вера в то, что так могло быть, мои вымыслы представляются мне жалким мальчишеским дилетантством.

Ну, вот и отбой, глупая, ретивая собачка! Зря ты принюхивалась к опавшей листве, притворяясь, что напала на след. Следа нет, или ты давно потеряла его на перепутьях возможностей. Ты еще делаешь вид, что идешь по следу, потому что собаки самолюбивы, еще фыркаешь около каждой мышиной норы и стараешься уверить меня, что ее-то мы и искали. Ну, оставь, оставь, это совсем не то. Ты смотришь на меня преданными глазами, словно говоря: «Разве я виновата. Ты хозяин, ты и приказывай, куда мне идти, покажи, что тебе надо». И вот я должен сам искать дорогу, должен искать *мотивы,* которые ведут меня именно туда, а не в другое место. О, господи, причины, мотивировки, правдоподобие, вероятие, до чего ж не везет! Вот и пес уже не верит ни себе, ни мне и не понимает, чего я от него хочу. «Здесь? Это? Или что-то другое?» И мы оба возвращаемся ни с чем. Каким одиноким чувствует себя человек, когда ему не везет.

Скажу вам вот что: если вы хотите увидеть, как сделан рассказ, нужно, чтобы он рассыпался у вас на глазах. Пока перед нами цельное, живое повествование, вы, в упоении работой, готовы поклясться, что в нем — сама жизнь, никакой литературщины: мной руководит только вдохновение, я пишу по интуиции, сам не знаю как. Только когда рассказ расползется у вас по швам, вы увидите, как вы его *делали,* как хитроумно и исподтишка понукали свое воображение. Боже, чего тут только нет! Отовсюду торчат рассудочные доводы и обдуманные конструкции. Какое же это хитроумное сооружение! Все, почти все рассудочно, сплошной расчет и логические построения, а я-то воображал, что все написанное приходило ко мне само собой, по наитию, словно сон наяву... Оказывается, это плод размышлений, порождение прямо-таки конструкторского ума. Это он пробует, проверяет, взвешивает и предусматривает. Сейчас, когда творение мертво и разобрано на части, видны все эти пружинки и винтики, весь расчет, вся бескрылая кропотливость умозрительного сочинительства.

Поломанная машина, скажу я вам, страшна, как загубленная жизнь, от нее так же веет опустошением и гибелью. Но уныние, которое вызывает рассыпавшийся рассказ, куда больше, чем досада из-за любой другой неудачной работы. Разве вы не понимаете, что под его обломками похоронена судьба человека? Подумаешь, скажете вы, ведь это был лишь вымысел, только россказни, придуманные для того, чтобы скоротать время. Эх, мой друг, как ни странно, но дело обстоит не так-то просто: нельзя сказать наверняка, что эта судьба только придумана. Погляжу на нее, и чудится мне, что это была *моя собственная* судьба. Это я сам. Я видел море, я получил тот поцелуй, я слышал вздох в полумраке. Мой герой сидел у маяка на Хоэ, потому что я сидел у маяка на Хоэ. А если он жил на Барбадосе или Барбуде, значит, мне, слава богу, удалось побывать и там. Все это — я. Я ничего не выдумывал, я только говорил о том, кто я такой и что во мне происходит. И если бы я даже писал о Гекубе или вавилонской блуднице, все равно это был бы я сам. Я был бы плачущей старухой, которая, причитая, царапает себе груди, похожие на пустые мешочки, был бы женщиной, которую терзает развратный ассириец, человек с волосатыми руками и умащенной благовониями бородой. Да, я был бы и мужчиной, и женщиной, и ребенком. Знайте же, что это я; и человек, который не долетел до цели, это я тоже!

XXII

Ну, хватит предисловий, теперь мы можем странствовать путями, на которых возникал наш рассказ. Мы знаем, что *дан* человек, который не долетел до цели, и в его падении трагически сочетались случайность и необходимость. Итак, даны случайность и необходимость. Больше мы ничего не знаем, стало быть, примем их за исходный пункт, либо за след, по которому надо идти. Попытаемся воссоздать эту индивидуальную судьбу, исходя из двух основных факторов — случайности и необходимости, так, чтобы конечная гибель человека была обусловлена ими закономерно и убедительно.

Согласитесь, что такое начало многообещающе. Случайность сулит нам свободный полет фантазии. Причуд-

ливый и непостижимый случай — это рог изобилия, из которого сыплются возможности, это волшебный ковер-самолет. Какой это изменчивый и прихотливый материал для писателя, легкий, пестрый и неповторимый, мягко ложащийся таинственными складками материал, из которого можно создать что угодно; это крылья, которые донесут нас в любой конец света. Что может быть романтичнее случая? Ему противостоит необходимость, судьба, скрытая под личиной неизбежности, сила, постоянная и неизменная. Необходимость — это строй и порядок, она прекрасна, как колоннада, и незыблема, как закон.

Да, так оно и есть, именно в этом дело. Случайности мне и недостает! Случай может бог весть куда унести нерешительного домоседа, которого так трудно оторвать от стола. Случай, полный стремительных приключений, случай — этот сумасбродный ветрогон, закружит и увлечет меня... Стареем мы, приятель, и жизнь становится для пас скучной привычкой! Ладно, ну, а другой фактор, другая сила, категоричная и неоспоримая? Хотел бы я подчинить всю свою жизнь необходимости наконец твердо и бесповоротно увериться, что всеми своими поступками я выполняю некое предопределение; слава богу, я совершил именно то, что мне суждено. Так вот оно что — человек, чью судьбу определяют необходимость и случайность, — это я сам! Я пойду путями заблуждений и неизбежности и заплачу за это всеми страданиями, какие только сумею изобрести. Ибо такое паломничество — не увеселительная прогулка...

Итак, во славу божью, возьмемся за дело. А если мы не будем знать, как поступить дальше, да помогут нам необходимость или случай. С чего же начать? Каковы будут мои первые слова о человеке с Антильских островов? Начнем с самого начала: «Жил мальчик, у которого но было матери...»

Плохо! Так ничего не выйдет. Ведь у пациента Икс нет ни лица, ни имени, значит, у него нет личности, он Неизвестный. Если же мы дадим ему дом и семью, мы будем знать его, как говорится, с пеленок. Оп перестанет быть неизвестным, утратит свой главный и самый выразительный признак. Чтобы остаться самим собой, он должен сохранить инкогнито. Да будет же он человеком без происхождения и без документов. Давайте соблюдать принятое условие, держаться того, что дано. Он упал

к нам с высоты, и это характерно для него. Надо, чтобы к в нашей повести он как-то «свалился с неба», чтобы появился в ней внезапно бог знает откуда, как порождение случая, вполне сложившийся и совершенно неизвестный.

Итак, у нас есть персонаж, и он уже появился на месте действия. Место определено заранее: это остров Куба. Это мог быть любой остров Антильского архипелага, любое место в мире, лишь бы оно было достаточно отдаленно. Отдаленность дана тем, что он летел неизвестно откуда. Это далекие и экзотические края именно потому, что они нам неведомы. Деньги, найденные у него в карманах, позволяют предположить, что это Антильские острова. Правда, есть и другие страны, где соседствуют американские, британские, французские и голландские владения, — это берега моря, которое омывает Филиппины, Аннам, Сингапур и Суматру, и ничто не исключает такой возможности. Мне пришлось выбирать, и я, по чисто личным мотивам, выбрал Антильские острова: я уже говорил вам, что в них для меня таится особое очарование. Именно туда меня всегда тянуло *убежать*. Наверное, я никогда не попаду туда, но этот край живет в моей душе ярче, чем страны, где я побывал.

Таковы исходные данные нашего повествования, остается определить его terminus ad quem [1]. Разумеется, это падение человека, не долетевшего до места назначения. Но тут возникает важный вопрос: летел он в какое-то новое место или возвращался домой? Нам известно одно: он страшно спешил и летел в бурю. Можно считать, что, когда человек едет в чужие края, в новую, незнакомую обстановку, он обычно колеблется, даже опасается, и это как-то сдерживает его. И наоборот, человек, возвращающийся домой, нетерпелив: для него важна только цель, а дорога, которая ведет к ней, досадная помеха. Я сказал бы, что наш человек очень спешил именно потому, что возвращался, и я принимаю эту правдоподобную гипотезу, как факт. Не говорю уже о том, что *улетать* можно во всех направлениях розы ветров, ибо возможности выбора неограничены, а *возвращаясь,* можно лететь только в одно единственно мыслимое место, к цели, определенной в самом начале пути, к цели, необходимой

---

[1] конечная цель (*лат.*).

и неизменной. Обратный путь всегда определен точно. Итак, вот он, конец нашей повести, а теперь можно перейти к началу.

Начало ее туманно и неясно, как случайность. Дело происходит где-то на Кубе, среди живых изгородей бугенвилеи. За кем-то гонятся, слышны револьверные выстрелы, и на дороге, похожей на Млечный Путь, остается лежать Неизвестный. Он ранен в шею. Ранен широким ножом для сахарного тростника...

Дочитав до этого места, хирург недовольно фыркнул и бросил рукопись на стол. Чушь! Ведь у пациента Икс нет шрама на шее. Есть только шрам над правым соском, но и эта рана была нанесена не широким ножом, а тонким кинжалом. Поверхностное ранение: оружие наткнулось на ребро.

XXIII

Итак, где-то на Кубе среди живых изгородей бугенвилеи... За кем-то гонятся, хлопают револьверные выстрелы, и на дороге, похожей на Млечный Путь, остается лежать Неизвестный. Он ранен в шею, ранен широким ножом для сахарного тростника. Метрах в десяти лежит еще какой-то человек, руки и ноги у него широко раскинуты, как у марионетки. Он мертв.

Над раненым склонились трое мужчин и тихо чертыхаются. А он уже поднимается на ноги, бормоча: «Ч-чего вам надо? Н-не лезьте ко мне!» Он трогает свою шею, удивленно кривит рот, заметив кровь, и переводит взгляд с окровавленной ладони на трех незнакомцев. Мать честная, да он же пьян в доску!

— И на кой черт ввязался этот осел! — сердится один из троих и чешет в затылке. — Que mierda! [1] Отнесите его в дом, ребята.

Раненого хватают за руки и за ноги и, шаркая башмаками, волокут его по дороге, как мешок кукурузы, оставляя след на пыльной дороге. Пеоны, пыхтя, тащат этого бродягу по «Млечному Пути»: протрясись, протрясись, проклятый, так тебе и надо.

---

[1] Экое дерьмо! (*исп.*)

Его кладут за дверью, и какая-то старуха светит ему в лицо фонарем и поминает всех святых, а хозяин дома — воротила, судя по злой, багровой физиономии и свирепым бровям, — наклоняется и говорит:

— Что за свинью вы сюда принесли?

Тот, кто чесал затылок, подмигивает человеку с косматыми бровями.

— Чтобы он не удрал, ваша милость. Когда тот кабальеро вышел отсюда, мы услышали выстрелы и выбежали поглядеть, что случилось. Там лежал вот этот даго, в руке у него был револьвер. Неподалеку валялся тот бедняга. Мертвый, бог его прости!

Двое других слушали, разинув рты, и, видимо, хотели возразить. Хозяин вопросительно поднял брови.

— Вы уверены, что он мертв?

Долговязый пеон перекрестился.

— Загнулся, ваша милость! Не меньше трех пуль получил в затылок... А в руке у него был нож. Видно, защищался, когда напал этот бандит. Убийца хотел удрать, но тут мы его и схватили. Вы свидетели, ребята, а? Ну-ка, подайте голос!

Только теперь те двое смекнули, в чем дело, и их лица расплылись в широкой улыбке: да, да, ваша милость, бог свидетель, так все и было, святая правда. Он застрелил того кабальеро и хотел дать тягу. А в руке у него был пистолет...

— Надо вызвать полицию, пусть заберет его, — предложил долговязый и вопросительно посмотрел на хозяина.

Тот гладил свой сизый подбородок и хмуро размышлял.

— Нет, Педро (или Сальвадор, имя я не выбрал), лучше не надо. Если бы полиция искала его... другое дело. — Он пожал плечами. — А зря я его не выдам. Это было бы непорядочно. Заприте его где-нибудь в сарае и дайте ему спиртного.

Верзила развел руками.

— Ваша милость, он и так пьян в доску.

— Дайте ему выпить, — нетерпеливо повторил хозяин. — И пока что не болтайте о нем попусту, понятно?

— Понятно, ваша милость, желаем покойной ночи... Налейте ему, ребята, рому в глотку, пусть совсем обалдеет. Что делать такому бродяге около дома нашего хо-

зяина, зачем ему совать нос в чужие дела? Он, правда, не похож на метиса, но все равно, один черт. Какой-нибудь голландец или бродяга-янки, судя по тому, как он опустился. Буль, буль, еще... влейте в него еще малость рому, пусть-ка хлебнет, выбьем из него последние остатки памяти!

Дело кончилось белой горячкой. Незнакомца трясло сильнее, чем в лихорадке. Старуха, что стояла над ним с фонарем, подает ему воду в простом глиняном кувшине и прикладывает компрессы ко лбу и щекам. Человек не приходит в сознание. (Мотив беспамятства вначале и в конце — круг замыкается.) Старуха полуиндианка, родом откуда-то из Мексики, у нее сухое лошадиное лицо, грустные глаза мигают озабоченно и сочувственно.

— Бедняга, — шепчет она и обматывает ему голову влажными тряпками, потом садится на корточки и сидит, мигая — хлоп, хлоп, хлоп, кажется, что вода падает на кирпичный пол.

Тридцать шесть часов длится беспамятство или сон. Человек лежит без сознания, с мокрыми тряпками на голове и не приходит в себя. Иногда появляется верзила-пеон и пинает его ногой. Эй, вставай, собачья падаль!

— Надо бы, сударь, ночью вынести его и положить где-нибудь. Пусть, бог меня прости, черти его возьмут и уволокут в преисподнюю.

Хозяин качает головой. Как бы не так! Не черти его заберут, а полиция, и она будет ждать, пока он заговорит. Нет, нет, когда он придет в себя, я с ним сам потолкую. Там будет видно.

Наконец Неизвестный шевелит рукой, хочет провести ею по лбу. Голова у него окутана тряпками, но даже когда он снимает их, на лбу чувствуется что-то постороннее, странное, чего никак не стереть...

Человек садится и крепко трет себе лоб.

— Позовите хозяина. Хозяин хотел поговорить с ним.

Бровастый хозяин (судя по всему, важная шишка) испытующе смотрит на оборванца. «Нет, по-видимому, этот человек не испанец, — думает он, — испанец заботился бы об обуви. Испанец, будь он даже в лохмотьях, обувь начистит до блеска».

— Como va? [1]

— Muchas gracias, señor [2].

— Yanqui [3].

— Yes, sir... No, sir [4].

— Как ваше имя?

Человек трет себе лоб.

— Не знаю, сударь.

Кубинец сердито засопел.

— А как вы сюда попали?

— Не знаю, сударь. Я был пьян, да?

— У вас нашли револьвер, — атакует его хозяин.

Человек качает головой.

— Не знаю, ничего не знаю. Не могу вспомнить... — Лицо у него скривилось от досады и от напряжения. Он встал и сделал несколько шагов. — Нет... я не пьян. Вот только голова... словно стянута обручем. — Он пошарил по карманам. Кубинец подал ему сигарету. Бродяга кивнул: «gracias», словно это само собой разумеется. Не-ет, он не какой-нибудь забулдыга из порта. Как хотите, в нем виден джентльмен. Взять хотя бы руки: грязные, просто срам, но как он держит сигарету! Короче — кабальеро.

Кубинец насупился. С бродягой было бы проще. Если дело дойдет до суда, какой судья поверит нищему?

Человек жадно курил и думал.

— Ничего не могу вспомнить, — сказал он и улыбнулся. — Странное чувство: голова ясная, но совсем пустая. Как выбеленная комната, где кто-нибудь должен поселиться.

— Может быть, вы вспомните, чем занимались! — подсказывает ему кубинец.

Человек взглянул на свои руки и одежду.

— Не знаю, сударь. Но судя по тому, какой у меня вид... — Дымящейся сигаретой он начертил в воздухе какую-то закорючку, похожую на нуль, — Ничего не помню, — произнес он равнодушно. — Мне ничего не приходит в голову. Может быть, вспомню потом...

---

[1] Как дела? (*исп.*).
[2] Спасибо, сеньор (*исп.*).
[3] Янки (*англ.*).
[4] Да, сэр... Нет, сэр (*англ.*).

Кубинец смотрел на него подозрительным, пристальным взглядом. Невыразительное, чуть одутловатое, почти веселое лицо незнакомца выражало нечто вроде облегчения.

XXIV

Ну конечно! Еще одна повесть о человеке, потерявшем память, еще одна литературная амнезия, которой мы обязаны столькими романтичными и трогательными историями. Вместе с вами, доктор, я пожимаю плечами над такой заурядной формулой, но ничего не могу поделать: если уж мой герой должен остаться Неизвестным, нужно отнять у него личность, отобрать документы, спороть монограммы с его одежды, а главное, главное, сударь, лишить его памяти, ибо память — это материал, из которого соткано ваше «я». Изгладьте все, что есть в вашей памяти, и вы станете человеком, который упал с неба, пришел невесть откуда и не знает, куда держит путь. Вы станете пациентом Икс. Человек, утративший память, подобен человеку без сознания. Пусть даже его мозг продолжает нормально функционировать, человек покинул почву действительности и живет вне ее. Знайте, что без памяти для нас не существовало бы действительности.

Вы, как медик, конечно, отметили про себя, что в данном случае потеря памяти произошла после острого отравления алкоголем и шока в результате ночного инцидента. Человек ударился головой о землю, и вот, пожалуйста! С медицинской точки зрения вполне допустимо, что результатом была психическая травма. Налицо, стало быть, фактор случайности, и мы считаемся с ним. И все же это слишком важное обстоятельство, чтобы предоставить его воле случая. Нас может удовлетворить лишь причинная связь. Пациенту Икс была нанесена душевная травма, и он утратил память, не мог не утратить ее по причинам, таившимся в нем самом: для него это был единственный путь, единственный выход, чтобы разрешить внутренний конфликт. Это было как бы бегство в другую жизнь. Как произошло это бегство, вы прочтете ниже, а сейчас я хочу предупредить вас, что в основе всего происшедшего лежала не простая случайность, а причины глубокие и закономерные.

Возможно, однако, что потеря личности вообще отвечает естественным чаяниям человека. Утратить память — это ведь все равно что начать новую жизнь; перестать быть тем, чем мы были. Это, друг мой, уже какое-то раскрепощение. Вам, наверное, доводилось попадать в совершенно чужую страну, где вы не могли договориться ни с помощью слов, ни с помощью денег? Вы не утрачивали там своей личности, но какой вам был от нее прок? Образование, социальное положение, имя и все прочее, из чего складывается наше гражданское «я», были вам не нужны. Вы стали всего лишь безвестным человеком на улице чужого города. Вы, может быть, вспомните, что воспринимали тогда все окружающее с особой остротой и яркостью сновидения. Избавленный от всего наносного, вы стали просто человеком, у вас сохранилась лишь ваша внутренняя жизнь, у вас остались лишь глаза и сердце, лишь удивление, беспомощность и покорность. Нет ничего более поэтичного, чем утрата собственного «я». Пациент Икс, который потерял самого себя настолько основательно, что даже не помнил, кто он, становится таким удивленным человеком. Жизнь будет проходить перед ним подобно миражу, все люди станут незнакомцами, все вещи новинками. И все это он будет видеть словно сквозь дымку воспоминаний: ему постоянно будет казаться, что все это он откуда-то уже знает, что это уже было в его жизни... Но когда, о, господи боже, когда и где? Что бы он ни делал, он живет словно во сне; тщетно он старается уловить обрывки действительности в переменчивой череде явлений. Странно, каким невещественным кажется человеку мир, если все стерлось в памяти.

Одно обстоятельство надо, по-моему, объяснить. Это заинтересованность кубинца в пациенте Икс. Я не думаю, что он держал его в своем доме как интересный психологический феномен. Просто ему не внушал доверия этот случайный свидетель ночного убийства. Очевидно, хозяин сперва подозревал, что «утрата памяти» — лишь деликатная форма вымогательства: позаботьтесь, мол, обо мне как следует, и моя память останется затемненной; что было, то прошло, и я знать ничего не знаю. Но берегитесь, сударь, а вдруг память вернется ко мне. Впрочем, хозяин мог предполагать и другое. Сам Икс совершил что-нибудь противозаконное и предпочитает скрыть свою личность и на всякий случай иметь подтверждение, что

он невменяем. Поэтому хозяин был постоянно настороже и приглядывался к незнакомцу. И хотя кубинец сотни раз мог убедиться, что этот человек, несомненно, полностью утратил память, его не покидало опасение, что в один прекрасный день она вернется и Неизвестный заговорит. Поэтому лучше приручить его, тем более что — с каждым днем это становилось все заметнее — человек он вежливый и услужливый. «Да, да, не спорьте, уже одно его знание языков может пригодиться, ведь у нас, слава богу, широкие торговые связи от Каракаса до Тампико, приходится иметь дело с англичанами, французами, голландцами и с молодчиками из Штатов Северной Америки, которые, черт их подери, за всю свою жизнь не научатся говорить по-испански! А эти типы в Гамбурге тоже, видать, рассчитывают, что мы будем писать им на их языке...» — размышлял кубинец, жуя свою черную, толстую, как банан, сигару. Сигары ему делали тут же дома, он сам наблюдал за тем, как молодые мулатки скатывают табачные листья на своих округлых бедрах. Сигары он выбирал, поглядев на мулатку, вернее, на ее ноги: чем они длиннее, тем лучше сложена девчонка и тем лучше свернута сигара.

Вскоре хозяин заметил, что человек, которого он взял к себе в дом, умеет не только писать и говорить на разных языках, но и ругаться. А в дом частенько захаживали сомнительные коммерсанты, и кубинцу надоело, что они не понимают, когда он напрямик высказывает свое мнение о них. Хозяин обрадовался, что он сможет делать это с помощью пришельца, и предложил ему место. Теперь между ними, по мнению хозяина, должны были установиться вполне дружеские и почти честные отношения — нечто вроде договора двух мошенников. Кстати, чтобы не было недоразумений, поясним, что хозяин был уроженец и старожил Кубы, родом из Камагуэя (таких там называют «камагуэно») и в прошлом занимался скотоводством в саваннах; потом оказалось, что в нынешнее корыстолюбивое время мало быть повелителем стад и батраков. Тогда камагуэно, пожав плечами, занялся торговлей на манер старых и славных буканьеров, когда-то совершавших набеги на острова. Словом, este hombre [1], как он называл нашего героя, годился ему для переговоров

[1] тот человек (*исп.*).

на языке противника, чтобы соблюсти тем самым проформу учтивости, хотя единственной целью камагуэно было грабить и топить вражеские корабли. Людей себе надо подбирать, как подбирают племенных быков — придирчиво и не без проницательности: вот этот бык малость хромает, но, ручаюсь вам, сударь, он даст хорошее потомство... este hombre, правда, странный и рассеянный человек, однако кое-что умеет. И старый пират шел посоветоваться с женой. У нее пухли ноги, поэтому она вечно сидела где-то в задних комнатах и раскладывала карты. Пот, как вечные слезы, катился по ее одутловатому, морщинистому лицу. Никто никогда не видел ее, лишь изредка было слышно, как она басистым голосом отчитывала свою чернокожую служанку.

Кстати сказать, кубинец торговал не только сахаром, пиментом, мелассой и другими дарами благословенной природы Антильских островов. Главным его занятием были различные финансовые и ростовщические операции. Приходили разные типы, иной раз очень подозрительные, — черт его знает, какого только сброду не встретишь на этом свете! Один предлагал основать фирму для экспорта имбиря, ангостуры, мускатного ореха и малагетового перца где-то на Табаго. Другой уверял, что на Гаити есть залежи битума. Третий говорил, что надо организовать экспорт древесины: дерева кубави, твердого, как панцирь, пипири, которое никогда не гниет, Santa Maria или corkwood [1], которое легче коры алжирского дуба. Предлагали разбить какаовые, ванильные или сахарные плантации в таких-то и таких-то местах, где еще дешевы рабочие руки, или открыть производство крахмала из маниока, момбитового джема, вытяжки из коры квассии. Иные посетители прожили на островах целых три месяца и авторитетно толковали о том, что здесь можно торговать, что и где следовало бы устроить. Более опытные предлагали организовать вербовку рабочей силы, земельные спекуляции или акционерные общества под негласным покровительством властей. Старый камагуэно слушал, прищурив глаза, и жевал черную сигару. Из-за больной печени он был недоверчив и вспыльчив. Мало-помалу на всех островах — их тут господь бог разбросал видимо-невидимо — у него появились доли в разных

[1] пробковое дерево (*англ.*).

предприятиях, или собственные сахарные и какаовые плантации, сушильни, мельницы, перегонные установки; были у него и земельные участки в джунглях, которые приобрели его компаньоны, впоследствии сбежавшие или умершие от пьянства и лихорадки.

Сам камагуэно, страдая печенью и суставным ревматизмом, почти не выходил из дому, но много мелких пиратов, воров, морено [1] и плутоватых метисов возилось, хлопотало, шумело, бражничало и распутничало в его владениях, во всех концах этого дьявольского, экзотического края. Сюда, в прохладный белый дом, где во внутреннем дворике журчит зеленоватая вода в толедском фаянсе, почти не доносился шум внешнего мира. Случалось, правда, что в дом врывался вдруг изможденный, высохший, как стручок кассии, человек с горячечными глазами и кричал, что он разорен, что его обобрали. Но для таких случаев хозяин держал троих мосо [2], когда-то служивших у него пастухами в саваннах; они выкидывали пришельца за дверь. «Да, было времечко: едешь верхом, а кругом трава в человеческий рост. Впереди на холме стоит старое раскидистое дерево. Станешь в его тени и видишь на многие мили вокруг. Вон там волнуется трава — это пасутся мои стада... А нынче люди скандалят из-за жалких долларов, словно речь идет бог весть о каком важном деле. Такие же сволочи, как те, что превратили саванны в сахарные заводы, вместо черных быков развели здесь зебу, скотину горбатую и вялую, — она, мол, дешевле...»

Старый кубинец словно в удивлении поднимает мохнатые брови. «И такие люди думают, что я стану с ними церемониться. Да ведь все они чужестранцы, с какой же стати?..»

XXV

Странные карты выпали сегодня старой даме: пропасть денег и какая-то беда. Este hombre родом из богатой и знатной семьи... Вдобавок еще женщина, споры и письмо откуда-то. Насчет женщины — непонятно, ведь в доме никого нет, кроме нее самой, а мулатки, понятно, не в счет.

---

[1] парней (от *исп.* moreno).
[2] здесь: мулатов (от *исп.* mozo).

Неприлично сеньоре заниматься предсказаниями и тем самым знаться с нечистой силой; поэтому хозяйка позвала старую негритянку, которая с помощью страшно засаленных карт, рома и заклинаний умела разобраться во всем. Раскинув карты, морена затараторила так быстро, что старая сеньора половины не поняла. Словом, опять осталось неясно, что же сулит судьба. И на этот раз карты сказали о больших деньгах, дальней дороге, женщине и страшном несчастье, которое негритянка наглядно изобразила дикими жестами, указывая на пол... На полу ничего не было, только медленно полз какой-то жучок. В тот момент, когда чернокожая гадалка исступленно жестикулировала, он остановился, поджал ножки и прикинулся мертвым.

Так или иначе, но это было предостережение. И если кубинец пренебрег им, то и в этом проявилась высшая необходимость. Прежде всего он купил для este hombre документы человека, умершего в больнице. Надо же было дать ему какое-нибудь имя и личность. Este hombre не возражал против того, чтобы стать мистером Джорджем Кеттельрингом — очень подходящая фамилия, может быть и американской, и немецкой, и всякой другой, звучит солидно и правдоподобно. Джордж Кеттельринг так Джордж Кеттельринг. Никто не станет осведомляться, откуда он взялся, потому что он совсем не похож на новичка. В доме его называют «эль секретарио», что не означает ничего определенного. Главная его обязанность — переводы и корреспонденция. Когда новоявленный Кеттельринг впервые написал черновик, он вдруг смутился и уставился на свой почерк — видимо, напомнивший ему о чем-то глубоко личном, чего он никак не мог восстановить в памяти. Наверное, в линиях почерка отразилось его потерянное «я». С тех пор он писал только на машинке, слегка развлекаясь масштабами и сложностью торговых интересов своего принципала. «Слегка развлекаясь...» — правильно сказано! Шла ли речь о процентах с капитала, или о мелассе, о рентабельности табачных плантаций, или о коллективном договоре с цейлонскими кули на Тринидаде, о земельных участках в Сан-Доминго или на Мартинике, о сахарном заводе на Барбуде или торговой конторе в Порт-о-Пренсе, — для Кеттельринга это были не настоящие люди, имения, товары и деньги, а что-то вроде забавной игры, забавной тем, что они дале-

ки и нереальны, словно разговор шел об ипотеке на Альфе в созвездии Кентавра, об урожайности полей на Альголе или узкоколейке между Малой Медведицей и созвездием Арктура.

С торговой и общечеловеческой точки зрения не очень приятно, если секретарь взирает на дела, капиталовложения и закладные хозяина с такой астральной высоты. И старый камагуэно не раз недовольно поднимал брови, когда este hombre как-то странно и насмешливо усмехался, услышав новое имя. Конечно, человеку не по душе, если к его имуществу относятся несерьезно, словно это какой-то мираж. Но вскоре старый флибустьер заметил и в этом выгодную сторону: мистер Кеттельринг, не моргнув глазом, писал все, что угодно. Скажем, надо лишить кредита плантатора, который отчаянно надрывается где-то там на Мария-Галанте, уволить людей с работы, схватить кого-то за глотку. Иной раз даже у хозяина не поворачивался язык, и старик пыхтел и медлил, опасаясь возражений. Но este hombre знай стучал на машинке и с веселым любопытством поднимал глаза: ну что там дальше? Когда-то у камагуэно служил писарь, старик испанец. Тот с пеной у рта спорил с хозяином, когда приходилось писать подобные письма; плакал и убегал в слезах; возвращался пьяный и, сквернословя, садился за письма с видом человека, проклятого судьбой, понося свою мать, как последнюю шлюху.

Теперь все шло гладко, чертовски гладко. Прямо как по маслу. Старому кубинцу даже не по себе становилось от этого. Теперь уже не надо диктовать, достаточно пожать плечами над письмом фермера, у которого паразиты сожрали с а д ы , — мистер Кеттельринг сам напишет что полагается, и бедняга фермер может идти вешаться. Похоже, что у мистера Кеттельринга нет совести. Видно, она потеряна вместе с памятью...

Было еще одно обстоятельство, касавшееся именно памяти: Кеттельринг, как известно, полностью забыл свое прошлое, но зато мог похвастаться отличной новой памятью. Он чуть ли не наизусть помнил все письма, счета и контракты, которые прошли через его руки. Этому адресату мы месяц назад писали то-то и то-то. С этим контрагентом у нас такие-то договорные условия. Не человек, а живой архив! Пожевывая вечную сигару, камагуэно задумчиво разглядывал непостижимого мистера

Кеттельринга. Иногда он извлекал из сейфа, где-то в глубине дома, папку старых договоров и торговой переписки и говорил: «Прочтите это». Мистер Кеттельринг читал и принимал к сведению. Старый кубинец не очень-то любил такие новшества, как порядок в деловых бумагах. Кроме того, многие его сделки были такого сорта, что лучше но фиксировать их на бумаге. С некоторыми дельцами, такими же почтенными пиратами, как он сам, ему достаточно было выкурить сигару и обменяться рукопожатием. Но человек стареет и не знает, когда пробьет его последний час. И хозяин начал — правда, не без колебаний — посвящать Кеттельринга в свои дела и доверять их памяти «эль секретарио». Ручаюсь, он рассказывал не только о торговле. Речь заходила о прошлом края Камагуэй, о саваннах со стадами и родовитых помещиках тех времен, о скачках в Гаване, об утонченных людях высшего круга, о дамах в кринолинах... Знаете ли вы, что на Кубе в те поры было самое замкнутое и избранное светское общество в мире? Здесь жили только господа и рабы, — никакой мелюзги не было. Старая Куба, мистер Кеттельринг!

И старый сеньор, превозмогая ревматизм, показывал, как кабальеро кланялся даме и как низко приседала в реверансе дама, придерживая юбку обеими руками.

«Старинные танцы, чакона или дансон, — это вам не нынешние румбы и соны. Румбу плясали тогда только негры, она для всяких там похотливых морено и пардо, а истый кубинец, сударь, не стал бы себя так ронять. Это потом янки принесли нам негритянские нравы. — Глаза камагуэно вспыхнули. — Да и мулатки уже не те, что прежде! Какие у них были маленькие, круглые зады! Сейчас они испорчены примесью американской крови — широкая кость, señor mio [1], громадный рот, — только бы поорать. А прежде они ворковали, да, да, ворковали, когда их захватывало... — Старик машет рукой. — Нынче вообще слишком много кричат, это все от американцев. Прежде молчали больше, прежде все было солиднее...»

Мистер Кеттельринг слушает, прищурясь, с легкой рассеянной улыбкой, словно пустота в его душе заполняется картинами давнего рыцарского прошлого.

[1] сеньор мой (*исп.*).

XXVI

Но в общем ясно, что с Кеттельрингом не очень-то разговоришься. Казалось, он сторонится людей, словно опасаясь, что кто-нибудь узнает его и хлопнет по плечу: «Как поживаете, мистер Имярек». Когда Кеттельрингу хотелось выпить, он напивался крепко, но, конечно, в одиночку: шел в дансинг, куда ходят и colorados [1], сидел там, уставясь в заплеванный, усеянный окурками и фруктовыми косточками пол, и говорил сам с собой на первом попавшемся языке. Иной раз он произносил фразу, смысл которой потом сам долго старался угадать, словно сидел над обломком, выкинутым водами Леты. Но обычно он бывал слишком пьян, чтобы из глубин его подсознания всплыл образ, соответствующий этой фразе; он никогда не додумывался до смысла своих загадочных слов и только сонно покачивал головой, бормоча что-то, непонятное ему самому. Грохочут негритянские барабаны и тамтамы, звенят бубенчики и гитары, звучит неистовая, нервная, суетливая музыка, и под эту свистопляску звуков взвизгивает нагая танцовщица, хлопая себя по лоснящимся бокам; пищит тромбон и нежно поет скрипка... Ах, погладить бы гладкую спину и плечи, гибкую мягкую спину, в которую хочется вцепиться ногтями... Мистер Кеттельринг до боли стискивает кулаки и качает головой, но не поспевает за ритмом музыки. Куда там! Еще, пожалуй, оторвется голова и закатится куда-нибудь в угол. И зачем эти музыканты так подпрыгивают... Постойте, постойте, я еще не так пьян, чтобы у меня рябило в глазах... Погодите-ка, я зажмурюсь, а когда открою глаза, извольте сидеть смирно, говорю вам, но не переставайте играть.

Мистер Кеттельринг открывает глаза. Чернокожие оркестранты приплясывают и сверкают глазами, музыкант с визжащим тромбоном встает, точно выплывая из тьмы, а на кусочке пола вертится коричневая женщина в ярком платье; оливковый кубинец обвил красным платком ее бедра и тянет мулатку к себе, они прижимаются друг к другу животами, дергаются в яростном, конвульсивном ритме. Кубинец, разинув рот, и мулатка, вытаращив глаза, пританцовывают на месте, сопят и скалят

[1] цветные (*исп.*).

зубы, словно хотят искусать друг друга. Вот другая и третья пара, их полно тут, они кружатся среди столиков, покачиваются, орут и смеются, наскакивают друг на друга, блестя пóтом и помадой. И надо всем этим, словно торжествуя, сладострастно верещит тромбон.

Взгляните на мистера Кеттельринга, он тоже барабанит по столу и покачивает головой. Боже, что это ему напоминает? Что? Когда-то я уже был точно так же пьян, именно так, да, да... Но чем же это тогда кончилось?.. Кеттельринг тщетно ловит какое-то ускользающее воспоминание. Мулатка сверкает глазами и улыбкой, в зубах у нее цветок, она покачивает бедрами... Да, да, я мог бы пойти с тобой, но, понимаешь, девушка, я все стараюсь припомнить...

Незнакомый юнец наклоняется к Кеттельрингу и в чем-то его убеждает. Кеттельринг таращит глаза. Que vuole? [1] Тонкошеий юнец ухмыляется и доверительно шепчет ему на ухо:

— Могу отвести вас к красивой девушке, сэр. Цветная красотка...

Он прищелкивает языком.

На Кеттельринга вдруг что-то нашло: он вскакивает и бьет юнца по лицу, тот, пошатнувшись, падает на пол среди танцующих. А Кеттельринг ревет и колотит себя кулаком по лбу: вот, вот сейчас я вспомню!..

Нет, ничего не вспомнил...

Потом началась страшная драка, а затем последовала еще более страшная пьянка в компании каких-то американцев, которые выбросили за дверь всех гостей, девушек и музыкантов, оккупировали кабачок и объявили, что. кубинцы — черномазые подонки, а себя увенчали бумажными розами, которыми в этом краю цветов был разукрашен для пущего великолепия низкопробный дансинг.

В результате начались антиамериканские демонстрации кубинских националистов. Не обошлось и без местных студентов, которые, размахивая сине-белыми флажками, горячо поносили Соединенные Штаты. Ну и, конечно, властям пришлось расследовать эту историю. Старый камагуэно сердито ворчал, окутавшись клубами табачного дыма. Он признавал, что молодежь, подразумевая мистера Кеттельринга и горячие студенческие головы, да еще

---

[1] Что вам надо? (*итал.*).

в таком климате, вправе встряхнуться. К тому же он ненавидел американцев и был глубоко убежден, что Куба должна принадлежать кубинцам. Как коммерсант он был за порядок, а как камагуэно — за расправу с чужестранцами. Ему не хотелось потерять este hombre, а главное, он боялся, что при официальном расследовании может быть проверена личность Каттельринга. Как бы полиция не заинтересовалась снова мертвецом с тремя пулями в черепе, смерть которого была приписана неизвестным rowdies [1] с Севера. (Чистокровные кубинцы, как известно, решают свои споры ножом, это, однако, не относится к пеонам, у которых есть опыт штата Нью-Мексико.) Ау, hijos de vacas, cobardes, cojones! [2] Разве в старые времена на Кубе творилось что-нибудь подобное? Тогда каждый кубинец сам, без помощи властей, оберегал свою честь; не было ни ссор, ни драк, потому что никто не хотел получить нож в бок. А какое правосудие было тогда на Кубе! Органы юстиции занимались, как им и подобает, имущественными правами граждан, контрактами на сдачу внаем и завещаниями, а не драками перепившихся пьянчуг.

Старый сеньор в глубоком возмущении хмурил мохнатые брови и сплевывал бурую слюну, а мистер Каттельринг, опухший, взъерошенный, стучал на машинке.

— Этот голландец с Гаити опять просит увеличить ему кредит на постройку сахарного завода. — Каттельринг поднял налитые кровью глаза. — Прошлый раз он писал, что уже заканчивает сборку прессов, а сейчас сообщает, что здание еще не подведено под крышу.

Кубинец вцепился зубами в сигару. Как будто сейчас нет других забот!

— Надо бы поглядеть, что у него там на стройка... — проворчал Каттельринг и снова застучал на машинке.

Старый кубинец хихикнул.

— Это мысль, Каттельринг! А не съездить ли вам туда?

Este hombre пожал плечами — ему, видимо, было совершенно безразлично, но хозяин окутался клубами дыма и, похохатывая, размышлял: — Отлично, сеньор, вы по-

---

[1] хулиганам (*англ.*).
[2] Грубые испанские ругательства.

едете на Гаити. Тем временем здесь страсти поостынут. Мои дела там, на юге, требуют глаза. Во-первых, агентство в Порт-о-Пренсе, потом предприятия в Гонаиве и в Самане. Да вы и сами знаете.

Старый камагуэно забавлялся в душе. «Хотел бы я знать, — думал он, — что este hombre будет делать на Гаити. Это тебе не Куба, милый. Вернее всего, обопьется ромом, если только негритянки не оберут его до нитки. Там люди обалдевают настолько, что даже не крадут. А ведь мне там нужен оборотистый человек, там можно сколотить хорошие деньги».

Кубинец стал серьезнее.

Гаити это не Куба. Гаити еще не разграбили американцы. Но тамошних условий не выдерживает никто. Да, да, никто, только негры. И все-таки на Гаити можно продавать и покупать. А у este hombre не слишком много совести; он, пожалуй, выдержит. У кого нет совести, тот вынослив...

— Я поеду, п о ж а л у й, — рассеянно процедил Каттельринг.

Камагуэно оживился. Макая в соль какую-то грушу, он стал с полным ртом объяснять, что интересует его на Гаити.

— Пейте, Каттельринг, ваше здоровье! И берегитесь женщин, приятель, они просто с ума сходят по блондинам. Мне нужны участки под сахарные плантации. Делаю ставку на сахар, Каттельринг. Еще десять лет я буду ставить на тростниковый сахар. Salud de usted [1]. И остерегайтесь колдунов, эти скоты даже не христиане... Да, вот что еще: нам понадобятся складские помещения в Гонаиве. Надеюсь на вас, как на родного сына, Каттельринг, и заклинаю — берегитесь obeahos, этих колдунов. Это самое главное. Да еще вовремя дать взятку в л а с т я м... — Старый кубинец посасывал сигару, словно извлекая из нее свою грязную м у д р о с т ь. — Негритянки лучше мулаток, дружище. Негритянка просто животное, а мулатка это дьявол. Да, дьявол, говорю вам. И хорошенько прощупайте там наше агентство в Порт-о-Пренсе, Каттельринг. Не забудьте захватить мазь от насекомых и пишите мне, что и как и каковы там бабы...

[1] Ваше здоровье! (*исп.*).

XXVII

Разумеется, я побывал в оранжереях ботанического сада, чтобы получить представление о тропической растительности. Сейчас я мог бы подробно описать кротоны с полосатыми красно-желтыми листьями, такими великолепными, что невольно думаешь: «Наверное, они ядовиты»; красные, как сурик, акалифы, бархатные побеги антурий, склонившиеся над темными заводями, где стоит сладковатый, гнилостный запах, заросли черного перца и твердые розетки бромелий, из которых лезут непостижимо розовые или невероятно синие колосья-цветы; пандanусы, стоящие на кончиках собственных корней, зубчатые, как пилки. Не говорю уже о пальмах; нормальный человек, если он не ходит, задрав голову кверху, как Гулливер, вернувшийся из страны великанов, не в состоянии разобраться в них. Но спросите меня, как я представляю себе тропический пейзаж, и я позабуду все эти описания и разражусь тирадой в стиле Рембо, довольно невнятной с географической точки зрения.

«Знайте же, что я попал в какие-то невероятные Флориды, где среди цветов вы можете увидеть глаза барса, где живут люди всех оттенков кожи. Я видел болота, где с кривых зловонных деревьев сползают гигантские змеи, мучимые паразитами... Я хотел бы показать детям эти золотые края...»

Да, я описал бы их в таком духе. Эти болотистые джунгли надо было бы прорубить секирой, добела раскаленным солнцем, выжечь в них сорняки и затоптать босой ногой искры. Насадить там бататы или кофейные деревья, поставить соломенные хижины и только тогда показывать детям этот золотой край.

Тут, среди благоуханных цветов, чудовищных змей и сверкающих синевой бабочек орудуют торговые агенты всех оттенков кожи, царит коммерческая конъюнктура и кредит, решаются проблемы экспорта и рабочей силы, заключаются международные конвенции о производстве сельскохозяйственных культур. Как ублюдочна вся эта пышная безудержная жизнь, какие здесь дикие джунгли! Знайте, я не стремлюсь найти в тропиках райский сад и почивать там под сенью пальм, на лоне благодатной природы, осыпаемый пурпуровыми цветами, одурманенный ароматом асминов. К сожалению, — да, к сожалению! —

мое представление о тропиках не настолько примитивно. Но мне хотелось бы понять, какое чертовски острое варево получается там из жаркого солнца, диких племен и коммерции, первобытных инстинктов и современной цивилизации. Варево, которое сам черт не захочет мешать поварешкой! Интересно знать, что более дико — Зеленый Питон, которому поклоняются негры, или Экономические Законы, которым поклоняемся мы. Я знаю только одно: и то и другое — дебри куда более фантастические, чем первобытные заросли хвощей, где допотопные ящеры откладывали яйца. Неизвестно, например, будет ли черная курица, что копается сейчас под кустиком сладкого картофеля, продана на рынке или же ей откусят голову, чтобы умилостивить этой жертвой разгневанного Зеленого Питона. Хотел бы я видеть и того Зеленого Питона, что, изогнувшись в кресле, осклабясь, беседует по телефону и устраивает свои торговые операции. «Что? Падение курсов на амстердамской бирже? Well, ликвидируем плантации на Подветренных островах». Зеленый Питон сердится, бьет хвостом по берегам морей...

Заглянул я и в статистические справочники — понюхать, из чего же состоит тропическое варево? Если говорить об Антильских островах, то тут налицо всевозможные этнические комбинации; на Кубе одна треть населения colorados и две трети — белых, что нарушает классическую колониальную пропорцию — двое цветных на одного белого, а в республике Гаити вымирающая горстка белых затерялась среди неистово горланящих негров. Добавьте сюда в виде приправы ростовщиков из Сирии, китайских кули и рабочих, привезенных из Индии, с Явы или с тихоокеанских островов. Какая блестящая идея — ввозить рабочую силу. Импортированный кули покорнее туземных рабочих. Погодите. Зеленый Питон колонизирует еще и Европу и начнет перебрасывать рабочих из страны в страну; тогда они присмиреют и не будут требовать ничего, кроме работы и женщин.

Горячее колониальное варево основательно сдобрено «солью земли». Каждая колониальная держава посылает сюда лучшие образчики своей породы, дабы они с честью выполняли миссию белой расы. Идите в мир и учите народы, что такое Государство и Торговля. Где ступит ваша нога, там создавайте колониальную администрацию и торговые конторы. Покажите этим жалким дикарям

благодеяния цивилизации в лице раздраженных, злых, болезненных людей, которые чувствуют себя здесь изгоями и считают часы и деньги в ожидании дня, когда они смогут вернуться к своим тетенькам и кузенам. Немалых усилий стоит внушить им, что на их плечах покоится Престиж государства или Процветание, чтобы они не спились с тоски или от лени и продержались еще некоторое время, заполняя его препирательствами об авторитете, сплетнями и сменой взмокших сорочек. Камагуэно, тот хоть не станет выдумывать, что он движим высшими интересами; он честный пират, и нам приятно провести время в его обществе.

Итак, все изрядно перемешалось в нашем горячем котелке: тут и британские, и американские, и французские, и голландские губернаторы, лейтенанты, торговые агенты и кладовщики; красавицы креолки и старожилы, — нечто вроде колониальной аристократии. Отсюда можно резво сбежать вниз по социальной лестнице, встречая разнообразнейшие лица от желтоватых и светло-кофейных вплоть до мертвенно белых, как у прокаженных... В нашем гардеробе окажутся сомбреро кубинцев, оранжевая обувь мулатов, блестящая нагота йорубов и разноцветные полосатые тюрбаны девушек с Гваделупы. Все это свезено, сметено, переброшено сюда со всех концов света. Замечательный хлам; пожалуйста, ройтесь в нем! Испанские, африканские, английские, французские традиции во всей своей старомодной исключительности или уродливой деградации. И только колибри, лягушки, джунгли и табак (да еще сорняки и болезни) здесь исконные. Остальное — буйная поросль на свалке, которую создала Торговля.

Так вот они, острова моих грез! Вот какими они мне представляются. Как видите, я не ловец пестрых бабочек, я не прикидываюсь мечтателем, жаждущим убежать в царство девственной природы и там, нагим и увенчанным цветами, восславлять солнце. Ничего подобного! И если я называю это бегством, то это бегство в самую гущу событий, где сталкиваются все противоречия, где сплетаются столетия в противоестественной смеси культур. Здесь еще бушуют оргии и насилие, здесь хватаются за прибыль конвульсивно и жадно, словно распутничая. Ну что ж, пусть так человечество проявляет поразительный размах человеческих... и нечеловеческих возможностей.

XXVIII

Сахарный завод на Гаити, по моим представлениям, расположен неподалеку от негритянского селения, обозначенного на картах, скажем, как Ле-де-Мари. Там торчат несколько недостроенных стен, никакого оборудования нет и в помине. Триста акров желтой, растрескавшейся земли, поросшей джунглями и сахарным тростником четвертого ратуна, то есть уже пятилетним, без сока и сахара. Голландец заблаговременно и предусмотрительно улизнул, и Кеттельринг поселился в его хижине, но предварительно велел выловить там всех стоножек. В общем, он был доволен: за спиной — джунгли, заросли каштанов, каклина и чертова дерева; поют кескиди, а вечером... вечером из кустов вылетают светлячки, и летучие мыши зигзагами носятся над шуршащим тростником. Из деревни слышен грохот барабана — это негры танцуют, празднуя приезд нового хозяина. Мистер Кеттельринг вздыхает с облегчением: здесь и в самом деле не нужна фамилия, а что касается памяти — то на что она? Кеттельринг хмурится от жары или сонливости, ему лень странствовать во времени по тропинкам воспоминаний. Он здесь, и этого довольно. Бесконечно тянется устойчивое, монотонное время.

Надо бы написать хозяину о положении дел, но Кеттельрингу лень. Хижина заросла буйным вьюнком, касавой и бананами мафафо; мохнатая гусеница ползет по стеблю, муравей бегает вверх и вниз по огромному листу, словно выполняет какое-то задание. С минуту Кеттельринг развлекается, созерцая ящериц, шмыгающих по недостроенной стене. Одна вдруг остановилась и сидит, не шелохнется, словно пришпиленная. Эх, нет под рукой камня — швырнуть бы в нее, она бы промелькнула, как молния. Ну, погоди ты у меня! Кеттельринг манит пальцем негра, который прячется там, за стеной. Это деревенский староста, поставщик рабочих рук, надсмотрщик, в общем, местная «шишка».

— Это что за безобразие?! — рявкает Кеттельринг. — Ах вы разбойники, скоты, марш строить завод! Приведешь сюда тридцать человек, понял? Я вам задам, лежебоки!

И вот уже дюжины две негров копошатся на постройке и делают вид, что работают. Ящерицам негде резвить-

ся, а мистер Кеттельринг щурится, глядя на дрожащее марево. По крайней мере, хоть что-то делается... или ему кажется, что делается. По крайней мере, можно не глядеть на осточертевшую недостроенную стену, где неподвижно сидит ящерица, словно она не в силах двинуться с места. Что-то делается, глядишь, так пройдет день, неделя, месяц... А ночь, ну, ночью есть пальмовое вино и сон, ночью есть звезды, ночь как-нибудь можно скоротать.

Уже кроют крышу. Самое время подумать о том, для чего, собственно, нужно такое дурацкое строение. Около стройки копошится чуть не все селение — старухи, поросята, голые ребятишки, куры — все! По крайней мере — что-то делается... А сахарного завода все равно не будет: ведь машин-то нет. Живее, лодыри, поторапливайтесь, не видите разве, что вон там, на углу стены, опять уселась ящерица, словно не знает, что ей делать... Здесь можно будет устроить сушильню: сушильня всегда на что-нибудь пригодится.

Иногда к Кеттельрингу приезжал на муле сосед, молодой фермер Пьер, крестьянин из Нормандии. Он приехал сюда заработать деньги на женитьбу. Пьер тощ и неуклюж, измучен ушибами и лихорадкой. Видно, он недолго протянет.

— Вы, англичане, мастера командовать, — жалобно говорил он, принимая Кеттельринга за британца. — А человек, привыкший беречь деньгу, никогда этому не научится; бережливый человек не умеет распоряжаться людьми. Подумайте: как только негры увидели, что я работаю сам, вот этими руками, с ними сладу не стало. Вы думаете, я могу им приказывать? Они смеются мне в глаза и все делают наперекор. А какие лодыри, боже мой! — Его передернуло от ненависти и отвращения. — В этом году у меня из-за них погибло семь акров кофейных саженцев. Не мог же я один выполоть все поле, а? — Он чуть не плакал от досады. — Приезжаю я в Порт-о-Пренс, к господам в белых туфлях, что сидят там и называются торговыми агентами, и говорю: «У меня есть кофе, есть имбирь, могу продать мускатные орехи». А они в ответ: «Ничего не требуется». Скажите, Кеттельринг, чего же они там сидят, если им ничего не требуется? Мух ловят,

что ли? Даже не взглянули на меня, а потом вдруг говорят: «Что вам, собственно, нужно? Можем заплатить столько-то и столько-то». И предлагают смехотворную цену! Среди них есть и французы, Кеттельринг! Знали бы они, каково торчать тут на плантации!

Пьер тяжело вздыхает, на шее у него прыгает кадык, бедняга скребет все тело, словно страдает чесоткой.

— Здесь сущий ад, — жалуется он. — Эти мулаты воображают, что они нам родня. «Мой отец был американским торговым агентом, я не какой-нибудь там негр», — задается эдакий лежебока. А я надрываюсь на работе... В Гавре у меня невеста, порядочная девушка, служит конторщицей в магазине. Продать бы все, что у меня тут есть, получить бы хоть несколько тысяч...

Опустив на руки голову, Пьер вспоминает, как ему жилось дома. Кеттельринг отмалчивается, ни словом не помянет о своем прошлом, но Пьер не замечает этого: воспоминания всегда поглощают человека целиком. Пьер жалуется на потливость и утомление. Кто-то посоветовал ему есть так называемые «слоновые вши» — орехи с дерева «кашу», — они, мол, прогоняют усталость и придают бодрости. Пьер постоянно носил полные карманы этих орехов и вечно жевал их. Бедняга не знал, что, помимо прочего, они возбуждающе действуют на половую сферу, и сох с тоски по невесте. Негритянок он избегал, боясь заразиться, и брезговал ими, потому что вообще ненавидел негров. Ведь они сгубили семь акров кофейных посевов!

— Скажите, Кеттельринг, — лихорадочно шептал он, — вы спите с негритянками? Я бы не мог...

Однажды он не показывался дней десять, и Кеттельринг поехал навестить его. Пьер лежал с воспалением легких и даже не узнал соседа.

— Mon amant[1], — похвасталась негритянка, страшная баба, вся в струпьях, которую он застал в хижине. — Moi, sa femme, he[2]. С прошлой ночи!»

Она радостно ржала, так что тряслись ее тощие груди, и хлопала себя по бокам.

Через несколько дней Пьер умер.

---

[1] Мой возлюбленный (*франц.*).
[2] Я его жена (*искаж. франц.*).

Любопытно: стоит человеку умереть, как люди начинают проявлять к нему повышенный интерес. Через два дня после смерти Пьера приехали двое из Порт-о-Пренса: мол, что же теперь будет с фермой покойного? Зашли они и к Кеттельрингу, смазали натруженные ноги пальмовым маслом и симарубовым бальзамом и принялись поносить этот мерзкий край. А ведь здесь можно неплохо заработать, если бы негритянский сброд был расторопнее, но они ленивы, как вши. Ну, а у вас как дела с рабочей силой? Вы что-то строите, мистер Кеттельринг, сахарный завод, что ли?

Кеттельринг пренебрежительно отмахнулся.

— Сахарный завод здесь? Слишком сухо, сэр. Хлопок разводить — еще куда ни шло. Я вам скажу: здесь будет сушильня для хлопка.

Оба гостя на минуту перестали обтираться бальзамом и бить комаров на потных ногах.

— Ах, вот как, сушильня для хлопка. А у нас найдется покупатель на хлопок. Один плантатор из Нью-Орлеана купил бы здесь плантацию. У них, на Севере, слишком подорожала рабочая сила, поверите ли, эти вшивые негры создали там профсоюзную организацию!.. А сколько у вас тут обработанной земли?

Кеттельринг расписал им плантацию площадью в триста акров. Правда, большую часть этих владений покрывали джунгли, да не все ли равно, ведь эти типы не пойдут проверять. Впрочем, он не верил ни в какого американского плантатора: кто станет интересоваться хлопком и на что он вообще нужен! Просто будет основано «Haitian Cotton Plantation Society» [1], которое пустит в продажу свои акции. К чертовой матери хлопок, для торговли вообще не нужно никакого хлопка, достаточно сушильни и земельных участков, чтобы выбросить на биржу красиво отпечатанные акции и тем самым похвально способствовать благому делу торговой и политической экспансии. На акциях будут изображены счастливые негры и новая сушильня на заднем плане. Бедняга Пьер, его кофейные поля теперь сплошь зарастут сорняками...

Ей-богу, я охотнее описал бы что-нибудь другое — цвет граната или великолепие крыльев бабочки. Зачем,

[1] Акционерное общество «Гаитянский хлопок» (*англ.*).

собственно, я окружил себя этой гнусной стеной из грязного желтого кирпича? И куда меня занесло? Уж эти мне прелести тропической природы! Я могу заглянуть в свой садик и насладиться видом цветущих колокольчиков, утренней свежестью кустарника... А я вместо того в полуденный зной щурюсь на желтую стену недостроенной сушильни, под которой валяются банановые корки, испражнения и гнилые кочерыжки, и не могу скрыть своего полного довольства: наконец-то я здесь, так далеко! Здесь можно сидеть, поставив локти на колени, и предаваться праздности. Так вот какие они, тропики, вот она, здешняя действительность: накаленная солнцем, длинная, грязно-желтая стена. Благодарение богу, мы на другом конце света!

Здесь мы и оставили мистера Кеттельринга: он сидит у своей хижины, жует какие-то плоды и хмуро поглядывает на неподвижных ящериц, словно прилипших к стене сушильни. Появляется огромный негр из Порт-о-Пренса, на голове он несет письмо. Оно от старого камагуэно: muy amigo mio [1] и так далее. В общем, патрон очень доволен: он только что продал «плантацию» около Де-Мари — триста шестьдесят акров хлопковых посевов и оборудование для сушки и очистки хлопка. «А то самое дело, — писал дальше кубинец, — еще не улажено. В политических кругах резко критикуют власти за то, что эта история все еще не расследована. Может быть, сеньор Кеттельринг съездит пока в Гонаиву?»

Кеттельрингу все равно. Он бросает на произвол судьбы недостроенную сушильню и уезжает в Гонаиву: побыв там немного, перебирается в Сан-Доминго, а оттуда в Пуэрто-Рико. Переезды с острова на остров все учащаются, он перевидал столько мест, что в конце концов все это уже перестает ему казаться действительностью.

XXIX

Это не биография, а только беглые зарисовки из прошлого пациента Икс, потому что я не мог бы связно описать его жизнь год за годом. Впрочем, эта жизнь складывалась не из событий. Для того чтобы жизнь была напол-

[1] мой большой друг (*исп.*).

нена событиями, нужна воля, какие-то другие качества человека, а не безразличие. А наш герой, забыв свое прошлое, несомненно, утратил большую часть интересов, которые движут людьми. Вы не представляете себе, какая сила — ваша память. Мы смотрим на мир сквозь призму пережитого, мы приветствуем в вещах старых знакомых, наше внимание охотнее устремляется на то, к чему оно уже было однажды привлечено. Наше отношение к окружающему в большинстве случаев соткано незримыми, ловкими руками воспоминания. Человек без воспоминаний ничем не связан с окружающим. Оп чужд всему, и шум мира, который до него доносится, не вызывает в нем никакого отзвука. И все-таки нам кажется, что мистер Кеттельринг бродит по свету, словно отыскивая что-то. Но не будем обманываться на этот счет. У него нет стремления к определенной цели. Предоставьте его самому себе, и он снова прочно усядется у потрескавшейся стены в Де-Мари и будет следить за ящерицами, то суетливыми, то неподвижными. Но он взвалил на себя торговые дела кубинского дона, он считает их своими и потому не сидит на месте. На его пути всегда попадается какая-нибудь ступенька или пень, на которые можно присесть. И Кеттельринг присаживается, ощущая, как струйка пота течет у него по спине, прислушивается к сухому шелесту пальм и леббековых стручков и развлекается, наблюдая лениво двигающихся людей. Это похоже на калейдоскоп, и он поворачивает его — пусть поскорее меняются узоры. Ну-ка, ну-ка, негры, пошевеливайтесь, чтобы хоть что-нибудь делалось и мелькало перед глазами. Грузите судно кокосовыми орехами, несите корзины на головах, катите бочки с пиментовым ромом. Живее, живее, а не то я вам всыплю как следует. В гавани масло и грязь, радужные круги и полосы расползаются по воде. Какая прекрасная гниль, как флуоресцирует эта падаль! Пошевеливайтесь, черномазые скоты, марш в тростник, пусть волнуется и шуршит рыжеватое тростниковое поле, пусть мелькают на нем нагие тела.

И странное дело: всему, что без всякой охоты и усердия предпринимает Кеттельринг — предпринимает лишь затем, чтобы заполнить часы ленивого *досуга*, — сопутствует деловой успех. Люди побаиваются его равнодушного взгляда; его распоряжения точны и категоричны, коммерческая информация, которую он посылает своему

принципалу, — образец деловитости. Он уверенно распоряжается людьми, словно занимался этим всю жизнь, он заставляет их работать и обращается с ними так, что они подчиняются ему с глухой и бессильной злобой. Люди, пожалуй, примирились бы с этим подчинением, если бы чувствовали, что Кеттельринг наслаждается властью, что он упивается собой, своим господством и высокомерием. Но нет, люди только ненавидят и боятся этого крупного, равнодушного человека, всегда готового пожать плечами. «Надорвитесь на работе или проваливайте, какое мне дело!» Но в глубине души Кеттельринга, где-то в тайниках его сознания теплится легкое горькое удивление: а что, если и я носил поклажу и греб в лодке, почесывал вспотевшую спину и, присев в тени, обедал грязной лепешкой; если и я был взмыленным, запарившимся кладовщиком, что бегает с бумагами в руках?.. А может быть, я носил белые бриджи и панаму, как сейчас, и следил, чтобы наемные люди лучше работали на какого-нибудь другого кубинца? Все это одинаково далеко и одинаково нереально, словно глядишь в перевернутый бинокль: где-то, до смешного далеко, копошатся и хлопочут люди — носильщики, конторщики, кладовщики и джентльмены в белых туфлях, что играют в теннис за сетчатой оградой...

К Кеттельрингу часто приходят разные люди, торговые партнеры хозяина, его агенты и представители, владельцы плантаций, обремененные закладными, управляющие сахарными заводами и шумные фермеры.

— Алло, мистер Кеттельринг, моя жена была бы рада видеть вас у себя.

— Алло, мистер Кеттельринг, зайдем выпить по рюмочке коктейля...

А через минуту они начинают заикаться под равнодушным взглядом Кеттельринга. Мол, неурожай, мистер Кеттельринг, плохой сбыт, да еще эти ворюги мулаты... и тому подобное. Кеттельринг даже не дает договорить, ему скучно. Сделайте так-то и так-то, мистер, принесите мне отчетность, я посмотрю сам. И человек чувствует себя униженным, переминается с ноги на ногу, потеет и мучительно, до колик ненавидит этого босса, который от имени своего хозяина приставил ему нож к горлу.

А Кеттельринг тем временем проверяет в самом себе странную и тревожную гипотезу: быть может, это и есть мое прошлое, мое подлинное «я»? Быть может, я был

рабовладельцем с бичом, плантатором или еще кем-нибудь — одним из тех, кто распоряжается богатствами и людьми? Разве я мог бы приказывать, если бы не умел этого раньше! Попробую-ка я упражняться на других, тогда, быть может, этот голос отчетливее зазвучит во мне. Или, может, мне станет больно от удара, который я нанесу другому, и я вдруг пойму, что тоже когда-то получал удары...

Если отвлечься от внешних событий, то в жизни Кеттельринга чередовались два состояния — скука и опьянение. И ничего другого, больше ничего. Скука переходила в опьянение, и опьянение сменялось скукой. В скуке — самая страшная и противная будничность. Внимание человека, объятого скукой, устремлено на все мелкое, противное, пустое, безнадежное. От него не укроется ничто смрадное и ветхое, он внимательно следит за бегущим клопом, за разложением падали, за растущей трещиной в потолке, он остро ощущает всю гнусность жизни. А опьянение? Пусть оно вызвано ромом, скукой, наслаждением или жарой — лишь бы человек был увлечен, лишь бы помрачились чувства, лишь бы им овладел бешеный восторг. Хочется схватить все, все сразу, набивать себе рот, рвать добычу руками, жадно выжать все наслаждение и насытиться им до предела — и соком фруктов, и женским телом, и прохладой листвы, и пылающим огнем. Если ничему нет границ, нет их и для нас, все, что движется, движется в нас самих. Это в нас покачиваются пальмы и женские бедра, в нас струятся солнечные блики и неустанно плачет вода. Посторонитесь же, дайте дорогу человеку, который так велик и так пьян, что вмещает в себе все — и звезды, и шум деревьев, и распахнутые врата ночи. Ах, что за пейзажи рисуют нам опьянение или скука! Пейзажи, застывшие в сухой, мертвой неподвижности или пропитанные гнилостной сыростью, полные липкой грязи, мух, зловония, разложения... Или другие, подобные праздничному хороводу, пронизанные ароматами, жгучим желанием, душными цветами, влагой и головокружением...

Знаете, из скуки и опьянения можно создать отличный ад со всем, что полагается; он будет так обширен,

что вместит в себя еще и рай — рай со всеми его отрадами и восторгами, с его наслаждениями; этот рай и есть самая пучина ада, ибо там рождаются отвращение и скука.

XXX

Назовем наугад: Гаити, Пуэрто-Рико, Барбуда, Гваделупа, Барбадос, Тобаго, Кюрасао, Тринидад. Голландские торговцы, британский колониальный «свет», морские офицеры из США, скептическая, нечистоплотная французская бюрократия. И всюду креолы, щебечущие на patois [1], негры, filles de couleur[2], много людей жестоких, еще больше несчастных, а больше всего тех, кто тщится сохранить свое достоинство, поколебленное пьянством, зудом и связями с цветными женщинами.

Наш Икс но искал новых путей, пока можно было идти проторенными, и все же ему приходилось недели и месяцы жить где-то у самых джунглей, сотрясаемых ветром или дымящихся от тропических ливней, под соломенной крышей, в хижине, построенной на сваях, как голубятня, — чтобы не досаждали крабы и стоножки. Здесь он восседал на деревянных ступеньках, и, пока негр вытаскивал клещей из его ступни, Кеттельринг надзирал за тем, как еще несколько сот акров, отвоеванных у дикой природы, превращаются в посев, где вырастает злак, именуемый Процветанием. Благодать цивилизации нисходит на этот край — она в том, что неграм отныне придется работать больше, чем прежде, но они останутся такими же нищими, как были. Зато где-то далеко, в другой части света, крестьянам станут убыточны плоды их труда. Таков ход вещей, и мистеру Кеттельрингу все это совершенно безразлично. Тростник так тростник. Пусть же стучат топоры, жужжат москиты и кряхтят негры — в конце концов все эти звуки просеются и откристаллизуются в цокот пишущих машинок... Нет, это не пишущие машинки, это квакают лягушки, трещат цикады, птица стучит клювом по дереву... Нет, это не птица и не шелест стеблей, это все-таки стучит машинка: мистер Кеттельринг сидит на земле и тычет пальцем в ржавые клави-

---

[1] местном французском наречии (*франц.*).
[2] цветные девушки (*франц.*).

ши — всего лишь деловое письмо принципалу, ничего больше, но проклятая машинка насквозь проржавела от сырости!..

У Кеттельринга как-то отлегло от сердца; что поделаешь, письма уже не дописать, значит — надо возвращаться.

И вот, внеся свой вклад в дело разведения сахарного тростника на Антильских островах, Кеттельринг возвращается на пузатом суденышке, груженном ванилью, пиментом и какао, мускатным цветом и мандаринами, ангостурой и имбирем; суденышко благоухает, как лавка с колониальным товаром. Под голландским флагом тащится оно от гавани к гавани, подобно болтливой тетке, что останавливается посудачить перед каждой лавчонкой. Спешить некуда, сэр, засунем руки в карманы и будем глазеть. А на что? Ну, на воду, на море, на солнечную дорожку, которая пролегла по нему, или на острова в синих тенях, на золотистые облака и летучих рыб, что разбрызгивают сверкающую воду. По вечерам — на звезды. Изредка подойдет грузный капитан, угостит пассажира толстой сигарой и тоже не ведет долгих речей. В конце концов совсем неплохо оставаться неким мистером Кеттельрингом... Где-то на горизонте непрерывно бушует гроза, ночью за завесой дождя полыхают алые зарницы, и море иногда начинает светиться — бледные голубоватые полосы разбегаются по воде и вдруг пропадают. А внизу, в черной бурлящей воде, что-то все время светится собственным светом.

Кеттельринг, облокотясь, стоит у борта, душа его преисполнена чем-то не похожим ни на скуку, ни на опьянение. Да, ясно одно, когда-то он вот так же плыл на корабле, такой же счастливый и беззаботный. Сейчас он бережно прячет в себе это чувство, чтобы сохранить его в памяти. Хочется запомнить это желание обнять весь мир, запомнить безмерное чувство любви и смутное ощущение свободы.

Камагуэно встретил его с распростертыми объятиями. Старый пират умел быть признательным сообщнику, который привез ему корабль с богатой добычей. Он принял

Каттельринга не в конторе, а в прохладной комнате за столом, покрытым камчатой скатертью, на которой стоят бокалы из английского стекла и кувшины с массивными серебряными крышками. Он наливает Кеттельрингу темное вино и — явно в знак уважения — не без труда ведет беседу по-английски. Украшенная арками и легкими колоннами комната выходит в патио, вымощенный майоликой, посредине которого журчит фонтан, окруженный крохотными пальмами и миртами в фаянсовых горшках, — совсем как где-нибудь в Севилье.

Сеньор Кеттельринг — сейчас дорогой гость.

— Мой дом — ваш дом, — говорит кубинец с великолепной старомодной испанской учтивостью, расспрашивает о поездке, о том, каков был обратный путь, словно речь идет об увеселительной прогулке досужего аристократа.

Но Кеттельринг не привык к традиционным околичностям, он сразу переходит к бизнесу. Так, мол, и так, положение такое-то, такой-то должник ненадежен, у такой-то фирмы есть перспективы, стоит вложить в нее деньги.

Камагуэно кивает:

— Very well, sir [1], об этом мы еще потолкуем, — и машет рукой. — На это еще хватит времени, да, да. — Он изрядно постарел, стал и солиднее и бестолковее, чем прежде. Он то и дело вскидывает мохнатые брови. — Ваше здоровье, дорогой Кеттельринг, ваше здоровье! — Старик возбужденно хихикает. — Ну, а женщины? Как ваши успехи по этой части?

Кеттельринг удивляется.

— Спасибо за внимание. Ничего. Что касается земельных участков на Тринидаде, то они чертовски заболочены. Если провести мелиоративные работы...

— А правда, — прохрипел кубинец, — правда ли, что на Гаити негритянки во время своих языческих fiestas [2] становятся просто одержимыми, а?

— Правда, — сказал Кеттельринг. — Они в самом деле как бешеные, сэр. Но самые лучшие женщины — на Гваделупе.

---

[1] Отлично, сэр (*англ.*).

[2] празднеств (*исп.*).

Патрон наклонился к нему.

— А индианки, каковы индианки? Они muy lascivas? [1] Говорят, они знают... всякие такие штучки? Это правда? Вы должны мне рассказать все, милый Кеттельринг.

В гостиную вошла девушка в белом платье. Кубинец встал и недовольно приподнял брови чуть ли не выше лба.

— Моя дочь Мария Долорес... Мери. Она училась в университете, в Штатах.

Он словно извиняется за нее: ведь испанская девушка не войдет в комнату, где сидит незнакомый кабальеро. Но Мери протягивает руку.

— How do you do, mister Kettelring[2].

Она старается выглядеть угловатее и развязнее, чем на самом деле, соблюдает англосаксонский стиль. Цвет лица у нее бледно-оливковый, волосы как смоль, сросшиеся брови и на верхней губе пушок — настоящая породистая кубинка.

— Well, Mary [3], — говорит камагуэно, давая понять, что она может уйти к себе.

Но Мери — независимая американизированная девушка. Она садится, закинув нога за ногу, и забрасывает Кеттельринга вопросами. Что он видел на островах? Каково социальное положение негров, как живут они и их дети, каковы санитарно-гигиенические условия. Кеттельринга втайне забавляет ее ученическое рвение, а папаша огорченно поднимает брови, похожие на огромных мохнатых гусениц. Кеттельринг врет, как школьный учебник.

— Благословенные острова, мисс Мери, сущий рай, кругом девственные джунгли, где летают колибри «фуфу», сама собой произрастает ваниль, знай только собирай ее. А что касается негров, то жаловаться им не приходится: они счастливы, как дети...

Американизированная девушка слушает, обхватив колени руками, и не сводит глаз с путешественника, который вернулся прямо из рая.

---

[1] Очень похотливы (*исп.*).

[2] Здравствуйте, мистер Кеттельринг (*англ.*).

[3] Ладно, Мери (*англ.*).

XXXI

Вечером камагуэно, мучимый болями в желчном пузыре, извинившись, рано ушел спать. Он и в самом дела выглядел плохо — под глазами темные круги, глаза ввалились. Кеттельринг вышел в сад выкурить сигару.

Благоухали мускат, акации и волькамерии. Огромные ночные бабочки гудели как ошалелые. На майоликовой скамейке сидела девушка в белом и, слегка приоткрыв рот, вдыхала нестерпимо сладкий воздух. Кеттельринг учтиво обошел ее стороной, он знает приличия... Но вдруг отшвырнул сигару в заросли олеандров.

— Сеньорита, — чуть хрипло заговорил он, подходя к ней, — мне стыдно. Я солгал вам: на островах настоящий ад. Не верьте, если вам скажут, что там можно остаться человеком.

— Но вы снова поедете туда? — спросила она тихо: ночью люди невольно понижают голос.

— Да. Куда же мне еще деться?

Она подвинулась, чтобы он сел рядом.

— Вы, вероятно, знаете, что у меня... нигде нет своего дома. Мне некуда вернуться, только туда. — Он махнул рукой. — Сожалею, что испортил ваше представление о рае. А впрочем, там не так уж плохо... — Он попытался вспомнить что-нибудь красивое. — Однажды я видел бабочку Морфо, в двух шагах от себя, она помахивала синими крыльями. Как это было красиво!.. А сидела она на дохлой крысе, кишевшей червями...

Девушка с университетским дипломом выпрямилась.

— Мистер Кеттельринг!..

— Я вовсе не Кеттельринг. К чему, к чему все время лгать? Я никто. По-моему, если у человека нет имени, у него нет и души. Потому я и там выдержал, понимаете?

И вдруг американизированная девушка почувствовала себя маленькой кубинкой, ее длинные ресницы дрогнули, и она жалобно заморгала. «Ay de mi [1], что же мне сказать ему, чем утешить? Он такой странный... лучше всего убежать домой. Вот сейчас перекрещусь и встану...»

Нет, американская девушка не может поступить так, американская девушка станет ему товарищем. Ведь мы изучали психологию, мы можем помочь человеку найти

---

[1] Бедная я! (*исп.*).

утраченную память, восстановить в памяти подавленные представления. Но прежде нужно приобрести его доверие... Американская девушка дружески берет Кеттельринга за руку.

— Мистер Кеттельринг... или как мне вас называть?

— Не знаю. Я просто — «тот человек».

Она сжимает ему руку, чтобы овладеть его вниманием.

— Попробуйте думать о своем детстве, попробуйте! Бы должны что-нибудь вспомнить... хотя бы свою мать. Вспоминаете, да?

— Однажды... меня трясла лихорадка. Это было на Барбуде. Старая негритянка делала мне компрессы из отвара черного перца и пимента. Она положила мою голову себе на колени и искала у меня вшей. Руки у нее были морщинистые, как у обезьяны. Мне тогда казалось, будто рядом со мной мать.

Маленькой кубинке хочется освободить свои пальцы из его руки, его ладонь так горяча... Но это было бы нетактично. Ужасно теряешься в таких случаях!

— Так, значит, вы все-таки помните свою мать?

— Нет, не помню. Наверно, я совсем не знал ее.

Американская девушка полна решимости помочь ему.

— Ну, постарайтесь же вспомнить. Вспомните время, когда вы были мальчиком. Игры, товарищей, какой-нибудь пустячный случай.

Он неуверенно покачал головой.

— Не знаю.

— Ну, все-таки, — настаивала она. — Ведь детские впечатления так глубоки.

Он попытался угодить ей.

— Помню, что, глядя на горизонт, я всегда думал, что за ним должно быть что-то прекрасное. Детское ощущение, не правда ли?

— Вы думали об этом дома?

— Нет, здесь, на островах. И при этом я чувствовал себя... мальчиком. — Держа ее за руку, он отважился продолжать. — Знаете, я... украл мяч.

— Какой мяч?

— Детский, — лепечет он смущенно. — В Порт-оф-Спейне, около гавани. Он покатился мне под ноги... полосатый, красно-зеленый мячик. И мне вдруг захотелось, чтобы он был мой... захотелось совсем как мальчишке. С тех пор я не расстаюсь с ним.

Слезы выступили у нее на глазах. «Боже, как глупо я веду себя!»

— Вот видите, мистер... мистер Кеттельринг! — взволнованно восклицает она. — Дело пойдет на лад, вы увидите. Закройте глаза, чтобы сосредоточиться. Вспоминайте изо всех сил...

Он послушно закрывает глаза и сидит неподвижно, повинуясь ее словам. Тишина, слышен лишь шорох крыльев ошалелых бабочек да откуда-то издалека визг мулатки.

— Вспоминаете?

— Да!

Маленькая кубинка, затаив дыхание, склоняется к его лицу. Какой он странный, какой строгий, когда у него закрыты глаза! Измученный и страшный.

Но вот его лицо проясняется.

— Вы вспомнили что-то?

Он вздыхает глубоко, с облегчением.

— Здесь так хорошо!

Девушка борется с охватившим ее беспричинным умилением. И все-таки у нее невольно вырывается:

— Значит... у нас не ад?

— У вас не а д , — шепчет он, боясь шевельнуть рукой и открыть г л а з а . — Это так ново для меня. Поймите, я не любил *тех.*

Бог весть, кто раньше разгадал смысл его слов — девушка, воспитанная в американском университете, или маленькая темноволосая кубинка. Но она вырвала у него свою руку и почувствовала, как вспыхнули ее щеки. Счастье, что здесь темно!

— А... прежде вы любили кого-нибудь? (Боже, какая тьма!)

Он пожал грузными плечами.

— Это вы должны были бы запомнить...

Это сказала американская девушка; кубинка знает, что так нельзя разговаривать с посторонним мужчиной. Но и взрослая американская студентка растеряна. В Штатах, в студенческом общежитии, девушки, бывало, спорили обо всем; и с юношами можно было откровенно обсуждать что угодно. Бог знает, почему сейчас это вдруг стало очень трудно. Мери кусает губы и прижимает похолодевшие руки к пылающим щекам.

— Мистер Кеттельринг?

— Да?

— Я уверена, что вы любили прежде. Вспомните.

Он молчит, упершись локтями в колени. Теперь перед ним снова маленькая кубинка. Как тревожно дрожат ее длинные ресницы!

— Нет, никогда не любил, — медленно произносит он, — я никогда не переживал того, что сейчас. Это я знаю. Знаю твердо.

У маленькой кубинки вдруг перехватило дыхание, сердце забилось, задрожали колени. Так вот какова любовь, боже милостивый! Как прекрасно, боже, плакать хочется! Но американизированная девушка ухватилась за эту фразу и мигом истолковала ее по-своему: да, так и есть, я сразу угадала, тотчас же как только он сказал: «Я лгал вам, сеньорита...»

— Я так рада... — произносит она дрожащим голосом, — что... (А чему, собственно, рада?) Что вам тут нравится. (Не то, не то, но теперь уж это не имеет значения!) Я люблю наш сад, я бываю здесь каждый вечер... (Как глупо я говорю!) — Американизированная девушка пытается одержать верх. — Послушайте, мистер Кеттельринг, я помогу вам вспоминать, хотите? Как это ужасно, если человек не в силах вспомнить, кто он такой. — Кеттельринг вздрагивает, как от удара. — Я хочу сказать, — американизированная девушка спешит исправить свою оплошность, — что я буду счастлива помочь вам. Пожалуйста... — Она коснулась пальцем его рукава. (Чуточку флирта перед уходом! Чтобы легче было уйти!)

Кеттельринг поднялся.

— Прошу прощения. Я провожу вас.

Она стоит около него, совсем близко, словно они держатся за руки.

— Обещайте мне, что вы постараетесь вспомнить.

Кеттельринг улыбается. Марии он кажется в этот миг необыкновенно красивым, и ей хочется закричать от счастья.

Мария высовывается из окна, вдыхая благоухание ночи. На балконе этажом выше пламенеет огонек сигары.

— Хэлло, мистер Кеттельринг!

— Что?

— Вам не спится?

— Да, что-то не спится.

— Мне тоже, — радостно признается она и подставляет ночной прохладе обнаженные плечи. «Обними, погладь мои плечи, я рядом, коснись — слышишь, как бьется мое сердце?»

«Нет, нет, я не смотрю, я не смею. Я даже бросил сигару куда-то в потемки, — только бы не было заметно, что меня трясет, как в ознобе».

«Damn[1], Мери, да не гладьте вы свои плечи, мне кажется, будто я их глажу».

«...Я понимаю. Я это чувствую. У вас такие горячие руки, словно вы грелись на солнце. А у меня дрожат пальцы, почему? Ведь я спокойна, совершенно спокойна. Я знала, что это придет. Когда я догадалась? Вам ни к чему знать об этом... Сразу, как только я вошла в комнату и вы встали... Такой большой, а не знает, чей он!»

Человек на балконе вздыхает.

«О, мистер Кеттельринг, please[2], какие глупости, ведь это в вас самое прекрасное. Хочется взять вас за руку и сказать: «Dear littl'boy[3], чей ты, мальчик?» Хочется поцеловать вас или приласкать. Я думаю, это материнский инстинкт».

«Очень благодарен».

«Нет, не верьте мне. Я вас боялась. В вас есть что-то таинственное и отпугивающее. Словно вы в маске. Это волнует. Когда вы со мной заговорили в саду, я чуть не удрала, так мне было страшно!»

«Beg your pardon[4], я, собственно, совсем не хотел...»

«А я хотела, чтобы вы подошли, разве вы не поняли? Глупые испанские обычаи не позволяют мне сидеть с вами за столом. Приходится видеть вас только украдкой... Как странно... сердце стучит, словно я грешу... Хэлло, вы еще там?»

«Да, я здесь. Не смотрите сюда, не то я прыгну вниз, Мария Долорес».

Она поспешно закрывает плечи шелковой шалью с длинной бахромой и снова становится темноволосой кубинкой, которая сладко жмурится в темноте, опуская длинные ресницы, и ни о чем не думает, только ждет.

---

[1] Проклятие (*англ.*).
[2] пожалуйста (*англ.*).
[3] Милый маленький мальчик (*англ.*).
[4] Простите (*англ.*).

«Вы понимаете, на юге редко встречаешь белых женщин. Вы и не представляете себе, как это прекрасно и вместе страшно — вдруг почувствовать уважение к женщине. Хочется опуститься на колени и не поднимать глаз. Ах, сеньорита, я все готов сделать, лишь бы вы подарили мне свой платочек. Я упаду на колени и буду безгранично счастлив».

Глаза юной кубинки сияют, а шаль медленно-медленно сползает с ее плеча, видна лишь узкая полоска смуглой руки, но для Кеттельринга это сейчас больше, чем когда-либо раньше женская нагота...

Наверное, летучая мышь зигзагом пронеслась мимо, овеяла девушку ветерком; Мария вздрогнула, скрестила руки на груди и отступила внутрь комнаты.

А потом... о, уже рассвет, в саду прощебетала сонная птичка. Американская студентка осторожно, на цыпочках, подходит к окну и смотрит на балкон. Да, да, там и сейчас тлеет алый огонек сигары, там неподвижно стоит человек, ухватившись за перила. Девушка вздыхает — она счастлива, а сердцу б о л ь н о, — и долго еще она сидит на краю постели, рассеянно улыбаясь и глядя на свои округлые белые ноги.

XXXII

Я себе не представляю этого иначе. Весь день, как назло, ей не удавалось увидеть Кеттельринга. Камагуэно утащил его в контору, а потом куда-то обедать. Кеттельринг был рассеян, отвечал невпопад; принципалу пришлось вытягивать из него сведения о делах, а este hombre плел какую-то чепуху и путал Барбуду с Тринидадом. Кубинец не спускал с него испытующих, глубоко запавших глаз и посмеивался, позабыв о боли в печени. Ужинали они опять вдвоем. Камагуэно пожелтел от боли, но и не думает подниматься из-за стола, а все подливает гостю рому. Пейте, Кеттельринг, какого черта, да пейте же! Итак, что же с сахаром на Гаити? Но Кеттельрингу сегодня изменила его отличная память, он запинается, молчит...

— Так пейте же, приятель!

Наконец Кеттельринг встает, стараясь прочно стоять на ногах.

— Я выйду в сад, сэр. Голова болит.

Камагуэно удивленно поднимает брови.

— В сад? Как угодно. — И снова широкий жест, будто все здесь принадлежит дорогому гостю. — Между прочим, Кеттельринг, как ваша память?

— Моя память, сэр?

Глаза кубинца суживаются.

— Знаете вы теперь, хотя бы, кто вы?

Кеттельринг резко оборачивается.

— По-моему, сэр, я довольно хорошо известен, как... мистер Кеттельринг.

— Это верно, — бормочет кубинец, задумчиво уставясь на свою сигару. — Вот досадно, что вы даже не знаете... ну, скажем... не женаты ли вы, а? — Он с усилием встал и прижал руку к правому боку. — Доброй ночи, мистер Кеттельринг, желаю вам доброй ночи.

Кеттельринг все же покачивался слегка, выходя в сад. Бледная трепещущая девушка ждала его там, кутаясь в шаль. Позади нее, в тени, стояла старуха мексиканка, озабоченно и сочувственно помаргивая. «Ага, дуэнья», — сообразил Кеттельринг. Все плыло у него перед глазами — длинные тени, розовый водопад цветущих коралит, которые одуряюще благоухали, девушка в шали с длинной бахромой.

Мария взяла его под руку и повела в глубь сада.

— Представьте себе, — сбивчиво и взволнованно заговорила она, — они не хотели отпустить меня сюда. — Американская девушка в ней была оскорблена этим до глубины души, а кубинка в гневе сжимала кулачки. — Я буду вести себя, как захочу, — запальчиво грозила она, но это была неправда. Во всяком случае, так она не хотела, не собиралась поступать: в тенистой глубине сада шаль соскользнула у нее с плеч, и сама она повисла на шее человека, который зашатался в отчаянии; Мария подняла к нему лицо, ее полуоткрытые губы молили о поцелуе.

— Здесь служанка, сеньорита! — предостерегающе бормочет Кеттельринг, сжимая девушку в объятиях, но Мария лишь качает головой и тянется к нему губами, влажной тенью губ: возьми, выпей! Она оцепенела, глаза у нее закатились, и вдруг она бессильно опустила руки и поникла в его объятиях. Кеттельринг отпускает ее. Едва удержавшись на ногах, девушка закрывает лицо руками, беззащитная, покорная. Он поднимает шаль и накидывает ей на плечи.

— Сейчас вы пойдете домой, Мери. А я... я еще вернусь. Не как Кеттельринг, а как мужчина, который вправе прийти за вами. Вы понимаете меня?

Она стоит, склонив голову.

— Возьмите меня с собой... сразу, сейчас!

Он берет ее за плечи.

— Идите домой. Свидетель бог, насколько мне тяжелее, чем вам.

Она послушалась — лишь бы чувствовать на плече его горячую тяжелую руку.

Из-за кустов выступил высокий пеон.

— Va, сеньорита, — хрипло говорит он. — Adentro! [1]

Она оборачивается к Кеттельрингу и смотрит на него сияющими глазами.

— Adiós! [2] — произносит она тихо и протягивает руку.

— Я вернусь, Мери, — подавленно бормочет este hombre, сжимая ее пальцы.

Девушка вдруг быстро наклоняется и влажными губами целует его руку. Кеттельринг чуть не вскрикивает от ужаса и любви.

— Va, va[3], сеньорита! — хрипит пеон, отходя в сторону.

Мери крепко прижимает руку Кеттельринга к своему сердцу и подставляет ему губы.

— Adios! — шепчет она, целуя его в губы, и по щекам ее бегут слезы.

Старая индианка берет ее за талию.

— Ay, ay, señorita, va a la casa, va a la casa[4].

Мери покорно уходит, словно незрячая, бахрома ее шали волочится по земле.

Кеттельринг стоит как истукан, комкая в руке крохотный, благоуханный кружевной платочек.

— Va, сеньор, — словно утешая, бормочет пеон.

— Где камагуэно?

— Ждет вас, сеньор. — Пеон чиркает спичку о брюки и дает Кеттельрингу прикурить. — Вот там.

Старый кубинец сидел за столом и считал деньги. Кеттельринг посмотрел на него и усмехнулся.

---

[1] Идите в дом! (*исп.*).
[2] Прощайте! (*исп.*).
[3] Идите, идите (*исп.*).
[4] Домой, сеньорита, домой (*исп.*).

— Это для меня, не правда ли?

Камагуэно поднял глаза.

— Да, для вас, Кеттельринг.

— Жалованье или доля прибыли?

— Все вместе. Можете проверить.

Кеттельринг сунул деньги в карман.

— Но знайте, камагуэно, — очень отчетливо произнес он. — Я приду за ней.

Кубинец побарабанил пальцами по столу.

— К сожалению, в документах Кеттельринга значится, что он женат. Что поделаешь!

— Кеттельринг больше не вернется, — медленно возразил este hombre.

Камагуэно насмешливо взглянул на него.

— Ну конечно, документы всегда можно купить по сходной цене, не так ли? За несколько долларов.

Este hombre без приглашения сел и налил себе вина. Сейчас он был трезв как никогда.

— Может быть, и так, камагуэно, — сказал он. — Может быть, иначе не выйдет. Но крупное состояние не хуже доброго имени, вы не находите?

Кубинец покачал головой.

— У нас, на Кубе, доброе имя ценится слишком дорого.

— Сколько приблизительно?

Кубинец усмехнулся.

— Эх, Кеттельринг... я могу еще называть вас так? Ведь вы сами знаете, каково примерно мое состояние.

Кеттельринг свистнул.

— Будьте благоразумны, камагуэно! Столько я не заработаю за всю жизнь.

— Верно, не заработаете, — усмехнулся кубинец. — Теперь уже не прежние времена, и они не вернутся.

Кеттельринг снова налил себе вина и задумался.

— Вы правы, сэр. Но если за несколько лет ваше состояние изрядно уменьшится, тогда... тогда мне легче будет догнать вас, а?

Оба пристально посмотрели друг на друга. Итак, козыри теперь на столе.

— Представьте себе, камагуэно, что есть человек, который знает все ваши дела и сделки как свои пять пальцев. Он ведь может кое-что предпринять, а?

Кубинец протянул руку к бутылке, позабыв о своей больной печени.

— Без денег, — сказал он, — ничего предпринять нельзя.

Кеттельринг указал на свой карман.

— Для начала мне хватит, сэр.

Камагуэно показал в усмешке длинные желтые зубы. Но глаза его превратились в узкие, скрывающие злобу щелки.

— Желаю удачи, Кеттельринг. Я дал вам кучу денег, а? Ну, ничего не поделаешь. Salud! [1]

Кеттельринг поднялся.

— Я еще вернусь, камагуэно!

— Adios, muy senor mio! [2]

Хозяин поклонился на старинный кубинский манер, провожая дорогого гостя до дверей.

— Покойной ночи, сеньор, покойной ночи!

Высокий пеон захлопнул за Кеттельрингом решетчатую калитку.

— Покойной ночи, сеньор.

И пациент Икс уходит. Он идет мимо ограды из цветущей бугенвилеи по дороге, белеющей в звездной ночи, как Млечный Путь...

XXXIII

Теперь это уже не апатичный человек, равнодушно созерцающий калейдоскоп гаваней и плантаций. Теперь это муж, который отправился завоевывать, боец с высоко поднятой головой, нетерпеливый возлюбленный с напряженными, почти звенящими мускулами. Он словно родился заново. А на самом деле, не в этом ли высочайшая эротика любви? Разве не рождаемся мы из груди и чресел женщины, которую любим, и не для того ли ее лоно жаждет нас? Отныне ты мой, ибо тебя, молодого и прекрасного, я родила в муках. И разве свершение любви не становится для нас началом новой и цельной жизни? Иллюзия, скажете вы. Но не порождена ли иллюзия столь же глубокими причинами, как и разочарование?

Итак, последуем за Кеттельрингом сначала на Гаити. Там, говорят, есть болото с залежами черного битума.

---

[1] Привет! (*исп.*).

[2] Прощайте, сеньор! (*исп.*).

Зловоние, мол, там такое, что не выдерживают ни птица, ни жаба, ни даже негр. Кеттельринг отправился туда верхом из... скажем, из Гонаивы, но вынужден был оставить лошадь на дороге и вместе со своими неграми прорубать мачете путь в колючих зарослях и острой, как бритва, траве. Негры вскоре разбежались, пришлось вернуться за ними и заплатить им втрое. Прекрасная плата не спасла их от гибели, двое негров умерли по дороге, одного укусила змея, с другим приключилась какая-то чертовщина — начались судороги, изо рта ползла желтая пена, и он испустил дух, — видимо, это было отравление. Но негры уверяли, что его умертвили злые духи джамбо, и отказались идти дальше. Наконец Кеттельринг добрался до болота и увидел, что не так уж оно страшно. Над болотом вились тучи комаров — стало быть, живые существа могут здесь дышать. Но место было жуткое — черная, гнусная трясина, прокаленная солнцем; кое-где булькает и пенится нестерпимо зловонная жижа.

Кеттельринг вернулся в Гонаиву, купил эти участки и подписал контракт с каким-то жуликоватым мулатом на постройку дороги к «Асфальтовому озеру», как Кеттельринг несколько пышно назвал свое болото. После этого он уехал... скажем, в Пуэрто-Рико.

И вот Кеттельринг начал свою игру. Игру против камагуэно, то есть против сахарного тростника. Раньше он не раз писал старому кубинцу, что конъюнктура на сахар будет ухудшаться, но камагуэно не хотел этому верить. Дни высокой конъюнктуры на сахарном рынке сочтены. Можете но сомневаться, что старый лис прогорит на этом. Кеттельринг знал людей, которые охотно купили бы земельные участки камагуэно, его долю в деле или одно из его предприятий. Он повидался с этими людьми и осведомился, сколько они намерены дать за покупку. Столько-то? Ладно, гарантирую вам, что вы заплатите половину. И за это дадите мне такой-то куртаж. Кубинец по уши увяз в сахаре, ему придется продавать в спешке, чтобы хоть как-нибудь выкарабкаться. Но надо еще немного поприжать его. Кеттельринг устремился на Барбуду, в Бас-Тер, на Барбадос и Тринидад и обнаружил там, что камагуэно уже почуял опасность и начал сбывать товар, стремясь спасти свои капиталы. Кеттельринг, засучив рукава, ринулся в бой. «Погодите, погодите, — уговаривал он дельцов, — предложите ему четверть цены, расторгайте

контракты, не уступайте ему, жмите изо всех сил! Предстоит небывалый сахарный крах. Сахарные заводы и плантации будут продаваться за гроши. Цены на сахар катятся вниз, треть нынешнего урожая лежит на складах. Куда его денешь, его даже не сожжешь, разве что выкинуть в Атлантический океан... Заварим кашу да подсластим ее, господа!»

Сахарный крах нарастал, как лавина, всякий старался избавиться от сахара, продать, продать во что бы то ни стало! Вот пусть теперь старый камагуэно попробует найти покупателей на свои плантации и сахарные заводы! Что правда, то правда, старик оборонялся умело, но и в его предложениях уже чувствуется смятение. Хотел бы я видеть, как ходят сейчас вверх и вниз его мохнатые брови! М-да, крах разорит немало людей, но что поделаешь? А разве кто-нибудь щадил беднягу Пьера? Старые плантаторы бродят, повесив нос, не понимая, что творится. Никто не покупает у них ни сахарного тростника, ни кофе, за ваниль платят гроши, бананы гибнут от Панамской болезни. И даже нельзя уехать отсюда, потому что никто не покупает обработанной земли и не берет ее в аренду. И этот край несколько лет назад называли Золотыми Антильскими островами!

Наконец камагуэно сдался. У него был хороший нюх, он не стал ждать самого худшего и продавал за любую цену. Черт побери, ему все-таки удалось спасти треть своего состояния. Кеттельринг удовлетворенно вздохнул: денег у него оставалось уже немного. Хоть он и получил условленный куртаж, но расходы были большие, приходилось много тратиться ради престижа и то и дело щедро вознаграждать тех, кто помогал ходу событий. Теперь на очереди асфальт.

Асфальт — не такой товар, который может производить кто и где угодно, это не какой-нибудь сахар или кофе. На асфальт можно сделать ставку. Итак, ставлю на черное против белого!

Кеттельринг закупил котлы и бочонки, приобрел старую узкоколейку и опять поехал на Гаити.

Милый доктор, я отдохну, как только вернусь домой, вдохну запах можжевельника и тимьяна, возьму в руки богородичную травку. Чужбина всегда рождает в нас ка-

кое-то беспокойство. Я наверняка стал бы революционером, если бы не жил на родной земле. Здесь же — я подразумеваю Антильские острова — я острее чувствую бесправие и ужасы жизни... или, по крайней мере, ненавижу их сильнее, чем дома. Если бы я действительно написал свою повесть, в ней не обошлось бы без героя в распахнутой рубахе, с ружьем на веревке вместо ремня. Этим партизаном, этим мстителем и яростным ненавистником всяческих кеттельрингов тоже был бы я. Но ничего не поделаешь — видно, не суждено. Дома, усевшись на цветущей меже, я вдохну ее умиротворяющий аромат, и ужасы и ненависть испарятся в душе моей, и я уроню полевой цветок, цветок севера, на могилу мулата в распахнутой рубашке, того, кто пал где-то на Островах в борьбе против интересов Коммерции.

XXXIV

И вот тут-то Кеттельрингу перестало везти. Скажем так: мулат-подрядчик бросил дорогу недостроенной и удрал, прельстившись лаврами танцора варьете. Кеттельринг начал строить дорогу сам, и это обходилось ему очень дорого, потому что он очень спешил. Заставить негров возить камни на тачках оказалось попросту невозможным; эти черномазые, положив камень на голову, несли его, словно корзину с ананасами. На тачках они катали девушек, те визжали и дрыгали ногами от восторга. Набить бы им морды, чтобы оборвать этот дурацкий смех! За колоннами рабочих тянулись толпы девушек. По ночам под звуки гитар и тамтамов они плясали танец живота, а Кеттельринг терзался отчаянным нетерпением, но не отваживался понукать этих скотов, как ему хотелось: экономический кризис давал себя знать и на Гаити и отразился здесь очень своеобразно — негры в небывалой степени предались вудуизму. Чуть ли не каждую неделю они бесновались на лесных просеках и возвращались с оргий, как т е н и , — изнуренные, одичалые. Кеттельринг даже ночью не выпускал револьвера из рук, прислушиваясь к шлепанью босых ног. По соседству пропало двое или трое детей. Кеттельринг старался не думать об этом. Даже чернокожие полицейские, босые, но в расшитых золотом эполетах, явившиеся из Гонаивы расследо-

вать это дело, предпочли не найти в джунглях каменный жертвенник, хотя к нему вели хорошо протоптанные тропинки.

Месяц проходил за месяцем, средства Кеттельринга таяли вместе со здоровьем. Его мучили фурункулы и лихорадка, но он не ехал лечиться, опасаясь, что без него негры разбегутся со стройки. Злыми, ввалившимися от ненависти глазами он следил за этим сбродом и сиплым голосом отдавал распоряжения. Дорога еще не была закончена, а он уже поселился у асфальтового болота, в хижине на сваях, чтобы руководить прокладкой узкоколейки. Но тем временем в Гонаиве разворовали его рельсы, лежавшие в гавани. Бог весть, кому они понадобились!

Вся местность около Асфальтового озера пропахла сероводородом. Желтая трясина бродила, пучилась и гнила, как гигантская запущенная болячка, дышала жаром, как кипящий котел смолы. На каждом шагу ногу засасывало в полужидком, трясущемся, хлюпающем битуме.

Наконец дорогу дотянули до болота, и Кеттельринг поехал в Порт-о-Пренс раздобыть кредит, купить грузовики и бочки, нанять шоферов и надсмотрщика. Когда он вернулся, на стройке не было ни души. Ходили слухи, что в болоте поселился черт и взбаламутил всю трясину так, что она ходуном ходила. Кеттельринг с превеликими трудностями нанял несколько паршивых и недужных негров с воспаленными глазами и начал копать асфальт. Битум оказался черный, блестящий — glancepitch [1] самого высшего сорта. Но с перевозкой дело обстояло хуже: один грузовик мулат разбил, когда перевозил котлы и бочки из Гонаивы, вторая машина заехала в болото и через несколько дней бесследно исчезла в нем. Для доставки асфальта в порт остался всего-навсего один грузовик. Кеттельринг сам торчал у котлов, следя за тем, чтобы битум хорошо выварился. Он стал черный и грязный, как кочегар, и, сидя у этого адского огня, трясся от малярии. Впрочем, малярией тут страдали все, — ничего не попишешь. Он уже больше не брал в руки кружевной платочек, чтобы не испачкать его, и не думал ни о чем, кроме асфальта. «Ну, теперь дело на мази!» И Кеттельринг,

[1] высококачественный асфальт (*англ.*).

щуря воспаленные от жары глаза, чертит в воздухе воображаемые заводы, которые будут построены здесь. Haiti Lake Asphalt Works («Компания по эксплуатации Асфальтового озера на Гаити»).

Не обошлось, конечно, без неприятностей. Взять хотя бы того мулата, что возил бочки в Гонаиву. Вечно у него были неполадки, а он еще нахально ухмылялся — мол, плохая машина, сэр, и плохая дорога. Кеттельринг прогнал его и стал отвозить бочки с асфальтом сам, радуясь, что их все прибывает. Сто бочек, еще сто и снова сто, вот это здорово! Но уволенный мулат был стреляный воробей; он стал шляться около Асфальтового озера и болтать неграм об условиях труда и бессовестных иностранцах. Однажды к Кеттельрингу пришли четыре негра, долго переминались с ноги на ногу, подталкивая друг друга, и наконец объявили, что пусть-де хозяин примет мулата в надсмотрщики, иначе...

Кеттельринг побагровел.

— Что «иначе»?! — спросил он и взвел курок револьвера.

Началась забастовка. Организованная забастовка наряду с каннибальскими обрядами, но нынче так бывает. У Кеттельринга осталось всего несколько человек, настолько слабых, что они не дошли бы до дому. Кеттельринг остервенел, он схватил кирку и, по колени в грязи, сам начал откалывать глыбы асфальта и, хрипя от натуги, таскать их к котлам. Больные негры глядели на него, разинув рот, и не смели взять мотыги в руки. Наполнив котел, Кеттельринг не выдержал: «Пьер, Пьер!» — всхлипывал он и бил себя кулаком по голове. После этого и больные негры разбежались.

Еще два дня Кеттельринг провел у покинутого асфальтового котла, глядя, как ямы постепенно вновь заполняются битумом. Тысячи, сотни тысяч асфальта! Сотни и тысячи бочек ждут покупателя!

Потом Кеттельринг завернул в кружевной платок кусочек сырого и кусочек вываренного, блестящего, как антрацит, асфальта, и на дребезжащем порожнем грузовике поехал в Порт-о-Пренс. Там он проспал двое суток как убитый.

И вот он снова перед кованой решеткой особняка камагуэно. И снова стучит молоточком.

— Отворите, отворите!

Долговязый пеон стоит за решеткой, но не открывает.

— Que desea, señor? [1]

— Мне нужно немедля поговорить с хозяином, — хрипит Кеттельринг. — Откройте!

— No, señor [2], — бурчит старый слуга. — Мне не велено вас впускать.

— Скажите ему, — настаивает Кеттельринг, — скажите ему, что у меня к нему есть дело, выгодное дело. — И он постукивает кусочками асфальта. — Передайте ему...

— Нет, сеньор.

Кеттельринг трет себе лоб.

— А можете вы передать письмо?

— No, señor.

Тишина, вечер, благоухают цветущие коралиты.

— Buenas noches, señor [3].

И опять на юг, на острова Пуэрто-Рико, Барбуда, Гваделупа, Барбадос, Тринидад и Кюрасао. Янки, британцы, французы и голландцы, креолы и метисы. У Кеттельринга всюду есть деловые связи — одних он когда-то брал за глотку, с другими организовывал сахарный крах; когда он приходит, они уже знают, с кем имеют дело. Кеттельринг показывает два кусочка асфальта в кружевном платочке: поглядите, какой асфальт, черный, блестящий, как зрачок. Там тысячи, сотни тысяч тонн асфальта, целое озеро. Можно заработать миллионы. Хотите быть моим компаньоном?

Дельцы чешут затылок и вздыхают. Трудные времена, мистер Кеттельринг. Даже на асфальт нет спроса. На Тринидаде, говорят, увольняют рабочих.

Похоже, что, потеряв веру в сахар, люди изверились во всем. Нет, нет, сударь, ничего не поделаешь. Ни цента, ни пенни я не вложу в эти распроклятые острова. (Какое, однако, замечательное изобретение — колонии. Открыть страны, которые для нас не родина, а всего лишь «эксплуатационное пространство». Какой простор для предпринимательских дарований!)

Кеттельринг тащится на пароходе из порта в порт. Днем он спит, а по ночам стоит на носу судна, как

---

[1] Что вы хотите, сеньор? (*исп.*).

[2] Нет, сеньор (*исп.*).

[3] Доброй ночи, сеньор (*исп.*).

столб, — хоть трос привязывай. Вокруг тяжелая темно-синяя ночь, прорезанная зарницами, искрящаяся звездами. Шумит и светится море, черное, как антрацит. Сплошной асфальт, сударь, миллионы и миллиарды тонн, можно сколотить громадное состояние. Пароход еле ползет, вздрагивая, словно ему трудно двигаться... словно винт с трудом вращается в густой, маслянистой, липнущей к лопастям массе, черной, как нефть... Черный пароход медленно плывет по безбрежному асфальтовому озеру, густому, как каша, которое медленно смыкается за кормой.

Покойной ночи, сеньор!.. А там, над головой, Млечный Путь, похожий на ночную дорогу, светлую дорогу среди лиловой бугенвилеи и синих гроздьев петреи. Какой аромат, как благоухают крупные розы и жасмин! Кеттельринг прижимает к губам измятый кружевной платочек, от которого пахнет асфальтом и чем-то далеким, далеким. Я вернусь, Мери, я вернусь!

Но все с недоверием покачивают головами. Ничего не поделаешь, мистер Кеттельринг, нет кредита, ни к чему душа не лежит... Вот и на Доминике прикрыли добычу асфальта. Но подождите лет этак десять — двадцать, тогда другое дело, не может ведь этакая мерзкая конъюнктура длиться вечно.

Итак, остается один-единственный путь — к господам из Trinidad Lake Asphalt Company [1]. На Тринидаде еще действует канатная дорога, вагонетки везут бочки с асфальтом прямо в трюмы пароходов. Но и тут дело идет со скрипом. Заправилы компании даже не предложили Кеттельрингу сесть, когда он, утирая пот со лба, развернул перед ними кружевной платок с двумя кусочками асфальта. Господа даже не взглянули на асфальт.

— К чему это, мистер... м-мм... мистер... вы, кажется, сказали Кэтлеринг? Наших залежей хватит по меньшей мере на пятьдесят лет, мы вполне можем удовлетворить мировой спрос. В наши разработки вложено столько денег, — зачем же открывать еще новые?

— Но мой асфальт лучше. В нем меньше воды, меньше ила... из него сочится тяжелая нефть.

В ответ засмеялись.

---

[1] Компания «Тринидадский асфальт» (*англ.*).

— Тем хуже, мистер... мистер Кэттль. А нельзя ли эти месторождения... ну, скажем, затопить водой? Чтобы их вовсе не было. Если да, то мы, возможно, купим их, разумеется, за обычную цену земельных участков на Гаити. Good-bye [1], мистер Клинг!

(Good-bye, good-bye! Наконец-то я разделался с этим асфальтом, и мне стало сразу легче. В мире торговли и сделок я всегда теряюсь, он более чужд мне, чем даже болота с аллигаторами, но что поделаешь, я очутился в нем, как в джунглях, я чуть не потерял Кеттельринга; ну, а теперь мы снова нашли друг друга. Поверьте, и он найдет самого себя. Никто не познает себя вернее, чем неудачник. Слава богу, мы дома; это и мое возвращение: к человеку с пустыми руками, который ныне лишь обломок прожитой жизни...)

Вечером пациент Икс сидел в номере гостиницы для цветных в Порт-оф-Спейн, где было полно клопов и назойливых мух. Сквозь тонкую перегородку доносились звуки из соседних номеров: в одном жилец бормотал и жаловался во сне, в другом моряк обнимался с мулаткой. На весь отель грохотали тарелки, пререкались пьяные, слышался гогот, тяжелое дыхание и хрип, словно кто-то умирал.

Пациент Икс заправил в пишущую машинку фирменный бланк с надписью «Haiti Lake Asphalt Vor KS» и не спеша настукал: «Dear Miss Mary!» [2]

Нет, такое письмо нельзя писать на машинке!.. Кеттельринг, сутулясь, сидит над листом бумаги и слюнит карандаш. Отчаянно трудно начать, если ты давно — насколько хватает памяти — не писал вот так, от руки: надо выводить и соединять буквы по какому-то навыку, следуя очень тонким правилам. На машинке писать проще, не так мучительно, буквы не расплываются перед глазами... Кеттельринг низко наклонился над столом, как школьник, который пишет свой первый урок.

---

[1] Прощайте (*англ.*).

[2] Дорогая мисс Мери! (*англ.*).

— О-о-о-о! — стонет за стеной мулатка, а спящий за другой стеной задыхается, словно в агонии...

«Дорогая, самая любимая, единственная! Пишу Вам в первый и последний раз. Я обещал вернуться, приехать человеком с именем и состоянием. Сейчас у меня ничего нет, я потерял все и ухожу навсегда. Куда? Еще не знаю. Моя нынешняя жизнь кончается, и с меня хватит ее, начинать новую не хочется. Ясно лишь одно: Кеттельринга больше нет, и не к чему вспоминать, кто он такой. Знай я, что в мире есть место, где можно жить без имени, я поехал бы туда. Но ведь даже нищему надо иметь имя.

Любовь моя, единственная, какое безрассудство все еще называть Вас так, называть своей! Вы уже знаете, что я не вернусь. Знайте же и то, что я люблю Вас, как и в первый день нашей встречи, — нет, крепче, бесконечно крепче, ибо чем больше горя и неудач я пережил, тем сильнее становилась моя любовь».

Кеттельринг задумался: кто знает, ждет ли она еще меня? Прошло три года. Быть может, она уже замужем за каким-нибудь янки в белых туфлях. Что ж, пусть будет счастлива...

«Сам не знаю, верю ли я в бога, но складываю руки и молюсь за то, чтобы Вы были счастливы. Видно, миром правит мудрый бог, если он не связал Вашу судьбу с моей. Прощайте, прощайте, мы уже никогда не увидимся».

Кеттельринг еще ниже нагнулся над бумагой, слезы застлали ему глаза, он быстро подписал письмо и вдруг замер, как громом пораженный: он подписался не именем «Джордж Кеттельринг», а другим! В слезах, ничего не видя, он бессознательно написал свое настоящее имя, которого не помнил столько лет.

XXXV

Бывший мистер Кеттельринг не усидел в отеле и выбежал на улицу. И вот ночью он сидит в порту, на штабеле шпал, под присмотром негра-полицейского и, упершись локтями в колени, смотрит, как плещется черная вода. Теперь он все вспомнил и лишь наводит порядок в памя-

ти, словно тасует колоду карт — надо, чтобы они лежали ровно, по порядку, чтобы ни одна не торчала. И он переворачивает то одну, то другую: да, все на месте, нехваток нет. Странное это чувство — то ли облегчение, то ли бремя непосильных воспоминаний...

Вот, скажем, родной дом. Дом без матери, громадные комнаты с тяжелыми портьерами и солидной черной мебелью. Отец — большой, чужой и строгий; ему некогда заняться с сыном. Аккуратная, робкая тетушка: смотри, мальчик, там не садись, этого не бери в ротик, нельзя играть с такими грязными детьми. Полосатый красно-зеленый мячик — самая любимая игрушка, ведь она украдена на улице у заплаканного мальчугана, одного из тех сопливых счастливцев, которым разрешается бегать босиком, возиться в грязи и сидеть на корточках на песке.

Бывший Кеттельринг улыбается, глаза его сияют. Вот видишь, тетя, я все-таки побегал босиком, был грязен, как угольщик. Я ел огурцы «чучу», которые негритянка обтирала грязным подолом, ел незрелые гуайявы, подобранные на пыльной дороге... Кеттельринг чувствует что-то вроде злорадного удовлетворения: я все-таки поступил по-своему!

Потом он стал беспокойным подростком, чью врожденную грубоватость подавляло так называемое воспитание. Он начал понимать предназначение своего отца. Это предназначение — постоянно наживать деньги. Для этого нужны заводы. Предназначение отца в том, чтобы заставить работать на себя как можно больше людей, а платить им как можно меньше. Мальчик видит: рабочие валят толпой из ворот завода. От них исходит какой-то особый кисловатый запах. Ему кажется, что все они ненавидят его. Отец привык распоряжаться и покрикивать. Бог весть, как долго надо помыкать людьми и обижать их, чтобы накопить такое богатство. Пожалуй, не стоит оно всей этой злобы. Но что поделаешь, собственность — не мертвая материя, она хочет жрать, чтобы не сдохнуть, ее надо кормить. Со временем, мальчик, все это состояние будет доверено тебе, для того чтобы ты приумножал его, а не только владел им. Поэтому учись бережливости и старайся изо всех сил, ведь ты будешь принуждать людей усердно трудиться и довольствоваться малым. Я воспитываю в тебе делового человека, ращу из тебя слугу своего капитала.

Бывший Кеттельринг усмехнулся. Стало быть, умение распоряжаться людьми и не щадить их — это у меня от отца. Все-таки, значит, я кое-что унаследовал. А тогда... тогда все это очень не нравилось молодому человеку. Он был легкомыслен и ленив, быть может, лишь из протеста против того, что ему заранее определяли его будущее. Мы, мол, существуем не для самих себя, а для того, чтобы служить собственности: кто не служит своей собственности, будет служить чужой, таков закон жизни. И ты, мальчик, пойдешь по моим стопам.

Бывший Кеттельринг тихо засмеялся. Нет, он решительно не пошел по стопам отца. Он был только наследным принцем, который ждет, когда все владения перейдут в его руки. Но, как назло, он попал в дурную компанию... ну и все такое прочее. Конечно, влез в долги, правда, пустяковые, однако бросившие на него тень. Отец, дрожа от возмущения, допрашивал сына: что, мол, это значит, на что ты тратил деньги. Ты, мальчишка, думаешь, что я тружусь, чтобы ты, негодник, мог швырять деньги, которые я зарабатываю и коплю?

И тут сыночек взорвался. Разумеется, только из упрямства, своенравия, из необузданной вспыльчивости. Стиснув кулаки, он крикнул в лицо отцу: «Возьми свои деньги, подавись ими, мне они не нужны. Плевать мне на них, они мне противны, не воображай, что я буду таким рабом денег, как ты!»

Отец побагровел — удивительно, как его тогда не хватил удар. «Вон!» — прохрипел он, указав на дверь.

Сыночек демонстративно хлопнул дверью, и, конечно, прощай отчий дом!

Бывший мистер Кеттельринг покачал головой. Боже, как глупо! Мало ли бывает в семье таких стычек, черт побери! Но в этот раз, как говорится, нашла коса на камень. Сын больше не вернулся домой и даже не откликнулся на приглашение отцовского адвоката. Сей почтенный правозаступник в конце концов разыскал блудного сына в постели какой-то «теоретической и практической анархистки» и, так как молодой человек не пожелал с ним больше встречаться, вынужден был изложить ему суть своей миссии в этой неподобающей обстановке. Однако же адвокат выполнил свою задачу вполне непринужденно: он то укоризненно хмурился, то источал тактичную и снисходительную благосклонность, как бы со-

глашаясь с тем, что юность вправе быть мятежной, особенно юность столь многообещающего наследника.

— Ваш уважаемый папаша не желает вас видеть, пока вы не образумитесь, мой юный друг, — сердечно начал он. — Не сомневаюсь, что вы постараетесь образумиться и это вам удастся, ха-ха, не так ли? Между нами говоря, — продолжал он, благоговейно склонив голову набок, — состояние вашего уважаемого папаши (он чуть не сказал «уважаемое состояние») оценивается сейчас примерно в тридцать — тридцать пять миллионов. С *таким* состоянием шутить нельзя, молодой человек. — При этих словах адвокат принял чрезвычайно серьезный и торжественный вид, но тотчас снова оживился. — Ваш уважаемый папаша просил меня передать, что он согласен, через мое посредство, выплачивать вам до совершеннолетия известное содержание. — Он назвал сумму, почти жалкую; старый скряга и в справедливом гневе остался верен себе. — Если же вы и потом не проявите благоразумия, то, разумеется... — Адвокат выразительно пожал плечами. — Но я надеюсь, что суровая школа жизни будет для вас благотворна.

— Давайте-ка сюда эти денежки! — отозвался наследник тридцати миллионов. — И скажите старику, что я желаю ему многих лет жизни, пусть он меня подольше подождет.

Анархистка восторженно зааплодировала.

Почтенный адвокат игриво погрозил ей толстым пальцем.

— Смотрите, не вскружите голову нашему юному другу. Пусть позабавится, почему бы и нет, — но и только, понятно?

Девушка показала ему язык. Но сияющий благодушием адвокат уже сердечно жал руку блудного сына.

— Милый и дорогой друг, — сказал он растроганно, — мы все будем уповать на ваше скорое возвращение.

Блудному сыну тогда было восемнадцать лет. До совершеннолетия он пробавлялся, как умеют только молодые люди; сейчас он уже не помнит, как это ему удавалось, а главное, кому и сколько он остался должен. Ну конечно, Париж, Марсель, Алжир, Париж, Брюссель, Амстердам, Севилья, Мадрид и снова Париж... Насколько

ему было известно, после распада семьи отца ничто больше не удерживало, и он полностью предался прямо-таки патологическому стяжательству и мелочному старческому скопидомству. Бог с ним, пусть себе набивает мошну! Точно в день совершеннолетия перестало поступать скромное содержание. Блудный сын разъярился: «Думаете, я теперь приползу на коленях? Как бы не так!» Он попытался работать, но странное дело: именно теперь его постигли лишения и нужда, а когда он попробовал снова вести легкую жизнь, это уже не получилось, бедность наложила на него отпечаток, вызывавший недоверие к людям. Была у него тогда девушка, которая болела и осталась без работы. Ему было жалко ее и хотелось помочь. Он написал отцовскому адвокату, что просит на короткий срок несколько тысяч франков... и получил ровно столько, сколько стоит билет третьего класса из Парижа домой. В сопроводительном письме говорилось, что уважаемый папаша готов простить его, если сын проявит желание разумно трудиться дома, и так далее.

Пожалуй, именно в тот день блудный сын стиснул зубы и сказал себе уже без легкомысленной заносчивости: «Нет, лучше я сдохну с голоду».

Бывший мистер Кеттельринг, сидящий на бревнах в Порт-оф-Спейн на острове Тринидад, даже испугался: он сейчас вслух повторил эти же самые слова, но, произнося их, задумчиво покачал головой.

XXXVI

Сейчас Кеттельринг видит свое прошлое с поразительной ясностью: будь он тогда по-настоящему, действительно беден, он бы наверняка обосновался где-нибудь; возможность представлялась не раз, можно было, например, стать бухгалтером в Касабланке или коммивояжером по продаже перламутровых пуговиц в Марселе. Но представьте себе, что вы, наследник тридцати, сорока или пятидесяти миллионов, — бог весть сколько накопил за это время старик! — подвизаетесь в роли коммивояжера, который с покорным терпением уламывает грубого, пыхтящего лавочника взять тридцать дюжин пуговиц. Временами Кеттельринг остро сознавал комичность своего положения и не мог отнестись к нему всерьез, не мог усердно,

в поте лица выторговывать десяток франков или песет. По лицу его часто было видно, что он лишь забавляется своим делом, и это оскорбляло людей, да и сам он не раз развлекался такими провокационными выходками, что приходилось поскорей менять службу.

Каттельринг вспоминает об этом не без удовольствия. Недешево я вам достался, ослы. Может быть, у вас еще и сейчас дух захватывает от злости, когда вы вспоминаете дерзкого юнца, который был неучтив с вами: счастливо, мол, оставаться, плевать я на вас хотел.

Но сейчас, когда он размышляет об этом, ему кажется, что все это была какая-то призрачная, ненастоящая действительность: что бы он ни делал, его не покидало сознание, что все это временно, не всерьез, а как-то наугад и на пробу. Подлинным было упрямство, одно лишь упрямство, которое вело его и по верным, но чаще по ложным путям. В самом бедственном положении он не забывал, что многомиллионное состояние у него под рукой: только пожелай, потянись, и готово. Можешь позвякивать в кармане этим богатством, когда бродишь по улицам, бездомный и неустроенный, можешь ехидно подмигивать людям, которые сторонятся подозрительного бродяги... Знали бы вы, кто я такой... В кармане у меня миллионы, но мне не по средствам даже кружка пива. Есть там еще пять медяков, на них я куплю чайную розу.

Он вечно забавлялся своим положением. Разве можно забыть острое переживание в первый день попрошайничества! Помнится, это было в Барселоне, на площади Рамбле, где прыгали стаи воробьев... Старая дама с четками в руках испуганно воззрилась на улыбающегося парня. «Por Dios misericordia, señora» [1].

Бывший Каттельринг потер себе лоб. «Да, не вынес бы я такой жизни, будь это всерьез. Но ведь это была своего рода пустая игра. Я как бы пробовал, долго ли еще я выдержу, прежде чем сдамся и начну взывать о помощи. Какое мучительное и дразнящее ощущение — стоя на краю тротуара, алчно смотреть на прекрасных, нарядных женщин. Стоит мне захотеть, и вы будете моими, а сейчас вы, конечно, и не замечаете меня, стервы...» Как прекрас-

[1] Подайте, Христа ради, сеньора (*исп.*).

на ярость и освобождающее презрение ко всем и всему. Конечно, и к так называемой морали. Ибо есть добродетели бедняков и добродетели богатых, но нет морали для нищего проходимца, который не хочет разбогатеть.

Он не привязан к одному месту. Ведь кроме семейных уз и привычек, человека делает оседлым собственность или зависимость. Тот, кто презирает и нужду и деньги, подобен воздушному шару без привязи: он носится по воле господа бога и ветра. Да, бродяжничество — это, конечно, безумие, нарушение деятельности собственнических центров, нечто вроде потери чувства равновесия. Что ж, бродяжничай, глупец, если не можешь иначе...

Погоди-ка, есть еще кое-что, о чем надо вспомнить. Впрочем, это были просто сентименты и телячьи нежности. Или нет... Ну, скажем, глупость. Тогда я служил на корабле, и мы стояли в Плимуте. Вечерами я сиживал на холме, с девушкой из Барбикэна. Это было на острове Хоэ у полосатого маяка. Эдакая худенькая маленькая англичанка семнадцати лет. Она держала мою руку в своей и пыталась обратить на путь истинный меня, рослого, беспутного моряка. Бывший Кеттельринг вздрогнул. Ведь это было почти как... как с Мери... с Марией Долорес, которая держала меня за руку и старалась помочь мне найти свое «я»! О боже, стало быть, в жизни бывают знамения, а мы их не понимаем. Бывший моряк напряженно глядит на черную воду, но ему мерещится синий, прозрачный вечер на Хоэ, красные и зеленые огоньки буйков и морская гладь!.. Девушка держала меня за руку и прерывисто дышала. «Обещайте мне... обещайте мне, что вы исправитесь и... поселитесь здесь!» Она была работницей на какой-то фабрике. Сказать ей о миллионах, которые меня ждут? Да это была бы сказка из «Тысячи и одной ночи»... Признание чуть-чуть не сорвалось у него с языка, но он подавил его, как-то даже слишком торопливо... На прощание она поцеловала его испуганно и неловко, а он сказал: «Я вернусь...»

Судно ушло в Вест-Индию, и он не вернулся.

Так, ну вот теперь уже все, добрались до конца, слава богу.

— Нет, не в с е , — возражает какой-то суровый неумолимый голос— Вспомни, что произошло дальше.

— А что такое? Ну, я сбежал с корабля, дело было тут, на Тринидаде, как раз в Порт-оф-Спейне, верно?

— Да, а потом что?

— Потом я покатился по наклонной. Когда человек катится вниз, он не останавливается, ничего не поделаешь.

— До чего же ты докатился, скажи?

— Ну, я был портовым грузчиком, потом кладовщиком, бегал с накладными в руках.

— А еще что?

— Еще присматривал за неграми на Асфальтовом озере, чтобы они на работе даже пот утереть не смели.

— А еще чего-нибудь ты не забыл?

— Да... я был кельнером на Гваделупе и в Матансасе, подавал мулатам коктейли и лед...

— А похуже ничего не было?

Бывший Кеттельринг закрывает лицо горячими ладонями и стонет. Не надо об этом, не надо! Это была месть, моя месть за то, что мне дали пасть так низко. Знай же: я упивался своим унижением! Сволочи, сволочи, вот вам, подавитесь своими миллионами! Смотрите все, каков единственный сын и наследник миллионера!

Что ж, вспомним и это. Да, да, вспомним, он был сутенером у мулатки... Вот, теперь вы знаете. Он неистово любил ее... и водил к ней пьяных мужчин, к этой распутнейшей девке. И ждал на улице своей доли.

Вот так это и было.

Так было...

Бывший Кеттельринг низко опускает голову...

— Сидел там в кафе один янки. А я глупо ухмыляюсь и говорю ему: «Могу проводить вас к красотке, сэр... Мулатка, хороша собой...» Американец покраснел, вскочил, — видно, не мог стерпеть такого унижения белого и ударил меня по лицу, вот по этой щеке. — На щеке Кеттельринга проступило алое пятно. — Потом он бросил на пол скомканную пятидолларовую бумажку, а меня тем временем вытолкали на улицу. Но я вернулся за этими пятью долларами и, как собака, ползая на четвереньках, искал их...

Бывший Кеттельринг поднял глаза, полные ужаса. Разве это можно забыть?

Может быть, все-таки можно. Попытайся.

Я напился тогда как скот, но все же никак не мог забыться и бродил, сам не знаю, где... шел по дороге, похожей на Млечный Путь, среди изгородей из цветущей бугенвилеи... Да, да, именно там! Вдруг я услышал револьверные выстрелы, и кто-то на бегу столкнулся со мной. И тогда я наконец забыл все, что было...

XXXVII

Бывший Кеттельринг вздохнул. Ну вот, теперь все ясно, теперь, хоть убей, не может быть хуже. И подумать только, даже когда я лез на четвереньках за этими долларами, я не капитулировал, не крикнул мысленно: довольно, я сдаюсь, я вернусь домой с повинной... Я только пил и плакал над унижением человека. И это было... своего рода победой...

А теперь ты сдаешься?

Да, теперь я сдаюсь. И как охотно, боже, как охотно! Если хотите, чтобы я наплевал себе в лицо или снова пополз на коленях, я сделаю и это. Я знаю почему: ради нее, ради дочери камагуэно.

Или затем, чтобы взять верх над ее старым отцом?

Молчи, это неправда! Ради нее! Разве я не сказал ей, что вернусь, разве не дал честного слова?

Твое честное слово, сутенер!

Ну и пусть сутенер, зато я теперь знаю, кто я. Человек становится цельным лишь после поражения. Тогда он осознает: вот это бесспорно и подлинно, это неотвратимая действительность.

Это поражение?

Да, это поражение. Какое облегчение испытываешь, когда можно сдаться — сложить руки на груди и покориться...

Чему?

Любви. Быть униженным и побежденным и любить, вот тогда по-настоящему поймешь, что такое любовь. Ты не герой, а презренный, побитый сутенер. Ты ползал на четвереньках, как животное, и все же ты будешь облачен в лучшие одежды и на палец твой наденут перстень. В этом чудо. Я знаю, знаю, она ждет меня! И теперь я могу прийти за ней. О господи, как я счастлив!

Правда, счастлив?

Безмерно счастлив, даже в дрожь бросает. Коснись моего лица, смотри, как у меня горят щеки.

Только левая щека — на ней горит та пощечина.

Нет, не пощечина! Разве не знаешь ты, что Мери поцеловала эту щеку? Да, поцеловала и оросила ее слезами. Не знаешь? Это искупление всего прошлого... Скольких мук это стоило! Сколько было тоски, и потом этот адский труд. Все ради нее.

И пощечина тоже была ради нее?

Да, и пощечина! Она была нужна, чтобы свершилось чудо. Я приду за Марией. Она будет ждать меня в саду, как тогда...

...И положит свою руку на твою?

Ради бога, не говори о ее руке. Стоит напомнить мне о ней, и у меня дрожат пальцы и подбородок. Как она тогда взяла меня за руку своими нежными пальцами. Перестань, перестань!

И ты счастлив безмерно?

Да, нет... погоди, это пройдет, проклятые слезы... Неужели можно любить до беспамятства?! Если бы она ждала меня вон там, около того крана, я бы ужаснулся: «Боже, как далеко! Когда еще я добегу туда!» Если бы я даже держал ее за руку, за локти... боже, как далеко!

Значит, ты счастлив?

Где там, ведь ты видишь, что я с ума схожу! Когда же я увижусь с ней? Прежде надо вернуться домой, ведь правильно? Надо смириться, прийти с повинной и получить прощение... вернуть себе имя и личность... А потом снова за океан... Нет, это невозможно, я не переживу... нельзя ждать так долго!

А может быть, прежде съездить к ней и рассказать?..

Нет, этого я не могу, не смею, так нельзя. Я сказал ей, что приду за ней, когда у меня будет на это право. И я не могу обмануть ее. Прежде нужно домой, и только потом... Я громко постучу в ее ворота, я войду и с полным правом потребую: «Откройте, я пришел за ней!»

Негр-полицейский, уже долго поглядывавший на человека, который разговаривает сам с собой и машет руками, подошел поближе: «Эй, мистер!»

Бывший Кеттельринг поднял взгляд.

— Понимаете, — торопливо заговорил он, — прежде всего мне нужно домой... Не знаю, жив ли еще мой отец, но если жив, то, видит бог, я поцелую ему руку и скажу: «Благослови, отец, свинопаса, который рад был наполнить чрево свое рожками, что жрут свиньи... Я согрешил против неба и перед тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А он, старый скупец, возрадуется и скажет: «Этот сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся». Так сказано в Писании.

— Аминь! — произнес чернокожий полицейский и хотел отойти.

— Погодите минутку. Это значит, что блудный сын будет прощен, да? Ему простится распутство и утолен будет волчий голод его. Забыта будет и та пощечина... «Принесите лучшую одежду и оденьте его и дайте перстень на руку его...»

Бывший Кеттельринг встал со слезами на глазах.

— Думаю, что мой отец все-таки еще жив и ждет меня на склоне лет, чтобы сделать из меня богача и скрягу по образцу и подобию своему. Вы не знаете, да, вы не знаете, чем пренебрег блудный сын, не знаете, чем он жертвует... Нет, не жертвует, ведь она ждет! Я приду, Мери, я вернусь, но прежде нужно домой, домой...

— Я провожу вас, мистер, — сказал полицейский. — Вам куда?

— Туда, — широким жестом показал он на небо и на горизонт, где беззвучно сверкали зарницы.

Меня не покидает уверенность, что он не поехал морем. Поездка на пароходе слишком медленна и успокоительна, в ней нет стремительности. Я справлялся в авиатранспортных компаниях, есть ли воздушная связь с Тринидадом, и выяснил, что существуют регулярные рейсы из Европы в порт Натал и далее в Пара. Но они не знают, есть ли оттуда линия на Тринидад или на какой-нибудь другой пункт на Антильских островах. Стало быть, это вполне возможно, и потому я принимаю гипотезу, что пациент Икс избрал самый быстрый способ передвижения — по воздуху. Должен был избрать, ибо в последний раз мы видим его в низвергающемся самолете, объятом пламенем, — он достиг своей цели, достиг ее

с ужасающей стремительностью, как метеор... Да, он должен был лететь, он не сводил нетерпеливых глаз с горизонта... Пилот сидит неподвижно, словно спит. Эх, ударить бы его кулаком в затылок: проснись, лети быстрее! Каттельринг пересаживается с самолета в самолет, оглушенный, ошалевший от грохота моторов, охваченный лишь одним стремлением: скорей! На последнем аэродроме, почти уже у границ своей страны, напряженная струна быстроты вдруг лопнула: нелетная погода, буря. Пассажир рвет и мечет — это вы называете бурей?! Трусливые собаки, видели бы вы ураганы там, в тропиках! Ладно, я найму частный самолет, чего бы это ни стоило!

И снова судорожное, неистовое нетерпение, сжатые кулаки и зубы, стиснувшие краешек кружевного платка... И конец. Падение «штопором», огонь, запах горящего бензина и черное озеро беспамятства, сомкнувшееся густыми волнами...

Милый доктор, я охотно оказал бы вам честь, изобразив вас, вашу достойную, плечистую фигуру, склоненную над смертным одром пациента Икс. Я видел вас у его постели и все же сейчас никак не могу представить себе, что вы были там в этот момент. Поэтому разрешите мне еще раз отклониться от бесхитростной действительности и посадить на постель пациента Икс того лохматого, довольно несимпатичного ассистента. Он держит руку больного и внимательно щупает пульс, склонив свою пышноволосую голову. Красивая сестра не сводит глаз с его русых волос — она по уши влюблена в этого молодого, самоуверенного врача. Ах, растрепать бы, дергать эти волосы, а потом ерошить и нежно ласкать их...

Молодой врач поднимает голову.

— Пульс не прощупывается. Поставьте здесь ширму, сестра.

XXXVIII

Хирург дочитал рукопись и теперь машинально подравнивал страницы, чтобы ни одна не высовывалась из стопки листов.

Вошел старый терапевт.

— Жаль, что вы не пришли на вскрытие, — сказал он, — Интересный случай. Этот человек многое перенес... Видели бы вы его сердце!

— Расширенное?

— Да, расширенное. А вы знаете, что уже получены сведения? Пришла телеграмма из Парижа. Это был частный самолет.

Хирург поднял глаза.

— Ну, и?..

— Не знаю, как его фамилия, — в телеграмме искажение. Но он был зарегистрирован как кубинец.

Обыкновенная жизнь

Перевод
Н. АРОСЕВОЙ



— Да что вы говорите? — удивился старый пан Попел. — Неужели умер? От чего же?

— Склероз, — лаконично ответил доктор; хотел было упомянуть и о возрасте, да глянул искоса на старого Попела — и не сказал ничего.

Пан Попел призадумался; да нет, у него, слава богу, пока все в порядке, не чувствует он ничего такого, что указывало бы на всякое там...

— Стало быть, умер, — рассеянно повторил он. — А ведь ему, пожалуй, и семидесяти не было, правда? Немного моложе меня был. Я его знавал... Мы с ним детьми в школу вместе ходили. Потом долгие годы не виделись — только уж когда он в Прагу попал, в министерство, встречал его время от времени... раз или два в год. Был такой приличный человек...

— Хороший человек, — согласился доктор, подвязывая розу к палке. — Я с ним и познакомился в саду. Как-то, слышу, обращается ко мне кто-то через забор. «Простите, это какая же из семейства Malus [1] цветет у вас вон там?» — «Malus Halliana», — отвечаю и приглашаю его в сад. — Сами знаете, как могут сойтись два садовода. И после он иногда заходил ко мне, если видел, что я ничем не занят, — и все о цветах. Я даже толком и не знал, кто он, пока меня к нему не позвали. Тогда уже очень скверны были его дела. А садик отличный.

— Это на него похоже, — заметил пан Попел. — Сколько я его помню, был он такой порядочный, добросовестный человек. Прекрасный службист и прочее... А вообще-то ведь страшно мало знаешь о таких вот приличных людях, не так ли?

— А он это описал, — вдруг молвил доктор.

— Что описал?

— Свою жизнь. В прошлом году нашел в моих книжках биографию какой-то знаменитости, да и говорит: а надо бы, чтоб когда-нибудь описали жизнь обыкновенного человека. И как заболел, принялся записывать свою

[1] яблоня (*лат.*).

собственную жизнь. И когда... когда ему худо стало, отдал мне. Видно, некому больше было. — Доктор поколебался. — Хотите, дам почитать, раз вы его старый товарищ.

Старый Попел был даже тронут.

— О, очень мило с вашей стороны. Конечно, я охотно это сделаю для него... — Видимо, чтение это представлялось Попелу вроде некой услуги покойному. — Значит, он, бедняга, написал собственную биографию...

— Я сейчас принесу, — сказал доктор, осторожно отламывая пасынок на стебле розы. — Ишь как он хочет стать шиповником, этот цветок! Все время надо подавлять в нем другое, дикое начало... — Доктор выпрямился. — Ах да, я ведь обещал вам рукопись, — рассеянно проговорил он и, прежде чем уйти, — что он сделал с видимой неохотой, — окинул взглядом свой садик.

«Умер, значит, — уныло думал меж тем старый человек. — Видно, самое это обыкновенное дело — умереть, раз сумел с этим справиться даже человек такой правильной жизни. Но все-таки, верно, не очень-то ему хотелось, — может, потому и описал он свою жизнь, что сильно к ней был привязан. Скажите на милость: такой правильный человек, и вдруг — бац! — умирает...»

— Вот, возьмите, — сказал доктор, протягивая довольно толстую рукопись, аккуратно сложенную и тщательно перевязанную ленточкой — будто это была стопка завершенных дел.

Пан Попел растроганно принял рукопись и открыл первую страницу.

— И как чисто писано, — чуть не с благоговением выдохнул он. — Сразу видно чиновника старой школы! В его времена, сударь, не было еще пишущих машинок, все писали от руки; тогда очень ценили красивый, четкий почерк.

— Дальше пойдет уже не так чисто, — проворчал доктор. — Там он многое перечеркивал, спешил. Да и рука уже не так бегла и тверда.

«Как странно, — думал пан Попел. — Читать рукопись умершего — ведь это все равно что касаться мертвой руки. Даже в почерке есть что-то мертвенное... Не надо бы брать мне это домой. Не надо бы обещать, что прочитаю».

— А стоит читать все? — спросил он нерешительно.

Доктор пожал плечами.

I

Третьего дня опустился я на колени к расцветшей камнеломке, чтоб очистить ее от сорной травы, и у меня слегка закружилась голова, но это случалось со мной нередко. Быть может, именно головокружение и было причиной тому, что место это мне вдруг показалось прекраснее, чем когда бы то ни было: огнисто-алые колоски камнеломки и белые, прохладные султаны таволжника за ними — это было так прекрасно и чуть ли не таинственно, что голова моя пошла кругом. В двух шагах от меня сидел на камне зяблик, головку склонил набок и поглядывал на меня одним глазком: а ты, мол, кто таков? Я дышать боялся, чтоб не спугнуть его, и чувствовал, как стучит у меня сердце. И вдруг пришло это. Не знаю даже, как и описать, но было это удивительно сильное и верное *ощущение смерти.*

В самом деле, не умею выразить иначе; кажется, страшно стеснило дыхание или еще что-то, — но единственное, что я сознавал, была безмерная тоска. Когда меня отпустило, я все еще стоял на коленях, только в руках сжимал множество сорванных листьев. Это ощущение опало во мне, как волна, и оставило печаль, которая не была мне неприятна. Я чувствовал, как смешно дрожат мои ноги; осторожно пошел к скамейке сесть и, закрыв глаза, твердил про себя: «Ну вот и оно, вот оно». Однако ужаса никакого не было, только удивление, и еще мысль, что надо как-то с этим справиться. Позже я решился открыть глаза и шевельнуть головой. Господи, каким прекрасным показался мне мой сад — как никогда, никогда; да ведь ничего мне иного не надо, только сидеть вот так, смотреть на свет и тени, на отцветающий таволжник, на дрозда, который выклевывает червя. Давно когда-то — вчера — я говорил себе, что выкопаю весной два дельфиниума, зараженных плесенью, и посажу на их место другие. Теперь, видно, не успею, и на будущий год вырастут они, обезображенные словно проказой. И мне было жаль этого, жаль было еще многого; как-то был я размягчен и растроган тем, что предстоит мне уйти.

Меня мучила мысль, что, пожалуй, следует сказать об этом моей экономке. Она славная женщина, только всполошится, как квочка; ужаснется, замечется с распухшим от слез лицом, и все у нее будет валиться из рук. Ах,

к чему все эти неприятности, этот переполох; чем глаже пройдет, тем лучше. Надо привести в порядок дела, сказал я себе с облегчением; стало быть, есть, слава богу, занятие на несколько дней. Много ли труда привести в порядок дела, если ты — вдовец и пенсионер? Нет, видно, я уже не успею заменить дельфиниум и омолодить закутанное на зиму деревце барбариса, но в ящиках моего письменного стола будет порядок, и ничто в них не напомнит незавершенных дел.

Я для того записываю подробности этого мгновения, чтобы ясно стало, как и почему во мне родилась потребность *навести порядок в делах.* У меня было такое ощущение, словно я уже пережил нечто подобное, и не однажды. Всякий раз, как меня переводили по службе в другое место, я наводил порядок в письменном столе, с которым расставался, не желая оставлять после себя ничего недоделанного или перепутанного; в последний раз это было, когда я уходил на пенсию; я десять раз просмотрел каждый листок бумаги, все аккуратно сложил — и все медлил, все мне хотелось еще раз перебрать дела, не завалилась ли какая бумажка, которой не место здесь или по которой следовало что-то сделать. Я уходил на отдых после стольких лет службы, а на сердце было тяжело, и долго еще возвращалась ко мне забота — а вдруг да заложил я куда-нибудь что-то неоконченное, не подписанное последним «vidi»? [1]

Итак, я уже не раз переживал подобное, и мне стало легче теперь оттого, что вот могу заняться знакомым делом. Страх прошел, а удивление, вызванное во мне предощущением смерти, растаяло в чувстве облегчения оттого, что предстоит нечто очень хорошо знакомое. Думаю, для того люди и сравнивают смерть со сном или с отдыхом, чтобы придать ей видимость уже известного; для того и хранят они надежду свидеться на том свете с дорогими усопшими, чтоб не ужасаться этому шагу в неведомое; может, и последние-то распоряжения делаются для того, чтобы придать смерти подобие серьезного дела по хозяйству. Вот и нечего бояться: предстоящее обрело формы, хорошо нам лично известные. Просто наведу порядок в своих делах, не более; мне это, слава богу, вовсе не трудно.

---

[1] Видел (*лат.*).

Два дня перебирал я свои бумаги; теперь они сложены аккуратно и перевязаны ленточками. Там — все мол школьные табели, начиная с первого класса начальной школы; господи, сколько там пятерок, которые я с таким торжеством приносил домой и за которые отец гладил меня по голове толстой своей рукой, приговаривая: «Не сдавай, мальчуган!» Свидетельства о крещении, о рождении, о бракосочетании, приказы о различных назначениях — все аккуратно сложено, все налицо; я едва не перенумеровал их и не снабдил индексами. Затем все письма покойницы жены: их немного, ибо мы расставались редко и ненадолго. Немногочисленные письма друзей — вот и все. Несколько перевязанных стопочек в ящике стола. Больше делать нечего, разве что написать еще набело ходатайство: «Имярек, государственный служащий на пенсии, ходатайствует о переводе на тот свет. См. документы от А до Я».

То были тихие и почти приятные два дня, когда я занимался своими бумагами; если не считать болей в области сердца, мне полегчало, — быть может, причиной тому были покой, тенистая прохладная комната, щебет птиц за окном и старые, немного трогательные документы на столе: каллиграфически выписанные школьные табели, девичий почерк жены, плотная бумага служебных документов, — я рад был бы прочитать и увязать больше бумаг, да жизнь моя была обыкновенна; я всегда любил аккуратность и никогда не хранил ненужное. О господи, нечего даже приводить в порядок, — такой несложной и обыкновенной была моя жизнь.

Нечего больше укладывать, а во мне все еще сидит — как бы это назвать? — мания порядка. И я без нужды завожу часы, которые завел недавно, без нужды выдвигаю ящики — нет ли в них еще чего, не замеченного мною. Вспоминаю учреждения, в которых работал, — не осталось ли там чего-нибудь, чего бы я не завершил, не перевязал ленточкой? И уже не думаю я о зяблике, который глянул на меня одним глазком, словно спрашивая: а ты кто таков? Да, все готово, словно мне предстоит уезжать, и вот я жду, когда подадут машину; вдруг так пусто становится, не знаешь, что бы еще взять в руки, и озираешься в сомнении, — не забыл ли чего. Ну да, вот в чем дело: беспокойство. Я искал, что бы еще привести в порядок, — да нечего было; осталось лишь беспокойство —

не проглядел ли чего важного; глупость, конечно, но — вспухает, как страх, как физическая стесненность у сердца. Пусть так, больше нечего делать; а дальше-то что? И тут мне пришло в голову: наведу-ка я порядок в своей жизни, вот и дело. Одним словом, напишу обо всем, чтоб потом аккуратно сложить и перевязать ленточкой.

Сперва мне стало чуть ли не смешно: господи, к чему это, на что? Для кого будешь писать? Такая обыкновенная жизнь — о чем и писать-то? Но я уже знал тогда, что буду писать, только сопротивлялся еще — из скромности, что ли, или еще почему. Ребенком я видел, как умирала старуха соседка: мама посылала меня к ней, чтоб принести, подать ей что нужно. Это была нелюдимая старуха, никогда ее не видели на улице или разговаривающей с кем-либо. Дети немножко боялись ее за то, что была она так одинока. Раз как-то мама говорит мне: сейчас к ней не ходи, ее сейчас исповедует священник. Я не мог постичь, в чем может исповедоваться такая одинокая старая женщина; мне страшно хотелось прижаться носом к ее окошку, чтоб увидеть, как она исповедуется. А священник пробыл у нее почему-то до бесконечности долго. Когда я после зашел к ней, она лежала с закрытыми глазами, и на лице ее было такое покойное и торжественное выражение, что мне стало не по себе. «Вам что-нибудь нужно?» — еле выговорил я; она лишь покачала головой. Теперь я знаю: она тоже *навела порядок* в своей жизни, а это — священное дело для умирающих.

II

А правда: почему бы не описать и такую, совсем обыкновенную жизнь? Во-первых, это мое личное дело; быть может, не было бы потребности писать, если б было кому рассказать о себе. Иной раз в разговоре приплетется воспоминание о чем-то из прошлого — пусть всего лишь о том, что готовила на обед мама. Всякий раз, как упоминаю об этом, экономка моя сочувственно кивает, будто говорит: ах да, да, много вы пережили; я-то знаю, я тоже трудно жила. С нею невозможно говорить о таких простых вещах: слишком жалостливая у нее натура, и во всем она ищет, чем бы растрогаться. А другие слушают

твои воспоминания одним ухом, нетерпеливо, им самим хочется поскорее вставить: «А у нас, в мои молодые годы, было так-то и так-то...» Мне кажется, люди в известной степени хвастаются своими воспоминаниями; кичатся тем, например, что во времена их детства свирепствовала дифтерия или что они были очевидцами того страшного урагана, словно во всем этом есть их личные заслуги. Наверное, каждый испытывает потребность увидеть в своей жизни что-то примечательное, важное, что-то драматическое; вот и любят толковать об исключительных событиях, которые видели на своем веку, и ждут, что события эти сделают их самих предметом повышенного интереса и восхищения.

В моей жизни не случалось ничего из ряда вон выходящего и драматического; если и есть мне о чем вспоминать, так только о спокойном, естественном, почти механическом течении дней и лет, вплоть до последней точки, которая — впереди и которая, надеюсь, будет столь же мало драматической, как и все остальное. Должен сказать, что, оглядываясь, я просто нахожу удовольствие в том, что позади меня — такой прямой и ясный путь; в этом есть своя красота — как в хорошем, ровном шоссе, на котором нельзя заблудиться. Я почти горжусь, что дорога моя такая правильная и торная, могу окинуть ее единым взглядом до самого детства и еще раз порадоваться тому, что она так хорошо видна. Какая прекрасная, обыкновенная, неинтересная жизнь! Никаких приключений, ни борьбы, ничего исключительного или трагичного. То же славное и даже сильное впечатление, как, скажем, от хорошо налаженного механизма. Он остановится без всяких перебоев; не будет никакого скрипа, он закончит работу бесшумно и покорно. Так и должно быть.

Всю жизнь я любил читать. Сколько прочитал я книг о разных удивительных приключениях, сколько встретил в них людей трагических судеб, исключительных характеров — словно и писать-то больше не о чем, кроме как о необычных, исключительных, единичных случаях и историях! А жизнь между тем не из ряда вон выходящее приключение, жизнь — всеобщий закон; и все не обычное, не повседневное в ней — не что иное, как скрип в ее сочленениях. Не лучше ли славить жизнь в ее норме и обыденности? Неужели она — менее жизнь, когда ничто в ней не заскрипело, не застонало, не грозило разбиться?

Зато мы проделали массу работы, исполнили все обязанности — от рождения до смерти. Моя жизнь была вполне счастлива, и мне ничуть не стыдно того маленького, правильного счастья, какое находил я в педантичной идиллии моего существования.

Помню похороны в родном моем городке. Впереди — министранты в стихарях, с крестом; за ними оркестр — блестящий корнет-а-пистон, валторна, кларнет и самый красивый из них — геликон. И священник в белом облачении, в квадратной шапочке, и гроб, который несут шестеро мужчин, и черная толпа — все серьезные, торжественные и чем-то похожие на кукол. А надо всем этим высоко, мощно разливается траурный марш, вскрикивает корнет, жалуется кларнет, глухо рыдают трубы ангельские; траурная музыка заполонила улицу, весь городок, поднялась до неба. Все бросили свои дела и вышли из дверей, чтобы, склонив голову, отдать последний долг уходящему. Кто умер? Король, герцог или герой, что несут его так торжественно и высоко? Нет, он был мельником, дай бог ему вечное упокоение; хороший был человек и справедливый, да что ж — годы... Или он был колесник или скорняк; вот окончил свой труд человек, и это — его последний путь. Мне, маленькому, больше всего хотелось быть одним из министрантов, шагавших во главе процессии, или нет, лучше уж — тем, кого несут в гробу. Ведь это так торжественно, словно несут короля; все, все, склонив головы, воздают честь доброму человеку, соседу, на его триумфальном пути, колокола отзванивают ему славу, и флейта ликующе плачет — я готов был пасть на колени перед тем великим и святым, что зовется «человек».

III

Отец был столяр. Самое раннее мое воспоминание: сижу на теплых опилках во дворе мастерской, играю скрученными кудрями стружек. Подмастерье Франц улыбается мне, подходит с лучковой пилой: «А вот я тебе голову отрежу!» Наверное, я поднял крик, потому что выбежала мама, взяла на руки. Славный, многоголосый шум столярной мастерской обливает все мое детство: грохот досок, свист рубанка, натолкнувшегося на сучок, сухой шелест

стружек и режущий храп пилы; запах дерева, клея, олифы; рабочие с засученными рукавами; отец что-то чертит на досках толстыми пальцами, толстым столярным карандашом. Рубашка прилипла к его широкой спине, он пыхтит, склоняется над работой. Что это будет? Да шкаф; доска к доске, тут войдет в пазы — и выйдет шкаф; отец чутким пальцем проводит по граням, по внутренней части изделия — все ладно, гладко, как зеркало. Или это — гроб, тогда уж работают не так основательно; сколотят кое-как, наклеят резной орнамент, а теперь, братцы, покрасьте да отлакируйте как следует, чтоб блестело. Гробы отец пальцем не гладит — разве что делают богатый, дубовый, тяжелый, как рояль.

Высоко на сложенных досках сидит мальчонка. Куда другим мальчикам — им-то не сидеть так высоко, и нет у них таких игрушек — деревянных чурочек, шелковисто отливающих стружек. К примеру, у сына стекольщика нет ничего — стеклом-то, поди, поиграй. Брось сейчас же осколки, порежешься! — скажет мама. Или у маляра — тоже ничего интересного; разве что взять кисть да выкрасить стенку, так все равно олифа лучше, прочнее держится. Э-э, а у нас есть синяя краска, дразнится сын маляра, и все краски на свете! Но сынишку столяра с толку не собьешь. Подумаешь, краски, всего-то порошок в бумажных пакетиках. Правда, маляры за работой поют, зато столярное дело чище. На соседнем дворе живет гончар, но у него вообще нет детей; вот гончарное дело тоже интересное. Хорошо стоять, смотреть, как крутится круг, а гончар большим пальцем выравнивает мокрую глину — и получается горшок. У него во дворе горшков длинный ряд, они еще мягкие, и можно, когда гончар не видит, выдавить на них отпечаток детского пальца... А вот у каменотеса вовсе не так занятно: смотришь целый час, как он деревянной колотушкой бьет по долоту, а все ничего не видишь, и так и не узнаешь, как это из камня получается коленопреклоненный ангел со сломленной пальмовой ветвью.

Высоко на сложенных досках сидит мальчонка; досок много, до самых верхушек старых слив — ухватись руками, и вот ты уже на развилке ветвей; а это еще выше, чем доски, даже голова кружится от такой высоты. Теперь мальчик оторвался уже и от двора — он в своем собственном мире, и только ствол дерева связывает его

с миром столярной мастерской. Даже немного пьянит; сюда уж не явятся ни папа, ни мама, ни подмастерье Франц; и маленький человек впервые пьет вино уединения. А есть еще и другие миры, где ребенок — сам по себе, один; например, в штабеле длинных досок попадаются доски покороче, и вот вам маленькая пещерка, есть у нее и потолок и стены, и пахнет она смолой, теплым деревом. Никто сюда не пролезет, а для мальчика, для его таинственного мира здесь достаточно места. Или можно повтыкать щепки в землю — это забор; насыпать опилки, а в них вдавить горстку разноцветных фасолин — это курицы, а самая большая, крапчатая фасолина — петух. Позади дворика, правда, есть настоящий забор, и за ним кудахчут настоящие куры, и настоящий золотистый петух стоит, поджав одну ногу, и озирается пылающим глазом, но ведь это не то; мальчик сидит на корточках над крошечной оградой иллюзии, сыплет опилки и тихонько шепчет: «Цып-цып-цып!» Это — его хозяйство, а вы, взрослые, должны делать вид, будто ничего этого не видите, потому что если посмотрите — разрушите чары.

Впрочем, кое на что годятся и взрослые. Например, когда на колокольне костела пробьет полдень, работники перестают пилить, вытаскивают пилу из недопиленной доски и вольготно рассаживаются на штабеле — есть; тогда мальчик вскарабкивается на спину сильного Франца и садится верхом ему на влажную шею. Это — его привилегия и настоящий каждодневный праздник. Франц страшный драчун, он уже откусил кому-то ухо в драке, но мальчик не знает этого; он боготворит Франца за то, что тот так силен, и за свое право восседать у него на шее за полуденным торжеством. Есть еще и другой работник, его зовут пан Мартинек; он тихий, худой, у него висячие усы и большие, прекрасные глаза. С ним мальчику играть запрещают, потому что у пана Мартинека, говорят, чахотка. Мальчик не знает, что это такое, и всякий раз, когда пан Мартинек смотрит на него так дружески и ласково, испытывает что-то вроде смущения или страха.

И бывают выходы в *их* мир. Мама скажет: «Сходи-ка, сынок, к пекарю за хлебом!» Пекарь — толстый, весь в муке; иногда из булочной видно через стеклянную дверь, как он мечется вокруг дежи, месит тесто деревянной лопатой. Вот бы никто не подумал: такой большой, толстый, а кружит вокруг дежи так, что только шлепанцы

хлопают по пяткам. Мальчик, как святыню, несет домой еще теплый каравай, зарываясь босыми ножками в теплую дорожную пыль, и с наслаждением вдыхает золотистый запах хлеба. Или пойдешь к мяснику за мясом: на крючьях висят страшные, кровавые куски, а мясник или его жена, с лоснящимися лицами, разрубают секачом розовую кость и — шлеп на весы; и как это они пальцы себе не отрубят! А вот у бакалейщика совсем другое: там пахнет имбирем, пряниками и много чем еще, и пани бакалейщица разговаривает тихо, нежно и отвешивает пряности на крошечных весах; и тебе дают на дорогу два волошских орешка, один обычно червивый и высохший, но это не важно — важно, что есть две скорлупки, и можно раздавить их пяткой — то-то щелкнет!

Вспоминаю этих давно умерших людей, и так мне хочется еще разок увидеть их такими, какими я видел их тогда. У каждого был свой мирок, и в нем — свое, таинственное, дело. Каждое ремесло было как особый мир, и каждый — из особого материала, с особыми обрядами. А воскресенье — странный день: люди ходят не в фартуках, не с засученными рукавами, а в черных костюмах, и все почти одинаковые; казались они мне тогда какими-то чужими, непривычными. Иногда отец посылал меня за пивом; и пока трактирщик цедил пену в запотевший кувшин, я застенчиво поглядывал в угол, а там за столом сидели мясник, пекарь, парикмахер, а иногда и полицейский — толстый, в расстегнутом мундире, отставив ружье к стене, — и все они разговаривали громко и вперебой. Странно мне было видеть их вне мастерских и лавок; мне это казалось немного неприличным и недостойным. Теперь я сказал бы, что меня тревожило и сбивало с толку — видеть, как перемешиваются их замкнутые миры. Может, и шумели-то они так потому, что нарушали какой-то закон.

У каждого был свой мир, мир его ремесла.

Некоторые были табу — как пан Мартинек, или городской дурачок, мычавший на улицах, или каменотес — этого молчальника изолировало от людей то, что он был нелюдим и вдобавок спирит. И среди миров взрослых были маленькие, отгороженные от всех, мирки мальчика; были у него дерево, ограда из щепочек, уголок между досками; исполненные тайн места глубочайшего счастья, которое он не делил ни с кем. Присядь на корточки, затаи

дыхание — и вот все слилось в единый, вездесущий и приятный гул: грохот досок, приглушенные шумы ремесел — у каменотеса стуки, у жестянщика дребезжит жесть, в кузнице звенит наковальня, кто-то отбивает косу, где-то плачет младенец, вдали перекликаются дети, взволнованно кудахчут куры, и мама зовет с порога: «Где же ты?» Это ведь только сказать — городок, а в нем между тем такая уйма жизни — как широкая река: прыгни в свою лодочку и притаись, пусть качает тебя, пусть уносит — прямо голова пойдет кругом, и тебе чуть ли не страшновато. Спрятаться от всех — это ведь тоже выход в мир.

IV

А мир детей, когда они собираются вместе, — это уже нечто совсем иное. Одинокий ребенок забывает в игре о себе, обо всем, что его окружает, и забвенье это — вне времени. В общие игры детей вовлечено более широкое окружение, и их общий мир подчинен временам года. Никакая скука не заставит мальчишек играть в шарики летом. Шарики катают весной, как только оттает земля; это — закон, столь же серьезный и непреложный, как тот, который велит распуститься подснежникам или печь пасхальные жаворонки — матерям. Несколько позднее играют в салочки и прятки, а уж школьные каникулы — время всяких отчаянных похождений: например, бегать в поле за кузнечиками или купаться тайком в реке. Ни один уважающий себя мальчишка не ощутит потребности зажигать костер летом; это делают осенью, когда запускают змеев. Пасха, каникулы, рождество, ярмарка, гулянья, храмовый праздник — все очень важные даты и резкие переломы времени. Детский год имеет свое чередование, он строго расчленен по периодам; одинокий ребенок играет в вечности, стайка детей — во времени.

Сынишка столяра не был в этой стайке личностью, сколько-нибудь выделявшейся; на него мало обращали внимания, корили за то, что он маменькин сын и трусишка. Но разве не он вынес на пасху трещотку, которую вырезал для него пан Мартинек, разве не добывал щепы для сабель и не было у него сколько угодно чурочек? А дерево — ценный материал. Чем был в сравнении с ним

мальчишка стекольщика со своими грязными кучками замазки? Вот сын маляра — другое дело; раз как-то он выкрасил себе физиономию ярко-голубой краской и с тех пор пользовался особым почетом. Зато на дворе у столяра были доски, и на них можно было достойно, молча качаться, а не есть ли и это некое отторжение от земли, следовательно, исполнение самой жаркой мечты? Пусть мальчишка маляра выкрасил лицо голубым: его никогда не звали покачаться.

Игра есть игра, дело серьезное, дело чести; и нет в игре никакого равенства: ты или выдаешься, или подчиняешься. Следует признать, я не выдавался; я не был ни самым сильным, ни самым смелым в стае и, кажется, страдал от этого. Какой мне прок оттого, что местный полицейский моему отцу козырял, а маляру — нет! Когда отец надевал длинный черный сюртук и шел в городской совет, я, ухватившись за его толстый палец, старался шагать так же широко, как он; эй, мальчишки, видите, какой у меня важный папа! В праздник вознесения он даже держит один шест балдахина над священником; а когда у него именины, то накануне вечером приходят местные музыканты и играют в его честь! И папа стоит на пороге, без фартука, и с достоинством принимает дань уважения. А я, опьяненный мучительной сладостью гордыни, высматриваю моих сверстников, которые благоговейно слушают музыку, и, чувствуя легкий озноб, наслаждаюсь этой вершиной мирской славы и трогаю папу, чтоб все видели, что я — его. А на другой день мальчишки и знать не хотят о моем триумфе; опять я — тот, кто ничем не выделяется и кого никто не желает слушать — разве только я позову их качаться к нам во двор. А вот нарочно не позову, лучше сам не стану качаться; и я, с горя, назло, решил выделяться хотя бы в школе.

* * *

Школа — опять-таки совершенно особый мир. Там детей различают уже не по отцам, а по фамилиям; их определяет уже не то, что один — сын стекольщика, а другой — сапожника, а то, что один — Адамец, а другой — Беран. Это было такое потрясение для сынишки столяра, что он долго привыкал к этому новшеству. До сих пор он принадлежал семье, мастерской, дому, мальчишечьей

компании; а теперь сидит вот, страшно одинокий, среди сорока других учеников, большинство которых ему не знакомо, с которыми не было у него никакого общего мира. Сидел бы с ним рядом папа или мама, пусть даже подмастерье Франц или долговязый, грустный пан Мартинек — тогда бы другое дело; можно бы держаться за его полу и не терять связи со своим миром; ощущать его за собой, как защиту. Мальчик готов был разреветься, но побоялся, что другие посмеются над ним. И никогда он так и не слился с классом. Другие мальчики вскоре передружились, стали толкать друг друга под партами, но им-то было легко: не было у них дома ни столярной мастерской, ни ограды из щепок, внутри усыпанной опилками, ни силача Франца, ни пана Мартинека; им не по чему было так горестно тосковать. Сын столяра сидел в суете класса, потерянный, и горло у него сжималось. Подошел к нему учитель, сказал ободряюще:

— Ты послушный и тихий мальчик.

Мальчик залился краской, и на глаза его навернулись слезы еще неизведанного счастья. С той поры и стал он в школе послушным и тихим мальчиком — что, разумеется, еще больше отдалило его от остальных.

Но школа дает ребенку еще и другой, большой и новый опыт: здесь ребенок впервые сталкивается с иерархическим устройством жизни. Правда, и до сего времени ему приходилось повиноваться некоторым людям; вот мама велит что-то сделать — но мама-то ведь наша, и она существует для того, чтобы варить нам еду, и еще она целует и ласкает; папа бушует порой — зато в другой раз можно взобраться к нему на колени или уцепиться за его толстый палец. Другие взрослые тоже иногда одергивают тебя или ругают, но это пустяки, и можно просто убежать. А вот учитель — совсем другое дело; учитель для того только и создан, чтоб делать замечания и приказывать. И нельзя убежать, спрятаться — только краснеешь и от стыда готов провалиться сквозь землю. И уж никак невозможно вскарабкаться к нему на колени или уцепиться за чисто вымытую руку; он — всегда над тобой, недоступный и неприкосновенный. А законоучитель — еще того пуще. Погладит он тебя по голове — и значит это не просто тебя погладили, а отличили и возвысили над прочими, и ты с трудом сдерживаешь слезы благодарности и гордости. До школы был у мальчика свой

мир, а вокруг него — множество замкнутых, таинственных миров: пекаря, каменотеса и всех других. Теперь же мир разделился надвое: мир высших — там учитель, законоучитель и еще те, кому позволено разговаривать с ними, то есть аптекарь, доктор, нотариус, судья; и — мир обычных людей, где — папы и их дети. Папы живут в мастерских и лавках и только выходят постоять на пороге, словно обречены держаться своих домов; а люди из мира высших встречаются на площади, широким жестом снимают друг перед другом шляпы, они могут постоять, беседуя, или пройтись немного вместе. И их стол в трактире на площади накрыт белой скатертью, тогда как скатерти на других столах — в красную или синюю клеточку; их стол чем-то похож на алтарь. Теперь-то я понимаю, что и белая эта скатерть была вовсе не так уж свежа, и священник наш был толстый, добродушный и страдал насморком, и учитель был этакий деревенский бобыль с красным носом. Но в ту пору они воплощали для меня нечто высшее и чуть ли не сверхчеловеческое. То было первое разделение мира по рангам и власти.

А я был тихий, прилежный ученик, и меня ставили в пример остальным; но втайне я до дрожи душевной восхищался сыном маляра, сорванцом и шалопаем, который озорством своим доводил учителя до исступления и однажды укусил священника за палец.

Этого мальчишку чуть ли не боялись и ничего не могли с ним поделать. Его могли лупить как угодно — он только смеялся им в глаза: что бы то ни было, а плакать было ниже его дикарского достоинства. Кто знает, — быть может, то обстоятельство, что сын маляра не взял меня в товарищи, сыграло самую решающую роль в моей жизни. А я бы отдал все на свете, только б он дружил со мной. Раз как-то, не помню уж, что он там вытворял, но балкой ему раздробило пальцы; все дети закричали — он один не проронил ни звука, только побледнел и стиснул зубы. Я видел, — он шел домой, поддерживая окровавленную левую кисть правой рукой, словно нес трофей. Мальчики гурьбой бежали за ним, вопя: «На него балка свалилась!» Я был почти без чувств от ужаса и сострадания, У меня дрожали ноги, и дурнота подступала к горлу. «Тебе больно?» — едва выговорил я. Бросив мне гордый, горящий, насмешливый взгляд, он процедил сквозь зубы: «А тебе-то что?» Я отстал от него — отвергнутый

и униженный. Ну погоди, я покажу, я докажу тебе, на что я способен! Я бросился в нашу мастерскую и сунул левую руку в тиски, которыми зажимают доски; стал завинчивать — ладно, вот увидите! Слезы брызнули у меня из глаз, — ага, теперь мне так же больно, как ему! Я ему покажу... Я затянул тиски еще, еще больше... я уже не чувствовал боли, я был в экстазе. Меня нашли в обмороке, с рукой в тисках. До сих пор последние фаланги пальцев на левой руке у меня парализованы. Теперь эта рука морщиниста и суха, как лапа индюка, но до сих дней она отмечена памяткой... чего, собственно? Мстительной детской ненависти или страстной дружбы?

V

В ту пору к нашему городку подводили железную дорогу. Строить ее начали давно, и теперь подошли совсем близко; даже на дворе столяра слышно было, как рвут камень для полотна. Нам, детям, строго-настрого запретили ходить туда, — во-первых, там взрывали динамит, а во-вторых, люди-то там уж больно неподходящие; сброд такой, что только тьфу, говорили у нас. Однажды отец повел меня туда — погляди, мол, как строят дорогу. Я судорожно уцепился за его руку, — «эти люди» внушали мне страх; жили они в дощатых бараках, между которыми сушилось на веревках рваное тряпье, а в самом большом бараке был трактир с грудастой, сердитой хозяйкой, которая непрерывно ругалась. На линии полуголые люди кирками долбили камень; они кричали что-то отцу, но он им не отвечал. Стоял там еще какой-то человек с красным флажком.

— Смотри, сейчас будут взрывать, — сказал отец, и я еще крепче сжал его руку.

— Не бойся, ведь я с тобой, — уверенно говорит отец, и я, блаженно вздыхая, чувствую, какой он сильный и надежный; там, где он, — не может случиться ничего дурного.

Раз как-то к нашему забору подошла оборванная девочка, сунула нос в щелку и что-то залепетала.

— Ты что говоришь-то? — спросил Франц.

Девочка злобно показала язык и продолжала что-то болтать. Франц позвал отца. Тот, перегнувшись через забор, спросил:

— Чего тебе, малышка?

Девочка еще быстрее повторила что-то по-своему.

— Не понимаю, — серьезно сказал отец. — Кто вас знает, что вы за народ. Постой тут!

Он позвал маму:

— Глянь, глаза-то у ребенка!

У девочки были огромные черные глаза с очень длинными ресницами.

— До чего ж хороша! — изумленно ахнула мама. — Есть хочешь?

Девочка — ни слова, только смотрит на нее своими прекрасными очами. Мама вынесла ей кусок хлеба с маслом, но малышка покачала головой.

— Может, итальянка, а то — венгерка, — неуверенно предположил отец. — Или румынка. Кто ее знает, чего ей надо.

С этими словами отец пошел прочь. Но как только он скрылся, пан Мартинек вынул из кармана гривенник и молча подал девочке.

На следующий день, когда я вернулся из школы, она уже сидела у нас на заборе.

— К тебе пришла! — засмеялся Франц, а я ужасно разозлился; я не обратил на нее ровно никакого внимания, хотя она вытащила (откуда-то, верно, из какого-нибудь кармана в своих лохмотьях) блестящий гривенник и стала рассматривать его так, чтобы я видел.

Я сдвинул одну доску поперек штабеля, чтоб сделать качели, и уселся на конце; пусть себе другой конец торчит в небо, мне-то что; я повернулся спиной ко всему на свете, мрачный и какой-то растревоженный. И вдруг доска подо мной начала медленно подниматься; я не оглянулся, но всего меня затопило такое безмерное счастье, что стало почти больно. Меня подняло вверх, счастливого до головокружения; тогда я наклонился, чтобы перевесить свой конец, — и противоположный конец доски ответил мне легким, плавным движением, а на том конце сидит верхом девочка и ничего не говорит, качается молча и торжественно, а напротив нее — молчаливый, торжественный — сидит мальчик, и оба не смотрят друг на друга, и всем телом, всей душой предаются качанию — потому что это любовь. По крайней мере, любовь у мальчика, хотя он и не сумел бы назвать так свое состояние; но оно переполняет его, оно прекрасно и вместе мучительно; так

качаются они, без единого слова, будто вершат некий обряд, качаются как можно медленнее, чтоб выходило торжественнее.

Она была выше и старше меня, черноволосая и смуглая — как черная кошка; я не знаю ни имени ее, ни ее роду-племени. Я показал ей свой игрушечный дворик, а она не заинтересовалась, — видно, не поняла, что фасолины — это куры. Мне от этого стало больно, и с тех пор мой дворик перестал меня радовать. Зато она изловила соседского котенка и так крепко прижала его к себе, что бедняга только в ужасе таращил глаза. Еще она умела из обрывка веревки сплести такой диковинный звездообразный узор, что это было похоже на колдовство.

Мальчик не в силах любить постоянно — любовь слишком тяжкое и мучительное чувство; временами необходимо облегчать его, переводя в простую дружбу. Мальчишки смеялись надо мной за то, что я вожусь с девчонками, это они считали ниже своего достоинства. Я мужественно сносил насмешки, по пропасть между мною и ними росла. Одни раз моя приятельница исцарапала мальчишку седельщика; завязалась было драка, но тут вмешался сын маляра; он презрительно, сквозь зубы, процедил: «А ну ее, ребята, она ведь девчонка!» И сплюнул, как взрослый подмастерье. Если б он тогда дал мне знак, я пошел бы за ним и бросил бы эту маленькую смуглянку; но он повернулся ко мне спиной и повел свою шайку к иным победам. Я был вне себя от оскорбления и ревности.

— Ты не думай, посмели бы они нас тронуть, я б им задал! — грозно сказал я ей, но она все равно не поняла, только язык им вслед показала, и вообще держалась так, словно это я был у нее под защитой.

Начались каникулы, и я проводил с ней иногда целые дни, только вечером пан Мартинек уводил ее за руку к баракам за рекой. Случалось, она не приходила, и я не знал, куда деваться от отчаяния; забивался с книгой в свое убежище меж досок и притворялся читающим. Издали доносились крики мальчишеской стаи, к которой я уже не принадлежал, да взрывы на железной дороге. Пан Мартинек наклонялся ко мне, как будто пересчитывая доски, и сочувственно бормотал:

— Что ж это она нынче не пришла?

А я делал вид, будто не слышу его и яростно вчитывался в строчки; но мне чуть ли не сладостно было ощущать, как обливается кровью мое сердце и что пан Мартинек понимает это.

Один раз я не выдержал и отправился к ней сам; это была отчаянная авантюра: мне предстояло перейти по мосткам через речку, которая в тот день показалась мне страшной и бурной, как никогда. Сердце у меня шибко колотилось, и я, как лунатик, шел к баракам, казавшимся покинутыми; только толстая трактирщица орала где-то да баба в одной рубашке и юбке развешивала белье, громко зевая, как большая собака нашего мясника. Смуглая девочка сидела на ящике перед одним из бараков и чинила какие-то лохмотья, моргая длинными ресницами и высовывая от усердия кончик языка. Без всяких околичностей она подвинулась, освобождая место для меня, и начала что-то быстро, красиво говорить на своем языке. Никогда не было у меня чувства такого бесконечного отдаления от *дома*, — словно здесь совсем иной мир, словно я никогда не вернусь отсюда домой, отчаянное и героическое чувство. Она обхватила меня за шею своей тонкой обнаженной рукой и долго, влажно, щекочуще шептала мне что-то на ухо, быть может, говорила мне по-своему, что любит меня, и я умирал от счастья. Потом она повела показывать мне барак, в котором, видимо, жила; внутри было нечем дышать, так раскалило стены солнце, и пахло там, как в собачьей конуре, на гвозде висела мужская куртка, на полу валялись тряпье и какие-то ящики, заменявшие мебель. Там был полумрак, а она уставилась на меня своими глазами, такими близкими и прекрасными, что я готов был заплакать, сам не знаю отчего: от любви, от беспомощности или от ужаса. Она села на ящик, подтянув колени к подбородку, и зашептала что-то, будто песенку, а сама все смотрит на меня своими неподвижными, широко раскрытыми глазами, словно колдует. Ветром захлопнуло дверь, и стало вдруг совсем темно, было так страшно, сердце у меня билось где-то в горле, и не знал я, что теперь будет... В темноте раздался тихий шорох, и дверь отворилась: она стояла на пороге, против света, и неподвижно смотрела наружу. Тут опять прогрохотал взрыв, и она произнесла следом: «Бумм!» И вот уже снова развеселилась, стала показывать, что можно сплести из веревок; бог весть отчего, она обращалась теперь со мной, как

мамаша или няня, даже за руку меня взяла, хотела отвести домой, словно я маленький. Я вырвал руку и принялся свистеть как можно громче, пусть знает, каков я, даже остановился посередине мостков и плюнул в воду, чтоб показать ей, что я уже большой и ничего не боюсь. Дома меня спрашивали, где я пропадал; я наврал, но, хотя врал я часто и легко, как всякий ребенок, на сей раз я чувствовал, что ложь моя как-то крупнее и тяжелее, и потому врал даже с излишним рвением, — странно, как этого не заметили.

На другой день девочка явилась как ни в чем не бывало. Она попробовала свистеть, округлив губы, и я учил ее, самоотверженно отказавшись от своего превосходства: великая вещь дружба. Зато мне легче стало потом ходить к ней; мы уже издалека свистом оповещали друг друга, что необычайно укрепило наше товарищество. Мы вскарабкивались на откосы, откуда видно было, как работают землекопы; она грелась на солнышке среди камней, как змейка, а я в это время разглядывал крыши городка и луковицу собора. Как далеко! Вон виднеется толевая крыша, это — столярная мастерская; папа, сопя, размечает доски, пан Мартинек кашляет, а мама стоит на пороге, головой качает: куда же опять запропастился негодный мальчишка? А вот он я, нигде я, я спрятан! Здесь я, на солнечном склоне, где цветут коровяк, репейник и львиный зев; здесь, по ту сторону речки, где звенят кирки и гремит динамит, где все совершенно иное. Такое здесь укромное местечко: отсюда все видно, а тебя не видать. А ниже нас уж проложили узкоколейку, отвозят в вагонетках камень и землю; рабочий вскочит на вагонетку, и она сама катится по рельсам, — я бы тоже хотел так, и чтоб на голове был повязан красный носовой платок. И — жить в дощатой конуре, пан Мартинек мог бы мне такую сколотить. Смуглая девочка не отрываясь смотрит на меня, до чего же глупо, что я ничего не могу ей сказать. Попробовал говорить с ней на тайном языке: «Яхонцы тебехонцы чегохонцы скажухонцы», — а она даже этого не поняла. Оставалось показывать друг другу языки да перенимать друг у друга немыслимые гримасы, хоть так давая понять о единомыслии. Или вместе швырять камешки. Сейчас черед за языками; у нее язык гибкий и тонкий, как красненький змееныш; вообще странная вещь язык: если рассмотреть, то весь он сделан будто из

розовых зернышек. А ниже нас — кричат, да там всегда кричат. Ну-ка, кто дольше выдержит взгляд? Удивительно — глаза у нее как будто черные, а если вглядеться, то в них такие золотые и зеленые крапинки, а посреди — крошечное личико, и это — я... Вдруг ее глаза расширились как бы в ужасе, она вскочила, закричала что-то и помчалась под горку.

На земляной террасе под склоном двигалась к трактиру беспорядочная кучка людей. Кирки свои они побросали на месте работы.

А вечером в городке нашем тревожно рассказывали, что кто-то из «этих людей» в ссоре пырнул ножом старшого, и будто его в цепях увели жандармы, а за ними бежал его ребенок.

Пан Мартинек перевел на меня свои большие, красивые глаза и махнул рукой, проворчав:

— А кто их знает, который из них это был. Эти люди нынче здесь, а завтра бог весть где...

Больше я не видел девочки. От тоски и одиночества читал, что под руку попадет, укрывшись меж досок.

— Хороший у вас мальчик, — говорили соседи, а папа с отцовской скромностью возражал им:

— Лишь бы путным вырос!

VI

Отца я любил — он был сильный и простой. Прикоснуться к нему — было такое чувство, словно ты оперся о стену или несокрушимую колонну. Я думал, что он сильнее всех людей; от него пахло дешевым табаком, пивом и потом; мощная телесность его наполняла меня своеобразным наслаждением: чувством безопасности, надежности и силы. Порой он впадал в ярость — и тогда становился ужасен, он бушевал как буря; тем слаще было то легкое ощущение жути, с каким я после забирался к нему на колени. Говорил он мало, и уж если говорил, то не о себе; и меня никогда не покидало чувство, что он, если б только захотел, мог бы рассказать о великих делах и подвигах, совершенных им, и я приложил бы тогда ладонь к его могучей волосатой груди, чтоб услышать, каким гулом в ней все это отдается. Широко и основательно жил он в своем мастерстве и был очень бережлив, ибо мерил деньги мерой труда, положенного за них. Помню, иногда по воскресеньям он вынимал из ящика стола сбе-

регательные книжки и рассматривал их, и вид у него был такой же, как если бы он с удовлетворением смотрел на аккуратно сложенные добрые, честные доски; тут, малыш, много труда и пота собрано.

«Тратить зря деньги — все равно что портить готовую работу; грех это». — «А на что, папа, эти скопленные деньги?» — «На старость», — ответил бы он, пожалуй, но это не главное, это так только говорится, а деньги даны для того, чтоб по ним виден был труд, добродетель усердия и самоотречения. Здесь черным по белому можешь прочитать, это — итог всей жизни; здесь записано, что жил я деятельно и бережливо, как д*о*лжно. Настало время, и отец состарился, матушка давно покоилась на кладбище под мраморным памятником («Денег-то сколько стоил», — с уважением говаривал отец), и я уже был хорошо устроен; а отец по-прежнему, на тяжелых своих распухших ногах ковылял по столярной мастерской, где уже почти нечего было делать, и копил, и считал, а по воскресеньям, уже одинокий как перст, вынимал свои сберегательные книжки и подолгу смотрел на итоги своей честной жизни, выраженные в цифрах.

Мама была не так проста, она была куда более эмоциональна, вспыльчива и переполнена любовью ко мне, порой она судорожно прижимала меня к себе со стоном: «Единственный ты мой, да я умереть за тебя готова!» Позже, когда я подрос, такие приступы любви как-то обременяли меня; мне было стыдно, — вдруг товарищи увидят, как страстно целует меня мать; но пока я был совсем еще мал, ее бурная любовь ввергала меня в рабство или угнетение — я очень любил ее. Заплачу, бывало, и она возьмет меня на руки, — тут меня охватывало такое чувство, будто я таю; страшно любил я рыдать, уткнувшись в ее мягкую, смоченную детскими слюнями и слезами шею; я выдавливал из себя рыдания, сколько мог, пока все не расплывалось в блаженном, полусонном лепете: «Мамочка! Мамочка!» Вообще мама связывалась у меня с потребностью плакать и слушать утешения, с чувственной потребностью наслаждаться собственным горем. Только когда я стал уже пусть маленьким, пятилетним, но мужчиной, во мне начал подниматься протест против таких женских проявлений чувств, и я отворачивался, когда она прижимала меня к груди, и думал: зачем ей это нужно, папа лучше, от него пахнет табаком и силой.

Мать моя, человек сверх меры чувствительный, воспринимала все как-то драматически; мелкие семейные ссоры заканчивались опухшими глазами и трагическим молчанием; а отец, хлопнув дверью, с яростным упорством брался за работу, в то время как в кухне вопияла к небу ужасающая обвинительная тишина. Маме нравилось думать, что я — слабый ребенок, что со мной обязательно случится какое-нибудь несчастье, что я могу умереть. (У нее действительно умер первенец, незнакомый мне братик.) Поэтому она то и дело выбегала посмотреть, где я и что я делаю; позднее я по-мужски хмурился из-за того, что она так за мной присматривает, и отвечал неохотно и строптиво. А она без конца спрашивала: «Здоров ли ты? Не болит ли животик?» На первых порах мне это льстило, — каким важным чувствуешь себя, когда болеешь, а тебе ставят компрессы, и мамочка судорожно прижимает тебя к груди: «Ах, ты мой самый дорогой, не дам я тебе умереть!» Еще она водила меня за руку на богомолье к чудотворной деве Марии — молиться за мое здоровье, и жертвовала пресвятой деве маленькое восковое изображение груди, полагая, что я слабогруд. А мне было ужасно стыдно, что за меня жертвуют женскую грудь, это унижало мое мужское достоинство. Вообще странными были такие паломничества, мама тихо молилась или вздыхала, и глаза у нее делались застывшими и наполнялись слезами, смутно и мучительно я догадывался, что тут дело не только во мне. Потом она покупала мне рогульку, которая, конечно, казалась мне вкуснее, чем наши домашние рогульки, но все же я не очень любил ходить на эти богомолья. И на всю жизнь осталось во мне представление: мама — это нечто связанное с болезнями и болью. Пожалуй, я и сегодня предпочел бы опереться на отца с его запахом табака и мужественности. Отец был как опорный столб.

Мне не для кого приукрашивать отчий дом моего детства. Он был обыкновенным и милым, как тысячи других: я чтил отца и любил мать — и вот неплохо жил на земле. Они сделали меня порядочным человеком по образу своему; я был не так силен, как отец, и не так велик в любви, как мать, но, по крайней мере, был работящ и честен, чувствителен и до известной степени тщеславен — это тщеславие, конечно, наследие матушкиной живости; вообще все, что было во мне ранимого, — вероятно,

от матери. Но оказывается, и это пришлось к месту и привело к добру, помимо человека действия жил во мне человек мечты. Вот уже то, например, что я гляжусь в свое прошлое, как в некое зеркало, — конечно, не от отца; отец ведь был в полном смысле слова человеком настоящего, ему некогда было заниматься чем-либо иным, потому что жил он в труде. Воспоминания и будущее — удел тех, кто склонен к мечте и кто больше занят самим собой. Это — мамина доля в моей жизни. И теперь, когда я стараюсь разглядеть, что во мне было папиного, а что — маминого, я вижу, что оба они шли со мной всю жизнь и что отчий дом мой нигде не кончается, что и ныне я — всё дитя, со своим таинственным миром, в то время как папа трудится и рассчитывает, а мама следит за мной взглядом, полным любви и страха.

VII

Учился я хорошо и много читал — от одиночества и нелюдимости, поэтому отец решил дать мне образование, впрочем, это разумелось как-то само собой хотя бы потому, что папа почитал господ, а подниматься к материальному успеху и к более высокому положению в обществе полагал священнейшей и естественной задачей всякого порядочного человека и его потомства. Я заметил, что наиболее удачливые дети (в смысле жизненного успеха), как правило, происходят из тех трудолюбивых средних слоев, которые только начинают, скромно и самоотреченно, закладывать основы чего-то вроде претензии на лучшую жизнь; на нашем пути вверх нас подталкивают усилия наших отцов. Но в те времена я не имел никакого представления о том, кем бы я хотел стать, только, конечно, это должно быть что-то великолепное — как канатоходец, однажды вечером качавшийся на канате над нашей маленькой площадью, как драгун на коне, остановившийся как-то у нашего забора и спросивший что-то по-немецки; мама вынесла ему стакан воды, драгун взял под козырек, конь под ним приплясывал, а мама раскраснелась, как роза. Я хотел стать драгуном или хотя бы кондуктором, который захлопывает двери вагона, а потом с неизъяснимым изяществом, уже на ходу, вскакивает на ступеньку. Но откуда же знать, как люди делаются кондук-

торами или драгунами? Однажды папа растроганно объявил мне, что после каникул отдаст меня в гимназию, мама плакала, учитель в школе сказал, что я должен очень ценить, что буду образованным человеком, а священник начал обращаться ко мне так: «Servus[1], студент!» Я краснел от гордости, все это было так торжественно, мне уже стыдно было играть, и вот с книжкой в руках, в горестном одиночестве я взращивал в душе мальчишескую серьезность.

* * *

Примечательно, до чего восемь лет гимназии кажутся мне второстепенными, — по крайней мере, в сравнении с детством в отчем доме. Ребенок живет полной жизнью; детство свое, свое мгновенное настоящее он не воспринимает как нечто временное и переходное; и — он дома, то есть он — важное лицо, занимающее свое место, принадлежащее ему по праву собственности. И вот в один прекрасный день деревенского мальчугана увозят в город учиться. Восемь лет среди ч у ж и х, — так можно бы назвать это, ибо здесь он уж будет не дома, будет чужим человеком и никогда не придет к нему ощущение уверенности, что здесь — его место. Он будет чувствовать себя страшно ничтожным среди этих чужих людей, и ему без конца будут напоминать, что он *еще* ничто; школа и чуждое окружение будут укреплять в нем чувство унизительной малости, убогости и незначительности, чувство, которое он будет подавлять зубрежкой или — в некоторых случаях и несколько позднее — яростным бунтом против учителей и гимназической дисциплины. И в классе ему постоянно внушается, что все это — лишь *приуготовление* к чему-то, что еще ждет впереди; первый класс — не более чем подготовка ко второму, и четвероклассник существует для того лишь, чтоб возвыситься до пятого класса, если он, конечно, будет достаточно внимателен и прилежен. А все эти восемь долгих лет, в свою о ч е р е д ь, — всего лишь подготовка к экзаменам на аттестат зрелости, а уж потом-то, господа студенты, и начнется настоящее учение. Мы готовим вас к жизни, проповедуют господа преподаватели, — словно то, что ерзает перед

[1] Привет (*лат.*).

ними за партами, вовсе не достойно называться жизнью. Жизнь начнется, когда получишь аттестат зрелости, — вот в общих словах самое сильное представление, пестуемое в нас гимназией, поэтому и покидаем мы ее, словно нас выпустили на свободу, вместо того чтобы с некоторой растроганностью понять, что, прощаясь с ней, мы прощаемся с мальчишескими годами.

Может быть, поэтому наши воспоминания о школе так скудны и отрывочны; и все же — какая восприимчивость в этом возрасте! Как точно и живо помню я преподавателей, смешных и полупомешанных педантов, добряков, напрасно старавшихся совладать со стаей распоясавшихся мальчишек, и — нескольких благородных ученых мужей, у ног которых даже мальчик смутно, с каким-то холодком на сердце, чувствует, что тут речь не о подготовке, а о самом познании, что уже в эту минуту он есть кто-то и становится кем-то. Вижу я и однокашников моих, и изрезанные парты, коридоры старого здания scholarum piarum[1], — тысячи воспоминаний, живых, как яркий сон, но вся гимназическая эпоха, все эти восемь лет — как целое — до странности лишены лица и чуть ли не смысла, то были годы юности, прожитые нетерпеливо, бегло, лишь бы скорей прошли.

И в то же время как жадно, как сильно переживает мальчик в эти годы все то, что вне школы, все то, что не есть «приуготовление к жизни», но жизнь *сама,* — дружба ли это или так называемая первая любовь, конфликты, чтение, кризис в религиозных воззрениях или озорство. Вот — то, во что можно ринуться с головой, что принадлежит ему уже теперь, а не после выпуска, не тогда, когда — как говорят в гимназии — он «будет подготовлен». Большинство душевных потрясений и таких разнообразных, со столь трагической серьезностью воспринимаемых ошибок молодости, по-моему, следствие этой низведенной жизни, в которой разыгрывается наша юность. Все это — чуть ли не месть за то, что нас не принимают всерьез. Бунтуя против этой хронической временности, мы жаждем хоть в чем-то жить как можно полнее и подлиннее. Потому это и так, потому в юные годы так беспорядочно и порой болезненно прорывается в нас глупое мальчишество и неожиданно трагическая серьезность.

[1] школы пиаристов (*лат.*).

Жизнь ведь развивается не так, что ребенок постепенно и почти неуловимо становится взрослым; в ребенке внезапно объявляются какие-то отдельные, очень готовые, глубоко зрелые черты человека, все это не совмещено, не организовано в нем, и сталкивается так хаотически и нелогично, что порой похоже на безумие. К счастью, мы, старики, привыкли взирать на это состояние снисходительно, и мальчикам, которые начинают смертельно серьезно относиться к жизни, покровительственно даем понять, что это пройдет.

(Как грубо с нашей стороны говорить о счастливой юности! Мы, вероятно, имеем в виду, что тогда у нас были здоровые зубы и желудки, а что у нас по многим причинам болела душа — не важно! Иметь бы впереди столько жизни, как тогда, — сейчас обменялись бы, кем бы мы ни были! А я знаю: то была, строго говоря, наименее счастливая пора моя, пора тоски и одиночества, но знаю — и я обменялся бы, обеими руками ухватился за эту зажатую юность — пусть бы опять так же безмерно, так же отчаянно болела у меня душа!)

VIII

Все это происходило со мной, как с любым иным мальчиком, но, пожалуй, не так бурно, не так ярко. Прежде всего большая доля этой горечи, сопутствующей юности, терялась у меня в постоянной тоске по дому, в чувстве одиночества, какое испытывает мальчик из провинции в столь чуждой ему и как бы выше него поставленной среде. Отец был бережлив, — он поселил меня в семье мелкого, обремененного заботами портного; впервые у меня появилось чувство, что я — небогатый, почти бедный гимназистик, которому подобает по одежке протягивать ножки и скромненько держаться в стороне. А я был застенчив и отлично понимал, как презирают меня бойкие городские молодчики; о, эти были везде как дома, и сколько же они знали, сколько было у них общего! Не умея сблизиться с ними, я вбил себе в голову по крайней мере обогнать их в науках, и я стал зубрилкой, я находил некий смысл жизни, некую месть, некое торжество в том, что переходил из класса в класс summa cum laude [1],

[1] с похвалой (*лат.*).

окруженный неприязнью сотоварищей, которые видели в моем одиноком, тяжелом усердии лишь отвратительный карьеризм. Тем более я ожесточился, я зубрил свои лекции, зажав кулаками уши, в сухой духоте от портновских утюгов, в запахах кухни, где вечно вздыхавшая жена портного стряпала какую-то бледную и всегда кисловатую еду. Я учился до одури, я на ходу шевелил губами, без конца затверживая уроки, — зато каким глубоким был мой тихий триумф, когда я *отвечал* у доски и садился на место при досадливом и неприветливом молчании класса! Мне не надо было оглядываться — я ощущал на себе враждебные взгляды однокашников. Это маленькое тщеславие помогло мне пройти без урона через кризисы и переломные моменты юности, я бежал от самого себя, заучивая острова Зондского архипелага или неправильные греческие глаголы. Это отец во мне склонялся над работой, посапывая от сосредоточенности и рвения, отец, проводивший большим пальцем по готовому изделию: ладно сделано, без сучка и задоринки. И вот уже не разобрать букв, сумерки, в открытое окно доносится из казарм вечерняя зоря; у окна стоит мальчик с пылающим взором, задыхаясь от прекрасной, полной отчаяния печали. О чем печаль? Ах, этому нет названия, оно так необъятно и бездонно, что в нем тонут все острые иголочки мелких обид и унижений, неудач и разочарований, со всех сторон впивающиеся в душу робкого мальчика. Да, это уже — матушка, такая полнота любви и скорби. То, где сосредоточенность и упорный труд, — отец, а это, безбрежно чувствительное, страстно нежное, — мать, как же совместить, сочетать то и другое в узкой мальчишеской груди?

Одно время был у меня приятель, с которым меня связывала мечтательная дружба, то был деревенский мальчик, старше меня, со светлым пушком на подбородке, удивительно бездарный и нежный; мать посвятила его богу в благодарность за исцеление отца, и ему предстояло стать священником. Всякий раз, как его вызывали отвечать, происходила настоящая трагедия: сталкивались добрая воля и паника, он дрожал как осиновый лист и не способен был выдавить ни слова. Я стал натаскивать его, изо всех сил стараясь помочь, он слушал меня, разинув рот, не сводя с меня красивых, обожающих глаз. Когда его спрашивали, я страдал за него невыразимо, бешено; весь класс стремился помочь, подсказать ему, тут даже

и меня амнистировали, толкали под бока: слушай, какой ответ? А потом мой друг сидел весь красный, уничтоженный, я подходил к нему со слезами на глазах, утешал: вот видишь, сегодня уже было немножко лучше, ты почти что ответил, погоди, дело пойдет на лад! Во время письменных работ я посылал ему решения в свернутой шпаргалке — он сидел на другом конце класса: эстафету мою передавали из рук в руки, и никто ее не разворачивал — она ведь предназначалась ему; юность бывает жестока, но она — рыцарственна. Общими силами мы дотащили его до третьего класса, но потом он провалился безвозвратно и уехал домой; говорили, он дома повесился. Этот мальчик был, пожалуй, самой большой, самой страстной любовью моей жизни. Я думал о ней, читая позже досужие измышления о сексуальных побуждениях дружбы подростков. Господи, какая чепуха! Да мы с трудом, неловко, подавали друг другу руки, мы чуть ли не с сокрушением и мукой постигли изумительный факт, что мы — души; нас наполняло счастьем то, что мы можем смотреть на одни и те же предметы. У меня было ощущение, что я учусь для него, чтоб помочь ему, только в ту пору я искренне любил учиться, — тогда это имело прекрасный и добрый смысл. По сей день слышу собственный настойчивый, старательный голосок: «Слушай, повторяй за мной: растения открытосемянные делятся на растения с одной семядолей, с двумя семядолями и без семядоль». — «Растения делятся на односемянные...» — бормочет мой большой друг уже мужским голосом и устремляет на меня чистые, любящие, по-собачьи преданные глаза.

Несколько позднее была у меня иная любовь: ей было четырнадцать, мне — пятнадцать лет. Она была сестрой одного моего товарища, он провалился по латыни и греческому, — большой был шалопай и бездельник. Однажды в коридоре гимназии меня остановил потрепанный, унылого вида, подвыпивший господин, он снял передо мной шляпу, представился: «Младший чиновник имярек», — причем подбородок у него дрожал мелкой дрожью. Вот, мол, слыхать, вы такой отменный ученик, так не окажете ли милость, не поможете ли сынку в латыни и греческом? «Репетитора нанять я не в состоянии, — лепетал он, — так что если ваша величайшая любезность, сударь...» Он назвал меня «сударь», этого было достаточно; мог ли я требовать большего? Я с энтузиазмом взялся за труд и

попытался втолковать хоть что-то этому отъявленному лоботрясу. Семья была странная: отец вечно пребывал в должности или в состоянии опьянения, мать ходила по домам шить, что ли; жили они на узкой, дурной славы, улице, там, с наступлением вечера, выходили на панель толстые, старые девки, раскачивавшиеся, как утки. А дома был — или не был — мой ученик, была его младшая сестра, чистенькая, робкая, с узеньким личиком и светлыми, близоруко-выпуклыми глазами, вечно потупленными над каким-нибудь вышиванием. Ученье шло из рук вон, мальчишка не думал заниматься, да и все тут. Зато я по уши, до боли влюбился в эту тихую девочку, скромненько сидевшую на стуле, держа вышивание у самых глаз. Она всегда поднимала их вдруг и как бы испуганно, потом словно извинялась за это дрожащей улыбкой. Брат ее уже даже не снисходил выслушивать мои лекции, он великодушно позволял мне писать за него уроки, а сам отправлялся по своим делам. И я корпел над его тетрадями, словно это был для меня бог весть какой труд; когда я поднимал глаза, девочка мгновенно опускала свои, краснея до корней волос, а когда я заговаривал, глаза ее чуть ли не выскакивали от испуга и на губах появлялась дрожащая, до жалости робкая улыбка. Нам не о чем было говорить, все ужасно смущало нас; на стене тикали часы, издавая хрип вместо боя; временами, — не знаю уж, каким *чувством*, — я догадывался, что она вдруг начинала чаще дышать и быстрее продергивать нитку, — тогда и у меня начинало колотиться сердце, и я не осмеливался поднять голову, только принимался без нужды перелистывать тетради ее братца, чтоб заняться хоть чем-то. Я заливался краской, стыдясь собственного смущения, и твердил себе: завтра скажу ей что-нибудь такое, чтоб она могла разговориться со мной. Я придумывал сотни разговоров, даже с ее ответами. Например: «Покажите, пожалуйста, что вы вышиваете и что это будет», — и в таком роде. Но вот я приходил и собирался заговорить, и тут-то у меня начинало бухать сердце, и горло сжималось, и я не мог произнести ни слова, а она поднимала испуганные глаза, а я горбился над тетрадями, бурча мужским голосом, что опять здесь куча ошибок. А между тем по дороге домой, и дома, и в школе у меня все не выходило из головы: что я ей скажу, что сделаю... Поглажу по волосам, начну давать платные уроки и куплю ей

колечко, спасу ее каким-то образом, вырву из этого дома, сяду рядом, обниму — и мало ли что еще. Чем больше я выдумывал, тем сильнее билось сердце и тем беспомощнее ввергался я в паническое смущение. А братец ее оставлял нас наедине уже умышленно. «Завтра подскажешь», — бросал он, как истый шантажист, и исчезал из дому. И вот однажды: да, сейчас поцелую, вот возьму и поцелую, подойду к ней и сделаю это, вот сейчас встану и подойду... И вдруг я в смятении, чуть ли не с ужасом осознаю, что в самом деле встаю и иду к ней... И она встает, рука с вышиванием дрожит, губы полуоткрылись от ужаса. Мы стукнулись лбами — и ничего более! Она отвернулась, судорожно всхлипнула: «Я вас так люблю, так люблю!» Мне тоже хотелось плакать, а я не знал, что делать, господи Иисусе, что же теперь? «Кто-то идет!» — вырвалось у меня глупо, она перестала всхлипывать, но это и был конец прекрасной минуты. Я вернулся к столу, красный и растерянный, и стал собирать тетради. Она сидела, чуть не носом уткнувшись в вышивание, и колени у нее дрожали. «Ну, я пошел», — промямлил я, и на ее губах затрепетала покорная, перепуганная улыбка.

На другой день ученик мой с видом знатока процедил мне сквозь зубы: «А я знаю, что ты с моей сестрицей выделываешь!» И понимающе подмигнул. Юность удивительно бескомпромиссна и последовательна. Больше я к ним не ходил.

IX

В конечном счете жизнью движут главным образом две силы: привычка и случайность. Сдав выпускные экзамены (едва ли не разочарованный тем, как это оказалось легко), я не имел никакого определенного представления о том, кем же я, собственно, хотел бы стать, но так как мне уже дважды случалось давать уроки (и в обоих случаях я казался себе важным и большим человеком), то и открывалось мне то единственное, что походило на привычку: учить других. Почему и решил я записаться на философский факультет. Отец был доволен этим: учитель — все-таки государственный служащий и по выслуге лет получает пенсию. В ту пору я был уже долговязый, серьезный юноша и обрел право сидеть в трактире за столом, накрытым белой скатертью, вместе со священником,

нотариусом и прочей городской знатью, и важничая я невероятно: впереди была жизнь. Я как-то сразу увидел, до чего же эта знать провинциальна и мужиковата; и я считал себя призванным добиться большего, чем они, и принимал таинственный вид, как человек, вынашивающий великие планы. Однако и за этим крылась лишь моя неуверенность, да отчасти боязнь шагнуть в неизвестное.

Пожалуй, то был самый трудный момент в моей жизни — когда я вышел из поезда в Праге со своим чемоданчиком и вдруг потерял голову: что дальше, куда податься? Мне чудилось — все на меня оглядываются, смеясь тому, как я стою, растерянный, с чемоданчиком у ног; я мешал носильщикам, люди натыкались на меня, извозчики окликали: «Куда подвезти, барич?» В панике подхватил я чемоданчик и пошел скитаться по улицам. «Эй, с чемоданом, сойдите с тротуара!» — крикнул мне полицейский. Я бежал в боковые улицы, совсем потерявшись, без цели, перекладывая чемодан из руки в руку. Куда я? Не знаю, а потому надо двигаться, остановись я — будет еще хуже. В конце концов я уронил чемодан, — пальцы мои совсем онемели от тяжести. Это случилось на тихой улочке, между булыжниками пробивалась травка — совсем как у нас на площади; и прямо перед моими глазами на воротах дома прибито объявление: «Сдается комната для одиноких». Я вздохнул с безграничным облегчением: все-таки нашел!

Я снял эту комнату у неразговорчивой старухи; в комнате стояла кровать и кушетка, она наводила уныние, но не важно: ведь я уже в безопасности. Я был в жару от волнения, не мог ни есть, ни пить, ничего, но приличия ради притворился, что иду пообедать, и пошел бродить по улицам, страшась не найти дорогу к моему пристанищу. В ту ночь нервная лихорадка дурманила мне голову, разбивая сон, я проснулся под утро, а в ногах моей кровати сидит толстый молодой человек, от него разит пивом, и он декламирует какие-то стихи.

— Ага, продрал зенки-то, — сказал он и продолжал декламировать.

Я думал, это мне еще снится, и закрыл глаза.

— Господи, вот болван, — промолвил толстый молодой человек и начал раздеваться.

Я сел; молодой человек, сидя на моей кровати, разувался.

— Опять привыкать к новому *идиоту*, — посетовал он. — Скольких трудов мне стоило заставить твоего предшественника заткнуться, а ты собираешься теперь дрыхнуть как пень!

Это было сказано с горечью, но я страшно обрадовался тому, что кто-то со мной разговаривает.

— Что это были за стихи? — спросил я.

Молодой человек рассвирепел.

— Стихи! Что ты понимаешь в стихах, молокосос! Послушай, — заплетающимся языком бормотал он, — хочешь со мной ладить, тогда упаси тебя бог разговаривать со мной об этом дурацком парнасизме. Ни хрена ты в поэзии не смыслишь.

Держа ботинок в руке и заглядывая в его недра, он начал тихо и страстно читать какое-то стихотворение. Очарование легким морозцем охватило меня — все это было так бесконечно ново и странно. Поэт швырнул ботинок в дверь — в знак того, что *кончил*, — и встал.

— *Нищета*, — вздохнул он. — Нищета.

Он задул лампу и тяжело повалился на кушетку; слышно было, как он что-то шепчет. Потом в темноте раздался его голос:

— Слушай, как там дальше: «Ангел божий, мой хранитель...» А? Тоже не помнишь? Вот станешь такой же свиньей, как я, и тебе захочется вспомнить, погоди, ох, как захочется.

Утром он еще спал, опухший и растрепанный. А проснувшись, смерил меня угрюмым взглядом.

— Философию изучать? К чему? И охота тебе...

Однако он покровительственно проводил меня к университету — «вот здесь это, а там то, и пошел ты к черту». Я был сбит с толку и околдован. Так вот она, Прага, и вот какие здесь люди! Наверное, это в порядке вещей, и мне надо приспособиться.

За несколько дней я ознакомился с распорядком университетских лекций, царапал в тетрадках ученые выкладки, которых я и доныне не понимаю, а по ночам спорил с пьяным поэтом о поэзии, о девчонках, о жизни вообще, все это, вместе взятое, вызывало в моей провинциальной голове некое кружение, однако вовсе не неприятное. Да и помимо того было на что смотреть. Вообще всего вдруг стало слишком много, меня захлестнуло, хаотично и внезапно. Я, может быть, снова закопался бы

в свою надежную нелюдимую зубрежку, если б не толстый пьяный стихотворец с его возбуждающими проповедями. «Все на свете дерьмо», — скажет он безапелляционно, и дело с концом; одну лишь поэзию он частично исключал из круга своего неистового презрения. Я жадно впитывал его циничное высокомерие к явлениям жизни; он помог мне победно справиться с нагромождением новых впечатлений и неразрешимых вопросов; я мог теперь с гордостью и удовлетворением смотреть на множество вещей, на которые мне стало наплевать. Разве это не давало мне великолепного чувства превосходства над всем тем, что я отрицал? Не освобождало от романтических и меланхолических грез о жизни, которую мне все еще, вопреки моей прекрасной свободе и документально удостоверенной зрелости, не удавалось забрать в свои руки? В юности человеку хочется всего, что он видит, и он сердится, когда не может всего этого получить, за что и мстит миру и людям, ища, в чем бы им отказать. Потом он силится сам себя убедить в собственной неистовости; начинаются ночные кутежи, экспедиции в темные закоулки жизни, ужасающе пустозвонные споры и погоня за любовным опытом, словно в этом и есть величайшие трофеи мужественности.

А может быть, было тут и нечто иное; может быть, за восемь школьных лет самоограничения во мне накопился избыток страстей и глупости — и вот теперь все это рвалось наружу. Может быть, это были попросту признаки возмужания — как появление усов и бороды и исчезновение загрудинной железы. Видимо, было естественно и необходимо пережить эту стадию, но в соотношении со всей жизнью то был период странный, выходящий из ряда вон, этакое роскошное ничегонеделание и нечто вроде торжества, — дескать, вот как нам удалось опровергнуть смысл жизни! Я уже и в университете-то не числился; я писал стихи — думаю, плохие; тем не менее их печатали в журналах, которые давно никто не помнит. Я рад, что не сохранил их, что даже в памяти моей не осталось от них и следа.

Конечно, все это кончилось скандалом. Приехал отец и учинил мне страшнейшую головомойку; раз так, мол, то и он не дурак посылать сыночку деньги на прожигание жизни. Я обиделся, надулся, — конечно, оттого, что совесть моя была нечиста; я докажу, что и сам себя прокорм-

лю! И отослал ходатайство в дирекцию железных дорог с просьбой принять меня практикантом. К моему удивлению, ответ я получил положительный.

X

Меня определили на пражский вокзал Франца-Иосифа, где мне предстояло постичь тайны железнодорожно-канцелярской службы... И вот — контора, окном на темный перрон, из-за чего целый день в ней горела лампа; страшная, безнадежная дыра, где я подсчитывал плату за транзит и тому подобное. За окном мелькают люди, кого-то ждущие или куда-то едущие; это создает особую нервную, почти патетическую атмосферу встреч и расставаний, а человек у окна исписывает бумагу дурацкими, абсолютно ему безразличными цифрами. А впрочем, что-то в этом было. Время от времени захочешь размяться, походить по перрону с безучастным видом, — к вашему сведению, я здесь свой человек... А в остальном — бесконечная, отравляющая, тяжелая скука; одно лишь глубокое удовлетворение: вот я уже сам себя содержу. Ну да, я горблюсь у лампы, как и в ту пору, когда делал уроки по арифметике, но ведь тогда это было всего-навсего подготовкой к жизни, а теперь — сама жизнь. А это огромная разница, сударь мой. Я начал презирать собутыльников, с которыми растратил прошлый год: все они — несамостоятельные, зеленые юнцы, тогда как я уже стою на своих ногах. И вообще я стал избегать их, предпочитая некий патриархальный трактирчик, где степенные отцы семейств обменивались мнениями и толковали о своих делах. И я, господа, не случайно хожу сюда: я — взрослый, сложившийся человек, зарабатывающий на жизнь изнурительным, безрадостным трудом. Ведь то, что мне приходится делать для заработка, просто ужасно: весь день шипит газовая лампа, невыносимо! Пусть я всего лишь практикант, но я ужо изведал, господа, что такое жизнь. Зачем же я пошел на эту работу? Да, видите ли, по семейным соображениям и тому подобное. В городке, где прошло мое детство, строили железную дорогу, и я мечтал стать кондуктором или рабочим, который возит в вагонетках камень из карьера. Этакий, знаете ли, ребяческий идеал; вот и выписываю теперь авизовки и всякие такие вещи. На меня не обращали внимания,

у каждого взрослого — свои заботы, а мне просто страшно было идти домой, потому что дома я от усталости сразу свалюсь в постель, и у меня опять начнется ночная лихорадка, и весь я покроюсь этим несносным потом, — это у меня от темного помещения, понимаете? Но никто не должен знать про это, практиканту нельзя болеть, а то еще уволят; так что пусть держит про себя то, что с ним происходит по ночам. Хорошо еще, я успел кое-чего повидать, так что хоть есть чему сниться. Но такие тяжелые сны: все перепутано и туманно — просто чудовищно. И до того у меня настоящая и серьезная жизнь, господа, что я от нее подыхаю. Жизнью надо как-то пренебрегать, чтоб постичь ей цену.

Этот период был у меня каким-то бесконечным монологом; страшная вещь монолог — нечто вроде самоистребления, вроде отсекания уз, привязывающих нас к жизни. Человек, ведущий монолог, — он уже не просто одинок, он отчислен, потерян. Бог весть, что это было во мне, — строптивость или еще что, но я находил какую-то странную прелесть в своей конторе хотя бы за то, что она меня губила, к тому же еще возбуждающая нервозность прибытий и отъездов, эта суета, этот хаос... Вокзалы — особенно в большом городе — слишком полнокровный, несколько воспаленный узел, и черт его знает, отчего они притягивают столько всякого сброда — мелких воришек, хлыщей, потаскушек и чудаков, может быть, потому, что люди, отъезжающие или приезжающие, уже тем самым выбиты из привычной колеи и становятся, как бы сказать, благоприятной почвой, на которой легко взрасти всяким порокам. И я с каким-то удовлетворением принюхивался к слабому запаху разложения — он так подходил к моему бредовому настрою, к мстительному чувству, что вот я гибну, подыхаю. Вдобавок, понятно, сюда примешивалось еще одно торжествующее чувство: ведь именно на этот перрон я вышел из вагона тогда, чуть больше года назад, оробевший деревенский простачок с деревянным сундучком, не знающий, куда податься. Теперь я шагаю через пути, помахивая авизовками, небрежный и пресыщенный; далеко же ушел я за это время, — и куда они подевались, мои глупые, робкие годы! Далеко я ушел — едва ли не к самому концу...

Однажды я, сидя над своими бумагами, выплюнул в платок кровяной сгусток — и пока, пораженный, раз-

глядывал его, отхаркнул еще один, куда больший, огромный комок. Сбежались сослуживцы, перепуганные и растерянные, один старый чиновник все вытирал мне полотенцем потный лоб; я вдруг ощутил себя паном Мартинеком, подручным отца, — его схватило за работой, и он сидел потом на досках, страшно бледный и весь в поту, и прятал лицо в ладони; я глазел на него издали, потрясенный, и вот теперь у меня было такое же невообразимое ощущение ужаса и отчужденности, как тогда. Старый чиновник в очках, похожий на черного медлительного жука, отвел меня домой и уложил в постель, он даже потом навещал меня, видя, что мне страшно. Через несколько дней я поднялся, но бог весть, что это со мной приключилось: меня вдруг обуяла неистовая жажда жить, жить хотя бы так тихо и медлительно, как этот чиновник, — жажда сидеть за столом, корпеть над бумагами под тихое, упрямое шипение газовой лампы...

В то время «наверху», среди начальства, сидел какой-то весьма умный человек; не затевая возни с исследованием моего здоровья, меня просто перевели на железнодорожную станцийку в горах.

XI

В своем роде это был конец света; здесь кончался железнодорожный путь; недалеко за станцией был тупик, и там последние ржавые рельсы зарастали пастушьей сумкой и сухим мятликом. Дальше ехать некуда; дальше — шумит зеленая горная речка в изгибе узкой долины. Ну вот, здесь мы — как бы на дне кармана, конец, дальше нет ничего. По-моему, железнодорожные пути были проложены здесь для того только, чтоб вывозить доски с лесопилки да длинные, прямые стволы, связанные цепью. Кроме станции и лесопилки, там были трактир, несколько изб, педантичные немцы да леса, органно гудящие под ветром.

Начальник станции был угрюмый человек, смахивавший на моржа; он смерил меня подозрительным взглядом: как знать, за что перевели сюда из Праги этого молодчика, — скорее всего, в наказание; надо за ним доглядывать. Дважды в день приходит поезд — два пассажирских вагона, из них вываливается кучка усачей с пилами и топорами, в зеленых шляпах на рыжих патлах;

отзвонит сигнал, оповещающий о подходе поезда, — бим-бим-бим, бим-бим-бим! — и все выходят на перрон присутствовать при главном событии дня. Начальник станции — руки за спину — беседует с начальником поезда, машинист уходит хлебнуть пивка, кочегар делает вид, будто вытирает паровоз грязными концами — и потом снова тишина, только невдалеке с грохотом грузят доски на платформу.

В тенистой станционной канцелярии тикает телеграфный аппарат — кто-нибудь из начальства лесопилки оповещает о своем прибытии; вечером у станции будет стоять коляска, и усатый кучер будет задумчиво, кончиком кнута, сгонять мух с лопаток рыжих лошадей. «Тпрру!» — произнесет он порой тоненьким голосом, лошади переступят ногами — и опять тишина. Потом подкатит с пыхтеньем состав из двух вагонов, начальник станции — полупочтительно, полуфамильярно — отсалютует вельможе с лесопилки, который направится к коляске, разглагольствуя нарочито громко; прочие смертные разговаривают на станции пониженными, глухими голосами. И вот уж и дню конец, теперь остается разве заглянуть в трактир, где один стол накрыт белой скатертью для господ со станции, с лесопилки, из лесничества, или побродить еще по колеям — до того места, где они зарастают травой и пастушьей сумкой, посидеть на штабеле досок, вдыхая резкий горный воздух. Высоко на штабеле досок сидит мальчонка, — ах, нет, уже не так высоко, и уже не мальчонка, а господин в чопорном мундире, в форменной фуражке, с интересными усиками на интересном бледном лице; черт его знает, за что его сюда прислали, думает начальник последней на свете станции. Затем и прислали, позвольте доложить, пан начальник: сидеть на досках, как сиживал дома. Многому надо научиться, наделать множество глупостей, надо выхаркнуть целые сгустки жизни, чтобы снова увидеть себя на досках, пахнущих древесиной и смолой. Говорят, это полезно для легких. Вот стемнело — на небе выскакивают звезды; дома тоже были звезды, а в городе нет. Сколько их здесь, нет, сколько — невероятно! Человек-то воображает — бог знает, сколько важных вещей на свете, и как много он пережил, а между тем такая гибель звезд! Нет, это действительно самая последняя станция на свете: колея исчезает в траве и пастушьей сумке, а там — уже сама вселенная. Вот тут,

за тем местом, где кончается тупик. Можно подумать, то шумит река и лес, а это шумит вселенная, звезды шелестят, как ольховые листья, и горный ветер пробегает между мирами; господи, как здесь дышится!

Или — с удочкой за форелью; сидишь над торопливой речкой, притворяясь, будто ловишь рыбу, а сам только смотришь на воду — сколько же унесла она... Волна все та же, и всякий раз новая, та же — и новая, и нигде нет конца; господи, сколько всего уносит вода! Словно что-то откалывается в тебе, что-то из тебя вымывается — и все уносит вода. И откуда столько в тебе набирается: уносит, уносит вода какие-то осадки, какую-то грусть, а много еще в тебе остается. Одного чувства одиночества сколько уплыло, а нигде нет конца. Сидит над речкой молодой человек, вдыхает от одиночества. Это хорошо, говорит в нем что-то, вздыхай-ка побольше, да поглубже притом — это полезно для легких. И ловец форели вздыхает много и глубоко.

Но надо признаться: не так-то легко он поддался, не так-то легко примирился с последней на свете станцией. Во-первых, пришлось показать, что он — из столицы, а не так себе кто-нибудь; ему приятно быть немного загадочным, и при служащих лесничества, при багровоносых бородачах с гор он держит себя как много переживший человек; взгляните только, какие глубокие иронические морщины прорезала жизнь у его губ! Но бородачи не очень-то его понимали — были слишком здоровы. Хвастались похождениями с девками в малинниках или на сельских гулянках, по воскресеньям способны были часами отдаваться игре в кегли. В конце концов и человек с интересным бледным лицом поймал себя на том, как спокойно и мягко завлекает его это занятие: следить, как катятся шары и падают кегли; всегда одно и то же, и всякий раз новое — словно волны реки. Колея, зарастающая травой и пастушьей сумкой. Увозят штабели досок, а на их месте появляются новые. Все одно и то же — и всякий раз новое. «Господа, я поймал пять форелей...» — «Где?» — «Да тотчас за станцией, вот такие здоровенные...»

Порой я ужасался: и это — жизнь? Да, это — жизнь, два поезда в день, тупик в траве, и сразу за ним — стеной — вселенная.

Интересный человек, сидящий на досках, мирно нагнулся за камушком, чтоб швырнуть им в курицу стрелочника. Всполошись, кура-дура! А я уже обрел равновесие.

XII

Теперь я вижу: весь этот скрип, это дребезжанье было не более чем переезд через стрелку; я-то думал — разорвусь, так все во мне громыхало, а я меж тем уже въезжал на нужную, на долгую колею жизни. Что-то в человеке сопротивляется, когда жизнь его выходит на окончательный путь; ведь до того была у него еще какая-то смутная возможность стать тем или иным, пойти той или иной дорогой, теперь же все решается по воле, высшей, чем его собственная. Поэтому он восстает в душе и мечется, не зная, что эти сотрясения и есть перестук колес судьбы, въезжающей на верную колею.

Теперь-то я вижу, как складно и связно развернулось все, с самого детства; все, почти все было не случайностью, но звеном в цепи неизбежности. Я сказал бы, что судьба моя была решена, когда в краю моего детства начали строить железную дорогу; крошечный мир старинного городка внезапно связали с безбрежным пространством, открылась дорога в огромный мир — городок обувал семимильные сапоги; он до неузнаваемости изменился с той поры, в нем выросло много фабрик, стало много денег и нищеты, — короче, это был для него исторический поворот. И пусть я тогда не понимал всего так, меня восхищали новые, шумные, мужские дела, ворвавшиеся в замкнутый мир ребенка, — эти галдящие босяки, чернь, собравшаяся со всех концов света, динамитные взрывы, раскопанные откосы. Думаю, и глубокая моя детская любовь к девочке-чужеземке в значительной своей части была выражением этой восхищенности. И застряло это во мне — подсознательно и неискоренимо; иначе почему же мне, при первом же случае, пришло в голову искать место именно на железной дороге?

Ну да, годы учения были как бы другой колеей, но разве не томила меня тогда тоска и не чувствовал я себя словно потерянным? Зато я находил удовлетворенность и опору в выполнении обязанности; мне облегчением бы-

ло придерживаться предписанного пути школьного распорядка, то был некий режим, да, была прочная колея, по которой я мог катиться. У меня, видно, натура службиста: мне нужно, чтоб жизнью моей управляли обязанности, мне нужно ощущение, что я функционирую правильно и в полную силу. Потому столь плачевно и закончился мой пражский период, что я утратил точную надежную колею. Мной уже не повелевали никакие расписания, никакие уроки, которые следовало приготовить к утру. А так как никакой иной авторитет не подчинил меня себе сразу, я и признал безумный авторитет толстого пьяного поэта. Боже, как все просто, а я-то тогда воображал, будто переживаю бог весть что. Даже стихи писал — как каждый второй студент тех времен — и думал, что наконец-то нашел себя. Когда же я просил службы на железной дороге, то делал это назло, чтоб показать отцу, но на самом деле, еще неосознанно и вслепую, я тогда уже искал под ногами твердую — и *свою* дорогу.

И есть еще одна на первый взгляд мелочь — не знаю, не преувеличиваю ли я: ведь я начал сходить с рельс в ту минуту, когда, с сундучком в руке, торчал на перроне, растерянный и жалкий, чуть не плача от позора и смятения. И долго я жгуче стыдился этого своего поражения. Как знать, быть может, я стал «паном с вокзала», а под конец даже одним из важнейших винтиков в железнодорожной машине еще и затем, чтобы перед самим собой загладить и искупить тот тягостный, тот унизительный момент на перроне.

* * *

Конечно, все это — истолкования postfactum, но порой меня охватывала интенсивная и странная уверенность, что переживаемое мною сейчас *соответствует* чему-то давнему в моей жизни, что сейчас завершается то, что было прожито ранее. Например, когда я горбился над авизовками под шипящей лампой — боже мой, да ведь это уже было, когда я корпел над школьными уроками и грыз ручку, подхлестываемый ужасом при мысли, что их надо сделать вовремя. Или чувство добросовестного ученика — от него я не мог избавиться всю свою ж и з н ь, — что не все уроки сделаны. Странно, что моменты, когда я осознавал такую отдаленную и удивительно

четкую связь с чем-то давно минувшим, волновали меня, словно мне являлось нечто великое и таинственное; жизнь тогда представала мне как некое глубокое и неизбежное единство, пронизанное незримыми связями, постичь которые нам дано лишь в исключительных случаях. На последней на свете станции, когда я сидел на досках, напоминавших мне о столярной мастерской отца, я впервые, изумленный и покорный, начал осознавать прекрасный и простой порядок жизни.

XIII

По прошествии положенного срока я был переведен на станцию более высокого разряда, — правда, небольшую и промежуточную, но на главной магистрали. Шесть раз в сутки проходили мимо нее экспрессы, — конечно, без остановки. Начальник станции, немец, был очень добрый человек; он целыми днями попыхивал гипсовой трубкой с длинным чубуком, но когда давали сигнал к приезду скорого, он ставил трубку в угол, чистил сюртук щеткой и отправлялся на перрон, чтоб воздать надлежащие почести международному экспрессу. Станция была как конфетка — во всех окнах петунии, везде корзинки с лобелиями и настурциями, в садике буйствовали сирень, жасмин и розы, да еще вокруг пакгауза и блокпостов — сплошь клумбы, пестревшие ноготками, незабудками, львиным зевом. Начальник требовал, чтоб все так и сверкало — окна, фонари, водокачка, выкрашенная в зеленый цвет; при малейшем упущении старый пан выходил из себя. «Это что такое! — бранился он. — Здесь международные экспрессы ходят, а вы тут свинство разводите!» Причем свинством называлась, например, брошенная бумажка, — но нельзя же, ведь близится славный миг: вон, из-за поворота, хрипло гудя, уже выныривает могучая, высокая грудь паровоза, начальник делает три шага вперед — и экспресс бурей проносится мимо, машинист приветственно машет, со ступенек вагонов салютуют кондукторы, а наш старый начальник стоит навытяжку, пятки вместе, носки врозь, ботинки начищены до зеркального блеска, и он с достоинством подносит ладонь к красной фуражке. (В пяти шагах позади него служащий с интересным бледным лицом, — высокая фуражка, штаны

блестят от сидения, — салютует чуть-чуть небрежнее, и это — я.) Потом старый начальник широким, хозяйским взглядом обводит синее небо, чистые окна, цветущие петунии, разметенный песок, собственные сияющие ботинки и рельсы, тоже сияющие, словно он специально велел их надраить, довольный, поглаживает свой нос — что ж, мол, хорошо получилось — и идет раскурить свою трубку. Обряд этот отправляется шесть раз на дню, с неизменной помпой и неизменной торжественностью. Во всей монархии железнодорожная братия знала старого начальника и его образцовую станцию; торжественное прохождение экспрессов было серьезной и милой игрой, которой все радовались. А по воскресеньям после обеда на крытом перроне открывался праздничный променад; местный люд, разодетый и накрахмаленный, мирно и чинно прогуливался под корзинками с лобелиями, а начальник, заложив руки за спину, расхаживал вдоль путей, словно хозяин, поглядывая, все ли в порядке. Это была его станция, его хозяйство; и если б могли твориться чудеса ради вознаграждения и восславления праведных душ, то когда-нибудь у нашего перрона остановился бы международный скорый (тот, что в 12.17), и из него вышел бы государь император, приложил бы он два пальца к козырьку, да и сказал бы: «Красиво тут у вас, господин начальник. Я уже много раз любовался вашей станцией».

Старик любил свою станцию, любил все, что имело отношение к железной дороге, но главной страстью его были паровозы. Он знал их все наперечет по номерам их серий, знал все их достоинства. «Вон тот немного трудно берет подъем, зато какая форма, господа! А этот, гляньте, длина-то, боже мой, вот это котел!» Он говорил о них, как о девушках, восхищенно и благоговейно. «Ладно, вы вот смеетесь над этой кургузой и пузатой тридцатьшестеркой с широкой трубой, зато возраст-то у нее какой почтенный, молодой человек!» Перед машинами скорых поездов он просто-таки страстно преклонялся. «Эта низкая, атлетическая труба, эта высокая грудь, а колеса-то, братец, вот где красота!» Жизнь его обретала настоящий пафос — оттого, что вся эта красота только пролетала мимо ураганом; и все же для нее он начищал свои ботинки, для нее украшал окна петуниями и следил, чтоб нигде — ни пятнышка. Мой бог, до чего же простой рецепт для

счастливой жизни: то, что мы делаем, — делать из любви к самому делу!

И один бог знает, каким чудом на этой станции подобралась такая коллекция добряков. Молодой телеграфист, робкий заика, собирал почтовые марки и страшно стеснялся этого; всякий раз он поспешно прятал их в стол, краснея до корней волос, а мы все прикидывались, будто и не знаем ничего, и украдкой — в бумаги на его столе, в книгу, которую он читал, засовывали марки, какие только могли достать. Их привозили нам почтовики с поездов. Вероятно, отдирали со всех писем из-за границы, проходивших через их руки; конечно, этого не полагалось, и потому начальник наш делал вид, будто и понятия об этом не имеет; а на мне лежала обязанность заниматься незаконной частью нашего тайного сговора; тем не менее начальник с кипучим энтузиазмом помогал устраивать сюрпризы застенчивому телеграфисту. Несчастный юноша находил марку из Персии в кармане старой тужурки или из Конго в смятой бумажке, в которой он принес свой завтрак; под лампой он обнаруживал китайскую марку с драконом, из носового платка вытряхивал голубую Боливию. И каждый раз он мучительно краснел, а глаза его наполнялись слезами растроганности и изумления; он косился на нас, а мы — ни-ни, ничего, мы и знать не знаем, чтоб кто-нибудь тут интересовался марками. Счастливы взрослые, которым дано играть.

Вечно бормочущий сторож, он десять раз в день кропит перрон зигзагообразной струйкой воды и ссорится с пассажирами, которые олицетворяют собой неисправимую стихию беспорядка и суматохи. Лучше всего не впускать бы сюда никого, да что поделаешь с этими бабами, с их корзинами и узлами! И сторож все запугивает их, и все его никто не боится; жизнь его трудна и полна треволнений, и, лишь когда мимо грохочет скорый, сторож перестает ворчать и выкатывает грудь. К вашему сведению, я тут на то и поставлен, чтоб порядок был.

Старый ламповщик, меланхоличный, страстный книгочей; прекрасные, проникновенные глаза — такие были у пана Мартинека и у моего покойного школьного друга; вообще ламповщик чем-то напоминал его, и поэтому я порой заходил к нему в дощатую ламповую посидеть на узкой скамье и заводил со старым молчуном рассеянные и медлительные разговоры, рассуждая, к примеру, о том,

почему это женщины такие или что может быть после смерти. Кончались эти беседы покорным вздохом: «А в общем-то, кто его знает!» Но и этот вздох нес какое-то успокоение и примиренность. Знаете что, бедняку уж приходится принимать земные и загробные дела такими, каковы они есть.

Работник пакгауза, отец девяти или скольких там детей; дети эти тоже обычно торчали в пакгаузе, но едва кто-нибудь являлся — мгновенно исчезали за ящиками, словно мыши. Этого не полагалось, да что делать, когда такое благословенное отцовство. В полдень вся мелюзга усаживалась на рампе пакгауза по росту, один белобрысее другого, и поедала пирожки с повидлом — скорее всего с целью устроить себе повидловые усы от уха до уха. Не могу припомнить лица их папаши, помню только его широкие штаны с глубокими складками, которые, казалось, выражали самое отеческую заботливость.

Ну и так далее: все такие порядочные, добросовестные, чувствительные люди — пожалуй, и то обстоятельство, что я узнал столько хороших людей, неотделимо от обыкновенности моей жизни.

Раз как-то стоял я за составом, а по другую сторону его проходил ламповщик со стрелочником, они меня не видели и говорили обо мне.

— ...славный *такой*, — сказал стрелочник.

— Добрый *человек*, — медленно пробурчал ламповщик.

Вот так. Теперь все ясно, что и к чему. Скорее же спрятаться от людей, чтоб привыкнуть к мысли, что я, в сущности, простой и счастливый человек.

XIV

Такая станция — замкнутый в себе мир; она более связана со всеми иными станциями, с которыми ее соединяют пути, чем с миром по ту сторону станционной ограды. Разве еще маленькая привокзальная площадь, где стоит в ожидании желтая почтовая повозка, имеет к нам какое-то отношение; а уж в город мы ходим, как в чужую *страну*, — город уже не наша территория, и нет у нас с ним почти ничего общего. Зато вот надпись: «Посторонним вход *воспрещен*», — и то, что находится по сю сторону

этой надписи, — только для нас; вы же, прочие, скажите спасибо, что мы пускаем вас на перрон и в вагоны. Вы-то не можете повесить у входа в город надпись: «Посторонним вход воспрещен», не дано вам такое обособленное, неприступное царство. Мы — словно остров, подвешенный на стальных рельсах, и на них нанизаны еще и еще острова, островки — вот все это наше и отгорожено от прочего мира оградами и запорами, табличками и запретами.

Обратите-ка внимание: ведь и ходим-то мы по этой своей обособленной территории совсем не так, как обычные люди — мы двигаемся с важностью и небрежностью, которые разительно отличаются от вашей суматошной спешки. А спросите нас о чем — мы слегка склоним голову, как бы удивляясь тому, что к нам обратилось существо иного мира. Да, ответим мы, поезд номер шестьдесят два опаздывает на семь минут. Вам хочется знать, о чем разговаривает дежурный по станции с начальником поезда, высунувшимся из окна служебного вагона? Вам хочется знать, отчего дежурный, стоявший на перроне, заложив руки за спину, вдруг повернулся и большими, быстрыми, решительными шагами направился в канцелярию? Любой замкнутый мир кажется немного таинственным; в известной мере он сознает это и наслаждается этим с глубоким удовлетворением.

Вспоминая то время, я вижу эту станцию как бы сверху, словно маленькую, чистенькую игрушку; вон те кубики — это пакгауз, и ламповая, и блокпосты, и домики путевых обходчиков; посередине между ними бегут игрушечные рельсы, а коробочки на них — это вагоны, поезда. Ж-ж-ж — пробегают по игрушечным рельсам крохотные паровозики. Та маленькая толстая фигурка — начальник станции, он вышел из вокзала и стал около миниатюрных путей. А другая фигурка — у нее высокая фуражка и ноги до того напряжены, что чуть не *прогнулись*, — это я; синяя фигурка — наш сторож, а та, в блузе, — ламповщик; все такие милые, симпатичные, и всех отличает такая приятная явственность. Ж-ж-ж — внимание, идет скорый! Когда я уже пережил это? Ах, да ведь это как будто я — маленький мальчик в отцовском дворе: воткнуть щепочки в землю — вот и забор, внутри посыпать чистыми опилками и положить на них несколько пестрых фасолин — и это будут куры, а самая большая фасолина, *крапчатая*, — будет петух. Склоняется мальчик над

своим игрушечным двориком, над крохотным миром своим, и затаив дыхание — до того сосредоточен! — шепотом кличет: «Цып-цып-цып!..» Только тогда дворик мальчика не мог вместить других людей, взрослых, — у тех, у каждого, была своя игра, игра в ремесло, в домашнее хозяйство, в общественные дела; но теперь, когда мы сами стали большими и серьезными, — все мы играем в одну общую игру — игру в нашу станцию. Потому-то мы так ее и украсили, чтоб она была еще более — нашей, и еще более — игрушкой, да, еще и потому. Все связано между собой — даже то, что станция была замкнутым миром, обнесенным оградой и запретами. Всякий замкнутый мир становится до некоторой степени игрой; для того и создаем мы обособленные, только наши, ревниво отгороженные области своих увлечений, чтобы можно было отдаваться любимой игре.

Игра — вещь серьезная, у нее свои правила, свой обязательный строй. Игра — это углубленная, нежная или страстная сосредоточенность на чем-то одном, и *только* на одном; посему то, к чему мы привязываемся, да будет изолировано от всего остального, выделено своими правилами, изъято из окружающей действительности. Отсюда, по-моему, и моя игра в увлечение уменьшать размеры: сделайте что-нибудь маленьким, уменьшите его — и оно уже изъято из действительности, оно больше и глубже стало миром для себя, нашим миром, в котором мы можем забыть о существовании еще какого-то там другого. Ну вот, теперь нам удалось вырваться из этого другого мира, теперь мы — в заколдованном круге, отделяющем нас от остальных; вот мир ребенка, вот школа, вот богемная компания поэта, вот последняя на свете станция; и вот — чистенький вокзал, дорожки усыпаны песком, все обрамлено цветами — и так далее, а под конец — садик пенсионера, последний отграниченный мирок, последняя тихая, сосредоточенная игра; алые колоски камнеломки, прохладные султаны таволжника, а в двух шагах, на камне, — зяблик склонил голову набок, поглядывает одним глазком: кто ты?

Ограда из щепочек, воткнутых в землю, игрушечные рельсы — они разбегаются и сбегаются, — игрушка-вокзал, кубики пакгауза и блокпостов; еще игрушки — семафор, стрелки, разноцветные сигналы, водокачка; коробочки — вагоны и дымящие паровозики; ворчливая синяя

фигурка поливает перрон, толстый господин в красной фуражке; кукла с ногами, до того напряженными, что они чуть ли не прогибаются, — это я. Наверху, в окне, из-за цветущих петуний, выглядывает еще одна куколка — дочка старого начальника. Кукла в форменной фуражке подносит руку к козырьку, куколка в окне поспешно кивает головкой — вот и все. Вечером куколка выходит, усаживается на зеленую лавочку под цветущей сиренью и жасминами. А тот, в высокой фуражке, стоит рядом, и ноги его так напряжены, что чуть ли не прогибаются. Делается темно, на путях зажглись зеленые и красные огоньки, по перрону слоняются железнодорожники с зажженными фонарями. За поворотом на путях хрипло вскрикивает гудок — это вечерний экспресс, и вот уже он грохочет мимо, светясь всеми окнами. Но тот, в высокой фуражке, даже не оглядывается, он занят более важным делом; однако грохот экспресса как-то странно и волнующе отдается в душах обоих молодых людей, будто повеяло на них далью и приключениями, и у бледной куколки в темноте заблестели глаза. Ах да, ей пора домой — и она подает человеку в высокой фуражке дрожащие и чуточку влажные пальцы. Из ламповой выходит старый ламповщик, бормочет что-то вроде: «А в общем-то, кто его знает...» Стоит на перроне молодой человек в высокой фуражке, смотрит вверх на одно из окон. И что удивительного — единственная девушка на острове, единственная молодая женщина в неприступном царстве; это одно придает ей безмерную, редкостную исключительность. Она прекрасна, ибо юна и чиста; папенька ее такой добрый человек, а маменька — дама достойная, почти аристократка, и пахнет как бы сахаром и ванилью. Куколка — немка, что сообщает ей чуточку экзотичности. Мой бог, но ведь и это уже было — был тот бесенок с непонятной речью... Неужели и впрямь вся жизнь словно отлита из единого куска?

Но вот уже наша парочка сидит на скамейке и разговаривают они больше о самих себе; и не жасмин цветет теперь, а осенние георгины. Все делают вид, будто и не замечают тех, на скамье; старый господин старается и не ходить в ту сторону, а ламповщик — когда ему необходимо пройти — уже издали кашляет, ничего, мол, это я. Ах, добрые мои, к чему столько деликатности! Будто есть что-то необычное и редкое в том, что молодой человек по уши

влюбился в дочь своего начальника! Так бывает, это — тоже часть обыкновенной, ничем не примечательной жизни; ведь вот как в сказках для детей: будто добиваешься принцессы. Все как на ладони, но и это входит в поэзию таких случаев — медлить трепетно, все не решаться, словно мечтаешь о недоступном. Девица тоже захвачена целиком, но в ее душе глубже внедрены правила игры: сначала протягивать только кончики нервных пальцев, высматривать молодого человека из-за петуний, притворяясь, будто это она просто так. А там выясняется, что молодой человек был тяжело, страшно, смертельно болен; раз так, то уж можно по-матерински брать его за руку, уговаривать горячо и нежно: «Вы должны беречься, вам надо выздороветь... Я так хотела бы помочь вам!» Вот и мостик, по которому с берега на берег переправляются целые сонмы трогательных, великодушных, задушевных чувств; потом уже и мостика мало, приходит пора сжимать друг другу руки, чтоб передавать свои чувства без слов. Постойте, когда же это было, когда я уже испытывал наслаждение оттого, что меня ласкали и жалели в моем горе? Ну да, это было, когда матушка поднимала на руки ревущее дитя — ах ты золотко мое, мой единственный! Если б я теперь захворал — ходил бы ко мне не старый чиновник, похожий на черного жука и совсем без шеи, лежал бы я бледный, в жару, а в комнату мою скользнула бы куколка с заплаканными глазами, а я притворился бы спящим; она же, наклонясь надо мной, вдруг всхлипнула бы: «Мой единственный, не умирай!» Точь-в-точь, как тогда матушка. Да и барышне приятно быть как бы маменькой, окружать другого человека жалостливой заботой; и вот — а глаза у нее полны слез — она думает: ах, если б он заболел, как бы я за ним ухаживала! Она даже не подозревает, до чего же тем самым присваивает его себе, до чего хочет его подчинить, хочет, чтоб он принадлежал ей, чтоб не мог противиться, покорился бы страшной самоотверженности ее любви.

Мы говорим — любовь, а ведь это целое столпотворенье чувств, их толком и не распознаешь. Например, есть не только потребность в том, чтоб тебя жалели, но еще и потребность производить впечатление. К твоему сведению, куколка, я — сильный мужчина с темными страстями, сильный и грозный, как сама жизнь. Ты так чиста и невинна, ты и понятия не имеешь, что это такое.

И в один черный вечер, заслонивший собою все, мужчина начал свою исповедь. Хочет ли он придать себе весу, или он смиренно раздавлен ангельской чистотой куколки, которую держит за руку? Не знаю, но рассказать надо все. Прошлые увлечения. Бесплодная, позорная жизнь в Праге, девки, официантки и прочие эпизоды. Куколка — ни гугу, только руку свою вырвала и сидит — замерла; бог весть какое смятение чувств осаждает ее. Ну вот и в с е , — душа моя теперь чиста, искуплена; что же скажете вы мне, чистейшая девочка, что ответите? Не сказала ничего, лишь порывисто, судорожно, как от сильной боли, стиснула мне руку — и убежала. На другой день — нет как нет куколки за петуниями. Все кончено; я — грязная, грубая свинья. И снова такая же черная ночь, на скамеечке под жасминами белеет что-то — куколка там; молодой человек в высокой фуражке не осмеливается подсесть к ней, просительно что-то бормочет, она отвернулась — наверное, глаза у нее заплаканы — и освобождает место рядом. Рука ее как мертвая; пи словечка из куколки не вытя н е ш ь , — господи, что ж теперь делать? Ради бога, умоляю, забудьте, что я вам вчера говорил! Она резко повернулась ко мне, мы стукнулись лбами (как в тот раз та девочка с испуганными глазами!), но я все же нашел ее судорожно стиснутые губы. Кто-то идет по перрону, но теперь уже все равно; куколка берет мою руку, кладет ее к себе на маленькую, мягкую грудь, прижимает ее чуть ли не с отчаянием — вот я, вот, и *если нельзя без этого* — пусть! Нет других женщин, есть только я; а я не хочу, чтоб ты мог думать о других. Я был вне себя от раскаяния и любви. Сохрани бог, куколка, не приму я такой жертвы; и вовсе это не обязательно, с меня достаточно целовать заплаканные глазки, размазывая слезы, и быть глубоко, торжественно растроганным. Куколка безмерно тронута этим рыцарским благородством, она так благодарна за это, так благодарна, что из одной восторженной благодарности и доверчивости готова была бы отдать и еще большее. Господи, дальше-то уж некуда; она тоже понимает это, но в ней прочнее внедрены правила жизни. И она умненько берет меня за руку и спрашивает: «Когда мы поженимся?»

В тот вечер она даже не сказала, что ей пора д о м о й , — и зачем бы, теперь мы спокойны и благоразумны; с этой минуты в чувствах наших — совершенный, прекрасный

порядок. Само собой разумеется, я проводил ее до самых дверей, тут мы еще постояли — не торопились расстаться. Бормочущий что-то сторож скрылся за какой-то другой дверью, теперь мы совсем одни, и вое это — наше: вокзал, рельсы, красные и зеленые огоньки, вереницы уснувших вагонов. Уже не станет куколка прятаться за петуниями; теперь она будет открыто выглядывать из окна, когда на перрон выйдет молодой человек в высокой фуражке, а он кинет взгляд на окно и, выпятив грудь, счастливый и верный, будет исполнять то, что называют службой.

Но перелистаем, перелистаем книгу дальше; это ведь была не игра, отнюдь не игра; велика, тяжела любовь, даже самая счастливая — грозна, и давит человека огромность ее. Нельзя нам любить без страданий, — о, умереть бы от любви, измерить муками ее необъятность! — ибо никакая радость не достигает дна. Мы счастливы безмерно и чуть ли не с отчаянием сжимаем друг другу руки: пожалуйста, спаси меня, ибо слишком сильно люблю я... Хорошо еще — звезды над нами, хорошо — есть простор для чувства столь великого, как любовь. Разговариваем мы для того лишь, чтобы беспредельность ее не раздавила нас своим безмолвием. Доброй ночи, доброй ночи — как трудно рассекать эту вечность на временные отрезки! Мы не уснем — так тяжко нам будет, и горло перехватит нам любовное рыдание. Скорей бы настал день, о боже, скорее бы день, чтоб я мог увидеть ее в окошке!

XV

Вскоре после свадьбы меня перевели на крупную станцию; вероятно, замолвил словечко старый начальник, который охотно, чуть ли не с наслаждением гурмана принял меня в свое отеческое сердце. «Теперь ты наш», — сказал он, и все. Супруга его была сдержаннее; она происходила из старой чиновной династии и, видимо, рассчитывала выдать дочь за высокого чиновника; поплакала немного от разочарования, но так как была натурой романтической и сентиментальной, то и примирилась; ведь такая большая любовь!

Станция, на которую я теперь попал, была мрачной и шумной, как фабрика; важный железнодорожный узел, на целые километры растянулись запасные пути, пакгаузы, депо — то была большая товарная станция; на всем —

толстый слой угольной пыли и сажи, целые стада дымящих паровозов, старый, тесный вокзал; по нескольку раз в день что-нибудь да заколодит, и приходится срочно распутывать — будто развязываешь затянутый узел, сдирая до крови кожу на пальцах. Нервные, обозленные служащие, вечно ропщущий персонал, в общем — что-то вроде ада. На работу ходишь, как шахтер в шахту, где ненадежная кровля ежеминутно может обрушиться — но это мужское дело. Здесь хоть чувствуешь себя настоящим мужчиной, орешь, решаешь что-то и несешь какую-то ответственность.

А потом домой — и полощешься в чистой воде, рыча от наслаждения; жена ждет с полотенцем, улыбается. Перед ней уже не тот бледный интересный юноша; теперь это — труженик, он наработался до упаду, и грудь у него, сударь, волосатая, широкая — как комод; жена всякий раз похлопывает его по мокрой спине, как большого и доброго зверя. Вот мы и умыты; не испачкаем свою чистенькую женушку; еще губы вытереть, не осталось бы на них кое-что из того, что произносится там, на путях, — и можно чинно, торжественно поцеловать супругу. Ну, теперь рассказывай! Да что, неприятности были, то да се, надо бы снести к черту всю станцию или хотя бы те склады сзади — сразу освободилось бы место для шести новых путей, работать бы легче стало; говорил я сегодня об этом тому-то и тому-то, а он только глазами сверкнул, — мол, без году неделю работаешь, а туда же суешься с советами! Жена понимающе кивает; она — единственный человек, с которым можно говорить обо всем. А ты, дорогая, что поделывала? Улыбается: какие глупые вопросы у мужчин! Что делают женщины? То одно, то другое, потом ждут мужей... Знаю, знаю, милая; в общем-то почти и незаметно, все по мелочам, тут несколько стежков, там купить кое-что к ужину, а все вместе и создает семейный очаг; поцелую твои пальцы — губами почувствую, что ты шила... А как она хороша, когда подает ужин! Ужин-то, правда, скромный, на немецкий лад, зато сама! Головка ее в тени абажура, только руки красиво и ласково двигаются в золотом круге домашней лампы. Вздумай я поцеловать ее в сгиб локотка — отдернется, может, даже покраснеет — это ведь неприлично. Поэтому я только искоса поглядываю, какие у нее добрые женские руки, и вполголоса похваливаю ужин.

Мы тогда еще не хотели иметь детей. Она говорила — здесь слишком дымно, это нездорово для детских легких. Давно ли была она ничего не понимающей, возвышенно беспомощной куколкой? И вот такая рассудительная, спокойная женщина знает все, что нужно. Она спокойна и ласкова даже в супружеской любви, — будто и тут подает ужин своими красивыми, обнаженными по локоть руками. Она слышала или читала где-то, что туберкулезные бывают неистовы в любви; потому и у меня с беспокойством ищет признаки чего-то такого, что ей кажется излишней страстностью. Порой хмурится: нельзя тебе так часто. Да что ты, дорогая, почему? А она дружески смеется, шепчет на ухо: потому что завтра будешь рассеянным на работе, и это нездорово. Спи, спи. Я притворюсь спящим, а она с серьезным, озабоченным видом уставится в темноту и думает о моем здоровье, о моей карьере. Бывает — не знаю, как сказать... бывает, мне страшно хочется, чтоб не думала она только обо мне; это ведь не для меня одного, милая, это ведь и для тебя! Ах, если б ты прошептала мне на ухо: как я тосковала по тебе, мой единственный! И вот — она спит, а я нет, думаю, как мне с ней хорошо и безопасно — никогда у меня не было такого надежного друга.

То было славное, доброе время; была у меня тяжелая, серьезная работа, на которой я мог показать себя, и был дом — опять этакий замкнутый мир, мир только для нас двоих. Мы — это уже не станция, не люди, связанные общей работой, мы — это только двое, жена и я. Наш стол, наша лампа, наш ужин, наша постель; и это «наше» — как ласковый свет, падающий на домашние предметы, делая их иными, прекраснее и неповторимее любых других. Посмотри, дорогой, как хороши были бы у нас эти занавески, правда? Так вот, значит, как развивается любовь: прежде нам достаточно присвоить друг друга, это единственно важно для нас на свете, а присвоив душу и тело другого, начали мы присваивать и предметы для нашего маленького мира, и нас бесконечно радует, когда мы можем сделать нашим еще что-нибудь новое, и мы сочиняем планы, как бы устроить так, чтоб этого нашего было побольше. Я вдруг обнаружил в себе небывалое пристрастие к собственности; мне радостно быть хозяйственным, экономить, откладывать грошик к грошику, — ведь все это для нас, и в этом мой долг.

И на службе жестче сделались у меня локти — я изо всех сил пробиваюсь кверху; сослуживцы поглядывают на меня косо, почти враждебно, они злы и неприязненны, а мне все равно; есть у меня дом, умная жена, есть свой собственный, интимный мир доверия, симпатии, доброго настроения, а остальные пусть идут ко всем чертям. Сидишь под золотым нимбом домашней лампы, глядишь на белые, ласковые руки жены и всласть толкуешь обо всех этих завистливых, недоброжелательных, бездарных людишках на работе; они, видишь ли, хотели бы стать на моей дороге... Жена кивает одобрительно и согласно; с ней можно говорить обо всем, она поймет: знает — все делается для нас. Здесь чувствуешь себя сильным и добрым. Только... только б она хоть раз, смятенная и мятущаяся, шепнула мне ночью: «О милый, я так по тебе тосковала!»

XVI

Позднее я получил хорошую, приятную станцию; я был сравнительно молодым начальником, но разве не пользовался я отличной репутацией там, наверху? Возможно, подсобил немного и тесть, не знаю наверное; но я очутился как бы в родовом имении: вот моя станция, и, когда мы с женой перебрались сюда, я с глубоким и праздничным удовлетворением почувствовал: наконец-то дошли, вот мы и на своем месте, и уж, бог даст, на всю жизнь.

Славная была станция, здесь скрещивались почти только пассажирские линии; и местность красивая — долина с заливными лугами, мельницы постукивают, а вдали — большие господские леса с охотничьими замками. По вечерам благоухает на лугах скошенная трава, в каштановых аллеях поскрипывают господские экипажи. Осенью владельцы лесных угодий съезжаются на охоту — дамы в лоденовых платьях, господа в охотничьих костюмах, пятнистые псы, ружья в непромокаемых чехлах. Князь имярек, два-три графа, а порой и особо высокий гость из какой-нибудь августейшей фамилии. Тогда перед станцией выстраивались в ожидании коляски с белыми упряжками, — грумы, лакеи, недвижные, словно аршин проглотили, кучера. Зимой наезжали костлявые лесничие

с усами, пышными, как лисий хвост, и благородные управляющие владениями, — они время от времени отправлялись в город покутить всласть. Короче, такая это была станция, на которой все должно было идти безупречно, как часы; не то что вокзальчик тестя, похожий на украшенное лентами народное гулянье, а тихая, благопристойная станция, к которой бесшумно подкатывают скорые, чтобы высадить одного-двух важных господ с кисточками из шерсти серны на шляпе, где даже кондуктора запирают вагонные двери тихо и учтиво. Здесь неуместны были бы наивные, болтливые клумбочки старого моего начальника; у этой станции душа другая — что-то вроде замкового двора; а посему — да будет здесь строгий порядок, везде — чистый песок, и никакого тебе кухонного бренчания жизни.

Много пришлось потрудиться, прежде чем я устроил станцию так, как мне хотелось. До меня то была станция хорошая, но невыразительная; она не имела, так сказать, своего лица; зато вокруг росли старые, прекрасные деревья, и тянуло запахами лугов. И из всего этого я сделаю вокзал — чистый, тихий, как часовня, строгий, как замковый двор. А это сотня мелких проблем — как наладить службу, переделать порядок вещей, где отвести место для ожидающих экипажей и тому подобное. Я сделаю свою станцию красивой — и не букетиками, как мой тесть, а пассажирскими составами, великолепным порядком, точным и бесшумным движением. Каждая вещь хороша, когда она на своем месте; но место это — всегда только одно, и не всякому дано найти его. Но тогда вдруг будто открывается пространство, шире, вольнее, и предметы обретают более четкие очертания и становятся както благороднее; ну вот, теперь в самую точку! Я строил свою станцию без каменщиков, из того лишь, что тут уже было; и наступил час, когда я был доволен делом рук своих. Приехал тесть навестить нас — поднял брови, чуть ли не в изумлении погладил нос. «Что ж, хорошо тут у тебя», — пробурчал он, беспокойно косясь, — казалось. в эту минуту он не был уверен, так ли уж нужны его клумбы.

Да, теперь это действительно стала *моя* станция, и впервые в жизни испытал я ощущение чего-то глубоко моего, личного, полное и доброе ощущение собственного «я». Жена чувствовала, что я отхожу от нее, что все это

я делаю для себя одного, но она была умна и отпускала меня с улыбкой: иди, иди, там твое дело, пусть будет у тебя свое, а я уж буду оберегать наше. Ты права, дорогая, кажется, я стал чуточку чужд тому, что было нашим; я и сам это чувствую и, может быть, потому так безмерно внимателен к тебе, когда есть хоть минутка свободного времени, но видишь ведь, сколько работы!

Она смотрит на меня приветливо, по-матерински снисходительно. Иди, иди, знаю — вы, мужчины, иначе не можете; вы погружаетесь в свое дело, как... как дети в игру, что ли? Ну да, как ребенок в игру. И все понятно нам без слов, нет нужды говорить об этом; да, ничего не поделаешь, кое-что из нашего общего было принесено в жертву тому, что — только мое. Моя работа, мое честолюбие, моя станция. А она и вздохом не укорит меня, лишь порой сложит на коленях руки да глядит на меня с ласковой озабоченностью. «Послушай, — скажет, колеблясь, — может, не надо тебе *так уж много* работать, в этом ведь нет нужды...» Я слегка нахмурюсь: откуда тебе знать, сколько всего нужно, чтоб сделать станцию образцовой! Что бы тебе сказать когда-нибудь: «Молодец, здорово умеешь работать»; а то все — «береги себя» и такое прочее... В такие минуты я уходил из дому, — видно, надо мне было вновь и вновь убеждаться в том, что все в порядке и труды мои не напрасны; и немало времени требовалось мне всякий раз на то, чтобы снова находить в сделанном мною подлинную радость.

Но не важно. Все равно это была *образцовая* станция, люди у меня тянулись чуть не в струнку — словно в каком-нибудь замке, — такое все было чистое и четкое. Господа в зеленых шляпах, пожалуй, воображали, что я стараюсь для них, заглядывали ко мне пожать руку, словно хозяину гостиницы, который очень, очень угодил им, и дамы в лоденовых платьях дружески и благодарно мне делали ручкой, даже их пятнистые собаки вежливо вертели хвостами, когда мимо проходил начальник станции, Эх, вы, много чести; я, знаете ли, все это делаю для себя! Что мне до ваших дурацких гостей из владетельных домов! По необходимости козыряю и щелкаю каблуками — и будет с вас. Понимаете ли вы вообще, что такое железная дорога, и такая вот станция, и порядок, и движение, которое идет так гладко? Мой старый начальник — тот понимает, его похвала кое-что да значит; это все равно как

если б отец мой провел ладонью по готовой работе: славно сделано. Никто из вас не может оценить, что такое моя станция и сколько я ей отдал. Даже собственная жена не понимает, хочет сохранить меня для себя, потому и говорит: «Береги здоровье». Она самоотверженная, слов нет, она способна принести себя в жертву человеку, но не большому, великому делу. Теперь вот думает: «Были бы дети, тогда бы и мой не так зарывался в работу, больше бы дома сидел». И нате вам, как назло: нет детей. Я-то знаю, чего ты только об этом не передумала, отсюда твое «как бы ты не переработался», да то, да се, и кормишь меня, как лесоруба. Я толстею, я стал огромен — а ничего. И сидишь ты с сухими глазами, уронив на колени шитье — как у матушки моей, только матушка чуть что — сразу в слезы. Легло это между нами, как брешь, не поможет — теперь ты сама судорожно льнешь ко мне, но брешь остается. Потом ты лежишь без сна, и я не сплю, но мы молчим — боимся, вдруг вырвется слово, что нам чего-то не хватает. Знаю, моя хорошая, есть тут несправедливость: у меня — работа, станция, мне и достаточно, но не тебе.

И начальник станции, прохаживаясь по перрону, слегка разводит руками: ну, что поделаешь! Зато хоть станция действительно моя, образцовая, чистая, работает как точнейшая, обильно смазанная машина. Что делать? В конце концов именно в работе мужчина больше всего чувствует себя в своей стихии.

XVII

Ну что ж, со временем все улаживается — время ведь величайшая сила жизни. Жена свыклась, примирилась с тем, что есть; она уже не надеется, что будут д е т и, — и взамен нашла иную миссию. Будто сказала себе: у мужа — работа, а у меня — муж; он содержит в порядке такое огромное дело — я буду содержать в порядке его. Изобрела множество мелочей, приписав их, неизвестно почему, моим привычкам и требованиям; вот это блюдо мой любит, а от этого ему нехорошо; он хочет, чтоб стол был накрыт именно так, а не этак, и чтоб здесь был приготовлен умывальник с полотенцем, а там чтоб стояли его домашние туфли; его подушку следует класть так-то, а ночную рубашку именно так, а не иначе. Мой хочет,

чтоб все у него было под рукой, мой привык к определенному порядку и так далее. И вот прихожу я домой и тотчас попадаю в плен размеренного строя моих привычек; выдумала их она, но я обязан подчиняться им, чтоб не обмануть ее воображения, будто я так хочу. Сам не зная как, я втягиваюсь в эту систему привычек, уготованных мне, невольно начинаю чувствовать себя ужасно важным и полным достоинства, потому что моя особа — центр всего, и я удивленно поднял бы брови, если б домашние туфли ожидали меня на пядь в стороне от обычного места. Я сознаю: жена завладевает мною через эти привычки, и чем далее, тем более она меня ими связывает. Я поддаюсь охотно, — во-первых, это удобно, а во-вторых, в общем, льстит моему самоуважению. А скорее всего я понемногу старею, потому что мне удобно и хорошо с этими привычками, как дома.

А жену радует, что она так царит в бельэтаже вокзального здания, за окнами, заставленными белыми петуниями. У каждого дня — свой, раз навсегда определенный, почти священный распорядок; я уже наизусть изучил все эти мелкие, каждодневные, приятные звуки. Вот тихонько встает жена, накидывает халат и на цыпочках уходит в кухню. Там уже заворчала кофейная мельничка, шепотом отдаются распоряжения, чьи-то руки бесшумно вешают мой вычищенный костюм на спинку стула; а я послушно прикидываюсь спящим — до той минуты, когда войдет жена, уже причесанная, красивая, и поднимет жалюзи. Если б я открыл глаза чуть раньше, она огорчилась бы: «Я тебя разбудила?» И так день за днем, год за годом; все это вместе называется «мой порядок», но сотворила его она и зорко следит за его исполнением; она госпожа в доме, но все делается ради меня — так у нас все поделено честно, по-супружески. Я, в служебной фуражке, внизу, обхожу станцию от блокпоста к блокпосту, это мое хозяйство; вероятно, я — могущественный и строгий начальник, потому что все становятся беспредельно точными и усердными, стоит мне показаться в виду; смотреть — вот главная моя работа. Потом я иду пожать руку усатым лесничим — они люди многоопытные и знают, что такое порядок.

Господа в зеленых шляпах уже почитают долгом подать руку начальнику станции; он ведь такая же неотъемлемая фигура в этом месте, как священник или здешний

доктор, почему и надлежит поболтать с ним о здоровье и о погоде. И вечером начальник станции заметит между прочим: «Был тут граф имярек, что-то худо он выглядит». Жена кивнет, — по ее мнению, это просто возраст. «Какой там возраст! — запротестую я с обидой человека, которому пошел пятый десяток. — Ему ведь только шестьдесят!» Жена улыбнется, взглянет на меня, как бы говоря: ну, ты-то что, ты в расцвете сил; вот что значит спокойная жизнь! Потом — тишина; лампа жужжит, я читаю газеты, жена — немецкий роман. Знаю — роман очень трогательный, о великой и чистой любви, она до сих пор страшно любит читать подобные вещи, и вовсе ее не смущает, что в жизни все не так. Ведь супружеская любовь — совершенно иное дело; она — тоже часть порядка, и потом — это полезно для здоровья.

Я пишу это, когда она, бедняжечка, давно уже покоится в земле. Бог весть по скольку раз в день вспоминаю о ней, но меньше всего — о месяцах ее тяжкой болезни перед смертью; я избегаю этих воспоминаний. До странности мало вспоминаю о нашей любви и о первых совместных годах, а больше всего — как раз о той покойной, неизменной в своем течении жизни на нашей станции. Сейчас у меня хорошая экономка, она заботится обо мне, как только может, но когда, к примеру, я ищу носовой платок или шарю под кроватью домашние туфли — вот тут-то и вижу: господи, сколько любви и внимания было в том порядке и во всем, что делала жена, и чувствую себя до ужаса осиротевшим, и у меня сжимается горло...

XVIII

Потом нагрянула война. Моя станция была довольно важным узлом транспортировки войск и боеприпасов, и приставили к нам военного коменданта — какого-то пьяного сотника, чуть ли не в белой горячке. С утра, пока он еще помнил себя, он драл глотку, лез в мои дела, саблей грозил путевому мастеру; я просил начальство заменить его кем-нибудь по возможности более нормальным, но просьбы мои не помогли, и оставалось только махнуть рукой. Образцовая моя станция приходила в упадок — больно было смотреть; ее затопил бессмысленный хаос войны, лазаретный смрад, забитые эшелоны,

отвратительный осадок грязи. На перронах — узлы, семьи, эвакуированные из фронтовой полосы, в залах ожидания на скамьях, на заплеванном полу спят, как убитые, солдаты. И все время патрулируют охрипшие, осатаневшие жандармы, ищут дезертиров или несчастных, везущих в мешке немного картошки; все время крик, причитания, люди раздраженно рычат друг на друга, их куда-то гонят, как стадо овец, посреди всей этой неразберихи торчит длинный, до ужаса тихий состав с ранеными, и слышно, как где-то, прислонившись к стенке вагона, блюет пьяный сотник.

Господи, как начал я все это ненавидеть! Войну, железную дорогу, и станцию свою, и все на свете... Мне противно было смотреть на вагоны, воняющие грязью и дезинфекцией, вагоны с выбитыми окнами и исписанными стенками; опротивели ненужная суета и ожидание, вечно забитые пути, толстые сестры милосердия и вообще все, что имело отношение к войне. Я ненавидел все это яростно и бессильно; я прятался за вагонами и чуть не плакал от ненависти и ужаса, господи Иисусе, не вынесу я этого, этого никто не в силах вынести! Дома я не мог об этом говорить — жена восторженно, с сияющими глазами, верила в победу государя императора. У нас — как и везде во время войны — дети бедняков лазили на проходящие поезда воровать уголь; раз как-то один такой мальчуган свалился с тендера на ходу, и ему переехало ногу; я слышал его страшный вопль, видел, как из окровавленного мяса торчит раздробленная кость... А когда рассказал об этом жене, она несколько побледнела и горячо воскликнула: «Это бог его покарал!» С той поры я перестал говорить с ней о чем бы то ни было, что касалось войны; видишь ведь, как я устал, как извелся...

Однажды на перроне ко мне подошел человек, которого я не сразу узнал; оказалось, мы вместе учились в гимназии, а теперь он что-то такое в Праге. А мне необходимо было выговориться, здесь-то ведь не с кем и словом перекинуться. «Приятель, войну мы проиграем, — зашептал я ему на ухо. — Попомни мои слова — мы здесь будто руку на пульсе держим!» Он слушал меня, слушал, потом таинственно пробурчал, что надо бы ему со мной кое о чем потолковать. Мы условились встретиться ночью за вокзалом — это было даже романтично. Он будто бы и еще несколько чехов имеют связь по ту сторону фронта; и нужны им регулярные сведения о перевозке воен-

ных грузов, о положении с резервами и все такое прочее. «Это я сделаю», — вырвалось у меня; я сам сейчас же страшно испугался и в то же время ощутил невероятное облегчение — будто отошла судорожная ненависть, душившая меня. Знаю, это называется «государственная измена» и полагается за нее петля; в общем, я буду доставлять эти сведения, и дело с концом.

Странная пошла жизнь; я словно был не в себе, но притом чуть ли не ясновидцем; чувство такое, будто не я, но что-то непреодолимое, чужеродное во мне строит планы, отдает распоряжения, думает обо всем. Почти с чистой совестью я мог бы сказать — это не я, это оно! И вскоре так у меня все наладилось, просто прелесть; все словно только и ждали, чтоб кто-нибудь взялся за дело; должны же мы, чехи, что-то делать! Заложив руки за спину, на глазах у жандармов и рыгающего коменданта я принимал сообщения начальников эшелонов, почтовиков и кондукторов — о том, куда направляются боеприпасы и орудия, как передислоцируются армейские части и так далее. Я держал в голове всю сеть коммуникаций и, бродя по перрону с полузакрытыми глазами, сводил воедино все, что узнавал. Был у нас один проводник, отец пятерых детей, человек печальный и тихий; ему-то я и передавал, что следовало, он сообщал своему брату, рабочему-переплетчику в Праге, а уж как оно шло дальше, не знаю. Очень увлекательно это было — делать такие вещи на глазах у всех, да притом еще так организованно; в любую минуту дело могло провалиться, и все мы — бородачи и отцы семейств, десятки нас — увязли бы по уши; ребята, вот был бы крах! Мы знаем это и немножко думаем об этом, забираясь под перины к женам, — да разве бабам понять, что такое мужчина! На носу у нас, слава богу, не написано, о чем мы думаем. К примеру, как бы там заблокировать ту или другую станцию, — поднимется крик, ругань, и два дня пройдет, пока пробка рассосется. Или — до чего скверна смазка военного времени! И кто виноват, если загораются буксы? У нас станция забита списанными вагонами и парализованными паровозами; так что не извольте бесноваться по телеграфу, ничего нельзя сделать, не можем дать ни одного состава. Затаив дыхание, прислушиваешься, как трещит военная машина...

У старика тестя случилось несчастье: на его станции образовалась пробка, и на застрявшие составы налетел эшелон со скотом для фронта; столкновение некрупное, — всего несколько раненых, да коров пришлось прирезать на месте, — но старик, истый железнодорожник, от этого помутился разумом и вскоре помер. Ночью жена рыдала у меня на плече, я гладил ее, и было мне безмерно грустно. Видишь ли, не могу я сказать тебе, о чем думаю и что делаю; так ладно мы с тобой жили, и вот — так страшно далеки друг от друга. Как же это случается, что люди вдруг делаются до ужаса чужими!..

XIX

Конец войне, конец монархии; пока жена плакала и всхлипывала (это было у нее в роду — служение государю императору), я получил из Праги приглашение в новое министерство путей сообщения — мне предлагали отдать свой выдающийся опыт делу устройства железных дорог молодого государства. Я принял приглашение — я действительно обладал этим самым «выдающимся опытом»; к тому же за годы войны станция моя до того была разорена, что мне не жаль было покинуть ее.

Вот и последний абзац незатейливой моей жизни. С двадцати двух лет служил я на железной дороге, и делал это с любовью; тут обрел я свой мир, свой семейный очаг, а главное — чувство удовлетворения оттого, что исполняю работу, которую умею делать хорошо и надежно. И вот меня призвали применить опыт всей моей жизни. Ага, значит, он был не напрасен. Я так хорошо все знаю — начиная от взрывных работ на прокладке дорог, от последней на свете станцийки и деревянной будки ламповщика и кончая суматохой и грохотом крупных железнодорожных узлов; знаю вокзальные залы, подобные каменным замкам, и полустанки среди полей, пахнущие купавкой и тысячелистником, знаю красные и зеленые огоньки, потные туши паровозов, семафоры, сигналы и перестук колес на стрелках; ничто не пропало даром, все сложилось, слилось в этакий единый, обширный опыт; я понимаю железные дороги, и это понимание и есть я сам, есть моя жизнь. Теперь все, чем я жил, соединено в моем опыте; и я могу опять, в полной мере,

использовать его — это как если б мне было дано еще раз прожить мою жизнь в ее итоге. И на новой своей службе я чувствовал себя не могу сказать счастливым, — слишком уж много для этого тут было хаоса, — но на своем месте. То была обыкновенная, но цельная и по-своему законченная жизнь; и когда я теперь оглядываюсь на нее, то вижу, как во всем, что было, осуществляется некий порядок или за

XX

Три недели не писал; опять накатились неприятности с сердцем; когда я сидел за письменным столом, захватило на полуслове (какое слово я хотел написать — закон? Или замысел? Не помню). Вызвали ко мне врача, тот не сказал в общем ничего — какие-то изменения в сосудах, принимайте вот это, а главное — покой, сударь, покой. Вот лежу и размышляю — не знаю, в этом ли необходимый мне покой, однако другого занятия у меня нету. Теперь несколько полегчало, и потому хочу дописать начатое; осталось немного, а я никогда не оставлял незаконченной работы. Перо выпало из моих пальцев как раз, когда я собирался написать великую ложь; поделом мне был сердечный припадок. Незачем мне и некому лгать.

Правда, я любил железную дорогу, но я перестал ее любить, когда ее запакостила война, перестал любить, когда устраивал на ней саботаж, а больше всего перестал любить ее, когда попал в министерство.

Поперек души была мне эта бумажная и по большей части бесплодная работа, которую называли реорганизацией наших дорог; с одной стороны, я слишком хорошо видел всякие безобразия и снизу и сверху, которых ужасалась моя службистская совесть, с другой стороны — я начинал предчувствовать нечто более неотвратимое, трагедию железнодорожного транспорта, который ждет участь конных фургонов и дилижансов; что делать, великая эпоха железных дорог уходит... Короче, меня вовсе не радовала новая работа; радовало меня только то, что теперь я крупная шишка, есть у меня звание и я многим людям могу показать свою власть. Ибо в конце-то концов это и есть подлинная и единственная цель в жизни: забраться как можно выше и наслаждаться собственным положением и почетом. Так-то — вот и вся правда.

* * *

Написал — и смотрю несколько испуганно. Как, неужели — вся правда?

Да, так; вся правда о том, что мы называем: достичь жизненной цели. Никакой радости не было в сидении на министерской службе; было только удовлетворение — вот, мол, вскарабкались-таки, — да еще ревнивая злость на то, что другие, половчее, политически пооборотистей, забрались еще выше. Вот и вся история обыкновенной жизни.

Постой, постой, не вся история! (Это спорят два голоса, я их отчетливо различаю; тот, который говорит сейчас, будто что-то защищает.) В моей жизни ведь карьера и тому подобное — не важное!

Ах, не важное?

Не важное! Я был слишком обыкновенный человек, чтоб иметь хоть какое-то честолюбие. Никогда мне и не хотелось выделяться; я жил своей жизнью, делал свое дело...

Зачем?

Затем, что хотел делать его хорошо. Провести большим пальцем по лицу и изнанке — славно сработано. Это и есть настоящая обыкновенная жизнь.

Ах, вот как; значит, и в министерстве мы заботились только о своем удовлетворении?

Н-ну... это другое дело; это уже, строго говоря, не имеет отношения ко всему, что было раньше. Человек меняется к старости...

Или — в старости выдает себя?

Чепуха. Если б я рвался вперед или что там — это бы должно проявиться гораздо раньше.

Ладно! А кто же был тот мальчик, который мучился оттого, что не может возвыситься над своими товарищами? Кто так жарко, до боли, ненавидел сына маляра за то, что тот сильнее и смелее, — помнишь?

Погоди, не совсем так; ведь мальчик тот по большей части играл один; он нашел свой мирок, свой дворик из щепочек, свой угол между досок — с него было вполне достаточно, и там он забывал обо всем. Я-то ведь знаю.

А почему он играл один?

Потому что это было в нем заложено. Всю жизнь он строил свой маленький, замкнутый мир. Уголок для свое-

го одиночества, для своего обыкновенного счастья. Свою ограду из щепочек, свою станцию, свой домик — видишь, это всегда было в нем заложено!

То есть — потребность оградить свою жизнь?

Да, потребность в своем обособленном мире.

А знаешь, зачем ему нужна была ограда из щепочек? Да потому, что он не мог возвыситься над другими мальчишками. Это он назло, это он так уходил, потому что был недостаточно силен и смел, чтоб тягаться с остальными. Мир свой он строил от слабости, от печали, предчувствовал, что в большом-то, в открытом-то мире никогда не бывать ему таким большим и отважным, каким он хотел бы быть. Честолюбивый трусишка, вот в чем дело. Прочитай-ка внимательно, что ты о нем написал!

Ничего такого там нету!

Есть, и очень много. Только ты спрятал все это между строк, чтобы скрыть от самого себя. Например, послушный, прилежный ученичок начальной школы: до чего же не умеет он слиться со своим классом, какой он зажатый и робкий! Он послушен — потому что ему тоскливо, и он хочет отличиться. А как этот примерный ученик едва не лопается от гордости, когда его похвалит господин учитель или господин священник! У него тогда навертываются «слезы еще не изведанного счастья»; позднее дело пойдет и без слез, но как будет распирать его грудь, когда он будет вскрывать пакеты с назначениями! Помнишь, с каким невыразимым блаженством носил он домой табели с круглыми пятерками?

Это потому, что покойный отец так радовался им.

Отец? Ладно, посмотрим, кто такой отец. Такой он был сильный, большой, сильнее всех, правда? Но — «почитал господ». Точнее говоря, кланялся им подобострастно, до того подобострастно, что даже этот самый мальчик за него краснел. И без конца растроганно проповедовал: лишь бы, сынок, из тебя что-нибудь да вышло; единственный смысл жизни — кем-то стать. Надо работать до упаду, копить деньги, богатеть, чтоб другие тебя уважали и чтоб кем-то быть. Что верно, то верно — у мальчика был пример в семье; и все это — от отца.

Отца оставь! Отец — это совсем другой пример: быть сильным, жить в своем труде...

Да, а в воскресенье мерить по вкладным книжкам, до чего дотянули. В свое время будет этот мальчик сидеть

в министерстве и самого себя мерить званием, до которого дотянул к старости. То-то бы порадовался бедный папочка; теперь я уже выше нашего нотариуса и прочей городской знати. Наконец-то мальчик стал кем-то, наконец-то обрел себя, претворился в жизнь «великий и новый факт», который он установил в детстве: факт, что существуют два мира, один — высший, где только господа; и второй — смиренный мир обыкновенных людей. Наконец-то мы стали вроде как господами, но в ту же минуту выяснилось, что над нами есть и побольше господа, и сидят они за столами куда выше нашего, а мы опять-таки всего лишь маленький обыкновенный человек, которому не суждено подняться над другими. Да, что говорить — это поражение, и поражение дьявольски безнадежное.

XXI

И я все время как бы различаю два голоса, спорящих между собой; будто два человека затеяли тяжбу о моем прошлом, и каждый норовит урвать себе побольше.

А годы в гимназии — помнишь?

Да, и, к твоему сведению, можешь взять их себе. Все равно они немногого стоили: та незрелость, то болезненное ощущение неполноценности, весь тот адский труд провинциального гимназиста — ради бога, возьми их себе!

Ладно, ладно, не говори так; как будто это не имело значения — пожинать школьные лавры! Наслаждение быть первым учеником, всегда готовые уроки, всегда готов ответ — хоть в чем-то превзойти других, тех, кто поживее, посмелее, верно? И ради такого успеха — до темноты сидеть, зажав кулаками уши, и *зубрить*, — да ведь на это ушли все восемь лет!

Ну не все, не преувеличивай; было и другое, более глубокое.

Например?

Например, дружба с тем беднягой однокашником.

Ах, с тем! Помню — медлительный, бездарный мальчик. Отличный случай почувствовать огромное превосходство хоть над кем-то и знать, что это превосходство признано. То не дружба была, братец, то была горячая, страстная благодарность за то, что вот хоть один человек на свете смиренно признает твое превосходство.

Нет, не так! А что же — любовь к той робкой близорукой девочке?

Да ничего, глупость; просто — переходный возраст.

Нет, не только возраст!

К тому же — недостаток смелости. Другие-то, миленький, умели обходиться с девчонками, и ты немало завидовал их отваге. Ты же — тебе же ничего другого не оставалось, как забиться в угол да строить там свою ограду из щепочек, свой замкнутый мир. Потому что в открытую-то ты, конечно, ничего не выигрывал. Ни у девчонок, ни среди мальчишек. Без конца одна и та же история: все тот же ребенок, обманувшийся в своих надеждах, и свой мирок у него, и он увлеченно шепчет: «Цып-цып-цып»...

Перестань!

* * *

Тогда объясни мне тот год в Праге, пропавший, дурацкий год! Год, когда я прожигал жизнь с компанией толстого поэта, и стихи писал, и плевал на все!

...Не могу. Тот год как-то не укладывается у меня в голове.

У меня тоже.

Постой, кое-что все-таки можно объяснить. Вот перед нами старательный юноша; он окончил гимназию и воображает, что теперь ему принадлежит весь мир. В своем городке он мог бы уже ходить в господах и чувствовать себя важным и великим, но вот он попадает в столицу и — о, раны Христовы, только теперь-то он по-настоящему повергнут в панику неполноценности, растерянности, приниженности и не знаю чего еще. Было б у него время построить вокруг себя свою идиллическую ограду из щепок, он спасся бы за ней...

Но, к сожалению, за него взялся поэт.

Да. Однако вспомни, как было дело. Ведь и там тоже был этакий отгороженный уголок: трактирчики, кружок из пяти или скольких там людей, — милый мой, до черта маленький круг, еще меньше дворика при столярной мастерской. И — плевать на все: хоть иллюзия превосходства.

А стихи?

Они были скверные. И писал ты их, чтоб можно было приподняться на цыпочки. Это была только маска ра-

ненного и неутоленного самолюбия. Тебе бы учиться как следует — и было бы хорошо, сдавал бы успешно экзамены и чувствовал бы себя маленьким господом богом.

Погоди, но тогда бы я не попал на железную дорогу; мне необходимо было каким-то образом вырваться из университета, чтоб искать службы на железной дороге. Ведь было необходимо, чтоб я сюда попал, правда?

Нет.

Послушай, но это смешно — а что мог я делать иного?

Что угодно. Человек с локтями нигде не пропадет.

* * *

Почему же тогда я искал работы именно на железной дороге?

Не знаю. Вероятно — случайно.

Так вот я скажу тебе: не случайно, а по склонности. Потому что строительство железной дороги было величайшим событием в моем детстве...

. . . .

И когда я в гимназии учился, моей любимой вечерней прогулкой было — подняться на мост над вокзалом и смотреть вниз, на красные, зеленые огоньки, на рельсы и паровозы...

Э, знаю — по тому мосту прохаживалась старая безобразная проститутка и всякий раз, проходя мимо, задевала тебя.

Ну, это к делу не относится.

Согласен. Да и неприлично.

* * *

Честное слово, этот путь был мне предопределен; любил я железную дорогу, вот и все. Потому и работать сюда пришел.

Или потому, что некто пережил на пражском вокзале большое унижение — помнишь? Милый мой, уязвленное самолюбие — сила страшная, в особенности, не правда ли, у некоторых старательных и честолюбивых людишек.

Ничего подобного! Я знаю, знаю — я поступил так из любви к делу. Мог ли я быть столь счастлив в другой профессии?

...Я что-то не вижу никакого особого счастья.

Послушай, да кто ты такой?!

А я — тот самый, с локтями.

* * *

Как бы там ни было, но согласись, по крайней мере, что в работе я нашел себя и настоящую свою жизнь.

В этом что-то есть.

То-то же!

Но и тут не все так просто, приятель. Что этому предшествовало? Стихи и девки, этакое безудержное опьянение жизнью — так? В общем — пьянка и поэзия, свинство и раздутое воображение, бунт не знаю против чего и пьяное ощущение, будто в нас кипит что-то невероятно огромное и освобождающее. Ты вспомни только.

Помню.

Вот тебе и причина. В том-то и штука, к твоему сведению.

Погоди — в чем штука?

Неужели неясно? Ты догадывался, что стихи твои никуда не годятся, что в этом ты никак не можешь отличиться. Что нет у тебя для этого ни дарования, ни индивидуальности. Что не можешь ты сравняться с прочими твоими сотоварищами ни в пьянке, ни в цинизме, ни с девками, ни в чем. Они были сильнее и смелее, ты же — ты просто пытался подражать им; я-то знаю, чего это тебе стоило, трус несчастный. Ты пытался, это верно, но все — только из своеобразного честолюбия: гляньте, я тоже — отверженный поэт со всем, что из этого вытекает. Но все время при этом в тебе жил этакий трезвый, малодушный, предостерегающий голосок: осторожно — не осилишь! Это в тебе уже корчилось твое тщеславное самолюбьишко, уже говорили в тебе твои обманувшиеся усилия кем-то стать. То было поражение, голубчик. После этого тебе уж оставалось только искать, как бы унести отсюда ноги; что ж, слава богу, нашлось местечко на транспорте, и протрезвевший поэт был очень рад, что можно повернуться спиной к своему недолгому, правда,

но весьма основательно проигранному богемному прошлому.

Неправда! Работа на железной дороге — это была внутренняя необходимость!

Ну конечно. И поражение твое было внутренней необходимостью, и бегство — тоже. Как ликовал этот бывший поэт, что наконец-то стал цельным, зрелым человеком! Как вдруг снисходительно и сострадательно стал он смотреть на вчерашних своих собутыльников, на этих загулявших мальчишек, которые не знают еще, что такое настоящая, серьезная жизнь! Он уже и не ходит к ним — он проводит вечера в добропорядочных трактирчиках, где честные отцы семейств толкуют о своих заботах и соображениях! Что-то он сразу постарался уподобиться этим мелким, рассудительным людям; а как же — свое отступление он превращает в добродетель; и нет уже никакого раздутого воображения, только разве что немножко похвалится своим горьким, щемящим смирением; но это — всего лишь изжога, со временем и она пройдет. С тех пор он не прочитал ни единой строчки; он презирает и почти ненавидит стихи, ибо считает их чем-то не достойным зрелого, практичного, трезвого мужа.

Ненавидит, — пожалуй, сильно сказано.

Ну, скажем, — питает к ним отвращение. Ведь они напоминают ему его поражение.

* * *

Ну вот ты и исчерпал все. Дальше была уже та самая настоящая, скромная и основательная жизнь, жизнь обыкновенная и хорошая.

Если не считать той, последней на свете, станции.

Это я выздоравливал, это было связано с легкими. Оставь — не так-то быстро созревает человек. Но там, а после на станции старого начальника — я уже въехал на верную колею жизни.

Слушай, почему ты, собственно, сделал предложение дочери начальника?

Потому что любил ее.

Пусть так; но я-то (а я — это тот, другой, понимаешь?) — я-то ей сделал предложение потому, что она была дочь начальника. Это, кажется, называется «карьера

por vaginam»[1], да? Взять богатую — или взять дочь вышестоящего, известное дело: «немножко словно добиваешься принцессы», а? Тем самым как бы увеличиваешь собственную ценность.

Ложь! Я об этом ни минуты не думал!

Да нет, думал, и даже весьма упорно. Старого начальника любят, он может помочь зятю; неплохо войти в его семью...

Неправда! Ты понятия не имеешь, как я ее любил! Она была прекрасная женщина, добрая, умная и любящая; ни с какой другой я не мог быть счастливее.

Согласен; женщина умная, и очень интересовалась продвижением супруга — действительно очень интересовалась, великолепно понимала его честолюбие и рвение — этого у нее не отнимешь. И — помогала, где могла. Ты так мило, так невинно написал о своей первой ступеньке вверх: «Вероятно, замолвил словечко тесть». И второй раз тоже: «Может быть, и тесть немного подсобил, не знаю толком». Зато я-то знаю отлично, голубчик; старик тесть понимал, чего от него ждут.

Пусть так; он был очень добрый человек и любил меня, как родного сына, но между мной и женой не было ничего такого — только любовь, только доверие, только надежное и доброе чувство верности. Нет уж, супружества моего не трогай!

Да что ж, хорошее было супружество; теперь ведь вас стало двое — вдвоем старались вскарабкаться повыше. Едва человек женился, как уж открыл в себе «небывалое пристрастие к собственности»; он ужасно рад, что появился веский, привычный предлог: «Это ведь для н а с », — так? И вот уже откуда ни возьмись — «локти на службе»; он лезет вверх изо всех сил, одних старается во что бы то ни стало обогнать, а другим, тем, кто в ы ш е , — ревностно угодить; отчего же, ведь все делается «для нас», а следовательно — это глубоко порядочно. Вот почему и чувствует он себя таким счастливым: можно следовать своим естественным склонностям, ничуть за них не стыдясь. Хороший институт — брак.

Моя жена... тоже была такая?

...Она была хорошей женой.

---

[1] через постель (*лат.*).

* * *

Ты еще скажешь, что и станцию свою, свое художественное произведение, я так кропотливо создавал тоже — ради чего, собственно? Ради карьеры? Чтоб быть на хорошем счету у начальства? Если б не война — я остался бы там до конца жизни.

А это ты отчасти делал ради тех господ.

Каких господ?

А ради тех графов в зеленых шляпах. Тянулся перед ними, показывал, на что способен. Сколько ждал, сколько косил глазом начальник станции — когда же господа заметят, до чего образцовым стал вокзал! И вот — заметили; даже руку изволил пожать князь имярек, граф имярек. Оно ведь приятно как-то, хотя начальник станции перед самим собой прикидывался, будто ему это совсем не важно. Глядите-ка, графы и бог весть еще кто! Это уже настоящий высший свет, такого в нашем городке и не бывало. И прошу заметить — никакой протекции: своим трудом, своими заслугами возвысился так начальник станции. Теперь ему работа уже важнее жены, она ему уже не помощница, не нужна больше; и он дал ей это почувствовать, оттого-то и семейный очаг начал остывать.

Неправда!

Нет, как же: сам ведь написал, перечти-ка. «У меня ощущение чего-то глубоко своего, прекрасное и сильное ощущение собственного «я»... Жена чувствует, что я отдаляюсь... Что поделать, часть нашего общего принесена в жертву тому, что — только мое». И так далее. «Это легло между нами, как брешь». Муж занят уже только своим делом, снял с себя путы; теперь ему разве что неприятно, когда жена пытается еще как-то сохранить его для себя. К счастью, она умная женщина, не устраивает сцен, сухими глазами отплакала — и все, после чего «свыклась и примирилась», то есть подчинилась и начала служить мужу.

Она сама этого хотела!

Еще бы; а что ей оставалось? Им надо было разойтись или возненавидеть друг друга, братец, как умеют ненавидеть супруги — потаенно и яростно; или — она должна была принять *его* правила игры, пойти на то, чтоб *он стал* господином и все чтоб вертелось вокруг его особы. Когда

уж ничто общее не связывало их больше, она старалась удержать мужа тем, что было его: его удобствами, его привычками и потребностями. Теперь уже только он, и ничего, кроме него; дом, порядок быта, даже супружеская любовь — все служит только его удобству и величию; он владыка в доме и на работе — правда, это маленький, замкнутый мир, зато — его мир и покоряется ему. Собственно, тогда была самая счастливая пора его жизни; потому-то, когда он будет вспоминать свою покойницу жену, на память ему придет именно эта пора, когда так «сильно и хорошо» утолялось его самолюбие.

* * *

Ну, а то, что было после...

Во время войны?

Да. Это я тоже делал из честолюбия?

Трудно сказать. Возможно; ведь ты мог рассчитывать на то, что государь император будет разбит, однако слитком велик был риск. Это как-то не укладывается в мое построение. Да и в твою историю тоже.

Почему?

Смотри: этот идиллический начальник станции ведь вовсе не герой; не в его это линии. Но я скажу тебе, почему тебе надо было написать историю твоей жизни. Именно ради того военного эпизода. Вдруг кто-нибудь прочитает и увидит — ага, был такой-то начальник станции и делал он то-то и то-то. Даже рисковал жизнью за свой народ, этакий скромный герой. Лишь чуточку, лишь вполголоса, ненавязчиво напомнить о своих заслугах — ведь ради этого и пишутся мемуары, а?

Лжешь! Лжешь! Я писал — записки об обыкновенной жизни!..

А как же подвиг-то?

Это — тоже именно обыкновенная жизнь.

Хорошо сказано. Жаль, что не это последнее слово. Потому что, миленький, уж вовсе не герой сидел потом в министерстве. Там уже сидел я, приятель. Сидело там этакое ревностное, тщеславное, служебное «я», которое хотело добиться чего-то такого. Этакое маленькое «я», которое силилось быть большим.

Ах, оставь, там я тоже был хорошим, добросовестным работником.

Чепуха! Ты делал все возможное, лишь бы тебя цени-

ли, лишь бы пробиться еще ступенькой выше. Всю жизнь думал только о себе, а больше ни о чем на свете. Сколько же я ради этого потрудился, Иисусе Христе! Примерный ученик, образцовый служащий — чего только не наглотался я ради этого? Ведь это стоило мне целой жизни, я все принес в жертву этому, а в конце пути видишь ловкачей, которые пролезли выше тебя, а почему? Да потому только, что были сильнее и смелее! И штаны на службе не протирали, и работать им так не приходилось, а вон ведь куда дотянули — изволь вставать перед ними, когда входят! Зачем же тогда было все — и то, что еще в начальной школе, и позже тоже, меня ставили в пример прочим, и то, что станцию мою в пример ставили — зачем? Мир — для тех, кто посильнее и посмелее, а я проиграл свою игру. К твоему сведению, вот в этом и есть завершение обыкновенной жизни: в том, что я мог взглянуть на свое поражение. Чтоб увидеть его, надо взобраться чуть повыше.

И теперь ты за это мстишь.

Да, теперь я за это мщу. Теперь я вижу, что все было напрасно, а посему — мелко, жалко и унизительно. Ну, ты — ты другой, тебе-то что; ты способен играть цветочками, садиком, своей оградой из щепок; ради игры ты способен забыть о себе — но не я, не я. Я — тот, кто потерпел поражение, и эта обыкновенная жизнь — *моя.* Да, я мщу. А разве не за что? Разве не ушел я на пенсию чуть не с позором? Господи, да ведь меня обследовали! Я ведь знал, что там дикие безобразия — в поставках и прочее, но это делали другие, более отважные... Я знал, но молчал; вы у меня в руках, голубчики, и в нужный момент все выйдет наружу! А вот же лопнуло дело, и обследовать-то стали меня — меня, образцового, безупречного! Конечно, они потом поняли — но мне-то пришлось выйти на пенсию. Поражение, братец; и после этого — не мстить? Для того и пишу эти записки...

Только ли для того?

Только. Чтоб было сказано: на мне нет вины. Это бы следовало доказать подробно, а не болтать: мол, обыкновенная жизнь, идиллия и прочие глупости. Вот единственно в чем дело: страшное, несправедливое поражение. То была не счастливая жизнь, то ужас был — неужели не видишь, что это был ужас?

XXII

Нет, так нельзя дальше, надо прекратить; очень уж это нервирует, что л и , — когда два голоса ссорятся, сердце начинает трепыхаться, а потом я чувствую такую непреходящую, гнетущую боль вот здесь, в груди. Приходил доктор, измерил давление крови, нахмурился. «Чем вы занимаетесь? — сердился. — Давление повышается! Вам нужен покой, абсолютный покой». Попробовал я бросить писать, лежал просто так, но тогда в голове выскакивают обрывки диалога, опять они бранятся из-за какой-нибудь ерунды, и мне вновь и вновь приходится уговаривать самого себя: тише вы, не ругайтесь! И то правда, и это — все было так, но разве в человеке, разве в самой обыкновенной жизни мало места для разнообразнейших побуждений? Ведь это совсем просто: можно эгоистически, упрямо думать о собственной выгоде, а пройдет время — и забываешь об этом, забываешь самого себя, и уже нет для тебя ничего, кроме твоей работы.

Стой, не так-то все просто: ведь тут две совершенно отличные друг от друга жизни! В том-то и дело, в том-то и дело...

В чем именно?

Да в том, которая же из них — *подлинная.*

* * *

Но довольно — не идет мне все это на пользу. Я привык беречь себя — с той поры, как тогда, в вокзальной канцелярии, у меня впервые пошла кровь горлом, я все говорю себе: осторожнее! Почти всю жизнь рассматривал я свои платки — нет ли в мокроте кровяной ниточки; это началось на той последней на свете станции, а потом укоренилось — постоянная озабоченность здоровьем, будто в этом — важнейший закон жизни.

Важнейший закон жизни, а что, если это и вправду так? Оглядываясь назад, вижу — именно тогда я пережил глубочайшее потрясение, когда горлом у меня хлынула алая кровь, и я сидел раздавленный, страшно слабый и жалкий, а перепуганный старый чиновник вытирал мне лоб мокрым полотенцем. Это было страшно. Да, то было

самым сильным и самым неожиданным моим переживанием: безграничное удивление и ужас, а потом — отчаянное желание жить, хотя бы самой незаметной, самой смиренной жизнью; впервые во мне отозвалась осознанная, чрезвычайно сильная любовь к жизни. Собственно, именно тогда в корне изменилась вся моя жизнь, и я стал как бы другим человеком.

До той поры я тратил свои дни просто так или проживал их, почти не замечая; теперь я вдруг стал бесконечно ценить один тот факт, что вот — живу, и я совсем другими глазами увидел себя и все вокруг. Мне достаточно было, например, сидеть на досках, устремив взгляд на ржавые рельсы, заросшие пастушьей сумкой и мятликом, или целыми часами следить речную волну — всегда новую, и все одну и ту же. И сто раз на дню твердить: дыши глубже, это полезно. Тогда-то я и полюбил все эти упорядоченные мелочи, размеренный ход жизни; я еще кичился немного богемным цинизмом, еще смеялся над многим — но тогда я еще не был уверен, что выживу, и в этом еще звучал леденящий отзвук глубокого отчаяния. Рождалось во мне тогда тихое, любовное довольство жизнью, я учился радоваться милым, интимным мелочам и — беречь себя. Отсюда-то и пошла идилличность в моей жизни: то было выздоровление. Самая важная, решающая стрелка на моем пути.

* * *

Вернее, даже не стрелка. Теперь я лучше вижу, теперь вижу совершенно ясно. Тут снова надо вернуться к детству: к матушке, которая то и дело выбегала на порог взглянуть, не случилось ли чего со мной; к пану Мартинеку, к которому мне не разрешали подходить близко, потому что у него чахотка, и которого я по этой причине боялся. Матушка одержима была пугающей идеей, что я в опасности, что я слабый, болезненный ребенок; бедняжка, до чего же была она патетичной и страстной! Стоило мне захворать — она прижимала меня к груди, как бы защищая от чего-то, по ночам в страхе склонялась надо мной, падала на колени и громко молилась за мое здоровье. Болеть — было занятие важное и праздничное; мальчик становился средоточением всего, даже пилы и молотки в мастерской звучали как-то приглушен-

но, и отцу разрешалось ворчать лишь вполголоса. Любовью своей матушка внушила мне представление, что я — нечто хрупкое, что я слабее других детей, и меня надо как-то особенно оберегать; потому-то я и не решался участвовать в мальчишеских забавах, все думал — *мне нельзя* так бегать, нельзя прыгать в воду, нельзя драться, потому что я слабый и легко уязвимый. Я, может быть, даже задирал бы нос — ведь я казался себе чем-то более драгоценным и нежным, чем о н и , — но мальчишки слишком мужчины для этого: им нравится быть сильными и храбрыми. Итак, это все матушка; это она воспитала во мне робость и недоверие к своим силам, то физическое ощущение неполноценности, с которым я и рос; это матушкина болезненная любовь подготовила во мне склонность видеть в самом себе предмет вечного ухаживания и ублажения — склонность, которой я отдался чуть ли не с упоением, как только первый сигнал действительной болезни дал мне к тому повод. Тогда, да, именно тогда я обнаружил в себе это заботливое, ипохондрическое «я», которое с серьезным вниманием разглядывает свою мокроту, слушает свой пульс, любит надежный порядок и тянется к доброму, удобному, приятному окружению. Итак, вот что было — не скажу, всей моей жизнью, но значительной, важной и постоянной частью ее. Теперь я это вижу.

Отец — тот другое дело; он был сильный и прочный, как опорный столб, и тем невероятно мне импонировал. Если б он захотел — победил бы в драке любого. Но тогда, конечно, я не мог понять его трепетной бережливости — она скорее напоминала скупость; впервые я почувствовал ее, когда пан Мартинек, простой рабочий, дал той девчушке гривенник, а папа — нет; папа притворился, будто и не видит этого; тогда мальчика потрясло какое-то странное и страшное чувство, нечто вроде презрения. Сегодня-то я вижу, что отец, бедняга, вовсе не был сильным, что он, собственно, боялся жизни; бережливость — добродетель оборонительная; это — стремление к обеспеченной жизни, это — страх перед будущим, перед риском и случайностями; скупость ужасно похожа на своего рода ипохондрию. Учись, учись, сынок, растроганно говаривал мне отец, пойдешь на государственную службу и *будешь обеспечен.* Вот, вероятно, вершина того, что можно требовать от жизни: надежность, обеспечен-

ность, уверенность, что ничего с нами случиться не может. И если так чувствовал отец, большой и могучий, как дуб, то откуда же было взяться отваге в слабосильном, изнеженном сыночке? Вижу — все это было основательно подготовлено во мне еще с детства; достаточно было первого физического испытания — и человек, со страха спрятавшись сам в себя, нашел в себе эту защиту — боязнь за жизнь и превратил ее в закон существования.

* * *

Бог знает, вероятно, это сидело во мне глубже, чем я сам думал; ведь это свойство вело меня по жизни почти как инстинкт, так же слепо и наверняка. Сейчас я думаю о своей покойной жене: как странно, что я нашел именно ее, женщину, которая чуть ли не рождена была для того, чтоб ухаживать за кем-нибудь. Причина этого, пожалуй, в том, что была она очень сентиментальна и притом очень разумна; заботиться о ком-нибудь — ведь это такая умственная, трезвая и практическая форма любви. Ведь она страстно влюбилась в меня в тот момент, когда узнала, что я вернулся с порога смерти и что моей интересной бледности есть более глубокая причина; тогда в ней вдруг вспыхнуло как бы милосердие, любовь и материнство, и началось стремительное созревание чувств; тут все переплелось: испуганная девочка, женское сострадание и ревностность матери, любовные грезы и удивительно дельная, настойчивая забота — чтоб побольше ел, прибавлял в весе. Одинаково важно и прекрасно было — говорить о любви и толстеть; под сенью ночи она судорожно сжимала мне руку и шептала со слезами на глазах: пожалуйста, прошу вас, вы должны *ужасно* много есть; поклянитесь, что будете беречь себя! Я и сегодня не могу улыбнуться над этим: была тут своя сладостная и даже патетическая поэзия... для нас обоих. Мне казалось, я выздоравливаю только ради нее, ей на радость, и что с моей стороны это прекрасно и великодушно; борюсь за свое здоровье для того только, чтоб сделать ее счастливой. Она же верит, что спасает меня, возвращает мне жизнь; так не принадлежу ли я ей по праву, не судьба ли это? Знаю, господи, — конечно, меня случайно перевели именно на эту станцию, но странно и как-то поразительно, до чего

же тем самым и с какой неизбежностью и глубиной осуществилась линия моей жизни. До тех пор мне приходилось скрывать мой ипохондрический страх, стыдиться его, как слабости; теперь не то, теперь это сделалось общей и чрезвычайно важной заботой двух людей, теперь это стало частью нашей любви, нашим интимным делом; это было уже не недостатком или изъяном, а чем-то положительным и веским, что придает жизни смысл и направление.

Думаю о нашем браке, о том, как тихо и естественно вошло в него это мое свойство. Жена моя с первой минуты взяла на себя опасения за мое здоровье, словно говоря: это не твое мужское дело, это забота женщины, не нужно тебе об этом думать, предоставь все мне. Да, так и было; я мог притворяться перед самим собой; я, мол, что, — это все она; она такая заботливая, так следит за гигиеной — что ж, пускай, коли ей это доставляет удовольствие, а сами будем тихонько наслаждаться этой уверенностью, что о нас позаботятся, что так много делается для нашего здоровья. Когда она ждала с полотенцем, чтоб похлопать меня по мокрой спине прежде, чем я вытрусь, — да, конечно, это казалось милой супружеской лаской, но на самом деле тут был ежедневный медицинский осмотр; мы никогда не говорили этого друг другу, но знали оба, и я всегда взглядывал на нее через плечо — ну, как? Она улыбалась, кивала — хорошо, мол. И ее умеренная, сдержанная любовь — это ведь было то же самое: жена держала меня в известных пределах, чтоб избавить меня от необходимости самому, из страха за себя, держаться в этих пределах. Не надо так неистовствовать, говорила она почти материнским тоном, спи-ка лучше; и чтоб никаких кругов под глазами и прочее такое. Порой я сердился на нее, но в глубине души был ей за то благодарен; я признавал, что так для меня лучше. Мне уже не нужно было со страхом прислушиваться к собственному состоянию — эту заботу она взяла на себя. Зато она питала мое честолюбие — это, по-видимому, тоже полезно, повышает интерес к жизни; без этого мужчина, пожалуй, и дышать не может. Расскажи, что ты делал весь день — и тогда работается охотнее. Или — строить планы на будущее; оптимизм — тоже полезен, он неотъемлем от упорядоченной жизни. Все это на первый взгляд было так естественно, так по-супружески интимно; теперь-то мне

это видится иначе — теперь-то уж нет никого, кто снял бы с меня этот ужасный, бессильный страх — не бойся, здесь ты дома, у тебя есть все, что нужно, ты здесь под защитой и в безопасности.

А позже, на своей станции — тогда-то я уже чувствовал себя здоровым как бык; думаю, именно поэтому жена уже не так была мне необходима, и в этом причина некоторого отчуждения. Она это чувствовала и старалась сохранить меня для себя, отсюда и это озабоченное «ты должен больше беречь себя» и так далее. Тогда уж она хотела бы дать мне детей — быть отцом ведь хорошо, а детей не было... Оставалось ей одно средство — деспотически печься о моих удобствах, о моем порядке; она возвела это в настоящий Великий Закон — чтоб я хорошо ел, много спал и чтоб все было на своем месте. Жизнь, превращенная в привычку, как-то надежнее, прочнее; пестовать свои привычки — это тоже своеобразная форма заботы о себе. И опять-таки это она взяла на себя: она заботится о моих привычках, а я лишь снисходительно и добродушно принимаю ее заботы; ведь я это только ради тебя, старушка, уж больно хорошо ты приготовила... Слава богу — человеку нет нужды быть эгоистом, когда о нем так заботятся; у него тогда — честное и мужественное представление, что он вовсе и не помышляет о своих удобствах, а все его мысли — о деле. А потом, в конце дней своих, он скажет: я жил для своей работы и была у меня славная жена, то была обыкновенная, хорошая жизнь.

* * *

Ну вот, и третий нашелся, отозвался во мне строптивый голос.

Какой такой третий?

А вот какой: первый — это обыкновенный счастливый человек, второй — тот, с локтями, который все хотел взобраться повыше, а ипохондрик — это и есть третий. Хочешь не хочешь, миленький, а тут целых три жизни, и все — разные. Абсолютно, диаметрально и принципиально разные.

А вот же — все вместе и составляло одну будничную, простую жизнь.

Не знаю. Этот, с локтями, никогда не был счастлив; ипохондрик не мог так неистово рваться кверху; счастливец же просто не мог быть ипохондриком, ясно! Ничего не попишешь, налицо три фигуры.

И — одна только жизнь.

В том-то и дело. Были бы три самостоятельные жизни — куда бы проще. Тогда каждая из них была бы цельной, вполне связной, каждая имела бы свои закономерности и смысл... А так получается, что эти три жизни как бы проникали друг в друга — то одна, то другая...

Нет, не так, постой! Когда что-то в тебя проникает, то это — как горячка. Я знаю, у меня бывали ночные горячки, — господи, до чего же безобразно все путалось и переплеталось тогда во сне! Но это давно прошло, я выздоровел; и горячки нет у меня, правда, нету ведь?

Ага, опять заговорил ипохондрик. Милый мой, он ведь тоже все проиграл!

Что проиграл?

Да все: как ты думаешь, если ипохондрику предстоит умереть...

Ах, да перестань!

XXIII

Трое суток не спал; произошло событие, над которым я третий день качаю головой. Событие-то вовсе не великое, не славное, таких в моей жизни и не бывает, скорее даже неприятный эпизод, в котором я, как мне кажется, играл немного смешную роль. В тот день после обеда экономка доложила, что со мной хочет говорить какой-то молодой человек. Я подосадовал: на что он мне, могла бы сказать ему, что меня нету дома или что-нибудь в этом роде; ну уж, коли так, впустите его.

Юноша оказался той породы, которая всегда была мне неприятна: излишне высок, самоуверен и волосат, в общем этакий шикарный мальчик; мотнув своей гривой, он проорал свою фамилию, которую я, конечно, сейчас же забыл. Мне было неловко, что я небрит, без воротничка, что сижу перед ним в шлепанцах и старом халате, съежившись, как пустой мешок; и я как можно неприветливее осведомился, что ему угодно.

Он с некоторой поспешностью стал рассказывать, что пишет сейчас диссертацию. Тема — истоки поэтических

направлений девяностых годов. Изумительно интересное время — назидательно заверил он меня. (У него были большие красные руки, ноги как бревна, — чрезвычайно неприятен.) И вот он собирает материал, и потому позволил себе...

Я смотрел на него с какой-то подозрительностью: да ты что-то перепутал, голубчик, какое мне дело до твоего материала?

И вот, говорит, в двух журналах тех лет он нашел стихи, подписанные моим именем. Именем, забытым в истории литературы, победно добавил он. Это мое открытие, сударь! Стал он искать следы этого забытого автора; один современник, такой-то и такой-то, сказал ему, что, насколько он помнит, автор тот стал железнодорожным служащим. Юноша пошел по следу, ну, и в министерстве ему дали мой адрес. Тут он брякнул напрямик:

— Скажите, вы ли это?

Вот те на! У меня было сильное желание поднять удивленно брови и сказать, что это ошибка, куда мне стихи писать! Но не стану лгать. Махнул я рукой и пробормотал что-то вроде, мол, да, имел такую глупость, только уж давно с этим покончил.

Юноша просиял, победоносно тряхнул гривой.

— Великолепно! — рявкнул он. И не могу ли я сказать, печатался ли я еще в других изданиях? И где опубликованы мои более поздние стихи?

Я покачал головой. Ничего больше не было, молодой человек, ни строчки. Увы, ничем не могу служить.

Он давился восторгом, оттягивал пальцем воротничок, словно тот душил его, и лоб у него заблестел от пота.

— Превосходно! — вопил он. — Совсем как Артур Рембо! Поэзия, вспыхнувшая метеором! И никто не нашел! Это открытие, милостивый государь, потрясающее открытие! — гремел он, ероша лохмы своей красной ручищей.

Я злился, не люблю шумных и вообще молодых людей: как-то нет в них ни порядка, ни меры.

— Чепуха, сударь, — сухо возразил я. — Стихи были плохие, не стоили ни гроша, и лучше, чтоб никто о них не знал.

Он улыбнулся сострадательно и чуть ли не свысока, как бы ставя меня на место.

— Нет уж, милостивый государь! Это дело литературоведения. *Я бы* назвал вас чешским Рембо. *По-моему,* это наиболее интересные стихи девяностых лет. Не скажу, чтоб они могли лечь в основу какой-либо поэтической школы, — он прищурил глаза с видом знатока, — они имели мало влияния на развитие поэзии и не оставили в ней глубокого следа. Но как выражение личности это просто великолепно, это такое своеобычное и сильное... Например, это стихотворение, как оно начинается: «Как кокосовые пальмы бубнами зарокотали...» — Он выкатил в экстазе глаза. — Конечно, вы помните сами, как там дальше...

А меня это задело мучительно, будто некое неприятное воспоминание. Я пробормотал:

— В жизни не видел ни одной кокосовой пальмы. Какая глупость!

Юноша чуть не взвился.

— Все равно! — воскликнул он. — Не важно, что не видели! Вы совершенно неверно понимаете поэзию!

— И вообще, — говорю, — как это пальмы могут рокотать бубнами?

Он был, кажется, оскорблен моей тупостью.

— Да ведь это же кокосовые орехи! — выпалил он возмущенно, как человек, которому приходится объяснять простейшие вещи. — Орехи от ветра стучат друг о друга. «Как кокосовые пальмы бубнами зарокотали»! Слышите? Сначала четыре «к», это — орехи стучат; потом расплывается в музыку — «бубнннамми зарокотали»... И вообще там есть стихи еще лучше...

Он сердито замолчал, откинув гриву, как будто в этих стихах он защищал собственное, самое драгоценное свое достояние. Но скоро он сменил гнев на милость, — молодость великодушна.

— Нет, серьезно, там есть замечательные строки. Своеобразное, сильное, потрясающе новое — конечно, для того времени, — прибавил он с сознанием превосходства. — И даже не так новое по форме, зато образы какие! Видите ли, вы заигрывали с классической формой, — пустился он со рвением объяснять мне, — но разрушали ее изнутри. Формально безупречные, строгие, правильные стихи, но — заряженные внутри невероятной фантазией!

Он сжал свои красные кулаки, чтоб было нагляднее.

— Кажется, вам хочется издеваться над этой строгой и точной формой. Этакий правильный стих, а внутри фосфоресцирует, как гнилушки, что ли. Или — раскаленный уголь, до того раскаленный, что только и ждешь — сейчас взорвется. Будто какая-то опасная игра: закостенелая форма, и — ад внутри... Собственно, в этом и есть конфликт, страшное внутреннее напряжение, или, как бы это выразить, — понимаете? Фантазии хочется полета, а ее втиснули во что-то очень системное, очень тесное. Потому-то эти ослы и не заметили, что это лишь по видимости классический стих; если б они увидели, как под этим внутренним давлением смещаются цезуры...

Он вдруг утратил всю свою самоуверенность, он вспотел от усилий и смотрел на меня собачьими глазами.

— Не знаю, точно ли я выразил свое мнение... маэстро, — запинаясь, промямлил он и покраснел, но я покраснел пуще него, мне было ужасно стыдно, и поглядывал я, кажется, даже со страхом, в смятении бормоча:

— Но ведь стихи были плохие... Потому я и бросил это дело, и вообще...

Он покачал головой и все смотрел, смотрел на меня, не отрывая глаз.

— Не то!.. Вы... вы не могли не бросить. Если б вы... продолжали творить, вы неизбежно разбили бы вдребезги... Я это так здорово чувствую! — вырвалось у него с облегчением, потому что молодым людям всегда легче говорить о себе. — Для меня было огромным наслаждением — прочитать ваши восемь стихов. Я тогда же сказал своей девушке... впрочем, это не важно, — растерянно осекся он и обеими пятернями взъерошил волосы. — Я не поэт, но... способен представить себе... Такие стихи мог написать только молодой человек... и только раз в жизни. Если б он продолжал писать — обязательно как-нибудь примирил бы это противоречие... Собственно, ведь какая изумительная судьба поэта: раз в жизни выразить себя так невероятно сильно, так полно и — точно. А знаете, я вас представлял себе совсем иначе, — брякнул он неожиданно.

Мне страшно хотелось услышать еще что-нибудь о моих стихах; хоть бы этот олух прочитал какое-нибудь! Но мне стыдно было просить, и я от смущения начал

глупо и банально расспрашивать, откуда он и всякое такое. Он сидел как оплеванный, — видно, вообразил, что я разговариваю с ним, словно с мальчишкой. Ну и ладно, хмурься себе; не спрашивать же мне, что было еще в моих стихах и тому подобное. Будто уж сам не можешь начать! Разве я не оставляю достаточно длинных и тягостных пауз в разговоре?

В конце концов он поднялся — такой ненужно длинный.

— Ну, я лечу, — с облегчением вздохнул он, ища свою шляпу.

Ну, лети; конечно, молодость не умеет ни прийти, ни уйти. На улице его поджидала девушка, они взялись под руки и помчались к городу. Отчего это молодежь всегда так спешит? Я не успел даже пригласить его заглянуть еще раз; какой торопыга, я и не знаю, кто он...

Вот и все.

XXIV

Вот и все, а теперь хоть голову себе сломай, коли угодно. Видали — я, оказывается, поэт; кто бы подумал? То, что сказал этот юноша, ничего не значит — черт его возьми, юношу; молодость преувеличивает и не может не преувеличивать, как только рот откроет. Надо бы съездить в университетскую библиотеку, самому взглянуть, но доктор велит — покой и покой, вот и сиди дома, голову ломай. Нет, не вспомнишь ни одного стихотворения, — что уплыло, то уплыло; и куда только оно так проваливается?! «Как кокосовые пальмы бубнами зарокотали...» — по этому ничего не поймешь; только что головой покачаешь — господи, да откуда ты взял эти пальмы и что они тебе вообще? А кто знает, может, в этом, и именно в этом и есть поэзия — в том, что вдруг тебе, оказывается, есть дело и до кокосовых пальм, и, скажем, до королевы Маб. Пусть это плохие стихи, и юноша — болван, но вот факт: были кокосовые пальмы, и бог весть что еще! «Потрясающая фантазия», — говорил юноша; стало быть, там множество всякого, да еще какого удивительного — и все, видите ли, «фосфоресцирующее» и «раскаленное». И не важно, хороши или плохи те стихи, а вот как бы узнать, что же в них было, потому что ведь все это был я сам. Была, значит, когда-то жизнь, в которой существовали

кокосовые пальмы и другие удивительные вещи, фосфоресцирующие и раскаленные. Вот и ломай, милый, голову: ты же хотел привести в порядок дела твоей жизни, ну так и засунь эти кокосовые пальмы куда подальше, на самое дно ящика, где бы они не мешали, не попадались на глаза!

То-то же, милый: теперь уж не выйдет. Теперь тебе уже не отмахнуться, — мол, чепуха, дрянь стишки, и я рад, что давно позабыл их. Нет, дорогой, были и кокосовые пальмы, рокотавшие бубнами, и мало ли что еще. Теперь хоть обеими руками отмахивайся, кричи, что стихи те и гроша не стоили, — пальмы-то эти не выкорчуешь, не уберешь из жизни своей все, что тогда раскалялось и фосфоресцировало. Ты знаешь — это было, и юноша не лгал; юноша не дурак, хотя бы и ни черта не разбирался в поэзии. Я знал это, тогда я очень хорошо знал, что это такое. Толстый поэт знал тоже, но — не умел писать, потому он с таким отчаянием и издевался надо всем.

Но я знал; и вот теперь, милый мой, хоть голову разбей — откуда это в тебе взялось! Этого никто не понимал, даже толстый поэт; он читал мои стихи своими свиными глазками и кричал: ах, негодяй, откуда это в тебе взялось? Потом шел, надирался в честь поэзии и плакал: посмотрите на этого идиота — вот поэт! Такой тихоня, а как пишет! Раз как-то он в ярости кинулся на меня с кухонным ножом: говори сейчас же, как это делается! А как оно делается? Поэзию не делают, она просто *существует;* это так просто и естественно, как ночь или день. И вовсе это не какое-то там вдохновение, а просто некое всеобъемлющее бытие. Все попросту существует. Все, что придет тебе в голову, — хотя бы кокосовые пальмы или ангел, взмахнувший крылами. Ты же — ты только даешь название тому, что есть, — как Адам в раю. Это страшно просто — только всего этого так много... Существуют неисчислимые вещи, их лицо и изнанка, существуют бесчисленные жизни; и вся поэзия в этом — в том, что все существует, и тот, кто знает это, тот — поэт. Посмотри, этот негодяй просто чародей: напишет о кокосовых пальмах — и вот они, качаются на ветру, стучат бурыми орехами; при всем том это так же естественно, как вид горящей лампы. Какое тут волшебство: берешь, что есть, и играешь фосфоресцирующими, раскаленными по-

нятиями по той лишь божественно простой причине, что они — существуют; они — в тебе или вне тебя, безразлично. Стало быть, это совершенно просто и естественно, однако при одном условии: что сам ты живешь в особом мире, которому имя — поэзия. Как только покинешь его — тотчас все исчезает, будто черт слизнул: нет ни кокосовых пальм, ни раскаленных, фосфоресцирующих вещей. «Как кокосовые пальмы бубнами зарокотали...» — господи, да что я? Вот чепуха-то! Не было никогда ни пальм, ни бубнов, не было ничего раскаленного. Махни рукой, и только. Иисусе Христе, какая чепуха!

Ага, видишь: теперь жалеешь, что черт слизнул. И уже не знаешь сам, что там было, кроме кокосовых пальм, и никогда не додумаешься, что там еще *могло* быть, какие вещи мог ты увидеть сам в себе — и вот уж не увидишь никогда. А тогда ты их еще видел, потому что был поэтом; и видел ты вещи дивные и страшные — разлагающуюся падаль и раскаленное горнило, и бог весть, бог весть, что ты мог *еще* увидеть, — быть может, верующего ангела или неопалимую купину, заговорившую человеческим голосом... Тогда все это было возможно, потому что ты был поэт и видел, что есть в тебе, и мог давать этому названия. Тогда ты видел то, что есть; теперь же — кончено, уж нету пальм, и ты не слышишь, как стучат орехи. Как знать, брат, как знать, что бы и сегодня могло найтись в тебе, останься ты поэтом еще ненадолго. Нечто ужасное или ангельское, дружище, и все — от бога, неисчислимое, несказанное, о чем ты и представления не имеешь; сколько всего, сколько жизней и отношений вынырнуло бы вдруг в тебе, если б хоть раз еще снизошло на тебя грозное благословение поэзии! А теперь что ж — ничего этого ты больше не познаешь; пропало, исчезло это в тебе, и — конец. Знать бы только, отчего; знать, отчего ты тогда сломя голову бежал от того, что заключалось в тебе; чего же ты так ужаснулся? Вероятно, всего этого было слишком много, или слишком было оно раскалено, начало обжигать руки; или — фосфоресцировало слишком уж подозрительно, а может быть, кто знает, вдруг запылала купина и ты испугался голоса, которым из того куста заговорил бог. Было в тебе нечто, чего ты ужаснулся; и ты обратился в бегство, остановясь лишь — где, собственно? На последней на свете станции? Нет, там еще вспыхивало — изредка. Только уж на *своей*

станции ты остановился, укрывшись за надежным порядком. Там-то уж ничего больше не было, там, слава богу, ты обрел покой. А ты боялся этого, как... скажем, как смерти; и, как знать, может, то и была смерть, может, ты чувствовал: берегись, еще несколько шагов по этой дорожке — и я сойду с ума, погибну, умру. Беги, друг, из пламени, пожирающего тебя! И вовремя: через два-три месяца алый сок брызнул твоим горлом, и много труда ты положил, чтоб кое-как излечиться. И дальше уж — крепко держаться приличной, солидной, размеренной жизни, которая не съедает человека. Будешь теперь выбирать лишь то, что необходимо, и перестанешь видеть все то, что есть в жизни; ибо там есть и смерть, она жила в тебе среди страшных, опасных понятий, которым ты давал названия. Итак, все это теперь захлопнуто крышкой и не может выйти наружу, как бы оно ни называлось — жизнью или смертью. Захлопнуто, ушло, нету его; да, брат, основательно ты стряхнул с себя это все и по праву махнул рукой: чепуха, какие там еще пальмы! Это даже и не достойно зрелого, деятельного мужа.

И вот сидишь, головой качаешь: видали, кто бы подумал! А вдруг и стихи не так уж были скверны, и вообще не глупость это? Вдруг они дали бы радость, и ты бы немного даже гордился: видали, я и стихи писал, да неплохие... Но послушай, как грустно! Даже строптивый голос *молчит*, — видно, не укладывается это у него; у него ведь есть теория, что это было поражение, и ты бросил писать, поскольку, конечно, не обладал ни даром, ни индивидуальностью. А теперь, оказывается, совсем не в том было дело — скорее это было бегство от самого себя, страх поддаться тому, что было в тебе заключено. Замуровать, как горящую *шахту*, — пусть, черт возьми, задохнется само собой. Может, огонь уже погас, кто знает; и рук больше не обожжешь — и не согреешь. Чтоб самого себя не видеть, ты занялся реальными вещами, из них сотворил свое призвание и жизнь; это тебе вполне удалось, ты ушел от самого себя, сделался солидным человеком, который добросовестно и в довольстве прожил обыкновенную жизнь. Чего же ты хочешь, хорошо ведь было; зачем же тогда, послушай, это сожаление?

XXV

Нет, все-таки не совсем это удалось. Оставим поэта, — поэта черт унес, но было же еще нечто невинненькое, безобидное, от чего я так никогда и не *освободился*, — да, верно, и не хотел освободиться. И было это задолго до поэта, собственно, в детстве еще, еще в той ограде из щепочек, в общем, ничего особенного, просто этакая мечтательность, романтичность, очарованность фикциями или как это еще назвать... Ну что ж, для ребенка это вполне естественно; куда более странно, что это так же естественно и для взрослого серьезного человека. У ребенка есть фасолины, в них он видит сокровища или курочек, — все, что ему захочется увидеть; он верит, что папа — герой и что в реке сидит что-то страшное, дикое, чего следует бояться. Но — взгляните на господина начальника станции; вот он энергичной, чуть-чуть небрежной походкой шагает по перрону, посматривая по сторонам, будто наблюдает за всем, а сам в это время думает, что было бы, если б в него с первого взгляда страстно влюбилась княжна, та, в лоденовом платье, что приехала на охоту. У начальника станции, правда, хорошая жена, и он ее искренне любит, но это совсем его сейчас не смущает; сейчас ему приятнее беседовать с княжной, сохраняя самую почтительную сдержанность, и при этом чуть-чуть страдать ее любовной мукой. Или пусть бы столкнулись два экспресса: что бы он делал, как распоряжался, как он ясным, повелительным тоном овладел бы всем этим ужасом, этим смятением! Сюда, скорей сюда, здесь женщина под обломками! И — сам впереди всех ломает стенку вагона, удивительно, откуда в нем эта исполинская сила! Чужестранка благодарит спасителя, хочет поцеловать ему руку, но он — нет, нет! Это мой долг, *мадам*, — и снова пошел руководить спасательными работами, как капитан на мостике корабля. Или он странствует по дальним краям, вот он солдат, вот находит у дороги измятую записочку, на ней торопливым почерком: «Спасите меня!» В это состояние впадаешь, сам не зная *как*, — внезапно ты уже в мечтах совершаешь подвиги, переживаешь необычайные приключения; только когда приходится очнуться — едва не вздрагиваешь, как от неприятного толчка, словно упал откуда-то, и чувствуешь себя слабым, расстроенным, и тебе немного стыдно.

А вот же, не отмахивается начальник станции от этих сумасбродных грез, не старается отвязаться от них; правда, и всерьез он их не принимает и, например, ни за что не признался бы в них собственной ж е н е, — но зато он чуть ли не радуется им заранее. Можно сказать, что каждый день — исключая то время, когда он был в л ю б л е н, — он придумывал какую-нибудь историю своей жизни; к некоторым из них он возвращается с особой охотой, развивает их в новых и новых подробностях, проживает их как роман с продолжением. У него целая вереница побочных, выдуманных жизней, и все они полны любви, подвигов, приключений, и сам он в них неизменно — молодой, сильный рыцарь; иногда он умирает, но только мужественно, только самоотверженно; отличившись как-то, отступает в тень, растроганный собственным благородством. И несмотря на такую скромность, очень неохотно просыпается для другой, реальной жизни, в которой ему нечем отличиться, зато и не от чего отрекаться самоотверженно и благородно.

Допустим — романтика, по ведь именно потому и любил я железную дорогу, что сидел во мне этот романтик, любил за особую, немного экзотическую атмосферу, присущую железным дорогам, за настроение дальних странствий, за ежедневное приключение прибытия и отбытия. Да, вот это было для меня, это была нужная рамка для моих нескончаемых грез. А другая, реальная жизнь — то была уже более или менее рутина, хорошо налаженный механизм; чем безупречнее он работал, тем меньше разрушал он мои мечты. Слышишь, строптивый голос? Для этого, только для этого устроил я образцовую, безукоризненно функционирующую станцию — для того, чтоб под звон сигнального колокола, под перестук морзянки среди приезжающих и отъезжающих плести истории выдуманной жизни. Смотришь, как убегают рельсы, как завораживают, и незаметно для себя пускаешься вдаль; и вот уже ты вступил на бесконечный путь приключений, все одних и тех же, и все — иных и новых. Знаю, знаю, потому-то и чувствовала жена, что я от нее отдаляюсь, что там, среди рельсов, живу какой-то своей жизнью, в которой для нее нет места и которую я скрываю от нее. Мог ли я рассказать ей о княжнах в лоденовых платьях, о прекрасных чужестранках и подобных вещах? Не мог, конеч-

но; что поделаешь, дорогая, ты владеешь моим телом, чтоб заботиться о нем, а мысли мои далеко. Ты выходила замуж за начальника станции, но не за романтика — романтиком тебе не овладеть никогда.

Знаю, романтик во мне, то была матушка. Матушка пела, матушка порой задумывалась, была у нее какая-то скрытая, неведомая жизнь, а как прекрасна была матушка, когда подала напиться драгуну — так прекрасна, что у меня, малыша, сжалось сердце. Всегда говорили, что я пошел в нее. Я-то тогда хотел походить на папу, быть сильным, как он, большим и надежным, как папа. Видно, не удался. Не в него этот поэт, этот романтик и мало ли кто еще.

XXVI

Мало ли кто еще, но ты-то хорошо знаешь, *кто еще.*

Нет, строптивый голос, ничего я не знаю больше, нечего мне больше добавлять.

Потому что не хочешь знать, не так ли?

Ну и не хочу; и того достаточно для столь обыкновенной и простой жизни. Подбавил же я тебе романтика, чего ж еще? Сам посуди: я хотел написать совсем простенькую историю, жизнь обыкновенного и счастливого человека, а вон сколько в нее натолкалось: тут и обыкновенный человек, и парень с локтями, потом ипохондрик, романтик, бывший поэт и бог знает кто; целая куча, и каждый утверждает, что он — это я. Неужели мало? На сколько кусков разбил я свою жизнь одним тем, что поглядел на нее?

Стой, стой, а ведь ты кое-что и выпустил.

Ничего я не выпустил!

Выпустил. Напомнить, что ли?

Нет, не надо. Это — случайности, они ни о чем не говорят. Просто не вставляются в целое и не дают никакой связности. Вот верное слово: связность. Должна же быть какая-то связность в человеческой жизни.

И ради этого кое-что надо выбросить, так?

Ну, это все равно что выбросить муху из стакана с водой. Не мог же я потребовать, чтоб мне принесли на подносе новую жизнь? Попадается порой кое-что, чему места нет; господи, ненужное вынимают, и дело с концом.

Или, по крайней мере, о нем не говорят.

Да — или не говорят. Скажи на милость, чего ты, собственно, хочешь, и вообще — кто ты?

Это не важно; я — всегда тот, другой, на которого ты злишься. Не помнишь, когда это началось?

Что — когда началось?

То, о чем не говорят.

Не знаю.

Наверное, очень давно, правда?

...Не знаю.

Очень давно. Странно, чего только не испытывает порой ребенок.

Ах, перестань!

Да я ничего. Я только вспомнил ту смуглую девочку. Она ведь была старше тебя? Помнишь, как она сидела на ящике и вычесывала голову и давила вшей на гребешке — язычок высунула, хруп, хруп, так и хрупало. А ты, негодник, испытывал немножко гадливое чувство, а немножко... нет, то была не гадливость, скорее желание, чтоб у тебя тоже были вши, что ли. Желание быть вшивым — не странно ли? Брось, брось, брат, бывают и такие желания.

Послушай, ведь детство же!

Я не о детстве говорю. А как вы подсматривали, что делает за трактиром мастер с той халдой-трактирщицей! Ты вообразил, что он ее душит, так они ворочались; тебе от ужаса хотелось закричать, но девочка толкнула тебя в спину, — а как горели у нее глаза, помнишь? Вы притаились за забором, дышать не смели, и у тебя глаза чуть на лоб не вылезли. Такая страшная была баба, груди у нее по животу болтались, и ругалась на каждом шагу, а тут вдруг притихла, сопела только.

Хватит.

Да я что. Я только о том, как ты однажды в воскресенье пришел повидать девочку. Поселок как вымер, все были в трактире или храпели по лачугам. И в ее лачуге никого, только воняло, как в собачьей будке. Потом ты услышал шаги и спрятался за ящик. Вошла девочка, за ней мужчина и запер дверь на крючок.

Это был ее отец!

Ну да. Хорош отец, ничего не скажешь. Он запер дверь, и стало темно; видеть ничего не было видно, зато слышно было, дружок, было слышно, как стонет девочка,

а мужской голос успокаивает и окрикивает ее; ты не понимал, что происходит, и кулачком затыкал рот, чтоб не завизжать от отчаянного ужаса. Потом мужчина встал и ушел, а ты еще долго крючился за ящиком, и сердце у тебя дико колотилось. Потом ты тихонько приблизился к девочке, она лежала на куче тряпья и всхлипывала.

Тебе было очень не по себе, ты хотел бы быть большим, и чтоб вши у тебя водились, и чтоб знал ты, что все это значит. Вскоре вы уже играли с ней перед лачугой в бельевые прищепки, но это был опыт, голубчик, такой опыт — не знаю, как это ты можешь опустить его.

Да. Нет. Не могу.

Знаю, что не можешь. То-то после этого ваши игры стали уже не такими невинными, вспомни только. А тебе и восьми лет не было.

Да, восемь лет.

А ей, наверное, девять, но испорчена она была как дьявол. Цыганка она, что ли, была... Да, брат, такие опыты в детстве — это в человеке остается надолго!

Да, остается.

Как ты потом смотрел на мать — почти с любопытством, такая же ли и она. Как та трактирщица или та цыганочка. И отец — такой же ли он странный и отвратительный. Ты начал следить за ними... А послушай, ведь между ними что-то не все было в порядке...

Матушка была... не знаю, несчастна, что ли...

А батюшка был тряпка, жалкая тряпка. Порой он бушевал, но вообще — просто ужас, что он только позволял жене. Бог знает, в чем он перед ней провинился, отчего позволял ей так унижать и мучить себя. Тебя-то она любила, но его — господи, как она его ненавидела! Иной раз завяжется у них ссора из-за какой-нибудь ерунды — а тебя за дверь, иди, играй. Потом начинала говорить матушка, а отец выскакивал красный и разъяренный, хлопал дверью и набрасывался на работу как проклятый, и ни слова, только фыркает. А дома плакала мать — плакала торжествующе и отчаянно, как человек, который все разбил, вот, конец всему! Но конца-то не было.

Это был ад!

Это и *был* ад! Отец был добрый человек, но в чем-то он провинился. Мать была в своем праве, но она была злая. И малыш понимал э т о , — просто ужас, чего только не понимает ребенок! Он только не знает, отчего все это.

И вот смотрит озадаченно — творится что-то странное и злое, что взрослые от него скрывают. Хуже всего, пожалуй, было в ту пору, когда мальчик дружил с цыганочкой; все сидят за столом, отец молча ест; вдруг движения матери становятся резкими, порывистыми, она гремит тарелками и сдавленным голосом приказывает: ступай, малыш, ступай-ка играть... И потом отец с матерью сводят какие-то свои счеты, бог весть в который раз, и бог весть как тяжелы они, и сколько в них ненависти, а мальчик, одинокий и растерянный, со слезами на глазах, отправляется за речку, где живет цыганочка. И будут они играть в грязной лачуге, раскаленной от солнца, воняющей, как собачья конура; за игрой запрут дверь на крючок, настанет черная тьма, и дети начнут чертовски странную игру, а уже и не так темно, свет падает в щель между досками, и видно, как горят у детей глаза. В эту самую минуту отец дома хватается за работу, как проклятый, а у мамы льются слезы торжества и отчаяния. И мальчик испытывает чуть ли не облегчение — вот вам, у меня теперь тоже есть тайна, есть что-то странное и дурное, что надо скрывать. И его уже не так мучит, что есть тайны у взрослых, из-за которых его выставляют за дверь. Теперь у него самого есть тайна, о чем не знают они; теперь он сравнялся с ними и как-то даже отомстил им. Это было впервые...

Что именно?

Впервые он испытал наслаждение от дурного. Потом уж ты ходил за этой цыганочкой, как в дурмане; она порой бивала тебя и за волосы таскала, порой кусала тебе уши, как собачонка, а у тебя от наслаждения мороз подирал по коже; она тебя насквозь испортила, восьмилетнего, и с той поры это в тебе осталось...

Да.

...И надолго?

...На всю жизнь.

XXVII

А дальше что?

Дальше ничего. Дальше я был запуганный и робкий школьник, зубривший уроки, заткнув уши. Тогда ничего не было, ничегошеньки.

По вечерам ты кое-куда хаживал.

На мост — такой там был мост над вокзалом.

Зачем?

Потому что туда ходила одна женщина. Проститутка. Старая, с лицом, как маска смерти.

И ты ее боялся.

Ужасно. Я смотрел на вокзал, перегнувшись через перила, а она, проходя, задевала меня юбкой. Я оборачивался... Она видела, что я всего лишь мальчик, и шла дальше.

И ради этого ты туда ходил.

Да. Потому что боялся ее. Потому что все время ждал, чтоб она коснулась меня юбкой.

Гм. Немного.

Ну да. Я же говорю — она была страшна!

А как обстояло дело с твоим товарищем?

Никак, там не было ничего такого. Честное слово!

Знаю. Но зачем ты отнял у него веру в бога, когда ему предназначен был сан священника?

Потому что... потому что хотел уберечь его от этого!

Уберечь! Как же было ему учиться, когда ты отнял у него веру? Мать обещала его богу, а ты доказывал ему, что никакого бога нет. Очень красиво! Бедняга голову потерял; дивись после этого, что он в школе слова из себя выдавить не мог! Хороша помощь товарищу, вот уж верно; то-то он повесился в шестнадцать лет.

Перестань!

Пожалуйста. А как с той близорукой девочкой?

Сам ведь знаешь. Это было такое идеальное чувство, чистое до глупости, до... ну, прямо-таки неземное какое-то.

Но путь к ней вел по улочке, где во всех дверях стояли продажные девки, и они шептали: «Пойдем, молодой человек!»

Это — не важно! Тут не было никакой связи...

Как же не было! Ведь ты мог ходить к ней другим путем, правда? Даже ближе вышло бы. Но ты тащился по улочке с девками, и сердце у тебя колотилось страшно...

Ну и что? К *ним-то* я никогда не заходил.

Еще бы — на это у тебя не хватало смелости. Но зато ты испытывал такое чертовски странное наслаждение: там идеальная любовь, а тут — дешевый грязный порок...

Нести свое ангельское сердце по аллее шлюх, вот в чем дело. Это и было то самое, фосфоресцирующее и раскаленное, мой милый! Брось — очень странное водилось в твоей душе.

...Да, это так.

То-то же. А потом мы сделались поэтом, правда? В этой главе есть тоже кое-что, о чем не говорят.

...Да.

Не помнишь, что именно?

Да что? Ну, девки. Зеленоглазая официантка, потом та девушка, чахоточная, — как она всегда сламывалась под напором страсти, как стучала зубами — ужасно!

Дальше, дальше!

И та девушка, господи, как ее звали, — та, что пошла потом по рукам...

Дальше!

Ты имеешь в виду ту, одержимую дьяволом?

Нет. Знаешь, что было странно? Тот толстый поэт многое мог выдержать; был он циник и свинья, каких мало, но не скажешь ли ты, почему он иногда смотрел на тебя с ужасом?

Во всяком случае, не из-за того, что я делал!

Нет, из-за того, что было в тебе. Помнишь, раз как-то его передернуло от гадливости, и он сказал: скотина, не будь ты таким поэтом, я утопил бы тебя в канаве!

Ну, это — я тогда был пьян и просто что-то такое городил.

Вот именно — ты выкладывал то, что было в тебе. В том-то и дело, приятель: самое худшее, самое извращенное в тебе и осталось! Оно было, верно, уж до того... до того порочное, что не смело выйти наружу. Как знать, если б ты тогда не свернул с того пути... Но ты сам этого ужаснулся и «сломя голову бежал от того, что было во мне». Ты «захлопнул это в себе крышкой», но не кокосовые пальмы захлопнул ты, приятель, а вещи куда похуже. Может быть, и ангела с крыльями — но и ад, братец. Ад — тоже.

Но на этом и кончилось все!

Конечно, с чем-то ты покончил. Потом ты уже только старался спастись. Счастье еще, что у тебя кровь горлом пошла: замечательный предлог начать новую жизнь, правда? Цепляться за жизнь, рассматривать свою мокроту

и ловить форелей. С умеренным и мудрым интересом наблюдать, как лесные парни играют в кегли, причем немножечко смущать их тем в высшей степени подозрительным, что было в тебе. А главное — вселенная-то эта шла тебе на пользу; перед ее ликом испаряется все зло, заключенное в человеке. Славное учреждение — вселенная.

XXVIII

Ну а потом, на станции старого начальника, когда я влюбился — разве и там оно оставалось во мне, — это зло?

В том-то и дело, что нет. Это и странно. Там у тебя была вполне счастливая и обыкновенная жизнь.

Но любовь к куколке, — много ли недоставало, чтоб я ее соблазнил?

Пустяки, бывает.

Я-то знаю, я вел себя с ней... вполне прилично, но мое желание не было... не было, — в общем, оно выходило за рамки...

Ладно тебе, это вполне естественно.

Неужели я женился ради того, чтоб взобраться повыше?

А это уже другая история. Мы же говорим о более глубоких вещах... Например, почему ты ненавидел жену?

Я? Разве не по любви я взял ее?

По любви.

И не любил ли ее всю жизнь?

Любил. И при этом — ненавидел. Вспомни только, как часто, лежа рядом с ней, спящей, ты думал: господи, задушить бы ее! Сдавить обеими руками эту шею и сжимать, сжимать... Только вот вопрос — что делать с трупом...

Глупости! Не было этого — да если б и было? Как можно отвечать за такие мысли? Допустим, человек никак не уснет и злится, что жена спит так спокойно? И скажи на милость, за что мне было ее ненавидеть?

В том-то и штука. Хотя бы за то, что она была не такая, как та цыганочка или как та официантка, помнишь? Та болотная тварь с зелеными глазами? За то, что была она так спокойна и уравновешенна. Все у нее

было так разумно и просто — как долг. Супружеская любовь — дело порядка и гигиены, все равно что еда или чистка зубов. И даже нечто вроде привычного, серьезного священного обряда. Такая чистая, пристойная, домашняя повинность. И ты, друг мой, ты в эти минуты ненавидел ее судорожно и яростно.

...Да.

Да. Ведь в тебе жило желание быть вшивым, и чтоб — в вонючей лачуге, задыхаясь, проваливаться в бездонную игру. Чтоб было нечисто, и страшно, и дико. Какое-то неистовое вожделение, что губило бы тебя. Если б она хоть зубами стучала, рвала бы тебя за волосы, если б темно и безумно загорались ее глаза! А она — нет, только закусит губу и вздохнет, потом заснет как полено, как человек, который, слава богу, исполнил свою обязанность. А сам ты — зеваешь только; уже никакого желания чего-то злого, такого, чего не должно быть. Господи, обеими руками сдавить это горло, — может, хоть захрипит, как зверь, издаст нечеловеческий вопль?

Иисусе, как я порой ненавидел ее!

Вот видишь. Но не только за это. Еще и за то, что она вообще была такая упорядоченная и рассудительная. Как будто вышла замуж только за то, что было в тебе разумного, достойного, способного продвигаться по службе, доступного ее образцовой, домашней заботе. Она, скорей всего, понятия не имела, что есть в тебе что-то иное, что-то дьявольски непохожее, друг мой! И не знала даже, что помогает тебе заталкивать все это в угол... И вот оно металось, как на цепи, и тихо, ненавидяще скулило. Сдавить обеими руками это горло — и тому подобное. В один прекрасный день пуститься вдоль путей и идти, идти — куда-нибудь, где рвут камень; голым по пояс, на голове носовой платок, дробить киркой гранит; спать в грязной лачуге, где вонь, как в собачьей конуре; тучная трактирщица — груди болтаются по животу, потаскушки в нижнем белье, девчушка вшивая, кусается, как собачонка; дверь на крючок — не ори, малышка, заткнись, а то убью! А тут под боком тихо, мерно дышит образцовая супруга солидного, немного ипохондрического начальника станции; что, если сдавить это горло...

Да будет тебе!

И ведь ты не изменял ей, не грубил ей, ничего; ты только тайно и упорно ее ненавидел. Ничего себе семей-

ная жизнь, а? Один раз только ты ей немножко отомстил — когда вредил государю императору. Я тебе покажу, немка! А в остальном примерный брак и все прочее; это уж свойство твое такое: быть дурным, извращенным — втайне; даже от самого себя умеешь скрыть это и только радуешься, что вот ты и *таким* мог бы быть. Постой, а в министерстве-то?

...Там ничего не было.

Знаю, знаю, совсем ничего. Ты только с ужасом — но вполне приятным ужасом — думал про себя: господи, какое раздолье для взяточника! Миллионы можно бы выколотить, миллионы! Довольно одного намека, — мол, с нами можно сговориться...

А разве я это делал?

Боже сохрани. Такой безупречный чиновник. С этой стороны — абсолютно чистая совесть. Просто наслаждением было представлять себе, что можно было бы сделать и как все это осуществлять. Очень подробный, хитроумный план: вот это бы устроить так-то и так-то, и тому подобное; делать, так с толком! Но вместо этого — не делать ничего, пронести свою служебную независимость незапятнанной сквозь искушения со всех сторон. Похоже на то, как ты ходил к своей чистой любви по улочке проституток — «пойдем, молодой человек!». Не существовало такого служебного преступления, которого бы ты не придумал, не допустил в душе; ты все возможности исчерпал — но не совершил ни единого. Правда, ни один человек и не в состоянии был бы натворить всего, что ты напридумывал, — пришлось бы ему ограничиться несколькими аферами, но мыслям нет пределов, и в мыслях он может все. И вспомни только секретарш!

Ложь!

Тише, тише. Брось, ты достаточно силен был в министерстве; только брови сдвинуть — и у девчонок задрожат колени. Вызвать, к примеру, одну такую и сказать: у вас тут куча ошибок, барышня, я вами недоволен, не знаю, пожалуй, мне *следовало бы* потребовать вашего увольнения. И так далее, — этот способ можно было перепробовать на всех. Да еще если б были эти бешеные миллионы, за которыми только руку протяни! В те-то времена — чего не сделала бы такая девушка ради своего жалкого жалованья, да за две-три шелковых тряпки! Молодые, зависимые...

Разве я это делал?

Куда! Только страх на них наводил — барышня, я вами недоволен... Мало разве тряслись у них поджилки, мало молили они взглядами твоей милости? Тут бы только ласково погладить ее, и дело в шляпе. Но это просто была такая возможность, которой тешил себя наш игривый старичок. Секретарш там было — не сочтешь; и — делать, так с толком: перебрать всех, одну за другой, снять где-нибудь на окраине комнатенку, да посквернее, чтоб не очень чистую. Или лучше — пусть бы дощатая лачуга, раскаленная солнцем, вонючая, как собачья конура; дверь на крючок — и темно, как в аду; только слышно — один голос стонет, другой грозит и успокаивает...

Больше ничего не скажешь?

Больше не скажу. Ничего этого не было, вообще ничего не было; этакая обыкновенная жизнь. Один лишь раз это осуществилось в действительности — тогда, когда тебе было восемь лет, с той цыганочкой; вот тогда что-то ворвалось в твою жизнь — такое, чему, пожалуй, и впрямь в ней не было места. А с тех пор, что ж ты все время выбрасывал это из себя, а оно все оставалось. И все время ты хотел еще раз пережить это, но оно так и не повторилось. Это ведь *тоже связная* история жизни, как ты полагаешь?

XXIX

Связная история жизни. Мой бог, что же мне теперь с нею делать? Ведь правда же, что был я обыкновенным и вполне счастливым человеком, одним из тех, кто честно исполняет свой долг; и это — главное. Ведь такая жизнь формировалась во мне с малых лет; в ней оставил след отец, в своем синем фартуке склоняющийся над досками, поглаживая готовое изделие; и все, кто жил вокруг — каменотес, гончар, бакалейщик, стекольщик и п е к а р ь, — все серьезные, внимательно углубленные в свое дело, словно ничего иного и нет на свете. А когда делалось трудно или больно — хлопнуть дверью, да еще усерднее вцепиться в работу. Жизнь — это не события, это — работа, это наш постоянный труд. Да, именно так; и моя жизнь была трудом, в который я погружался по уши.

Я не знал бы, куда девать себя без какого-нибудь дела; и когда пришлось уйти на покой, я купил вот этот домик с садом, чтоб было с чем возиться, сажал, взрыхлял землю, полол и поливал, — слава богу, в такую работу углубляешься до того, что и о себе забываешь, и обо всем, кроме того, что под руками; да, это тоже была отчасти крошечная ограда из щепочек, над которой я ребенком сиживал на корточках; и здесь мне было дано немало радостей, — и я видел зяблика, который глянул на меня одним глазком, как бы спрашивая: кто ты? Зяблик, зяблик, я обыкновенный человек, как все другие за моим забором; теперь я садовод, но этому меня научил старик тесть, — ведь почти ничто не пропадает даром, такой во всем дивный и мудрый порядок, такой прямой и неизбежный ход. От детства — и досюда. Так вот она — связная история о человеке. Простая и педантичная идиллия — да.

Аминь — и да, это правда. Однако есть здесь еще одна история, тоже связная и тоже правдивая. История о том, кто хотел как-нибудь возвыситься над заурядной средой, в которой родился, над этими столярами и каменотесами, над товарищами своими и над всем школьным классом — хотел этого неизменно, неизменно. И тянется это тоже с малых лет и до конца. Но эта жизнь сделана совсем из иного материала, из неудовлетворения и заносчивости, которые все время требуют себе как можно больше места. И думает человек уже не о работе, а о самом себе, о том, как бы сделаться больше других. Учится он не оттого, что это доставляет ему радость, а затем, что хочет быть первым. И, ухаживая за куколкой — дочерью начальника, самовлюбленно думает: а я-то достоин большего, чем телеграфист или кассир. Все время — я, одно лишь я. Ведь и у семейного очага он забирает себе все больше и больше места, пока не стало так, что только он, и все вертится вокруг него. Казалось бы, уже достаточно? В том и беда, что мало ему; достигнув всего, что ему требовалось, он не может не искать новых, больших мест, где мог бы снова раздуваться, исподволь, но наверняка. Но в один прекрасный день кончилось все, вот что грустно, да еще как скверно кончилось-то; и разом человек стал стар, и не нужен, и одинок, и чем дальше, тем меньше от него остается. Вот и вся жизнь, зяблик, и не знаю я, из счастливого ли она была сделана материала.

Правда, есть еще и третья линия, тоже связная и тоже идущая от детства: линия ипохондрика. В ней замешана матушка, знаю; это она так меня избаловала и наполнила страхом за себя. Этот третий человек был как бы слабым, болезненным братцем того, с локтями; оба эгоисты, это верно, но тот, с локтями, был агрессивен, а ипохондрик сидел в обороне; он только боялся за себя и хотел одного — пусть будет скромно, лишь бы безопасно. Никуда он не лез, искал только безбурной пристани, укромного уголка, — вероятно, потому-то и пошел на государственную службу и женился, ограничив тем самого себя. Лучше всего он уживался с тем первым человеком, обыкновенным и хорошим; работа, с ее регулярностью, давала ему славное чувство уверенности и чуть ли не прибежища. Тот, с локтями, хорош был, чтоб обеспечивать некоторое благополучие, хотя его неудовлетворенное честолюбие порой нарушало осторожный и удобный мирок ипохондрика. Вообще три эти жизни как-то уравновешивали друг друга, хотя и не сливались воедино; обыкновенный человек делал свое дело, не заботясь ни о чем ином; человек с локтями умел выгодно продать этот труд, но он еще и подстегивал: сделай то-то, а того-то не делай, это тебе ничего не даст; ну-с, а ипохондрик самое большее озабоченно хмурил брови: главное — не надорваться, во всем соблюдай меру. Три такие разные натуры, а в общем-то не ссорились между собой; молча приходили к согласию, а может быть, даже как-то считались друг с другом.

Эти три личности были, так сказать, моими узаконенными супружескими жизнями; их делила со мной моя жена, с ними она вступила в союз верности и солидарности. Но была тут еще одна линия, романтическая. Романтика моего я назвал бы товарищем ипохондрика. Личность весьма необходимая — она хоть как-то возмещала то, что отрицал ипохондрик: любовь к приключениям и широту души. С другими об этом и речи быть не могло: человек с локтями был слишком деловит и трезв, а обыкновенный был совсем обыкновенный, без фантазий. Зато ипохондрик, тот страшно любил всякое такое: вот переживаешь что-то очень увлекательное и опасное, а сам при этом сидишь в безопасности дома; хорошо иметь в запасе такое авантюрное, рыцарственное «я». Оно с детства было со мной, было неизбежной и неотъемлемой частью

моей жизни — но не моего супружества; об этом жена моя не должна была знать. Возможно, у нее тоже были ее, другие «я», ничем не связанные ни с ее семейной жизнью, ни с супружеской любовью; но я об этом ничего не знаю.

Затем есть тут еще пятое действо — тоже история связная и правдивая; начало ее относится к моим мальчишеским годам. Это и была жизнь порочная, с которой ни один из остальных моих «я» не хотел иметь ничего общего. Даже знать о ней не полагалось, лишь изредка... в строжайшем уединении, чуть ли не впотьмах, тайком, украдкой можно было немножечко наслаждаться ею, но это было со мною все время, дурное, вшивое, бесконечно порочное, и жило само по себе. Это было не «я» и не какой-нибудь «он» (как, например, романтик), это было некое «оно», нечто до того низменное и подавляемое, что уж не творило никакой личности. Все, что хоть в малейшей степени было мною, с отвращением сторонилось его; может быть, даже ужасалось его, как чего-то такого, что — против моего «я», что — гибель, самоистребление, но знаю, как это выразить. Больше я не знаю, ничего не знаю; ведь и сам-то я не познал этого, никогда не видел его целиком, а всегда лишь как нечто шевелящееся вслепую, во тьме... Ну да, как в лачуге, запертой на крючок, в грязной лачуге, вонючей, как звериная нора.

И еще была история — не полная, только фрагмент. История поэта. Ничего не могу поделать, чувствую, что у поэта этого было больше связи с тем низменным и тайным, чем с любым другим, что было во мне. Конечно, в поэте было и нечто высшее, но стоял-то он *на той стороне,* а не на моей. Господи, если б я умел это выразить! Поэт — он будто хотел каким-то образом высвободить все темное и тайное, будто пытался сделать из этого человека или даже больше, чем человека. Но для этого, видимо, нужна была особая божья милость или ч у д о , — отчего мне все время представляется ангел, взмахивающий крылами? Быть может, это неискупленное во мне единоборствует с каким-то ангелом-хранителем; иной раз вываляет ангела в свинстве, но временами казалось — все злое, все отверженное будет очищено. Словно во тьму врывался сквозь щели некий яркий, ослепительный свет, прекрасный до того, что даже сама нечистота как бы вспыхивала сильным, великолепным сиянием. Быть может, это неис-

купленное во мне должно было стать моей душою — как знать. Известно одно: этого не случилось. Отверженное осталось отверженным, а поэта — у которого не было ничего общего с тем, что было моим признанным, законным «я», — унес черт, не было для него места в остальных моих жизнях.

Вот инвентарная опись моего бытия.

XXX

Но и это еще не все. Остается один случай, — вернее, обрывок случая. Эпизод, не укладывающийся ни в одну из моих связных историй, стоящий обособленно, — взялся неизвестно откуда, и все тут. О господи, к чему околичности, не стану я без конца скромничать! То, что я делал во время войны, было чертовской дерзостью, — скажем, даже геройством. Ведь за все это грозил военный трибунал и петля — такая же верная, как дважды два четыре, и я это отлично знал. И действовал я даже не очень осторожно — разве что не оставлял никаких письменных следов, а разговоры об этих делах я вел с десятками кондукторов, машинистов, почтовиков, — проговорись кто-нибудь из них или донеси, и пришлось бы очень худо и мне и другим. При всем том я не чувствовал ничего героического, возвышенного; никакого национального долга или жертвы жизнью и прочих высоких мыслей; просто я сказал себе, что надо делать что-нибудь в этом роде, ну и делал, как будто это разумелось само собой. Мне даже немного стыдно было, что я не начал раньше; я видел, что другие, все эти отцы семейств, кондукторы и кочегары, только и ждали возможности что-то делать. Например, тот проводник — пятеро детей у него было, а он только и сказал: «Ладно, пан начальник, не беспокойтесь, сделаю». А ведь и его могли повесить, и ему это было известно. Мне уж и спрашивать наших не надо было, сами приходили, я их и знал-то едва. «Боеприпасы идут в Италию, пан начальник, видно, там заваруху жди». И — все. Теперь я вижу, до чего же мы были неосторожны — и они и я, — но тогда об этом вовсе не задумывались. Я называю это геройством, потому что те люди и *были* герои; я был ничуть не лучше их, только вносил в дело некоторую долю организованности.

Мы заблокировали все станции, где только можно было, в том числе и станцию моего тестя. У него там случилось крушение, и старик от этого помешался и умер. И я знал, что причиной тому я, — я искренне любил его, но тогда мне это было совершенно безразлично. То, что называют героизмом, — это ведь вовсе не великое какое-то чувство, энтузиазм или что-то еще; это — некое само собой разумеющееся, почти слепое «надо», какое-то удивительно объективное состояние; не важно, какие побуждения — просто делаешь что нужно, и точка. И — не воля это, человека будто что-то тащит за собой, и лучше поменьше об этом думать. И жене нельзя з н а т ь, — не женское дело. Итак, все очень просто, и незачем бы мне возвращаться к этому, но ведь теперь важно установить, каким образом это связано с прочими моими жизнями.

Идиллический начальник станции — нет, он вовсе не был героем; и меньше всего ему хотелось руководить чем-то вроде саботажа на его любимой дороге. Впрочем, в ту пору идиллический начальник станции почти исчез; сотник в белой горячке довел его образцовый вокзал до состояния грязного бедлама; в этом мире уже не было места добросовестному пану начальнику. Человек с локтями? Нет, тот не стал бы так рисковать, тот сказал бы: «А мне какая выгода?» Дельце-то, знаете ли, могло выйти боком, а впечатление почти все время было такое, что государь император скорее всего выиграет эту игру. К тому же в таких делах нельзя, невозможно думать о себе; стоит задуматься, что тебя может ж д а т ь, — душа уйдет в пятки, ну и конец. Чувство скорее было такое: а, черт меня возьми, чихать на собственную жизнь! Только так и можно было выдержать. Нет, тому, с локтями, здесь нечего было делать. Тем более ипохондрику, который вечно дрожал за свою жизнь; странно, что он даже не противился этому предприятию. Романтик? Нет. Романтического тут не было ни грана, ни намека на какие-нибудь мечты или приключения; абсолютно трезвое, серьезное дело — только немножко диковатое, в той мере, в какой я испытывал потребность пить ром, но и это, пожалуй, выражало ту атмосферу мужественности, которая объединяла нас. Эх, обняться бы со всеми этими кондукторами и смазчиками, пить с ними, кричать — ребята, братишки, а ну споем! И это я, всю жизнь такой нелюдимый! Вот это и было самое прекрасное — полное слияние с други-

ми, мужская любовь к товарищам. Никакого сольного геройства, просто радуешься такой великолепной компании, — эй, черт возьми, железнодорожники, покажем им, где раки зимуют! Об этом не сказано было ни слова, но я так чувствовал, и думаю, так чувствовали все мы. Вот и осуществилось то, чего так недоставало мне в детстве: я больше не торчу над своей оградой из щепочек, я иду с вами, ребята, я с вами, товарищи, что бы ни ждало нас впереди! Развеялось мое одиночество — перед нами было общее дело; не стало одного только «я», и как же мне шагалось, сударь, — это был самый легкий отрезок моего пути. Да, легче и добрее самой любви.

Думаю, эта моя жизнь никак не связана с остальными.

* * *

Мой бог, но была и еще одна, я чуть было совсем о ней не забыл. Совсем другая, почти противоположность этой жизни, да и всех остальных, — вернее, только странные такие моменты, будто совсем из иного бытия. Например, вдруг такая жажда быть чем-то вроде нищего на паперти; жажда ничего не желать, от всего отказываться; быть бедным, одиноким и в этом находить особую радость или святость — не знаю, как это выразить. Например, в детстве — тот уголок среди досок; я страшно любил это местечко за то, что оно такое тесное и уединенное, и было мне там хорошо и счастливо. Каждую пятницу нищие нашего городка ходили вместе христарадничать — от дома к дому; я увязывался за ними, сам не знаю зачем, и молился, как они, и, как они, гнусавил у каждых ворот: «Спаси господи, воздай вам господи...» Или та робкая близорукая девочка, — в отношении к ней у меня была та же потребность смирения, бедности, одиночества и та же особая, почти религиозная радость. И все время так было со мной: хотя бы тупик колеи на последней на свете станции — ничего, кроме ржавых рельсов, пастушьей сумки да сухой травы, ничего — только настоящий край земли, заброшенное, никому не нужное место; и там я чувствовал себя лучше всего. Или беседы в будке ламповщика: она такая маленькая, тесная, господи, как хорошо бы здесь жить! И на своей уже станции отыскал я для себя укромный уголок — между стеной пакгауза и забором;

ничего там не было, кроме ржавого железа, каких-то черепков да крапивы, — сюда-то уж никто не забредет, разве сам бог, и так мне здесь грустно и примиренно, ощущаешь *тщетность всего.* И начальник станции порой по целому часу простаивал здесь, заложив руки за спину и созерцая тщетность всего. Прибежали вокзальные служащие, — может, убрать этот хлам? Нет, нет, оставьте как есть. В такие дни я уже не присматривал за людьми, как они работают. Зачем же вечно что-то делать? Просто — быть, и ничего более: такая это тихая, мудрая смерть. Я понимаю — в своем роде это было отрицание жизни, потому-то и не увязывается оно ни с чем. Это просто было, но не действовало, ибо нет действия там, где все — тщетность.

XXXI

Так сколько же у нас жизненных линий: четыре, пять, восемь. Восемь жизней, слагающих одну мою, а я знаю — будь у меня больше времени да яснее мысль, нашлись бы и еще, может быть, совсем ни с чем не связанные, хотя бы возникшие лишь однажды и длившиеся мгновение. А может быть, еще больше нашлось бы таких, которые и вовсе не были осуществлены; если б жизнь моя пошла по иному пути и был бы я кем-нибудь другим или если б мне встретились другие события, — быть может, вынырнули бы во мне совсем другие... скажем, индивидуальности, способные поступать совсем иначе. Была бы у меня, к примеру, другая жена — во мне мог возникнуть сварливый, вспыльчивый человек; или я вел бы себя в определенных обстоятельствах как человек легкомысленный; этого я не могу исключить, — не могу исключить ничего.

При всем том я очень хорошо знаю, что я вовсе не интересная, сложная, раздвоенная или бог весть еще какая личность; надеюсь, никто так обо мне и не думал. Кем бы я когда-либо ни был, я был им вполне, и все, что я делал, я делал, как говорится, всем сердцем. Я никогда не копался в своей душе, как-то и не для чего было; несколько недель тому назад начал я писать это и радовался — какое это будет славное, простое жизнеописание, словно отлитое из одного куска. Потом я понял, что

немножко, пусть невольно, сам подгонял себя под эту простоту и целостность. Просто у человека есть определенное представление о самом себе, о своей жизни, и он, в соответствии с этим, отбирает или даже немного подправляет факты, чтоб подтвердить свое же представление. Вероятно, я поначалу собирался писать нечто вроде апологии обыкновенной судьбы человека, как прославленные и необыкновенные люди в своих мемуарах пишут апологию их необычайным, из ряда вон выходящим судьбам. Я сказал бы, они тоже всячески подгоняют свои истории, чтоб сотворить единую и правдоподобную картину; оно ведь получается *вероятнее,* когда придашь какую-нибудь объединяющую линию. Теперь-то я вижу: какое там вероятие! Жизнь человека — это множество различных возможных жизней, из которых осуществляется лишь одна или несколько, а все остальные проявляются лишь отрывочно, лишь на время, а то и вовсе никогда. Вот так вижу я теперь историю *любого* человека.

Скажем, я — а я ведь, конечно, не представляю собой ничего особенного. Между тем в моей жизни — несколько линий, и они все время переплетаются, преобладает то одна, то другая; другие уж не столь непрерывны, это как бы острова или эпизоды в главной жизни, — например, эпизод с поэтом или героем. А другие — те были такой постоянной, но смутно проблескивающей вероятностью, как романтик или тот, как же его назвать — нищий на паперти, что ли. Но при всем том, какую бы из этих судеб ни проживал я, какой бы из этих фигур я ни был — всегда это был я, и это «я» было все одно и то же, оно не менялось от начала до конца. Вот что странно. Стало быть, «я» — нечто стоящее над всеми этими фигурами и их судьбами, нечто высшее, единственное и объединяющее, — может быть, это и есть то, что мы называем душой? Но ведь «я» не имело никакого *собственного* содержания, оно становилось то ипохондриком, то героем, но не тем, что возвышалось бы над ними! Ведь само-то по себе оно было пусто, и чтобы *быть* вообще, должно было как бы брать напрокат одну из этих фигур с ее линией жизни! Похоже немного на то, как я маленьким мальчиком взбирался на плечи подмастерью Францу и тогда ощущал себя сильным и большим, как он, или когда шел за руку с отцом и мнил себя, как он, солидным и важным.

Скорее всего, все эти жизни везли мое «я»; ему очень хотелось, очень нужно было быть *кем-то,* и оно присваивало себе ту или иную жизнь...

Нет, и это еще не так. Допустим, человек — вроде толпы. В этой толпе, скажем, шагают обыкновенный человек, ипохондрик, герой, личность с локтями и бог весть кто еще; очень пестрая компания, но идет она по общей дороге. И всякий раз кто-нибудь вырывается вперед и ведет остальных, а чтоб видно было, что ведет именно он, вообразим, что он несет знамя, на котором написано: «Я». Итак, на время он — Я. Всего лишь словечко, но какое могущественное и властное! Пока он — Я, он — вождь толпы. Потом вперед проталкивается кто-то другой, и вот уже этот другой несет знамя, и становится ведущим Я. Скажем, Я — это только вспомогательное средство, знамя, что ли, нужное для того, чтобы поставить во главу толпы нечто, символизирующее ее единство. Не было бы толпы — не нужен был бы и этот общий символ. У животных, верно, нет никакого «я», потому что животное примитивно и живет лишь в одной-единственной вероятности, но чем сложнее мы, тем разнообразнее должны воплощать в самих себе это Я, поднимая его как можно выше: глядите все — вот Я!

Итак, толпа, толпа, в которой свое единство и свое внутреннее напряжение и конфликты. Допустим, кто-то один в толпе — самый сильный, он так силен, что подминает под себя остальных. Такому нести Я от начала до конца, он не отдаст его в другие руки. Такой человек всю жизнь будет казаться отлитым из одного куска. Или найдется в толпе такой, который лучше других подойдет для профессии или среды, окружающей человека, и тогда именно этот станет ведущим Я. Иногда это Я несет тот, у кого наиболее достойный и представительный вид; и тогда человек, довольный, говорит: смотрите, какой я мужественный и благородный! А то попадется в толпе этакая тщеславная, упрямая, самовлюбленная личность — и непременно постарается захватить знамя, и станет всячески изворачиваться да надуваться, лишь бы одержать верх; от этого к человеку приходят такие мысли: я такой, я сякой, я безупречный чиновник или я — человек принципа. Кое-кто в толпе недолюбливает друг друга; другие, наоборот, сбиваются вместе, образуют кли-

ку или большинство, которое делит меж собою Я, не подпуская других к власти. В моем случае такими были — обыкновенный человек, человек с локтями и ипохондрик, они объединились в такую группу и с рук на руки передавали друг другу мое Я; они прочно стакнулись меж собой и верховодили в течение почти всей моей жизни. Порой человек с локтями в чем-то разочаровывался, обыкновенный человек временами шел на уступки — по доброте или по растерянности, а то ипохондрик вдруг обманывал доверие — по слабости воли; тогда мое знамя переходило в другие руки. Обыкновенный человек был самый сильный из них и выносливый, этакая рабочая лошадь, поэтому он часто и надолго становился моим Я. А низменное, злое — оно никогда не было моим Я; и когда наступал его час — знамя, так сказать, склонялось к земле, не было тогда никакого Я, был хаос — безымянный и неуправляемый.

Понятно, это всего лишь образ, но только в нем могу я увидеть всю свою жизнь — не развернутой во времени, а всю разом, со всем, что было, и с бесконечным множеством того, что еще *могло* быть.

Но боже мой, такая толпа — да это же, собственно, драма! Беспрестанно свары внутри нас, беспрестанный, вечный спор. Каждой из ведущих личностей хочется завладеть всей жизнью, доказать свою правоту, стать признанным Я. Обыкновенный человек стремился господствовать над всей моей жизнью, и тот, с локтями, и ипохондрик тоже; была борьба, тихая и яростная борьба за то — каким мне быть. Странная такая драма, где действующие лица не кричат друг на друга, не хватаются за нож, сидят за одним столом и договариваются о делах обыденных и безразличных, но сколько же стоит между ними, Иисусе Христе, какие между ними напряженность и ненависть! Обыкновенный добряк страдает от этого молча и беспомощно; кричать он не может — слишком уж подчиненная он натура; он рад по уши уйти в работу, чтоб забыть об остальных. Ипохондрик — тот лишь изредка впутывается в спор; он слишком занят мыслями о собственной персоне, и его возмущает, что существуют и другие интересы, помимо него самого; господи, до чего же невыносимы эти другие с их дурацкими заботами! А человек с локтями делает вид, будто и не чувствует этой враждебной, душной атмосферы; он задирает нос,

иронизирует, он все знает лучше — вот это надо делать так, а то — иначе, вот это и совсем не нужно, и вообще надо браться только за то, что сулит успех. А романтик вовсе не слушает никого, он грезит о какой-нибудь прекрасной чужестранке и понятия не имеет о том, что происходит. Еще там из милости терпят бедного, смиренного родственника, этакого божьего нищего; тому ничего не нужно, он ничего не говорит, только шепчет себе что-то — бог его знает, что он там шепчет, какие тихие и таинственные слова; он мог бы ухаживать за ипохондриком, шептать все это ему на ухо — да только господа совсем не принимают его во внимание: кому он нужен, такой слабоумный, покорный простачок! И есть там еще нечто, о чем не говорят; время от времени зашуршит, зашевелится привидением, но господа за столом лишь слегка нахмурятся да продолжают беседовать о своих делах как ни в чем не бывало, только глазами друг на друга посверкивают чуть более раздраженно, чуть более ненавидяще, словно бы один обвинял другого, зачем тут что-то шуршит и шевелится. Странная семейка. А однажды ворвался к ним какой-то — поэт, все вверх дном поставил, напугал всех сильнее, чем то привидение, но остальные, о собственном благополучии думающие, как-то выжили его из своего приличного, только что не респектабельного дома, — давно это было, очень давно. Потом как-то заявился к ним еще один парень — тот герой, и без долгих слов пошел командовать, как в крепости: давай, мол, ребята, и так далее. И смотрите, какое получилось воинство: тот, с локтями-то, так и разрывался от усердия, у обыкновенного человека оказалось сил на двоих, а ипохондрик вдруг с облегчением понял: черт ли в ней, в моей жизни! Ах, какое было время, ребята, какое время — настоящих мужчин! А потом война кончилась, и герою моему нечего было больше делать; то-то, голубчик, перевели дух те трое, когда исчез незваный гость! Ну вот, теперь, слава богу, опять все наше.

Я представляю все это так живо и четко, словно передо мной разыгрывается некий спектакль. Вот, значит, и вся жизнь тут, вся драма без действия, и она почти подошла к концу; даже и вечный тот спор как-то там разрешился. Словно разыгрывается спектакль. Тот, с локтями, уже сбавил тон, уже не указывает, что следует делать, — опустил голову на руки и уставился в землю:

Иисусе Христе, Иисусе Христе! Обыкновенный добряк понятия не имеет, что бы такое сказать; ужасно жалко ему этого человека, этого честолюбивого эгоиста, который испортил ему жизнь; ну что поделаешь, успеха-то не получилось, не думай больше об этом. Зато за столом сидит божий нищий, бедный родственник, которому ничего не надо, держит за руку ипохондрика и шепчет что-то, будто молится.

XXXII

Было во мне то, о чем я знал, — это отец, и другое — в котором я чувствовал матушку. Но в отце и в матери жили, в свою очередь, их родители, почти мне не знакомые; знал я только одного дедушку — говорят, отчаянный был повеса, всё женщины да собутыльники — и одну бабушку, женщину святую и набожную. Быть может, и они чем-то присутствуют во мне, и кто-нибудь из моей толпы унаследовал их черты. Быть может, это заключенное в нас множество — наши предки бог весть до какого колена. Романтик, знаю, был матушкой, но нищий на паперти — это, уж верно, та набожная бабушка, а герой, вероятно, кто-нибудь из прадедов, добрый питух и забияка — кто знает. Теперь я жалею, что так мало знаю о предках; знать бы хоть, кем они были, на ком *женились*, — уже и по этому о многом можно бы догадаться. Быть может, каждый из нас — сумма людей, нарастающая из поколения в поколение. И нам, быть может, уже очень не по себе от этого бесконечного раздробления; и мы хотим уйти от него и потому приемлем некое массовое «я», которое упростило бы нас.

Бог знает, отчего это я все думаю о моем братике, который умер сразу после рождения. Не могу избавиться от мучительного желания угадать — каким бы он был. Наверное, совсем не такой, как я: братья всегда несхожи меж собой. Тем не менее ведь он был рожден теми же родителями, в тех же условиях наследственности, что и я. Рос бы на том же дворе столярной мастерской, с теми же подмастерьем Францем и паном Мартинеком. И, несмотря на это, был бы, возможно, одареннее меня или упрямей, добился бы более высокого положения — или ничего бы не добился, кто может знать! По-видимому, из той тьмы вероятностей, с которыми мы рождаемся, он выбрал бы

не те, что я, и был бы совершенно другим человеком. Быть может, мы уже биологически рождаемся как множественность, как толпа, и лишь развитие, среда, обстоятельства делают нас более или менее одной личностью. Мой брат, наверное, прожил бы судьбы, которые я не успел прожить, а я и по ним, быть может, познал бы многое, что есть во мне.

Становится страшно, как представишь себе всю случайность жизни. Могли бы соединиться две совсем другие из миллионов зародышевых клеток — и был бы другой человек; тогда бы это был не я, а какой-то неведомый брат мой, и суди бог, что за странный мог это быть человек. Мог ведь родиться какой-нибудь иной из тысяч или миллионов возможных братьев: что ж, я вытащил выигрышный билет, а они — пустые; ничего не попишешь — не могли же мы родиться все. А что, дружище, если эта множественность судеб, заключенных в нас, и есть толпа возможных, но не рожденных братьев? И, может, один из них был бы столяром, другой — героем; один добился бы в жизни многого, другой бы жил нищим на паперти; и были бы это не только мои, но и их вероятности! Быть может, то, что я в простоте душевной принимал за *свою* жизнь, была *наша* жизнь — наша, тех, которые жили давно и умерли и которые так и не родились, но только *могли* существовать! Господи, до чего страшное представление — страшное и чудное; и бег обыкновенной жизни, который так хорошо, так до мелочей знаком мне, оборачивается вдруг совсем иным и мнится великим, таинственным. То был не я — то были мы. Ты и не подозреваешь, человек, чем ты жил, понятия не имеешь, *скольким* жил!

* * *

Ну вот мы и все тут — очень много нас. Весь наш род, смотри-ка; с чего это все вы вдруг вспомнили обо мне?

Да проститься с тобой пришли; сам знаешь...

Что?

Проститься перед разлукой. Хорошо тут у тебя.

Вот как. Дорогие мои, милые! Простите, я и не ждал вас...

А мебель красивая, мальчик. Видно, кучу денег стоила.

Верно, папа.

Вижу, вижу, сынок, — ты кое-чего добился. Порадовал ты меня.

Мальчик мой, единственный, как ты плохо выглядишь. Ты не болен?

А, это мама! Мама, мамочка, с сердцем у меня что-то неладно!

О господи, сердце? Вот видишь — у меня тоже была больное сердце. Это от моего папочки.

А его нет здесь?

Тут он. Тот самый дурной дедушка. Ведь это он, бедняга, временами буйствовал в нас — уж это у нас в крови.

Покажитесь, пропащий дедушка. Так вы и есть тот грешник? И кто бы подумал!

Ладно, брось. Вот о тебе бы кто подумал! В тебе-то ведь тоже это было.

Во мне ладно, а в маме — нет.

Еще чего не хватало — в бабе-то! Такие вещи не для баб. А мужик что — мужику надо перебеситься.

А просто все у вас, дедушка!

Просто. Я был настоящий парень, милый мой. Ну так что ж — озоровал порой.

И за волосы бабушку по полу возили?

Возил.

То-то, а меня укоряют за то, что я хотел задушить покойную жену! Это у меня от вас, дедушка.

Только силы моей в тебе не было, парень. Ты свою натуру скорее от женщин унаследовал. Потому-то и было в тебе... все так странно и загадочно.

Вы, пожалуй, правы. Стало быть, от женщин! Скажите, вашей женой была та набожная, святая бабушка?

Да нет. Моя-то была веселая бабушка. Разве ты о ней не слышал?

А, помню! Веселая бабушка, все, бывало, шутила.

...Я твоя веселая бабушка! Помнишь, как ты дразнил телеграфиста? Это — от меня.

В кого же пошел тот смиренный святой человек?

А это тоже в меня, малыш. Много я вынесла от твоего бедняги дедушки, да что... Надо терпеливым быть — вот и примиришься.

А что же другая бабушка, святая и набожная?

Ах, она, бедненькая, дурная была женщина. Полна была злобы, зависти, скупости, вот и строила из себя святошу. Вот это у тебя — от нее!

Что именно?

А то, что всем ты завидовал, хотел стать лучше всех, бедный мой малыш.

А что я унаследовал от другого деда?

Может быть — страсть подчиняться. Он, миленький, еще крепостным был, работал на барщине, как и его отец и дед...

А поэт — он в кого?

Поэт? Такого в нашем роду не бывало.

А герой?

Не было и героев. Мы, сынок, все были простые люди. То-то нас было и есть, словно на ярмарке.

Верно, бабушка, верно — словно на ярмарке. Как же после этого не родиться этаким средним от стольких людей! От каждого понемногу, а в целом — такое заурядное, среднее... Слава богу!

Слава богу!

Слава богу, что был я обыкновенным человеком. Ведь это-то и великолепно — это и были вы, все вы, столько вас, почивших в бозе!

Аминь.

А сколько нас — словно на ярмарке. Столько людей собралось — да ведь это как в великий праздник! И не скажешь, господи, и не подумаешь, что жизнь-то — такое торжество!

* * *

А мы-то как же, мы, возможные братья?

Где вы? Не вижу вас...

Нет, нас видеть нельзя, нас можно только воображать. Например...

Что — например?

Например, я стал бы столяром и принял мастерскую после отца. Ты не думай, нынче мастерская разрослась бы, два десятка рабочих — а машин сколько! Пришлось бы прикупить дворик гончара, все равно гончарной мастерской там больше нет.

Отец об этом подумывал.

Конечно, подумывал, да не было у него сына-столяра! А жаль мастерской. Не возражай, это было бы неплохо.

Неплохо.

А я — нет, я стал бы кем-нибудь другим. Показал бы я, брат, этому сыну маляра! Франц научил бы меня драться, и все. Ох и показал бы я этому малярчонку!

А потом — кем бы ты хотел стать?

Все равно. Хотя бы камни дробить киркой, по пояс голым, — поплевал на ладони, да и вкалывай! Посмотрел бы ты, какие у меня мускулы!

Да ну тебя — камни дробить! Я бы отправился в Америку или еще куда. Что толку — фантазировать о всяких приключениях? Чепуха! А вот самому испытать, черт возьми, испытать счастье, бродить по свету... Хоть повидаешь многое, наслаждение узнаешь...

Наслаждение — только женщины. Эх, ребята, я бы этим занялся! По мне, хоть шлюха, хоть княжна в лоденовом платье.

И даже трактирщица?

Даже трактирщица с грудями по животу.

И проститутка на мосту?

И она, дружок. Ну и баба же, видно, была!

И эта... девочка с испуганными глазами?

О, эта — тем более, тем более! Эту бы я так не отпустил! И вообще... черт меня побери, пошалил бы я!

А ты что?

Я ничего.

Кем бы ты был?

Да так, никем. Я — так уж как-нибудь...

Милостыню бы просил?

Хотя бы и милостыню.

А ты?

Я?.. Я бы умер в двадцать три года. Наверняка.

Не испытав никакой радости в жизни?

Никакой. Разве ту, что все бы меня жалели.

Гм, я-то предпочел бы пасть в бою. Глупо, конечно, но хоть товарищи вокруг. И когда подыхаешь — хоть чувствуешь такую ярость, такую дикую, великолепную ярость — словно плюешь кому-нибудь в рожу. Сволочи, что наделали!

А поэтом никто бы из вас не был?

Молчи! Уж быть, так чем-нибудь стоящим. Ты — что, ты был чуть ли не самый слабый из нас, ты б не мог того,

что мы... Впрочем, славно, что ты вспомнил о нас, братец. Все-таки все мы — одной крови. Ты, нищий, искатель приключений, столяр, забияка и бабник, и павший в бою, и умерший безвременно...

...все мы — одной крови.

Все. А видал ли ты, братец, хоть кого-нибудь, кто не мог бы быть *твоим братом?*

XXXIII

Вот бы еще поэтом быть — поэту хорошо: он-то видит, что заключено в нем, и может дать всему этому название и форму. Нет никакой фантазии — никто не в силах выдумать того, чего бы не было в нем самом. Разглядеть, расслышать — вот и все чудо, все откровение. И — додумать до конца то, что присутствует в нас лишь намеком. Тогда находишь цельного человека и цельную жизнь в том, что для других — всего лишь дуновение, минута. Поэт так перенаселен, что не может не выпускать эти жизни в мир. Ступай, Ромео, люби неистовством любви, убивай, ревнивый Отелло, а ты, Гамлет, сомневайся, как сомневался я. И все это — вероятные жизни, претендующие на то, чтобы кто-то их прожил. И поэт в силах дать им такую возможность во всей волшебной и всемогущей полноте.

Если б я мог, подобно поэтам, дать волю тем судьбам, которые жили во мне, — насколько иначе выглядели бы они! Господи, до чего же иначе построил бы я их! Обыкновенный человек вовсе не был бы начальником станции; был бы он у меня крестьянином, хозяином на *своей* земле; чистил бы своих коней, заплетал бы им гривы — огромным рыжим тяжеловозам, с хвостом до земли; останавливал бы за рога своих волов, а телегу мог бы одной рукой поднять — такой был бы здоровенный детина. А усадьба у него — строения выбеленные, с красными крышами, на пороге дома жена руки передником вытирает: есть иди, хозяин! И были бы дети у нас, жена, ибо поле наше родило бы. А то что за работа, коли не на своем? Он был бы упрям и вспыльчив, этот крестьянин, к работникам суров, — зато какая прекрасная усадьба и сколько скотины, сколько жизни кипит на дворе! Это

вам, сударь, уже не ограда из щепочек, это часть настоящего мира, настоящий труд. Смотрите все, что я здесь возвел для себя! Вот это и была бы настоящая история, была бы вся, полная, не половинчатая правда об обыкновенном человеке. Хозяин этот, скорее всего, сложил бы голову за свое добро — и не потому, чтобы в этом была трагедия, а наоборот, нечто вполне естественное: разве это прекрасное имение не стоит человеческой жизни? Допустим, работает он в поле, а вдруг в деревне набат: горит кто-то... И бросился бежать старый крестьянин, сердце отказывает, а он бежит; ужасно, что только может выделывать сердце! Словно разорваться хочет, словно что-то страшно сдавило его и не отпускает — но крестьянин бежит... Еще несколько шагов — но это уже не сердце, это уже одна лишь безмерная боль. Но вот уже, вот ворота и двор, белые стены, красные крыши — отчего же все завертелось вверх ногами? Ах нет, это не белые стены, это небо. Но ведь здесь всегда был двор, удивляется хозяин... А тут из дома уже выбегают люди, силятся поднять тяжелое тело...

Или человек с локтями: тоже была бы совсем иная история. Во-первых, он добился бы большего — не удовольствовался бы каким-то там креслом чиновника; я даже не знаю, кем бы ему сделаться, чтоб выразить все его честолюбие. И он был бы жестче, он был бы ужасен в своей жажде власти, шагал бы через трупы, добиваясь своего, все принес бы в жертву своему возвеличению — счастье, любовь, людей, себя самого. Поначалу маленький, униженный, он карабкался бы вверх, во что бы. то ни стало; примерный ученик — все вызубрил, подает пальто учителям; старательный чиновничек — трудится не разгибаясь, льстит начальству, доносит на коллег; позже он уже сам распоряжается другими, входит во вкус. Властный и бессердечный, мытарит людей — этакий рабовладелец с бичом; теперь он, конечно, становится важной персоной, нужной фигурой, и чем далее, тем быстрее растет — все более одинокий и могущественный, все более, ненавидимый. Но и этого ему мало, никогда-то не стать ему настолько важным лицом, чтобы вычеркнуть унижение вначале; ему все еще приходится кланяться нескольким людям — причем он едва не разрывается от почтительности и рвения; сидит еще в нем то малое, подчиненное, чего он до сих пор не преодолел. Ну-ка еще немного,

еще чуточку выше, напряжем все силы — и тут-то человек с локтями обо что-то спотыкается, и вот он уже в самом низу, в позоре и унижении — и конец. Это кара за то, что он хотел быть великим, справедливая кара. Фигура трагическая, не правда ли? Такой был строгий начальник, а теперь сидит, прижимая руку к сердцу. Да разве было у него когда-нибудь сердце? Не было, нет — и вдруг, оказывается, есть что-то, что сильно, глубоко болит. Значит, эта боль, этот страх и есть сердце; кто поверил бы, что может быть столько сердца!

Или ипохондрик: доделать его как следует, вышел бы настоящий изверг. Его история была бы чудовищной, тиранией слабости и страха, потому что слабый человек — самый ужасный тиран. Всех заставил бы плясать вокруг себя на цыпочках, и слова не скажи. Никто не засмейся, никто не порадуйся жизни, потому что я болен. Как может, как смеет кто-то быть здоровым и веселым! Так нет же, не дам вам, негодяи, пусть ваши лица дергаются от боли, сохните от страха и удрученности! Хоть вам, самым близким, буду отравлять дни и ночи тысячью мелочных издевок, хоть вас-то заставлю служить моей немощи и хвори — да разве я не хвор и не имею на то права? А они — смотрите-ка! — взяли и умерли раньше! Так им и надо, а всё оттого, что были здоровы! В конце концов он остается один, этот ипохондрик; всех пережил, и некого уже мучить; теперь он действительно болен и — одинок в своей болезни. Не на кого больше злиться, некого винить в том, что сегодня ему хуже... Какой эгоизм со стороны этих людей, нарочно умерли! И ипохондрик, мучивший живых, начинает тихо и горько ненавидеть умерших, покинувших его.

А что можно было бы сделать из героя! Тот живым бы не выбрался. Однажды ночью схватили бы его солдаты — как он взглянул бы на них, таким гордым, пылающим, насмешливым взором, — как тогда сын маляра... И был бы расстрелян на месте, — скорее всего, пуля попала бы прямо в сердце; мгновенная боль — и он навзничь падает между рельсов. Обезумевший сотник с револьвером... Унесите «собаку» в ламповую! Четыре железнодорожника тащат его тело — господи, до чего ж тяжелы мертвецы!

К тому времени поэт давно бы умер, спился бы; умирал бы в лазарете, опухший и страшный; что это шур-

шит — листья пальм или крылья? Это молится над ним сестра милосердия, за руки держит — он мечется в белой горячке. Сестричка, сестра, как там дальше: ангел божий, мой хранитель?..

А романтик... ну что ж — случилось бы что-нибудь, какая-нибудь огромная, необыкновенная катастрофа, и он умирал бы, — конечно, за прекрасную чужеземку, положив голову ей на колени, шептал бы: «Ne pleurez pas, madame...»[1] Да, это и был бы настоящий конец, и все это — настоящие, цельные жизни, какими бы им следовало быть.

И это — все, и все — мертвы? Нет, остался еще тот божий нищий; как, он разве не умер? Не умер, нет, и, может быть, он — бессмертен. Вечно он — там, где конец всему; и будет, верно, в конце всего, увидит и это!

XXXIV

Каждый из нас — мы, каждый — толпа, и не видно края ее. Ты только взгляни на себя, человек, — ты ведь чуть ли не все человечество! Это и страшно: ты согрешил — а вина падает на них на всех, и всякую боль твою и слабость несет это необозримое множество. Нельзя, нельзя столько людей вести дорогой унижения и тщетности! Ты — Я, ты ведешь, ты за них в ответе; всех их ты обязан куда-то привести.

Да, но что делать, когда столько судеб, столько вероятностей! Могу ли я всех их вести за ручку? Неужто мне вечно вглядываться в самого себя, выворачивать жизнь свою и на лицо и наизнанку — а нет ли там еще чего-нибудь? Не пропустил ли я какую-нибудь скромную личность, которая почему-то прячется за остальными? Неужто мне вытягивать из себя каждый росток вероятной жизни? Да их ведь уже было добрых полдюжины, — тех, которых можно было кое-как распознать и назвать, и этого более чем достаточно; каждой хватило бы на *полную* жизнь — зачем же еще искать? Эдак и жить не успеешь, все будешь копаться в себе...

Ну и хватит тебе копаться, ни к чему это не приведет. Не видишь разве, что все другие люди, кем бы они ни

[1] Не плачьте, мадам... (*франц.*)

были, — такие же, как ты, и каждый из них — тоже толпа! Ты и понятия не имеешь, сколько в вас общего; только присмотрись — ведь их жизнь *тоже* одна из неисчислимых вероятностей, заложенных в тебе! Ты тоже мог быть тем, что они: мог быть важной особой, или нищим, или поденщиком, голым по пояс; мог быть гончаром, или пекарем, или отцом девяти ребятишек, от уха до уха в повидле. *Все это — ты,* потому что и в тебе тоже разнообразие вероятностен. Можно смотреть на других людей и по ним узнавать, сколько всего скрыто в тебе. И любой из них живет чем-то твоим — и оборванец, которого уводит в наручниках полиция, и тихий, мудрый ламповщик, и пьяный сотник, заливающий горе вином, — все, все. Гляди, гляди хорошенько, чтоб наконец-то постичь, сколь многим мог бы ты стать; вглядишься пристальнее — в каждом увидишь часть самого себя и тогда, потрясенный, узнаешь в нем подлинно ближнего своего.

Да, это так, слава богу, это так; и я уже не столь одинок в своем «я». Люди, мне больше нельзя к вам, не могу я смотреть на вас вблизи, только в окошко выглядываю — вдруг пройдет кто-нибудь: почтальон или ребенок из школы, метельщик или нищий. А может, пройдет мимо тот юноша со своей девушкой, они склонят головы друг к другу и даже не оглянутся на мои двери. А я уж и стоять-то у окна больше не могу — такие у меня отекшие и непослушные, словно холодеющие ноги, но я могу еще думать о людях, знакомых и не знакомых, — их много, словно на ярмарке, необозримая толпа! Господи, сколько людей! Кто бы ты ни был — я узнаю тебя; ведь более всего нас уравнивает то, что каждый из нас живет в какой-то иной вероятности. Кто бы ты ни был — ты одно из моих бесчисленных «я». Ты — то дурное или то доброе, что есть и во мне; даже если б я ненавидел тебя — никогда не забуду, как страшно ты близок мне. Возлюблю ближнего, как самого себя; и ужаснусь его, как самого себя, и противиться ему буду, как самому себе; его бремя буду чувствовать, его болью страдать и изнывать от бесправия, совершаемого над ним. Чем ближе буду к нему, тем полнее найду себя. Положу предел эгоисту, ибо сам эгоист, и послужу больному, ибо сам болен, не пройду мимо нищего на паперти, так как сам я беден, как он, и буду другом всем, кто трудится, ибо и я — один из

них. Я — то, что в силах постичь. Чем больше людей я узнаю — тем полнее станет моя жизнь. И я буду всем, чем мог быть, и то, что было лишь вероятно, станет действительностью. Я буду этим тем больше, чем меньше останется во мне моего «я», ограничивающего меня. Ведь это «я» было как потайной воровской фонарик — существовало только то, что вошло в маленький освещенный круг. Но теперь есть ты, и ты, и ты — столько вас, столько нас, будто на ярмарке. Господи, как разрастается мир, когда в него вступает столько других людей! Кто бы подумал, что это так беспредельно, так величественно!

Вот это и есть обыкновенная жизнь, самая обыкновенная — не та, моя, а наша, необъятная жизнь всех нас. Все мы обыкновенны, когда нас столько, и вместе с тем — какое величие! Быть может, сам бог — совсем обыкновенная жизнь, надо только увидеть, познать его. Быть может, я нашел бы его в других, не найдя — или не узнав — в себе; например, встретишь его среди людей, и, может быть, у него самое обыкновенное лицо, как у всех нас... И он мог бы явиться... ну, хотя бы во дворе столяра; нет, не то чтобы он явился — а просто тебя вдруг осенило бы: он — здесь и повсюду, и ничего, что громыхают доски и визжит рубанок; отец даже головы бы не поднял, Франц не перестал бы свистеть, а пан Мартинек смотрел бы своими прекрасными глазами, но ничего особенного не видел бы; то была бы самая обыкновенная жизнь— и все же какое грандиозное, потрясающее величие. Или вдруг — это случилось бы в дощатой лачуге, запертой на крючок, вонючей, как нора; такая там тьма, только в щель пробивается свет — и вот вдруг все это, все это свинство и нищета, начнет вырисовываться в каком-то странном, ослепительном сиянии... Или — последняя на свете станция, ржавая колея, зарастающая пастушьей сумкой и мятликом, и больше ничего — конец всему: и вдруг этот конец всему и окажется именно богом! Или рельсы, убегающие в бесконечность и в бесконечности пересекающиеся, рельсы, гипнотизирующие тебя; и уже не в поисках неведомых приключений двинулся бы я по ним — а прямо, все прямо — в бесконечность. Быть может, и это было там, и *это* было в моей жизни, да я проглядел. Например, ночь, ночь, и красные, зеленые огоньки, и стоит на станции последний поезд; вовсе не между-

народный экспресс, совсем обычный пассажирский, этакая пыхтелка, со всеми остановками; почему бы такому обычному поезду не унестись в бесконечность? Бим-бим, смазчик простукивает колеса, на перроне качается фонарь ламповщика, начальник станции поглядывает на часы — пора. Захлопываются двери вагонов, все берут под козырек, — готово! — и поезд, прогрохотав по стрелкам, раскатился во тьму — по той самой колее в бесконечность. Стойте, да ведь в поезде том полно: сидит там пан Мартинек, пьяный сотник спит в углу как бревно, смуглая девочка прижалась носом к стеклу, высовывает язык, а из тормозной будки на последнем вагоне машет флажком проводник. Погодите, я с вами!

* * *

Доктор был в саду, когда пан Попел пришел вернуть ему рукопись, аккуратно перевязанную, словно стопка завершенных дел.

— Прочитали? — спросил доктор.

— Прочитал, — буркнул старик, не зная, что бы сказать еще; помолчав, он воскликнул: — Послушайте, вряд ли это шло ему на пользу — писать такие вещи! По почерку видно — он так неровен в конце, — что рука сильно дрожала.

Пан Попел взглянул на собственную руку; нет, слава богу, еще не очень дрожит.

— Я думаю — все это должно было сильно волновать его, правда? С его здоровьем...

Доктор пожал плечами.

— Конечно, это было ему вредно. Рукопись еще лежала на столе, когда меня к нему позвали. Видно, только что дописал — если вообще дописал до самого конца. Конечно, для него было бы лучше раскладывать пасьянс или что-нибудь в этом роде.

— Тогда бы он мог еще пожить? — с надеждой спросил пан Попел.

— Да-да, — пробормотал врач. — Еще две-три недели, а то и пару месяцев...

— Бедняга, — с чувством произнес пан Попел.

Тихо было в саду, лишь где-то за забором радостно вскрикивал ребенок. Старик задумчиво приглаживал загнутые уголки листков.

— Господи, — сказал он вдруг, — сколько я бы мог рассказать о своей жизни! У меня, знаете, все было не так просто и... обыкновенно, как у него. Вы еще молоды, вы не знаете, на что способен человек... Если б я захотел, все это как-нибудь объяснить — куда бы меня занесло! Н-да... что было, то было, чего ж теперь говорить. А вы — вы, конечно, тоже...

— Мне такими делами заниматься некогда, — возразил доктор. — Копаться в себе и тому подобное... Благодарю покорно, с меня хватает этого свинства в других.

— Значит, — нерешительно начал пан Попел, — вы говорите, лучше пасьянс...

Врач метнул на него взгляд — как бы не так, стану я тебе тут медицинские советы давать!

— Это уж кому что нравится, — нелюбезно ответил он.

Старик задумчиво протянул:

— А какой был хороший, аккуратный человек...

Доктор отвернулся, делая вид, что ощипывает увядший цветок.

— А знаете, я переменил кусты дельфиниума у него в саду, — буркнул он. — Чтоб после него все в порядке осталось...

Послесловие

Конец трилогии. Словно гости *разошлись*, — был полон дом, и вот — тишина; немножко — чувство освобождения, немножко — покинутости. В такие минуты мы вспоминаем то и это, что собирались сказать ушедшим — и не сказали, о чем думали спросить их — и не спросили; или вспоминаем, кто каким был, возвращаемся мыслью к тому, кто что сказал, как взглянул. Сложить на коленях руки и еще немножко думать о тех, кого здесь уже нет.

Вот крестьянин Гордубал. Человек от коров столкнулся с человеком от коней; конфликт между человеком, который от одиночества весь обратился внутрь *себя*, — и простой, скажем, жестокой действительностью, окружавшей его. Но это не то, не в этом подлинная судьба Гордубала. Настоящий и горчайший удел его — это то, что с ним произошло лишь после смерти. Как грубеет его история в руках людей; как все события, которые он пережил по-своему, по своим внутренним законам, становятся непонятными, угловатыми, когда полицейские взялись реконструировать их с помощью объективного расследования; как все портится, запутывается и сплетается, образуя совсем иную, безнадежно безобразную картину. И до чего же сам Гордубал обрисовывается искаженно и чуть ли не гротескно, когда общественный обвинитель, от имени суда нравственности, взывает к его тени, чтоб она свидетельствовала против Поланы Гордубаловой. Что осталось от Юрая Гордубала! Бессильный, слабовольный старик... Да, затерялось сердце Гордубала за этими человеческими процедурами; в этом и есть трагедия крестьянина *Гордубала*, — и более или менее всех нас. К счастью, мы обычно не знаем, какими предстают наши побуждения и дела перед другими людьми; быть может, мы ужаснулись бы того перекошенного, неясного представления, которое сложилось о нас даже у тех, кто к нам расположен. Необходимо сознавать эту сокрытость подлинного существа человека и его внутренней жизни, чтоб постараться узнать его справедливее — или, по крайней мере,

больше уважать то, чего мы о нем не знаем. История Гордубала была написана зря, если не стало ясно, какая страшная и всеобщая кривда совершена над человеком.

Познание людей для нас во многом ограничено тем, что мы присуждаем им определенное место в *своей* системе жизни. Как по-разному являются нам одни и те же люди, одни и те же факты в восприятии Гордубала, в глазах полицейских и в нравственной точке зрения суда! Прекрасна и молода Полана, какой ее видит Гордубал, — или стара и костлява, как о ней говорят другие? Вопрос по видимости простой и даже несущественный, но от этого зависит — убил ли Штепан Манья (в действительности его звали Василь Маняк, а Гордубала — Юрай Гардубей) из любви или из корысти; все дело обернется иначе в зависимости от ответа на этот вопрос. И таких загадок много. Каким же был Гордубал, какой была По-ана? И был ли Штепан мрачным преступником — или симпатичным парнем, которого боготворила маленькая девочка Гафия? И каким образом связана со всем этим проблема земли и тот жеребчик? История, первоначально примитивная, распадается на ряд неразрешимых и спорных загадок, стоило только включить ее в различные системы и подвергнуть различным толкованиям. Трижды пересказываются здесь одни и те же события: сначала так, как их воспринимал Гордубал, потом — как их увидели полицейские, и наконец — как оценил их суд; чем дальше, тем сильнее скрипит все сооружение под тяжестью противоречий и несообразностей — несмотря на то или именно потому, что хотят установить правду. Это не значит, что правды нет, но она глубже и труднее, а действительность — куда шире и сложнее, чем принято думать. Повествование о Гордубале заканчивается не исправленной кривдой, вопросом без ответа; неопределенность венчает ее там, где читатель ждет, что его отпустят с миром. Так в чем же подлинная правда о Гордубале и Полане, в чем — правда о Манье? А что, если правда-то эта — нечто более объемное, обнимающее все эти толкования, но и выходящее за их пределы? Что, если подлинный Гордубал был и слаб и мудр, Полана — прекрасна, как дворянка, но и измождена, как старая мужичка, что, если Манья был мужчина, способный убить из любви, — и человек, убивающий ради денег? На первый взгляд — хаос, и мы не знаем, как к нему подступиться, и вовсе он

нам не по вкусу; обязанность писателя — по возможности как-нибудь привести в порядок то, что он нагромоздил.

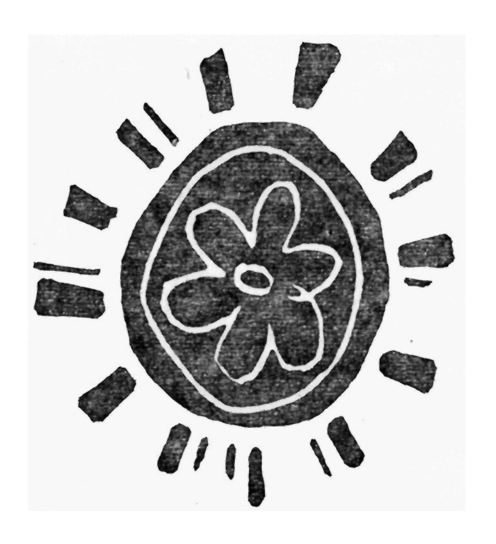
На то и есть «Метеор» — вторая часть трилогии. Здесь тоже в трех или четырех вариантах излагается жизнь человека, но изложение — обратное первому: люди здесь всеми способами стараются отыскать утерянное сердце человека; дано только тело его, и к нему-то стараются найти соответствующую жизнь. На сей раз важно не то, насколько расходятся толкования, тем более что их приходится высасывать из пальца (как бы это ни называлось — интуиция, живой сон, фантазия и так далее); наоборот, бросается в глаза, как кое-где, в некоторых точках, эти толкования совпадают или сходятся с вероятной действительностью, — а впрочем, и это еще не самое главное. Каждый отгадчик включает данный факт — бесчувственное тело — в иной порядок жизни; и истории получаются разными в зависимости от того, кто их рассказывает; каждый вкладывает в историю самого себя, свой опыт, свое ремесло, свой метод, свои наклонности. Первая история — объективный диагноз врачей; вторая — история любви и вины, — это женская участливость сестры милосердия; третья — абстрактная, интеллектуальная конструкция ясновидца, и наконец — сюжетная разработка писателя; можно было бы выдумать еще истории без числа, но автор должен быть настолько благоразумным, чтоб вовремя остановиться. Общее для всех этих историй — это то, что в них более или менее фантастически отражен сам рассказчик. Человек, упавший с неба, по очереди становится объектом воображения доктора, монахини, ясновидца и писателя; и всякий раз это — он, но и тот, кто занялся его судьбой. Все, на что мы смотрим, — вещь сама по себе, но вместе с тем и что-то от нас, что-то наше, личное; и когда мы познаем мир и людей, то это — вроде как бы наша исповедь. Мы видим вещи по-разному — в зависимости от того, кто мы и каковы; вещи добры и злы, прекрасны и страшны, — определяет это то, какими глазами мы на них смотрим. До чего же огромна и сложна, до чего просторна действительность, если в нее вмещается столько различных интерпретаций! Но в этом уже нет того хаоса — это четкая множественность, это уже не неопределенность, но — многогласие; то, что угрожало слепыми противоречиями, говорит теперь лишь, что мы слышим различные и несообразимые свиде-

тельские показания — и еще, что мы выслушиваем разных людей.

Но если во всем, что мы постигаем, всегда содержится наше «я», то как можем мы постичь эту множественность, как приблизиться к ней? Входа нет — надо рассмотреть и это «я», которое мы вкладываем в свою интерпретацию действительности, потому и должна была появиться «Обыкновенная жизнь» с ее копанием в душе человека. И вот нате же: и тут мы опять находим эту множественность и даже ее причины; человек — *сонм* реальных и лишь вероятных личностей; на первый взгляд это выглядит как еще худшая неразбериха, как дезинтеграция человека, который сам себя раздергал на малые куски и разбросал свое «я» по всем ветрам. Но только теперь-то автора и осенило: да ведь все в порядке, ведь именно потому можем мы постигать и понимать множественность, что сами — множественность! Similia similibus: познаем мир через то, что есть мы сами, и, познавая мир, открываем самих себя. Слава богу, все встало опять на свои места; мы — из того же материала, что и множественность мира; и есть наше место в этой бескрайности и бесчисленности, и мы в состоянии отвечать этим бесконечно многим голосам. Нет больше одного лишь «я»; есть мы — люди; мы можем объясняться на многих языках, звучащих в нас. Теперь мы можем уважать человека за то, что он не такой, как мы, — и понимать его, потому что равны ему. Братство и разнообразие! Даже самая обыкновенная жизнь — уже бесконечна, и неизмерима ценность любой души. Прекрасна Полана, как она ни костлява; слишком велика жизнь человека, чтоб иметь одно лишь лицо и чтоб обозреть ее разом. И уж не затеряется сердце Гордубала, а человек, упавший с неба, будет жить в новых и новых историях. Нет конца ничему — даже трилогии; то, что стоит в к о н ц е, — распахивается широко, настолько широко, насколько это в возможностях человека.

Первая спасательная

Перевод
В. ЧЕШИХИНОЙ



I

Какое несчастье, боже мой, какое несчастье: пять лет учиться в реальном — и вдруг конец: умирает тетя, которая тебя хоть и не больно сладко, а все-таки поила-кормила — и теперь сам думай о пропитании. Распростись со своими логарифмами, с начертательной геометрией и всем прочим; ты и без того ошалел от страха и усердия, а учителям все было мало — такой, говорят, бедный мальчик, как вы, Пулпан, должен особенно ценить образование, которое ему дают, должен стараться достичь чего-то... Стараться, стараться, стараться, и вдруг — трах! — тете вздумалось у м е р е т ь, — и простись с начертательной геометрией! Бедные мальчики не должны получать образование. Сидишь вот теперь со своей геометрией и французскими словечками да колупаешь мозоли на ладонях. Как же быть-то? Сперва ты ничто, ты даже не шахтер и только спустя долгое время становишься откатчиком. Вот тут и старайся!

Правда, были еще два года. Два года в строительной конторе. Тебя называют чертежником и платят пять-шесть сотен в месяц, тут можно еще верить, что ты доучишься по вечерам и когда-нибудь сдашь экзамены, ну, а дотянешь ли ты хоть до безработного инженера, кто знает? Но хуже этих вечеров, кажется, ничего нет: сидишь над учебниками и пялишь глаза на формулы и уравнения; пресвятый боже, как же к ним, собственно, подступиться? Будь тут последний пес из преподавателей, он объяснил бы все в двух словах, и ты сразу понял бы, как взяться за эти формулы, а так целыми часами глядишь, и что ни дальше, тем все трудней и все больше путаницы в голове. Боже, какие это были два года! Пусть только кто-нибудь посмеет сказать, что я мало старался! Целых два года, прошу покорно, каждый вечер до глубокой ночи корпеть над книгами, бить себя кулаками по голове — ты должен понять, должен в ы у ч и т ь с я, — это вам не пустяки, сударь. Удивительно, как много может человек вынести; тебе, по совести говоря, давно бы пора

сдохнуть от туберкулеза, с голоду и отчаяния. А потом с фирмой случилось несчастье — новостройка приказала долго жить; еще бы, столько разворовали железа и бетона, что у самого господа бога терпение лопнуло; засыпало семь каменщиков, а архитектор предпочел застрелиться, когда его собрались посадить. Опять все старания чертежника строительной конторы Станислава Пулпана пошли прахом; да разве кто даст тебе место, если сказать, что ты работал в этой злополучной строительной компании? Бросьте, молодой человек, хвалиться вам тут нечем; никто не даст работы тому, кто служил у этаких жуликов.

Итак, во имя божие, будь то, что суждено. Покойный отец работал на коксовом заводе, а сын будет рубать уголь. После пяти классов реального и двух лет работы над синьками строительных планов Станда пойдет шахтером на «Кристину». Нужно же как-то добывать пропитание, если тебе почти восемнадцать лет. Пулпанам это, должно быть, на роду написано: дед был крепильщиком, отца послали на коксовый завод, после того как он сломал ногу в шахте. Вы, Пулпаны, созданы для черной работы. Никаких чертежных досок, никаких начертательных геометрий; будешь углекопом, ибо ты — Пулпан. Вот какие дела, голубчик, от этого не уйдешь, как ни старайся. Нет, не уйти, как ни старайся; господи, хоть бы откатчиком-то не долго быть, хоть бы вагонетки не вечно толкать, черт возьми! «Никогда я этому не научусь, — в отчаянии думает Станда, — ладно уж, пускай болит поясница, пускай болят руки, лишь бы вагонетка не застревала поминутно на стрелках! Тогда поди толкай ее, дергай, кряхти с натуги; того и гляди совсем, сволочь, с рельс соскочит, — сраму не оберешься. «Эх ты, осел этакий, вот как надо», — сплюнет, бывало, Бадюра либо Григар и легонько, одной рукой подтолкнет твою вагонетку — и она катится как по маслу. Чего, кажется, проще. «Гляди, осел, поехала». К чему же были пять классов реального, зачем он морочил себе голову французскими словечками, на что все эти черчения и рисования! На что, спрашиваешь? Да, верно, на то, парень, чтоб ты еще сильнее чувствовал свое несчастье и одиночество.

Да, одиночество: вот правильное слово! Будто мало одиночества испытал он еще в реальном! Мальчику из бедной семьи нелегко приходится в школе: он должен больше заниматься, должен быть прилежней и примерней

остальных; ему то и дело дают понять, что он только из милости вкушает хлеб просвещения и, следовательно, обязан заслужить его особым благонравием, усердием и признательностью. Будьте внимательней, Станислав Пулпан! Я объясню вам еще раз, ученик Пулпан, чтобы лучше подготовить вас к переходу в старшие классы и вообще к жизни; вам это необходимо... Маленький Пулпан начинает понимать еще на школьной скамье, что к нему относятся как-то суровей и сострадательнее, чем к прочим мальчикам, словно он в чем-то слабее их, словно он болен, что ли; он чувствует себя поэтому каким-то отщепенцем, это унижает его до такой степени, что на глаза набегают слезы ярости и боли — и откуда берется в человеке столько чувствительности и ожесточения?.. «О чем вы опять задумались, ученик Пулпан? Вы бы лучше следили за уроком, чтобы как следует вооружиться для практической жизни!»

Практическая жизнь: вот она, сударь, практическая жизнь! Толкай по рельсам вагонетку с углем либо с пустой породой и гляди в оба, чтобы не застрять на стрелках. «Пусти, я подтолкну», — пробасит Григар или Бадюра и одной рукой, этак мимоходом, небрежно толкнет вагонетку, и она сама катится, знай только успевай тормозить. Вот как это делается. Они злятся, конечно, ты их задерживаешь; когда в забой присылают хилого недоноска, этакую неженку из школы, — у кого хватит терпения глядеть, как он воюет с вагонеткой, пока у него глаза на лоб не вылезут? «Пшел прочь, сопляк, — цедит сквозь зубы подручный забойщика Бадюра и выхватывает лопату из рук Станды. — Вот как загружают вагонетку, болван». И Станде горько и обидно, точно он стоит у доски в классе. «Вы слабы в арифметике, ученик Пулпан, вам следует больше заниматься». И, стиснув зубы, откатчик Станда изо всех сил толкает вагонетку. Я вам покажу, какой я слабый! Со мной обходятся хуже чем с портянкой, я сыт этим по горло! Будь это один только Григар, — Григар забойщик и силач, руки и ноги у него, как у битюга на пивоварне; но Бадюра, этакий жалкий скрюченный человечек, сухой, как пучок соломы... Когда после смены все моются в душевой, откатчик Пулпан украдкой сравнивает себя с другими. Правда, у него нет пока вздутых вен и узловатых суставов, как у остальных, но не воображайте, люди добрые, что вы такие уж красавцы,

если говорить о телосложении; черт его знает, откуда берут силу и ловкость эти костлявые одры! Одры и есть, а ты все-таки тряпка в сравнении с ними, хотя тебе и восемнадцать лет, — а ведь это, что называется, лучшие годы; даже вагонетку приподнять не в силах, чтобы втолкнуть ее на поворотный круг.

«Пусти, я ее сейчас сдвину, — цедит сквозь зубы маленький Бадюра и сплевывает в угольную пыль. — Боже милостивый, неужто из этого парня выйдет шахтер? Шел бы лучше в трактир — пиво разносить порядочным мужчинам!»

«Они меня не любят, — с болью думает оскорбленный Станда. — Не воображайте, я не стану навязываться; мне все равно с вами говорить не о чем. Этот Бадюра только и умеет, что о своем крольчатнике болтать. Просто злятся они на меня, что я учился, вот и все. Хотят показать, что они мне не компания. Ну да, не компания. В училище мне были не компания остальные, потому что я — сын рабочего. А здесь — потому, что я образованней вас всех. Я мог бы вам многое порассказать, книг-то я немало прочел! Но стоит мне заговорить — хотя бы о наших рабочих делах — на меня как собака набрасывается какой-нибудь Григар: «Заткнись, скажет, ты без нас и дороги домой не найдешь, а туда же — учить берешься!» Ладно же, господин Григар, ничего я вам говорить не стану, но я такой же рабочий, как вы, хоть я и простой откатчик, а тоже имею право на собственное мнение; только вы недостаточно образованны, чтобы понимать меня. Но погодите, когда-нибудь я буду говорить, а вы слушать, скажу от имени всех откатчиков и забойщиков, от имени машинистов и рабочих с коксового завода, — от вашего имени, шахтеры с «Кристины», с «Мурнау», «Берхтольда» и Рудольфовой шахты. Скажу о вашей черной работе и черной нужде, буду от вашего имени вести переговоры с господами за зеленым столом. «Господа! Мы, шахтеры, заявляем о своих правах. Что станет без нас с вашей промышленностью, с вашими электростанциями, с вашими уютными виллами и роскошными дворцами? Без черного угля придет конец всей вашей цивилизации. Спуститесь-ка, господа, в забой на глубину шестисот метров; поглядите на какого-нибудь проходчика Григара, когда он, голый по пояс, обливаясь потом, смешанным с угольной пылью, проходит новый штрек; посмотрите на подручного

Бадюру, когда он рубает отбойным молотком целик и останавливается лишь затем, чтобы отхаркнуть угольную пыль; посмотрите на беднягу откатчика, который окровавленными ладонями толкает вагонетку, нагруженную драгоценным углем, — давай, давай, парень, надо успеть вывезти дневную норму! Итак, вы видите, господа, как добывается уголь, однако, внимание! Берегитесь, как бы вам на голову не свалился с кровли обломок, как бы не задушили вас рудничные газы, не придавила сорвавшаяся вагонетка; мы-то, шахтеры, привыкли глядеть в оба там, где нас подстерегает костлявая. У нас и смерть приставлена к черному углю. А теперь скажите нам, господа, какую плату потребовали бы *вы* за этот каторжный труд? Не думайте, — мы любим нашу работу и не променяем ни на какую другую; мы требуем лишь, чтобы шахтерский труд почитали и оплачивали так высоко, как он того заслуживает. Я кончил, господа». — «Скажите, кто этот мужественный шахтер?» — «Это товарищ Станислав Пулпан. Он мог бы стать старшим штейгером или сменным мастером, это образованный, ученый человек, но он не хочет оставить своих товарищей но черной шахте. Он пользуется огромным влиянием во всем угольном бассейне, шахтеры его боготворят; с ним надо считаться...»

Станде даже самому стало неловко, когда он все это вообразил. Глупости, конечно, но он наверняка сумел бы... если б только не приходилось толкать эти дурацкие вагонетки! Всего пять недель, а руки у меня скрючились, одеревенели, пальцы не разогнешь; никогда уже не держать мне рейсфедера — вот что такое откатчик. И Станда, скривив губы, сосет содранную кровавую мозоль на ладони.

II

Всего пять недель, а кажется, что прошла целая вечность. Точно тебя засасывает все глубже и глубже и ты чувствуешь: нет, отсюда мне не выбраться, это мой удел на всю жизнь. Станда пытается вообразить всю свою жизнь, но почему-то ничего не выходит; вместо этого ему представляется, что он бурит угольный пласт, как Григар, и вдруг — трах! — случается что-нибудь необыкновенное, например катастрофа в шахте, и Станда сделает нечто такое, отчего все рты разинут! После этого его вызовет

к себе сам директор и скажет: «Станислав Пулпан, поздравляю вас, вы действовали по-шахтерски; поскольку вы еще молоды, мы можем назначить вас пока только десятником участка, Но вы, безусловно, далеко пойдете. Нам на шахте нужны такие люди, как вы. Ах, вы даже окончили пять классов реального? Смотрите, и такого человека мы бог весть сколько времени заставляли толкать вагонетки!»

«А почему бы и нет, — втайне мечтает Станда. — Как вышло в тот раз, когда швед прокладывал новую продольную выработку». Фамилия инженера — Хансен, но шахтеры зовут его Ханс; говорят, он изобретает что-то для шахты и будто славный парень, хоть и едва умеет сказать по-чешски слов пяток. Станда гнал пустую вагонетку к забою, когда Ханс взглянул на него голубыми глазами и показал рукой — подержите, мол, этот шест. Прямо Станду выбрал! Через минуту Пулпан обнюхивал со всех сторон инструмент шведа — это был шахтный теодолит Брейтхаупта, — а славный парень Хансен на ломаном немецком языке объяснял, где и как отсчитывается нониус. На следующий день он сам послал запальщика Зитека за Стандой — помочь при измерениях. Станду так и распирало мучительное блаженство, когда он шел к инженеру. Теперь видите, ребята, на что ваш сопляк способен! Он так и впился глазами в долговязого шведа, желая с одного взгляда понять, что делать и как приступить к измерительному инструменту, но Ханс ничего, только потным носом повел, gut, gut[1], мол, и занялся своим делом, точно и не бывало на свете никакого Пулпана, который просто из кожи вон лезет. «Хоть бы спросил, как звать, — взволнованно думает Станда. — Намекнуть бы ему, что я почти закончил реальное...»

— Soll ich noch etwas machen, Herr Ingenieur? [2]

Молодой швед в кожаном шлеме качает головой.

— Is gut, danke[3].

И Станда с кровоточащим сердцем возвращается в забой грузить уголь. Григар даже не обернулся, маленький Бадюра, выпячивая губы под черным носом, насвистывает песенку; верно, шахтеры злятся, что Станда отличился.

---

[1] хорошо, хорошо (*нем.*).

[2] Не нужно ли сделать еще что-нибудь, господин инженер? (*нем.*).

[3] Довольно, спасибо (*искаж. нем.*).

— Этот Хансен — замечательно славный парень, — почти мстительно говорит Станда.

— А ты подлизывайся больше, — сплевывает угрюмый Бадюра, круша отбойным молотком угольный пласт. — Грузи-ка давай, ясно?

Ничего не поделаешь, Станда влюбился в длинного шведа до того, что самому стыдно. Бегал бы за ним как собачонка, носил бы ему инструменты и был бы счастлив, коснувшись его кожаной куртки. Как ни глупо, но Станде страшно нравятся длинные ноги шведа, его небрежная, чуть мальчишеская походка; у Хансена этакая светлокожая шведская рожица, и когда он размазывает под носом угольную пыль, то вид у него очень забавный, точно у большого перепачканного мальчугана. Станислав Пулпан, вероятно, не сумел бы объяснить, что такое обожание, но когда он знает, что *его* инженер на участке, вагонетка летит по рельсам сама собой, как ветер. Посмотрите же, какой я откатчик! И Хансен, встретив Станду в штреке, всегда поводит слегка блестящим носом; и не заметно даже, а Станда знает, что это относится к нему, и на некоторое время сердце его наполняется невыразимым блаженством. Он ужасно гордится тем, что на «Кристине» все любят его молодого шведа. Хансен — славный малый, только не может разговаривать с людьми. Как-то раз Станда отправился в город — и прямо в книжный магазин. Не найдется ли у вас учебника шведского языка? Нет, не нашлось; и Станда тщетно ломает голову — что бы такое сделать для инженера?

Сейчас лето, и после смены Станда по причине полного одиночества бродит вокруг виллы Хансена; там. цветут вьющиеся розы, целые водопады и гейзеры вьющихся роз, голубые шпорники и какие-то желтые подсолнечники: и среди всей этой благодати размахивает лейкой госпожа Хансен, такая же высокая, как сам Хансен, белокурая, голенастая, в длинных полотняных брюках, и по-шведски кричит что-то читающему мужу, и оба громко хохочут, как уличные мальчишки, или выходят под ручку, размахивая теннисными ракетками, толкают друг друга, прыгают через тумбы, лихо свистят. Станда безгранично боготворит госпожу Хансен, — во-первых, потому, что она принадлежит его шведу, а во-вторых, потому, что она какая-то такая, как бы это сказать, — ну, совсем непохожая на других женщин; смахивает на мальчика, и все-таки

красивая — глаз не оторвешь, когда видишь, как она бегает в своих широченных штанах. Однажды они чуть ли не столкнулись со Стандой перед самой виллой; Станда покраснел, готовый провалиться сквозь землю, и хмуро выговорил: «Бог в помощь». Ханс дружески улыбнулся, а его жена оглядела Станду светло-зелеными глазами. В тот миг Станда почувствовал себя ужасно, отчаянно несчастным и в то же время, бог весть почему, едва не захлебнулся от безмерного восторга; ни за что на свете не покажется он больше у этой виллы, разве что ночью, когда на каскады вьющихся роз льется золотисто-розовый свет из окон Хансенов. «Как здесь красиво, — почти со слезами на глазах думает откатчик Станда. — Хансен — славный парень».

«Что такое я мог бы сделать? — размышляет Станда. — Если бы представился случай и я обронил бы при господине Хансене несколько слов по-французски, — то-то он удивился бы! Смотрите-ка, простой откатчик — и умеет говорить по-французски! (Станда уже составил несколько фраз из своих французских словечек, и одну даже в сослагательном наклонении, но не уверен — нет ли в ней ошибки.) Госпожа Хансен, конечно, знает французский; а там, глядишь, и пригласят Станду, например, на чашку чая... Или нет, не то. Вот если бы госпожа Хансен одна отправилась на прогулку по тропинке между отвалами и прудом — у этого места дурная слава, там шляются подозрительные типы, и у Станды бьется сердце, когда он иной раз из любопытства проходит по той дороге — и там на нее напал бы какой-нибудь хулиган или лучше двое... Госпожа Хансен отчаянно защищается, хочет позвать на помощь, но бродяга душит ее. И вдруг откуда ни возьмись — Станда. Одного пнуть в низ живота, другого ударить кулаком по скуле — и готово. Госпожа Хансен поднимает блестящие зеленые глаза (нет, они просто серые, но очень светлые), хочет что-то сказать, но у нее только трясутся губы. «Pas de quoi, madame...[1] — просто скажет Станда. — N'ayez plus peur[2]. Я подожду здесь, пока вам будет грозить опасность». И на следующий день в забой к откатчику Станде придет господин Хансен. Он молча, как мужчина мужчине, пожмет Станде

[1] Не за что, сударыня (*франц.*).
[2] Не бойтесь больше (*франц.*).

руку. «Приходите к нам, господин Пулпан, на чашку чая; моя жена хочет вас поблагодарить». А Григар с Бадюрой будут стоять навытяжку и растерянно хлопать глазами: «Юнец-то каков, кто бы подумал!» И госпожа Хансен будет разливать золотистый чай в беседке, увитой розами. Может быть, на ней будут те широкие брюки — такие носит она одна. «И вы, скажет, должны бывать у нас чаще, господин Пулпан». Нет, Станда непременно будет учиться шведскому языку. А потом госпожа Хансен пойдет поливать цветы, Станда же останется в беседке наедине со шведом. «Теперь, Пулпан, пора серьезно поговорить о вашем будущем; нельзя вам оставаться простым откатчиком, жить среди таких людей. Я возьму вас к себе в контору, чтобы вы могли самостоятельно продолжать образование». Станда покачает головой. «Спасибо, господин Хансен, но я не хочу никакой награды. С меня довольно того, что я смог... хоть что-то... для вас». У Станды даже сердце забилось от гордости и счастья. Да, так я ему и ответил бы. Чтобы Хансен понял, какой я человек.

Хансен ли? Быть может — она, дружище? Разве не было бы все это ради нее?

III

Так что же, влюблен Станда в эту даму или нет? Само собой, хотя он ни за что на свете не признается в этом даже самому себе; но это такое удивительное, праздничное чувство — например, ему больше всего нравится в ней то, что она так горячо любит своего шведа, похожего на мальчишку; это слишком ясно видно во всяком ео жесте, ее так и тянет к нему, она так бы и повисла у него на шее: я твоя, единственный мой; прямо в глаза бросается, как эти двое счастливы и опьянены друг другом. Станда не младенец и сумел бы живо себе представить, что у них происходит, когда они опускают шторы, и вообще; но он запретил себе это — и точка. Нет, даже и мысли об этом он себе не позволяет — иначе что-то рухнуло бы, пропало... даже в образе Хансена. Может, и глупо это, но Станда не смог бы смотреть на него с прежним восторженным удивлением, если бы думал о них что-либо подобное. А так они словно из другого мира — красивые, сияющие и удивительно нездешние; пусть называется как

угодно то, чем наполнено сердце Станды, оно относится к обоим. Правда, не легко это, сердце словно раздваивается; но ведь всякая любовь должна отзываться болью.

Всякая любовь. Станда понимает это слишком хорошо, потому что в его сердце живет еще одна любовь — просто ужасно, сколько иной раз накапливается в сердце. О, это, конечно, совсем другая страсть, трудная и упорная, и тем труднее, что у Станды она под боком, дома; кто знает, может, именно потому он издали поклоняется своей длинноногой шведской богине, чтобы хоть как-то отдохнуть от мучительной любви, что́ терзает его дома. А-ах, как легко становится на душе, когда издалека увидишь мелькающие среди цветущих роз стройные ноги госпожи Хансен; а там господин Хансен в светлом костюме приплетется к ней без дела, обнимет за шею, а она кинет на него мимолетный взгляд — какая благодать, какое радостное зрелище, даже розы у Хансенов кричат о радости. В садике под окном у Станды тоже цветут розы, но они совсем не такие; сорви одну, прижми к сердцу и тихонько скажи: «Прощай, прощай навек, лучше я пойду камнем ко дну». Вот как живется в домике Адама.

А дело было так: когда Станду приняли на «Кристину», люди сказали, что у Адамов, кажется, освобождается комната; этот Адам тоже забойщик на «Кристине», так что вы там будете как в своей семье. Станда отправился узнать; видит — красивый новый домик с садиком; у окна шьет женщина. «Вот муж вернется после смены», — сказала она и снова взялась за какое-то голубое платьице. Когда Станда зашел под вечер, в садике копался длинный тощий человек.

— Говорят, вы сдаете комнату? — спросил Станда через забор.

Человек поднял голову, и Станда почти испугался: такие странные были у того человека ввалившиеся глаза.

— Что? Комнату? — переспросил он, словно не понимая, и поскреб щетинистый подбородок. — А-а, вы насчет к о м н а т ы, — отрывисто проговорил он наконец и обернулся к о к н у. — Как ты думаешь, Марженка, найдется у нас комната?

— Ты и сам з н а е ш ь, — не поднимая головы, произнесла женщина у окна.

Человек почесал затылок, задумчиво глядя сверху вниз на откатчика Пулпана.

— Комната-то *найдется*, — сказал он неопределенно, — отчего же...

Он не сразу показал Станде комнату на чердаке; она была до того чистая я новая, что Станде стало даже не по себе.

Вот так Станда и поселился у Адама — жить все-таки где-нибудь надо, но в первую же ночь ему показалось здесь как-то удивительно тихо; он высунулся из окна и видит: внизу на каменном крылечке сидит Адам, подпер рукой подбородок и смотрит в темноту; немного спустя он тяжело поднялся, так что суставы хрустнули, и на цыпочках вошел в дом. Потом скрипнула кровать — и все, словно сомкнулись черные воды омута.

«Буду ходить с Адамом на *шахту*», — решил вначале Станда. Однако где там, никогда они не ходили вместе; бог весть в какую рань исчезал всегда этот Адам из дому — Станда всякий раз догонял его лишь у самой нарядной, где брал свой жетон; да еще Адам так смотрел на него ввалившимися глазами, будто вовсе не знал Станды, а потом пытался что-то сказать, смущенно кашлял, заикался, ловил воздух ртом и только после этого бурчал сквозь зубы: «Бог в помощь». Нелегко ему давалось это приветствие. Иногда Станда вместе с ним спускался в шахту; в душном, спертом воздухе клети, набитой мужчинами, воняло потом и старой одеждой; шахтеры громко переговаривались, либо поднимая кого-нибудь на смех, либо ругаясь; один Адам стоял как пень, загораживая ладонью свою лампочку, и смотрел отсутствующим взглядом на убегающие вверх стены; он никогда не раскрывал рта, и к нему не обращались, разве, самое большее, скажет кто-нибудь: «Бог в помощь, *Адам*», — и все. Откатчик Станда работал в другом забое, но по соседству с Адамом; как-то, жуя кусок хлеба с салом, в отсутствие штейгера, Станда заглянул в Адамов забой. Соседняя бригада вырубала толстый угольный целик, и Станда, хотя мало еще понимал в деле, не мог отвести глаз от полуголого Адама; позвоночник у него, правда, выступал на спине, как гребень, но Адам, казалось, сверлил уголь просто своими ввалившимися глазами — целик так и рассыпался на куски; уголь был чисто вырублен до самой кровли, которая просто сияла, точно сводчатая арка; замечательная работа! — почувствовал новичок Пулпан.

— Смотри, как бы не обвалилось, — сказал Адаму Григар, оглядывая свод.

Адам выпрямился, и позвонки у него хрустнули, словно фисташковые четки.

— Что? — спросил он. — А-а, это я еще доберу.

— У Адамовой бригады добыча почти всегда на треть выше, чем у остальных, — завистливо говорит Бадюра. — Я, ребята, как-то работал у них откатчиком, — ну и набегался же с вагонеткой, ровно почтальон! Головой ручаюсь, когда-нибудь Адама засыплет; лезет за каждым кусочком угля, когда кровля уже прямо на башку валится. Раз десятник кричит — ладно, мол, снимайте крепь и убирайтесь! Выбили подпорки, стойки, и кровля так и пошла трещать. А Адам вдруг и говорит: «Я тот уголь на кровле не оставлю, а то чего доброго он сам собой загорится». Я ему: стой, Адам, там уже трещит, того и гляди рухнет. А он, ни слова не говоря, взял да и полез туда с отбойным молотком. Три полные вагонетки еще нарубал, только вылез, вдруг — трах! — с кровли сорвался камень, ну прямо плита надгробная, такого камня я в жизни не видывал! Скала, что тебе собор, дружище! Так дунуло, что нас, будто кегли, во все стороны порасшвыряло. А Адам — бледный как полотно. «Когда-нибудь ты там и останешься, болван», — говорю я ему. Так и будет, вот увидишь. Но для чего он так делает, хотел бы я знать!

— Адам-то? Да он бы давно десятником стал, будь у него язык лучше подвешен, — заметил Григар. — Чтобы людьми командовать, другая повадка нужна.

— Что же, свое он зарабатывает, — рассуждал Бадюра. — За домик он вроде почти все уже выплатил, жена на людей шьет... не думаю, чтобы Адам так уж за деньгами гнался...

— Да, уж этот мне Адам... — проворчал Григар. — Видно, в голове у него не все дома, — добавил он неопределенно и плюнул на то место, куда нацелился отбойным молотком.

Видно, так и есть, — у Адама в голове не все ладно, а с виду славный человек. На всей «Кристине» нет такого работяги; слова в забое не скажет, бурит себе и бурит, только позвонки под кожей топорщатся; а кончится сме-

на — ладно, сложит аккуратненько свои вещички, натянет рубашку, пиджак и, не говоря ни слова, идет к клети. Потом полчаса моется под душем. Иной шахтер проведет разика два мокрой ручищей, шлеп-шлеп по грешному телу, отряхнется — и уже лезет в штаны; а у Адама собственная щетка и губка, и когда остальные давным-давно гуськом плетутся домой, он все еще мылит и трет свое костлявое тело — только ввалившиеся глаза рассеянно моргают под клочьями мыльной пены. «Подожду его», — иногда решает откатчик Станда, да разве дождешься? Станда уж не знает, что бы еще помыть и потереть, — в молодую кожу угольная пыль не так крепко въедается, — не знает, как еще и еще завязывать и развязывать башмаки, а длинный Адам все трет и трет под душем тощие бедра и втянутый мохнатый живот, просто конца не видно.

— Так что ж, Адам, идете?

— А-а, ступайте себе, — басит в ответ Адам, намыливая впалые бока с выступающими ребрами. И верно говорят, что шахтеры самые чистоплотные среди рабочих, потому что они ежедневно моются с головы до пят, но у Адама это прямо обряд какой-то, так долго и основательно он намывается. Что ни говорите, а когда божье создание оказывается голым, незачем ему смотреть сокрушенно, как причетник в страстную пятницу. Один, моясь, насвистывает, другой фыркает, а третий отпускает шуточки вовсе не для женских ушей, но так уж положено у мужчин; всякий по-своему шумит, радуется, что смена кончилась, один Адам молчит и печально моргает, углубленный в свои тяжелые мысли. Странный все-таки этот Адам.

И не говорите, что все в порядке: он спит на кухне, а его жена — в комнате, где всюду занавесочки, что Мария сама вышила. Насколько известно Станде, Адам никогда не входит в эту комнатку. Придет с работы, возьмет из духовки кофе и тянет медленно, присев на ящик с углем; у Марии в соседней комнатке руки с шитьем опускаются на колени, и она сидит, прямо скажем, просто неживая, только время от времени плечи ее высоко поднимает глубокий вздох. Тюк, тюк, — клюет канарейка над ее головой и пробует пустить трель, но сама этого пугается и умолкает — такая там тишина. Потом Адам встает и на цыпочках выходит в садик. Мария поджимает губы

и снова берется за шитье; застучит швейная машинка, зальется и засвистит канарейка, во дворике заворкует парочка голубей. Верзила Адам присядет в садике на корточки и копошится в молодой рассаде морковки либо петрушки. Или выйдет во дворик и мастерит там что-то, — к примеру, новую клетку для голубей, либо подставку для своей фасоли, — и сосредоточенно, тяжелым взглядом смотрит на свою пустяковую работу, моргая ввалившимися глазами. На крыльцо выйдет Мария и произнесет, ни к кому не обращаясь: «Я отнесу шитье туда-то и туда». Адам что-то проворчит, не поднимая головы; но когда калитка захлопнется, он выпрямится во весь рост и смотрит вслед жене — она идет ровно, даже ее высокие красивые бока не дрогнут... Мария давно уже скрылась за шахтерскими домиками, а Адам все стоит неподвижно и высматривает ее глубоко запавшими глазами. Так и есть — кое у кого не все дома в голове... или в сердце.

А однажды откатчик Станда узнал обо всем от Фалты, известного под именем Пепека, — молодого подручного забойщика, сквернослова и задиры.

— Я бы с такой бабой церемоний не разводил, — заявил Пепек. — Покажи ей, каков ты есть мужик, вот и бросила бы вздыхать. — И Пепек тут же подробно и обстоятельно разъяснил, как он лично поддержал бы мужскую честь. — Спроси-ка у Анчки, парень, — самодовольно процедил он. — Вот как надо, тогда баба как шелковая будет, хоть веревки из нее вей... Ты спрашиваешь, что с Марией? Да она дочка помощника штейгера с «Мурнау»; ходила в школу какую-то, где девчонок учат шить и вязать — не знаю, на кой черт им эти кружева да платочки, и не высморкаться толком; однако такая девчонка сразу воображает, что невесть какая благородная стала. Словом, Мария эта завела знакомство с каким-то учителишкой — пальцем перешибить можно, чахоточный или что-то вроде того, — а он только одно и знал, что все, бывало, таскал ей книжки да стишки там разные. Отлупить бы ее как следует, — заключил Пепек. — На что бабе книжками голову забивать! Ходит словно малахольная, а ты ей на небе луну показывай, ахи да охи, да еще чтоб пахло от тебя, как от ландыша, тьфу! И я другой раз коечто почитываю, подумаешь, — добавил Пепек с видом зна-

т о к а , — но бабам я бы книг в руки не давал, какие еще им романы, верно? А учителя-то этого взяли да и перевели куда-то — и крышка; о чахоточном больше ни слуху ни духу. Мария от этого вроде как спятила, будто бы и в воду прыгала, вон в тот Голанский прудик, а потом уж жила, словно тело без души. Тут Адам с ней и познакомился да сразу — я на ней женюсь; заело, вишь, его — ведь она вроде как барышня была, понимаешь? И образованная-то, и печальная-то, и в о о б щ е , — презрительно сплюнул П е п е к . — Понимаешь, этот Адам — баран, и Библию читает — удивляюсь, как такой тюфяк и шахтером-то стал. Три года в те поры он вокруг нее ходил, ровно она святая; как-никак девчонка... надо полагать, мамаша не одну оплеуху ей закатила, потому что девка на свадьбе чисто покойница была — только саван надень да в руки сломанную свечку дай, и готово — закапывай на шесть локтей в землю; зато Адам — вот бы тебе поглядеть! — вел ее будто стеклянную... Что и как там у них было в первую ночь, этого он, должно быть, никому не скажет; но на следующее утро Мария не встает, губы и с к у с а н ы , — сердечный припадок, что л и , — а Адам перетаскивает свою постель в коридорчик. Вот какое дело-то вышло, парень. Не прошло и недели, как Адам постарел, стал таким, как сейчас: глядит словно из могилы, сгорбился, словечка не проронит. И работает рук не покладая, точно с ума спятил: занавески для Марженки, мебель для Марженки, домик для Марженки — все, что душенька ее пожелает; дома и дышать-то опасается, как бы шахтером от него не запахло. Потому он после смены так и надраивается. Да, парень, ежели тебя баба знать не хочет, так тут уж не умолишь, не упросишь ее, хоть тресни! Понятное дело, Адам не кавалер, не герой из романа, но что он мужчина — не сомневайся, черт побери! И сам небось видел в душевой — мужик что надо! Да ничего не поделаешь! Она на ночь-то всегда запирается, а он в это время то ли Библию читает, то ли еще что. Так это у них и т я н е т с я , — если хочешь знать, лет пять. Не то чтоб она его не любила... где она такого добряка сыщет, верно? Другой, не сомневайся, дал бы ей хорошего пинка в зад, да и нашел бы себе другую; не для того люди женятся, чтобы по ночам молиться. Иногда оба всю ночь напролет ревут... Труднее дело, братец, если ты бабе так противен. Я думаю, все дело в том учителе да в книжках. Умей

Адам вздыхать и ворковать, как в романах: «ангел мой», «звездочка моя» и тому подобную чепуху, так у нее, приятель, коленки бы затряслись, сказала бы она «ах» — и готово дело; но, понимаешь, Адам и рта не разинет, глазами только сверлит... Говорила мне Анча, — это с которой я живу, — что когда Адам посмотрит на нее своими гляделками бараньими, так ее просто тошнит, и она не согласилась бы с ним жить ни за какие деньги. У-у, лучше, мол, помереть. Пугало он настоящее. И говорит-то это кто — бесстыжая Анчка. Но Мария... такую женщину либо приворожить нужно, либо силком взять. Я бы показал Адаму, что к чему. Черт, такая красивая бабенка, — сокрушался Пепек. — Она, брат, все в себе затаила, как фитиль — только поджечь ее... Вся так и закраснеется под самую блузку. Словом, в тихом омуте... да. Но ты, Станда, держи ухо востро, станешь на нее заглядываться, у Адама жилы так и надуются, — возьмет и убьет, ни на что не поглядит. Однако погоди, долго ты там не проживешь; у них еще никто долго не выдерживал...

IV

Что ж, теперь Станде все ясно. Вероятно, так оно и есть, как говорил Фалта, он же Пепек. Но Пепек на все глядит одними глазами, а Станда другими. И не только глядит; он слышит это молчание, чувствует это горе и сам живет, боясь дохнуть, ходит на цыпочках, чтобы не зашуметь ненароком. Стоит споткнуться на лестнице, как по всему дому словно выстрел загремит, Мария, должно быть, побледнеет с испугу, и шитье вывалится у нее из рук, — беги, беги же к ней, кинься к ее ногам, положи ей голову на колени: не пугайтесь, Мария, это я споткнулся по молодости лет. И она... зальется краской под самую блузку, пальцы затрясутся. «Я знаю, Станда, вы тоже так одиноки на свете. Вы напоминаете мне одного человека, я знала его несколько лет назад, с тех пор никто, никто меня не понимает...»

Нет, это невозможно, потому что Адам во дворике мастерит новую клетку для голубей; он никогда и носу не высунет из дому, ходит только на работу, его запавшие глаза видят все. Вот если бы Станда заболел неизлечимой болезнью (Станда пока еще ничем не болел, но представ-

ляет себе, как это необыкновенно красиво и грустно); он лежит наверху и тяжело дышит, у него сильный жар; вот тихо, тихо скрипнули ступени — и в дверях стоит Мария. «Вам ничего не нужно?» — «Нет, ничего, спасибо; я знаю, что скоро умру». — «Не смотрите на меня так, у вас такие же глаза, как у того, кого я любила, Он умер, а с ним и мое сердце». — «Нет, оно живет, я даже отсюда слышу, как оно бьется. О, если бы я осмелился положить вам голову на грудь, она перестала бы так безумно болеть... тук, тук». И снова тишина, дрожащие пальцы перебирают его волосы. «У вас все еще болит голова, Станда?» Господи Иисусе, Мария, Мария, Мария!..

Станда сжимает кулаки так, что ногти впиваются в ладонь — это просто какое-то наваждение. Плечи ее, склоненные над шитьем, ее полная белая шея... Хоть бы не торчал тут вечно этот Адам! Постучать в ее дверь, она опустит шитье на колени. «Я пришел к вам... мне не с кем поговорить о своей жизни, люди так грубы. Прошу вас, продолжайте шить, под шорох материи лучше мечтается, это так женственно и дает такую усладу чувствам; если бы я посмел смять эту ткань в горсти... Мария, ведь это ваши пальцы, ведь это твои руки!» — «Пустите, Адам войдет!» — «Нет, Адам никогда больше не придет, слышишь, Мария, никогда...»

И правда, его уже выносят ногами вперед из ворот шахты. Говорил же Бадюра, что его когда-нибудь да засыплет; бедняге Адаму не надо было браться за эту аккордную работу; и впрямь на роду ему было написано плохо кончить, по глазам было видно. Вот он лежит на своей постели в кухне, подбородок торчит вверх, в головах свечи, и глаза его в глубоких глазницах больше не моргают. А ночью, ночью Мария приходит наверх босиком, дрожащая от страха: «Станда, Станда, я боюсь Адама!» — «Не бойтесь, Мария, положите голову сюда, ко мне на плечо, я буду баюкать вас, как брат, Мария, как брат; вы видите, руки мои сложены, я молюсь. Я вижу вашу грудь под рубашкой, Мария, слышу запах ваших волос; нет, ничего, не шевелитесь, вы для меня такая святыня, что я весь трепещу». И Мария начнет дышать тихо, глубоко, пока не уснет. Вот видишь, Мария. Быть достойным доверия: тогда всего сильнее чувствуешь себя мужчиной...

Станда грызет ногти. Боже, как, как же сделать, чтобы поговорить с ней хоть раз наедине! Как тогда... ну и поломал же он себе голову! Он договорился с Адамами, что по воскресеньям они будут давать Станде завтрак; и в то воскресенье он не спустился в кухню. Он сидел в своей светелке наверху, на столе — розы, и делал вид, будто читает. Что-то будет, боже, что будет: принесет ли ему Мария завтрак, или о нем позабыли? Так было страшно: казалось, прошли часы; наконец кто-то идет по лестнице, у Станды забилось сердце, захватило дух. Кто-то постучал. «Войдите», — еле выговаривает Станда пересохшими губами, и Мария входит с завтраком на подносике. «Сейчас я должен сказать ей все, сейчас или никогда, — с ужасом чувствует Станда, — она должна слышать, как бьется мое сердце!» Он не смог даже поднять на нее глаза; ему были видны лишь ее руки, исколотые пальцы и светлые волосики на белой коже у локтя. «С-спасибо», — в отчаянии, угрюмо выжал он из себя, и белые руки на мгновение застыли, может быть, он должен был сказать еще что-то, может быть, извиниться, зачитался, мол... но это был конец, конец навеки! Она ничего не сказала — и ее уже нет; никогда, никогда больше Станда не посмеет думать, что сюда войдет Мария. Это конец. Да что там сказать — вскочить бы, взять подносик у нее из рук, коснуться ее пальцев: она закраснелась бы, залилась бы румянцем под самую блузку... А он только мрачно склонился над книгой, не помня себя от ярости и злости, может, она заметила, что он нахмурился, и обиделась. И Станда чувствует себя жалким и обескураженным, как никогда.

Нет, нужно не так, размышляет Станда. Мария должна увидеть, что я выше окружающей среды — то есть духовно и вообще. У нас с ней могло бы быть столько общих интересов! Например, если бы у меня здесь были книги, как можно больше книг, она непременно когда-нибудь сюда заглянула бы. «Не сердитесь, но мне очень хотелось бы прочесть вот эту книгу». — «Как странно, Мария, ведь эта книга как раз та самая, что словно написана кровью моего сердца; я подчеркнул тут кое-какие фразы, которые заставили меня думать о вас». И вот двое склоняются над книгой; волосы Марии щекочут ему лицо, рука ее касается его плеча. «Станда, это удивительно, ведь то, что вы подчеркнули, я чувствовала тысячи раз!..»

И однажды после смены Станда отправился в город — прямо к букинисту; он почти перестал есть, лишь бы выкроить несколько лишних крон из жалованья откатчика. Книги... какие же книги? Станда долго колеблется, роется в стопках книг и в конце концов уносит сверток, значительно меньших размеров, чем предполагал. И когда он дома перелистывает книги, его охватывает неясное ощущение, что он, кажется, выбрал совсем не то; он не находит фраз, которые хотел бы подчеркнуть для Марии; в книгах нет того, чего жаждет непонятая и разочарованная душа, понимаешь — ни слова о великих подвигах, о подлинно великой любви и искуплении... И все же у Станды как-то веселее на душе от того, что у него есть уже куча книг, и он пытается все их прочесть. Кто знает, может, когда он работает под землей, Мария приходит сюда убирать комнату, берет в руки одну из его книг, садится на краешек постели и начинает читать, читать; это уже какие-то узы — скажем, духовные узы; это почти так же интимно, как пить из одного стакана. О, если бы от этих книжек повеяло слабым ароматом Марии! Почему я так люблю тебя, Мария, почему обречен беспрестанно думать о тебе, Мария? Почему? Быть может, потому, что у нас столько общего; мы оба живем среди грубых людей, которые пас не понимают, оба задыхаемся от мелочей жизни. Мне нужно столько сказать тебе, Мария! Но будет день, погоди, когда ты прижмешь руки к груди и скажешь мне: «Станда, у меня есть Адам; я никогда не нарушу своего слова, вы должны это понять! Уходите, уходите, мы больше не увидимся, но никого в жизни я не любила так, как тебя...»

Да, пусть будет, как есть, но Станду смущает, что все эти грустные и возвышенные чувства он переживает до ужаса плотски. Он готов целовать или кусать вещи, которых она коснулась; он думает о ее коленях, о руках, о склоненной шее, Мария, Мария! А ночью — ночью он ложится лицом на голый пол, там внизу спит Мария — теперь я ближе всего к тебе; кажется, я слышу твое дыхание, может быть, и ты слышишь мой шепот, это я опускаюсь на колени у твоей постели, это я ощущаю твое тепло, чьи это зубы стучат — твои или мои? Это я, Мария, слышишь, это я, если бы я посмел прижаться лицом к сгибу вашего локтя, если бы вы выставили мне хоть мизинчик — на, укуси!.. Станда сам ужасается своей

любовной ярости. Ты что, дружище Станда, одержимый, что ли, ты совсем обезумел!

Конечно, ничего этого не будет, и Станда пробует думать о госпоже Хансен. Ну, скажем, о ногах госпожи Хансен, или о том, как облегают брюки ее бедра, когда она бегает по саду... Нет, нет, нельзя, и Станда усилием воли подавляет это воспоминание. Шведка — нечто совсем другое, словно она и не женщина; на нее можно только смотреть издали, и Станде как-то легко, свободно, и он испытывает блаженство. Ну, а Мария — это скорее духовное тяготение, думает Станда. Такая пугающая близость или что-то такое. Вероятно, это и есть любовь...

V

Вероятно, это и есть любовь. (То, что было раньше... та глупышка, когда он был еще чертежником... какая же это была любовь? И не сравнить!) Станда рассматривает новый волдырь на ладони, заработанный в нынешнюю смену, и возвращается мыслями все к тому же, что было бы, если бы Мария осталась внизу одна. Он бы непременно спустился к ней — какой-нибудь предлог найти не трудно, — неуверенно думает Станда; и вдруг я сказал бы ей: «Хотел бы я знать, что вас мучит?» Ее руки опустятся на колени. «Зачем вам это знать?» — «Потому что я очень одинок, Мария. Если я не могу, не смею с вами говорить, так хоть сочувствовать вам...»

Внизу тишина, только канарейка скачет и чирикает у Марии над головой, а может, Адама нет дома?.. Станда высовывается из окна. Нет, торчит, как всегда, в садике, присел на корточки, колупает пальцем землю у каких-то саженцев — и ввалившихся глаз не поднимет, так погружен в свое кропотливое занятие или в какие-то бесконечные скорбные мысли. Вдруг он поднял голову, словно прислушиваясь. Нет, ничего. Станда уже собирался вернуться к своим ладоням и думам, но тут Адам выпрямился и настороженно уставился на дорогу. Там ничего не видно, только с протяжным гудком мчится к «Кристине» машина. Вдруг Адама охватывает спешка, он бросается в дом, выскакивает, на ходу напяливая пиджак, и бежит, даже не захлопнув за собой калитки. Ту-ту! — по дороге проносится санитарная машина, за ней — другая. Станда

в тревоге вздрогнул. Что-то случилось! То там, то здесь из домиков выбегают шахтеры и, затягивая ремень, вскакивают на велосипеды, летят туда же — видимо, к «Кристине!». Странно видеть улицу, когда все спешат в одну сторону; женщины выбегают на крылечки, смотрят туда же, вниз, где за деревьями видны трубы и копер шахты «Кристина». Что-то случилось, чувствует Станда, удивляясь, как люди сразу об этом узнали и мигом запрудили улицу.

На крыльцо выходит Мария, тоже смотрит вниз, прижимая к груди какое-то шитье, и стоит в оцепенении. У Станды забилось сердце, кровь кинулась в голову, ему приходится отвернуться от окна, чтобы перевести дух. Вот оно! Мария осталась одна! Она одна... Ее уже нет на крыльце, очевидно, она вошла в дом и снова раскладывает шитье на коленях. А что, если постучать к ней? Что я скажу? У Станды пересыхают губы, он не находит слов, но все равно Мария одна! Он лихорадочно поправляет воротничок и снова высовывается из окна: не возвращается ли Адам? Нет, но по улице несутся на велосипедах целые группы шахтеров; пригнувшись к рулю и бешено работая ногами, они спешат к шахте; туда же бежит какая-то женщина и громко рыдает, почти воет... Станда мгновенно спускается с лестницы, топоча ногами, как лошадь, но сейчас ему все равно, в коридорчике у него еще раз екнуло сердце, вдруг страшная слабость в коленях, но он уже во дворе, слава богу, уже на улице и мчится вместе со всеми, он бежит крупными скачками, ноги сами несут его, в жизни он еще так не бегал; Станда просто летит, чувствуя себя сильным, легким и быстрым как никогда.

У запертых решетчатых ворот «Кристины» народу набралось, словно пчел у летка: шахтеры с велосипедами, зеваки, женщины — одна, где-то у решетки, громко причитает.

Станда проталкивается.

— Что случилось?

Пожилой шахтер хмуро оглянулся на него и ничего не ответил.

— Взорвалось там что-то, — говорит другой.

— А внизу есть люди?

— Как не быть; правда, одна вторая смена, в квершлаге. Не так уж много.

Станда пробирается вперед, чтобы увидеть хотя бы двор. Там пусто и до ужаса тихо, несколько человек стоит у санитарной машины; от копра двое ведут кого-то, ноги у него заплетаются, как у пьяного, голова беспомощно упала на грудь — вот его втолкнули в какую-то дверь, вероятно, там врач.

— Это Пешта? — спрашивают около Станды, вытягивая шею.

— Нет, Колман.

— Ну, повезло ему.

Из табельной выходит шахтер.

— Благослови тебя бог, Ферда! Бог в помощь, Пуркит! — кричат люди. — Ты был внизу?

— Ага, был.

— А что там случилось?

— Да взрыв. Завалило новую продольную выработку. У шестьдесят третьего, знаешь? Франта остался там.

— Какой Франта?

— Брзобогатый. Я только ногу и видел.

— А Мадра там нет?

— Мадр? Разве он не поднялся?

— Рамас там? — пронзительно кричит какая-то женщина. — Вы не видели там Рамаса?

— Да полно вам, Рамасова! — уговаривают ее. — Ведь ничего еще неизвестно!

На дворе — движение: на носилках несут кого-то к санитарной машине.

— Кто это?

— Блега, — отвечают люди.

— Кто? — переспрашивают сзади.

— Какой-то Блега, — разочарованно замечает кто-то. — Такого я не знаю.

У Станды от волнения колотится сердце. Вот как, значит, выглядит катастрофа на шахте; он-то думал, что из шахты повалит огонь и дым, а оказывается ничего и нет. Санитарная машина подъезжает к воротам, они распахиваются — дорогу! дорогу! И на теснящуюся толпу повеяло запахом карболки или еще чего-то такого. Станде становится нехорошо, он хочет выбраться из сутолоки, но не может — он стоит в первом ряду; возле него какая-то женщина изо всех сил трясет решетку и кричит:

— Пустите меня, пустите, там мой муж!

— Да не кричите вы так, Кулдова, — уговаривает ее сторож по ту сторону ворот, — может, он еще выйдет.

— «Кристина» — сволочная шахта! — рассуждает кто-то позади Станды. — Каждую неделю, сколько я знаю, в ней где-нибудь пожар случается.

— «Мурнау» еще похуже будет, — замечает другой. — Там газов полно.

— Отстань ты со своей «Мурнау», — возражает шахтер. — Такого несчастья, какое здесь было лет пятнадцать тому назад, там никогда не случалось. «Кристина», брат, просто нужник какой-то, нет ее хуже, всякий тебе скажет.

— А ты погоди, — проворчал шахтер с «Мурнау». — «Мурнау» еще себя покажет в наилучшем виде!

Внезапно разносятся последние, бог весть откуда взявшиеся, новости. Итак, в шахте остались Мадр, Рамас и Кулда; они будто бы живы, но до них нельзя добраться, обвалился штрек.

— А Франта Брзобогатый?

— Ах да, этот еще... Франта приказал долго жить. Его хотели откопать, одна нога еще торчала...

— Да замолчите вы, ребята! Вон жена Франты.

— Ну так что, все равно увидит, когда его принесут. Хотели его откопать — да на голову камни так и сыплются.

— Значит, его так и оставят там подыхать? — заволновались в толпе. — Может, он еще жив... Аа, черти, пустите нас!.. Это мы еще посмотрим!.. Псы проклятые, пустите нас внутрь!

— Верните мне мужа! — раздается женский крик.

— Это Брзобогатая, — говорят люди. — Правильно, не сдавайтесь, милая!

У Станды взволнованно бьется сердце; его что-то приподнимает и несет, ему тоже хочется закричать: «Пустите нас туда, убийцы! Мы своих товарищей не оставим...»

— Пустите нас туда, — взвизгнул он, и голос его сорвался.

— Тебя там только не хватало, — засмеялся кто-то сзади.

Ну, конечно, это карлик Бадюра, сморчок несчастный, Станда сумеет сказать ему несколько теплых слов... Но тут снова поднялась суматоха:

— Франту несут! Значит, все-таки вытащили беднягу!

Двое с безграничной осторожностью выносят кого-то на носилках из клети. По двору бежит, причитая, женщина, ее удерживают.

— Вы с ним поедете, поедете, только успокойтесь!

Медленно-медленно носилки просовывают в санитарную машину, две пары рук помогают всхлипывающей женщине войти внутрь, и вторая машина тихо подъезжает к воротам.

— Здорово его покорежило, — сочувственно произносит какой-то человек, вытирая пот, — но он еще жив.

И машина с красным крестом медленно проезжает среди расступающейся, притихшей толпы.

VI

Наконец вон оттуда, из здания дирекции, выходит несколько человек. Румяный господин небольшого роста, с белой бородкой, что идет впереди всех, — это сам управляющий всем угольным бассейном, по прозвищу Старик; на нем как-то нелепо сидит светлая шляпчонка, лицо и белые усики запорошены угольной пылью, — вероятно, спускался в шахту в полном параде и не успел еще умыться. Второй, чумазый, в шахтерской спецовке — это директор шахты, за ним шагает господин Хансен в кожаной куртке и в таком же шлеме, лоб у него ободран в кровь, под носом припудрено сажей, как у трубочиста, который во время коляды плетется где-то сзади прочих; голубые глаза под светлыми ресницами подернуты влагой, и кажется — сейчас из них польются слезы. И еще один очкастый и сильно испачканный господин, вероятно, из горной инспекции, и какой-то совершенно черный штейгер, вытирающий себе лоб невероятно грязным носовым платком, — хорошенькая компания, нечего сказать; появись они в таком виде на площади — люди подумали бы, что здесь собрание трубочистов. Но сейчас все это выглядит иначе, как-то торжественно, что ли, гомон в толпе у ворот стихает, все настораживаются, и ворота распахиваются настежь.

Толпа мгновенно распадается на две части. Свои, с «Кристины», проходят во двор, остальные толкутся у входа, словно он перегорожен веревкой, вытягивают шеи и поднимаются на цыпочки. Станда вместе со всеми

гордо, с важным видом шагает по двору. Да, мое место здесь, я тоже с «Кристины»! Набралось человек пятьдесят — шестьдесят, да из окрестных деревень все еще подъезжают шахтеры на велосипедах, это уже не просто толпа, — это строится некий черный батальон. Станда стоит в первом ряду и ищет глазами Хансена, вон он сидит на груде шпал, вытирает руками лицо, по только еще больше размазывает по нему угольную пыль и кровь, которая течет у него из ободранных пальцев, — смотреть страшно. Станде стыдно, что он не выносит вида крови, ему кажется, что он сейчас упадет в обморок и покроет себя позором, тем временем Старик стал перед шахтерами и снял очки в золотой оправе.

— Бог в помощь, — сказал он, близоруко озираясь, и начал усердно протирать очки.

— Бог в помощь, — нестройно загудел в ответ черный батальон.

— Шахтеры, у нас случилось огромное несчастье, — нерешительно заговорил Старик. — Произошел... произошел взрыв при проходке вентиляционной сбойки между втяжным штреком номер шестьдесят три и вытяжным номер восемнадцать. К сожалению, этот взрыв... повлек за собой несколько жертв. Забойщик Брзобогатый Франтишек... засыпан и тяжело ранен. Блега Ян... ранен довольно тяжело. Колман Рудольф, откатчик, ранен легко. Трое, к сожалению, остались пока там. Это... это Мадр Иозеф — участковый десятник, Рамас Ян — крепильщик и стволовой Кулда... Кулда...

— Антонин, — подсказывают из толпы.

— Кулда Антонин, отец семерых детей. К счастью... к счастью, они, кажется, еще живы, по крайней мере кто-то из них. Слышно, как они подают сигналы... Ребята, мы не можем их там оставить...

— Понятно, не можем, — слышится чей-то голос в черном батальоне.

Старик быстро взглянул в ту сторону и надел очки.

— Правильно. Итак, смотрите, — продолжал он с некоторым облегчением. — Новая вентиляционная сбойка почти под прямым углом отходит от восемнадцатого штрека и на семьдесят метров тянется в сторону штрека номер шестьдесят три. Но с этого конца нам пришлось приостановить проходку, потому что... потому что во всю длину пройденной сбойки вспучило грунт. Короче говоря,

мог произойти значительный взрыв; чтобы избежать тяжелой катастрофы, мы начали встречную проходку от втяжного штрека номер шестьдесят три. С этой стороны уже пройдено около тридцати двух метров, и нужно было продолжать работы... Так вот, сегодня во вторую смену там была бригада Мадра, оставалось пробить три или четыре метра целика, чтоб соединить оба штрека, и тут в более коротком из них и произошел взрыв.

— Не следовало там производить работы, — заметил один шахтер. — Там и угля-то кот наплакал.

Старик покраснел от возмущения.

— Как это не следовало? — раздраженно воскликнул он. — Кто это сказал? Ну-ка, подойдите сюда, если вы такой умник!

— Все так говорили! — настаивал шахтер. — Так и называли: гиблый штрек!

— Придержи язык! — зашумели остальные.

Старик немного успокоился.

— Видите ли, это был вентиляционный ходок, его пробивали в интересах вашей же безопасности, там ставили нормальную полную противовзрывную крепь, нас ни в чем нельзя упрекнуть, ребята, такова уж воля провидения; впрочем, горная инспекция разберется... Итак, в более коротком ходке обрушение произошло на протяжении метров пятнадцати, бригада Мадра осталась за этим завалом. Конечно, завал сейчас же попытались разобрать, там работает спасательная команда под руководством участкового инженера, но... — Старик замолчал, снял очки и снова принялся усердно их протирать. — Только тронешь, как на голову сыплются новые камни. Там разрушена вся кровля. Добираться до засыпанных с той стороны — долгая история, — бормотал он в белую бородку. — Чертовская работа!

— Так что же будет? — послышался голос из черного батальона.

— Сейчас скажу, — ответил Старик и надел очки. — Остается второй, более длинный ход из восемнадцатого штрека, где раньше прекратили проходку. Сегодняшний взрыв и тут все поломал, стойки полопались, как спички, но там еще можно с грехом пополам пробраться почти до конца. Инженер Хансен был там и... отчетливо слышал, как трое засыпанных подают сигналы. Они стучат в стенку. Оттуда до них не больше трех-четырех метров,

но это уже простая проходка. — Старик снова сдернул очки. — Этим путем, быть может, удастся освободить тех троих... но... мы не можем... и не имеем права никого туда посылать. Весь верхняк — пополам... Слои в кровле сдвинулись, и если крепь еще немного подастся... Господин инженер Хансен считает, что попытаться все же следует; мой долг — предупредить об этом, но... если найдутся добровольцы, тогда... я взял бы на свою ответственность, вы меня поняли?

— Поняли, — проворчал кое-кто из шахтеров.

— Итак, подумайте, друзья, — сказал Старик и надел очки. — Но... те, у кого жена и карапузы, пусть и не берутся, понятно? Это вам не очистный забой. Я оставляю здесь помощника штейгера Войту, можете поговорить еще с ним. Первая спасательная команда, которой будет руководить участковый инженер Хансен, отправится немедленно; мы уже распорядились приготовить снаряжение... Ребята, я знаю, вы и сами будете начеку... — И он растроганно поправил очки. — Ну, бог в помощь, кристинцы...

— Бог в помощь, — зашумело вокруг; и взволнованный Старик быстро побежал обратно в контору.

Так, теперь господа ушли, только инженер Хансен сидит на бревнах и курит, уставясь в землю; а перепачканный помощник штейгера Войта вытаскивает записную книжку и шарит в кармане, отыскивая карандаш. Черный батальон смыкается кольцом вокруг Войты.

— Ну-ка, Войта, расскажи обо всем еще разок, по-нашему.

— Значит так, ребята, — начал помощник штейгера. — Кто пойдет добровольно? Смена три часа. Дадите расписку, что вы согласились добровольно. Напоминаю, в том штреке плохо, ох, как плохо. Кровля над самой головой нависла, окаянная, черти бы ее...

— А сам ты пойдешь?

— Нет, у меня сопляки дома, пятеро...

— Ведь ты там уже был!

— Был, отчего же не быть. А второй раз не пойду, дружище.

— А сколько за это платить будут?

— В тройном размере за час. Какого тебе еще рожна, эх ты, рвач. Ну, ребята, живей, кто хочет идти с инженером Хансеном?

Тишина. Слышно покашливание.

— Что я, с ума спятил? — бурчит чей-то голос.

А Станда вдруг чувствует, как что-то сдавило ему горло, то ли страх, то ли еще что. Господи, что такое с ногами? Ни с того ни с сего они сами выносят его на середину круга, никакой силой их не остановить; вот он уже стоит перед Войтой и растерянно размахивает руками.

— Ты хочешь пойти добровольцем?

Все смотрят на Станду; люди за воротами вытягивают шеи, у Станды все плывет перед глазами, и он слышит только, как чей-то сиплый голос произносит «да».

— Фамилия?

— Пулпан Станислав, откатчик, — невнятно отвечает тот же чужой, странный голос.

«Да ведь это я говорю! — вдруг понимает Станда. — Господи, как это вышло?»

— Глянь, щенок какой выискался, — слышит Станда голос карлика Бадюры. — Этот мигом всех спасет!

Но вон сидит господин Хансен, сосет сигарету и слегка кивает головой. Станда уже пришел в себя, он чувствует, как прохладный ветерок шевелит его волосы; только сердце еще колотится, все хорошо, все хорошо, лишь бы не заметили, как у него трясутся ноги.

— И меня запиши, — говорит кто-то; рядом со Стандой становится сухонький старичок, улыбаясь, он показывает беззубые десны. — Пиши: Суханек Антонин, забойщик...

— Гляди-ка, дед Суханек! — замечают шахтеры. Старик хихикает.

— Понятное дело, без меня не обойдутся! Я «Кристину» знаю что свои пять пальцев, голубчики! Пятнадцать годков назад я тоже такое видал...

Из толпы выбирается плечистый гигант, спина у него широкая, как у битюга, лицо красивое, круглое.

— Я, пожалуй, пойду, — спокойно говорит он. — Мартинек Ян, крепильщик.

— Холостой? — неуверенно спрашивает Войта.

— Ну да, — отвечает крепильщик. — Запишите, холостой.

— Тогда и я, Фалта Иозеф, подручный забойщика, — раздается в толпе.

— Выходите сюда!

— Иди, Пепек!

В толпе движение.

— Давай, Пепек!

Пепек проталкивается, засунув руки в карманы.

— Сколько заплатите?

— Трижды по три шестьдесят.

— А если ноги протяну?

— Похоронят с музыкой.

— А Анчка как?

— Вы уже повенчались?

— Нет, не повенчались. Она получит что-нибудь?

Помощник штейгера чешет карандашом лоб.

— Не знаю. Лучше уж я вас вычеркну, ладно?

— Не согласен, — протестует Пепек. — Это я в шутку... А премия будет, если мы их вытащим?

Помощник штейгера пожимает плечами.

— Речь идет о людях, — отвечает он сухо.

Пепек великодушно машет рукой.

— Ладно. Сделаем. Я спускаюсь.

Фалта Иозеф озирается — что бы еще такое сказать, но позади него уже стоит кто-то длинный и смотрит ввалившимися глазами поверх голов.

— Вы записываетесь?

— Адам Иозеф. Забойщик.

— Но вы женатый, — колеблется Войта.

— Что? — переспрашивает Адам.

— Женатых не велено принимать.

Адам проглотил слюну и шевельнул рукой.

— Я пойду, — упрямо буркнул он.

— Как хотите. — Войта подсчитал карандашом в записной книжке. — Пятеро. И никого из десятников?

От толпы отделяется низкорослый человечек.

— Я, — говорит он самодовольно. — Андрес Ян, десятник подрывников.

— Пес-запальщик, — бросает кто-то из шахтеров.

— Хотя бы и пес, — резко обрывает Андрес, — а свой долг я выполню.

Войта постучал карандашом по зубам.

— Андрес, ведь вы тоже...

— Женат, знаю. Трое детей вдобавок. Но кому-то нужно идти с командой, — высокомерно провозглашает он и вытягивается в струнку, чуть ли не становится на цыпочки. — Порядка ради.

Толпу расталкивает силач, не спуская с Андреса налитых кровью глаз.

— Тогда иду и я.

— Вам что угодно?

— Я тоже иду. — Красные глаза на одутловатом лице пожирают «пса» Андреса. — Матула Франтишек, каменщик.

— Каменщику там нечего делать, — возражает Войта,

— С крепильщиком крепь ставить, — хрипит гигант.

Войта оборачивается к Мартинеку.

— Ладно, — добродушно соглашается молодой великан. — Там работы и на двоих хватит.

— Тогда ступайте все в контору подписывать обязательство, — говорит помощник штейгера. — Теперь вторая команда. Кто хочет?

— Здесь. Григар Кирилл, забойщик.

— Пивода Карел, откатчик.

— Вагенбауэр Ян, крепильщик.

— Участковый десятник Казимоур.

— Влчек Ян, забойщик.

— Кралик Франтишек, подручный забойщика.

— Фалтыс Ян, забойщик.

— Рубеш Иозеф, забойщик.

— Сивак Иозеф, крепильщик.

— Кратохвил Ян, откатчик.

— Голый Франтишек, откатчик.

Черный батальон плотнее смыкается вокруг помощника штейгера.

— Да пиши ты уж всех по порядку. Скорее дело пойдет!

VII

Станислав Пулпан медленно раздевается вместе с остальными. Тяжело и тоскливо в чужой бригаде — ведь даже и к таким, как Григар с Бадюрой, можно привыкнуть. Пять-шесть недель назад он впервые раздевался в этой душевой; ему показали — вот твоя вешалка для одежды, на этой вот цепочке ты поднимешь свои вещи под потолок и замкнешь ее. Тогда он взволнованно, с любопытством смотрел, сколько этой одежды под потолком — казалось, там висит стая больших летучих мышей,

прицепившихся вниз головой; тогда он еле сдерживался от нетерпения — скорей бы в шахту... Где же здесь вешалка крепильщика Яна Рамаса, где висят вещи Антонина Кулды, отца семерых детей?.. Сейчас, когда Станда не видит Хансена, вся эта затея кажется ему странной, бессмысленной, почти нереальной. В какую историю он впутался! «Эй ты, сопляк! — будто слышится ему насмешливый голос Бадюры. — Небось перед Хансеном выслужиться захотел?»

Станде немножко стыдно — и вправду, не следовало ему выскакивать первым, на глазах у всех, и, конечно, это пришлось им не по душе, — новичок, откатчик, а туда же, вперед всех суется, будто без него не обойдутся! Ну погоди, ужо внизу поглядим, каков ты есть!

Станда украдкой, неуверенно поглядывает на остальных, но его никто не замечает. Дед Суханек сует тощие ноги в рабочие штаны, заправляет рубашку и радостно тараторит о том, как было дело пятнадцать лет назад. Да-а, их там осталось сто семь, куда покрепче тогда трахнуло; мы вытаскивали их на-гора по частям...

Адам сидит с ботинком в руке, смотрит куда-то в пустоту, и на длинной шее у него прыгает кадык, но вот он махнул рукой и натягивает тяжелый заскорузлый опорок. Пепек еще голый, он скребет себе спину и объясняет молодому крепильщику что-то насчет жульнических порядков на шахте, о пройдохах уполномоченных и так далее; узловатые мышцы на руках и бедрах так и перекатываются у него под кожей, он весь черный и мохнатый, точно собака, и от него разит потом... зато Пепек настоящий крепыш, ничего не скажешь; Мартинек благодушно смотрит на него сверху вниз голубыми глазами, почесывая золотые завитки на выпуклой груди; боже, какой он красивый! — любуется Станда, затаив дыхание; такое сильное, спокойное тело, широкие плечи, руки и ноги могучие, словно бревна... Станде вдруг становится ужасно стыдно своего длинного белого тела, своих вялых мышц на руках и узкой грудной клетке. «Какой я мужчина», — малодушно думает он и поспешно набрасывает на себя рабочую рубашку, но, выпростав голову из ворота, он видит, что крепильщик Мартинек по-детски улыбнулся ему всем своим круглым лицом. Станда обрадовался. «С Мартинеком я подружусь, — думает он уверенно. — Сколько ему может быть лет? Тридцать, не больше...» Каменщик

Матула сопит, сражаясь со своей рубашкой; брюхо у него обвисло мешком, грудь словно у женщины, спина широкая, сильная, заплыла салом... Станда морщит нос, так ему противно. Чистый бегемот, ему бы еще только захрюкать. Наконец Матула всовывает свои толстые, словно надутые воздухом руки в рукава и натягивает грязную рубаху; из ворота показывается щетинистая башка и одутловатое лицо; теперь он сидит, отдуваясь, совершенно изнеможенный. «Боже мой, — недовольно рассуждает Станда, — и этот пьяный боров пойдет с нами! Да и вообще мы на героев не похожи; от нас так несет потом и вонью; и это называется спасательная команда! Ничтожная горсточка шахтеров — в огромной душевой нас и не видно! А еще говорят о спасении человеческой жизни! Почему не пошлют больше? Надо бы опустить в шахту всех четыреста пятьдесят углекопов с «Кристины», пусть все сражаются с подземными силами за своих товарищей! Господи, какой будет толк от нас, от этой жалкой кучки!» — думает Станда, и душа у него уходит в пятки.

Но уже появился десятник-запальщик Андрес, по прозвищу «пес»; на нем такая же измятая одежда, как и на остальных, и такая же пропотевшая заскорузлая шапка, но он задирает нос и взглядом пересчитывает людей. Первая спасательная мгновенно замолкает. Каменщик Матула захрипел, взглянул на «пса» Андреса налитыми кровью глазами; он сжимает и разжимает опухшие кулачищи, точно хочет задушить запальщика. Тот скользнул по Матуле взглядом, но форса не сбавил.

— Готовы?

— Ага, — ответил за всех дед Суханек и вежливо осклабился беззубыми деснами.

— Берите лампы и пошли.

Шахтеры идут цепочкой к клети, помахивая тяжелыми лампами. Над лесом, за отвалами и заборами, стоит золотое послеполуденное солнце; Станде хочется остановиться, — ведь это, может быть, в последний раз! На сердце у него грустно и сладко, но ему приходится почти бегом догонять остальных. Выходит толстый замасленный машинист и смотрит на них.

— Бог в помощь, ребята! — кричит он шахтерам.

— Бог в помощь...

Клеть уже ждет, они набились в нее — можно спускаться. Кто-то протягивает им руку.

— Бог в помощь, молодцы, возвращайтесь!

Клеть проваливается, но еще видно, как наверху у канатов несколько человек в синих блузах поворачиваются и подносят руку к козырьку.

— Бог в помощь!

— Бог в помощь!

У «пса» Андреса твердеет лицо, дед Суханек шевелит губами, точно молится, а клеть летит вниз в черную шахту. У Станды на глазах навертываются слезы, все происходит так торжественно и печально, будто при последнем прощании. Даже Пепек хмурится и молчит; Адам смотрит куда-то ввалившимися глазами, но, вероятно, ничего не видит; Матула тяжело пыхтит, и только круглое, ясное, несколько сонное лицо крепильщика спокойно сияет. Клеть падает стремительно, и у Станды словно отрывается сердце и летит вниз, все глубже и глубже. А черные стены бегут и бегут вверх, и усиливается тяжесть в ногах и духота; горсточка людей с мигающими лампами спускается все ниже — и конца не видно этому спуску. «Не может быть, — ужасается Станда, — шахта никогда не была такой глубокой, мы падаем уже так долго! А вдруг все это мне только снится?» — приходит ему в голову, он тайком щиплет себя за руку и на мгновение закрывает глаза; но по-прежнему бегут вверх отпотевшие стены и тускло поблескивают капельки воды в свете мигающих ламп; по-прежнему крепко стиснуты челюсти Андреса, дед Суханек беспрерывно шевелит беззубым ртом, а Адам смотрит невидящим взором бог весть куда; только крепильщик Мартинек подмигнул Станде как старший товарищ и дружелюбно, чуть смущенно улыбнулся, — ничего, дескать, сейчас будем на месте, — или что-нибудь в этом роде. Станда переводит дух. Клеть замедляет ход и останавливается с мягким толчком; кто-то открывает ее снаружи и говорит:

— Бог в помощь!

У двери стоят двое носилок и толпятся люди.

— Бог в помощь, ребята!

— Бог в помощь!

Здесь это приветствие звучит как-то многозначительней, чем наверху, Станда с трудом его произносит; и эти носилки, и люди с красным крестом на белой нарукавной перевязи... Какой-то десятник подходит к Андресу, и они идут рядом, покачивая лампами; на рудничном дворе стоят

ряды пустых вагонеток; Станда никогда еще не видел шахту такой мертвой и странной. Да что здесь: здесь еще светят на потолке электрические лампочки и бегут вдаль, словно бусинки, нанизанные на нитку; бригада выравнивает шаг и идет, идет между рельсами по бесконечному сводчатому коридору; дед Суханек пустился в разговор, Пепек Фалта насвистывает сквозь зубы. Иногда встретится человек с лампой, постоит.

— Бог в помощь!

— Бог в помощь! — отвечают ему.

Вот и перекресток. Десятник с лампой останавливается.

— Ну, мне пора назад. Бог в помощь, ребята!

— Бог в помощь!

«Пес» Андрес выходит вперед — маленький командир, ведущий свой отряд в окопы. Только сабли в руке не хватает этой сволочи. Здесь нет ни кирпичной облицовки, ни цепочки огней; Станда неуверенно косится на деревянную обшивку — потолок что надо, крепь органная, в конце концов, кажется, не так уж плохо, — подбодряет себя Станда. Поворот в боковой штрек, перегороженный вентиляционной дверью. Бледный длинный человек отпирает ее.

— Бог в помощь!

— Бог в помощь!

— Вот и восемнадцатый! — восклицает дед Суханек. — Мы тут делали проходку двадцать лет назад. Ох, и гиблый штрек был, почва то и дело вспучивалась... и теперь еще выпирает.

Стоит гнетущая духота, Станда обливается потом, по лбу Матулы тоже стекают тяжелые капли; Пепек вытирает нос тыльной стороной ладони, круглое лицо крепильщика Мартинека блестит, как масляный блин.

— Жарко, правда? — спрашивает он у Станды с улыбкой, будто идут они полевой дорогой под палящим полуденным солнцем и на них веет зноем и запахом хлеба от высокой ржи; но там все-таки порой налетит легкий ветерок, освежит лицо, а здесь — давит неподвижный воздух.

Чуть не падая, Станда вытирает лоб шершавым рукавом, а дед Суханек, сухонький и сморщенный, как пустой кисет, между тем семенит вперед и без умолку весело болтает о чем-то. Адам идет, понурив голову, и лицо его

поблескивает, точно дубленая кожа, а «пес» Андрес кажется еще более злобным и высохшим, чем когда-либо. Огонек его лампочки мигает все дальше, точно погружаясь в бесконечную тьму, но все снова и снова возникают перед ним косые пары стоек, с распорок и перехватов свешиваются белые сталактиты, шапки и бахрома подземных лишайников и плесени, и ход опять замыкается, точно валится на тебя; тебе остается лишь, спотыкаясь, шагать вперед и вперед вслед за трепетным огоньком.

Вдруг запальщик Андрес покрутил лампой, как бы подавая сигнал.

— Гляди в оба, — спокойно предупреждает крепильщик Мартинек.

С кровли свешивается треснувшая перекладина; высокому Адаму приходится согнуться, чтобы не разбить себе лоб; за ней другая, третья, целый ряд поломанных балок. У Станды внутри все похолодело: теперь, должно быть, дальше нельзя — обвалится!

Он ждет — сейчас все станут и скажут: «Тут мы не пройдем, баста!»

Однако Адам только согнулся больше обычного и двигается дальше, крепильщик опустил широкие плечи, огромный Матула пыхтит позади Станды — лезь же, парень! — а прыгающий огонек Андреса неумолимо ввинчивается в темноту. Уже и Станде приходится нагибаться под продавленной кровлей, он боится взглянуть вверх, где под тяжестью осевшей кровли провисают обломки сланца, — ведь все это может обрушиться, и нас засыплет! Конечно, засыплет: вон сколько камней уже валяется на полу и на рельсах — пустая порода сыплется между лопнувшими затяжками! «Я дальше не пойду!» — хочется заявить Станде; а огонек Андреса все так же быстро бежит вперед, но уже не ровно, а как-то петляя и подпрыгивая, мелькая то там, то здесь; Адам и крепильщик, согнувшись, тоже движутся быстрее, все ближе за спиной тяжелое сопение каменщика Матулы. Станда бежит рысью, перекидывая тяжелую лампу из руки в руку, ему хочется вытереть платком пот, заливающий глаза, да некогда; скорей, скорей бы уж пройти этот штрек! Черт возьми, тут и стойки-то все полопались, выпали из стен, как сломанные лучинки, кровля обвисла и держится лишь на этих обломках — и куда только ведет нас этот Андрес! Станда готов заплакать от страха, но надо идти,

спотыкаться о груды камней, чтобы его не протаранил лохматой башкой согнувшийся в три погибели Матула, тяжело пыхтящий за спиной. И вдруг сам Станда уткнулся носом в широкие плечи крепильщика Мартинека.

— Дальше нет хода? — вырвалось у Станды.

— Есть, — спокойно отвечает Мартинек, протискивая плечи и зад между торчащими бревнами. — Придется здесь чинить.

Станда не в состоянии представить себе, как можно все это привести в порядок: с обеих сторон разрушенная бревенчатая обшивка, лопнувшие пополам стойки, раздавленные нависшей кровлей, которая всей тяжестью лежит на трескающихся подлапках. «Да мы никогда не выберемся отсюда, — с ужасом чувствует Станда, — нас того и гляди задавит!» И он втягивает голову в плечи, по спине у него струится пот, ноги как-то странно подгибаются, слабеют с каждым шагом; а впереди по-прежнему бодро подмигивает пляшущий огонек Андреса. Господи, и когда только конец этому путешествию!

Вот огонек остановился и сигналит: «пес» Андрес ждет остальных.

— Ну как? Все тут?

Что теперь будет? Вон на перевернутой вагонетке сидит инженер Хансен, подперев голову руками. Андрес пересчитывает взглядом своих подчиненных и сухо приказывает:

— За мной!

И, четко отбивая шаг, он подходит к инженеру Хансену, щелкает каблуками и, с лампой в левой руке, вытягивается по-военному.

— Бог в помощь! — официальным тоном рапортует он.

Ханс поднял голову, на испачканном носу у него сверкают бисеринки пота, а на лбу под кожаным козырьком синяки, — будто он с кем-то подрался.

— Явился в ваше распоряжение десятник подрывников Андрес с командой. Забойщик Адам, забойщик Суханек, крепильщик Мартинек, подручный забойщика Фалта, каменщик Матула и откатчик Пулпан.

«Ну и болтун!» — пристыженно думает об Андресе Станда.

Ханс привстал, приложив руки к козырьку.

— Gut. Gut.

Станда выпрямился по-солдатски, дед Суханек даже моргать перестал, великан Мартинек смущенно вытягивает свои ручищи по швам, сам Пепек с усмешкой выпячивает грудь; только Адам смотрит куда-то в угол, а Матула налитыми кровью глазами пожирает бравого Андреса. Хансену хочется что-то сказать, но бедняга не знает чешского языка, поэтому он лишь растерянно улыбается чумазой рожицей, кивает головой и повторяет свое «gut».

— Ну конечно, гут, — отвечает дед Суханек, и все кивают; Ханс — славный парень, его все любят. Сейчас он что-то говорит, скорей всего по-шведски, и показывает длинной рукой в завалившийся угол, перед которым только что сидел.

— Ай-ай! — вырвалось у Пепека.

— Вот так штука, — сказал с видом знатока Суханек и присел на корточки к завалу.

Что там такого — просто груда обломков, — смотрит Станда, — изломанные бревна, перемешанные с камнями; вот торчит что-то вроде расщепленной стойки, сверху нависла глыба, которая держится только на двух надломленных перекладинах...

Дед Суханек встал и затянул потуже ремень брюк.

— Погляжу-ка я, что там такое, господин инженер, — говорит он. — Я-то знаю, что к чему в «Кристине».

Хансен хоть и не понимает, но, вероятно, догадывается, о чем речь, он что-то произносит, постукивая пальцем по плечу деда.

— Ладно, ладно, — соглашается Суханек, — я осторожно. Обушок, ребята, я постучу тем троим...

Станда начинает соображать, что это и есть, должно быть, тот самый заваленный штрек. Можно будто бы, как говорил Старик, пробраться по нему до самого конца; но теперь тут, видно, все окончательно обрушилось и ничего нельзя сделать. А тем временем дед Суханек становится на четвереньки и просовывает лысую голову в щель под двумя заклинившимися бревнами.

— Ничего, дело пойдет, — бормочет он.

Вот он уже влез в расщелину до поясницы, дернулся несколько раз — и дедовы опорки исчезают на глазах изумленного Станды в беспорядочной груде обломков крепи.

Пепек Фалта снимает пиджак и рубашку, кладет их на опрокинутую вагонетку; от него нестерпимо несет резким запахом пота. Станда не может представить себе, что же они будут тут делать; пока все только растерянно оглядывают этот хаос; тут настолько тесно, что и не повернешься. Крепильщик Мартинек смотрит голубыми глазами на перепачканного Ханса.

— Господин инженер, — медленно произносит Мартинек, показывая назад толстым большим пальцем, — мы с Матулой можем пока вон там кровлю подбить.

Хансен кивает головой, — смотри-ка, значит, он все понимает! Мартинек стаскивает с себя пиджак и с трудом расстегивает толстыми негнущимися пальцами пуговку у ворота рубашки, при этом он смотрит вверх на полопавшиеся перекладины.

— Силища-то какая, — говорит он с мальчишеским восхищением и не может удержаться, чтобы не коснуться кровли ладонью. — Вот так сила, братцы, — изумляется он, и на лице его сияет счастливая улыбка. — Ну пошли, Матула, будем ставить подпорки.

Матула неохотно отрывает взгляд от «пса» Андреса и, хрипло пыхтя, вразвалку идет за крепильщиком. «Он, верно, пьян», — думает Станда.

А запальщик Андрес все еще стоит навытяжку перед Хансеном, видимо ожидая распоряжении; Адам стаскивает с себя рубашку; Пепек уже поплевал на ладони и начинает выбирать камни из груды обломков.

— Постой, — басит Адам, пытаясь сдвинуть какое-то торчащее бревно.

Андрес вдруг бешено накидывается на Станду.

— А вы что, ворон считать пришли? Марш носить вон те камни!

— Куда? — неуверенно спрашивает Станда.

Запальщик даже зашипел при виде такой беспомощности.

— Пойдем, — рявкнул он и отвел Станду шагов на тридцать по штреку. — Сюда. И складывать ровным штабелем, понятно? Уголь отдельно, пустую породу вот туда.

Станда снял пиджак и принялся таскать камни, обливаясь потом. «Как каторжник, — сказал он себе. — И это называется спасать человеческую жизнь!».

VIII

У него уже болит поясница, руки разбиты в кровь этими камнями; между лопатками по спине струится пот, щиплет глаза, щекочет ноздри и жжет губы; Станду мучит жажда, он пил бы и пил, шумно втягивая в себя воду. Он уже давно сбросил взмокшую рубаху, теперь штаны прилипают к тощему заду! Непременно какой-нибудь чирей вскочит, — бегаю весь потный с этими камнями! Разве не видит Хансен, как я надрываюсь? А тут вдобавок пришел «пес» Андрес, пнул камни и кричит:

— Это, по-вашему, штабель?! Это куча навозная! Точно метр на метр, и чтоб углы были прямые!..

А Адам с Пепеком тем временем тихонько переговариваются у груды обломков:

— Постой, я немного подрублю...

— Шевельнулось? Ну-ка, погоди...

— Я держу, давай! — пыхтит Пепек, и мышцы у него вздуваются буграми.

Адам прямо сверлит своими впалыми глазами заклиненные обломки и расщепленные бревна; все здесь уже принимает другой вид, появляется отверстие, в которое можно вползти на четвереньках. Издалека доносятся удары по бревнам и скобам — должно быть, это Мартинек с Матулой. «Пес» Андрес усердно бегает от Мартинека к Адаму, торчит над Пепеком, снова обнюхивает кучу камней у Станды, чтобы не стоять без дела; Хансен прислонился к лопнувшей стойке и прикрыл глаза — видимо, прислушивается; над головой иногда так странно потрескивает и шумит, словно где-то с шорохом сыплются камни. «Как бы с ним чего не случилось», — заботливо, как женщина, думает Станда, — о себе он уже почему-то совершенно забыл. Человек ко всему привыкает.

— Погоди-ка, — громко говорит Адам и оборачивается к Андресу. — Суханек что-то запропастился.

Запальщик Андрес остановился как вкопанный, Хансен отлепился от стены, и оба прислушались. Тишина. Слышен лишь визг пилы, и снова шорох, словно сыплются камни.

— Я, пожалуй, полезу погляжу, — нерешительно произносит Адам и озабоченно моргает. — Пора бы ему вернуться.

У Андреса снова твердеет лицо.

— Идите посмотрите, что с ним.

Адам на четвереньках лезет в дыру, вот он втянул свои длинные ноги; только слышно, как он возится где-то в глубине. Станда наклонился было за очередным камнем, но Андрес метнул на него сердитый взгляд и прошипел:

— Тише!

Что ж, тише, так тише; Станда бессильно прислоняется к стене и прикрывает глаза. Вот, значит, и все. Никакой доблести, никакого «положить жизнь», только камни таскай, как раб...

Опять зашуршало, теперь ближе, из щели между вздыбившимися стойками высунулись опорки Адама.

— Подай к а й л о , — глухо донеслось из дыры.

Пепек мигом подает кирку, и опорки втягиваются внутрь. Станда вопросительно поглядывает то на Хансена, то на Андреса — что-нибудь случилось? А Мартинек между тем преспокойно работает топором. Из отверстия доносится осторожное постукивание и возня; «пес» Андрес присаживается на корточки у дыры и прислушивается с суровым, напряженным лицом.

— Может, Станде сбегать за носилками? — вдруг предлагает Пепек, но Андрес отрицательно качает головой, не переставая слушать, вдруг он быстро, как барсук, сам влезает в дыру.

Едва исчезли его ноги, как следом за ним ползет и инженер Хансен...

— Случилось что-нибудь? — с замирающим сердцем спрашивает Станда.

— Видно, деда з а с ы п а л о , — цедит Пепек сквозь зубы. — И на кой черт старый хрыч полез туда. — Пепек злобно оторвал щепку от разбитой стойки, потуже стянул ремень на ж и в о т е . — Надо поглядеть. Погоди тут.

И протиснулся в дыру за остальными.

Теперь Станда остался один на один со своим бьющимся сердцем. Деда засыпало. Каких-нибудь полчаса назад он засучивал здесь рукава... Опять затрещало где-то в кровле; да нас всех засыплет! Станде жутко и тоскливо; он прислушивается у дыры, светит в нее лампочкой — ничего, кроме мешанины из дерева и камней. Бух, бух! — долетают глухие удары с той стороны, где работает Мартинек. Станда побежал туда, не думая больше о лопнувшей обшивке. Крепильщик Мартинек забивает кувалдой толстую подпорку под треснувшую переклади-

ну. Матула, приподняв ее жирным плечом и поддерживая своей бараньей головой, тяжело пыхтит.

— Еще немного, — спокойно говорит крепильщик и бухает большим молотом так, что содрогаются верхние переклады.

— Суханека засыпало, — еле переводя дух, сообщает Станда.

— Да ну? — слегка удивляется крепильщик. — Давай-ка еще малость...

Лампочка освещает крепильщика снизу; видно, как при каждом взмахе кувалды высоко поднимается его грудная клетка. Матула тяжело дышит, подпирая разбитое бревно тучным загривком; при каждом ударе кувалды он весь сотрясается и внутри у него что-то покряхтывает; над головой трещит крепь и хрустят раздробленные камни, но Матула, лоснящийся от пота, держит, упираясь широко расставленными ногами, — еще раз, бух, теперь можно отпустить...

Крепильщик Мартинек поглаживает ладонью круглую балку.

— Так, ладно, — говорит он своим мягким, каким-то приглушенным голосом.

Каменщик Матула растирает опухшей ручищей мокрый затылок и, хрипя, переводит дух.

— Нам тут работенки хватит, — объясняет крепильщик, любовно оглядывая две пары рухнувших стоек. — Зато держать будут.

И, вытирая ладони о штаны, Мартинек отправляется за новой подпоркой.

— Суханека засыпало, — повторяет Станда Матуле.

Каменщик поднимает налитые кровью глаза.

— Ты уже говорил.

— Нас всех засыплет!

— Это почему же?

Почему? Станда не знает, как объяснить этакому тупому волу; разве тот не слышит, как потрескивает и шумит над головой? Весь штрек завалит...

— Весь штрек завалит... — лихорадочно лепечет Станда.

Тут возвращается крепильщик с кругляком на плече.

— Не завалит, дружок, — говорит он невозмутимо, — наша крепь выдержит.

— Что ж вы, не слышите, как трещит все время?

— Мне слушать некогда, — усмехается Мартинек. — Ну, Матула, давай теперь эту...

Станда в смятении бредет к завалившемуся ходу. Пепек уже вылез оттуда и вытаскивает теперь из дыры осыпавшиеся камни.

— Что там? — поспешно спрашивает Станда.

— Не знаю, — угрюмо ворчит Пепек. — Там можно ползти только друг за дружкой... Кровля ломается...

— А что Суханек?

— Да они пошли за ним, — недовольно отвечает Пепек. — Подай-ка мне кайло!

«Тупицы, тупицы! — в отчаянии думает Станда. — Засыпало человека, а им хоть бы что! И поговорить ни с кем нельзя... Боже, что мне делать?» Опять зашумело в кровле; но Пепек даже не поднял головы — он раскачивает киркой застрявшую глыбу, так что спина у него взгорбилась от усилий.

Станда удрученно вздохнул, нагнулся за камнем и потащил его к штабелю. Так — уложить ровно, чтобы углы были совершенно прямые. Класть камень на камень как можно ровнее... Пусть теперь попробует Андрес сказать, что штабель похож на навозную кучу! Станда с каким-то удовлетворением оглядывает свою работу. Еще немного — и будет ровно кубометр. И откатчик Станда носит камень за камнем и ни о чем другом больше не думает.

IX

Из расщелины задом выползает Хансен и отряхивает костюм.

— Js gut[1], — отвечает он кивком на вопросительный взгляд Станды и по-детски улыбается.

Теперь вылез «пес» Андрес; лицо у него смягчилось, стало даже какое-то дряблое, как шляпка старого гриба.

— Вытащили деда, — говорит он, ни на кого не глядя. — Там кровля обрушилась, он не успел выбраться...

И он идет посмотреть на работу Станды, но не ругается, только чуть кривит рот.

— Ладно, работайте быстрее, чтобы место очистить!

---

[1] Хорошо (*искаж. нем.*).

Для Станды эти слова звучат почти похвалой; он уже, собственно говоря, совсем не сердится на запальщика. Пес и есть, ничего не поделаешь, но когда он видит хорошую работу, так хоть признает это и не лается.

Из дыры высовываются длинные ноги Адама; вот он уже весь тут и поднимается с трудом, точно распрямляется по частям. Он взмок от пота и едва стоит на ногах.

— Теперь отдохните малость, — ворчит «пес» Андрес каким-то совсем другим тоном, и Хансен говорит что-то Адаму по-шведски с таким видом, будто собирается похлопать шахтера по плечу. Адам вытирает под глазами — столько там набралось пыли и пота.

— Мало... места было, — еле произносит он и прислоняется к перевернутой вагонетке, потому что у него подкашиваются ноги.

Теперь появляется еще пара опорок, и медленно, на ощупь выползают наружу тощие ноги деда Суханека; он, видно, совсем выбился из сил и лежит теперь наполовину в дыре.

— Давай, давай, дед, — грубо подгоняет его Пепек и тащит старика за ноги.

Суханек наконец вылез и сидит на земле, гладя себя по плешивому темени, весь какой-то обмякший, слабый. Он часто дышит, и раскрасневшиеся щечки ходят у него ходуном.

— Так тебе и надо, чего полез? — сердито говорит ему Пепек. — Пошли, что ли, отведу тебя.

— Чего... чего я полез? — растерянно переспрашивает Суханек. — Я только постучать им хотел, понятно? Я эти места знаю.

— И могли там задохнуться, — сердится запальщик Андрес.

— А позади меня рухнуло, — тонким голоском возражает дед. — Вернуться-то я и не мог. Двигаю ногами, пресвятая троица, тут же дырка должна быть... а ее и в помине нету. — Дед Суханек засмеялся, обнажив беззубые десны. — Ну, нет ее и нет.

«Пес» Андрес наклонился к нему.

— Послушайте, Суханек, Фалта со Стандой вас проводят.

— Зачем? — удивился дед. — Я могу работать. Я только малость задохся там. — Дед Суханек неуверенно становится на трясущиеся ножки. — А где моя лампа?

— Там.

— Ай-яй-яй, — сокрушается дед. — Значит, там осталась...

И он опять опускается на колени и сует голову в щель.

— Куда?

— За лампой, — бормочет Суханек, а из дыры видна уже только одна дедова нога, но Пепек выволакивает старика обратно.

— Вот чертов дед!

— Ты чего?

— Да ведь там кровля рушится! Сиди и не рыпайся!

Дед Суханек сидит на земле, придавленный горем, и недоумевающе качает головой.

— Я забыл лампу! — шепчет он. — Пепек, у меня там осталась лампа!

Тем временем запальщик Андрес пробует объясниться с Хансеном по-немецки, но дело идет туго, судя по тому, как они оба размахивают руками. «Я мог бы переводить вам, — думает Станда, — но раз вы меня не приглашаете, ладно! Буду носить камни!»

Хансен усердно кивает головой и говорит теперь по-шведски; черт его знает как, но эти двое в конце концов начинают понимать друг друга. Немного подальше слышно, как Мартинек в штреке подбивает и крепит стойки.

— Слушайте, ребята! — Андрес оглядывается на своих подчиненных, но налицо лишь Адам, Станда и дед Суханек, который никак не соберется с силами. — Господин инженер говорит, что так мы в этот штрек не попадем. Надо по всем правилам сделать проходку, чтоб дорогу проложить.

— Там карманы с газом, карманы, — шамкает дед Суханек. — И знака никакого не подает, а просто вдруг — трах! — и валится. Я ничего не слыхал, и нате вам, вдруг всю задницу засыпало. Пресвятая троица, думаю, непременно это карманы.

— Прежде всего нужно здесь расчистить место и привести в порядок воздухопровод, — продолжал Андрес. — Чтобы тут чисто было, как в забое, понятно вам? Такое свинство нельзя оставлять, если делать проходку!

— Вспомнил! — радостно воскликнул дед Суханек. — Они стучали. Стучали! Я тюкнул обушком в стену, а они

ответили. — Суханек осекся. — Да где он, обушок-то? Я там обушок оставил!

«Пес» Андрес взволнованно обернулся к нему, нетерпеливо, отрывисто спросил:

— Суханек, вы уверены, что это они стучали?

— Ну да, стучали, — настаивал дед. — Всякий раз трижды: тут, тук, тук... Только я там обушок оставил...

— Значит, к ним поступает воздух, — с облегчением сказал Андрес. — Вот это здорово, черт побери!

— Ja, — кивает Ханс. — Gut.

Из обрушенного штрека доносится шум, и оттуда показываются ноги Пепека.

— Зачем вас туда понесло? — накидывается на него Андрес.

— Лазил посмотреть, — цедит сквозь зубы Пепек, выпрямляясь. — Получай свою лампу, дед.

Лицо деда морщится от радостного смеха.

— Вот анафема! А обушка там не было?

— Какого еще обушка?

— Слушайте, Фалта! — вскипает запальщик. — Если вы у меня еще раз выкинете такую штуку...

Пепек бросил на него разъяренный взгляд.

— Съем я, что ли, вашу дыру? — Он посмотрел на свое кайло. — Надо бы подпорки... за тридцатым метром. Там кровля обвисает... Можно только на брюхе проползти. — Пепек сплюнул и сделал вид, что вытаскивает из-под обломков какую-то расщепленную балку, а на остальное ему, мол, наплевать.

— Как будто я сам не знаю, что кровля там провисает, — бурчит Андрес, ни к кому не обращаясь. — Значит, проходку придется делать отсюда...

— Если бы там покамест подпорки поставить, — громко говорит Пепек в стену, — можно было бы начать проходку оттуда...

— Как бы не так, — обращается Андрес в потолок, — кто-нибудь туда влезет, а его сверху придавит...

Пепек опять сплюнул, продолжая возиться с балкой.

— Подумаешь, я бы сам поставил подпорки, — бормочет он как бы про себя, бесцеремонно повернувшись спиной к «псу» Андресу.

Ага, они поругались и теперь не разговаривают друг с другом!

— ...стану я всякого караулить, как же! — огрызается Андрес, ни на кого не глядя, и демонстративно направляется к Мартинеку.

— Пес! — довольно громко зашипел Пепек. — До чего надоел, сволочь этакая! Еще орать на нас вздумал...

Слышно, как Андрес отводит душу на крепильщике; тот спокойно отвечает высоким голосом...

— Ну как, — обращается Пепек к Хансену, — ставить мне пока там подпорки?

Ханс кивнул.

— То-то же! — признательно буркнул Пепек и благодарно сверкнул глазами в сторону Хансена. — Он тоже не боится. Станда, пилу! И просунь мне туда какое-нибудь бревно, понятно?

После этого он налил в ладонь масла из лампы и натер им себе шею и плечи.

— Ну, я полез, Адам. Если запальщик что скажет, передай ему — пусть поцелует меня в...

Адам кивнул, продолжая разбирать завал.

Дед Суханек все еще сокрушенно крутит головой.

— Первый раз такое случилось: чтобы я да инструмент когда где оставил — в жизни этого не было, тридцать лет не случалось такого, братцы... Я помогу тебе, Станда, — добавил он живо и принялся убирать осыпь; бедный дед со стыда сам себя понизил в ранге, теперь он, как откатчик, носит камни, ковыляет с ними, еле переводя дух...

— Сколько вам лет? — не удержался Станда.

— Пятьдесят пять. А зачем тебе?

— Просто так.

Деду можно дать все семьдесят, неужто шахта так сушит людей? Или тут другая причина?..

Вернулся запальщик.

— Послушайте, Андрес, — восклицает дед, выпустив из рук камень. — Коли тот обушок не найдется, тогда... пусть у меня вычтут...

«Пес» Андрес ничего на это не ответил.

— Давай, давай, ребята, — устало проворчал он. — Скорей бы до воздухопровода добраться...

После этого он присел у обрушенного штрека и прислушался. Конечно, Пепек там. И десятник хмурится как черт, того и гляди укусит.

X

Теперь Станда обнаруживает некоторый порядок в работе. Мартинек и Матула постепенно приближаются к крейцкопфу, подпорка за подпоркой — вот и ладно, друг, еще тут подпереть бы... Хансен подойдет, посмотрит, удовлетворенно кивнет и идет дальше; то тут, то там он поднимает блестящий чумазый нос к крепи и озабоченно смотрит — не ломаются ли дальше перекладины. Или остановится и настороженно прислушивается. Или опустит контрольную лампочку к полу — нет ли газа, а встречаясь взглядом со Стандой, подмигивает, будто хочет сказать: ничего, ничего, gut, пока все идет нормально.

Дед Суханек перестал тараторить и усердно разбирает завал; у него кривые, дрожащие ножки, но как много может сделать этот невзрачный человечек! Адам работает молча, неторопливо, но завалившийся штрек словно расступается перед ним; он уже продвинулся внутрь отверстия и, стоя на коленях, расчищает следующий метр прохода. Андресу, наверно, уже надоело, что и обругать-то некого, и он лезет к Пепеку; сейчас они где-то внутри, сердито ворчат друг на друга, лаются, словно два барсука в одной норе. В остальном здесь даже спокойно — нет ни спешки, ни суматохи; только работают люди так, что ног под собой не чуют. Смотри, вот как борются за человеческую жизнь; никакого геройства, — просто тяжкий труд.

В крейцкопф заглянул крепильщик Мартинек.

— Как делишки? — благодушно спрашивает он. — А нам новый лес везут.

Молодой гигант сел на опрокинутую вагонетку, довольно поглаживая широкой ладонью свои голые плечи, и голубыми улыбающимися глазами стал смотреть на незаметную, неторопливую работу Адама.

— Тоже ничего себе работенка, — заметил он через некоторое время.

Из дыры, пятясь, вылезает запальщик Андрес; уже по его заднице видно, что в нем все клокочет от ярости. Едва встав на ноги, он прицепился к Мартинеку.

— Вы что, глазеть сюда пришли? — рявкнул он.

— Ага, — спокойно отвечает Мартинек, даже не повернув головы.

— Марш на место! — срывающимся голосом заорал «пес» Андрес. — Вы здесь не для того, чтобы прохлаждаться, вы... вы...

За спиной у него хрустнуло, и Андрес обернулся, будто на шарнирах. Сзади стоит Матула, пригнувшись, как горилла, и глаза его налиты кровью; он грозно рычит:

— Что? Кто здесь, по-вашему, прохлаждается?

Запальщик прижался спиной к стене.

— Что вам надо? — резко спросил он и сжал кулаки.

— Господи боже, — вырвалось у Суханека, и от испуга он приложил пальцы к губам, словно девочка.

Молодой гигант даже не шевельнулся.

— Оставь его, Матула, — сказал он добродушно, будто речь шла о брехливой собачонке. — Это у него само пройдет...

Андрес отделился от стены.

— А вот я посмотрю все-таки, далеко ли вы продвинулись, — сказал он неестественно спокойным тоном и пошел, не оборачиваясь.

Каменщик Матула повернул за ним, как бык, и растопырил пальцы, готовый вцепиться в горло Андреса.

— Оставь его, — незлобиво повторяет Мартинек, продолжая поглаживать свои голые руки.

Как странно — даже здесь, в шахте, от Мартинека веет чистотой, он кажется каким-то золотистым, и невольно вспоминаются созревающие хлеба. Приветливо и чуточку сонно глядит он на медленную работу Адама. Тот все глубже вгрызается в штрек и даже не обернется; штаны у него постепенно сползают вниз по узким бедрам, на спине выпирают позвонки, но длинные неторопливые руки работают с такой уверенностью, что можно рот разинуть и глядеть, глядеть без конца.

Андрес возвращается надутый и мрачный.

— Надо бы добавить еще переклад к последней паре, — говорит он, ни к кому не обращаясь. — И как следует закрепить скобами.

— Надо бы, — отвечает крепильщик с невозмутимой приветливостью. — А который теперь час?

Запальщик достал часы в желтом слюдяном футляре.

— Скоро половина девятого, — буркнул он, по-прежнему ни к кому не обращаясь и ни на кого не глядя.

— Я, пожалуй, поставлю тут пару стоек, Адам, — говорит крепильщик Мартинек и сладко зевает.

Адам выпрямился, подтянув штаны на голом потном заду.

— Можно, — промямлил он равнодушно.

Запальщик Андрес переминается, хмурит лоб; вон как — ему явно дают понять, что в нем никто не нуждается!

— Пулпан, — раздраженно гаркает он, — полезайте к Фалте и скажите ему, что он может смениться.

— Пожалуйста, — поспешно отвечает Станда, но вдруг чувствует, что у него схватило живот, а к горлу подступает тошнота. Как, лезть в этот завалившийся штрек?.. Но ведь там уже были другие, правда?.. Ну да, были, и Станду засмеют, если он не пойдет: эх ты, сопляк, зачем же ты первым вызывался? Будь здесь хоть Хансен, он бы поглядел на Станду, кивнул бы, и тогда все пошло бы легче...

— Ну, идете, что ли? — ворчит Андрес.

Станда просовывает голову в черную дыру, сердце у него замирает, но кто-то дает ему пинка:

— Лампу-то возьми!

Станда пролезает на четвереньках под обломками, освещая себе путь лампой; он пробирается по грудам мелкого щебня, — иногда нужно ползти на коленях, иной раз можно почти выпрямиться; с кровли свисают лопнувшие балки, он ежеминутно натыкается на них то головой, то плечом. Вдруг он каменеет от ужаса: зашуршало прямо над головой!

— Пепек! Пепек! — зовет он в отчаянии. — Пепек, сейчас все упадет! Иди назад, Пепек!

«Вернусь, не могу дальше, — думает обливающийся потом Станда, распластавшись на острых камнях. — Нет, я должен предупредить Пепека, иначе его засыплет!» Станда ползет дальше; только бы ноги так не тряслись, только бы не подкашивались — ему кажется, что они стали какими-то ватными.

— Пепек! — кричит он слабым, плаксивым голосом.

И вот в довершение всего опрокинулась лампа — пшш! — и погасла. Станда лежит в непроглядной тьме и всхлипывает от страха. Теперь уже и в самом деле надо возвращаться, он пробует попятиться, но ноги его натыкаются на одни полуобвалившиеся стены. Станда готов завопить благим матом, призывая на помощь. «Господи, господи, хоть бы свет был! Пепек! Слышишь, Пепек!» —

Станда шарит руками в этой ужасной темноте, нащупывает впереди пустоту и лезет дальше; вот он наткнулся на кучу обломков — значит, точка, дальше пробраться невозможно. Станда со все возрастающим ужасом ощупывает камни — и вдруг до него доносится какой-то новый, на этот раз размеренный шорох.

— Пепек! — из всех сил кричит Станда, продвигаясь вперед ощупью; да... нет... да, вот расщелина, а за ней отверстие пошире; Станда протискивается туда, ободрав плечи, ползет на коленях и натыкается головой на кровлю; теперь шорох и стук слышны ближе, мигает тусклый свет.

— Пепек! — кричит Станда.

Шум прекратился.

— Что такое?

Станде становится легче. Теперь все равно, будь что будет, главное — там Пепек! Уже доносится резкий запах пота, уже виден дрожащий огонек; только сейчас Станда замечает, как судорожно вцепился он вспотевшей рукой в погасшую лампу — и пальцы не разогнуть.

— Пепек, — вырывается у него, — у меня лампа погасла!

— Ну так подай ее сюда, — отвечает Пепек и отодвигает свой зад несколько вбок, чтобы протянуть руку к Станде, так тут тесно между перекореженной крепью.

— Пепек, запальщик велел сказать, что тебе пора смениться.

— Да? — бурчит Пепек. — Можешь ему передать, пусть идет в болото. Я тут доделаю. Держи.

Станда берет зажженную лампу; он почти счастлив, что у него опять есть свет.

— Он с крепильщиком схлестнулся, — сообщает он радостно.

— Ну-ну, ври больше, — удивляется Пепек и, охваченный внезапным любопытством, перестает стучать по бревну. — А что же ему сказал Мартинек?

— Мартинек, — мигом придумывает Станда, — сказал ему... чтобы он на нас так не гавкал, что нам не нужно дважды приказывать...

— Хм, — невольно фыркнул Пепек. — Лучше бы он его по морде съездил.

И вдруг Пепек захохотал так, что у него затрясся зад.

— Станда, а я его, понимаешь, лягнул в самую харю! Он сунул сюда свой нос — и то и се, мол, не по-шахтерски сделано, и вообще... А я прикинулся, будто назад лезу, и как дам ему в зубы каблуком! Ну и плевался он... — Пепек завозился от восторга. — Скажу тебе, ради такого дела я и потерпеть готов... Который час?

— Половина девятого. А может, и больше.

— Значит, скоро сменимся, — соображает Пепек. — Ну, коли ты сюда добрался, постучи-ка им, хочешь?

— Кому?

— Ну, тем троим.

Пепек ловко пополз вперед, Станда не поспевает за ним; теперь ему уже не так страшно — он видит перед собой ноги Пепека и его спину; он только удивляется, до чего длинный этот ходок.

— Здесь осторожнее, — предупреждает Пепек и ползет на коленях вперед. — Здесь того и гляди обрушится.

И он лезет все дальше, на животе, боком, как придется. Но вот Пепек остановился.

— Ползи поближе, — говорит он таинственно, словно играет в какую-то детскую игру. — Теперь, чтобы достать, перелезай через меня...

Станда перебирается на животе через твердое потное тело Пепека, потом светит перед собой — сплошной завал.

— Стучи здесь, — показывает Пепек. — Возьми обломок и бей в это место.

У Станды дрожит рука, и он еле удерживает камень.

— Слышишь? — взволнованно спрашивает Пепек.

У Станды только кровь шумит в ушах.

— Не слышу, — выдыхает он сдавленно.

— Попробуй еще разок, ну... Сейчас... Сейчас они подают сигналы, — вне себя шепчет Пепек.

Тик-тик-тик — точно где-то тикают часы. И снова: тик-тик-тик. Станда от волнения чуть не съехал с Пепека. Значит, они и вправду там! Живые люди — и они отвечают на сигналы Станды! Точно он им руку подал, почти что говорил с ними — тик-тик-тик... Станда с силой бьет в свод: да, я здесь, все здесь — я и Пепек, инженер Хансен и крепильщик Мартинек, вся первая спасательная! Бух-бух-бух — стучит Станда в стену. Вы слышите нас? Не бойтесь, мы придем за вами; если бы даже мне пришлось разгребать эти камни голыми руками... Тик-тик-тик...

— Слышишь, Пепек, они отвечают! — восхищенно шепчет Станда. — Скажи, что мы им поможем, Пепек, что мы их там не оставим!..

— Слезай-ка лучше, — кряхтит Пепек.

Станда неохотно сползает с мокрой спины Пепека; ему хочется постучать еще раз этим людям, громко и медленно, так громко, чтобы они поняли; помощь близка, здесь первая спасательная. Мы уже идем к вам и будем биться с этой стеной, перетаскаем все камни, руки обдерем до костей; вот она, вот — наша рука, товарищи, погребенные заживо; не может, не может того быть, чтобы мы вам не помогли!

— Отполз? — осторожно спрашивает Пепек, шаря позади себя ногами. — А то как бы в рожу тебе не угодить.

— Погоди минутку, — просит Станда; он встал на колени и смотрит восторженными глазами на спину Пепека. — Скажи, Пепек, ты сделаешь все, чтобы им помочь? Понимаешь, мы все, вся первая спасательная... Понимаешь, Пепек... мы им... поклянемся в этом... пусть даже их спасение будет стоить нам жизни!

— Ладно! — ворчит Пепек, и его зад каким-то удивительным образом выражает крайнее нетерпение. — Когда кончишь вздор молоть, скажи. Сыпь назад, эх ты...

Станда молча пятится в узком ходке.

— Пепек, — спрашивает он спустя некоторое время, — а свет у них есть?

— Лампы-то есть, да, понятное дело, и они когда-нибудь догорят.

Станда вздрогнул.

— Ужас! В этакой темнотище!.. Пепек, как, должно быть, страшно — ждать в такой темноте!

— Гм, — отвечает Пепек. — Послушай, отползай-ка подальше, здесь, кажись, обвал будет.

Но Станда, очевидно, не слышит.

— Пепек, Пепек, мы не имеем права оставить их там!

XI

Когда Станда и Пепек вылезли в штрек, с инженером Хансеном и Андресом стоял какой-то коренастый человек и размахивал руками. Мартинек уже надевал рубашку,

Адам, бережно отложив кайло, подтягивал штаны... Коренастый человек обернулся — это был сменный мастер Пастыржик.

— Бог в помощь, ребята, — сказал он, — мы пришли вас сменить. Ну, как там дела?

Станда расстроился вконец. Значит, другая команда вырвет у нас кусок изо рта, когда мы сделали самую тяжелую работу; теперь они спасут тех троих — так всякий дурак сумеет! Но я бы им сказал! Я бы так и сказал: можете убираться к чертям собачьим, мы пришли сюда первые и доведем работу до конца; первая спасательная сама выведет своих засыпанных. Мы выдержим здесь хоть до утра.

Станда оглядывается на остальных, но Адам равнодушно всовывает длинные руки в рукава, Пепек вытирает потную грудь подолом рубахи, а Мартинек тщетно пытается застегнуть пуговку под подбородком; его молодое круглое лицо — ясное, сонное.

Внезапно появляется высохший человек с уныло обвисшими белокурыми усами; он щелкает каблуками перед Хансеном и сменным мастером, в левой руке у него лампа, правая вытянута по швам.

— Бог в помощь, — хрипло докладывает он. — Рапортует участковый десятник Казимоур с командой. Фалтыс Ян — забойщик, Григар Кирилл — забойщик, Вагенбауэр Ян — крепильщик, Кралик Франтишек — подручный забойщика, Кадлец Иозеф — помощник крепильщика, Пивода Карел — откатчик.

Шесть человек кое-как выстраиваются, Хансен быстро окидывает всех взглядом, кивает головой и подносит руку к кожаному козырьку.

— Gut, Gut.

Вид у него очень утомленный, под глазами — черные круги...

— Ну, что там? — тихонько спрашивает Григар у Адама.

Адам, мигая, глянул исподлобья, ему хочется что-то сказать, да слова с языка не идут; он только хрипло откашлялся и махнул рукой.

— Дело дрянь, — угрюмо говорит Пепек. — Сплошь газовые карманы. Сказать тебе по совести — в такую паршивую дыру лазить мне еще не приходилось. Осторожнее на пятидесятом метре, ребята.

— Суханека-то засыпало, — как-то хвастливо вырвалось у Станды.

— Да? — безучастно отозвался Григар и начал снимать с себя пиджак.

А Мартинек между тем что-то показывает в крепи другому крепильщику; оба чешут затылки и то и дело двигают на голове плоские шапки — разговор, по-видимому, чрезвычайно интересный.

— Ну, пошли, что ли, — гаркнул Пепек и направился в темный штрек, вяло помахивая лампой.

Дед Суханек, не пикнув, засеменил следом.

— Я тоже иду, — воскликнул Мартинек и снова обернулся ко второму крепильщику: — Гляди, вот эту пару еще следовало бы подбить...

Матула, громко пыхтя, покорно ковыляет по штреку; Адам неторопливо бредет вразвалку, нагибаясь под надломившимися окладами; позади еле волочит ноги Хансен, и, отставая от него на шаг, выступает, как всегда подтянутый, «пес» Андрес. Станда вдруг чувствует ужасную усталость, он то и дело клюет носом; неужели мы там пробыли всего три часа? Хорошо еще, что ноги идут сами, а в голове осталось настолько соображения, чтобы, не глядя, нагибаться под провисшими перекладинами. Семь дрожащих светлячков движутся разорванной цепочкой по бесконечному черному коридору. Господи, и это наша бравая команда! У одного бессильно отвис подбородок, другой еле плетется — в пору маменьке вести всех за ручку, — осторожнее, мол, не упади! Если уж Пепек примолк... Закрыть на минутку глаза — и ты их больше не разлепишь, вот до чего дошли! Никто не поверит, как могут доконать человека три часа такой работы... Станда идет, перешагивая через рельсы и огибая стоящие вагонетки, но даже не замечает этого; от усталости ему грустно до слез. Его догнал Мартинек и молча идет рядом; глаза у него закрыты, точно он спит.

— Однако и досталось нам, — произнес он наконец и положил широкую ручищу Станде на плечо. Станда выпрямился и несколько прибавил шагу. Как когда-то в детстве... они шли откуда-то с престольного праздника; маленький Станда уже еле перебирает ножонками, отстает; папочка... папочка берет его за ручку — ну-ка, подбодрись... Отец чуточку прихрамывает, а Станда с гордостью

цепко держится за его палец. Видишь, как славно зашагали, пошло дело на лад...

Станда удивился и широко раскрыл глаза. Что, мы уже у клети? Здесь ждет какой-то человек и спрашивает, как там дела.

— Лучше нельзя, брат, — бурчит Пепек и вваливается в клеть.

Сколько народу сюда набилось — Станда никак не может пересчитать; голова сама опускается на грудь, положить бы ее на плечо соседу, да и уснуть стоя. Мартинек уже спит, Адам сонно моргает; у бедного Хансена от усталости водянистые глаза того и гляди совсем растают; а клеть летит вверх по черной шахте, в черной ночи; может быть, она так и будет без конца подниматься все выше, все выше с этими семью утомленными людьми: никто и словечка не проронит, и клеть с людьми будет вечно лететь куда-то ввысь...

Они уже раздеваются, молча, неуклюже.

— Чтоб вас, — негромко ворчит Пепек, разглядывая свои порванные носки; Адам уставился в пол, забыв разуться; Мартинек поглаживает затылок и широко зевает... И тут приходит старый Томшик, по имени Винца, уборщик в душевой, и чем-то звякает.

— Что у тебя там, Винцек? — осведомляется Пепек, оторвавшись от своих носков.

— Это вам посылает сам господин управляющий, — шамкает Винцек. — Коньяк. Коньяк...

— Черт тебя задави! — удивляется Пепек. — Ребята, вот это да... Давай сюда!

Пепек разглядывает этикетку и пытливо обнюхивает пробку.

— Ну, братцы, скажу я вам... Старик — молодчина! Понимает, что к чему... Налей-ка ты, Винца, сам — у меня нынче руки как крюки.

Пепек уже поднял к свету стаканчик из толстого стекла с коньяком и задумался.

— Ну-ка, Винцек, снеси его Хансу, пусть он первый выпьет.

— Да господин инженер небось уже в ванне, — почти в ужасе отнекивается старый Томшик.

— Так неси ему в ванну — и живо, марш! Коли наш Старик может показать себя кавалером, то и мы не хуже, да. И скажи, что это ему посылает первая спасательная.

Томшик ушел, но спина его выражала глубокое неодобрение.

— А как вы думаете, — отозвался крепильщик Мартинек, — не следует ли послать и Андресу стаканчик? Как ты на этот счет, Адам?

Адам повел плечом.

— Раз он был с нами...

— Суханек!

— Ну, как запальщику, — пролепетал дед. — Думаю, и его можно почтить, верно ведь?

— А плевать нам, что он запальщик, — заявил Пепек. — Мы тут все добровольцы! Запальщик он или кто, нам какое дело!

— Я бы послал, — рассудительно сказал крепильщик. — Пес-то он пес, да в крепи толк знает. И от страху в штаны не наложил.

— Ладно, — буркнул Пепек. — Но ведь я о чем толкую: а вдруг он откажется? А наша команда этого не потерпит, вот что.

— Не откажется, — спокойно заметил Мартинек. — С чего бы ему отказываться?

— Чтобы покуражиться над нами. Не знаю, дело это не простое, — нахмурился Пепек. — Ты как думаешь, Матула?

Матула захрюкал в знак протеста.

— Как ты, Станда? — сказал Мартинек, и Станда обрадовался. Ага, его тоже спросили!

— Я думаю, — начал он, помедлив, чтобы высказать справедливое и вместе с тем беспристрастное мнение. — Андрес вызвался добровольно, как и мы...

— Десятник должен идти, чудило, — просветил его Пепек. — Какой же он был бы десятник, если бы не вызвался! Для него это обязанность, понял? Тебе, к примеру, вовсе не след было идти, потому как ты всего-навсего откатчик и желторотый птенец, да и платят тебе меньше... И соваться вперед всех тоже нечего было, — добавил недовольно Пепек. — Ты, брат, пока еще вовсе не шахтер, не мастер-плотник!

— Да Станда этого и не воображал, — миролюбиво вставил Мартинек. — Ты небось тоже делал невпопад, пока был парнишкой вроде него.

— Еще и не такие глупости откалывал, — проворчал Пепек, — но чтоб перед старыми углекопами задаваться — такого не было. Они бы мне, черт, таких затрещин надавали!

Станда сидел как ошпаренный. На языке у него вертелись десятки ответов, например, что, как человек образованный, он знает свой долг лучше всякого другого, или что дело шло о спасении человеческих жизней, он и не думал себя показать; но Станда промолчал, потому что от унижения у него словно ком застрял в горле.

— Попробуй только дай затрещину, — глухо пригрозил он Пепеку и низко наклонился над ботинком, чтобы никто не увидел слез, выступивших у него на глазах.

Крепильщик посмотрел на Пепека и кивнул головой в сторону Станды.

— Осел, — дружелюбно сказал Пепек. — Значит, Станда тоже за то, чтобы мы послали стаканчик запальщику. Как хотите, ребята, а я лично с этим Андресом уже посчитался.

— Господин инженер очень благодарит, — еще с порога весело проговорил старый Томшик.

— И выпил?

— Выпил. Залпом.

— А что сказал?

— Ничего. Сказал что-то вроде «скол» [1] и причмокнул.

— А он был в ванне?

— В ванне. Как раз намыливался.

— И ему понравилось?

— Понравилось. Dank fylmas [2] сказал.

— А ты объяснил ему, что из этого стаканчика еще никто не пил? — забеспокоился Пепек.

— Нет, не объяснил.

— Эх ты, — расстроился Пепек. — Может, ему было противно после нас! Тоже ты... Ты должен был сказать, что стакан чистый!

---

[1] ваше здоровье (*швед.*).

[2] большое спасибо (*искаж. нем.*).

— Теперь налей, Винцек, еще один, — сказал крепильщик, — и отнеси Андресу. Передай ему, что посылает первая спасательная и желает здоровья.

Команда раздевается, но медленно, больше для виду, на самом же деле все ждут, взволнованные, как мальчишки. Тишина, только вода каплет из крана, да Матула сопит и с хрустом чешет себе грудь.

— Ох, до чего же мне знать интересно, — вздыхает Пепек. — Он все-таки должен понимать, что тут его все терпеть не могут.

— Отчего же ему не выпить? — замечает крепильщик после долгих размышлений. — Коньяк это коньяк.

— Да ведь он «пес»!

— Есть такой грех! Зато за всем углядит.

— Правильно.

— И задается, — сплюнул Пепек. — Глаза бы мои на него не глядели, ребята!

Адам уже разделся и потихоньку идет под душ, чтобы начать свое бесконечное мытье. Мартинек, голый по пояс, положил руки на колени, закрыв сонные глаза. Деду Суханеку, видимо, холодно — он сидит скрестив руки на груди, как стыдливая девушка...

— Выпил, выпил! — спешит сообщить еще в дверях старый Томшик, приняв важный вид.

— А что сказал?

— Что очень благодарен и что, мол, пьет за здоровье первой спасательной.

— И не обозлился?

— Нет. Спросил, вправду ли, мол, это ему посылает команда? Верно ли?

— А ты что?

— А я сказал: ну да, господин запальщик, команда, и желают, мол, вам здоровья. Эту бутылочку послал сам господин управляющий.

— А он что?

— Заморгал этак и спрашивает, правда ли, Томшик?

— И что он сделал?

— Ну что ему делать! Вроде как усмехнулся — ладно, мол...

— И выпил?

— Выпил. Только рука у него тряслась, так что он штаны облил. А потом и говорит: «Скажите им, Томшик, что я благодарю всю команду». Да, и еще добавил: «Вин-

цек, ребята-то как черти работали». Господин Хансен будто бы сказал ему: вот это шахтеры, любо-дорого поглядеть!

Все столпились вокруг Томшика, упиваясь этими новостями; лишь каменщик Матула сидит и почесывается, уставя налитые кровью глаза в пол; Адам, намыливаясь в десятый раз, серьезно слушает.

— А какой он был при этом, Винца?

Старый Томшик не умеет объяснить.

— Ну какой... Вроде не ожидал, что ли. И спросил: вы не знаете, Томшик, кто это придумал? Не знаю, мол, господин запальщик, должно быть все сразу.

— Правильно сказал, Винца!

Команда необыкновенно оживилась, языки развязались.

— Ну вот, видишь!

— Нет, Андрес-то каков! Ручным скоро станет!

— Ребята, теперь мы!

Пепек перекинул через руку свою рубашку вместо салфетки и протянул стаканчик из толстого стекла деду Суханеку.

— Держи, дед, как самый старший. И радуйся, что ты еще на этом свете.

До сих пор об этом никто не упоминал.

У старика, когда он принимает стакан, дрожит рука.

— Обушок, вот что обидно, — лепечет он, пробуя коньяк. — Ну, ваше здоровье! — Он опрокинул стаканчик и поперхнулся. — Матерь божья, вот это да!

Пепек подносит стаканчик Адаму.

— Теперь ты.

Адам долго нюхает коньяк и протягивает обратно полный стаканчик.

— Ваше здоровье, — говорит он и вытирает губы.

Станда не поверил глазам: Адам улыбнулся! Правда, это была лишь тень улыбки, но все же... как будто это вовсе и не Адам.

Теперь стаканчик взял крепильщик, поглядел на него против света и вылил содержимое себе в глотку.

— Хорош, — довольно сказал он и тихо просиял.

— Матула!

— Не хочу, — проворчал каменщик.

— Да брось, Франта, не ломайся...

— После Андреса... я... не стану пить!

— Ну, не порти компанию, дружище!

Матула берет стаканчик опухшими пальцами.

— Я его убью, — громко говорит он, — все равно убью...

— В другой раз с ним посчитаешься, а пока, черт возьми, уймись!

Каменщик Матула подчинился и выпил коньяк.

— Дай еще, — прохрипел он и вытер ладонью синеватые губы.

— Теперь я. — И Пепек, широко расставив ноги, опрокинул коньяк в рот и с наслаждением заржал. — Теперь ты, Станда!

Станда никогда еще не пил коньяка; сначала он попробовал его на язык, затем выпил одним духом, по примеру прочих, заморгал и закашлялся; сразу опьянев, он почувствовал безмерное блаженство, на глазах у него выступили слезы, вся душевая завертелась, и он не знал, как выразить свой восторг. Удивляясь, что пол уходит у него из-под ног, он повернулся к Мартинеку.

— Мартинек, я тебя люблю, — с жаром сообщил Станда.

Молодой гигант весело улыбнулся.

— Ну вот и ладно.

— А на Пепека я вовсе не сержусь, — торопливо уверял Станда. — Вот нисколечко, Пепек... Пепек поклялся, что поможет им. Пепек — славный малый, и я его от всей души люблю. А Хансен... братцы, ну прямо как бог! Правда ведь, он как бог?

— Еще бы, — серьезно согласился крепильщик. — Ханс — во!

— Понимаешь, Хансена... я считаю героем. Первый спустился и ушел последним... Крепильщик, я готов снова туда спуститься. Я слышал, как они тюкали... Мартинек... ведь верно, мы им поможем?

— Понятное дело, — отвечал крепильщик. — А зовут меня Енда... Иди-ка ты мыться!

Станда с наслаждением плещется под душем, кое-как, торопливо проводя руками по своему худощавому телу. Мартинека он больше не стыдится. Нет, нет, перед Мартинеком ему не стыдно.

— Как бы вместо нас другие их не спасли, — выбивает он дробь зубами. — Вот здорово будет, когда их на-гора подымут... Как ты думаешь, Андрес — смелый?

Мартинек отдувается под струей воды, трет себе спину.

— Что ты сказал?

— Андрес — смелый парень?

Крепильщик задумался, красивый и сильный, как статуя на фонтана.

— Да, — ответил он наконец. — Дело свое знает. И распоряжаться кто-то должен же, — закончил он несколько уклончиво.

— А что он всюду нос сует... думаешь, это смелость?

— Ради порядка, — рассудительно объясняет Мартинек. — Он должен все измерить, записать и доложить, понимаешь? Он ужасно любит докладывать. Ради этого он в огонь кинется...

— Он ко мне все время придирался, — пожаловался Станда. — Складывай, мол, камни точно в штабель, и уголь отдельно... На что это ему, скажи пожалуйста...

— Для порядка. Он потом все обмерит и запишет в книжечку: откатчик такой-то, столько-то кубометров породы и столько-то угля.

— Он и об этом должен докладывать?

— Может, и не должен, да Андрес это любит. Понимаешь, я поработать как следует люблю, а он — обмерить, как положено. По мне, и мерить-то не надо: руки у меня сами чувствуют, что вдоволь поработали — и ладно. — Молодой великан вытирает полотенцем широкую грудь и удовлетворенно, глубоко вздыхает. — Но Андресу всегда кажется, будто мало сделано, а все оттого, что он только свой метр и знает, — и потому злится, почему не больше сделали. Да, работать и мерить — вещи разные. И вдобавок хочется ему когда-нибудь стать десятником участка, а то и штейгером... Ради этого, дружок, он и в пекло полезет. — Крепильщик засмеялся. — А в том штреке, Станда, понимаешь, неважно сегодня было!

— Ты думаешь, что там... что там было так уж опасно?

— Ну, как же, — спокойно ответил крепильщик. — Ты еще увидишь. Ханс, Андрес, Адам — все чего-то ждут, по лицу видно.

— Чего же они ждут?

— Не знаю, — ответил Мартинек, вытирая румяное лицо. — Я крепильщик. Что ж, крепь там будет надежная;

этот Вагенбауэр — человек умелый... Да ладно, пока мы оттуда выбрались, и то слава богу.

У Станды немного кружится голова — вероятно, после душа.

— Енда, — говорит он в каком-то экстазе, — я хотел бы совершить что-нибудь такое для тех троих. Что-нибудь... великое, понимаешь? Чтобы самому почувствовать, — да, ты делаешь как раз то, что нужно... ведь дело идет о жизни! У меня это вроде как жажда... Как ты думаешь, что я должен делать?

Мартинек понимающе кивает.

— А очень просто: ты должен как следует укладывать камни, ясно?

XII

Первая спасательная кучкой плетется к нарядной — сдавать номерки. Уже ночь, десятый час; на «Кристине» все тихо и темно, лишь кое-где разбросаны огоньки да светятся высокие окна машинного отделения; на горизонте поблескивают зарницы, словом — черная ночь. У окна нарядной стоит навытяжку запальщик Андрес и разговаривает с Хансеном.

Пепек остановился, осененный великолепной идеей.

— Ребята, пошли в трактир! Ну хоть к Малеку.

— А зачем?

— Да раз уж мы теперь одна команда... Не мешало бы отметить.

— Мало чего тебе захотелось, — сонным голосом говорит крепильщик. — Меня дома ужин ждет, да и спать охота.

— Так после ужина приходи, — великодушно снизошел Пепек. — Матула пойдет, Станда и дедка тоже...

— Куда это? — не поняв, переспросил Суханек.

— В трактир собираемся всей командой.

— А, ну да, ну да, — согласился обрадованный дед. — Всей командой, правильно.

От окошечка нарядной отошел десятник Андрес.

— Значит, завтра, — сдержанно сказал он. — Завтра в пять часов дня... надо бы снова заступать.

— Само собой, — ответил крепильщик Мартинек. — Мы придем. — И он бросил свой номерок в окошечко нарядной. — Договорились!

— Как там дела? — спросил сторож.

— А вы загляните туда, — проворчал Пепек, — со смеху лопнете, пожалуй... Ну, пошли, пошли!

Перед решетчатыми воротами на улице стоят в ожидании несколько женских фигур. Одна кидается навстречу.

— Пепек! — отрывисто вздыхает она. — Это ты? Слава богу!

— Ладно, ладно! — огрызается Пепек. — Ступай домой, я приду... Чтоб тебя черти взяли, — добавляет он про себя и злобно дергает головой, точно ему тесен ворот. — Отвяжись!

Худая женская фигура молча подходит к запальщику Андресу.

— Ну как? — бросает тот мимоходом. — Ничего? А дети? Пойдем.

И он зашагал так быстро, что женщина еле поспевает, хотя она на голову выше его.

Третья — Мария; она стоит неподвижно, прижимая скрещенные руки к груди, и смотрит перед собой непривычно широко раскрытыми глазами. Адам бредет к ней в замешательстве.

— Марженка, ты? — вырывается у него. — Зачем ты... не нужно было...

Мария молчит и все так же странно глядит на Адама.

— Вот видишь, — смущенно бормочет Адам, отводя глаза. — Ничего страшного не случилось.

Из ворот, вприпрыжку, как мальчик, выходит Хансен; и навстречу ему быстро шагает четвертая прямая фигура в длинном пальто. Госпожа Хансен, высокая шведка. «Сейчас на шею ему кинется», — думает Станда, не зная куда девать глаза. Но госпожа Хансен протягивает Хансену руку и говорит что-то, будто ничего не произошло. Ханс улыбнулся, кивнул головой и взял жену под руку; потом они подравнивают шаг и идут, разговаривая как ни в чем не бывало, точно спешат на теннис или еще куда-нибудь... Станда смотрит им вслед, чуть ли не разинув рот. Вот это люди!

— Ну, Марженка, — чуть слышно, почти просительно произносит Адам.

Глаза Марии вдруг наполняются слезами, к ей приходится отвернуться; ничего не видя, она уходит с Адамом. У Станды от боли сжимается сердце. Ее бы под руку

взять и вести, как Хансен ведет свою шведку; а этот Адам нерешительно тащится на метр от Марии, и по его спине видно — никакими силами не придумает он, что ей сказать. Мария идет, словно слепая, мнет в руке платочек и ждет, конечно чего-то ждет; но Адам не знает, как быть, вбирает голову в плечи и растерянно бормочет что-то нечленораздельное. Станда смотрит им вслед — и сердце у него болит; за всем этим чувствуется такая трудная жизнь...

— Ну, хочешь, так идем, — пристает Пепек. — Я, парень, жрать хочу как собака.

Неприкаянный Станда с благодарностью присоединяется к нему, продолжая думать о Марии; ее, должно быть, взволновало несчастье на шахте; если бы она видела, что там делается, если бы слышала, как слышал Станда, стук тех троих...

— Чертова коза, — ругается Пепек.

— Кто?

— Да Анчка. Стоит бабе на шею тебе сесть — и ты готов, прилип к ее юбке, ясно? А я видеть не могу бабьих слез. Не могу, и все тут. Просто с души воротит, братец. — Пепек злобно дергает головой и плечами. — Очень нужно глядеть на них! К примеру, на тех трех дур, что там нюни распустили.

— Каких дур?

— Да у ворот, три вдовы, не видал ты их, что ли? Кулдова, Рамасова и запальщика Мадра. Толку-то что! Простоят всю ночь и будут высматривать. Хоть бы им кто сказал: идите теперь по домам, бабоньки, не тревожьте вы нас ради бога, а то ведь каждому шахтеру мимо них идти... Понятное дело, Анчке нужно было с ними пореветь. Как раз по ней занятие...

— Послушай, — нерешительно начал Станда. — Ты обратил внимание на... Адамов?

— Н-да, — ответил Пенек. — И это мне, братец, что-то не по нутру.

— Почему?

— Так. Боюсь, останется Адам в том штреке. Ежели у кого в голове не все ладно, его и допускать к такой работе не след.

— Ты думаешь, он недостаточно осторожен?

— Не в осторожности дело! Адам всегда начеку. Да лезет он туда... словно на смерть, неужто не видел? Будто

сказал себе — теперь все равно. Не будь Адам так... привержен к Библии, я сказал бы: э, он непременно хочет там остаться. Но у нас эти гельветы редко покушаются на свою жизнь.

Станда удивился.

— Зачем же Адаму хотеть смерти?

— Да все из-за Марии, — проворчал Пепек. — От этой истории в голову ему неладное лезет... — Пепек подумал. — И еще мне показалось... не знаю...

— Что?

— А нам-то какое дело! Меня только удивило, что Мария пришла его встретить. Не знаю, заметил ли ты, как она на него глядела...

— У нее будто слезы на глазах стояли.

— Ну да. Баба, она всегда сразу сырость разводит — по глазам вмиг угадать можно, когда у нее сердце размякнет. На месте Адама подхватил бы я ее под руку... и на полпути она повисла бы у меня на шее. Вот какой у нее был вид, голубчик. Да, сегодня эта самая Мария на ночь не запрется, не будь я Пепек. Ежели бы Адам не был безмозглой вороной, так заметил бы это, верно? А он идет себе, руки на заднице, голову свесил, чисто слепой... Да что там, — вздохнул Пепек, — может, они дома еще поговорят. Я был бы рад, — добавил он великодушно. — Ну что они, скажи на милость, оба от жизни видят?

Станда молчал, стиснув зубы, словно от внезапной мучительной боли в сердце. Нет, все не так, Пепек ничего не понимает. Мария... Мария просто удивительно чуткая. Она по-человечески боялась за Адама; потом там ведь стояли жены трех засыпанных... Я, мужчина, и то прослезился бы. К тому же там ждали все жены, наверное это обычай такой, когда на шахте что стрясется. Вон и Пепека ждала его Анчка... пусть она и шлюха, как говорит сам Пепек. Все приходят и ждут своих мужей, застыв, как изваяние. Станду охватывает волнение. Когда-нибудь и его станет ждать у решетки одна... немного похожая на Марию, немного — на госпожу Хансен; она пристально посмотрит на него глазами, полными слез, а Станда весело кивнет ей, и они пойдут под руку как ни в чем не бывало. «Пойдем домой, Марженка, я проголодался как собака». И они пройдут по саду с террасами, по которым водопадом стекают вьющиеся розы; только теперь это уже не Мария, а госпожа Хансен в широких брюках, она

идет впереди Станды длинным легким шагом. А потом, дома... Станда морщит лоб, не в силах представить себе никакого «дома». Он видит лишь свою мансарду, чистенькую, новенькую, так что делается даже немножко грустно; и Станда сидит за столиком и ждет. Мария приносит ему на подносе завтрак, и на руках у нее золотые волосики. Она сядет на край постели, потому что второго стула нет, и — расскажи, расскажи, Станда, что там в шахте! «Тех троих мы уже спасли, — скажет Станда просто. — Понимаешь, ужас, что там было; дед Суханек чуть совсем там не остался; мне пришлось взять кайло и ползти на животе в штрек, в котором падала кровля...» Мария опустит шитье на колени, побледнеет, на глазах у нее навернутся слезы. «Станда, Станда, я не знала, какой ты герой!»

Станда очнулся, и ему стало стыдно. Пепек насвистывает сквозь зубы и курит, затягиваясь так сильно, что летят искорки.

— Где же Матула? — удивленно спрашивает Станда.

— Домой пошел, — отрывисто сказал Пепек. — Придет после.

— Разве он женатый?

— А как же. Вот этакая бабища у него, — показал Пепек. — Нужно же кому-то его из трактира домой доставлять, а? Ох, и злющая она! И Матулу иной раз бьет и заставляет на колени становиться, — ухмыльнулся Фалта.

— Матулу? — ужаснулся Станда. — Этакого силача?

— Он телегу с кирпичами поднимает. Зато Андрес хоть и недоносок, а жена его боится как черта.

— Почему Матула так зол на Андреса? — вспомнил Станда.

— Никто не знает. Может, запальщик его как-нибудь обозвал. Погоди, он Андресу еще подстроит штуку... Потому Матула и вызвался, понимаешь? Из-за Андреса, случая рассчитаться с ним ищет. Например, бревном ненароком придавить... Запальщику нужно глядеть в оба, с Матулой шутки плохи.

— А дома на коленях стоит, — дивился Станда.

— Да, брат, с бабами всегда так, — заметил Пепек тоном бывалого человека.

— А почему ты, Пепек, не пошел домой?

— С Анчкой? — Пепек потянулся и сплюнул. — А чего она нюни распустила. От этого человек... в ярмо попа-

дает, — неуверенно сказал он. — Как начнешь бабу утешать, так и попал к ней в лапы. Только Пепека не поймаешь! Ну, вот и пришли.

Станда остановился.

— Послушай, Фалта... почему ты, собственно, пошел добровольцем?

— Из-за денег, — процедил Пепек. — Я, брат, старый воробей. За три часа тройная плата — выгодное дельце... Да и пострелята у меня есть, если хочешь знать. От Анчки. Двое, — добавил он нехотя. — Что тут станешь делать? Ну пошли, что ли...

XIII

Станда жадно ел, наклоняясь над тарелкой супа. Какой-то углекоп с «Мурнау», сидевший за соседним столом, так и вертелся на стуле — вот-вот себе шею вывихнет; но Пепек жевал и утолял жажду молча.

— Так вы кристинцы? — не выдержал в конце концов шахтер с «Мурнау».

— Ага, — бросил Пепек.

— Говорят, у вас несчастье случилось.

— Да, болтали у нас тут что-то такое, — сдержанно ответил Пепек.

— И будто троих засыпало.

— Да ну-у! — удивился Пепек. — Гляди-ка, Станда, чего только люди не знают!

Шахтер с «Мурнау» слегка обиделся, но опять не вытерпел.

— Крепильщика Рамаса я знаю, он работал у нас на «Мурнау»; говорил я ему — не ходи на «Кристину», сейчас это самая паршивая шахта; туда никто и не идет, разве что такие, кого нигде не берут.

Дзинь! Пепек положил вилку.

— А еще что?

Шахтер с «Мурнау» насторожился.

— Я говорю только, что «Кристина» — третьеразрядная шахта. Вот что я говорю.

— Ну конечно, — меланхолично сказал Пепек. — Не всякая шахта сравнится с «Мурнау». Туда принимают только тех, кто на трубе играет. И добывают там козявок из носу, верно? Потому как угля-то в шахте давно нет.

Тот, что с «Мурнау», всерьез обиделся.

— Вот я и говорю, Малек, — обратился он к трактирщику, — не знаю, как теперь, а прежде всякое несчастье на шахте было общим делом всего бассейна. Спасательные команды с «Кристины», бывало, едут на «Мурнау» или на Рудольфову шахту... А теперь уж и спросить нельзя. А говорят еще — рабочая солидарность! Получите с меня!

Пепек ухмыльнулся ему вслед.

— Да ты не беспокойся, мы тебя на похороны позовем... Он из шахтерского оркестра, — объяснил Пепек Стандe. — Дудит в трубу, на всех наших похоронах играет. И потому считает, что без него ни одна беда не обойдется; так и вьется вокруг, прикидывает: богатые ли будут похороны и много ли раз понадобится трубить шахтерский туш... А, вон и Суханек. Здорово, дед.

— Бог в помощь, — с достоинством поздоровался дед Суханек. Он даже надел праздничную шахтерскую фуражку со скрещенными молоточками.

— Пришел выпить за упокой того обушка? — съязвил Пепек.

Дед расстроился.

— И не поминай лучше. Двадцать пять лет работал, такого не бывало, чтоб я инструмент где забыл.

— Правда? — сказал Пепек. — Ты ведь раньше на «Мурнау» вкалывал, да? Был тут один, говорил, нашли там нынче ржавый обушок. Будто не меньше двадцати лет пролежал. Теперь все ломают голову, кто бы мог оставить этот обушок.

— Слушай, Пепек! — взмолился Суханек. — И чего ты ко мне пристал!

Пепек наклонился к огорченному старику.

— Да ведь я ему ничего не сказал, — шепнул он доверительно. — Еще чего, стану я выбалтывать первому встречному, что у нас на «Кристине» творится! Чтоб над нами вся округа смеялась?

Старый Суханек задумчиво поморгал.

— Говорят, Брзобогатый... еще жив.

— Ну-у?

— Хребет... хребет ему, сказывали, перебило. Теперь пенсию получит.

— Сколько может он получить? — живо заинтересовался Пепек.

— Чего не знаю, того не скажу. А Колмана в больницу свезли. Сначала будто ничего, даже до дому сам добрел, а потом как пошло его рвать, и в беспамятство впал... С головой, должно быть, что-то. — Дед Суханек постучал по столу снизу. — Надо сказать, со мной пока в шахте ничего такого не бывало, а спускаюсь я уже двадцать пять годков.

— Только вот с обушком нынче беда приключилась, верно? — подпустил шпильку Пепек. — Зато ты целых два принес на фуражке. — И Пепек одним духом, даже не булькнув, втянул в себя кружку пива. — Черт возьми, с меня сегодня самое меньшее ведро поту сошло.

— Смотри-ка, — сказал дед, — а я так совсем не потею. Раньше — верно, лет двадцать назад, тоже здорово потел, но тогда в шахтах такой вентиляции, как теперь, не было. Зато и о ревматизме ни у кого из шахтеров не слыхивали. Все потом выходило. А трактирщиков сколько около нас кормилось, — пустился вспоминать старик. — Теперь уж давно этого нет. Какое! Вот когда я парнишкой был, умели тогда поддержать шахтерскую честь!

— Хорошо бы Мартинек пришел, — заметил Пепек. — Поет он здорово!

Дед Суханек задумался.

— Да, певали в то время... постой, как это? «Прощай же, милая моя, пора спускаться в шахту...»

Пепек кивнул:

— И знаешь зачем? Потому что забыл инструмент в шахте. Вот как было дело.

— Слушай, Пепичек, — жалобно сказал дед. — Будет тебе наконец. У кого хочешь спроси, всякий тебе скажет: никогда Суханек ничего не забывал. Ведь меня наполовину засыпало, я уж подумал — конец пришел...

— А что вы тогда чувствовали? — спросил Станда.

— Что чувствовал? — растерялся Суханек. — Сказать по совести, ничего. Ну, думал, повезет мне, так они, ребята то есть, за мной придут. А потом рассуждал сам с собой, что с Аныжкой будет; она, понимаешь, калека от рождения... Другая-то дочка, Лойзичка, замужняя, так сказать, она за тем Фалтысом, что во второй спасательной, слыхал? С той у меня забот нету никаких, а вот Аныжка... беда с ней вышла, трудные роды были, ну и... Да о чем ты спрашивал-то?

— Каково вам было, пока вы лежали засыпанный?

— Ах, да... Каково мне было... Да я, сынок, и объяснить-то тебе толком не сумею. Ну вроде когда лежишь, и заснуть никак не можешь, и на ум заботы всякие лезут. Да о чем и думать-то? — Дед Суханек откашлялся. — Обушка жалко, вот что.

— Я завтра поищу его, — угрюмо пообещал Пепек.

— Ладно! — обрадованно воскликнул дед. — Поищи, пожалуй. Только бы его раньше другая команда не нашла! Что они обо мне подумают... со мной сроду такого не бывало...

— Вон и Матула пришел, — приветствовал Пепек. — Помогай боже, Матула! Что старуха-то твоя? Отпустила?

— Отчего же не отпустить? — прохрипел Матула и плюхнулся на стул всей своей тушей. — Пустила. Гляди. — И он вынул из кармана полную пригоршню денег; одна монетка выскользнула из неуклюжих пальцев, толстых, багровых, как кровяные колбаски, но каменщик Матула даже не посмотрел вниз. Разложил на столе локти, огромные лапищи, похожий на истукана; Станда тихо присвистнул, увидев разбитые, почерневшие от кровоподтеков ногти — на этих лапах не было ни одного неизуродованного пальца.

— А где же твоя шапка? — безжалостно спросил Пепек.

— Шапка? — пролепетал Матула и сконфуженно заморгал налитыми кровью глазами. — Никакой шапки мне не надобно.

— Она у тебя ее отобрала, а? — продолжал терзать его Пепек. — Чтобы ты не ходил в трактир, а?

— Стану я у нее спрашивать, — громко ответил Матула.

— А что ты, Матула, вообще насчет баб думаешь? — со смаком расспрашивал Пепек, продолжая истязание и подмигивая Станде.

— Да что думать-то? — уклончиво пробормотал гигант.

— А как ты думаешь, добрые они?

— Ясно, добрые.

— А то, что они в трактир приходят кое за кем... Не след бы им так делать, правильно?

— Это почему же? — сконфуженно отвечал Матула, — Они знают...

— По-моему, им при этом ругаться не к чему, — продолжал дразнить Пепек.

— Иначе нельзя, — прохрипел Матула, поднимая бульдожьи глаза. — А что им делать-то? Разве ты понимаешь, какая у меня жена!

— Добрая?

— Добрая.

— А правда, что тебе приходится дома на колени становиться?

Матула побагровел. «Сейчас полетят кружки», — испугался Станда и пнул под столом Пепека, — перестань, мол, дразнить.

— Неправда это, — с трудом выговорил Матула. — Тогда... я пуговку на полу искал, понимаешь? Пуговку.

— Ага. И потом не смог встать.

— Да. Потом не смог встать. В ногах у меня силы мало.

Пепек подобрал под столом монетку, которую обронил Матула, и подошел к оркестриону.

— Хочешь, музыку тебе заведу?

Оркестрион заиграл итальянскую песенку, звуки полились ручьем; Матула закивал в такт огромной лохматой башкой...

— Здор*о*во, ребята, — произнес мягкий, приглушенный голос, и крепильщик Мартинек стукнул по столу огромным кулаком.

— Пришел! — обрадовался Станда.

— Само собой! — Крепильщик втиснул свое сильное туловище и широченные плечи между товарищами; вот он сидит и весь светится, даже к спинке стула не прислонился — так ему легко. — Как дела?

— Что дома? — церемонно спрашивает у него дед Суханек.

— Сам знаешь, детишки, — с улыбкой отвечает крепильщик. — Разве из дому скоро выберешься...

— У тебя есть дети? — удивился Станда.

— Двое. Девочке пять с половиной годков, а мальчику скоро год сравняется...

— А назвался холостым!

— Ну, там-то конечно, — небрежно махнул рукой Мартинек. — Стану я им объяснять! Хотят холостых, — пожалуйста, стало быть, и я холостой, правда ведь? А я уже семь лет как женат, парень, — похвастался он, и

глаза у него заблестели, как у мальчугана, которому удалось кого-то ловко провести. — Девочка уже читает сама... Ты заглянул бы как-нибудь.

— Спой нам, Мартинек, — предложил Пепек.

— Сам пой, коли охота, — ответил крепильщик, водя толстым пальцем по запотевшей кружке. — Мальчишка-то... тринадцать кило весит, посмотрел бы ты на него, Станда! Такой плутишка... Мы ему даем морковь, шпинат и все, что нужно, и каждую неделю я его вес записываю, на память останется...

— Держите меня! — закричал Пепек и удивленно воззрился на дверь.

На пороге стоял десятник Андрес и дружелюбно улыбался, поднеся руку к шляпе.

— Бог в помощь, команда...

XIV

— Бог в помощь, команда...

— Бог в помощь, — пролепетал Суханек и хотел было встать, но Пепек дернул его за полу пиджака и снова усадил на стул.

— Сидите, сидите, Суханек, — горячо протестует и Андрес, подходя к столу. — Не стану вам мешать, я только на минутку... договориться насчет завтрашнего дня...

— Вот и хорошо, — спокойно говорит крепильщик Мартинек и отодвигает свой стул, чтобы запальщик мог подсесть.

— Дайте мне... дайте, ну хоть пива, — рассеянно сказал трактирщику Андрес, подсаживаясь к шахтерам; напротив него сидит Матула, положив кулаки на стол, пожирает «пса» Андреса налитыми кровью глазами и глухо хрипит. Дед Суханек взволнованно моргает, Пепек в душе подсмеивается, а крепильщик в упор смотрит голубыми глазами на Матулу; Андрес притворяется, будто ничего не замечает, но ему явно не по себе, его тщедушное тело напряженно выпрямилось...

— Прежде всего я хотел вам сказать, — начал он немного торопливо, — то есть... мой долг сказать вам всем... вы сегодня работали... просто образцово. Так и начальству об этом доложу, — выпалил он облегченно. —

Вы для своих... для наших засыпанных товарищей... делали все, что могли. Надеюсь, что и завтра мы все... вся наша первая спасательная докажет... своими руками и всей душой. Вот что хотел я сказать вам... как ваш товарищ.

Стало тихо.

— Понятное дело, — отозвался наконец крепильщик, — мы в грязь лицом не ударим.

— Ради наших товарищей, — повторил запальщик. — Наша команда вызвалась первой, и первой должна остаться... до конца. В работе... и в самоотверженности.

— Еще бы, — ответил крепильщик за всех. — Нам все одно: коли нужно, так мы безо всяких...

Пепек встал, поплелся к оркестриону, будто желая внимательно рассмотреть нарисованную на нем богиню с лирой в руках.

— Спасибо, — с жаром сказал запальщик. — Значит, завтра снова начнем битву...

Щелк! — оркестрион заиграл марш «Кастальдо», музыка так и загремела. Огорченный Андрес умолк, а Пепек отвернулся от оркестриона, глупо ухмыляясь.

— А я думал, господин взрывник уже кончил. Теперь не остановишь, — сказал он как бы в оправдание, возвращаясь к столу.

— Черт побери, славно маршировалось под эту музыку! — вздохнул крепильщик. — Трам-тара-рам там-та-да! Эх, ребята!

Андрес в душе взбесился, но виду не показал и стал притопывать в такт.

— Вам нравилось в армии? — спросил он вдруг у Мартинека.

— Да.

— Где вы служили?

— В саперах. Я был капралом.

— Я тоже, в двадцать восьмом пехотном, в Праге. А ты?

— В Пардубице, саперный полк.

Андрес сразу растаял, поднял кружку и подмигнул Мартинеку. Крепильщик, в свою очередь, понимающе прищурился и тоже выпил. Пепек свирепо фыркнул: извольте радоваться — у «пса» Андреса будет теперь союзник — только этого недоставало! Он попытался перехватить взгляд голубых глаз Мартинека и кивнул, — мол, тпрру,

братец, не связывайся с этим типом; но крепильщик молча улыбался и думал что-то свое; а «Кастальдо» гремел до своего торжественного конца.

И вдруг Пепек просто остолбенел.

— Ах, дьявол! — вырвалось у него. — Адам!

В дверях трактира и вправду стоит длинный Адам и оглядывает зал ввалившимися глазами; увидев Андреса, он удивленно качает головой...

— Адам, иди сюда, дружище!

— Что? Адам? Вот так штука!

— Черт побери! — тихонько срывается с языка Пепека. — Опять, значит, с Марженкой ничего не получилось. — И тут же громогласно: — Ну, иди же, садись с нами, Адам! Откуда ты взялся?

На смущенном лице Адама появляется подобие улыбки.

— Раз уж вся команда собирается... Бог в помощь, — здоровается он в сторону Андреса, не зная куда сесть; всякий старается освободить ему место, но Адам подставляет стул к углу стола и растерянно усаживается.

— Адам, а ты бывал когда-нибудь в трактире?

— Что?

— Не впервой ли ты сегодня в трактире?

— Не впервой, но... — Адам махнул рукой.

— Ну вот, теперь мы все в сборе, — благосклонно оглядел Андрес свою команду, но, наткнувшись на отчужденные взгляды, слегка даже опешил.

— *Мы-то* в сборе, — многозначительно сказал Пепек, и наступила тишина; запальщик беспокойно заерзал на стуле, вот-вот встанет и уйдет...

— Послушайте, Андрес, — слышится благодушный голос крепильщика, — почему вы такой пес?

Странно — запальщик, кажется, почти ждал этого вопроса: он уселся поплотнее и взял в руки свою кружку.

— А ч-черт! — присвистнул Пепек и нетерпеливо наклонился вперед; дед Суханек испуганно вытаращился, медлительный Адам внимательно уставился глубоко запавшими глазами, Матула разжал кулаки и взволнованно запыхтел; все, кроме голубоглазого Мартинека, впились взглядами в серое лицо Андреса.

Андрес поднял глаза — они смотрели страдальчески, но спокойно.

— Я не пес, — произнес он тихо. Все ждут, что он скажет дальше, но запальщик беспомощно пожимает плечами. — Нет, не пес я.

— Ну, хорошо, — недовольно говорит Мартинек. — Да на людей вы собакой кидаетесь.

— Разве я кого зря обидел? — восклицает Андрес, обводя всех взглядом.

Крепильщик повел плечами.

— Нет, зря не обижали, но... Ведь вы сами видите, как все о вас думают, верно?

— Я только выполняю свой долг, — возразил запальщик и снова пожал плечами. — Что поделаешь!

— Да, но вам хочется, чтоб его все выполняли. Нельзя же от всех требовать, чтоб каждый собачился на себя, как вы — а вы и на себя злитесь, Андрес, вот в чем ваша беда. Он не виноват, — добродушно обратился крепильщик к остальным. — Ну, он ростом не вышел и все этак на цыпочки становится, так ведь?

— Что ж, не вышел, — с горечью произнес запальщик. — Вам легко говорить. Меня даже в армию брать не хотели, только по третьему разу взяли; какой, мол, из него солдат, — недоросток! Так я им показал, что я настоящий солдат; тогда уж, милый мой, меня перестали называть сморчком. Пес-капрал — так стали звать. Ох, и муштровал же я солдатиков! А в войну... мне дали большую серебряную медаль. Потом говорили: Андрес, оставайтесь на сверхсрочной, из вас выйдет ротный; да я задумал жениться... И девушки тоже смеялись — сморчок, мол, замухрышка. Нелегко мне пришлось, ребята!

— Вот оно что, гляди-ка, — рассудительно заговорил молодой великан. — Я это понимаю, только нас-то тебе незачем гонять. Все мы знаем — Андрес в своем деле понимает, голова у него варит, и все, что он скажет, — правильно, так и сделаем. А вот волю языку не давай; чем больше ты кричишь, тем виднее, что ты замухрышка... Ну да, нам-то все равно, — примирительно добавил крепильщик. — Мы уж как-нибудь твой характер выдержим.

Запальщик, как ни странно, был почти растроган.

— Вот видишь, — буркнул он, — мы, солдаты, говорим все напрямик...

Но тут судорожно захрипел Матула.

— Сморчок, замухрышка, — давился каменщик хриплым хохотом, очевидно, до него только сейчас дошло, о чем шла речь.

Андрес побледнел, и нижняя челюсть его воинственно подалась вперед.

— Что? — рявкнул он.

— Придержи язык, Матула, — медленно сказал крепильщик; Матула поднял тупой взгляд, да так и остался с разинутым ртом. — И если кто-нибудь на людях, ребята, назовет его замухрышкой, — продолжал Мартинек, — тот будет иметь дело со мной. Что здесь, за столом, среди нашей команды говорилось — останется между нами, вот как.

Пепек был явно недоволен и нахмурился, а дед Суханек облегченно вздохнул и замигал выцветшими глазками.

— А я вам что скажу, — оживленно затараторил он, — шахтеру и не к чему быть большим. Замухрышка-то всюду пролезет. — Тут старик осекся и опять заморгал. — То есть я хотел сказать, если он ростом не вышел. Был у нас когда-то один забойщик, его замухрышкой и карликом звали...

Пепек фыркнул и был вынужден снова отправиться к оркестриону, чтобы похохотать вдоволь. Станда воспользовался случаем и скрылся в уборную; он не привык пить пиво, голова у него слегка кружилась, и ему ужасно хотелось спать. В коридоре его кто-то догнал — это был Андрес.

— Послушайте, Станда, — торопливо сказал он вполголоса, — мне хочется кой о чем вас спросить. Как вы думаете, стоит ли мне... стоит ли мне угостить первую спасательную? Ведь вы послали мне этот коньяк, и... не знаю... вроде как бы в ответ. Примут они от меня, по-вашему?

Станде вдруг стало даже жаль Андреса, такое волнение звучало в его голосе. И верно, серьезный вопрос, тут надо хорошенько подумать.

— Я не знаю, господин запальщик, — начал он нерешительно, — но... я бы, пожалуй, не стал так делать. А вдруг кто-нибудь не захочет...

— Вот именно, — нахмурился десятник. — А я бы с такой охотой... Мне чего... приятно, когда вы обо мне вспомнили. Скажите, кто это придумал?

— Все, — соврал Станда. — Пепек... и Мартинек... все.

Запальщик просиял.

— Верно? Так что бы мне такое для них... как вы полагаете?

— Может... выложить на стол сигареты, — предложил Станда. — Это не так заметно. Кто не захочет, может и не брать...

— Верно, — обрадовался запальщик.

— И еще одно, — серьезно добавил Станда. — Уходите домой раньше всех, господин запальщик.

— Почему?

— Чтобы дать им... кой о чем поговорить между собой.

Андрес на минуту задумался.

— Вы правы, — сказал он и торопливо пожал Станде руку. — Спасибо вам!

Станда вернулся с ощущением успешно выполненной дипломатической миссии.

— Что ему от тебя нужно было? — подозрительно спросил Пепек.

— Ничего, — оказал Станда с простодушным видом. — Он просто попал не туда.

Андрес вернулся, и всем бросилось в глаза, что он вдруг начал ощупывать свои карманы.

— Где же это у меня... Пан Малек, дайте мне сигарет. Сотню.

Открытая коробка на столе слишком заметна, ровные ряды сигарет так и просят — возьмите! Каменщик Матула отвел тяжелый взгляд от Андреса и уставился на белую пачку.

— Берите, — предлагает запальщик, ни на кого не глядя.

Разбитые пальцы Матулы вздрагивают.

— Спасибо, у меня свои, — бормочет Пепек и демонстративно постукивает по столу собственной сигаретой.

Мартинек удобно оперся локтем о стол.

— Да, ребята, — начал он медленно, — хотел бы я знать, что там вторая команда сейчас поделывает. Хорошо бы они починили рельсы, чтобы можно было породу вывозить, правда, Станда?

При этом его толстые пальцы, словно ненароком, рассеянно, но медленно, чтобы все видели, вытаскивают

первую сигарету из коробочки Андреса. Станда почти с облегчением переводит дух: молодец Мартинек!

— Я говорил об этом с Казимоуром, — благодарно подхватывает Андрес. — Но Казимоур сказал: рельсы-то рельсы, да почва там поднялась, придется ее выбирать, вот что...

Несколько пар глаз следят, как дед Суханек тянется сейчас к коробочке Андреса. Дед испуганно отдернул руку.

— Ну да, почва, — пролепетал он как человек, застигнутый на месте преступления, и торопливо спрятал в карман взятую сигарету. — Там, в восемнадцатом-то, всегда почва была ненадежная. Сухая, очень сухая!

— Верно! — с признательностью сказал запальщик. — Закуривайте, Суханек.

— Спасибо, я уже взял, — отнекивается дед, неуверенно поглядывая на товарищей.

— Да закурите же!

Дед Суханек с несчастным видом берет еще одну сигарету.

— Премного благодарен, я ведь и не курю их вовсе, разве что трубочку. Это для зятя возьму, то есть для Фалтыса. Пепек, ты не хочешь?

— Не хочу.

Пепек хмурится и презрительно сосет свой вонючий окурок. Разговор не вяжется, настроение паршивое, и Андрес кусает губы, лицо у него твердеет, становится серым; один крепильщик сияет радостно, от всей души, а Адама словно и нет: перед ним нетронутая кружка, и он молча глядит глубоко ввалившимися глазами...

Вдруг Пепек быстро потушил свою сигарету и выпрямился, как школьник.

— Ребята, — выдохнул он, — Ханс здесь!

В трактир вошел господин Хансен. Он кивнул всей команде и сел за соседний стол.

XV

Вся команда встала.

— Добрый вечер, — поздоровался за всех Мартинек, и Ханс дружески закивал,

Десятник Андрес стоит как солдат — руки по швам, точно сейчас выпалит: так и так, рапортует десятник-запальщик Андрес и его команда: Адам Иозеф — забойщик, Мартинек Ян — крепильщик...

Мартинек Ян безмятежно сел спиной к господину Хансену, но эта спина — прямая и прочная, будто дверь амбара. Вся команда нерешительно рассаживается, последним садится запальщик Андрес, да еще с каким-то полупоклоном, точно извиняясь перед соседним столом; но Ханс уже не смотрит на них и барабанит пальцами. Наступила торжественная тишина, как в школе.

— Расскажите что-нибудь, — вдруг произносит Пепек, взглянув на Андреса, чтобы завязать разговор; но где уж Андресу! — он стал совсем незаметным, сидит на самом краешке стула, просто смотреть жалко, и выжидательно уставился на крепильщика: давай-ка ты, что ли, дружище.

— Так вот... — начал было Мартинек, подмигивая Станде, но тот не сводит глаз с Хансена. Гляди-ка, ребята, он все-таки пришел посидеть с нами! Какая жена у него — глаз не отведешь, и любят они друг дружку, любовь такая, что и рассказать нельзя, а он, видите, оставил жену дома и пришел к нам. «Я должен пойти к своей команде, — сказал он ей. — Пусть ребята видят — я с ними», — или еще что-нибудь в этом роде... У Станды сердце бьется от гордости, ему радостно. Вот какая наша команда! И Адам пришел, и Андрес, и господин Хансен... Точно мы одна семья, нет, больше, чем семья; семью оставляют дома и идут — мужчины к мужчинам. Так и следует, с воодушевлением думает Станда. Мы должны держаться друг друга — этому нас учит работа; а вам, женщины, придется посторониться, мы вернемся, но на первом месте — команда. Вот оно как!

Станда смотрит на товарищей, и от восторга у него бегают мурашки по коже. Я люблю вас, ребята, я люблю вас так, что и сказать невозможно; никогда я не был так счастлив... я готов обнять вас всех, кто тут сидит; от вас пахнет табаком и пивом, вы такие нескладные, одни кости да щетина, но если бы вы знали, как вы прекрасны! Это понимаю я один... и, пожалуй, еще господин Хансен. Ханс тоже понимает, потому и пришел сюда, к вам. Да, и Андрес — красивый, и Матула, и Пепек, словом, все; сам господь бог залюбуется и подумает: черт возьми, вот

славные парни, первые спустились в шахту и этакую гору работы там своротили; в мире не найдешь другой такой команды! Но погодите, завтра мы еще обставим там, в шахте, всех остальных! Голыми руками будем пробивать целик; «тик-тик-тик» — подают сигналы те трое; мы уже идем к вам, ползем на брюхе, спинами поднимаем земную кору, что вас придавила; трах! земля разверзается, здесь работают наши руки. Бог в помощь, товарищи, погребенные заживо! Вам рапортует первая спасательная: Ханс Хансен — инженер, Андрес Ян — десятник-запальщик, Адам Иозеф — забойщик, Суханек Антонин — забойщик, Мартинек Ян — крепильщик, Матула Франтишек — каменщик, Фалта Иозеф, он же Пепек, — подручный забойщика и Станислав Пулпан — с позволения сказать, откатчик.

Станда по очереди обводит всех взглядом. Как они, бедняги, торжественно и чопорно сидят и кое-как поддерживают видимость разговора... Батюшки, «пес» Андрес объясняет Пепеку, как сдавать экзамен на забойщика; и Пепек, не моргнув глазом, отвечает: «Да, да» — вот это дела! Ежели сам Пепек говорит «да», значит, на свете многое переменилось. И остальные нет, нет и поддакнут, употребляя при этом непривычные «культурные» слова; не важно, что инженер Хансен не понимает по-чешски — он сидит рядом, и от этого все изменилось. Мартинек сидит прямо, как воспитанный мальчик, положив на колени могучие лапы; Пепек похож на внимательного ученика и лишь морщит лоб от усердия; Матула не спускает бульдожьих глаз с господина Хансена; дед Суханек вертится на стуле и просто готов поднять руку, как прилежный ученик в классе: я, я, я знаю; Андрес скромен и старателен — ни дать ни взять учитель, когда в класс приходит школьный инспектор. Только Адам опять как-то ушел в себя, сгорбился и глядит на свою до сих пор не тронутую кружку; а господин Хансен вовсе ни о чем и не подозревает и чертит что-то на старом конверте — вероятно, деталь какую-нибудь для своего изобретения.

Господин Хансен поднял голову и повел носом в сторону Станды, подите, мол, сюда. От гордости Станду расперло до того, что он чуть не задохся и, натыкаясь на стулья, устремился к столу Хансена; он хотел подойти небрежно и в то же время молодцевато, но у него почему-то не вышло, как он ни старался. Хансен показал длин-

ной рукой — садитесь, мол; за ухом у него еще осталась черная полоса угольной пыли — Станде она вдруг кажется очень трогательной: бедняга толком даже не вымылся, так спешил к своей госпоже Хансен, а теперь сидит здесь с нами! Славный парень этот Хансен! А команда тем временем изо всех сил старается хоть как-то поддержать громкий разговор, чтобы, упаси боже, не показалось, будто они слушают. Что это я хотел сказать, ребята, — ну, так вот... и при этом пинают друг друга под столом — давай же ты, черт, говори что-нибудь...

Господин Хансен наклонился к Станде.

— Bitte[1], — сказал он на своем грубом, ломаном немецком языке. — Вы послали мне коньяк. Я вас всех благодарю. Как вы думаете, должен я... для всех... что-нибудь... — И обвел пальцем стол. — Ага, угостить?

— Нет! — вырывается у Станды. — Nein, nein. Не делайте этого.

Станда лихорадочно соображает, как бы объяснить, сказать ему, что это оскорбит команду, если он вздумает... вроде бы вернуть долг... Тогда ведь получится, что мы не ровня вам, господин Хансен. И вообще, разве вы не видите, что ребята вас любят? Для нас больше значит, что вы пришли к нам *просто так,* а не затем, чтобы нас вознаградить. Nein, nein. Не делайте этого, господин Хансен!

Станда все это чувствовал хорошо и ясно, но не умел выразить; ни за что на свете он не мог вспомнить ни одного более мягкого выражения чем: Beleidigung. Es väre für jns...[2] — как бы это сказать? — и Станда отрицательно качал головой, глядя на блестящий, добродушный нос господина Хансена.

— Nein, bitte nein, — умоляюще выдохнул он.

Но господин Хансен, кажется, все совершенно ясно понял, ему и объяснять не надо было. Он закивал и радостно улыбнулся, так что даже слегка наморщил нос.

— Gut, gut, — сказал он с одобрением и постучал двумя пальцами по груди Станды. Станда от радости и гордости готов был умереть на месте. Видели ли это ребята?

Станда вежливо поднимается со стула, руки по швам.

— Noch etvas, Herr Hansen?[3]

---

[1] Пожалуйста (*нем.*).
[2] Оскорбление. Это было бы для нас... (*нем.*).
[3] Что-нибудь еще, господин Хансен? (*нем.*).

— Ja, — кивает Ханс и показывает пальцем на свой стаканчик и на шахтеров.

Сейчас Станда все понимает, он чувствует себя легко, и на душе у него ясно. Окрыленный, возвращается он к бригаде и протискивается на свое место.

— Ребята! — восклицает он. — Ханс хочет выпить за ваше здоровье!

В волнении он даже не заметил, что называет почтенных шахтеров «ребятами» и что, пожалуй, следовало сказать «господин Хансен»; но, кажется, никто этого не заметил, — вся команда разом оборачивается. Хансен уже поднимает свой стаканчик, шахтеры гремят стульями, вставая, господин Хансен тоже поднимается со стаканчиком в руке, и на его лице расплывается мальчишеская улыбка — а ну-ка, первая спасательная! Шахтеры выпрямляются, принимают вдруг очень серьезный, торжественный вид. И господин Хансен становится серьезнее и глядит шахтерам в глаза.

— Also, skól [1], — произносит он, пьет и вежливо наклоняет голову.

— Спасибо, господин Ханс, — торжественно ответил крепильщик с видом заправского оратора.

— Бог в помощь, — церемонно добавляет запальщик, и все склонили головы, как Хансен, и с достоинством выпили. Даже Адам выпил, в упор глядя на Хансена. Ханс улыбнулся, и Адам улыбнулся — как чудесно может улыбаться Адам! — удивляется Станда; но команда уже садится, и все переводят дух, словно после тяжелой работы; Матула сопит — его даже пот прошиб, дед Суханек растроганно шмыгает носом.

— Хорошо ты сказал, крепильщик, — одобряет Пепек и залпом пьет кружку до дна.

— Он сказал, что благодарит вас, — быстро вполголоса сообщает Станда.

— Ну? Правда? — Шахтеры сдвинули головы. — Рассказывай же, Станда!

— Он сказал, что хотел бы нас угостить, а я ему сказал, не надо, господин Хансен, не делайте этого, мы рады, что вы пришли, для нас это честь, а дать нам на пиво — значит нас обидеть, точно вы не один из нас, не из нашей команды.

---

[1] Что ж, ваше здоровье (*швед.*).

— Вот здорово, черт возьми! — удивился Пепек. — И кто бы подумал, что парнишка так сумеет! А он что?

— Что хочет, мол, выпить за наше здоровье...

— Вот видите! А как ты ему сказал?

— Да по-немецки! — бессовестно врет Станда.

— Хорошо ты ему сказал, Станда! — восхищенно признает крепильщик, и все дружно кивнули в знак согласия, даже Адам.

Станду распирает от гордости; ему хотелось бы рассказать еще больше о том, что он говорил господину Хансену, но всему есть предел. А ведь у Андреса красивое мягкое лицо; глаза у него блестят, он поднимает стаканчик, вежливо наклоняет голову и шепчет через стол:

— Станда, «скол»!

Команда приняла тост с тихим восторгом — Андресто, оказывается, тоже славный малый! Один за другим все чокаются со Стандой — «скол»! И Адам кивает Станде, дружелюбно моргая.

— Ребята, — решительно говорит Пепек, — пусть это «скол» будет только для нас. Никому другому мы так не скажем.

— Правильно, — веско добавляет крепильщик. — Это только для нашей команды.

Больше никто не оглядывается на Хансена, чтобы не докучать ему праздным любопытством; пусть Хансен отдохнет, ясно? И тем не менее все замечают, когда господин Хансен заказывает еще стаканчик, и удовлетворенно перемигиваются. Пить он умеет, ничего не скажешь — совсем как наш брат; сразу видать, что он ни капельки не гордый. И что ему тут с нами нравится. Станда испытывает сладостное чувство, — его клонит ко сну, он почти не слышит, о чем говорят товарищи; вон оно что — и Андрес чувствует себя здесь как дома. И Станда отваживается улыбнуться «псу» Андресу и приподнять стаканчик.

— «Скол»!

— «Скол»! — ответил запальщик и очень вежливо поклонился.

«Господи, какая команда!» — с радостью думает Станда, и глаза у него закрываются. Дед Суханек настойчиво трещит ему о чем-то, может, о том обушке, но Станде все безразлично; вдруг ему становится так хорошо, словно он маленький и засыпает, а взрослые еще беседуют, но это

уже какое-то непонятное бормотанье... иногда только звякнет стаканчик о поднос...

— ...ну, же, Мартинек, спой нам что-нибудь, — слышится настойчивый голос Пепека.

— Неудобно, — смущается крепильщик.

Мартинек такой аппетитный. Взглянешь на него — и представляешь себе избу с амбаром, там пахнет соломой и коровами; в стойле кто-то шумно вздыхает, должно быть лошадь...

— Да ну тебя, — отнекивается крепильщик Енда. — Гляди, Станда-то уже спит...

— Я не сплю, — блаженно уверяет Станда и проваливается в приятную тишину...

Станда проснулся оттого, что голова у него вдруг упала на край стола. Что это? А, Мартинек поет, зажмурив глаза и откинув голову; он поет высоким мягким голосом, упираясь руками в стол. Пепек качнул головой в сторону Матулы, — тот положил локти на стол и плачет, крупные слезы бегут по его багровым щекам. Андрес слушает с видом знатока, сосредоточенно склонив голову чуть набок, как делают господа на концертах; Адам неподвижно смотрит на Мартинека, а Ханс... Ханс отложил свои бумаги и карандаш и тоже слушает. И великан Мартинек поет высоким голосом, откинув голову и прикрыв глаза, — откуда только берется такой нежный голос в этакой могучей груди! Станда оперся подбородком о стол, чтобы удобнее было слушать. «Еще!» — с наслаждением думает он и закрывает глаза.

— Теперь какую, ребята?

— «Зачем вам плакать, очи голубые...»

— Иди ты! Послушай, Мартинек, спой «Не мелю, не мелю»!

— Ладно! «Не мелю...»!

И Мартинек поет. Станда сонно моргает. Теперь поют все, «пес» Андрес дирижирует рукой и поет — он вторит, закрыв глаза, похожий на кукарекающего петуха; Пепек делает губами «м-ца, м-ца»; дед Суханек блеет тонко, как козочка; Адам стискивает руки между колен и, уставясь в землю, тихонько басит. Адам поет! Станда впросонках ничему больше не удивляется, — а то Адам еще сразу замолчит, заметив, что за ним наблюдают. Ханс придвигает стул и наклоняется к Мартинеку. Андрес перестал кукарекать и освобождает место для Хансена, но тот качает

головой и нагибается через широкое плечо Мартинека, заглядывая ему чуть ли не в рот. Крепильщик не замечает этого; упираясь обеими руками в стол, он поет. Должно быть, Хансену хочется петь вместе со всеми — губы у него шевелятся. Коробка андресовских сигарет наполовину пуста... Как все замечательно получилось, радуется Станда и с наслаждением поводит плечами, будто натягивает одеяло до подбородка. Братцы, какая у нас команда, просто необыкновенная! И Мартинек посмотрел на Станду и дружески подмигнул — спи, дружок, спи!

Когда Станда опять проснулся, голова его лежала на могучей руке крепильщика. Господин Хансен уже опирался локтем о стол шахтеров и на самом деле смотрел Мартинеку прямо в рот; Мартинек пел тихо, потупив глаза, а Андрес, Пепек, Адам — все делали губами только «пом-пом-пом, пом-пом-пом», точно аккомпанировали на струнах. Почему же так тихо, подумал было Станда, и тут Мартинек прервал песню.

— Лежи уж ты, — сказал он Станде, а Ханс кивнул: «Лежи, мол, и ладно».

«Вот и хорошо», — думает Станда, утыкаясь носом в жесткий рукав Мартинека. И снова начинается «пом-пом-пом, пом-пом-пом»; и молодой высокий мужской голос заводит песню о солдатчине.

XVI

Кто-то трясет Станду.

— Вставай, по домам пора.

Станда очнулся и не сразу понял, где он. Товарищи уже на ногах, подтягивают штаны, берутся за шапки. Станде неловко, что он так крепко заснул, и он судорожно зевает.

— Где господин Хансен?

— Уже ушел, и Андрес тоже.

Ну, спокойной ночи, ребята, спокойной ночи, Станда, значит, завтра в пять, и за дело; команда с шумом выходит на темную улицу. У Станды слегка заплетаются ноги, затекшие во время сна, и он ни черта не видит в этой непроглядной тьме. Но кто-то его ждет, кто-то подходит к нему — да это Адам.

— Нам ведь по пути, — гудит Адам, шагая во мраке. Станда постепенно начинает распознавать что-то вроде

дороги; он вздрагивает от ночного холода и окончательно просыпается. Рядом идет Адам — длинный, сутулый и молчит; о чем с ним говорить?

— Как было *хорошо*, — благодарно вздыхает Станда.

Адам судорожно глотнул.

— Хорошо... *очень*... — бормочет он.

— Сколько времени?

— ...Час ночи.

Неужели так поздно? Станда припоминает, как Адам со скорбными глазами делал «пом-пом-пом», когда пел Мартинек, и невольно усмехается про себя. Интересно, что сделает Адам, если ему сказать, что я его люблю? У Станды, откровенно говоря, уже вертится на языке это признание, но он все же предпочитает промолчать.

— Вы любите господина Хансена? — спрашивает он вдруг.

— ...*Да*, — отвечает Адам.

— Парень что надо, раз к нам пришел. Жену дома оставил, а сам пошел к команде. Вы когда-нибудь видели его жену?

— Н-нет. Не видел.

— Красивая женщина, высокая такая. Знаете, как они подходят друг к другу — это не часто встречается. Должно быть, они страшно счастливы. Когда двое так любят друг друга...

Адам ни гугу, слышно только его тяжелое дыхание. Станда вдруг замолчал, прикусил язык: и в самом деле, именно об этом-то и не надо говорить с Адамом...

— А какая жена у Мартинека? — поспешно меняет он разговор.

— ...Не знаю.

— Вот отец, этот Мартинек! Только и знает, что дети, дети, дети... То-то радость, должно быть, когда человек так крепко детишек *любит*, — брякнул Станда и опять пожалел — ах, вернуть бы эти слова! Адам ничего не сказал, даже не вздохнул, точно в нем все замерло. Такое дурацкое слово... точно ты камень швырнул в пропасть; страшная тишина, камень все летит, летит, конца не видно, боже, какая глубина! Наконец доносится стук — камень упал на дно; Адам перевел дух и прибавил шагу. Станда не знает, о чем еще заговорить; глубоко несчастный, он бежит вприпрыжку рядом с длинным Адамом, кусая губы.

— Как вы думаете, удастся спасти тех троих? — спросил он, когда молчание стало совсем невыносимым.

Адам почему-то долго обдумывает ответ.

— Не знаю, — бормочет он погодя.

— Хотел бы я видеть, — не унимается Станда, — что там без нас сделали.

— ...Может, уже проходку начали, — выдавливает из себя Адам. — Если там воздухопровод в порядке... Вам нравится... тебе нравится работать в шахте?

— Что вы имеете в виду? — озадаченно спрашивает Станда. — Работать в завале?

— Нет, вообще, — рассеянно бормочет Адам. — Вообще работа в шахте.

— Ну, я уже привык, — браво отвечает Станда; это не совсем так, но никто не должен об этом знать.

— А мне... не по душе как-то, — медленно говорит Адам. — Мне все кажется, вроде на меня что-то падает.

— Вам страшно, когда вы спускаетесь? — изумился Станда.

— Э, страшно... Чудн*о* мне. Вот когда я внизу работаю... тогда уж ничего такого в голову не приходит, понимаешь? Это только когда клеть вниз идет... точно проваливаешься.

— А давно вы...

— Двенадцать... двенадцать лет. Думал, со временем пройдет. — Адам почесывает длинной рукой затылок. — Я только спросить... у тебя тоже такое глупое ощущение?

Станде странно, что Адам заговорил о себе; может и мне рассказать ему что-нибудь о себе... например, что я, собственно говоря, человек ученый и только несчастное стечение обстоятельств привело меня сюда? Адам, конечно, понял бы...

Станда чувствует особую симпатию к этому высокому тихому шахтеру; ему хочется сказать Адаму что-нибудь задушевное, серьезное, что навсегда останется между ними двумя.

— У тебя, кажись, есть книжки, Станда, — с расстановкой произносит Адам. — Я раньше тоже читал; да у всякого свое... — Адам, видимо, колеблется, — не дашь ли какую Марженке...

— С удовольствием, — поспешно отвечает Станда, чтобы Адам не заметил, как в нем все дрогнуло.

— Она... много читает, — задумчиво продолжает Адам. — Понимаешь ли, я... тоже иной раз заглядываю в ее книжки, да... да непонятно мне это. — Адам остановился. — Откуда люди могут знать, о чем пишут! Вот ведь глядишь на человека... всю жизнь... и не знаешь о нем ничего, хоть тресни. Да и как... к примеру... можно догадаться, кто что думает или чувствует? А в романах... все известно. Ей-богу, не понимаю я этого... — Адам покачал головой и снова двинулся вперед. — Тебе-то легче! Ты человек ученый...

— Откуда вы знаете?

— Говорили. Однако ни к чему это, тоже когда-нибудь все позабудешь. Понимаешь, шахта... из нее не выбраться.

— Почему?

— ...Не знаю. Глядишь на остальных... как на чужих, точно они из дальних стран, что ли. Мне все кажется, притронусь к чему — и испачкаю углем. И всегда так... не переборю себя ни за что... Марженка шьет ведь... А я уж и не вхожу в комнату, чтобы чего не измазать. Не знаю... тебе не кажется, как мне, что ты весь в угольной пыли?

— Кажется! — торопливо подтвердил Станда, и сердце его заныло от жалости. Бедняга Адам! Бедняга Адам, как он хочет что-то оправдать, что-то объяснить! Бедный, растерянный Адам!

Адам перевел дух.

— Вот видишь. От этого не отмоешься никогда. Может, другим это и не мешает... не знаю.

Адам замолчал и пошел еще быстрее, Станда еле поспевал за ним. Бедняга Адам! Совсем недавно он выделывал губами «пом-пом-пом» и раскачивался всем телом в такт песне, а сейчас мчится рысью, согнувшись под своим крестом. Больше нет никакой команды, остались опять только Адам и Мария, и есть Станда со своим одиночеством; каждый опять стал самим собой, каждый сам по себе, и каждый страшно одинок. Возможно, что и «пес» Андрес сейчас одинок, и Пепек, и каменщик Матула, и Суханек; все остались наедине со своими заботами или горем и спешат домой, понурив голову...

Адам останавливается у калитки своего домика.

— Я был... очень рад, — с трудом выговорил он. — Ну, доброй ночи.

И его костлявые, сухие, горячие пальцы крепко пожимают руку Станды. И Станда опять чувствует нечеловеческую усталость и... даже грусть. В темноте на цыпочках поднимается он в свою мансарду; раздеваться ему не хочется, и он сидит на краю постели... до того ему вдруг стало грустно. Внизу звякнула щеколда; заговорит ли кто-нибудь внизу, скажут ли что-нибудь друг другу эти двое, разве им нечего сказать? Тишина, где-то вдали свистит и грохочет поезд с углем. Снизу доносятся осторожные шаги, тяжело скрипнула постель Адама — и молчание сомкнулось, как черные воды омута. «Бедняга Адам, — сочувственно думает Станда, — бедняга, бедняга!» И мысли его обрываются...

XVII

Утром Станда проснулся с блаженным чувством: сегодня не нужно идти в школу. Он еще сладко потянулся и только тогда спохватился — какая там школа! А вот в шахту он спустится только в пять часов. Только в пять часов — уйма времени впереди, будто на каникулах. На улице солнечный день, хотя под утро прошел дождик; внизу щебечет канарейка и воркуют голуби, у соседей сердито кудахчет курица; и Станда поспешно вскакивает с постели, чтобы не упустить ничего из всей этой прелести. Кое-как он смочил лицо и волосы водой и бежит вон, топает по лестнице, как лошадь, и останавливается на пороге. Боже, какой чудесный день!

В садике Адам наклонился над цветами и ковыряется в клумбе. Вот он поднял голову, и на его продолговатом, худощавом лице появляется подобие улыбки.

— Доброе утро! — восклицает Станда.

Адам выпрямился.

— Здорово, Станда. Там... там тебе завтрак приготовлен.

Правда, об этом не уславливались, когда сдавали комнату, но, видно, сегодня день такой, вроде как праздничный... ну и ну, дела-то какие! Я тут уже почти как дома, — радуется Станда.

— Сейчас п р и д у, — кричит он, — только за газетами сбегаю.

Читать утром газету — это тоже все равно что праздник. Шахтерский поселок точно вымер, мужчины работают, только мы свободны, — ну, просто чудо!

— Марженка, дай Станде позавтракать, — говорит Адам в окно, и Станда солидно идет за газетами. Солидно, еще бы! Хотя он предпочел бы скакать на одной ножке, так все его веселит.

Теперь он сидит у Адамов в кухне и развертывает газету. Мария приносит ему на подносе завтрак — Станда косится на ее белые руки, покрытые золотистым пушком; что сказала бы она, если бы он поцеловал ее вот сюда, у локтя — наверное, уронила бы поднос и сказала бы вполголоса: «Что вы делаете?» — «Это я просто от радости, пани Мария, сегодня можно, такой уж нынче день!»

Но теперь уже поздно: Мария поставила поднос на стол и оправляет белую скатерть. Только сейчас Станда замечает: на подносе кофейник, тонкие ломтики хлеба и тарелочка с пластинками розовой, с прожилками сала, ветчины. Станда просто на седьмом небе — так он еще никогда не завтракал; он до того растроган таким вниманием, что даже краснеет.

— Спасибо, — еле выговорил он, не понимая, что у него стряслось с голосом, с руками... Без всякой надобности он громко откашлялся и угрюмо, почти строго бросил: — Адам... Адам мне говорил... чтобы я дал вам что-нибудь почитать.

Так, дело сделано — и Станда облегченно вздыхает.

Руки Марии замерли на скатерти.

— Адам? — изумленно вздохнула она — Это вам сказал Адам?

— Вчера... вчера вечером он говорил. Вы, мол, любите читать...

— А мне и словечка не промолвил, — произносит она растерянно; что такое — губы у нее дрожат, и она смотрит широко открытыми глазами куда-то поверх головы Станды. — Мне... мне даже не заикнулся!

— Можете выбрать какую угодно, — бормочет Станда, но Мария, кажется, не слушает; она все так же изумленно смотрит, но глаза ее вдруг наполняются слезами; она быстро отворачивается, чтобы Станда не видел ее лица.

— Это верно? Он сам сказал? Никто ничего ему не говорил? — вырывается у нее, и голос ее дрожит и теплеет. — Тогда скажите ему, что я... что я буду рада.

И — трах! — захлопнулась завешенная изнутри белой занавесочкой стеклянная дверь в комнатку Марии. Станда удивленно глядит ей вслед и качает головой — что это означает? Почему должен сказать ему я... точно они не разговаривают друг с другом! Ну что ж, застучит там опять швейная машинка, зальется канарейка, как несколько минут назад? Нет, кажется, там никто даже не дышит, только голуби во дворе вот-вот захлебнутся, воркуя. «А мне какое дело, — думает Станда с негодованием, — никому я ничего не стану передавать, говорите сами». И Станда с аппетитом набрасывается на завтрак и впивается глазами в газету.

Так, стало быть, в местной газете написано: катастрофа на шахте «Кристина». Станда нетерпеливо читает, чтобы не упустить ни слова: ведь он тоже имеет отношение к этому бедствию и вправе требовать, чтобы оно было описано подробно и правдиво. Что ж, в общем, тут все правильно, вынужден признать Станда: вскоре после начала второй смены взрыв в новой продольной выработке... весть разнеслась с быстротой молнии. Правильно. Есть жертвы. Сведения об этом, вероятно, дала дирекция или заводской комитет. Немедленно же были организованы спасательные работы... ага, вот: «Работать на сильно поврежденном и особенно опасном северном участке первыми добровольно вызвались следующие шахтеры...» У Станды так забилось сердце, что пришлось ненадолго прервать чтение. «...первыми добровольно вызвались следующие шахтеры: Иозеф Адам, Ян Мартинек, Франтишек Матула, В. Пулпан, Антонин Суханек и Иозеф Фалта, которые без промедления спустились в шахту, чтобы помочь засыпанным товарищам. Спасательные работы в районе взрыва продолжались всю ночь...» Станда читает еще раз: «...первыми добровольно вызвались следующие шахтеры: Иозеф Адам, Ян Мартинек, Франтишек Матула...» Пропустили инженера Хансена и запальщика Андреса; вероятно, так сделали нарочно, но это несправедливо, возмущенно думает Станда; а его назвали В. Пулпаном! Станду это ужасно сердит, вся радость испорчена; но он делает ножом дырку там, где напечатана эта дурацкая буква «В», так что ее нельзя теперь прочитать, и ему

становится легче. Теперь хорошо. «Первыми добровольно вызвались следующие шахтеры». Да, милый мой, это тебе не пустяк: «первыми» и «добровольно», ведь это значит, что они самые смелые. И они без промедления спустились в шахту, чтобы помочь засыпанным товарищам. На особенно опасный участок. Вот оно, черным по белому, и каждый может это прочитать. Станда уже выучил заметку наизусть, но читает еще и еще. Что ни говорите, а получается очень торжественно, этим полна газета; и от этого торжественного чувства Станду пробирает дрожь.

Он не в силах больше есть и бежит с газетой к Адаму.

— Посмотрите-ка, — показывает он запыхавшись. — Непременно прочтите!

Адам медленно встает — господи, сколько ему времени нужно, чтоб выпрямиться! — вытирает руки о штаны.

— Что там такое? — спрашивает он в недоумении и начинает просматривать газету сверху донизу.

— Вот здесь, заметка!

Серьезные ввалившиеся глаза Адама останавливаются на газетной странице, и он медленно шевелит губами, точно молится; Станде не терпится, и он еще раз, вместе с Адамом, перечитывает заметку; он давно уже раз десять повторил, что «первыми добровольно вызвались следующие шахтеры», а Адам все еще шевелит губами, внимательно читая заметку где-то на середине. Вот он остановился, и губы у него перестали двигаться; ввалившиеся глаза поднимаются на несколько строк выше и медленно-медленно читают снова. Теперь он, кажется, уже и не читает, а просто неподвижно смотрит на газетный лист.

— Что скажете? — нетерпеливо вырывается у Станды.

— Ну... очень хорошо, — гудит Адам, все еще не сводя глаз с газеты.

— То-то команда удивится! — важничает Станда.

Адам ничего не отвечает, его длинное лицо неподвижно, как маска, он только глядит, медленно помаргивая.

— На, держи, — говорит он в конце концов, подавая Станде газету, и отворачивается к своей клумбе. — Может... может... ты показал бы... и Марженке, — с трудом выговаривает он, склоняясь к своим ночным фиалкам.

— А вы не хотите показать ей сами? — нерешительно спрашивает Станда.

— Да нет... Я... зачем я, — бормочет Адам, нагибаясь еще ниже. — У меня руки в земле...

Станда идет в белую кухоньку. В соседней комнате тишина, разве что тюкнет канарейка да перескочит с жердочки на жердочку. У Станды на секунду замирает сердце, когда он стучит в стеклянную дверь.

— Войдите, — отозвался сдавленный голос, и Станда впервые входит в комнату Марии. Мария сидит у швейной машины, но без всякого шитья в руках; глаза у нее красные, она испуганно смотрит на Станду — вероятно, ждала кого-то другого.

— Вот... если хотите, прочитайте... — показывает Станда газету. И отчего это у него всегда такой громкий, грубый голос, когда он говорит с Марией? Мария берет газету, ищет...

— Вот эта заметка, — бормочет Станда и тычет пальцем; при этом он нечаянно коснулся локтя Марии и отдернул руку.

Мария читает. Наклониться бы через ее плечо и прочесть еще раз вместе с ней; ее волосы легонько пощекотали бы его щеку, запахло бы душистым мылом и кожей; и он услышал бы ее тихое глубокое дыхание... «Первыми добровольно вызвались следующие шахтеры...» Станда неуверенно переминается с ноги на ногу и смотрит на склоненную голову Марии и ее плечи, на канарейку, на белые занавесочки, на белую постель Марии, на белые руки Марии; он хмурится от смущения, принужденно кашляет и сам ужасается, как громко и неестественно звучит его кашель. Мария читает, пальцы у нее дрожат, слабый румянец разливается по лицу и шее до самого выреза блузки, она тоже читает как-то удивительно долго и неподвижно. Теперь она подняла голову; глаза ее сияют, в них что-то дрожит и расплывается, они полны слез, а полуоткрытые губы подергиваются мягко и нежно.

— Можно мне... можно, я спрячу? — спрашивает прерывающийся женский голос.

— Я вам потом принесу, — мрачно вырывается у Станды. — Я... я должен еще показать товарищам.

Тут ему приходит в голову, что он мог бы купить вторую газету, но поздно.

— Я принесу, — повторяет он еще более неприветливо и не знает, что сказать дальше, остается только споткнуться об эту стеклянную дверь — вот он и в кухне, и злится на самого себя. Болван, нужно было оставить ей газету!

Адам оборачивает к нему длинное лицо.

— Я покажу ребятам, — произносит Станда, лишь бы не молчать.

— Погоди-ка, — сказал Адам, вытирая руки о штаны, направился к сарайчику, где у него хранится весь его инструмент. Вскоре он вернулся с толстым синим карандашом.

— Дай-ка сюда, — невнятно говорит он, — надо отчеркнуть, чтобы сразу нашли.

Адам разложил газету на скамейке, присел на корточки, как ребенок, и, внимательно моргая, обвел толстой синей рамкой заметку о катастрофе на шахте «Кристина»; серьезно, с довольным видом рассматривает он теперь свою работу и тщательно поправляет один уголок.

— Ну вот, теперь можешь показывать.

XVIII

Прежде всего к Пепеку. Пепек живет вон там — на квартире у Томешей. Станда просовывает голову в его берлогу и чувствует, что сейчас задохнется — такая вонь идет от детских пеленок и нищенского тряпья. Неряха Анчка, сидя на табуретке, кормит с ложечки сопливого ребенка; другой, еще сопливее, сидит на полу и сосредоточенно играет мутовкой.

— Пепек дома?

— Спит еще.

В углу на постели послышалось кряхтение и скрип, Пепек поднял взлохмаченную башку.

— Что? Что такое?

— Я тебе кое-что принес.

— Ладно, погоди на улице, я сейчас.

Пепек, зевая, выходит на крыльцо в штанах и рубашке.

— Здорово, Станда. Что там у тебя?

— Прочитай-ка вот, — показывает Станда.

Пепек, зевая, чешет волосатую грудь.

— Я сегодня газеты еще не покупал. Ну-ка, покажи! — И он с угрюмым видом пробегает заметку. — Ну и что?

— Что ты об этом скажешь?

— Шуму-то сколько! — презрительно цедит Пепек. — Лучше бы деньжуры побольше подбросили.

— Какой деньжуры?

— Ну деньжат. За такую хлопотливую работенку, братец... надо платить не повременно...

— А показать Анчке не хочешь? Что ты в газету попал?

Пепек злобно дергает головой, точно ему тесен ворот рубашки.

— Да на кой черт! Бабы разве что в этом понимают! — Пепек хмурится. — Пишут тоже — опасный участок! Им-то легко говорить! Послали бы туда этих храбрецов, вот это да!

— Каких храбрецов?

— Которые пишут! Терпеть не могу, когда меня по плечу похлопывают — молодец, мол! Заплатили бы получше, чем языком чесать, а в газетах печатать, от этого толку мало. Из-за славы, что ли, работаем? Разве что Андрес, — усмехнулся Пепек, — а о нем-то как раз и не пропечатали!.. Мне, брат, всю ночь мерещился этот ход, все будто кровля валится...

Станда сильно разочарован тем, как Пепек отнесся к их прославлению.

— А вчера у Малека хорошо как было, — заговаривает он о другом.

— Да, первый класс! — оживляется Пепек. — С Андресом-то смеху сколько было!

— И Ханс пришел.

— Что ж Ханс, — замечает Пепек. — Коли он в наше положение входит — я не возражаю; он был вместе с нами и видал, какова там работенка. Да-а, умей он почешски, мы с ним поговорили бы.

— А ты видел, что и Адам пел?

— Да, видел. Что ж, Адам, он хороший товарищ. — Пепек подумал. — Послушай, Станда... ты ничего не заметил, как там у них теперь? Я имею в виду — как дела у Адама с Марженкой.

— Не знаю, — уклончиво сказал Станда. — Они все через меня вроде как переговариваются.

— Ври-и! Что ж, они не разговаривают?

— Разговаривают, но... почему-то у них не получается. Будто они... стесняются, что ли.

— Гм, — размышляет Пепек. — Гляди-ка, Станда, а ведь ты бы мог их помирить. Ты человек образованный, тебя Мария, может, и послушает. Сказал бы ты им — не дурите, мол, люди добрые, или вроде того... Да, а Мария видела, что Адам в газету попал?

— Видела. И тут же хотела спрятать на память!

— Вот это хорошо, — обрадовался Пепек. — Ты еще покажи ей, что Адама там называют раньше всех, на первом месте.

— Это, наверно, по алфавиту, — усомнился Станда.

— Все одно, она, может, не разберет. Понимаешь, пусть видит, что Адам... лучше всех, ясно? Для бабы это иной раз главное дело, — с видом бывалого человека сказал Пепек. — Вот он какой герой, наш Адам. Сколько лет жить рядом с этакой красоткой, вроде как из-за нее в уме помешаться, и ни-ни, даже не коснуться... кому это, брат, под силу! И все время — Марженка да Марженка... Нет, Станда, хвалиться тут нечем, но... ей-богу, я бы так не сумел!

Станда молчит, потому что и сам испытал: сходить с ума по Марии и не сметь ничего, ничего... даже, например, погладить ее склоненную голову или взять за полную гладкую руку... Откуда тебе понять, Пепек, какая это пытка!

Пепек размышляет и шумно скребет себе грудь; такая история как раз по нем, потому что Пепек страшно любопытен, когда дело касается женского пола; такой уж он завзятый бабник.

— Ну, я пошел, — поспешно говорит Станда. — Не знаешь, где живет Суханек?

— Дед? Хочешь и ему показать? Тогда спустись вот здесь и дуй по дороге через переезд — там тебе всякий покажет, где Фалтыс живет. И скажи ему, — паясничает Пепек, — что обушок, мол, нашли и с музыкой доставили в дирекцию. Ну, с богом, Станда!

И Пепек, зевая, начинает для разнообразия скрести себе спину.

У Фалтыса в доме красиво и чисто, как у Адама; перед домом садик: в нем грядка с фасолью и помидорами, клумба анютиных глазок, обложенная кусками шлака, дорожки, посыпанные красным песком, — тут просто чудесно. Из окна выглянул сам дед Суханек.

— А-а! — вполголоса восклицает он. — Сейчас выйду.

Суханек появился в жилете и рубашке, очевидно праздничной, — так туго она накрахмалена.

— Я тут у дочек, — зачастил он, словно оправдываясь. — Фалтыс-то, зять, значит, спит еще — в ночной смене работал, а Лойзичка куда-то побежала... Хочешь поглядеть?

— На что?

— Ну, на детей.

Дед Суханек на цыпочках вводит Станду в дом. Там душно и чисто, на плите кипятится белье; у окна сидит молодая женщина, у нее ножки как спички и прекрасные испуганные глаза; она пытается встать.

— Это Аныжка, — шепчет дед Суханек.

«У нее, вероятно, что-то с позвоночником — оттого она и калека», — подумал Станда и дружелюбно кивнул ей. Аныжка покраснела и снова опустилась на свою подушку. На полу играла девочка, которая испуганно вытаращила на Станду такие же, как у Аныжки, красивые глазенки и спрятала за спину чумазую куклу.

— Боится, — засмеялся дед Суханек, показывая беззубые десны. — К ней тут доктор ходил — золотуха у нее, — вот и боится. А старший-то внучек, Еничек, уже в школу ходит. Да ты вот сюда погляди, в колясочку!

Станда наклонился над коляской; там, сжав крохотные кулачки, спит ребеночек, удивительно маленький, только лоб у него огромный, выпуклый; пахнет мокрыми пеленками и детской присыпкой.

— Это наш Тоничек, — гордо шепчет дед Суханек и пальцем отводит замусоленный кулачок от полураскрытого ротика.

Ребенок захныкал, и дед мигом: «ш-ш-ш», и качает колясочку. Станда чувствует себя здесь как-то глупо, неловко; ну что ему тут делать, зачем ему все это показывают?

— Я принес вам кое-что! — бормочет он и выходит на цыпочках. — Вот здесь, прочитайте.

Ничего не поделаешь — приходится деду идти за очками; наконец он уселся на скамейке и медленно читает, двигая подбородком. Станда заглядывает ему через плечо и снова читает вместе с ним.

— Тут, внизу, видите?

Дед Суханек тщательно складывает газету; он вдруг принимает необыкновенно важный, почти торжественный вид.

— Вот видишь. Надо и мне купить газету, пусть Аныжка и Лойзичка увидят. Я сегодня еще не выходил из дому... А о Фалтысе, о зяте, там ничего нет, — спохватывается он. — Ведь он тоже добровольно пошел!

— Так ведь он же во второй команде, — объясняет Станда.

— Верно, верно. Поди, завтра о нем напишут. Постой, я тебе покажу кое-что.

Дед уходит на цыпочках и приносит толстый молитвенник.

— Это после покойницы жены осталось, — оправдывается он поспешно. — В нем я свои бумаги храню, чтоб не растерять. Гляди-ка. — И он протягивает Станде пожелтевшую вырезку из газеты.

— «Выборы в заводской комитет», — читает Станда. — «В заводской комитет на шахте «Кристина» были избраны товарищи: Бидло Фр., Мужик Иоз., Суханек Ант. ...»

Дед Суханек, нацепив очки, смотрит через плечо Станды.

— Вот здесь, видишь, Суханек Антонин, — показывает старик. — А тут и другая статейка обо мне...

— «Выборы в шахтерскую кассу взаимопомощи», — читает Станда; дальше красным карандашом подчеркнуты слова: «...заместителями избраны Ал. Михл и Ант. Суханек».

Станда возвращает деду пожелтевшие вырезки.

— Если тебе интересно, — неуверенно бормочет Суханек, — то у меня есть еще кое-какие бумаги...

Станда осторожно развертывает порванные на сгибах листы. Метрическое свидетельство, имя ребенка — nomen filii — Суханек Антонин. Свидетельство о том, что Суханек Антонин, родившийся там-то, прошел испытание на забойщика. Свидетельство о браке: Суханек Антонин и Броумарова Алоизия...

— Вот и все, — лепечет Антонин и тщательно вкладывает документы в молитвенник покойной жены. — В общем, не так-то много.

Да, не много, думает Станда, зато самое важное, дедушка Суханек. Человек родился и взял в жены Алоизию, сдал экзамен на забойщика и дожил до чести быть избранным в заводской комитет и заместителем председателя кассы взаимопомощи; пять-шесть событий — и вся

жизнь. И после этого находятся люди, которые воображают, будто самое важное в жизни — бог знает что!

— Дед, — нерешительно начал Станда, — как вы думаете, Пепек пошел в команду только ради денег? По крайней мере, он сам так говорит...

— Да нет, какое там, — взволновался дед. — Это он на себя просто напускает. Ты ему не верь.

— Так почему же он пошел?

— Гм, — призадумался старый Суханек. — Я и объяснить-то не сумею. Скажи ему, что он хотел помочь засыпанным товарищам, он тебя так облает — ой-ой-ой, язык у него больно поганый! Понимаешь, Пепек... такая у него повадка; без него ни одно дело не обойдется, понимаешь? А ведь не раз крепко ему попадало — все равно свой нос всюду сует. Это словно потеха для него. Всюду ему поспеть надо: стачка ли где или в трактире потасовка — он главный заводила. Кровь у него буйная, у Пепека. А так — работяга и товарищ хороший, этого у него не отнимешь, хоть и любит он поддеть и поддразнить кого попало. Да не беда, зато с ним весело...

— А он... смелый?

— Ну, конечно, — соглашается дед. — Один против всех в трактире пойдет, хоть и знает, что побьют. И в огонь полезет, это ему нипочем. И все ему как с гуся вода; другой раз так его отделают, просто ужас — а он наутро, как ни в чем не бывало, опять языком треплет. Смелый, это да — себя не пожалеет, понимаешь?

— А Мартинек?

— Гм, Мартинек, — смешался дед. — Как можно сравнивать. Мартинек не дерется, и ничего такого за ним не водится... Раз только, но тогда, черт возьми, дело шло о жизни. Судили тогда его, дали ему условно. Был тут мясник один — не знаю, как это получилось, — он на людей с ножом кинулся и двух человек порезал. А там случайно Мартинек оказался, и сейчас: пустите, мол, меня, да так этого мясника отделал! Уж и не помню, сколько ребер ему поломал... А с чего ты спросил?

— Почему Мартинек вызвался, если у него жена и дети?

Дед Суханек задумчиво поморгал.

— Ну, он солдат... и сила у него, голубчик, такая силища... Только он больше к дому привержен, к детям;

сядет на порожек и глядит, довольный такой, — мол, вот каков я, любите меня! И еще, я думаю, силушка-то у него иной раз выхода ищет. Как тогда с мясником. Мартинек на рожон не лезет, но если случай какой подходящий, так он, почему бы, мол, мне не пойти, и идет. А зачем идет, он, поди, не думает; чтоб отличиться — так нет, не в этом дело. У него одни дети на уме... да иной раз сила в нем взыграет. Очень он хороший человек.

— А Матула что?

— А-а, Матула. Все-то тебе знать нужно! Матула все-таки несчастный человек.

— Почему же несчастный?

— Так. Воли у него никакой нет. Ему приказать нужно — тогда он идет. Или когда запой — идет, не может с собой совладать.

— А почему же тогда он сам вызвался?

— Оп на Андреса здорово зол. Тут он не виноват, он словно помешанный. Да мы все следим, чтобы он на Андреса не кинулся. Но если ему сказать: Матула, вон дом падает, подопри — он пойдет, что твой вол, и подопрет. Сила страшная у Матулы, сынок, а на работе он ничего не стоит. Ты можешь его на ниточке водить, а чтоб самому догадаться — так нет. Вот, брат, какое дело-то.

Дед Суханек молча покачал лысой, чисто вымытой головой.

— Ну, раз ты обо всех допытываешься, — сказал он неожиданно, — так я объясню, почему и я вызвался один из первых. Чтоб шахтерской чести не уронить. Чтоб никто не посмел сказать, вот, мол, старый Суханек когда-то в заводском комитете был, а сейчас за чужие спины хоронится. Человек, значит, должен выполнять свой долг. И еще — ведь я на «Кристине» забойщиком двадцать лет работаю и каждый камень знаю... И думаю — когда понесут меня на кладбище и в последний раз под землю спустят, так люди по праву скажут обо мне: да, Суханек Антонин был настоящий старый шахтер, он не забывал, что такое шахтерская честь; в долгу перед «Кристиной» не остался... — Старый Суханек помолчал. — А вот насчет обушка досадно мне, — пробормотал он немного погодя. — Всю ночь напролет о нем думал. Такого еще не бывало, чтоб я где-нибудь свой инструмент терял.

— А Адам... что?

— Да, Адам, — опять призадумался дед Суханек. — Погоди, парень, как бы это объяснить... Видишь ли, нас вызвалась полная команда, так ведь? И дали бы нам время подумать, пошли бы все, кто там стоял, я-то их знаю. А если ты меня спросишь, почему, я скажу: потому что они шахтеры. Несчастье в шахте касается всех, и если ты настоящий шахтер, то идешь туда и делаешь свое дело. Вот самая главная причина, а все остальное так... на втором месте. Ты не знаешь, когда сам останешься в шахте и кто будет тебя откапывать. Вот у нас и повелось, как говорится, — все за одного, один за всех; таков уж наш шахтерский обычай. Да, ты что хотел спросить-то?

— Почему Адам пошел?

— Я ж тебе объясняю — потому что он шахтер. И еще скажу — он забойщик, каких мало.

— А мне Адам сказал, что не любит в шахту спускаться.

— Не люби-ит? — удивился дед Суханек. — Вот это для меня новость. Ну да, Адам мало разговаривает... Такой умелый человек, — покачал дед головой. — Его всегда в пример другим ставят, а он, оказывается, не любит... Да-а, дела-а-а!

— А вы не думаете, что Адам сделал это... из-за своей жены... потому что она его не любит?

Дед Суханек глубокомысленно промолчал.

— Послушай, Станда, — заговорил он через несколько минут, — тебе-то какое дело! Кто сует нос в чужие дела... тому в жизни мало радости. Ты еще больно молод.

«Молод! — обиделся Станда. — Милый дед, молодости-то я почти и не видал».

— Легко сказать: из-за бабы, — недовольно ворчит дед. — Молодой холостой человек, тот думает: в воду прыгну, лишь бы девчонке своей понравиться. А хоть и прыгай, так что толку... у молодых это все несерьезно. Жизнь или смерть — им все едино. А человек постарше... — И дед раздумчиво покачал головой. — Ты мне даже и не говори. Такого я бы пожалел.

— Почему?

— А-а! — махнул дед жилистой рукой. — Адам-то понимает, что и почему делает! А я тебе скажу — будь у него дома все в порядке, имей он хоть шестерых детей, — все равно пошел бы. Да, Адам пошел бы. У Адама, голубчик, все обдумано, и он видит глубже, чем любой из

нас. Только никому не говорит, что думает. И знаешь, оставь-ка ты его в покое!

Станда встал.

— Да ведь все равно видишь, что происходит. Пепек вон тоже заметил.

— Как же без Пепека, — обозлился дед Суханек, — когда тут юбка замешана! Вот тебе и весь Пепек! Оставили б вы лучше Марию в покое оба — и ты и Пепек, вот что я вам скажу!

Станда обиделся.

— Разве мы ей что-нибудь плохое делаем?

— Очень уж она вас занимает, — проворчал дед. — Берегись, Станда, а если одиноко тебе, так здесь девчонок молодых, ей-богу, хватит.

Станда краснеет до корней волос, сердясь и на себя и на деда.

— Да что вы, мне и во сне не снилось... Просто замечаешь, что у этих двоих... нет счастья. И все. А вы сразу — невесть что.

Дед Суханек понимающе кивает.

— Вот и оставь их, Станда, не к чему голову-то ломать. Говорят, у Покорных хорошую комнату сдают, взглянул бы...

— Переехать мне, что ли? — грубо оборвал его Станда.

— Да, так-то оно лучше будет, — сказал дед Суханек и улыбнулся, показав беззубые десны. — А как хорошо мы с тобой потолковали, верно ведь?

XIX

Крепильщик Мартинек живет далеко, там, где уже начинается поле. «Пойду к нему днем», — решил Станда и отправился обедать, будто барин, в так называемый «загородный ресторан»: в тени деревьев, за редкими запыленными кустами боярышника, заменяющими изгородь, поставлено несколько столов, накрытых длинными красными скатертями; за одним из них расположился Станда со своей газетой, чтобы еще раз прочитать: «Работать на сильно поврежденном и особенно опасном северном участке первыми добровольно вызвались...»

— Что прикажете, сударь? — строго спрашивает кельнер, отгоняя салфеткой осу.

«Сударь» покраснел и насупился, никак сразу не сообразит, что ему заказать; хорош «сударь», нечего сказать — о нем в газете столько пишут, а он робеет перед кельнером! Станда зол на себя и на деда Суханека. «А ему-то какое дело, этому деду, — думает Станда. — Советовать вздумал — переезжай, мол! Ведь не из-за чего. Совершенно невозможно, чтобы... между мной и Марией... когда-нибудь что-то могло бы быть... (А если невозможно, зачем тебе там жить?.. Нет, постой, это не так уж невозможно!.. Но ты все-таки не сделаешь такой пакости Адаму, как ты полагаешь? Теперь, когда он стал твоим товарищем по команде... Но Адама не убудет, если я с ней иной раз и перекинусь словечком... И ничего больше?.. Цыц!) Станда решительно развертывает перед собой газету: он будет читать, и кончено! «Работать на сильно поврежденном и особенно опасном северном участке...» Зачем мне переезжать? — мысленно возражает Станда. — С меня достаточно... просто ее видеть; что еще есть у меня на свете!»

За соседним столом торопливо едят двое, тоже, вероятно, шахтеры; тот, что сидит спиной к Станде, разложил перед собой ту же газету и читает ее на той же странице. У Станды забилось сердце, он готов провалиться сквозь землю — сейчас этот человек прочитает о нем — и, быть может, вдруг обернется: «Это не вы, часом, В. Пулпан?» — «Тут ошибка, там должно стоять С. Пулпан, С., то есть Станислав!» — хочется закричать Станде; он сдерживается изо всех сил, лишь бы сидеть как ни в чем не бывало, спокойно и скромно; а в действительности он перестал есть и испуганно глядит на соседний стол. Второй шахтер заметил это и оглянулся на Станду не то неуверенно, не то укоризненно.

— Мартинек, — произносит читающий газету, — какой это, крепильщик или тот, льготецкий Мартинек?

— Да вроде крепильщик, — равнодушно отвечает второй. — Льготецкий болен.

— Ага. Я этого крепильщика знаю.

И больше ничего. Человек перевернул газетную страницу и стал просматривать объявления. Вот и все. «Ага, я его знаю». А те, кто его не знает, даже не скажут «ага» и перевернут страницу...

Станде вдруг становится горько, он разочарован. Не станет он показывать газету Мартинеку...

Мартинек встречает Станду широкой улыбкой; он сидит на крылечке и держит между колен голубоглазую девчушку с двумя золотыми косичками — вылитый отец, но до того маленькая, хрупкая, что просто смешно: от земли не видать, а осмеливается походить на такого великана!

— Как тебя зовут?

— Ну, скажи, Верунка, — подбодряет отец, похлопывая девочку по животику.

— Верунка, — беззвучно шепчет ребенок, не сводя изумленного взгляда с господина в воротничке.

— Я тебя с утра ждал, — приветливо говорит крепильщик. — Такой чудесный день...

— Что ты делал?

— Ничего. Понимаешь, когда у тебя дети... Даже за табаком не сходил. Мы с Верункой тут читали, правда, Верунка?

Девчушка кивнула и прислонилась к отцовским коленям.

— Я тоже принес тебе прочесть кое-что, — говорит Станда с самым небрежным видом и подает Мартинеку газету.

Крепильщик читает, и на его спокойном лице не дрогнет ни одна черточка.

— Так... — произносит он в конце концов и, тыкая толстым пальцем в газету, обращается к дочери: — А нука, Верунка, сумеешь вот это прочитать?

— Ян... Мар-ти-нек, — читает по слогам ребенок.

— А ты знаешь, кто это?

— Нана, — вздыхает девочка, поднимая на него глаза.

Крепильщик Мартинек так и просиял от восторга.

— Ну вот, видишь, как ты хорошо читаешь! Ты на можешь оставить мне газету, Станда? Чтобы мне не ходить. Я бы для детей спрятал.

— Конечно, — великодушно соглашается Станда; он совсем забыл, что обещал принести газету Марии.

Мартинек встает, ростом он почти в два метра, и дочурка обхватила его ногу, как столб.

— Хочешь, мальчишку своего покажу?

Мальчика держит жена Мартинека; на руках у матери ребенок кажется чересчур большим; она маленькая и совсем некрасивая — ну разве что милая, — решает Станда. Мальчик смотрит на Станду серьезно, почти строптиво.

— Гонза, Гонзик, ку-ку, — улыбается великан Мартинек, и пухлый карапуз поворачивает к нему круглую головенку, заливаясь восторженным смехом. Мартинекова смотрит счастливыми глазами на своего огромного мужа; господи, ну что из того, если она некрасива! Станде здесь нравится, он чувствует себя словно в деревне.

— Кем будет мальчик? Шахтером? — спрашивает он у крепильщика.

— Как бы не так, — улыбается Мартинек, — я его в шахту не пущу. Вот лесником — дело другое. А если уж плотником, так чтобы дома строил. Прекрасная работа. Эх, друг, мне бы опять плотничать на земле... Понимаешь, люблю я воздух и простор. Вот бы крестьянствовать, да... с лошадьми...

Мартинек уже не в маленькой кухоньке, — он в поле, и оглядывает его голубыми лучистыми глазами; тут и пара лошадей, впряженных в плуг. Что делать с мальчонкой? Посадить бы его прямо без штанишек на пристяжную — то-то бы завизжал Гонза от радости! Молодой великан махнул широкой лапой.

— Пошли на волю, Станда?

Они оба сидят на крылечке, девчурка карабкается по отцовской спине, по могучей розовой шее и съезжает вниз, так что задираются юбочки.

— Ты вот говоришь — Адам, — начинает крепильщик, довольно щурясь на солнышко. — Моя жена знакома с Марией... Она, Мария-то, иной раз заходит к детям. Ей бы детей нужно, это для нее самое главное; я полагаю, их ей больше всего недостает, хотя всяко бывает, может, у нее и не могло быть детей.

— А Пепек говорит, — неизвестно чему возражает красный от смущения Станда, — что Адам с ней... собственно... и не жил никогда.

— Много люди знают, — улыбается Мартинек. — Жил или нет, он об этом никому не скажет. Он человек не глупый и ждет — бывает, переменится что на сердце у женщины, а почему — она и сама не знает. Намекала недавно Мария моей жене — мол, чего не было, то еще может быть. Понятное дело, о чем только женщины между собой не толкуют! Моей подумалось, что Мария хочет сказать, будто теперь у нее могут быть дети. А вчера моя была у нее — побежала меня искать... — так Мария, говорит, словно в горячке, все «Адам» да «Адам», как бы

с ним чего не случилось, да что раньше она не знала, какой он, и что всю жизнь будет себя попрекать... словом, будто спятила. Кто-то ей сказал, что Адама не хотели брать как женатого, а он нарочно пошел... Так моя говорит, такого еще и не видывала: застыла Мария, слезы побежали ручьем, и все себя винит: никогда, мол, она Адама не хотела, была у нее одна любовь — она поклялась в верности тому, первому, только сейчас, говорит, видит... Вот как с ней дело-то обстоит, так и знай.

Станда впивается ногтями в ладони — от боли и... от чего-то, похожего на стыд,

— А что... Адам?

Девчурка тем временем уселась верхом папе на шею, как на коня, и крепильщик подставляет ей ладони вместо стремян.

— Да что Адам... в том-то и загвоздка. Такой умный человек, а тут будто слепой. Не знаю, заметил ли ты: он никогда на Марию и не глянет, уставится в землю и бормочет, точно боится глаза на нее поднять, что ли. Да вот вчера, когда мы на-гора поднялись, — она глаз с него не спускает, а он глядит в землю, как дурак. Не по душе мне, что вчера он пришел к нам в трактир. Не следовало ему этого делать; но Пепеку вечно дурь в голову лезет... Нам бы всем по домам сидеть, ведь и жены на нас право имеют, не так ли? Но раз Пепек сказал «всей командой», — хоть тресни, а ничего не поделаешь; даже Адам пришел, хоть и не пьющий... Я думаю, как это было неприятно Марин... Вон и моя, — ведь понимает, в чем дело, а тоже сказала: не знала я, мол, что тебе команда дороже. Понятно, бабе всего не растолкуешь. Да, ошибка вышла. Если бы Адам остался дома... не знаю. Впрочем, и так могло быть, что уставился бы он опять в пол своими буркалами, а потом сказал бы — доброй ночи, Марженка, да и залез бы под перину. Трудное дело, когда оба такие гордые; никто не хочет и... не может первый начать...

Девочка съехала по отцовской спине, обхватила его шею ручонками и прижалась к ней лицом.

— Поносить тебя, Верунка?

— Нет, — сонно и блаженно вздохнула она.

— Гордые — да, оба гордые, — продолжал крепильщик, помолчав. — Понимаешь, они, наверное, друг с другом и не жили, вот в чем дело. Если бы жили, так и гор-

дость прошла бы, ого! Всякая гордость — она так людей отдаляет... и трудно через нее перешагнуть, друг ты мой. И чем дольше это тянется, тем больше люди отходят друг от дружки. И после уж очень трудно поправить дело.

— Ты думаешь, Адам ее... все еще любит?

— Конечно. Всякому видать, как его любовь гложет. Когда при нем о женщинах пойдет болтовня, так у него все лицо скривится, кажется, будто на дыбе его пытают. А знаешь, если бы он хоть разок поднял дома свою баранью башку да повел бы себя как мужчина, — господи, сразу бы увидел: Мария размякла как воск... Такая красивая женщинка, братец ты мой!

— Красивая, — жалобно пробормотал Станда.

— Это с какой стороны подойти. Для Адама она, наверно — как икона на алтаре. Ты, Станда, понятия не имеешь, как шахтеры до баб охочи, — Пепек мог бы тебе порассказать. Я вот, правда, больше к деревенскому привержен и к таким делам не склонен. Да и жену свою люблю, что ж. Но Адам... да, по нему видно, что может любовь сделать с человеком... Погляди-ка, уснула?

Станда взглянул на Верунку — в щелке между веками у нее виднелись полоски белков.

— Засыпает, — шепнул он.

Крепильщик начал слегка раскачиваться, убаюкивая дочку.

— Что ж, любовь — нет ее сильнее, покамест двое врозь живут; а поженились да дети пошли, тут уж не это главное; приходится любовь делить на всех, как хлеб. Адаму вот как нужны дети, чтобы он мог раздать свою большую любовь. Ты заметил, Станда, когда Адам иной раз улыбнется, так сразу видно: ей-богу, каким счастливым мог быть этот человек, если бы ему хоть чуточку повезло! — Мартинек нахмурился. — Но теперь его черед сделать первый шаг. Мария такой шаг сделала — пришла его встретить, да и вообще. Не может же он от нее требовать, чтобы она ему прямо сказала — я твоя. Через столько лет это трудно. Оп сам должен что-нибудь сделать...

— Я думаю, — нерешительно сказал Станда и весь покраснел от волнения, — я думаю, как раз потому-то Адам и вызвался, понимаешь, хотел показать ей... что он герой, что ли. Знаешь, он глядит на нее словно бы снизу

вверх — просто ужас... и всегда чувствует себя перед ней черным *шахтером*, — он сам мне говорил. Вот потому он... только ради нее, понимаешь? Чтоб этим заслужить ее уважение и... любовь, как ты думаешь?

Крепильщик долго молчал и щурил глаза, размышляя.

— Что ж, какая-то доля правды в этом есть. Герой ты там или нет — об этом обычно и не думаешь; но если это ради женщины... Вот видишь, — вздохнул он *удовлетворенно*, — тогда выходит, что Адам тоже сделал первый шаг, чтобы сблизиться с Марией! Стало быть, это было с обеих сторон... Я буду очень рад за Адама. Вот почему он, бедняга, так старался под землей. Смотри-ка, а мне бы и в голову не пришло! Я жене скажу, пусть она Марии вроде как *намекнет*, — да, мол, милая моя, твой Адам — как это ты сказал? — герой? Ну, хоть бы и *герой*, — бормотал *Мартинек*. — Только мы на это не так смотрим.

— Я ей тоже могу сказать! — заторопился Станда, окрыленный скорбным и великодушным *самопожертвованием*. — Да, так я и сделаю. Для товарища.

— *Ни-ни*, — решительно сказал *крепильщик*. — И вообще, Станда, постарайся съехать от них.

— Почему?

Мартинек засмеялся и дружески положил Станде на плечо свою могучую лапу.

— Потому что ты еще глупый мальчик, Станда.

XX

Станде остается еще одна прогулка: пройтись — конечно, так, невзначай — мимо виллы Хансенов. В саду пусто, там нет ни Хансена, ни его длинноногой шведки, похожей на девушку. Станда готов просунуть голову между прутьями железной решетки — сколько же там роз! — хоть разок заглянуть внутрь, понюхать тяжелые бутоны... и вдруг Станда испугался: в беседке неподвижно сидит госпожа Хансен и смотрит перед собой; она, правда, не замечает Станды, как не замечает, вероятно, ничего вокруг себя, но странно и непривычно видеть, что она не бегает вприпрыжку по саду, а сидит тихо и прямо.

Станда медленно плетется домой, и у него тяжело на душе... отчасти и потому, что через час пора спускаться

в шахту, а это внушает ему все более гнетущий страх. Вот и в газетах пишут: «особенно опасный участок»; а крепильщик сказал: «Паршивый штрек, ты еще увидишь». Каково-то там трем засыпанным, задумывается Станда, стучат ли они еще в стену, горят ли еще у них лампочки?

Адам, конечно, в садике; он только что сделал для трех кустов штамбовых роз новые подпорки и насадил на них стеклянные шары — серебряный, золотой и синий — и теперь задумчиво созерцает всю эту красоту. Станде хотелось бы незаметно проскочить в свою мансарду; по Адам оборачивается к нему с таким видом, будто собирается улыбнуться.

— Пожалуй, нам... идти пора.

Делать нечего, Станда подходит ближе, чтобы оценить по достоинству роскошные шары. Как смешно отражается в них Адам: огромный плоский череп, точно его кто-то раздавил, а под ним карикатурное, хилое тельце. Вторая расплющенная голова на тоненьких ножках — сам Станда. «З а б а в н о», — думает он, но ему не до смеха; он глядится в зеркальный ш а р, — какие же мы оба, честно говоря, убогие! Какое, должно быть, получится искаженное, нелепое отражение, если я, например, возьму сейчас Адама под руку и скажу: «Адам, это ужасно, но я люблю вашу жену», — ну и хороши были бы мы в этом шаре!

— Иди, я тебя п о д о ж д у, — громко говорит Адам, продолжая разглядывать в стеклянном шаре свое уродство.

Легко сказать — иди, когда у Станды подкашиваются ноги, — так бы и сел, положив голову на стол... Неужели ему опять придется лезть в обрушившийся ходок... «Иди, я тебя п о д о ж д у», — сказал Адам. Быть может, я больше сюда не в е р н у с ь, — вдруг приходит в голову Станде, и он тщетно старается запечатлеть в памяти кусочек этого мира: чистую комнатку с почти новой обстановкой, окна, освещенные солнцем, голубку во дворике, захлебывающуюся от воркования; и тишину, необыкновенную, мучительную тишину — это Мария. И еще одно нужно посмотреть Станде: последнее свидетельство из реального училища.. А теперь ты можешь идти, откатчик Пулпан! Станда резко задвигает ящик стола и бежит вниз по лестнице, топоча, как лошадь. Иду, иду, Мария. Иду, иду, Адам. Иду...

Адам ждет, прислонясь к забору, и смотрит неведомо куда.

— Пошли, что ли?

Он только еще раз на ходу оглядывается на стеклянные шары; нет, на Марию, которая смотрит из окна, прижимая шитье к груди, и губы у нее приоткрыты, словно ей трудно дышать.

— Прощай, Марженка, — бормочет Адам и выходит, размахивая руками, на улицу.

Теперь они идут вместе к «Кристине» в молчат, да и о чем говорить? Проходят по крутой улочке и шагают по длинному шоссе; идут по тротуару из шлака, мимо просмоленных заборов, — обычно не замечаешь дороги, по которой ходишь ежедневно. Ноги идут сами, а мысли идут своим чередом; о них даже как-то не думаешь, твои мысли живут сами по себе, и до такой степени они одни и то же, что почти не доходят до сознания; они просто тут, как этот забор и телеграфные столбы, — и незаметно ты оказываешься у решетчатых ворот «Кристины». Только здесь Адам поглядел на Станду и так хорошо, по-дружески улыбнулся: ну вот, мы и дошли!

— Как там дела? — рассеянно спрашивает Адам у окна нарядной.

— Да что, хорошего мало. Днем пришлось вывезти Брунера и Тонду Голых. Тонда полез за Брунером...

— Газы?

— Ну да, рудничные газы. Работы идут уже у самого целика, но пришлось маски надеть, каждые десять минут сменяются.

Адам недовольно засопел. Да что поделаешь!

— А... что те трое? Подают еще сигналы?

— Говорят, утром подавали, но очень слабо. Поскорее пробивайтесь, ребята, пока не поздно. Если газы есть и по ту сторону, тем все равно аминь...

Адам махнул рукой и торопливо побежал в душевую переодеться. Дед Суханек, каменщик Матула и Пепек уже там и снимают рубашки, но им что-то не до разговоров.

— Слыхал? — цедит Пепек сквозь зубы.

— Слыхал, — гулко бросает Адам, поспешно раздеваясь.

— Паршивое дело, — сердится Пепек. — С маской на роже много не наработаешь. Я не надену.

— Если только тебе Андрес разрешит, — возражает дед Суханек.

Пепек хотел было огрызнуться, но тут вошел Мартинек.

— Здорово, команда, — весело поздоровался он. — Что слышно?

— Говорят, там газы появились, — вырвалось у Станды, который о газах знает пока только понаслышке.

— Да? — равнодушно сказал крепильщик и неторопливо снял пиджак, точно жнец в поле. — Какой сегодня день-то чудесный.

— Ты где был? — невнятно проворчал Пепек, склонившись к своим опоркам.

— Да только дома, знаешь ли...

Команда, брюзжа, перекидывается рассеянными, короткими словами. Станда дрожит от холода и от волнения, глядя на этих пятерых голых людей, — ребята, ведь мы, может, видимся в последний раз! С любопытством, в упор и, кажется, впервые без инстинктивного отвращения рассматривает он голых волосатых мужчин: Пепек нервно зевает, у него мужественная наружность — длинноногий, жилистый, он весь состоит из узловатых мышц, которые так и перекатываются под угреватой шерстистой кожей; дед Суханек — сухой, сморщенный, с пучком смешных белых кудряшек на середине груди, точно у него там вырос мох; каменщик Матула — пыхтящая груда мяса, жир обвисает на нем тяжелыми складками, покрытыми мягкой щетиной; Адам — кости да кожа, но рослый, с узкими бедрами и втянутым животом, с густой дорожкой темных ровных волос вплоть до запавшего пупка, — точно у него там третий глаз, такой же ввалившийся и серьезный, уставившийся неведомо куда; Мартинек с широкой грудью, покрытой золотистой шерстью, сильный, красивый и беззаботный; ну, а эти длинные тощие руки, узкая, бледная, голая грудная клетка — сам Станда. Словом, какие есть, но до чего ясно говорит каждое тело о человеке — словно читаешь человеческие судьбы. И раз ты понимаешь, что мы одна команда, то перестаешь стыдиться себя; вот я, товарищи, весь тут перед вами.

Приходит запальщик Андрес, уже переодетый, с лампой в руках.

— Бог в помощь!

— Бог в помощь! — вразнобой отвечает команда.

— Пошевеливайтесь, п о р а , — подгоняет запальщик, пересчитывая взглядом людей.

— Ладно, сейчас...

Каменщик больше не сверлит Андреса воспаленными глазами, он смотрит в сторону и лишь свирепо хмурится.

Приумолкшая команда быстро идет к клети, позвякивая лампами; запальщик Андрес выступает, разумеется, впереди, точно на смотру, только сабли не хватает. Нагора уже выезжают рабочие после смены, усталые и безучастные — лишь кивок да небрежное «бог в помощь».

— Вы в восемнадцатый?

— Да.

Клеть с командой проваливается. У Андреса твердеет лицо, дед Суханек озабоченно моргает и медленно жует губами, будто молится, Пепек судорожно зевает, а Матула сопит; Адам загораживает рукой лампу и смотрит ввалившимися глазами в пустоту, строго поджав губы; лишь крепильщик Мартинек сияет улыбкой, мирной и несколько сонной. Станде все вокруг начинает казаться удивительно нереальным, почти как во сне — точно так же мы спускались вчера... будто длится та же самая смена, будто мы все еще падаем, падаем без конца в шахту, и, однако, все совершенно иначе... Что, что именно иначе? Да все — я, мы, вся жизнь. Никто не знает, что изменилось за время этого спуска; и бесшумно, неумолимо летят и летят вверх отвесные отпотевшие стены.

Наконец толчок, клеть останавливается, и команда идет по бесконечному сводчатому коридору под вереницей электрических лампочек. Шахтеры, окончившие смену, тянутся группами или разорванными цепочками к клети, повсюду слабо раскачиваются и мерцают огоньки — похоже на праздник поминовения усопших. Теперь влево — в черный откаточный штрек; с кровли и со стен свешиваются те же, что и вчера, белые сталактиты и наросты подземных грибов; из темноты навстречу движется несколько мигающих огоньков. Ага, это возвращается спасательная команда с места взрыва, они что-то спешат выбраться на-гора; Андрес на минутку останавливается с десятником, руководившим спасательными работами, и команда скупыми словами расспрашивает, что там делается. Да, скверно, лучше и не спрашивай, братец.

— Газы?

— Газы и все прочее. Опять крепь трещит. Ну, бог в помощь, ребята, с нас хватит.

Теперь лампа запальщика Андреса быстрей бежит во мраке. И снова налево, как вчера, через вентиляционные двери; снова здесь тот бледный длинный человек — бог Е помощь! — и тяжелый удушливый воздух восемнадцатого штрека навалился на людей жаркой нечистой периной.

— Чтоб тебя разорвало! — шипит Пепек, а Матула хрипит, как от удушья. Станде кажется, что здесь стало еще мертвей и пустынней, чем вчера, но штрек почему-то гораздо ближе: они уже у изломанной крепи, вот и подпорки и скобы, поставленные Мартинеком, — неужели дорога такая короткая? — удивляется Станда.

А там уже дрожит маленький спокойный огонек контрольной лампочки, над ним склонился кожаный шлем и чумазый блестящий нос инженера Хансена.

Запальщик Андрес выпятил грудь и четко шагнул вперед — раз-два.

— Бог в помощь, — отрывисто произнес он и щелкнул каблуками. — Докладывает первая спасательная команда: десятник — запальщик Андрес, забойщик Адам, забойщик Суханек, крепильщик Мартинек, подручный забойщика Фалта, каменщик Матула и откатчик Пулпан.

XXI

— Gut, — кивает Хансен. (Неужели он тут работает вторую смену?)

Он по пояс обнажен, и команда смущенно отворачивается; как-то неловко глядеть на человеческую наготу господина инженера.

Но если Ханс устроился как ему удобно, так что за церемонии, ребята! Вся команда снимает куртки и стаскивает рубашки, будто мальчишки, собираясь купаться. Только запальщику Андресу раздеваться не очень охота; но он косится на Хансена — странная была бы субординация, если б десятник остался в пиджаке; и Андрес, мгновенно решившись, сбрасывает с себя вместе с пиджаком и рубашкой и всю свою начальническую важность. Теперь он стоит полуголый, как и все, выкатив небольшую, но ладную грудную клетку со шрамом от

огнестрельной раны; замухрышка-то он замухрышка, но солдата все-таки сразу видно. Так, теперь еще подтянуть ремни, да и начать...

Команда смотрит, что успели сделать без нее: Станде кажется, что достаточно, но команда в целом недовольна.

— Глядите-ка, не больно-то много они прибавили!

— Да-а, так всякий сумеет!

— Ишь паршивцы, поглядели, да и лыжи навострили!

— Ей-богу, таких лодырей я еще не видывал!

— Ну, ясно, ребята, что мы сделали, то и есть!

Это не совсем верно, но первая спасательная имеет право критиковать других. Например, по всему восемнадцатому штреку, где были разрушения, вырос целый лес новых стоек и распорок; и рельсы исправлены, на поворотной плите у крейцкопфа стоит вагонетка, с ней можно теперь добраться и до обвалившегося хода; правда, нужно низко нагнуться, чтобы пройти поглубже; внутри завала, насколько может разглядеть Станда, вид еще не очень красив: вспученные стены и рухнувшая кровля — зато все наскоро подперто стойками, прогонами и распорками. И теперь там тянутся трубы со сжатым воздухом, слышно, как гудят вновь поставленные вентиляторы. Дело в шляпе, думает Станда и начинает с бо́льшим уважением глядеть на проделанную другими работу; какая подготовка потребовалась, чтобы спасти трех человек! Говорят — смелость и тому подобное; но сколько еще для этого требуется сноровки и разных приготовлений, порядка и всего прочего... нет, тут не геройство, дружище, а разум нужен.

Андрес уже получил распоряжения от Хансена.

— Значит, так, ребята, — говорит он. — Надо работать быстро, пока у нас опять не вспучилась почва. Кто первый пойдет в забой?

— Могу я, — глухо проговорил Адам и наклонился к груде каких-то резиновых и металлических предметов.

— Будете меняться с Суханеком через каждые десять минут. Фалте выбрасывать породу сюда, Станде пригнать вагонетку. Мартинек!

— Здесь!

— Укрепить вторую и третью пару. Восьмую, девятую и десятую заменить. Потом обшить крепью сделанную проходку.

— Есть.

— Ну, за работу, ребята!

Адам только кивнул и стал медленно прикреплять на спину что-то вроде жестяного ранца; теперь он натягивает на голову резиновую морду с длинным слоновьим хоботом — кислородная маска, понял Станда, и сердце у него забилось; значит, тут действительно есть рудничные газы! Адам уже прикрепил снаряжение ремнями к телу; резиновая морда и слоновий хобот придают длинному худому человеческому телу довольно-таки странный вид — ей-богу, только людей пугать. Настоящее привидение! Из-под маски послышались какие-то булькающие звуки — должно быть, Адам что-то сказал, но ничего нельзя разобрать; он проверяет еще раз какие-то краники жестяного прибора и лезет на четвереньках под обрушенную кровлю, втягивая за собой длиннющие ноги.

— Так, Фалта, надеть маску, — торопит Андрес.

— Мне не нужно, — огрызается Пепек. — Я в ней работать не стану.

Запальщик быстро оборачивается — вот сейчас заорет на Пепека, — испугался Станда. Нет, ничего, не заорал.

— Вот как, — сказал он веско. — Опытный забойщик надел бы.

И он повернулся и пошел в крейцкопф к крепильщику, который вместе с Матулой, запрокинув голову, рассматривают крепь и о чем-то советуются.

Пепек нагнулся за маской.

— Тоже мне ловкач, — проворчал он недовольно, — попробуй-ка сам в ней поработать! И не услышишь, если кровля затрещит... Я и так не задохнусь, — гневно бубнит Пепек, натягивая противогаз. — Дьявол, резиной так и смердит!

Пепек становится похож на жука с толстым хоботком и огромными глазами. Из-под маски еще некоторое время слышится придушенное бульканье — по-видимому, Пепек все еще бранится; но вот он пополз на коленях под продавленную кровлю.

Тут из глубины донесся дребезжащий грохот. Этот звук уже знаком Станде — заработал пневматический отбойный молоток. Значит, Адам рубает целик! Слава богу! Теперь, стало быть, по-настоящему делается проходка к троим заживо погребенным!

Пепек, извиваясь, исчез между стойками и подбойками. Дед Суханек серьезно, почти священнодействуя, надевает противогаз.

— Мне тоже надеть? — нерешительно спрашивает Станда.

— Нет, не надо, ты останешься здесь. Ты в нем и дышать-то не сумеешь.

Дед Суханек необыкновенно забавен со своим слоновьим хоботом над мшистой порослью на тощей груди; а Станда разочарован — почему же только ему не нужна маска? Может, он первый сумел бы пролезть к тем троим... И он присаживается на корточки, чтобы хоть одним глазком глянуть, что делается там, внутри завала, но видит лишь, как Пепек пробирается вперед в клубах угольной пыли, которую гонит сюда вентилятор, и она вздымается так, что першит в горле...

Дед Суханек настойчиво хлопает Станду по плечу, покачивая резиновым хоботом: нельзя, Станда, нельзя!

— В чем дело? — недоумевает Станда, а дед показывает пальцем вниз. Ага, газы. Станда до слез закашлялся от угольной пыли; в ее клубах почти уже ничего не видно, одни лишь выпуклые глаза жука и болтающийся хоботок дедовой маски. Внутри с грохотам скребет лопатой Пепек, и — хлоп! — из завала вылетают камни и уголь. Как далеко швыряет Пепек — изумляется Станда, но тут из тучи пыли выскакивает Андрес.

— Живо за лопату, — подгоняет он, — нагружайте вагонетку! И пошевеливайтесь, понятно? Все убрать с дороги!

Дед Суханек кивает резиновой мордой — ну вот, и тебе дело нашлось, Станда; и, ослепленный пылью, Станда в внезапном приливе усердия, кашляя, принимается кидать лопатой уголь и каменья в вагонетку.

Когда он вернулся с пустой вагонеткой, дед Суханек уже сменил Адама; Адам бессильно прислонился к стойке, снял маску и ладонью стирает с лица и глаз такой обильный пот, что каплет с пальцев; Пепек срывает маску и сплевывает. Он разделся донага, оставил на себе лишь опорки; угольная пыль, смешанная с потом, стекает струйками, прилипает к мокрому телу, от Пепека чуть ли не валит пар.

— Пришлось прикрыть краны, — брюзгливо обращается он к Андресу. — Пыль. — Пепек отхаркивается. — Ей-богу, сегодня мне здесь что-то не нравится!

Андрес пожимает плечами и пинает ногой разбросанные куски породы и угля.

— Слушайте, — сухо говорит он Станде — такая работа никуда не годится; так любая команда сумеет. Пол должен быть чистый, как в бальном зале.

«Ничего себе бал, — думает Станда, — от угольной пыли мы все почернели, словно вороны». Ему трудно дышать, болит голова, хочется прислониться к чему-нибудь и вздохнуть поглубже, но не удается; и темно тут, лампочки еле мигают трепетными покрасневшими огоньками. Но — хочешь чистоты — ладно! И Станда хватает лопату и, пошатываясь, грузит породу. Слышно, как у крейцкопфа бьет Мартинек по подлапке, в глубине завала грохочет и дребезжит отбойный молоток, которым орудует дед Суханек. Пепек сплюнул еще раз, выругался как следует — вероятно, про запас — и снова надел маску. Адам серьезно, сосредоточенно возится с кислородным аппаратом, очевидно, там что-то неладно.

В это время оттуда, где работал крепильщик, послышался треск, что-то хряснуло и тяжело шлепнулось, будто сверху свалился мешок с мукой. Андрес вздрогнул.

— Что такое? — бросил он встревоженно и кинулся туда; Адам только взглянул, Пепек приподнял резиновую морду, прислушался, выругался и полез в дыру. Станда бросил лопату и с бьющимся сердцем побежал вслед за Андресом. Что-нибудь случилось?

Конечно, случилось, но не бог весть что; лишь Мартинек сидит на земле среди раскиданных камней и удивленно моргает; возле него присел Андрес и светит лампой ему на темя; над ними, пыхтя, чешет затылок каменщик Матула.

— А, черт, — отдуваясь, сказал Мартинек, — я только собрался вот тут стойку сменить, а на меня вон что свалилось! — И вдруг он просиял счастливой улыбкой. — А здоровая куча, ребята! — добавил он удовлетворенно.

— Встать можешь? — беспокоится Андрес.

— Еще бы, — отвечает крепильщик, поднимаясь на ноги. — Дай только опамятоваться.

— Голова кружится?

— Немножко есть.

— А не тошнит?

— Нисколечко. — Крепильщик уже стоит, почтительно разглядывая провисшую балку. — Смотри, силища-то какая!

Запальщик обращается к Матуле.

— Вас тоже ударило?

— Ага, — буркнул колосс и почесал всклокоченную голову.

— Тогда немножко передохните, ребята, — заботливо сказал запальщик и обернулся к Станде: — А вы что глазеете? Марш грузить!

Крепильщик Мартинек медленно подходит к своему пиджаку и достает баночку и что-то завернутое в бумагу.

— Мне в таком случае надо перекусить, — говорит он с довольным видом.

Адам уже снова в маске, он дружески кивает Мартинеку слоновьим хоботом.

— Ты уверен, что тебе ничего не сделалось? — торопливо спрашивает Станда, хватаясь за лопату.

— Пустяки!

Молодой гигант устроился поудобнее на земле у крейцкопфа, поставил перед собой лампочку и, развернув коричневую бумагу, с аппетитом посмотрел на толстый ломоть хлеба с салом.

— Ты из-за меня не задерживайся!

Станда торопливо грузит уголь в пустую вагонетку, временами поглядывая на приятеля; тот сидит, свесив голову над нетронутым ломтем хлеба, и морщит лоб.

Станда перестал грузить.

— Тебе нехорошо, Енда?

— Сало воняет, — брезгливо говорит крепильщик и тщательно завертывает хлеб в бумагу. — Я не стану его есть.

Станда снова взялся за лопату, и Матула, пыхтя, застучал по скобе.

Из завала возвращается дед Суханек и стаскивает маску.

— Господи Иисусе, ребята! — вздыхает он и трет высохшими ручками лицо. — Ну и работа! Ну и работа!

Теперь очередь Адама идти в обрушенный штрек; Пепек гремит там лопатой и раз за разом выбрасывает вырубленную породу, так что Станда не успевает склады-

вать ее в вагонетку. «Пепек замечательный, — думает Станда, — как он здорово действует лопатой в тучах пыли, черный и блестящий, точно вытесанный из гранита... чертушка этакий... циклоп прямо какой-то». И изнемогающий Станда с удвоенной силой налегает на лопату.

Он уже вывозит вторую полную вагонетку, поставил на поворотный круг, но тот не поддается.

— Я сейчас тебе помогу, — говорит крепильщик.

— Отстань, — сопит Станда, дергая тележку.

— Здесь чем-то воняет, — ворчит крепильщик. — Станда, что это за вонь?

— Тебе кажется, — замечает Суханек. — Чему тут вонять?

Мартинек морщит нос.

— Не знаю, а что-то чувствую... Черт возьми, вот так шишку я себе посадил, — улыбается он, ощупывая темя.

— Стукнуло тебя, что ли?

— Да, балкой. Я хотел ее заменить...

— Тогда понятно, — успокоительно замечает дед Суханек. — От этого тебе и кажется. У тебя, брат, сотрясение мозга. Как-то раз Фалтысу, зятю моему, на голову кусок угля свалился, так ему тоже все казалось, будто воняет. Потом ему стало плохо, и он лежал несколько дней — сотрясение мозга, что ли. Погоди, и тебе скоро плохо станет.

— Мне? — удивился Мартинек. — Чего тебе в голову не взбредет, мне никогда еще плохо не было. Что ж, пойду-ка я опять работать.

А Пепек не перестает выбрасывать лопатой пустую породу из этой паршивой дыры; иной раз вылезет, сдернет маску и, тяжело дыша, безбожно ругается; он взмок от пота, от угольной пыли стал черным, как графит, и жадно, с бульканьем пьет содовую воду, которую приносит сюда бледный человек, сидящий у вентиляционных дверей. Через каждые десять минут из клубов пыли выныривают дед Суханек или Адам, руки у них трясутся после работы отбойным молотком, они с трудом стаскивают резиновые морды; а после того пьют, как загнанные, изнеможенно переводя дух, и им не до разговоров. Что же, подают ли еще сигналы те трое? А кто его знает; когда на

башке у тебя маска, то ничего не слышно — разве только как воздух свистит да отбойный молоток грохочет

— А здесь уже нет газов? — неуверенно спрашивает Станда.

— Есть, как не быть, но они держатся внизу, у почвы, понимаешь? Ханс сам следит, насколько они подымаются. Наверно, теперь тут их будет по пояс, вот как.

У Станды мучительно болит голова, бьется сердце, и его душит тоска. Запальщику тоже не по себе — он точно чего-то ждет; ни на кого даже не покрикивает больше, ходит озабоченно, стиснув зубы, и прислушивается. Хансен то и дело поднимает свою контрольную лампочку; постоит минутку, наставит ухо, улавливая отдаленный лай отбойного молотка, кивнет и снова вышагивает; он идет, опустив голову, на переносице у него появилась морщина, он крепко сжал губы и все крутит лампочкой, точно играет с тенями. Только Мартинек и Матула спокойно стучат по бревнам и все переговариваются.

— Подтолкни ко мне! Можешь подать туда? Ну, ну, еще немножко!

Станда грузит уже четвертую вагонетку; ноги у него подкашиваются от слабости, голова кружится. Еще эту вагонетку — и я, кажется, свалюсь. Адам прислонился к стенке, тяжело дыша и вытирая ладонями пот; вдруг он нагибается за лопатой и начинает помогать Станде.

— Хватит с тебя, — гудит Адам и снова прислоняется к стене. — Вези.

Станда из последних сил толкает вагонетку на поворотный круг и старается повернуть его; но навстречу ему приближается, поблескивая, огонек — это Хансен бредет, опустив голову и раскачивая контрольную лампочку. Станда ждет, пока Ханс пройдет; и вдруг ему чудится, что за Хансом внезапно вздыбилась почва...

Тяжко, гулко загрохотало, содрогнулся весь штрек; и сразу затрещала крепь. Станду чуть не сбило с ног страшным толчком воздуха, но он еще видит, как в летучем вихре пыли крутится Хансен и как над ним лопается и валится на него перекладина.

— Берегись! — взревел Станда и бросился, чтобы подхватить балку голыми руками. И вдруг пронизывающая боль, Станда еще слышит свой собственный нечеловеческий вопль, — и конец, он куда-то валится; и Станда потерял сознание.

XXII

Первое, что он услышал, придя в себя, были чьи-то торопливые слова:

— Приподымите ему ноги, чтобы кровь прилила к голове.

Станда открыл глаза и увидел, как из мрака к нему наклоняется длинное лицо Адама с внимательно моргающими, ввалившимися глазами.

— Где... господин Хансен? — словно в бреду, еле выговорил Станда.

— Hier [1]. — Над Стандой из темноты возникает блестящий перепачканный нос, и жесткая рука похлопывает его по щеке. — Nicht ohnmächtig werden! Is schon gut? [2]

Станда приподнимает голову, осматривается — где он? У ног его опустился на колени крепильщик, за ним Пепек, Андрес, дед Суханек, Матула — вся команда; вокруг него сбились в кучу голые, испачканные угольной пылью люди, и все так растерянно смотрят на него, что Станда пугается.

— Что... что это было? — изумленно выговорил он.

— Взрыв, — ответил кто-то.

— Вот видишь, осел, — глубоко вздыхает крепильщик и встает. — В следующий раз небось не станешь совать пальцы между стойкой и подлапкой?

Пальцы... ну да, это пальцы; только теперь Станда осознает невыносимую боль в левой руке; на лбу выступает холодный пот, и он тихо, жалобно стонет.

— Больно? — звучит рядом глухой голос Адама.

— Бо-больно чуточку...

— Я слетаю за носилками, — предложил Пепек и ринулся во весь дух нагишом, в чем мать родила, только опорки на ногах. Мартинек аккуратно свернул пиджак и рубашку и заботливо подсунул Станде под голову вместо подушки.

— Теперь лежи, ладно?

Адам поднимается, подтягивая штаны.

— Ничего, это ведь левая, — бормочет он с облегчением и надевает маску.

---

[1] Здесь (*нем.*).

[2] Не падать в обморок! Теперь лучше? (*нем.*).

Станда пытается приподняться, опираясь на правый локоть.

— Ну... идите, ребята, работать, — заикается он. — Ок-коло м-меня не нужно з-задерживаться.

Кто-то погладил его по голове.

— Ты молодчина.

Кажется, это — Андрес или еще кто-то. Станда хочет взглянуть на свою левую руку, но она крепко обвязана белым носовым платком — наверное, это платок Хансена; из-под повязки течет струйка крови. Кровь — Станда не выносит вида крови, ему становится дурно; нет, лишь бы не упасть в обморок, любой ценой не упасть в обморок, упорно твердит он себе, стиснув зубы, чтобы ребята не додумали...

— Лучше посадите его, — советует Андрес. — У почвы скопились газы.

— Ты можешь сидеть, Станда? — встревоженно спрашивает Мартинек. — Я тебя подсажу, хочешь?

— Нет, я сам, — храбрится Станда. — Идите же, я... я потом сам дойду... только не беспокойтесь...

— Тогда я около тебя останусь, — услужливо лепечет дед Суханек. — Понимаешь, Адаму-то поглядеть нужно, не завалилось ли у нас там... вот как.

— Нам тоже надо поглядеть, — смущенно говорит Мартинек, обмениваясь беглым взглядом с Андресом. — За тобой придут... А пока будь здоров... Кофе не хочешь?

— Нет, мне ничего не надо.

Матула шевельнулся.

— Нет ли... Нет ли у кого водки? — прохрипел он. — Промыть... водкой. А то — помочиться на рану. Это лучше всего очищает. — Он еще потоптался, потирая ладонью затылок. — Ну-ну, — сочувственно откашлялся он и пошел вслед за крепильщиком.

Ханс нагнулся к Станде, чуть ли не касаясь его носом, уперся руками в колени и заглянул ему в глаза.

— Ну, как, — выговорил он по-чешски, — лучше? — и радостно засмеялся.

Станда улыбнулся, хотя от боли у него текли слезы.

— Лучше, господин Хансен. Совсем уже хорошо. Schon gut [1].

— Ну вот... видишь, — просиял Хансен. — Sie sind...

---

[1] Уже хорошо (*нем.*).

ein... braver Kerl [1]. Да. Gut. — И он махнул рукой. — Muss gehen [2].

Станда улыбается, плача от боли, и раскачивается всем телом, чтобы успокоить эту боль.

— Вы все так хорошо ко мне относитесь, дед Суханек!

— Пустое, — шамкает старик. — Ты не горюй, что же, с каждым может случиться. Только... в другой раз ничего не хватай руками, Станда. Так шахтеры не делают.

— Но ведь на Хансена падало, — шепчет Станда.

— Все равно. Шахтер должен ногами чуять. Как что валится — отскочить надо, запомни.

— А... как же... это случилось?

— Не сумею тебе сказать. Я только вылез и снимал маску, когда вдруг ухнуло... Адам прямо кинулся к тебе — ой-ой-ой, как летел! Вот это был прыжок! Ну, и оттащил тебя. А потом и остальные подбежали...

— Что же они говорили?

— Ну, понятное дело, ругались. Проклятый, куда он лапы сует! И вправду, Станда, так нельзя. На будущее ты должен одно запомнить: закрывай голову — и в сторону. Гляди, ведь ты Хансу прямо под ноги попал; ему пришлось, когда он прыгал, к стене прижаться, чтобы на тебя не налететь... Ай-ай-ай!

— Что?

— Да ничего. Адам-то уж должен бы быть на месте, понимаешь? Как бы от этого толчка опять все не завалилось.

— Это был бы конец?

— Пришлось бы сначала начинать. — Дед Суханек покачал лысой головой. — Однако не слышно его что-то...

Станда вытягивает шею, стараясь разглядеть то место, где произошел взрыв. Насколько видно в темноте, нагруженная вагонетка сброшена с рельс и прижата к стене, а немного подальше, среди накренившихся стоек, под продавленными балками мигают лампочки и колеблются черные тени; там мелькает кожаный шлем Хансена и шапка Андреса. Теперь с той стороны вынырнул кре-

---

[1] Вы... славный парень (*нем.*).
[2] Я должен идти (*нем.*).

пильщик, за ним каменщик Матула. Мартинек кивает Станде и широко улыбается.

— Как дела, Станда? Полегчало?

— Да. Там опять обрушилось?

— Ну да. Все завалило.

— Что ж вы станете делать?

— Придется исправлять, — спокойно говорит крепильщик и идет за своими инструментами.

Станда раскачивается всем телом, баюкая у груди левую руку, будто ребенок — куклу; от боли у него все еще текут слезы.

— Пройдет, — утешает его дед Суханек. — Доктор наверху отрежет пальцы и потом вылечит.

Станда перестал раскачиваться.

— Дед, — прошептал он, выпучив глаза от ужаса, — я потеряю пальцы?

Дед Суханек закивал мудрой головой.

— Они у тебя раздроблены, сынок, смотреть страшно.

— Что же я делать стану? — заикается Станда.

— Они тебя на другую работу переведут, — успокаивает его дед. — Как того Кафку, Лойзика-то; он тоже без руки остался, ну и сделали его сторожем. Все лучше, чем получать несколько жалких крон по инвалидности.

Станда перестал плакать: он узнал нечто худшее, чем боль. Боже, что мне делать, что мне делать? Может быть, не только пальцы, а и вся рука пропала; и все из-за такого пустяка... теперь все станут говорить: ну и глупый малый, куда лапы-то совал! Станда почти потерял голову от своего несчастья; но всего ужаснее мысль, что у него отрежут пальцы; и вдруг ни с того ни с сего Станда неудержимо захлебывается сухими рыданиями.

— Да что с тобой, что ты? — перепугался дед Суханек. — Перестань, Станда! Эх, что мне с тобой делать, милок! Гляди-ка, Ханс идет...

Станда сразу стих. Хансен остановился над ним, заложив руки за спину.

— Лучше теперь? Да?

— Лучше, — вздохнул Станда.

— Вот и хорошо.

С противоположной стороны, из бездонной тьмы, быстро приближаются три огонька — впереди Пепек, за ним двое с красным крестом на рукаве.

— Они не могут носилки протащить через стойки, — сердится Пепек. — Придется им тебя, дружище, вести.

— Я сам дойду, — уверяет Станда и пробует подняться на ноги, по колени у него подгибаются и кружится голова.

— Ты обними меня за шею, — предлагает один из санитаров, — я тебя поведу.

— Н-да, — критически замечает Пепек, — пройдете вы там рядышком, как же; может, еще и кадриль станцуете? Ничего у тебя не выйдет.

— Как же быть?

— Пусти, — обрывает его Пепек. — Эх ты, еще санитар называешься. Гляди, как людей из трактира выбрасывают, если они упираются. Возьми его вещи, ясно? Приподыми-ка лапы, Станда! — И Пепек обхватывает Станду сзади обеими руками поперек туловища. — Ногами двигать можешь? Да? Тогда пошли!

Пепек наполовину несет, наполовину подталкивает бессильного, беспомощно оглядывающегося Станду; Хансен подносит пальцы к кожаному шлему, дед Суханек машет рукой, запальщик Андрес отдает честь по-военному, Мартинек останавливается с инструментами в руках — бог в помощь, Станда, будь здоров, Станда, не бойся, парень, ты вел себя молодцом; и Пепек через лес стоек и подпорок несет его как перышко.

— Так, — хрипло отдувается Пепек, — ложись теперь на носилки и валяй прямо в больницу.

— Спасибо тебе, Пепек, — с чувством говорит Станда.

— Брось, — обрывает Пепек, отхаркиваясь. — Ну, всего тебе, Станда.

Два санитара несут Станду на носилках бережно, словно святыню. Теперь, когда поблизости нет никого из команды, рука болит гораздо сильнее, и Станда всхлипывает от боли; в зыбком свете лампочек он видит над собой лишь оклады и затяжки, сколько их тут, люди добрые, сколько дерева, прямо деревянный туннель; а сколько свисает с балок мертвенно-белых грибов — одни с коровьи легкие, другие похожи на веревки, а некоторые — просто нежные хлопья, точно иней. Длинный бледный человек открывает перед носилками деревянные двери настежь.

— Бог в помощь, — здоровается он, отдавая честь.

— Бог в помощь, — бормочет Станда, теперь он чувствует себя необыкновенно важным. И снова потолок крепи, Станда стал считать переклады, но вскоре сбился и закрыл глаза. Когда он очнулся, его уже несли по бесконечному сводчатому коридору с цепочкой электрических лампочек. «Они горят только ради меня, — гордо думает Станда. — Только бы эта чертова рука не так болела!»

Вот и рудничный двор.

— Бог в помощь, — приветствует человек у подъемника.

Санитары наклоняются, чтобы поднять Станду с носилок; так, осторожно, возьми меня за шею, осторожнее, — и бережно, чуть ли не почтительно, его вводят в клеть. У Станды кружится голова, он повис у кого-то на шее, но испытывает, неведомо почему, безграничную гордость, почти забывая мучительную боль в руке. Станду охватывает приятная слабость...

— Выпей скорей, — говорит второй санитар и подносит к губам Станды фляжку. Отхлебнув, Станда поперхнулся, оказывается — коньяк; и тут же от блаженства и боли голова у него совсем пошла кругом.

— Это был... взрыв... понимаете? — возбужденно лепечет он. — Вдруг ка-ак треснет... и... и... кловля посыпалась, кловля.

Станда понимает, что произносит «кловля» вместо «кровля», и хочет поправиться.

— Кловля, понимаете? — повторяет он. — Кловля.

Ему самому становится смешно.

— Кловля, — еще раз вырывается у него. Он громко хохочет, и руку начинает болезненно дергать.

— Хорошо, хорошо, — ворчливо успокаивает его тот санитар, у которого Станда повис на шее, и крепко обхватывает его за талию.

— Дружище, я тебя тоже люблю, — торжественно произносит Станда.

Клеть останавливается, и два санитара выводят Станду.

— Бог в помощь, — говорит кто-то и отдает честь.

Да ведь еще день, изумляется Станда и по-совиному жмурит глаза; неужели еще день?

— Который час? — спрашивает он.

— Скоро шесть. Осторожно, садись.

— Что это за кровь? — спрашивает Станда, указывая на. землю возле своих ног, и хмурит брови. — Ее должны были вытереть, что за безобразие!

— Так, теперь ложись!

— Куда?

— На носилки, мы тебя понесем.

Станду несут по двору; у решетчатых ворот «Кристины» стоит несколько зевак... «Как-то здесь кого-то уже несли, — смутно припоминает Станда, — боже, когда же это было?» Вот и машина «Скорой помощи», санитары поднимают носилки и медленно, очень медленно просовывают их в автомобиль. «Кого же тогда несли? — задумывается Станда. — И когда это было?»

Машина трогается, и Станда, откатчик первой спасательной команды, снова начинает по-детски хныкать от невыносимой боли.

XXIII

— Посмотрим, посмотрим, — суетится толстый главный врач.. — Не бойтесь, юноша, больно не будет... Ну, поскорей, сестра, раздеть, выкупать — и в операционную.

Станде отчаянно стыдно, когда две чистенькие медсестры стаскивают с него штаны и носки и ведут в ванну.

— Я сам, — протестует он, но бесполезно; его уже намыливает и трет этакая веселая толстая мамаша с блестящими щеками.

— Сейчас, сейчас, — смеется она и утирает ему даже нос.

— Пальцы отрезать я не позволю, — угрюмо твердит Станда, полный решимости защищать их не на живот, а на смерть, если этому толстяку доктору вздумается подойти к нему с ножницами или с чем-либо подобным. Но когда Станду привели в операционную, он совсем пал духом: сидит на краешке стула и тоскливо озирается. К нему подходит молодой врач в белом халате.

— Послушайте, у вас не было когда-нибудь дифтерита или тифа? — спрашивает он как бы между прочим.

— Не было, — испуганно бормочет Станда.

— В таком случае я сделаю вам противостолбнячную прививку, — удовлетворенно говорит молодой врач и не

спеша начинает возиться с какими-то штучками. — Больно не будет.

Он натирает руку Станды повыше локтя чем-то холодным и затем подходит с тонкой иглой; Станду охватывает ужас.

— Теперь держитесь, — громко говорит врач, захватывая двумя пальцами кожу на руке Станды, и быстро, с силой вонзает иглу. Станда приглушенно вскрикивает.

— Ну, ну, — ворчит молодой врач. — Перенесли такую травму, а теперь хнычете от простой инъекции!

Станда в растерянности; как объяснить доктору, что *там* с ним была команда, а здесь он один; это, сударь, огромная разница! А в дверь уже вваливается шумливый толстяк, главный врач, в белом халате, за ним две белые медсестры, будто служки за священником. У Станды замирает сердце.

— Положить! — кричит толстый доктор и отворачивается, чтобы еще раз вымыть руки; не успевает Станда сообразить, что происходит, как уже лежит на столе и видит над собой белый потолок; ему только смутно припоминается, что к этому столу он покорно, как овечка, подошел сам и кто-то только помог ему лечь. А на носу у Станды лежит уже что-то мокрое, и чей-то голос говорит:

— Дышите глубже и считайте до двадцати.

Станда начал считать, но тут ему вспоминается «кловля», и он громко хохочет.

— Кловля падает, кловля. Пепек, это кловля! — Станда захлебывается от смеха. — Замухрышка, замухрышка Андрес, — сморчок и замухрышка! Мартинек, спой... «Зачем вам плакать, очи голубые, — затянул Станда, — вам все равно моими не бывать!..»

А тем временем звякали какие-то инструменты.

— Подержите, сестра, — быстро говорит кто-то, а Станда поет:

— «Вовек не бу-удете моими, зачем же ду-мать обо мне...» Пой, Мартинек, ты золотой парень!

— Ножницы! — слышится голос.

— «Ставили для каменщиков плотники леса... — во все горло распевает Станда. — А по ним гуляет девица-краса... Девица-краса, синие глаза...»

— Держите, — говорит голос, и Станда теряет сознание.

Когда он пришел в себя, над ним был уже другой белый потолок, и Станда лежал в белой постели. Рядом стояла белая толстая сестра со стаканом какой-то желтоватой жидкости в руке.

— Теперь выпейте это, — сказала она, — и спокойной ночи.

Станда жадно выпил горькую жидкость и откинулся на подушку. Здесь все время чем-то пахнет, йодоформом, что ли, ну да ладно уж. Где-то далеко болезненно подергивает — наверное, руку; Станда поднимает ее и обнаруживает, что вместо кисти у него нечто вроде большой куклы из бинтов.

— Больно?

— Нет, не больно. «Неужели там уже нет этих окровавленных пальцев», — в полусне думает Станда. — Который час?

— Половина восьмого.

Половина восьмого. Половина восьмого. Через полчаса, значит, кончится смена. Нас сменит вторая команда. Докладывает десятник Андрес, забойщик Адам, забойщик Суханек, крепильщик Мартинек, каменщик Матула, подручный забойщика Фалта и откатчик Пулпан Станислав. Gut. Gut. Сначала ты ничто, ты даже не шахтер и только со временем становишься откатчиком. Откатчик Пулпан Станислав. Ты молодчина, Станда; но запомни: укрыть голову — и в сторону. Нет, не так, не то... как они говорили? Ага, считать до двадцати и дышать глубже. Дышать поглубже. Раз, два, три...

И откатчик Пулпан Станислав засыпает, как дитя.

XXIV

Утром, проснувшись, Станда почувствовал себя младенчески безмятежно: «Сегодня не нужно идти в школу», — с наслаждением подумал он и снова закрыл глаза. Правда, рука болит, но где-то далеко, словно почти чужая, а в желудке ощущение пустоты, точно его выпотрошили, как голубя. И Станда открывает глаза и осматривается: белая комната, полная света, в окно видны верхушки деревьев; у противоположной стены — вторая белая постель, но пустая; у изголовья — ночной столик, на нем стакан с водой и белый носовой платок, есть даже

звонок... ну, просто восхитительно. Станда снова лег, положил себе на грудь большую куклу из белых бинтов и сладко потянулся. «А что, если позвонить? — думает он. — Может, прибегут, рассердятся, — мол, что это вы вздумали звонить в заводской больнице!» — «Это не я», — отопрется Станда. Хоть бы кто-нибудь показал ему, где тут уборная!

Станда зевнул; ему так приятно, что он не знает, чем заняться. «А я все-таки позвоню, — говорит он себе, — поглядим, что будет». Робким, коротким движением он нажал кнопку звонка — и ничего, никакого переполоха! Стоит приятная светлая тишина, только где-то далеко слышны голоса и чьи-то шаги. Станда вздохнул с облегчением; и вдруг слышно — топ-топ-топ — постукивают каблучки, в дверь входит вторая медсестра, та, что поменьше, и осторожно вносит поднос.

— Доброе утро, — приветливо говорит она, — как мы спали?

Станда сел и торопливо поправил рубашку на груди.

— Да ничего, — бормочет он, насупившись от смущения; он вспомнил, что эта белая сестра вчера раздевала его догола; но сестричка и не заметила хмурого вида Станды и, моргая длинными ресницами, поставила поднос на ночной столик. «Она, наверно, ошиблась — это не мне!» — испугался Станда. Чайник с чаем, на тарелочке яйца всмятку, другая тарелочка с ломтиком ветчины и еще кусок хлеба с маслом... Белая сестричка как ни в чем не бывало скользнула взглядом по перевязанной руке Станды.

— Хотите, я вас покормлю?

— Нет, я сам, — протестует Станда, наморщив лоб.

— Тогда я подержу тарелку.

Она уже сидит на краю постели и подает Станде ложечку и тарелочку с яйцами.

Что поделаешь, приходится есть, раз сестричка держит тарелку под самым носом; Станда мрачно набивает рот яйцом всмятку, так низко склоняясь над тарелкой, что чуть не касается лбом плеча медсестры. Он видит белые гладкие пальцы, терпеливо держащие тарелку, видит, как мерно дышит невысокая молодая грудь под накрахмаленным фартуком. Станда бросает беглый взгляд на ее лицо; глаза сестры опущены и смотрят на тарелку, под тонкой прозрачной кожей вокруг глаз лежат голубо-

ватые тени. Она приветливо улыбнулась Станде, не поднимая век.

— Проголодались, да?

— М-м...

У Станды полон рот, и он только мычит в ответ, еще ниже наклоняясь к тарелке. Какие у нее перламутровые ногти и тугие белые манжеты на запястьях... никогда еще Станда не видел такой красивой и нежной ладони; волосы падают ему на лоб и еле заметно шевелятся от слабого дыхания сестрички, отчего по телу его пробегает дрожь. Ох, если бы только яйца не исчезали так быстро! Станда старается есть как можно медленнее...

— Больше не хотите?

— М-м...

Как назло, у него опять полон рот!

Сестричка отставляет тарелку и наливает Станде золотистого чаю, сдвинув длинные брови и приоткрыв тонкие губы — осторожнее, не перелить бы!

— Сахару побольше?

— Еще, — бормочет Станда только потому, что ему хочется еще раз увидеть, как выскользнет из ее тонких пальцев белый кусочек сахару. Сестра ласково смотрит серыми глазами, как пьет Станда.

— В одиннадцать часов перевязка.

— М-м...

Станда обжег горло чаем, и на глазах у него выступили слезы. Сестра тем временем режет хлеб и ветчину красивыми кусочками.

— Так, откройте рот, — говорит она и между двумя глотками чая сует в рот Станде кусочек хлеба с маслом; она внимательно смотрит ясными глазами на его губы, по-видимому озабоченная лишь тем, чтобы он ел. Станда открывает рот, как в детстве, когда его кормила мать; мрачно хмурится и глотает так поспешно, что, того и гляди, подавится. Это чудесная игра: всякий раз, когда сестра готовится дать ему кусочек хлеба, она сама слегка приоткрывает губы; Станда уже ждет этого, послушно разевает рот и — хоп! — жует кусок, потом запивает чаем, а сестричка берет новый кусочек хлеба и терпеливо ждет; точно он маленький ребенок у мамочки, и вдобавок... словом, ему очень приятно. Вот и последний кусок; легкие кончики пальцев в последний раз касаются губ Станды; Станда

проглотил кусок целиком, так что глаза у него полезли на лоб.

Сестричка ласково смотрит на Станду и улыбается.

— Я рада, что вам понравилось...

Она радуется, точно достигла невесть чего; а Станда готов проглотить еще три таких завтрака просто из благодарности к ней. Белая сестричка быстро и осторожно ставит посуду на поднос.

— Болит рука?

— Нет, не болит.

— Вы больше ничего не хотите?

— Нет, не хочу.

Сестра ушла. Станда с наслаждением вытягивается в постели и укладывает у себя на груди куклу из бинтов, которая немного побаливает. Не мог же он спросить у сестрички, где уборная; вот когда пойдет на перевязку... «И небрит я», — досадует Станда, ощупывая у себя под носом и на подбородке несколько волосков; жаль, тут нет зеркала!

Открывается дверь, и медленно входит молодой врач в белом халате; под мышкой у него сверток газет.

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Спасибо, хорошо, — бормочет Станда. — Простите... где здесь уборная?

Доктор в это время сует ему термометр под мышку.

— Разве под кроватью нет?..

— Я не хочу тут, — протестует Станда.

— Тогда по коридору налево. Ваш халат там.

Молодой доктор отошел к окну, устремив взгляд на верхушки деревьев.

— Вы знакомы... с господином Хансеном?

Станда старательно зажимает термометр под мышкой.

— Нет, лишь так... по «Кристине». Я как-то раз держал ему вешку...

— Он о вас по телефону справлялся. — Доктор некоторое время молча глядит в окна. — Он... У его отца в Швеции угольные шахты. Господин Хансен работает над каким-то изобретением для шахт, как будто очень важным... — Доктор забарабанил пальцами по стеклу. — Я думал, вы с ним знакомы. Или... с его женой.

Станда молчит и что есть силы прижимает руку к телу.

— Ну-ка. — Доктор оборачивается и берет у Станды термометр. — Так, ничего. Все в порядке. А вот эти газеты прислал вам почитать господин Хансен. В одиннадцать... отправляйтесь на перевязку.

Станда барином лежит в белой постели и роется в груде газет. О чем только не позаботился Хансен, думает он, преисполненный благодарности; действительно, с его стороны это... Ну, разве можно было ожидать?! Станда не читает газет, а просто радуется, что их так много. Интересно, есть ли что-нибудь о катастрофе на шахте «Кристина» в этих больших пражских газетах?

Есть, конечно, и очень много! И короткие заметки, и более пространные статьи, а вот даже заголовок: «Шахта смерти»! «Кристина» потребовала новых кровавых жертв! Возмущение шахтеров, и настойчивые жалобы на недостаток мер по охране безопасности. Успокоительные объяснения управления бассейном. В парламент подан срочный запрос. Министерство посылает чрезвычайную комиссию для расследования...» (Значит, было очень серьезное дело, — изумляется Станда, и от этого его гордость еще увеличивается.) «Спасательные работы на северном участке ведутся безостановочно днем и ночью, — читает Станда с взволнованно бьющимся сердцем. — Есть надежда, что шахтерам, работающим с беспримерной самоотверженностью, удастся спасти заживо погребенных товарищей. Это, как мы уже сообщали, десятник Иозеф Мадр — отец троих детей, крепильщик Ян Рамас, имеющий одного ребенка, и Антонин Кулда — отец семерых детей». «Героическая борьба под землей, — читает Станда в другом месте и одобрительно кивает головой. — Рискуя жизнью, спасательные команды бросаются в обвалившиеся шахты». (Это не шахты, — поправляет Станда, — а горизонтальная выработка; но остальное — истинная правда, то-то ребята рты разинут!) «В ходе спасательных работ на самом опасном участке особенно отличился юный герой...»

Станда сел, моргая, и сердце у него замерло. Постой, постой: сначала вздохни поглубже и тогда читай: «...на самом опасном участке особенно отличился юный герой...» Ну, спокойно же, спокойно! И Станда, наморщив лоб, медленно читает почти по слогам: «...особенно

отличился юный герой, семнадцатилетний откатчик Станислав Пулпан, получивший тяжелое ранение; затем шахтеры Вацлав Брунер и Ант. Голый, помещенные в больницу после отравления рудничным газом...» Вот оно: «...юный герой Станислав Пулпан...» — написано черным по белому, и ничего другого отсюда не вычитаешь!

Значит, вот к а к , — и «юный герой» от слабости вынужден лечь. Черт побери, кто это им сообщил! И что скажет команда?.. Делаешь неслыханную глупость, хватаешься за обшивку руками... а в газетах пишут — герой! Теперь вся первая спасательная поднимет Станду на смех; хорош «герой», нечего сказать, пальцы прищемил, вместо того чтобы вагонетку катить, как положено! Деда Суханека засыпало, а он снова туда лезет; и он, видишь ли, вовсе не герой. Или Мартинек. Ему на голову балка свалилась, а Мартинек почесался только и говорит, вот, черт возьми, силища какая, и снова как ни в чем не бывало берется за работу; и никто его героем не называет. А Станда валяется тут как барон и яички жрет — «герой», ничего не скажешь! Станде до ужаса совестно перед бригадой, он готов разреветься от стыда. Что ребята-то подумают — любой из них сделал в сто раз больше, — и это животное Матула, и горлопан Пепек; надо же, чтоб как раз с ним, со Стандой, это случилось!

Станда лежит уничтоженный, уставясь в потолок, руку дергает, она болит, но все равно, так ему и надо. «Что, собственно, я сделал геройского? — думает он пристыженно. — Все время трусил! От страху чуть в штаны не наложил, с грехом пополам вывез несколько несчастных вагонеток; а потом по глупости, потому что до сих пор в шахте не пообтерся, взял и подставил лапы... и к тому же Хансену дорогу загородил — тот еле отскочить успел! Это они называют геройством; а вот пойти с отбойным молотком в обрушенный штрек и обливаться п*о*том в маске, как Адам или болтливый дед С у х а н е к , — это не геройство, а всего лишь «самоотверженная работа». Станда подносит к глазам свою забинтованную левую руку. Вот оно — все твое геройство, на, подавись! И Станда почти с мстительным чувством колотит изуродованной рукой по груди. Вот тебе, пусть хоть больно будет! Господи Иисусе! Станда тихо взвыл от безумной боли и запихал в рот угол подушки, чтобы никто не услыхал; из глаз градом брызнули слезы.

— К вам гости, — предупредительно говорит кто-то в дверях.

«Юный герой» быстро сел и вытер слезы.

— Кто... кто?

В дверях стоит толстая сестра, и вид у нее почти торжественный. Только бы не из ребят кто-нибудь, — в ужасе думает Станда. Но уже издали доносится благоухание, и в комнату, склонив длинную шею, входит госпожа Хансен. В руках у нее большая охапка тяжелых роз, и она, остановившись посреди комнаты, ищет что-то взглядом.

— Стул! — спохватывается толстая сестра; вернувшись через минуту со стулом, она ставит его у постели Станды.

А Станда, открыв рот, таращит глаза на молодую шведку; он даже не замечает, что у него все еще текут слезы из глаз. Боже, как она прекрасна!

Госпожа Хансен порывисто села.

— Это вам, — сказала она по-немецки и торопливо положила розы Станде на одеяло. — За то, что вы сделали... что вы хотели сделать для Акселя. Благодарю вас.

Она говорила быстро, она все делает слишком быстро, и Станда еле успевает следить за ее речью. Только теперь она подняла голову и улыбнулась; Станда поспешно поправил рубашку, распахнувшуюся на груди, и что-то пробормотал, но госпожа Хансен бросила на него взгляд, полный пристального внимания.

— Вам больно! Ложитесь, сейчас же ложитесь!

— Nein, nein! — запротестовал Станда.

— Вы *должны* лечь! Аксель мне рассказал, что вы хотели удержать балку у него над головой... Это так мило с вашей стороны! Он мне и раньше о вас говорил — он часто о вас говорил. Аксель это... ну, вы ведь знаете и сами... — Она опустила глаза. — Я рада, что здешние рабочие его так любят. Он... ужасно славный, правда?

— Ja, — вздохнул счастливый Станда и натянул на себя одеяло до самого носа, чтобы не было видно, что он не брит.

— Он как маленький мальчик. Ведь вы его знаете. Аксель — настоящий ребенок. Когда вы с ним познакомитесь ближе... Вы, конечно, знаете, что он работает над каким-то изобретением для шахт?

— Ja.

— Ночи напролет, ночи напролет сидит и чертит, а днем торчит в шахте... Он ни за что не хотел показать мне, как там под землей. Не хочет взять меня с собой, говорит, шахтеры этого не любят, я имею в виду женщин в шахте... Это правда?

— Ja.

— Должно быть, там ужасно, в шахте. Я была учительницей; у меня было в школе двадцать человек детей, в горах над Вассияуре, совсем за Полярным кругом, знаете, где одни только олени и гномы; там я учила читать вот таких маленьких лапландцев. Они были удивительно милые и лукавые. Вы любите детей?

— Ja.

— Вы должны прийти к нам на чашку чая... потом, конечно, — улыбнулась она. — Я люблю вас за то, что вы любите Акселя. И вы хотели спасти ему жизнь, это просто чудесно с вашей стороны. Мы здесь так одиноки... Вы ведь знаете, почему мы уехали из Швеции, нет?

— Nein, — нерешительно сказал Станда.

— Отчасти... из-за некоторых взглядов Акселя, а главное из-за того, что он хотел на мне жениться. Он просто вбил это себе в голову, а семья хотела его отговорить. Тогда мы обвенчались и уехали... Все здесь к нам так замечательно относятся, но мне хотелось бы, чтобы Аксель больше общался с людьми, не так ли? Особенно теперь, когда... я не смогу уделять ему столько времени. Вы играете в теннис?

— Nein. К сожалению, нет.

— Жалко. Третьего дня вечером Аксель сказал, что он должен пойти в трактир к своей команде. Он ужасно радовался. Он рассказывал мне обо всех, какие вы славные и вообще. Господин Мартинек, господин Адам, потом Матула и остальные. Я очень, очень рада, что у него такие товарищи; как хорошо, что вы приняли его в свою компанию! Теперь он целыми днями напевает то, что слышал у вас... Ужасно фальшивит. Я когда-нибудь спою вам по-шведски или по-лапландски... после, понимаете?

— Ja, — восторженно пролепетал Станда, не отрывая глаз от подвижного девичьего лица; у нее чуточку раскосые глаза, но это необыкновенно ей идет.

— Меня зовут Хельга, — вдруг вырвалось у нее неожиданно, и она уставилась в окно своими русалочьими глазами. — Я так рада, что познакомилась с женами ва-

ших товарищей — там, у ворот. Все так боятся за своих мужей... Скажите мне... по совести, как друг: там... очень опасно? Я имею в виду тот штрек Акселя... и вообще.

— Nein, — горячо заверил ее Станда. — Совсем не опасно.

Госпожа Хансен, похожая на девушку, выпрямившись, смотрит по-прежнему неподвижно.

— Благодарю вас. Дело в том, что... Вы ведь видите, правда?.. У нас будет ребенок, — сказала она, и ее сосредоточенное лицо прояснилось.

Станда не знает, как ответить на это; он невероятно смущен и растроган, что она сказала ему об этом просто и прямо — словно другу, словно взрослому человеку; и ни с того ни с сего его охватывает какая-то мужская радость. Вот видишь, у них будет ребенок! А ребята как удивятся! Но я никому не скажу, буду знать только я...

— Прошу вас, — торопливо сыплет словами госпожа Хансен, — передайте им, чтобы они берегли Акселя! Ведь вас теперь там не будет... — Она улыбнулась Станде, и на глазах ее блеснули слезы. — Я понимаю, вы считаете меня глупой. Всему виной мое положение. У-у, — вздрогнули ее плечи. — Аксель не должен знать, что я боюсь. А эти розовые кусты я выписала из Швеции, — неожиданно перевела она речь и вдруг умолкла и вскочила. — Ну и глупая! Хотела принести вам персиков и где-то их оставила! Я все теперь теряю, ни на что не гожусь...

И внезапно, без всякой причины, раскосые глаза выронили слезинку, которая скатилась по щеке.

Станда сел.

— Ради бога, не плачьте! — насупившись, воскликнул он.

Госпожа Хансен нервно рассмеялась.

— Не обращайте внимания! У меня это раз десять на день случается. Сама знаю, что это противно.

Она вдруг нагнулась и без всяких церемоний горячо поцеловала Станду в лоб.

— Благодарю вас, — вздохнула она, — вы проявили большое мужество!

Станда сидит на постели и смотрит вслед госпоже Хансен разинув рот.

Она оставила после себя какой-то неуловимый аромат и тяжелое благоухание красных роз. Ошеломленный Станда безгранично счастлив и становится необыкновенно

серьезен; вся его постель покрыта газетами и усыпана розами.

Дверь открылась, и медленно вошел молодой ординатор в белом халате.

— У вас были гости, кажется? — прикидываясь равнодушным, спросил он, приближаясь к постели. — Это вам принесла... госпожа Хансен? — Он неловко берет в руки красную розу. — Нужно бы... поставить их в вазу! Я пришлю вам что-нибудь.

Станда не знает, что сказать; молодой доктор вертит в пальцах розу и тоже, вероятно, не знает, о чем говорить; только губы у него подергиваются.

— Скажите, пожалуйста... как зовут госпожу Хансен?

— Хельга.

— Хельга, — шепчет доктор, и губы его кривятся; у него такой вид, будто ему хочется поцеловать эту розу.

Удивленный Станда серьезно глядит на него; это красивый человек с замкнутым лицом и прямым ртом...

— У них будет ребенок, — произносит вдруг Станда.

— Да?

Молодой доктор медленно положил розу на место и отвернулся к окну. Теперь он стоит там и смотрит на улицу — кажется, и дышать перестал. Станда тоже затаил дыхание и тихонько перебирает розы, разбросанные на постели. «Вот какие дела, — думает он почти с грустью. — Вот какие дела!»

— Спасибо, — сухо сказал молодой врач и очень быстро вышел, так что в двери только мелькнул его развевающийся белый халат.

XXV

— Пожалуйте-ка сюда, герой, — шумно балагурит толстый главный врач, — посмотрим, что у вас там. Дайте-ка свою драгоценную ручку. Сестра, держите!

Толстяк пыхтит, быстро разматывая бинты; наверное, их тут накручено несколько сот метров. У Станды не хватает духу глядеть туда, он стоит, судорожно вцепившись в стул. «И пикнуть не смей, — приказывает он себе, — как бы больно ни было...» Теперь доктор срывает какие-то присохшие повязки, рука адски болит, «юный герой» сцепляет зубы, чувствуя, как у него дрожат веки от обмо-

рочной слабости. «Я должен, должен вытерпеть», — в отчаянии твердит он себе и все-таки издает протяжный вой.

— Ну, вот и все, — успокоительно бурчит доктор и легко, ловко снимает фанерную дощечку, на которой лежит раздробленная рука. Он сдвинул очки на лоб, мерно сопя, чуть ли не засунул нос прямо в то красное, чем оканчивается кисть Станды. Станда тоскливо уставился на его жирный затылок, поросший белыми волосками; но по затылку ничего нельзя понять, и Станда поднимает глаза на маленькую белую сестричку. Она держит его за локоть и, мигая, внимательно смотрит прозрачными серыми глазами на то ужасное, кровавое; точно так же приветливо смотрела она в рот Станде, когда кормила его.

— М-да, юноша, — говорит толстый доктор, — дела у вас не так плохи. Теперь вы должны на минутку взять себя в руки. Можно бы сделать инъекцию новокаина, но... но... вы ведь и так выдержите?

— Выдержу, — решительно бормочет Станда и как можно крепче зажмуривает глаза.

— Хорошо. Пинцет, сестра.

Станда порывисто дышит. «Выдержу, выдержу... ребята, команда моя, Пепек, Енда... только не кричать, только не это...»

— Ножницы!

У маленькой сестры от усердия полуоткрыты губы, она внимательно смотрит за действиями доктора. «Какие у нее длинные ресницы», — думает Станда, кривя рот от ужасной боли. Сестра бросила на него беглый взгляд и слегка улыбнулась.

— Вату!

Станда морщит лоб, на котором выступает холодный пот...

— Щипчики!

Что-то хрустнуло. Но Станда лишь зашипел сквозь стиснутые зубы — и покачнулся.

— Молодчина, — бурчит доктор, что-то быстро делая. — Сейчас кончу. Иглу!

Судорожно стиснутые зубы слегка разжимаются, Станда быстро переводит дух и чувствует, как кровь снова приливает к лицу. Доктор, оторвавшись от своей кропотливой работы, взглянул на Станду.

— Сестра, вытрите ему лоб!

Она взяла кусок ваты и бережно провела по лбу и под глазами. Станда глубоко вздохнул. Теперь ему лучше.

— Подождите минутку, — сказал доктор и пошел мыть руки. «Что еще будет? — замирает в ужасе «юный герой». — Что он теперь со мной станет делать?»

Он судорожно глотает слюну, чтобы не расплакаться, и отворачивается к окну; но доктор бодро плещется у крана и сопит почти весело.

— Так, теперь мы вам все завяжем и на несколько деньков оставим вас в покое. Гипс, сестра! И вазелин!

Запахло йодоформом, толстый доктор ловко накручивает метры бинтов на левую руку Станды, но на душе уже все-таки легче.

— Зачем эта дощечка? — осмелился спросить Станда.

— Чтобы вы не могли шевелить рукой, — проворчал доктор. — А потом мы постараемся вернуть подвижность вашей конечности. Не так-то просто, юноша, быть героем; это обычно причиняет боль... а врачам — немало хлопот. Вот какие дела.

Толстый врач удовлетворенно смотрит на свою работу; вместо руки у Станды гигантская белая палица, которой можно, пожалуй, убить быка. Но Станда все-таки гордится ею, рассматривает ее, поднимает...

— Ну, как? — довольно спросил толстый доктор. — А теперь пойдемте со мной, да ничего не бойтесь.

У Станды подкашиваются ноги — они словно из студня, и он весьма неохотно следует за главным врачом, который поспешно идет в свой кабинет. Доктор поискал что-то в шкафу с блестящими хирургическими инструментами, и у «юного героя» душа снова ушла в пятки; но искомое — просто бутылка коньяка и две стопочки. Толстый доктор наполнил их с необыкновенным проворством.

— Выпейте, молодой человек, вы совсем зеленый. И садитесь!

Он ловко опрокинул в себя стопку, закашлялся и налил второй раз, после этого обеими руками придержал свой живот и сел, широко расставив ноги, на край вращающегося стула. Станда робко пробует коньяк, поглядывая на старого добряка.

— Ну вот, — начал главный врач и торжественно поправил свои очки. — Милый мой, вами очень интересуется господин Хансен и... здесь вы вообще как бы по первому разряду. Можете заказывать себе еду по вкусу и вообще.

И не спешите выписаться, так и знайте. Из-за вашей ручки лежать вам не обязательно. Можно и прогуляться, но после шести вечера быть на месте, понятно? Порядка ради.

— Скажите, пожалуйста, господин главный врач, — пролепетал Станда, — а я... не останусь калекой? Смогу я еще что-нибудь делать?

— Что? Калека? — закричал толстый доктор. — Милый, да у вас на каждом пальце осталось самое меньшее по фаланге! Отняли только шесть суставов! Глядите, юноша! — взмахнул он толстыми ручками, как пингвин крылышками. — Их до сих пор продолжают называть «золотыми»!

Станда даже заморгал — он впервые набрался духу посмотреть на руки хирурга, вернее не руки, а пухлые бесформенные подушечки с короткими обрубками пальцев... «Как у медведки, — подумал Станда, — и такие короткие — бедняга, вероятно, не может даже сложить свои лапки на животе!»

Доктор помахал толстыми обрубками перед самым носом Станды.

— Это от рентгена, мой милый. Никакого геройства. И смотрите, люди по-прежнему идут к старому доктору, чтоб он резал. Сможете ли вы еще работать? Смешно! — Он извлек откуда-то большой носовой платок и громко высморкался. — Понятное дело — вагонеток вам больше не толкать. И в шахту спускаться, полагаю, тоже не придется. Мне звонили из дирекции... Экий горемыка, ведь, говорят, вы образованный человек!

— Я... у меня только пять классов реального, — еле выговорил Станда.

— Ну вот, видите, — рассердился толстяк. — Надо окончить, молодой человек. Непременно нужно доучиться... и получить аттестат зрелости. Мне сказали по телефону, что, когда вы вылечитесь, вас возьмут хотя бы в контору. Конторскую работу вы делать можете — понятно, золотом вас не осыплют, но все же вы, пожалуй, будете получать побольше откатчика, правда? А главное — вы сможете тогда заниматься самостоятельно, верно?

— Не знаю... — шепнул Станда.

— Ну, так вот что, — воскликнул старый доктор, — сам Старик просил передать вам это.

— Господин управляющий бассейном?

— Он самый. Он уже будто бы сказал младшим инженерам, чтобы они вам кое в чем помогли, объяснили бы... Принимайтесь, мой милый, это им ничего не стоит! А как получите аттестат зрелости... ну, там видно будет; говорят, у них там есть какая-то стипендия в горной академии или как там это называется. На вашем месте я бы не задумывался, — кончил толстый доктор и встал, приподняв живот руками. — А теперь марш отсюда, юноша. У меня много дела.

XXVI

Станда лежит в постели, хотя в этом нет надобности, — лежа лучше думается; к тому же он до того наелся, что ему лень пошевелиться. Здорово его в обед накормили, ничего не скажешь: цыпленок, слоеный яблочный пирог, и то и се; маленькая сестра все нарезала кусочками и держала тарелку у него под самым носом, а толстуха устроилась поудобнее на стуле, скрестив руки на пышной материнской груди, и пошла расспрашивать: она хотела знать решительно все — откуда он сам, да что покойная мамочка, что тетка, что госпожа Хансен... На ночном столике в большой фаянсовой мензурке стоит огромный букет алых роз, рядом — бутылка красного вина, — говорят, хорошо при большой потере крови. Ну и конечно, будто случайно, тот номер газеты, где напечатана заметка о юном герое. Может, маленькая сестричка спросит, что это за газета? «Ничего особенного, — сумрачно скажет «юный герой», — так, что-то о «Кристине», но я еще не читал; хотите посмотреть?» И она встанет и прочитает внимательно, хлопая длинными ресницами — хлоп, хлоп...

Но, увы, она не спросила, и Станда лежит, удобно растянувшись на спине, глядит в потолок и размышляет над своей судьбой. «Стало быть, калека, — говорит он себе покорно. — В откатчики я больше не гожусь. Что поделаешь, придется, значит, в контору. Там уж я насиделся, гнул спину над синьками, а потом целыми вечерами корпел дома над учебниками... Легко сказать — доучиваться самостоятельно! Пробовал я, сударь, и ничего у меня не вышло. Знаю, каково удовольствие. И еще года два-три

маяться... Ну, ничего, справлюсь, — грустно и рассудительно думает Станда, — но такая жизнь далеко не мед. Придется порядком себя подтянуть, — рассуждает от- будешь гнуть спину день и ночь — не захочешь шляться где попало да подглядывать, как где-то цветут розы: дома со стула не подымешься, заткнешь уши кулаками и будешь глаза пялить в книги до обалдения. «Вы должны как-нибудь зайти к нам», — сказала госпожа Хельга. Что же, если ты студент, то очень даже можно. Откатчик, собственно, б*о*льшая величина, и все же, брат, есть тут какая-то разница. Скажем, Мартинек не мог бы прийти туда запросто; вот в трактире господин Хансен сколько угодно может хоть обниматься с ним, но если бы госпожа Хельга пригласила Мартинека к себе, то сидел бы крепильщик на краешке стула, сложив кулаки на коленях, и думал, как бы удрать поскорее. А какой силач! Студент — пустое место, а смотришь, он и в теннис может поиграть, и говорить «реди» и «гейм». Только вот смогу ли я со своей левой рукой — не знаю... Но, может быть, я по-шведски могу научиться?» — несколько менее уверенно думает Станда.

Станде грустно, потому что все уже, собственно, решено; сейчас он просто описывает круги возле этого решенного вопроса. Например, команда. С командой кончено, сознает он. Мне уже там не место. Пепек насмехаться бы начал, мол, ты студент, важный барин; да и Енда Мартинек, вероятно, теперь не скажет: «Видишь, осел ты этакий», или еще что-нибудь такое. И Суханек, Матула, Адам, все — нет, это будет уже не то. Что ж, ребята поймут; они же видят, что я теперь калека и не могу больше работать в забое. Что же мне делать? Видели бы они мою руку в гипсе, на дощечке! Они сказали бы: ну, Станда, берись за то, что можно, а на нас не смотри... Правда, жаль. И Станда с грустью чувствует, что теперь между ним и первой спасательной командой пролегла какая-то грань, какое-то отчуждение...

— Здорово, Станда, — послышался в дверях несмелый голос, и Станда очнулся от дремоты. Там стоит крепильщик Мартинек с шапкой в руке, серьезный и застенчивый, похожий на благовоспитанного мальчика. — Как ты себя чувствуешь?

— Мартинек! — обрадовался Станда. — Входи!

— А можно? — Молодой великан подходит на цыпочках поближе к постели. — Мне ребята наказали тебя проведать. Вернее, вроде как бы выбрали меня; Андрес хотел было пойти, а ребята и говорят — пусть, мол, Мартинек от нас сходит, узнает, как он там. — Крепильщик шумно вздохнул. — И привет тебе передают.

— Какие вы хорошие, — растроганно бормочет Станда. — Садись вот сюда!

— А можно? — Крепильщик осторожно опускается на стул. — Красиво тут у тебя!

— Гляди! — показывает ему Станда перевязанную руку.

— Ого! — почтительно произнес крепильщик. — Наш главный врач делал? Сразу видать — у него золотые руки. Тебе повезло, дружище.

— Хороший доктор?

— Еще бы! А при родах... У нас он мальчишку принимал. Такая, брат, у него сноровка, даром что ручки короткие и пошуметь любит...

Станда улыбнулся и понюхал бинты.

— «Тут чем-то воняет», — помнишь?

— Помню, — весело улыбнулся крепильщик. — Мне вонь слышалась, даже когда мы на-гора поднимались.

— А как вообще было в нашей смене? — живо интересуется Станда. — Что делали? Больше ничего не случилось?

— Ничего. Мы крепь поправляли... Да, Матулу чуть не убило. Камнем, ну просто на волосок. Матуле везет, он даже не испугался. Ты знаешь, тот ходок опять завалился.

— А доберутся туда?

— Не знаю. Адам считает, что да. Но уж если кто туда и пробьется, так это будет первая команда. Сам знаешь, Андрес так легко не отступится. А мы что ж, мы без всяких, если только можно будет...

— Как Пепек?

— Ну, Пепек! Пепек ругается, однако свое дело делает. Дед Суханек, понятно, столько не наработает, зато болтовни хоть отбавляй: обойдется, мол, он помнит истории похуже и всякое такое. Так и выходит — всякому свое.

— А Адам как?

— Да чуть ли не за ноги пришлось его тащить, славно рака из норы.

— ...А стучат они еще... те трое?

— ...Вчера их больше не слыхать было. Ясно, коли у них такие же газы, как на нашей стороне, тогда дело плохо, братец...

— И все-таки к ним будут пробиваться!

— Само собой. Хоть похоронить их, пока мясо на костях держится. Не могут их там оставить. — Крепильщик Мартинек спокойно смотрит в окно. — Сегодня, надо полагать, увидим...

Некоторое время стоит тишина.

— Да, — начал Станда, чтобы переменить разговор, — а что господин Хансен?

— Ничего. Ходил и все ждал, не взорвется ли где снова.

— Вы с него глаз не спускайте, ребята, — серьезно сказал Станда.

— Понятное дело. Да, — вдруг спохватился крепильщик, ощупывая карманы. — Было тут кое-что в газете — я тебе принес...

Станда так и вспыхнул.

— Я знаю, — пролепетал он с несчастным видом. — И кто им сообщил такие глупости! Сделай милость, не будем об этом... Скажи, Мария опять ждала Адама?

— Ждала. — При этих словах крепильщик помрачнел. — А он опять пришел к нам в трактир. Не по душе мне это, ей-богу! У нее такие заплаканные глаза были, — обвел крепильщик толстым пальцем вокруг глаз, — а этот баран безмозглый как будто и не видит. Не станем же мы говорить — иди, мол, спать к жене. Сказать по совести, я буду рад-радехонек, когда увижу Адама не в этом Хансовом штреке, а где-нибудь в другом месте.

— Почему?

— Так. Такой уж у Адама характер несчастный, понимаешь?

Мартинек помолчал; он сидел на стуле выпрямившись и даже не решался прислониться к спинке, он положил тяжелые кулаки на колени, и его голубые глаза блуждали по больничной палате.

— Красота-то какая в этой больнице, — восхищенно вздохнул он.

— Значит, вы опять в трактире собирались? — нетерпеливо спросил Станда. — Всей командой?

Крепильщик просиял.

— Ну, да... Андрес, мы, Адам, словом, все. Тебя только не хватало.

— А господин Хансен?

— И он был, как в тот раз.

— О чем же вы говорили?

— Да просто так. Пепек, конечно, насмехался... а Суханек, тот все больше про свои молодые годы болтал. Андрес о войне рассказывал. И видывал же он виды, голубчик! В Сербии побывал и в Галиции — даже не верится: этакий замухрышка, а чего только не перенес. Очень хорошо мы поговорили, и Ханс тоже.

— Что он говорил?

— Ничего, слушал только, иной раз — ну совсем будто все понимает, в глазах так и играло, и смеялся... Сам знаешь, когда Пепек заведется...

— И вы пели?

— Спрашиваешь!

— И Адам тоже?

— Тоже.

— И господин Хансен?

— Тоже. Он нам какие-то шведские песенки пел...

— Красивые?

— Красивые, только он, похоже, фальшивил малость, понимаешь. Пепек принес с собой гармонику, так мы и плясали...

— Все? И Адам? — как зачарованный, расспрашивал Станда.

— Тоже пробовал, — мягко сказал Мартинек, как бы извиняя Адама.

— И господин Хансен тоже?

— Нет, он только глядел и хлопал нам.

— А были там девушки?

— Выдумаешь тоже, — с целомудренным видом возразил крепильщик. — Какие-то две шлюхи заявились было с улицы, как гвалт услышали, но мы их выставили! Все было только для команды, дружище. Никто из посторонних в зал войти не посмел. Ты бы поглядел, когда Матула плясал! Знаешь, Пепек очень хорошо на гармонике играет... — Мартинек улыбался сонными глазами. — Ну и здорово было, жалко ты не видел. Но мы о тебе вспоминали...

Станда никак не мог насладиться этим рассказом.

— А когда вы разошлись по домам?

— Часа в два, — скромно признался крепильщик. — Понимаешь ли, этому Пепеку взбрело еще в голову помериться силами. Так что мы вроде как борьбу устроили...

— И кто же всех сильней?

— Матула, — честно признался Мартинек. — Однако и с Пепеком я изрядно попотел. Ты не поверишь, до чего увертлив этот парень. А Матула свалил стойку с оркестрионом впридачу. Сдается мне, — удрученно добавил он, — что за все это Хансу платить придется.

— Почему?

— Видишь ли, он вроде как за судью был. Ну, и когда случилось это побоище — там еще какой-то буфет упал, — Ханс Малеку на себя показал, что он-де заплатит. Очень он забавный, этот Ханс, — признательно сообщил Мартинек. — А знаешь, и у Адама силы немало! Черт его подери, как схватит своими ручищами, — только берегись! Он как ремень обвивается. Со мной так вертелся...

— А Андрес что?

— Ну, он — легкий вес; а с Пепеком, помнится, по земле катался. Как раз в то время, когда патруль пришел.

— Какой патруль?

— Ну, полиция, — постепенно признавался Мартинек. — Все из-за галдежа, понятно? Они подумали, что у нас драка, что ли; один фараон был знаком с Андресом еще по армии; ну, кое-как уладили. А мне не хотелось впутываться, я взял да и ушел домой с Адамом. Понимаешь, не горазд я на такие дела, — добавил он сдержанно, с видом благовоспитанного мальчика. — Зато с Адамом мы очень хорошо поговорили.

— О чем?

— Да так, вообще. О жизни... и о смерти, — несколько неопределенно припоминал Мартинек. — У него, брат, все очень складно продумано. Умереть, говорит, это все равно что — я и сказать не сумею, как он говорил; но я подумал, что не мешало бы тебе его послушать. У тебя на то образование есть.

— Откуда ты знаешь, что у меня образование?

— Да это сразу видать.

— А как ты думаешь, Енда, — нерешительно заговорил Станда, — заканчивать мне образование?

Крепильщик улыбнулся, считая, очевидно, что вопрос и так ясен.

— Конечно.

— Почему?

— Ну, какой из тебя шахтер. Балку руками хватаешь. Сразу видать, не на своем ты месте. Как герой — может быть, но как шахтер — нет. Где уж тебе!.. Ну, а с рукой-то как?

— Останусь калекой, — произнес Станда со спокойным достоинством. — Плакали мои пальцы.

— А не суй куда не надо, — проворчал крепильщик, нахмурившись. — Ну, не бойся, тебя куда-нибудь пристроят. Пока одна рука есть, работать можно. Но в шахту ты уж не вернешься, дружок, с этим покончено. Все равно ты как откатчик немногого стоил.

Станда спокойно, ласково глядит на своего товарища Мартинека — жесток ты, друг мой, ох как жесток; но и жизнь жестока.

— Я поступлю в контору, Енда.

— Ну, само собой. А куда же еще!

— И буду учиться на инженера. Потом стану работать в шахте... хотя бы и с одной рукой.

— Распоряжаться — и одной руки хватит, — спокойно говорит крепильщик. — А вот уголь рубать одной рукой нельзя. Что ж, учись!

Станда спустил ноги с постели.

— Мартинек, за что ты на меня злишься?

— Я не злюсь. Но раз ты теперь учиться станешь, так какие разговоры, верно?.. А мы вчера говорили об этом, — сказал он неожиданно, — и тоже так рассудили. Что тебе доучиться надо. И от имени команды Андреса послали в дирекцию, а ему там ответили: знаем мы уже, это тот Пулпан, который самый первый вызвался. Не знаю только, кто им это сказал. Может, Ханс.

Станда был безгранично растроган.

— Ребята, вы и об этом подумали?

— Чего там, — улыбнулся крепильщик. — Сам понимаешь, теперь тебе не место среди нас. Да, а Верунка тебе передает привет.

Станда сидит на постели, опустив голову. Итак, с этим покончено... точно оторвалось у него что-то внутри, чувствует он с болью и облегчением. «Сам понимаешь, тебе не место среди нас». Сейчас это еще не так заметно; но ког-

да я возьмусь за работу, когда засяду за книжки, мы станем еще дальше друг от друга; через книжки я уже не дотянусь до вас, друзья... Господи, а ведь мы были такие товарищи; но когда оканчивается смена, нас ждет какая-то отчужденность; мы толком не знаем даже, о чем говорить...

— Послушай, Енда, — неуверенно начал Станда. — Если теперь я буду работать в дирекции... далековато мне будет ходить от Адама. Как ты думаешь, не переехать ли мне поближе?

— Правильно. Так и сделай.

— Послушай, ты не объяснишь Адаму?.. Мне дед Суханек говорил, что есть хорошая комната у каких-то Покорных. Может, поглядишь?

— Ну, конечно, — живо согласился крепильщик. — Это, наверное, у помощника штейгера Покорного, у них сын ушел в армию... Я зайду к Адаму, и мы с ним сразу же и перенесем твои пожитки. Чтобы тебе не возиться с переездом, когда у тебя рука...

— Какой ты хороший!

— Да что там, — просиял Мартинек. — Я с удовольствием помогу.

Станда облегченно вздохнул. Вот и с этим покончено, можно начинать новую жизнь. Правда, где-то еще кровоточит сердце, но это почти приятно; так должно быть, дружище, должно было так случиться. Станда хмурит лоб, усиленно размышляя. Ну что же, с чем еще осталось порвать? Нет, кажется, больше ничего; как мало остается, когда покидаешь забой, где трудился со всеми!

Крепильщик Мартинек поднялся, комкая шапку в руках.

— Ну, Станда, я был очень рад... Приходи как-нибудь взглянуть на детей...

— Спасибо, спасибо за все, Енда. И передай привет всей первой спасательной...

— Ладно. Я им передам.

Молодой великан на цыпочках подходит к двери.

— И скажи им, Мартинек, скажи, что я их всех благодарю!

Мартинек на пороге кивает головой.

— Скажу. — И он протискивается в полуоткрытую дверь. — Бог в помощь, Станда!

Станда сидит на постели, кусая пальцы. Значит, мне уже нет места среди вас? И среди других — тоже... Что поделаешь, вероятно так и надо; но как страшно одинок человек...

XXVII

Действительно, Станде есть о чем поразмыслить: он держит левую руку на груди, как больного ребенка, и в глубокой задумчивости хмурит лоб. Но к пяти часам он отрывается от этих мыслей, поудобнее устраивается на постели, поджав колени к подбородку, и закрывает глаза. Сейчас первая команда готовится к спуску. Ребята, вероятно, переодеваются, стягивают рубашки, сбрасывают штаны; в раздевалке пахнет крепким мужским потом. Пепек, конечно, бранится, дед Суханек тараторит, Матула сопит, а Адам молча, букой глядит серьезными, глубоко запавшими глазами. Мартинек спокойно улыбается и говорит, наверное, — ох, ребята, и красота же в этой больнице, или что-нибудь в том же духе. Станда считает минуты. Вот теперь, верно, входит Андрес, на голове у пего пропотевшая шапка, в руке лампа; он пересчитывает глазами команду. Один, два, три, четыре... где же пятый? «Здесь, — отзывается шепотом Станда, — я здесь!» — «Ну, пошевеливайтесь, пошли», — сердито подгоняет Андрес. «Ладно, мы сейчас...»

Теперь они идут гуськом к клети, позвякивая покачивающимися лампами; всем им не до разговоров. «Бог в помощь, ребята!» Клеть проваливается в черную шахту; у Андреса твердеет лицо, дед Суханек шевелит губами, словно молится, Матула сопит, Пепек судорожно зевает, а длинный Адам загораживает лампочку рукой и глядит в пустоту; лишь Мартинек сияет улыбкой, спокойной и несколько сонной. И без конца бежит и бежит вверх черная стена, словно команда проваливается в бездонный колодец... «Ребята, — хочется крикнуть Станде, — бог в помощь!» И ему чудится, будто он спускается вместе с ними и смотрит вверх, куда все бегут и бегут черные отпотевшие стены.

Трр, толчок — и клеть останавливается; команда шагает вразвалку под вереницей электрических лампочек по бесконечному сводчатому коридору; впереди Андрес, ему

бы саблю в руки — ать-два, ать-два, правое плечо вперед — и первая команда цепочкой растягивается по черному откаточному штреку. Станда словно смотрит им вслед издалека; пять лампочек мерно раскачиваются и мерцают все дальше и дальше, теряясь в бездне тьмы; и еще поворот налево; бледный высокий человек открывает дощатую дверцу, — бог в помощь! Навалился душный тяжелый воздух восемнадцатого штрека, и Станда невольно начал дышать ртом. «Жарко, верно?» — с улыбкой спрашивает Мартинек, точно они идут полевой тропкой. Остается совсем немного — они, вероятно, добрались уже до того места, где Мартинек с Матулой исправляли деревянную крепь; сколько тут новых подпорок, и новые здоровенные раскосы... Вон уже видны лампочка и кожаный шлем Хансена. Андрес выпячивает грудь и по-военному щелкает каблуками: «Докладывает первая команда: десятник Андрес, забойщики Адам и Суханек, крепильщик Мартинек, каменщик Матула, подручный забойщика Фалта и откатчик Пулпан». — «Что, разве Станда тоже тут?»

— Конечно, я тоже, — шепчет Станда с закрытыми глазами. — Где же мне быть, как не с вами!

Сейчас ребята, наверное, снимают пиджаки и рубашки, прикидывает Станда; остается поплевать на ладони, и можно браться за дело. Ага, эти лодыри из других команд, по крайней мере, привели в порядок завалившийся штрек, но остальное осталось, как было при нас; надо кончать сбойку, ребята! Долговязый Адам натягивает на голову кислородную маску со слоновьим хоботом и стягивает ремни; вот он уже на коленях, и — рраз! — вползает под обвалившуюся кровлю; сейчас вдали застрекочет его отбойный молоток. Пепек, вероятно, бранится и тоже надевает маску; потом он нагнется, вильнет задом и исчезнет в завале. Через минуту загремит его лопата в вырубленной породе. Так, теперь ты, Станда! Грузи живой, чтобы ничего не валялось на дороге!

Немного поодаль стучат по крепи, как два дятла, Мартинек и Матула; Хансен озабоченно следит за контрольной лампочкой, обходя штрек; Андрес ходит за ним следом, а дед Суханек уже прикрепляет маску, готовый сменить Адама. Ну-ка, Станда, покажи теперь, на что ты способен! Ведь есть в команде некий Станда Пулпан, который раньше учился в реальном, а теперь стал

откатчиком первой спасательной. Итак, этот Станда берет лопату и грузит пустую породу в вагонетку; лопата в его руках летает, как перышко, и дед Суханек от удивления покачивает своим слоновьим хоботом. Как у тебя, сынок, нынче работа-то спорится! И Андрес останавливается и глядит, — так, последняя лопата — и вагонетка полна; и Станда одной рукой, одной левой, толкает эту вагонетку, бежит с ней рысью, гоп-ля! — через поворотный круг и тормозит на другой колее; и вот он уже с грохотом мчится обратно с новой, пустой вагонеткой. Адам как раз вылез из дыры, снимает маску и, опершись о стену, трет костлявыми кулаками глаза, залитые потом. Станда берет лопату и грузит вторую вагонетку — углем. Адам впалыми глазами следит, как мелькает в воздухе лопата. «Не так быстро, Станда, — бормочет он, пытаясь улыбнуться, — ведь мы не поспеваем рубать!»

Вылезает Пепек и срывает маску; он собрался было смачно выругаться, да бросил взгляд на Станду. «Каков наш откатчик! — ворчит он. — Видно, придется мне подбросить ему еще уголька!» А Станда уже мчится во весь дух со второй нагруженной вагонеткой, не чуя ее веса. Крепильщик с улыбкой оглядывается ему вслед: «Славно у нас нынче работа идет!.. Придется нам поднажать, ребята, чтобы за ним угнаться!..» И все начинают двигаться быстрее, еще быстрее... Запальщик Андрес бегает по штреку, словно серая мышь, лампа Хансена мигает то на одном, то на другом конце штрека, крепильщик Мартинек с Матулой лишь шевельнут руками — и, глядь, уже стоят новые противовзрывные оклады — стойки, распорки и переклады; а из завала сплошным потоком льется уголь, и Станда носится с вагонеткой туда и обратно, туда и обратно, теперь уже зигзагами, кружится по каким-то запутанным подземным ходам и не может остановиться. «Да я не найду обратной дороги к команде!» — испугался он и проснулся. Оказывается, он задремал сидя, уткнувшись носом в больную руку, и слегка вспотел, и сердце у него часто бьется.

«Уж не лихорадка ли у меня», — тревожно подумал он, прижав руку к сердцу. Нет, оно бьется уже спокойнее. Скоро семь — значит, команда отработала половину смены. Сейчас Мартинек достанет свой ломоть хлеба с салом — он вообще очень любит поесть. «Ну как, ребята, подвигается работа?» — «Сволочная работа, приятель, —

сплевывает Пепек, — а тут еще эта идиотская маска на роже! Но мы скоро пробьемся насквозь; надо довести работу до конца, черт побери, не оставлять же другой команде!» Из дыры выползает дед Суханек. «Ребятки, скоро кончим! — радостно тараторит он. — Там гулко так отдает!»

«Постойте-ка, — говорит Андрес. — Сбойка — это самое трудное; как пробьешь целик, может обвалиться кровля. Надо решить, кто пойдет добровольно. Я бы, к примеру, пошел», — спокойно предлагает он.

«Не выйдет, — возражает Суханек. — Потом скажут еще, мол, ни один шахтер не захотел лезть. Это дело проходчиков».

«Я закончу сбойку», — бормочет Адам и собирается надеть маску; но тут перед Адамом вырастает Станда.

«Вы не пойдете туда, Адам. Вы не имеете права».

«Почему... почему не имею права?..»

«Потому что вас любит Мария! Разве вы не видите этого, дружище?! Да вылезьте вы наконец из своей черной шахты, скажите ей: ну вот, Марженка, быть может, теперь удастся все исправить; разве мало мы с тобой мучились! Адам, слушайте, вам обязательно надо вернуться домой!..»

«Станда прав, — присоединяется команда, — поглядите, каков парень, кто бы подумал! Ты, Адам, туда не пойдешь, дело решенное. Ребята, кто полезет?»

— «Я, — вполголоса говорит Станда, ворочаясь на своей постели. — Ребята, пустите меня туда! Я еще ничего толкового не сделал... Кому я нужен? Глядите, только у меня никого нет! Ну, прошу вас, господин Андрес, прошу вас, ребята...»

Станда видит совсем близко ввалившиеся глаза Адама — в них такое странное выражение.

«Станда, — глухо спрашивает Адам, — это правда... что Мария меня любит? Ты точно знаешь?»

«Да, знаю. Ведь я сам любил ее, дружище... Иди же, иди к ней, оставьте вы меня наконец в покое!»

— И они пустят меня, — улыбается Станда с закрытыми глазами. — Я проползу до самого конца... на животе... теперь — насадить зубок; осторожно, чтобы его не заклинило! Хорошенько нажать... видите, какие пустяки! Та-та-та-та, ррта-та-тат-та, целик поддается, дробится, распадается, трещит, рука уже чувствует порыв воздуха с той

стороны. Трах! — стена проломилась... ребята, мы пробились! Эй, вы еще живы, вы трое? Жив ли еще Иозеф Мадр, и Ян Рамас, и Кулда Антонин, отец семерых детей? Докладывает первая спасательная: Аксель Хансен, запальщик Андрес, забойщик Адам, дед Суханек, крепильщик Мартинек, каменщик Матула, Фалта Пепек а последний — Пулпан Станислав, с позволения сказать, откатчик... Но тут кто-то дергает Станду за ногу и кричит: «Назад!..» Что случилось? Ничего, только сверху бесшумно и медленно сползает огромный камень, отрывается и страшной тяжестью обрушивается на левую руку Станды. Это конец. Над головой гремит, и камень неотвратимо падает и крушит грудную клетку и сердце откатчика Пулпана.

— Это конец, — шепчет Станда и широко открывает глаза. Он видит белую комнату, белые голые стены, белый мирный потолок и с трудом переводит дух. Отчего вдруг так сдавило грудь? Какая невыносимая тяжесть!

Семь часов. Станда соскакивает с постели и звонит — куда девали мою одежду? Мне ведь надо пойти к товарищам, надо дождаться их после смены!

— Где моя одежда? — настойчиво сквозь зубы требует он у маленькой перепуганной сестры. — Мне нужно выйти!

В конце концов сестра, не выдав одежды, приводит к нему молодого врача. Станда лихорадочно объясняет, что он должен пойти к своей команде, но доктор молча сует ему под мышку термометр.

— Я совсем здоров, — стучит зубами Станда, — пожалуйста, пожалуйста, пустите меня к нашим!

Молодой врач пожимает плечами — жара нет, но нужно соблюдать порядок; больница — не проходной двор.

— Знаете что, — решает он после долгих размышлений, — я буду сегодня вечером в заводской гостинице. Сейчас отправляйтесь куда угодно, но к одиннадцати зайдите туда за мной. Я захвачу вас с собой на обратном пути в больницу, чтобы вам не беспокоить привратника. Желаю хорошо повеселиться, — задумчиво добавил молодой врач, очевидно считая, что тут замешана какая-нибудь девушка.

Но одеться, оказывается, очень трудно — Станда не может просунуть левую руку в рукав. Маленькая сестра, внимательно моргая, закалывает пиджак булавкой у са-

мого подбородка, чтобы вид у Станды был более или менее приличен; рука на перевязи под пиджаком, воротник поднят, вот так; его провожают до самых ворот, и теперь он может идти куда угодно!

Уже восемь часов, быстро смеркается; Станда бежит к шахте «Кристина». Сейчас, вероятно, приходит следующая смена, докладывает десятник Казимоур со своей командой. Ребята натягивают на себя рубахи, изредка перебрасываясь скупыми словами; а теперь они тянутся разорванной цепочкой, раскачивая лампы, и молчат. То тут, то там вспыхивают вечерние огоньки, зажигаются дуговые лампы над «Мурнау» и Рудольфовой шахтой, красное зарево встает над коксовыми заводами; вдоль черных улиц протянулись огненные ожерелья фонарей; Станда прибавляет шагу. Теперь, должно быть, товарищи идут по бесконечному коридору с вереницей электрических лампочек под сводом. Что это шумит? Станда остановился и взглянул вверх. Деревья, листья на деревьях! Откуда взялись деревья в откаточном штреке? Сейчас команда, вероятно, уже у клети, поднимается на-гора; от усталости все клюют носом, глаза слипаются, но клеть мчится вверх, все выше и выше, конца не видно; шахтерскими лампочками, что мигают вверху, усыпан весь небосвод; когда глядишь вверх, на звезды, кажется, что весь мир, вся жизнь проваливаются куда-то глубоко, как стены в шахте. А клеть все возносится в черном бесконечном стволе звездной ночи; Адам устремил в пустоту ввалившиеся глаза, Пепек хмурится и дергает головой, точно ему тесен ворот, Матула тяжело сопит, лицо Андреса твердеет, дед Суханек шевелит губами, словно молится, а крепильщик сияет сонной улыбкой. Теперь клеть замедляет ход — где-то возле Млечного Пути — и останавливается: бог в помощь! И команда выходит из бескрайней ночи, подмигивая маленькими огоньками своих лампочек. Ребята, смена кончилась!

Станда шагает дальше по черной аллее. Теперь ребята раздеваются в душевой; от Пепека несет потом, Матула почесывается, дед Суханек заводит свою болтовню, Адам тихо идет под душ и начинает свое бесконечное мытье; он крепко трет длинные бедра и впалый живот, серьезно глядя куда-то в пространство глубоко запавшими глазами. «Да-а, ребята, — сладко зевает крепильщик, — ну и смена нынче выдалась!»

Над «Кристиной» сияют дуговые фонари, уже видны ярко освещенные окна машинного зала и черный силуэт копра. Станда прибавляет шагу и рысью мчится к решетчатым воротам. «Как бы не опоздать», — думает он с внезапной тревогой.

У ворот «Кристины» никого нет. Не стоят в ожидании Мария, Хельга, нет неряхи Анчки, нет там даже и тех трех женщин, что стояли, как изваяния, — жены шахтеров — Иозефа Мадра, отца троих детей, крепильщика Яна Рамаса, отца одного ребенка, и откатчика Антонина Кудлы, отца семерых детей. Станде стало не по себе; странно, что тут никого нет, ведь наша команда не могла еще уйти! Где-то между черными строениями мелькает лампочка — вероятно, ночной сторож или пожарная охрана. Станда терпеливо ждет. «Собственно, мне на шахте уже делать нечего, — говорит он себе, — только пальцы мои там остались. Я похож на женщину с ребенком, когда баюкаю на груди эту дурацкую руку, — подумалось ему. — Хоть бы жены были здесь, с которыми я мог бы ждать: неряха Анчка со своими двумя карапузами, госпожа Хельга с ребенком под сердцем, и Мария, Мария... Почему же никого нет? — замирает Станда с возрастающей тревогой, зевая от волнения и холода; он начинает зябнуть в своем пиджаке, заколотом булавкой. Им уже давно пора быть здесь! Вот сейчас они вынырнут из того коридора и зашагают вразвалку к проходной, чтобы сдать номера; я и до сотни не досчитаю...»

Из проходной выходит человек и громко зевает.

— Скажите, пожалуйста, — спрашивает Станда дрожащим голосом, — команда Андреса еще тут?

— Команда Андреса? — удивленно переспросил человек. — Они давно ушли. Там никого нет.

— Как так никого, — стучит зубами Станда, — разве в восемнадцатом штреке работы больше не ведутся?

— А, в восемнадцатом, — равнодушно буркнул человек. — Да у них там все обрушилось. Пришлось прекратить работы, и больше там ничего не делают.

Станда затрясся в ознобе.

— Скажите, пожалуйста, — заикается он, выбивая дробь зубами, — пожалуйста... все ли вернулись?.. Из первой команды там никто не остался?

— Один, кажись, — мямлит человек. — Меня тут не было, я только с восьми.

— Кто... кто там остался?

— Сейчас, — сказал человек и поплелся в проходную.

Станда стоит ошеломленный, не в силах ничего понять. Один... остался там... Сторож вышел из проходной.

— Не сдан номер сто девяносто два, — говорит он равнодушно. — Но кто это, я не знаю. Справьтесь утром.

И, заложив руки за спину, он побрел в глубь черного двора.

XXVIII

«Спрошу у Пепека или Суханека, — решил Станда и бросился было бежать. — А что, если там остался как раз Пепек... или Суханек!» И Станда остановился как вкопанный. Ни за что на свете не хотел бы он сейчас говорить с плачущей Аныжкой или с зареванной неряхой Анчкой. «Этого я не вынесу, — трусливо думает он, — только не это!» Пойти спросить у Мартинека, у Адама, у Андреса... по ведь остаться в шахте мог любой из них! Станда кусает губы, чувствуя, что ослабел от волнения и страха. Наверное, Малек знает, приходит ему в голову, или он хотя бы посоветует, где можно узнать. И Станда рысью кинулся к трактиру Малека.

Слава богу, там сидит Пепек, подперев щеку ладонью, — за тем самым столом, где собиралась в первый раз вся команда. Станда облегченно вздохнул.

— Хорошо, что ты пришел, — пробормотал Пепек. — Я так и знал, что кто-нибудь придет.

— Кто... кто? — отрывисто спрашивает Станда.

— Да Адам, конечно, — хмурится Пепек и дергает головой, точно его душит ворот.

Тишина. Станда так и рухнул на стул; какое странное... чувство пустоты... или отупения, и все плывет перед глазами... Значит, Адам остался! Странно, но почему-то Станда, пожалуй, предчувствовал это...

Пепек поднял взгляд.

— Я всегда говорил, что рано или поздно он там останется! Так и вышло! — сплюнул он с сердцем. — И вдобавок у меня на глазах!

— Как же... это произошло?

Пепек сердито пососал палец.

— Ноготь сорвал... Ну, как! Надо было в Хансовом ходке сбойку закончить... Вот, да и Андрес еще сказал: вы, мол, ребята, смотрите в оба, как бы вас не засыпало, когда целик-то пробьете; дайте я лучше сам сделаю... Видал, каков: замухрышка, а все вперед лезет... Но... если уж кого и ставить на такую работу, так только Адама, верно ведь; у него руки как у часовщика; никто так чисто и деликатно не вырубит целик, как он. «Ладно, — говорит Андрес, — только это не простая сбойка; тут еще неизвестно, на что наткнешься с той стороны и на чем там кровля держится». — «Не бойся, — говорит Адам, — у меня чутье в руках; а вот маску я не надену, чтобы слышать, как там кровля себя ведет; пять минут продержусь и без маски, да и газов сегодня поменьше будет...» Это правда, — подтвердил Пепек, — туда накачивали воздух, чтобы штрек проветрить... Ну и вот, Адам еще нам вроде как улыбнулся, надышался чистым воздухом и полез. Только мы его и видели.

Пепек ухмыльнулся и снова сунул палец в рот.

— Болит, сволочь!.. Мы все, значит, снаружи остались, слушаем, когда он начнет, я говорю: Андрес, я к нему полезу... «Иди, — сказал Андрес, — только маску возьми, двоих без маски я туда не пущу...» Напялил я маску и — к Адаму; было уже слыхать, как он отбойным молотком действует. Последние метры приходилось на брюхе ползти... и вот вижу я Адама, вернее, сапоги его; лежит на пузе и работает. Понимаешь, из-за маски и того треска, что Адам своим молотком поднял, я ни черта не слыхал, только гляжу во все глаза — все ли в порядке... И вдруг вижу, на кровле отходит этакий слой камня, ну вроде как потолок прогибается. «Адам, назад!» — кричу, а какое там, он не слышит и дальше рубает. Я живо маску долой, хочу его за ногу тащить; а когда я маску-то сдернул — чувствую рожей: ветер вроде дунул... мать честная, Адам пробил! И слышно, что отбойный-то молоток вхолостую работает... И быстро все так случилось, я и глазом моргнуть не успел. «Адам!» — кричу и тяну его за ноги. «Сейчас, сейчас», — говорит он. И тут, слева, стена, тихонько этак, подалась и валится, а сверху сползает камень — ну вот с этот стол; не знаю уж, взаправду ли так медленно и неслышно он падал или мне только почудилось... — Пепек помолчал, собирая на столе какие-то крошки. — Станда, — пробормотал он, — его

наверное... наповал... Даже ногой не дрыгнул — я его ведь все еще за ногу держал. Такая глыба — и прямо ему на спину... Только после этого загремело и углем его завалило...

Пепек умолк и снова занялся крошками на столе.

— До чего иной раз человек дуреет. Голыми руками стал откапывать Адама... Думал, раскрошу эти камни...

— В котором часу это было? — шепнул Станда.

— Около семи, — буркнул Пепек. — И самое страшное, брат, — из него уже и дух вон, а молоток все еще работал. Адам-то на него навалился... все еще долбил эти камни, точно и мертвый Адам работал по-прежнему...

Пепек громко высморкался в синий носовой платок, скрывая грубые мужские рыдания.

— Меня потом за ноги вытащили, как бревно. Понимаешь ли, когда Адам пробил этот целик... должно быть, с той стороны газов много скопилось и давление их было больше. Андрес говорит, что этот ветер был — сплошные газы, они Адама-то и одурманили; потому он и не смог отползти. Эх, надо бы ему раньше смениться... да ведь сам знаешь, когда Адам вцепится в работу... Ведь он и после смерти еще рубал. — Пепека снова начал душить ворот. — Гиблое дело! Я говорю себе, — как знать, другой из нас, может, и вернулся бы...

— А что... что делала команда?

— Почем я знаю, — глухо сказал Пепек. — Меня, брат, так отделало, что дед Суханек воздух в меня накачивал; а когда я очухался, все были в этой дыре, за Адамом полезли, значит; как они там уместились — понятия не имею. Первым выкарабкался оттуда Матула, схватился за голову, говорит — дело дрянь, весь ходок рушится. Суханек хотел еще туда влезть... вдруг оттуда как закричат: «Вон, все отсюда вон!» Прежде всех выскочил Ханс, пальцы до кости ободраны, и нога вывихнута, что ли, прихрамывает; кой как отковылял в сторонку, прислонился головой к крепи и заревел, как малый ребенок, даже маски не снял. Понимаешь, ведь это был вроде как его штрек...

У Пепека странно скривились губы, и он быстро заморгал.

— Палец проклятый! — злобно прошипел он. — Горит, как дьявол!

Станда затаил дыхание.

— Дальше, дальше, Пепек...

— Да, — продолжал Пепек, помолчав. — Только Ханс выскочил, — трах! — затрещало за самой спиной у Суханека, дед отпрыгнул, ну что твоя блоха; это лопнули надломанные переклады, что еще кровлю в штреке Ханса поддерживали, помнишь? Чуть не до полу проломились, и тут же на них кровля осыпалась. Хорошо еще, мы с Матулой были чуть дальше; я от тех газов вроде как умом помешался, так и не тронулся бы с места. А Суханек и говорит: «Пресвятая троица, запальщик-то там и Мартинек тоже!» Переглянулись мы — ну, думаю, надо бежать за новой командой, нам самим не справиться, и вдруг этот завал зашевелился и стал сам приподыматься, ну точь-в-точь, как земля, когда крот нору роет. «Матула, рычаг! — хрипит Мартинек из-под завала, — за мной Андрес». Мартинек-то, оказывается, держал на спине этот переломившийся переклад, да еще пробовал приподнять его вместе с навалившейся породой. Видеть самого не видно, только балки и камни в том месте чуточку сдвинулись...

Пепек оживился.

— Что тут было, дружище! Матула стоит как пень, никак сразу не поймет, а мы с Суханеком сломя голову кинулись руками разбрасывать камни, чтобы как-нибудь открыть переклад, что на Мартинека давил; а камни сверху все валятся и валятся! Уже видно стало крепильщика — он зубы оскалил да кряхтит, и тут только Матула сказал: «А-а», — и айда за рычагом. «Ребята, — говорит Мартинек, — я больше не удержу». А Матула тут как тут и тащит целую стойку, будто карандаш какой; ладно, хоть за ухо не заложил. «Можешь подсунуть? — опрашивает Мартинек, точно они крепление ставят. — Так, еще немножко. Еще дальше, здесь места хватит. Просовывай, брат! Когда скажу, начинай поднимать». Ты понятия не имеешь, Станда, какая тяжесть на нем лежала! «Ну, давай», — говорит он, и Матула уперся плечом в стойку. Я, брат, такого в жизни не видывал! — воскликнул Пепек; от восхищения он не удержался и выпил.

— Да, я такого еще не видывал, — повторил он. — Матула поднимает стойку плечом, ноги у него от натуги трясутся, а переклад выпрямляется, завал приподнялся, и Матула отжимает все это — камень и дерево — назад к кровле. Черт, вот это сила! — засопел Пепек. — Я к

нему на помощь, а Матула пыхтит: пшел, не мешай, мол, и один, поднимает... своим плечом держит все шестьсот метров над нами! Скажу тебе, мы забыли и Адама и Мартинека, только на Матулу во все глаза глядим, рот разинув. До того это было... здорово, — смущенно пробормотал Пепек. — Жаль, тебя там не было. А Мартинек уже выкарабкался наружу и говорит: «Подержи-ка еще, Франтик, там Андрес остался», — и снова нагнулся под тот переклад, протянув Андресу руку. Матула уже весь трясется, как студень, хрипит, из носу у него кровь льет ручьем, но он держит, не отпускает. И даже еще капельку приподнял; но Мартинек тем временем вытащил запальщика. Ну, только мы его выхватили — трах! — стойка внизу подломилась, и весь завал снова осел на почву, Матулу на волосок не зацепило. Вовремя успели, — критически добавил Пепек. — Еще момент — и у Матулы с натуги, кажется, сердце лопнуло бы или еще что; он, брат, совсем синий стал и только хрипел. А Андрес легко отделался — только плечо помяло; но за Матулу мы перепугались — брякнулся наземь и, будто мокрая тряпка, распластался... Хорошо, кровь носом пошла, ему и полегчало; Ханс вытирал его собственной рубахой и чуть не целовал. Вот это была смена, мать честная! — вздохнул Пепек. — И первое, что сказал Андрес, было: «Видишь, Пепек, счастье, что я замухрышка и карлик, по крайней мере в этакую щелочку пролез». — Пепек с чувством высморкался. — Понимаешь, в чем штука! Все-таки образумился. А Матула, сказать по правде, спас Андреса... вот как все развязалось! Только Адам там остался...

Пепек угрюмо катал по столу крошки разбитыми в кровь пальцами.

— Выходит, и у него тоже все развязалось... да...

— А... будут продолжать работы... чтобы его хотя бы вытащить?

Пепек покачал головой.

— Какое там! Те трое давно задохлись, как мыши... Мы еще в душевой мылись — ясно, не до мытья нам было, — пришел Андрес и говорит: «Ребята, так и так, восемнадцатому конец пришел, работы на время там прекращены». Пласты будто бы в движение пришли, и всякое такое. Мы и сами видели, как в восемнадцатом кровля проломилась — рядом с Хансовым штреком; да и в кровле все время признаки такие были, что там еще что-

нибудь случится, и потому решили подождать. Хотели сами твердо увериться, что больше ничего сделать нельзя. И дождались. Минут через семь вверху ухнуло, ну и произошел обвал; стойки, брат, ломались, как спички, и запальщик говорит: «Ну, ребята, теперь можно и по домам». Это около половины восьмого было.

Пепек поскреб лохматую голову.

— А у Адама могилка, скажу тебе, Станда, — вагоны камня! Уж, верно, нога у него не торчит наружу, как тогда, когда я его напоследок видел. И все мне думается — когда же его отбойный молоток остановился? — вырвалось у Пепека, и он встал, лицо его сморщилось. — Я сейчас приду...

У Станды вдоль носа ползет детская слезинка. Адам, Адам... Станда пытается представить себе его, длинного и сутулого, как он, уставясь куда-то, неподвижно глядит из глубоких глазниц, но вместо этого видит Адама с маской на голове, резиновый хобот раскачивается важно, с достоинством, Адам похож на какого-то бога со слоновьей головой — настоящее привидение. Или его отражение в стеклянном шаре — широкая расплющенная голова, точно ее кто-то сдавил, а под ней тоненькие ножки... «Как мало, собственно, мы о нем знали», — думает Станда, и горло его сжимается. Как мало знает человек о человеке — и все же, когда кто-нибудь умрет, то кажется, что умерла частица тебя самого.

Пепек вернулся, глаза у него красные, он усердно сморкается.

— Ты не думай, Станда, — подозрительно бормочет он, — мы сделали все, что могли, чтобы достать Адама, хотя он наверняка уже отдал душу богу. Ты не видел, что ребята выделывали, прямо голыми руками камни эти рвали; но когда Андрес сказал «назад», ничего нельзя было поделать. И после, как все рухнуло, никто не хотел с места тронуться; мы поставили лампочки около себя, чтобы осветить последний путь Адаму, и дед Суханек от всех нас по-шахтерски помолился. Вверху все время трещало в разных местах, то и дело камни сыпались... Что же, хорошие у Адама были похороны. Ханс отдавал честь, и у него текли слезы... он их совсем не стыдился, — добавил Пепек, вытирая глаза. — Андрес тоже хлюпал носом, а Матула ревел, как девка. И потом Мартинек сказал: «Ну, прощай, Адам...» И мы оставили ему зажженную

лампочку, — ну, вроде неугасимой лампады, чтобы ему не так темно было. Да, славная была команда. Никто не поверит, как мы сдружились; сказать по правде, складно у нас дело шло, когда были мы все вместе — Адам, Мартинек, ты, Матула, Ханс, Суханек, Андрес... Теперь кончено. Адам остался внизу, а ты пойдешь учиться... Я тоже стану учиться, Станда, — как-то смущенно признался Пепек. — Ребята говорят, что мне надо сдать на забойщика, Андрес обещал помочь... Да, — спохватился он, — чтоб не забыть. Вот я тебе тут принес... — Пепек извлек из кармана грязный обрывок газеты. — Может, в больнице тебе на глаза не попалось... Есть тут о тебе статейка...

Станда покраснел, готовый провалиться сквозь землю.

— Я знаю, — торопливо забормотал он. — Мне так досадно, Пепек... Ведь это такой позор... от меня вам было так мало толку...

Пепек пожал плечами.

— Н-да, не в этом дело. Сейчас, к примеру, будут говорить, что Адам был герой, а если бы он вернулся, сказали бы: ну что ж, выполнял свой долг, все равно как Андрес или Суханек, но тех троих он все-таки не спас. Так о чем же разговор. Никакого геройства сделать нельзя, дружище; это может только случайно получиться, по крайней мере в шахтах. Да и мы-то ведь лезем не из храбрости, а просто потому, что надо. Ты думаешь, кто-нибудь полез в эту кашу из геройства? Никто и не подумал. К примеру сказать, я: я знал засыпанного Кулду, — это у которого семеро ребят. Само собой — пошел... И Кулда пошел бы ради меня, так чего тут... Да ты спрячь газету-то. Для такого молокососа и это неплохо, а думал ты по-хорошему... Скажу прямо, мы радовались за тебя, и Андрес эту газету все в кармане таскал. Но больше всех радовался бедняга Адам — он раза три, не меньше, перечитал и говорил: «Слушайте, ребята, это надо Марженке показать...»

Станда вскочил.

— Погоди здесь, — выдавил он, — я сейчас.

Он рыдал навзрыд как ребенок, прислонясь к стене в коридоре; слезы рвались наружу неудержимо, ему необходимо было выплакаться. Он даже хорошенько не знал, о чем плачет: об Адаме, о себе, о Марии, о команде — все равно, всего было слишком уж много; он захлебывался от слез, и с каждым всхлипом ему становилось легче. Это

пройдет, уже проходит; Станда протяжно вздохнул, вытирая нос и глаза. «Это в последний *раз*, — проговорил он *себе*, — никогда в жизни я больше не заплачу». Теперь он стоит на крыльце; прохлада ночи и вселенной освежает его лицо; в душу его нисходит безграничный покой. Теперь уже вое оплакано; странно, как взрослеет человек, когда у него кто-нибудь или что-нибудь умирает. Будто он внутренне стал выше на целую голову, сделался старше и печальнее на всю жизнь. «С первой спасательной *кончено*», — сказал Пепек. И это хорошо; все равно надо начинать новую жизнь — засесть за книги, зубрить, как школяр; не легко тебе будет привыкнуть к этому — будто ты из армии *пришел*, — снова сидеть за партой. К Станде вернулось ощущение одиночества и заброшенности, но теперь он воспринимает его несколько по-другому, словно и сам пожимает плечами. Надо уметь многое вынести; что скажет первая спасательная, если он распустит нюни над своей судьбой! Не так уж Станда отличился, что правда то правда; но зато он видел других — этих Адамов, Пепеков, Матул, Андресов и Мартинеков — а это, дружище, немало. Нет, не говори — славная была у нас команда; рождалось такое удивительное ощущение — быть среди них, быть с мужчинами...

Станда глубоко вздохнул. Ему кажется, что в груди, под раненой левой рукой, с болью отвердевает что-то, уплотняется, наполняется содержанием. Это — спокойствие, примирение, мужество или еще что-то такое; и юноша негромко и глубоко вздыхает от тяжелого и радостного сознания, что он становится мужчиной. Станда с силой высморкался, вытер последние слезы и вернулся к Пепеку.

— *Послушай*, — заговорил невнятно *Пепек*, — раз ты теперь будешь в конторе... ты им, может, скажешь, пусть они сделают Суханека десятником. Дед будет на седьмом небе... все равно через год — другой он выйдет на пенсию. Что тебе стоит *упомянуть*, — промямлил *Пепек*. — Это я... ради Адама, надо же как-то почтить его память. И, кроме *того*, — хмуро добавил он, растерянно разминая в разбитых пальцах какие-то крошки, — я считаю: первая спасательная заслужила это!

Жизнь и творчество композитора Фолтына

Перевод
Н. БЕЛЯЕВОЙ



I

Окружной судья Шимек

ДРУГ ЮНОСТИ

Бэду Фольтэна (тогда он, конечно, подписывал свои школьные тетради «Бедржих Фолтын») я узнал, когда мне было лет шестнадцать. В шестом классе меня перевели в ту гимназию, где учился Фольтэн, и случай, который так часто изменяет судьбы молодых людей, посадил меня с Бэдой за одну парту — изрезанную и скрипучую.

Шестиклассника Фолтына я помню очень хорошо, как будто видел его вчера: долговязый подросток с нежной кожей и густыми курчавыми золотисто-каштановыми волосами, на которые он явно возлагал немалые надежды; глаза у него были бледно-голубые, близорукие, навыкате, нос длинный, подбородок резко скошен; он не знал, куда девать свои большие, вечно потные руки и вообще отличался той смущенной развинченностью, которая характерна для мальчиков в период созревания. Вид у него был такой, будто его оскорбили, а он отвечает на это молчаливым, вызывающим презрением. На первый взгляд он мне не очень понравился, кроме того, я сразу заметил, что в классе он одинок и сам высокомерно сторонится своих однокашников.

Я отнюдь не был блестящим учеником, но с мрачным ожесточением вел борьбу со школой, с науками, с учителями; невеликий ростом, косолапый и невзрачный, я был преисполнен боевого задора и решимости ни за что не поддаваться. Наверно, поэтому я вышел из школы весь в шрамах, но победителем. Фолтыну пришлось хуже: он страстно мечтал отличиться, но всегда отчаянно терялся; дома он зубрил до умопомрачения, но, когда его вызывал учитель, у него начинал трястись подбородок, и Фолтын не мог вымолвить ни слова, только в волнении глотал слюну, так что кадык на его длинной, слабой шее судорожно дергался. «Садитесь, Фолтын, — цедил учитель

почти с отвращением. — Было бы лучше, если бы вы вместо своей шевелюры занялись математикой!» Уничтоженный Фолтен садился на место, глотал слюну, и его водянистые голубые глаза наполнялись слезами; при этом губы его непрестанно шевелились, словно лишь теперь он формулировал правильный ответ. Пытаясь скрыть готовые брызнуть слезы, он оскорбленно хмурился и напускал на себя надменность, давая понять, что ему в высшей степени безразличны полученный кол, учитель, математика и школа вообще. Наши наставники терпеть его не могли и мучили, как умели. Я жалел его, когда он вот так стоял около меня с трясущимся подбородком и прыгающим кадыком, и даже пробовал ему подсказывать. Сначала он, бог знает отчего, ужасно оскорбился. «Ты это брось, слышишь? — зашептал он яростно, когда латинист поставил ему тройку с минусом. Глаза Бэды были полны слез. — Мне ни от кого ничего не нужно!» Однако вскоре Бедржих привык, что я ему помогаю; он учился более добросовестно, чем я, был талантлив, честолюбив и чрезвычайно восприимчив, но у него, пожалуй, начисто отсутствовала уверенность в своих силах; я же ничего толком не знал, но отличался напористостью. В скором времени Фолтын стал вполне на меня полагаться и принимал мои услуги как должное; он смертельно оскорблялся, если я, случалось, не делал за него уроки, — при этом вид у него был такой высокомерный и несчастный, что я едва ли не извинялся за свой проступок. И продолжал ему служить.

Насколько мне известно, родом он был из бедной семьи, как и я, отец его служил в канцелярии или где-то в этом роде. Жил он у своей тетушки, старой девы из бывшей местной «знати»; на что она существовала — одному богу известно, кажется, сдавала комнату; но как можно просуществовать, сдавая квартиру бедному студенту, ума не приложу. Мне эта тетушка казалась молью, которая питается старыми шерстяными пелеринками и салопами. Своего Бедржичка — так в доме звали племянника — старуха обожала и баловала, насколько возможно при такой бедности. Бедржичка преследуют, жаловалась она, потому что он куда талантливей всех, но когда-нибудь он покажет, какой он способный, и всем будет стыдно! «А мне неинтересно, тетушка, знать, что обо мне

думают, — отвечал Фрицек[1] с болезненной заносчивостью, встряхивая своей холеной гривой. — Ежели бы не папенька, я бы давно сбежал из этой дурацкой школы... Я знаю, что буду делать, все у нас просто обомлеют!»

Готовить уроки я приходил к Фрицеку. Жили они в крохотной комнатенке с кухонькой; половину комнаты занимало приятно дребезжавшее пианино — память о том времени, когда тетушка, вся в локонах (это было видно на старой фотографии), разучивала «Молитву девы» и «Вечерние колокольчики». Постепенно, как обычно у мальчишек в переходном возрасте, мы сблизились, составив удивительную парочку: он — длинный, с нежной девичьей кожей, с голубыми глазами, с пышной золотой шевелюрой, и я — коротышка, чернявый, с лохмами, торчащими в разные стороны, словом, в школе весьма потешались над нашим союзом. Однажды мы сидели у них дома, болтая о разных разностях. Смеркалось; в печке догорал огонь, и у меня прямо щемило сердце от избытка внезапно нахлынувшего безымянного чувства; Фрицек молча приглаживал волосы бледными длинными пальцами. «Подожди минутку», — шепнул он вдруг таинственно и исчез в кухне. Немного погодя он вернулся, одетый в какой-то фиолетовый шелковый сюртучок, — выступал Фрицек, будто лунатик, как бы взлетая. Молча поднял он крышку пианино, опустился на стул и начал импровизировать. Я знал, что он учится играть, но импровизация — это было для меня ново. Фрицек играл, переходя от мелодии к мелодии, откинув голову и закрыв глаза, потом вдруг наклонился к самой клавиатуре, будто переломившись, и теперь уже еле слышно касался клавиш. Мелодия крепла, и вместе с ней выпрямлялся и он, словно и его поднимало и влекло это forte; потом он вдруг ликующе, с силой ударил по клавишам и откинулся назад... И не изменил этой позы, даже когда музыка отзвучала, так и сидел — с бледными глазами, будто вперенными в иной мир, тяжело, прерывисто дыша.

Я не разбираюсь в музыке. Шарманка может пленить меня так же, как музыка сфер, но что из них лучше, об этом я судить не возьмусь. Музыкальный экстаз Фолтына меня почти испугал, мне было чего-то немножко стыдно,

[1] Имя Бедржих соответствует немецкому Фридрих; уменьшительные варианты: Бэда, Бедржичек и, соответственно, Фриц, Фрицек.

и в то же время — это захватывало. «Замечательно», — признался я. Фрицек очнулся, будто ото сна, провел рукой по лбу и встал.

— Прости, — извинился он, — когда это на меня находит, я просто не могу... Это сильнее меня.

— А зачем ты надел лиловый пиджак? — буркнул я.

Фрицек пожал плечами.

— Я всегда в нем играю. Иначе я не могу творить, понимаешь?

Я ничего не понимал, но все-таки не был уверен, что это не связано каким-то образом с музыкой. Фолтын подошел ко мне и протянул руку.

— Послушай, Шимек, никому ни слова. Это будет наша тайна.

— Что — «это»? — переспросил я недоуменно.

— Что я артист, — зашептал Фолтын. — Ты же знаешь, мальчишки станут смеяться, а учителя обозлятся еще больше. Они и без того видят, что мне наплевать на учение... Ты не представляешь, как это для меня унизительно долбить их слова и примеры! Я сижу в классе, а сам слышу музыку, музыку...

— И давно ты понял, что ты артист?

— Давно. Два года назад я попал на концерт... Это было потрясающе! Пианист играл так, что волосы его падали на клавиши... И тогда я понял. Постой, — шепнул он таинственно, — потрогай вот здесь, на висках! Чувствуешь?

— Что? — удивился я. Я нащупал только его волосы — густые и курчавые, как шерсть пуделя.

— У меня выпуклые виски. Это означает выдающийся музыкальный талант. Это общеизвестно, — добавил он небрежно. — Так же как и раствор пальцев. Я запросто могу взять десять клавиш. Ты не думай, я хочу быть уверен, что могу сказать новое слово в искусстве. И я уверен, Шимек, я это знаю наверняка...

Я помню все, будто это было сегодня.

В тетушкиной комнате стало темно, лишь по временам темнота озарялась вспышками, когда тлеющий уголек проваливался через решетку. Мы сидели, держась за руки, двое бедных потрясенных мальчишек; его рука была противно холодная и влажная, но в ту минуту я крепко сжимал ее, исполненный любви и восторга. «Фрицек, — шептал я. — Фрицек...»

— Называй меня Бэда, — мягко поправил меня Фолтын, — только не в школе, а между нами, хорошо? Это мое артистическое имя: Бэда Фольтэн. Этого никто не должен знать. Бэда Фольтэн, — повторил он с наслаждением. — А какой псевдоним взял бы себе ты?

— Шимон, — отвечал я без колебания. — Бэда, а стихи ты не пишешь?

— Стихи? — протянул он неуверенно. — А почему... Ты пишешь?

— Пишу. — Да, так я выдал то, что уже довольно долго тяжким грузом лежало у меня на сердце. Не думай, Фрицек, будто лишь у тебя может быть великая тайна. — Пока всего несколько тетрадок, — добавил я скромно.

Фрицек обнял меня за плечи.

— Значит, ты поэт! А я и не предполагал! Шимон, ты мне покажешь?

— Когда-нибудь, — пробормотал я неуверенно. — А почему ты не пишешь?

Фрицек вперил взор в темноту.

— Я? Знаешь, так странно, но иногда я думаю стихами. Начнешь вдруг что-то бормотать про себя, а это, оказывается, стихи. Их даже записать нельзя — не успеваешь, они звучат и струятся сами собой.

Меня это немножко задело — и почему это у него все так легко получается? Я выжимал из себя стихи тяжко, прямо-таки обливаясь кровавым потом, грызя ручку и яростно черкая написанное, — видно, потому, что я был упрямый, угрюмый мальчишка-пролетарий и не было во мне, наверно, истинной божьей благодати. Прежде я никогда не придавал значения моим стихотворным опусам, но в тот момент я был просто угнетен сознанием, что со мне, может, и вовсе нет никакого таланта и занимаюсь я пустым рифмоплетством. Теперь я, конечно, понимаю, что это была болезнь роста — нынешняя молодежь излечивается от нее, занимаясь спортом и становясь циниками, ну, а во времена моей юности спорт не был столь популярен и таинство нашего превращения совершалось скорее в области духа и морали; почти полкласса у нас тайно сочиняли стихи. Вскоре я, так же как и другие, оставил это дело; позднее, правда, я печатал кое-что, но об этом никто уже не помнит, да и сам я забыл. Легко себе представить, какими нескладными и незрелыми были стихи шестиклассника.

— Послушай вот, например, такие стихи, — отозвался из темноты Фрицек. — «Ты нагая стояла в серебряном хоре берез...»

Даже в темноте я покраснел.

— Ты... видел?..

— Видел.

— Где?

— Этого я тебе не скажу. Ее звали... Мануэла. — Он провел рукой по волосам. — Ты понятия не имеешь, Шимон, сколько я уже пережил. Художник должен ужасно много пережить. Я знал стольких женщин...

— Здесь? — выпалил я недоверчиво. Мне это было странно — ведь я знал, как робок Фрицек в общении с людьми.

— Нет, у нас дома. У нас графский замок. Ты знаешь, мой отец — управляющий графа. Однажды вечером графиня услышала, как я прелюдирую на рояле... И с тех пор меня стали приглашать в замок. А эти березы — в парке, понимаешь?.. У меня есть свой ключ от калитки... Здесь что! Здесь я и говорить ни с кем не стану!.. Это не наша среда! Там, в замке, есть клавесин, которому двести лет, и я на нем играю; в красной гостиной зажигают свечки в серебряных подсвечниках... Графиня — замечательная музыкантша; обхватит, бывало, руками мою голову... — Фрицек в упоении застонал.

— Она красивая? — Вот так, в темноте и на расстоянии, мне все это казалось возможным.

— Да, такая зрелая красота, — сказал Фолтын тоном знатока. — Видишь ли, я... учу ее дочку. Она воспитывалась в испанском монастыре...

— Ее зовут Мануэла?

— ...Нет. Ее зовут Исабель Мария Долорес. Но она еще дитя, ей шестнадцать, — добавил он с мужской снисходительностью. — Правда, кажется, она в меня влюблена, но знаешь, я . . . — Он пожал плечами. — Граф мне так доверяет. В общем, все это очень сложно. Я только однажды поцеловал ее, ты не можешь себе представить, какой это огонь... А что! Артист ведь не связан никакими условностями, не так ли? У артиста неограниченные права на жизнь; ведь он творит лишь на основе того, что сам пережил... Это грандиозно — быть артистом, а? Шимон, обещай, что никому не скажешь... о графине, и вообще. Дай честное слово.

— Честное слово!

Его рука, еще более влажная и холодная, чем обычно, дрожала, выдавая возбуждение.

— И если хочешь знать... если хочешь знать, графиня уже подарила мне свою любовь. Ты поэт, Шимон, ты поймешь... Ты тоже плюешь на предрассудки, да? Если бы ты видел, как прекрасна Исабель! Ты не знаешь моей второй жизни, Шимон, ты меня знаешь только по школе, но, сказать по правде, я... я живу, как артист, понимаешь? Безумно... безудержно... каждым нервом. — При этом он судорожно сжимал и разжимал свои большие мальчишечьи руки, как будто что-то ими захватывая. Я был в смятении; мне хотелось верить всему, что есть романтического в мире, но мучительное ощущение чего-то неестественного и нереального не покидало меня; мне было очень стыдно за то, что мне явно недостает фантазии и дружеского доверия.

— Рассказывай дальше, — буркнул я мрачно.

— Знаешь, — заикаясь, словно его лихорадило, проговорил Фрицек, — вдохновение приходит ко мне чаще всего после того, как я переживу нечто великое. Великую любовь или великий грех. Это тоже часть искусства — тебе ведь это знакомо, правда? Когда-нибудь ты расскажешь... что ты пережил... как поэт. Но музыка — это больше, чем поэзия, музыка — это... это нечто неуловимое в нас, понимаешь? Знаешь, Шимон, я — дионисийская натура. Я... погоди, — произнес он вдруг совсем другим голосом, — тетка идет.

Старая дева открыла дверь и вошла с зажженной свечой.

— Мальчики, что вы сидите в темноте?

— Мы просто повторяем историю, — промямлил Фрицек, близоруко моргая на свету. Своей длинной белой шеей и резко скошенным подбородком он вдруг напомнил мне обиженную гусыню.

* * *

Результатом была дружба не на жизнь, а на смерть. Первая дружба — это нечто почти столь же великое и прекрасное, как первая любовь. Роли наши были четко разграничены: Фолтын — дионисийская натура, преисполненная порывов и страстей, душа мятежная, оргиасти-

ческая и очарованная; он отрастил себе гриву, как папуас, и ходил со шляпой в руке — ветер раздувал его божественную шевелюру. Для меня, к моему величайшему удовлетворению, был выбран характер гефестовский; я был черный взъерошенный коротышка, я ковал свои стихи у горнила, являя собой силу приземленную, трезвую, грубую и скептическую; я даже старался хромать, как Гефест. Подобно богам, мы бродили по нашему городишку и его окрестностям, безмерно презирая всяких феаков и беотийцев; встречали на вечернем бульваре робких нимф и страстных менад, а иногда тихонько пробирались к местному заведению сомнительной репутации, чтобы с бьющимся сердцем хоть в замочную скважину заглянуть в красное сияние Венериной пещеры. Что значил в сравнении с этим античным упоением какой-то кол по греческому или латыни! В школе у доски Дионис отчаян-
-- плавал — кадык его прыгал, и подбородок трясся, а мрачный Гефест лихорадочно вылавливал под партой крупицы сведений из учебников и шпаргалок. Под конец Дионис беззвучно проваливался на каких-нибудь неправильных глаголах и садился со слезами на глазах, судорожно пытаясь сохранить достоинство, а Гефест под партой крепко и верно пожимал его потную руку. Ведь и богам порой наносит удары завистница-судьба. A misera plebs [1] шестого класса злорадно паразитировал на наших битвах с гарпиями-учителями; впрочем, чего иного ждать богам от малодушных мирмидонов? Но однажды Дионис геройски восстал против тупого мира, который не понимал и мучил его; это случилось, когда около Бэды остановился наш плешивый словесник и укоризненно произнес: «Фолтын, Фолтын, ну когда вы наконец подстрижетесь, чтобы проветрилось то, что находится у вас в голове вместо мозгов?» Фрицек покраснел, вскочил и, сверкая глазами, стукнул кулаком по парте. «Господин у ч и т е л ь, — крикнул он, и в голосе его послышались истерические н о т к и, — мы с вами в школе, а не у парикмахера. До моих волос вам нет дела, и я запрещаю вам их касаться!» За свою выходку Фрицек получил от директора замечание и на какое-то время сделался героем старших классов гимназии. Однако он отстоял свое право на артистическую гриву, а затем завел и артистический галстук-

[1] подлый плебс (*лат.*).

бабочку; учителя оставили его в покое, хотя иногда он прямо на уроках расчесывал гребнем свою обожаемую фризуру.

Некоторое время спустя мы с Фрицеком разошлись — это произошло, собственно, из-за моих стихов. Он так долго приставал ко мне, что я наконец с большой неохотой и сомнениями принес ему свои помятые и густо исписанные тетрадки; я уже тогда не любил быть на виду. Мне не хотелось спрашивать, что он думает о моих сочинениях, а сам он молчал. Только через несколько месяцев я между прочим заметил, что пора бы ему вернуть мои стихи.

Фрицек удивился.

— Какие стихи?

— Тетрадки, что я тебе дал.

— Ах, *эти*, — вспомнил Фрицек и *оскорбился*. — Я их тебе завтра принесу, если ты мне не *веришь*, — промямлил он и надулся, изображая укоризну. Мы шли молча; Фрицек только возмущенно фыркал и качал головой, как человек, глубоко раненный непониманием и черной неблагодарностью. Внезапно он остановился и протянул мне холодную руку:

— Привет, я ухожу.

— Но что я тебе сделал?

— *Ничего*, — сказал он, глотая *слезы*. — Я... я хотел переложить на музыку некоторые твои стихи, а ты... будто я хотел их украсть!

— Но ты мне об этом ничего не говорил!

— Я хотел сделать тебе сюрприз... Одна вещь у меня уже почти готова — та, что начинается: «Опять один, один под небом хмурым...»

Я сжал его вялую руку.

— Не сердись, Фрицек, ведь я не знал! Я так рад, что тебе они хоть немножко понравились. Но ты вообще ничего мне не говорил...

— Я так полон ими, у меня они все время звучат в голове, а ты... Художник так бы не поступил, — выкрикнул он со слезами в *голосе*. — Такое низкое недоверие! Не бойся, я верну твои тетрадки. Я ни в ком не нуждаюсь! Я и один проживу! — Ни с того ни с сего он вдруг круто повернулся и пошел в противоположном направлении. Я догнал его и добрый час уговаривал, что я ничего пло-

хого не имел в виду и мои тетрадки он может держать сколько захочет...

— Ты не должен был так говорить, Шимек, — твердил он уязвленно, — ты ведь знаешь, я — богема... Мне ли помнить, кому что возвращать! Вот всегда так бывает, когда поведешься с людьми... с людьми не своего круга.

Короче, — что поделаешь! — дружба наша разладилась. Фрицек со мной почти не разговаривал... Шли полугодовые экзамены, Фолтын хватал оплошные колы; тщетно я подсказывал ему, он мрачно отвергал мою помощь и садился, тяжело глотая слюну, с трагически укоризненным выражением на лице; глаза его наполнялись слезами, а нос являл живой укор — на нем прямо было написано, что всему виною я. В середине седьмого класса Фрицек провалился по трем предметам; при виде своего табеля он побледнел, подбородок его затрясся, но, когда я хотел утешить его, сказав, чтобы он не очень огорчался, он отвернулся. Это ты виноват, словно говорила его спина, содрогавшаяся от подавляемых рыданий. Мне было нестерпимо жаль его... Да и самого себя тоже.

Вскоре Фрицек заключил новую великую дружбу. Его избранником на этот раз был корифей нашего класса — первый ученик и любимчик всех наставников: нежный, бледный и хрупкий мальчик, хорошенький, словно девочка, аккуратный и вежливый... В классе его считали тихоней и относились к нему с легким пренебрежением и подозрительностью по причине его школьных совершенств. Как сблизились эти двое и что они нашли друг в друге, не знаю; я ревновал отчаянно и яростно, вероятно, потому, что в глубине души сам мечтал завоевать расположение нашего классного Адониса. Я чувствовал себя бесконечно несчастным и покинутым, видя их вместе. Как-то я умышленно грубо прокричал вслед Фрицеку: «Может, ты все-таки вернешь мои тетрадки?» Фрицек не ответил, лишь пожатием плеч выразил мне свое презрение. На следующий день во время урока он вдруг смертельно побледнел и встал, пошатываясь, как будто ему стало дурно.

— Что с вами, Фолтын? — спросил учитель.

— Простите, господин учитель, — выдохнул Фрицек, — я тут не могу сидеть. От Шимека воняет.

Я покраснел, будто он ударил меня по щеке.

— Это неправда, — защищался я, не помня себя от стыда и обиды. — Пусть другие подтвердят...

— Воняет грязью, — твердо повторил Фрицек.

Учитель нахмурился.

— Так пересядьте куда-нибудь и не мешайте вести урок.

Фолтын сложил свои учебники и с тихой торжествующей усмешкой, на цыпочках, будто устремляясь куда-то ввысь, проследовал к парте своего кумира. С тех пор я с ним не разговаривал. Тетради он мне так и не вернул.

* * *

Не знаю, возможно, мои воспоминания о Бедржихе Фолтыне окрашены этим последним впечатлением; этот случай глубоко задел и унизил меня. Сегодня, будучи судьей, я снисходительнее сужу о человеческих поступках и, главное, не воспринимаю трагически ложь и измены юности; я привык рассматривать юность почти как состояние минимальной уголовной ответственности. Тогда я был, конечно, потрясен невыразимо; я хотел броситься в реку или бежать из города. Сегодня я бы сказал, что Фолтын, вероятно, хотел быть как можно ближе к нашему первому ученику, чтобы тот помогал ему основательнее и надежнее, чем такая посредственность, как я. И правда, учиться он с тех пор стал лучше. Но, возможно, было тут и нечто большее, общие страсти или дружба-любовь, как бывает в этом возрасте. Я припоминаю, что обоих мальчиков как-то вызывали к директору ad audiendum verbum [1], велось негласное расследование, но о чем шла речь, мы в классе так и не узнали.

Не могу утверждать, что этот юношеский опыт помог мне понять характер Бедржиха Фолтына; жизнь и профессия научили меня известной осторожности в суждениях о человеческой душе. Сегодня я бы так суммировал свое представление о нем: чрезмерно впечатлительный, самолюбивый и несколько избалованный мальчик с художественными наклонностями и, возможно, подлинным музыкальным талантом — не мне об этом судить; себялюбие, развившееся до мании величия, болезненное ощущение своей социальной и физической неполноценности,

---

[1] для словесного внушения (*лат.*).

неверие в себя; заметная склонность ко лжи и хвастовству, впрочем, нередкая в определенном возрасте. При нормальных условиях он стал бы человеком не слишком деятельным, но и незаурядным. Явная склонность к гедонизму. Тип астенический и сентиментальный. Это все, что я могу сказать о нем с уверенностью.

II

Пани Итка Гудцова

АРИЭЛЬ

Я познакомилась с паном Бэдой Фолтыном, когда он учился в седьмом классе гимназии. Нас, девочек, он интересовал уже давно — в провинции без этого не обходится, — но мы восторгались им издали; между собой мы называли его «красавец семиклассник», о нем говорили, что девиц он презирает и т. и. Это, разумеется, лишь разжигало наше любопытство. У него были прекрасные волнистые волосы, огромные голубые глаза и высокая, но хрупкая фигура; он ходил, погруженный в свои думы, устремив глаза куда-то вдаль; шляпу он держал в руке — и его светлая шевелюра развевалась на ветру. Нам, лицеисткам, он нравился безумно, — только так мы и представляли себе поэтов. В том нежном возрасте и в те времена это кое-что значило; теперь я по своей дочери вижу, что у нынешних девиц совсем иные, менее сумбурные и простодушные представления о жизни. Возможно, это и есть прогресс, но, пожалуй, я этого не понимаю.

Мы познакомились на уроке танцев; я оказалась первой, кого пан Фолтын пригласил танцевать. По сей день вижу, как он поклонился мне, неловкий и смущенный, и пробормотал свое имя. По-моему, я тоже была крайне смущена, но, надеюсь, это не было так заметно. Кстати сказать, танцевал он плохо; сделав несколько шагов, нахмурился и буркнул, что ненавидит танцы и не выносит, когда барабанят по роялю, и вдруг спросил: «Мадемуазель, а вы любите музыку?» В ту пору я терзала «Фортепьянную школу» Фибиха-Малата и ненавидела музыку всеми фибрами души; однако я не колеблясь заявила, что музыку обожаю больше всего на свете. Теперь я удивляюсь, отчего это молодежь так любит присочинить?..

«О, тогда мы отлично поймем друг друга!» — Пан Фолтын просиял, восхищенный, и наступил мне на ногу. В ту минуту он мне ужасно не нравился, может быть, потому, что я солгала: нос его показался мне слишком длинен, подбородок слишком мал, руки слишком велики, — словом, все в нем меня отталкивало. Такой резкой неприязнью началась моя первая любовь; правда, до него я по меньшей мере два раза была до смерти влюблена, но это не в счет. И впрямь, первая любовь — это не просто влюбленность, а сознание того, что у тебя есть свой мальчик.

Он провожал меня после уроков танцев, а иногда по вечерам мы ходили с ним гулять; прогулки эти были особенно увлекательны, потому что дома приходилось врать, что я иду пройтись с Маней или Элишкой. Теперь все по-другому, и моя дочь на мой вопрос спокойно отвечает, что идет со своим знакомым.

Когда он, такой чинный, чуть подрыгивая на ходу, шел со мной рядом и говорил рокочущим басом, я просто млела от счастья. Перед подружками я заносилась, вот, дескать, завела «красавца семиклассника». Правда, за Маней ухаживал восьмиклассник, но у того не было таких длинных волос, да и вообще он был совсем неинтересный; Элишка как-то появилась даже с кадетом в полной форме, но он оказался ее двоюродным братом. Я очень гордилась тем, что Бэда артист; он признался мне, что он поэт и ведет тяжкую душевную борьбу, решая, чему посвятить всего себя — поэзии или музыке.

— Вы себе не представляете, Итка, — говорил он, резким движением головы откидывая свою шевелюру, — какой это для меня тяжелый выбор! Что предпочли бы вы?

Мне было все едино. Честно говоря, для меня и поэзия и музыка были только предметами, которым мы, девочки, обязаны учиться, чтобы стать образованными, но, может, именно поэтому и то и другое мне ужасно импонировало.

— Послушайте, Бэда, — возразила я с серьезностью, на которую человек способен только в шестнадцать лет, — а почему вам непременно надо от чего-то отказываться? Например... например, вы могли бы сами сочинять оперы и либретто к ним... как Рихард Вагнер. — (Я немало гордилась тогда, что мне это известно.) Бэда зарделся от ра-

дости и впервые в жизни взял меня под руку, — возможно, он отважился на это еще и потому, что мы были в дальнем конце аллеи (прежде мы никогда не заходили так далеко) и чувствовали себя почти в пустыне.

— Итка, — бормотал он, тронутый и восхищенный, — ни одна женщина на свете не понимала меня так глубоко, как вы.

А потом как-то само собой получилось, что он взял меня за локти и попытался поцеловать, но он очень волновался, и поцелуй пришелся куда-то в нос. Но это пустяки! Я была просто вне себя от гордости — и потому, что понимаю такую душу, как Бэда, и потому, что меня поцеловали впервые в жизни. Что это было — внезапное сознание взрослости или торжество, — затрудняюсь определить. Потом я вспомнила, как он сказал, что ни одна женщина не понимала его «так глубоко», и начала разыгрывать сцену ревности, которой, собственно говоря, не испытывала. Я вырвала у него свою руку и упрямо пошла по другой стороне аллеи в молчании, которое должно было выглядеть загадочно.

Бэда был ошеломлен и просто убит горем.

— Итка, — спрашивал он дрожащим голосом, — что с вами?

Я неумолимо смотрела прямо перед собой, полагая, что в сумраке выгляжу трагически бледной.

— Бэда, — произнесла я тихо, — значит, вас уже любила другая женщина?

Вымолвив это, я чуть не провалилась сквозь землю от стыда, щеки мои запылали. Боже, и я могла сболтнуть такое! Ведь это звучало как признание в любви, а мне... так хотелось... ни в чем не признаваться, пока он сам не станет... умолять меня об этом. Впервые в жизни я назвала себя женщиной, и было в этом что-то странное и упоительное.

Бэда, кажется, не заметил моего замешательства, он опустил голову и провел рукой по волосам.

— Да, — сказал он глухо, — любила.

— Как ее звали?

— Шимонка, — пробормотал он, поколебавшись.

«Разве есть такое имя — Шимонка?» — думала я про себя, но имя показалось мне красивым, красивее, чем Итка.

— Вы любили ее... очень?

— Назовите это... страстью, — отвечал он, махнув рукой. — Итка, вы еще дитя... вам этого не понять...

— Я не дитя, — выпалила я, оскорбившись, и попыталась изобразить ревность к чему-то, что именуется «страсть». Думаю, что мне это не удалось, хотя я изо всех сил морщила лоб.

— Вы можете простить мне это? — смиренно пробормотал Бэда.

Я молча сжала его руку. Глупый, ведь это же бесподобно, что ты уже такой взрослый! Если бы знали наши девочки — они были бы потрясены! Итка, правда? А какая была эта Шимонка? Ей было двадцать лет, сказала бы я им, и она была прекрасна, как Мадонна Торричелли. То есть нет, Боттичелли; Торричелли — это какие-то трубки. Загадочная такая, бледная красота. В те времена была в моде всякая загадочность, болезненность и тому подобные вещи; нынешние девочки не такие — крепенькие и прозаические, как репка в огороде, — и меня как мать это вполне устраивает.

С того памятного вечера началась наша великая и безграничная любовь. Мы гуляли вместе по аллее вдоль реки, и наши души, как говорится, сливались, особенно после того, как наступали сумерки. А потом мне приходилось бежать сломя голову, чтобы вовремя поспеть домой, и врать, где я так долго бродила, — это было захватывающе! Я была влюблена в Бэду по уши, но любопытно, что мне было неприятно, когда он пытался взять меня за руку или под руку, а то и поцеловать украдкой. Мне казалось, что у него холодные и слишком большие руки, и, когда у него румянцем полыхали щеки и от волнения трясся подбородок, я чувствовала себя мучительно и глупо. Боже ты мой, ужасалась я, подавляя хихиканье; или в этом было сочувствие к нему, мучительное и нервозное? Не знаю толком. Боже ты мой, сейчас он снова меня поцелует — и что ему в этом? Лишь намного позднее я поняла, что́ людям в этом, но тогда я всячески старалась отвернуться. Все кончалось тем, что Бэда неловко клевал меня холодным носом куда-то в ухо, и мне хотелось поскорее вытереть лицо, когда это, слава богу, было позади.

— Вы так холодны, — мямлил Бэда укоризненно, и я, бывало, ужасно терзалась оттого, что я такая холодная (Шимонка, конечно, была не такая), но в то же время

видела в этом необыкновенно романтическую черту, которую и стремилась выставить как можно выгоднее, особенно перед девочками. Еще долго потом я верила, что я натура холодная и неприступная. Бог весть, почему в юности мы столько носимся со своими личными качествами — особенно с теми, которые сами себе приписываем?

И все же это была великая любовь. Я была счастлива и горда, что у меня уже есть свой мальчик, что он на целую голову выше меня, что он артист и поэт, что у него такие роскошные волосы и он разговаривает со мной так серьезно и так красиво. Я чувствовала себя очень счастливой, когда шла рядом с ним, а он говорил о музыке, о своих планах и о самом себе. Он любил делиться мыслями о том, что он называл уделом артиста; он, наверное, ужасно страдал от своего окружения, которое угнетало его, и от школьных занятий, которые, как он выражался, душили его художественную свободу и творчество. В этом смысле я думала, что полностью разделяю его взгляды, по крайней мере в том, что касалось школы и непонимания со стороны окружающих; мне тоже куда приятнее было бы бегать вместе с ним по цветущим лугам, свободной, как птица, и не бояться маменьки и экзаменов.

— Вы меня так понимаете, Итка! — восхищенно вздыхал Бэда.

О себе я не могла рассказать ему ничего особенного, поэтому, затаив дыхание, слушала, как он говорит о своей душевной борьбе и творческих муках.

— Вы меня так вдохновляете! — признавался он иногда, и я была несказанно счастлива. Порой Бэда туманными намеками давал понять, что до того, как он встретил меня, он вел ужасную, распутную жизнь.

— Понимаете, Итка, я необычайно страстная натура, — бормотал он, сжимая кулаки. — Все артисты чудовищно чутки и чувственны.

Я думала тогда, что страстность — это когда у человека вдруг начинают краснеть уши и дрожат руки, в остальном Бэда со своими овечьими кудряшками и неумелыми руками напоминал мне скорее херувима. Не знаю, откуда это в девчонках берется, но только в моей любви к нему было что-то материнское — какая-то потребность успокаивать и ободрять его и восхищаться его

гениальностью, чтобы доставить ему радость. Перед подружками я, конечно, хвасталась, что Бэда страстный, что ради меня он бросил распутную жизнь и от этого безумно страдает, — чего только не говорят между собой девчонки. И читала им стихи, которые он посвятил мне. Одно стихотворение совсем недавно попалось мне в руки. Оно начиналось словами: «Опять один, один под небом хмурым...» Мой муж нашел, что в этом что-то есть, а дочка рассмеялась, — вот, мол, мировая скорбь курам на смех. Кажется, я сожгла эти стихи — мне было стыдно, что такая критика причинила мне боль.

Больше всего Бэду мучило, что он не может мне сыграть на рояле — что-нибудь из Шопена, которого он обожал (я также, как я восторженно его уверяла), или свое собственное сочинение, о котором он говорил много, но несколько туманно, называлось оно «Ариэль». Рассказывая об этой пьесе, он только что не рвал на себе волосы; не зная его музыки, я не знаю и его самого, говорил он, а как бы его вдохновило, если бы он мог играть в моем присутствии! Что касается меня, то я серьезной музыки почти боялась, но я представляла себе, как Бэда встряхивает своей золотой шевелюрой, и этого мне было достаточно. Мы ужасно страдали из-за неразрешимости проблемы, пока однажды мне не стало так его жалко, что я храбро сказала:

— Бэда, я к вам приду, ведь не убьют же меня наши...

Он покраснел от смущения и, заикаясь, сказал, что это никак невозможно: он живет с тетушкой — что подумает тетушка! Но потом он снова и снова возвращался к этой теме — вот если б, хоть раз в жизни, доказать мне, что он артист...

Как-то наши уехали на несколько дней, и у меня созрел план.

— Бэда, — сказала я, — завтра вечером приходите ко мне играть своего «Ариэля», наши уехали.

Я ждала, что он обрадуется бог знает как — но он покраснел и, заикаясь, стал говорить, что это все-таки невозможно; что скажут люди... и вообще... До чего ж, говорю я себе, нынче все проще — приходишь домой, а со стула поднимается некто долговязый, только что люстру головой не сбивает. «Мамуля, это Гонза», — просто гово-

рит дочь. И я подаю юноше руку и не знаю, как к нему обращаться. За двадцать лет многое переменилось.

— Все равно, — говорю, — я хочу слышать вашего «Ариэля».

Еще надо было устроиться со служанкой, — ей я сказала, что после обеда придет один господин, музыкант, проверить, не расстроилось ли пианино. Но нашей Анке это было, видно, абсолютно безразлично. После обеда мне стало казаться, что я не должна была так поступать. В довершение всего я увидела, что Анка надевает воскресное платье.

— Анка, вы куда?

— Гулять, — смеется Анка. — Раз господа уехали, то и у меня выходной, правда?

Я сникла, но делать было нечего. Впервые оставшись дома одна, я чувствовала себя угнетенной и в то же время взбудораженной. Вот-вот должен был прийти Бэда. Я сердилась на себя за то, что у меня так бьется сердце, и ужасалась мертвой тишины пустой квартиры. В этой тишине робко, почти испуганно звякнул звонок. Я пошла открывать. На пороге, словно воришка, стоял Бэда.

— Ах, это вы? — выдавила я из себя. Это приветствие должно было прозвучать весьма непринужденно, но тяжелый ком стоял у меня в горле, и с ужасом и досадой я сознавала, что краснею как мак.

— Это я, — прошептал Бэда, бледный и трепещущий, будто вот-вот упадет в обморок, и на цыпочках, как-то *уж очень на цыпочках,* проник в прихожую. Он так волновался, что я вдруг разом собрала все силы и весьма сносно начала разыгрывать роль маленькой хозяйки дома. «Прошу вас, пан Фолтын, проходите», и прочие формальности, не знаю, откуда что взялось. Наверное, у женщин это врожденное. — Я так рада послушать вашего «Ариэля».

— Итка, — зашептал Бэда, — вы... совсем одна дома?

— Разумеется, — отвечала я с апломбом, как взрослая. — А теперь играйте, Бэда, — ведь вы для этого здесь.

В конце концов я подвела его к табурету у рояля. Он обеими руками провел по своей шевелюре и легко тронул пальцами клавиши. И все.

— Ариэль, — заговорил он неуверенно, — да будет вам известно, это я сам. Это очищенная, искупленная внут-

ренняя жизнь. Вы знаете, с той поры, как я вас встретил... я чувствую себя настолько чище... — Он взял несколько аккордов. — Это начало. Не сердитесь, Итка, но у меня еще не вполне готово. Только аллегро и еще — рондо.

— Ну хотя бы аллегро.

Он ударил по клавишам, пробежав от самых басов вверх и несколько раз постучал по самой верхней ноте.

— Не звучит, — сказал он мрачно, — а она мне так необходима! Знаете, для того мотива, где Ариэль победно смеется... Послушайте! Я сыграю вам ноктюрн Шопена.

— А «Ариэля» — нет?

— Сегодня нет, Итка. Сегодня... я не могу. — Он в отчаянии запустил обе руки в свои волосы. Вы слишком близко от меня. Я думаю только о вас. Ах, зачем вы меня мучите?

Я увидела, как у него краснеет шея. Ах ты боже мой, сейчас он опять захочет меня поцеловать.

— Бэда, — закричала я, — да играйте же! Играйте что хотите!

Но он уже поднимался, трясясь, как лист.

— Итка, — шептал он, протягивая ко мне свои холодные влажные руки, — Итка, ведь вы любите меня!

Подбородок его неудержимо прыгал, и на щеках выступили красные пятна. Видит бог, я была в него влюблена, но в ту минуту он показался мне таким противным и жалким; сделай он еще шаг — и я наверняка ударила бы его кулаком по лицу.

Возможно, он прочел это по моему выражению, я сама чувствовала что-то твердое и напряженное около губ. Он обомлел и вспыхнул — и мне вдруг стало жаль его; напряжение ослабело, я готова была на что угодно, только бы он не обижался так ужасно. Но Бэда несколько раз с усилием глотнул слюну, надулся и с ненавистью уставился на меня.

— Я не знал, что вы такая мещанка, — процедил он и отвернулся к окну. Сердце мое сжалось. Не знаю, смогу ли я правильно передать свое состояние; я была страшно сердита на себя, на него, к горлу подступали горькие слезы. Только не плакать, думала я, только не плакать!

— Уходите, Бэда, — выдавила я из себя. — Уходите! Уходите!

Он повернулся ко мне; глаза его были полны слез, подбородок дрожал, он без конца судорожно глотал что-то. Я ужаснулась, представив — а если бы он меня поцеловал?!

— Уходите же, — крикнула я со слезами; и когда за ним аккуратно, как-то *чересчур* аккуратно защелкнулся замок, я разразилась громким плачем. От унижения, злости, а может быть, и от жалости.

Потом я хотела написать ему длинное письмо — не помню уж о чем; возможно, я хотела упрекнуть его за его поведение, а потом все простить, словом, прибегнуть к нехитрой женской дипломатии. Просто удивительно, как быстро взрослеют девчонки. Но прежде чем я отправила свое послание, мы встретились с ним на улице. Я шла с Маней и нарочно громко рассмеялась над какой-то ерундой, чтобы он не думал, будто я страдаю, но сердце мое стучало где-то высоко в горле — от страха и от любви. Бэда, прошел мимо своей слегка подпрыгивающей походкой, высокомерный и надутый, и даже не взглянул на меня.

Маня остановилась, вытаращив на меня глаза.

— Итка, вы уже не разговариваете?

Впервые в жизни я не сумела выдумать ничего, что поддержало бы мое реноме в глазах подружки.

— Он противный, — сказала я жестко. — Он мне отвратителен.

Так я сказала, и это была правда. Маня потом рассказывала девочкам, что я при этом побледнела, как смерть. Не знаю, только на этом все кончилось. Еще один раз я плакала, когда мне передали, что он презрительно сказал Эле: «Итка? Такая мещанка!»

* * *

Теперь мне кажется, что я больше рассказывала о себе, чем о папе Фолтыне. Но, наверное, иначе и нельзя, я была тогда совсем юной, а в юности всегда больше интересуешься собой; другие люди служат тебе скорее поводом осознать свою личность. Поэтому молодые люди не очень-то выбирают, с кем встречаться, — это больше дело случая и обстоятельств, чем осознанного выбора. Теперь я думаю, что и впрямь мало подходила для пана Фолтына: он был, конечно, артист, незаурядная, поэтическая на-

тура со всеми ее достоинствами и слабостями; он был впечатлительнее, глубже и тоньше меня, обыкновенной, поверхностной девочки. Пожалуй, он был прав, и я мещанка; сейчас я очень этим довольна и мне просто смешно вспоминать, как я тогда переживала. В юности всегда воображаешь о себе невесть что. Наверно, и то, что меня отпугивало — его, как сказала бы моя дочь, «стрррашная эрротичность», была связана с его артистической предрасположенностью к экзальтации; но как вспомню, до чего он был смешон и неловок, когда хотел поцеловать меня, то говорю себе: девочка, в этом отношении он был тогда ничуть не взрослее, ничуть не опытнее тебя. Просто он думал, будто мне импонирует, что он такой грешник и соблазнитель. Сегодня он, наверно, сочинял бы, что водит гоночную машину или состоит в подпольном политическом обществе. Двадцать лет назад больше держали курс на литературу и тому подобные вещи. Времена меняются, но юность всегда чем-то гордится и чем-то хвастается, хотя бы это «что-то» становилось противоположностью для каждого следующего поколения.

III

Д-р В. Б.

В УНИВЕРСИТЕТЕ

Боюсь, как бы мое свидетельство о Бедржихе Фолтыне не оказалось несправедливым. Дело в том, что он не понравился мне с самой первой встречи. Вернувшись после каникул на четвертый курс философского факультета, я узнал от хозяйки, что теперь у меня есть сосед, который занимает так называемую комнату с пианино; эта комната была такой же тесной клетушкой, как и моя, но каким-то чудом туда влезло еще и разбитое пианино. Фолтын зашел представиться. Это был носатый и волосатый юноша с резко скошенным слабым подбородком, длинной, как колбаса, шеей и самодовольным выражением бесцветных глаз. Он только что окончил гимназию и записался на факультет права. Однако, по его словам, больше всего он хотел бы заниматься музыкой. Не будет ли это меня беспокоить — сейчас он сочиняет симфоническую поэму «Ариэль». Смотря что, сказал я ему, я немножко смыслю

в музыке, приятель. Он с места в карьер пустился было в разговоры о музыке, явно не сознавая, какая пропасть лежит в университете между студентами первого и четвертого курса. Должно быть, я осторожно дал ему это понять — он надулся и с той поры всячески старался произвести на меня впечатление. Тем, например, что приходил домой в четыре часа утра и начинал пинать ногами мебель, чтоб доказать, какой он отчаянный кутила. Или вдруг в такое же недопустимое время начинал музицировать, будто сочинял что-то, — но все это были какие-то прелюды или дешевые вариации на чужие темы; для того, кто немножко умеет играть, это сущий пустяк — пальцы сами бегают по клавишам. Или городил всякий вздор насчет искусства — усвоил, должно быть, с дюжину громких слов, вроде интуиции, подсознания, прасущности и не знаю чего еще, забив себе этим голову. Удивительно, как легко из громких фраз сделать великие идеи! Упростите словарь некоторых людей, и им вообще нечего будет сказать. Когда я слышу или читаю о «духовной кристаллизации», «формальном перевоплощении сущности», «творческом синтезе» и тому подобных вещах — мне становится дурно. Боже ты мой, люди, думаю я, ткнуть бы вас носом в органическую химию (не говоря уж о математике), тогда бы вам не так легко писалось! Величайшее несчастье нашего столетия, на мой взгляд, состоит в том, что, с одной стороны, мозг человека почти с абсолютной точностью оперирует микронами и бесконечно малыми величинами, а с другой — свои мозги, свои чувства, свое сознание мы позволяем одурманивать самыми мутными словами. Я всегда понимал музыку — я ощущаю в ней нечто архитектонически столь же грандиозное и завершенное, как в числах, хотя порой к ней примешивается что-то отталкивающе плотское. Поэтому я прямо ненавидел юнца Фолтына с его разглагольствованием о музыке как о проявлении первобытного инстинкта жизни. Не знаю, где он подобрал теорию, что истоки всякого искусства лежат в первобытной эротической силе и что любое искусство относится к области сексуальной активности. Художник, уверял он, одержим эротической божественностью, и эту свою одержимость он может выразить и преодолеть только в творчестве, в творческих муках и наслаждениях. Тогда он не должен этого делать публично, сердился я, но Фолтын не сдавался. Вот именно,

говорил он, всякое искусство — эксгибиционизм. Художественное творчество — это божественный эгоизм: как можно полнее, ошеломительно и безоглядно выразить самого себя, свое нутро, все свое «я». А патлы вам на что, спрашивал я, тоже для самовыражения? Юнца это несколько коробило: неужели он не имеет права чем-нибудь отличаться от остальных жвачных? Нет, мы решительно не понимали друг друга. При этом Фолтын испытывал неодолимую потребность изрекать великие слова, раскрывать свою душу и взгляды; наверно, он был довольно-таки одинок, хотя, помимо всего прочего, кичился своими любовными и светскими связями.

Я не люблю, когда похваляются успехом у женщин. Мне претит так называемое донжуанство — не тем, в чем оно видит забаву, а тем, что оно еще бесстыдно хвастается этим, словно спортивным достижением. Мошенник никогда не хвалится на людях, сколько касс обокрал, а такой вот завоеватель женщин только о том и болтает. Фолтын то и дело таинственно намекал, что у него интрижка с одной дамочкой, что в него безумно влюблена некая баронесса; стоило вам увидеть, как он разговаривает на улице с девицей, и он уже давал понять, что она одарила его своей благосклонностью. «Роскошная девочка, а? — замечал он с видом знатока. — А фигура, вы себе не можете представить».

Одевался он, правда, с вызывающей элегантностью и не пропускал ни одного бала, где, как он говорил, «завязывал связи». Для меня до сих пор загадка, откуда у него брались на это деньги — он был беден, как церковная мышь, и целыми неделями почти ничего не ел — так, булки какие-то, — зато ходил разодетый, надушенный и завитой. Я полагал, что он из тех, кто живет в долг, — сам я никогда не мог себе представить, как это делается, чтоб кто-нибудь одолжил мне несколько крон. Фолтына прямо-таки снедало честолюбивое желание пробиться в общество богатых людей; дома он, разумеется, прикидывался человеком богемы, который плюет на этот зажравшийся сброд и презирает все, кроме Искусства. Както он вновь принялся расписывать мне своих баронесс и дамочек и игриво намекать на связь с одной девушкой, которая, по-моему, была слишком хороша для этого носатого позера. Так он меня этим допек, что я сказал:

— Не сочиняйте, братец Фолтын, на вас еще ни одна женщина не взглянула; ни одна не пожелала вас — вот вы и придумываете всякие свинства.

Он покраснел, и глаза его наполнились слезами; я увидел, что ранил его слишком больно, но было уже поздно. Обиделся так обиделся, что поделаешь, — по крайней мере, теперь тебе известно, что я вижу тебя насквозь.

С тех пор он тайно и смертельно ненавидел меня. Мы продолжали разговаривать, но отношения наши напоминали хождение по острию ножа; в конце концов, жить бок о бок с человеком, который прямо задыхается от ненависти к тебе, тоже утомительно. И все-таки он мне отомстил; я никогда бы не поверил, что можно оскорбить музыкой. Случилось это так. У меня была приятельница, студентка с философского, очень милая, очаровательная девушка; она изучала ботанику, а я был чем-то вроде ассистента по органической химии; мы познакомились, когда я обругал ее в нашей лаборатории за то, что она никак не могла определить какую-то глюкозу. Я любил бывать в ее обществе, она была жизнерадостна и весела, тогда как я себя считал эдаким ученым пауком. О любви и тому подобных отношениях мы и не думали — просто мне было хорошо и приятно бродить с ней после лекций по Праге; звали ее Павла. Однажды под вечер — бог знает, что это ей взбрело в голову, — она занесла мне книги, которые я ей когда-то дал почитать. Меня не было. Она позвонила; ей открыл Фолтын в своей бархатной курточке. По счастью, в тот вечер я ее все-таки встретил. Она заметила мимоходом, что принесла книги, а потом вдруг спросила — и на лбу у нее прорезалась поперечная морщинка:

— Послушайте, этот ваш сосед-музыкант, он удивительный человек, да?

Я встрепенулся.

— Павла, что случилось? Он к вам приставал?

— Да нет, — сказала она с неохотой. — Он что, в самом деле великий артист?

Мне это очень не понравилось. Ага, сказал я себе, должно быть, Фолтын решил показать себя.

— Послушайте, Павла, он ничего не плел об эротической прасущности и прочей ерунде? Не играл вам ноктюрн? Не говорил ничего о божественной одержимости и ошеломительном самовыражении?

— А что? — спросила она уклончиво.

— А то, — ответил я сквозь зубы, — что если он прикоснулся к вам, я переломаю ему кости!

Ничего не поделаешь, это был взрыв ревности.

Она остановилась, явно рассерженная.

— А вы знаете, что мне не нужен защитник? — бросила она.

Так мы поругались, потом помирились, и снова все было в порядке. Я побежал домой разбираться с Фолтыном. Он сидел у себя впотьмах и мечтательно наигрывал что-то.

— Послушайте, Фолтын, — выпалил я. — Павла не заходила?

Он не перестал играть, но я услышал, что его сонное дыхание стало громче.

— Заходила, — равнодушно сказал он, помолчав, и продолжал бренчать.

— Она ничего не говорила?

— Ничего. Ничего особенного.

И вдруг он заиграл вальс из оперетки. Словно влепил мне пощечину: это была непристойная воркующая мелодия, мерзкие эротические призывы и мление.

— Что это значит? — набросился я на него.

— Диада тра-та-та, — запел Фолтын, выбивая на пианино эту напомаженную скабрезность, словно торжественный марш. Я испугался, что в темноте придушу его, сдавив эту мягкую сладострастную шею; я нащупал выключатель и зажег свет. Фолтын заморгал слепыми глазами, но продолжал играть; он играл, играл, играл, дергаясь всем телом, кривя губы, с выражением упоения на лице, играл это захлебывающееся вальсообразное скотство. Я знал, что он обливает грязью Павлу, раздевает ее у меня на глазах, смеется надо мной: заходила, заходила, а об остальном щебечет песня. Я знал, что он лжет, что он просто хочет оскорбить меня и ранить и прямо корчится, наслаждаясь местью. Я мог бы задушить его, но ведь нельзя же дать в зубы только за то, что человек бренчит на пианино какой-то помойный вальс.

— Мерзавец! — заорал я, но, прежде чем захлопнулась дверь, Фолтын повернул ко мне свое лицо с насмешливо прищуренными глазами и легкой торжествующей усмешкой и горделиво тряхнул своей гривой, как бы говоря: так тебе и надо.

На другой день я съехал с квартиры. Павле я, конечно, ничего не сказал, но наша дружба как-то разладилась. Возможно, виною тому была ревность, — я уже не мог сам себе внушать, что ничего между нами нет, что мне просто хорошо и приятно бродить с ней после лекций. Как-то вечером мы гуляли по Петрской набережной, и вдруг во мне назойливо зазвучал этот фолтыновский вальс с его омерзительной навязчивой чувственностью. И как-то так грубо и по-идиотски получилось, что я действительно оскорбил Павлу, и расстались мы не по-хорошему. Это была чудесная, умная девушка, а я просто глупец. Наверное, в Фолтыне все-таки жил какой-то гений, если он сумел навлечь на человека проклятие своей музыкой; ведь и талант может быть чем-то вроде порока.

Спустя некоторое время я услышал, что Фолтын, еще не окончив курса, женился. И, кажется, на дочери разбогатевшего столяра, владельца пяти доходных домов. Должен сказать, что меня это не удивило.

IV

Пани Карла Фолтынова

МОЙ СУПРУГ [1]

С моим покойным супругом я встретилась впервые на балу у юристов. Тогда он был красивый, высокий, голубоглазый молодой человек с бакенбардами; кожа розовая, высокий лоб и кудрявые волосы, как у артистов. А я была пухлая и неискушенная двадцатилетняя девица, воспитанная в пансионе, этакая домашняя клуша. Если бы наши не принуждали меня появляться в обществе, я сидела бы себе дома за нескончаемым рукоделием и все бы мечтала. Тогда так воспитывали, девушка ничего не должна знать, ничем всерьез не должна заниматься — только пыль стирать с мебели, тренькать на рояле да шить себе приданое. Появляться в обществе — это означало быть под надзором маменьки, задыхаться в корсете, мучиться в слишком тесных туфлях и стыдливо отвечать кавалерам: «Ах, оставьте!» А порой и в обморок падать, чтобы все видели, до чего мы нежные и тонко устроенные.

[1] Записано со слов свидетельницы.

Я очень рада, признаюсь, что все это позади; мне пятьдесят, и я совсем расплылась — да, да, да, и оставьте ваши галантности при себе, — гораздо удобнее, когда люди говорят правду. Словом, в те времена девицу из приличного семейства воспитывали так, что она должна была влюбиться в первого, кто начнет ее добиваться; не успеет она с ним как следует познакомиться, а помолвка уже состоялась. И заметьте, тогда все-таки неудачных супружеств было намного меньше.

Пан Фолтын мне нравился. Он был такой обходительный, элегантный и носил монокль. Он сразу же начал за мной ужасно ухаживать и маменьку очаровал настолько, что она тотчас пригласила его в гости. К слову сказать, бедняжка маменька оплошала — она-то думала, что он из малостранских Фолтынов — зажиточных кондитеров, а когда выяснилось, что Бедржих просто сирота, сын чиновника, было уже поздно: я влюбилась в него по уши и сказала, что брошусь в реку, если нам воспрепятствуют. Папенька и слышать не хотел о пане Фолтыне, но маменька его как-то упросила; дескать, раз пан Фолтын юрист и почти адвокат, то он, по крайней мере, будет знать, что делать с нашими пятью домами, и все такое прочее. Папенька хотел, чтобы он хоть сдал экзамены и получил перед своей фамилией «д-р», но потом как-то решили, что это можно оставить на после свадьбы, а то я с горя стала хиреть и чахнуть, так что боялись за мое здоровье. Все произошло как-то наспех, подумать просто не было никакой возможности.

Почему я его полюбила? Этого никогда не поймешь. Мне ужасно импонировало, что он артист и сочиняет музыку, что он такой образованный, светский и почтительный, но больше всего, наверное, то, что он был такой мягкий и слабый. Я была глупая, сентиментальная гусыня, но каким-то образом поняла, что он еще слабее, что ему нужен человек, который мог бы о нем позаботиться. Это у него просто вид такой был, будто он смотрит на все свысока; люди думали, что он бог знает какой чванный и надменный, а он был робкий и застенчивый до ужаса. «Я чувствую себя у вас так уверенно, Шарлотта, — говорил он. Мне нравилось, что он называет меня «Шарлотта» — мое имя Карла казалось мне ужасно глупым, будто для прислуги. — Я чувствую себя у вас так уверенно: вы

такая спокойная и терпеливая...» Это потом его испортили приятели — хороши друзья, сударь, а еще артистами себя называли... Он, то есть пан Фолтын, был чересчур мягкий, и кто забрал его в руки, тот мог из него лепить что угодно, как из воска. Когда он ухаживал за мною, то все говорил о смерти — на меня это так действовало; я сама была не очень здоровая, а в те времена каждая молодая девица мечтала умереть — просто так, ни за что ни про что. Молодые не ценят жизни. Пан Фолтын говорил, что я белая роза, это мне страшно нравилось, и я тайком пила уксус, чтобы быть еще бледней. Пан Фолтын тогда тоже покашливал, и вечером руки у него тряслись, будто его лихорадило, — я думаю, от плохого питания. Позднее он признавался, что целыми днями не брал в рот ничего, кроме куска булки, чтобы только принести мне букетик тубероз или две-три белые розы. Он обожал такие вещи. Да, мы были детьми, держались за руки и рассуждали о близкой смерти — такое приятное чувство жалости к себе охватывает тебя при этом, так прекрасно думать, что ты слишком хорош для здешнего мира! Через это мы и сблизились.

Когда мы поженились, о смерти, конечно, больше речи не заходило. Наши обставили нам прекрасную квартиру в шесть комнат — это папенька постарался; пан Фолтын прохаживался по ней в шелковом халате и сиял. По нему было видно, что ему нравится быть богатым, и он замечательно умел держаться. Лучше даже, чем если бы он в этом богатстве родился. Он так естественно принимал свое благополучие и все эти дорогие, роскошные вещи; и деньги ему пришлись по вкусу, но как ни любил он пышность, а сразу начал следить, чтобы зря деньги не тратили и прислуга чтобы на всем экономила, и вообще. Я уж опасалась, как бы он не сделался скупердяем, но наши говорили: оставь его, наоборот, это очень хорошо, состоятельные люди должны уметь считать, только вот скорей бы он сдавал экзамены на доктора. Но первый год был вроде как медовый месяц, так что об этом никто и не заикался. Иногда только пан Фолтын сам заговаривал об этом — покашляет так и посетует, что он все еще не очень здоров, учение его доконает... Вообще мы просто диву давались, как он вдруг стал дрожать за свое здоровье. Чуть чихнет — и сразу в постель, и ходить мы за

ним должны, как за малым ребенком. Конечно, с заботами о здоровье он малость перестарался, но у зажиточных людей это бывает — такой панический страх перед болезнью и смертью. И у меня было ощущение, что он больше принадлежит мне, когда я ставлю ему компрессы или готовлю питье. Так что я его в этом отношении, пожалуй, поощряла. И даже не заметила, как постепенно становилась его рабой; я поняла это, когда уже было поздно, когда началась его другая жизнь. Ну, что делать!

Музыкой он тоже теперь много не занимался. Иногда, правда, играл и поговаривал, что надо бы нанять наилучшего учителя, а то у него в левой руке какое-то не такое туше, — да так и не собрался. Порой, когда случалось хорошее настроение, он садился за рояль и играл нам что-нибудь; папенька, бедненький, слушал, умилялся и хвалил: «Ну, Бедржих, у тебя музыка прямо бисером рассыпается». Мне он нравился невыразимо, когда играл с таким пылом и встряхивал кудрями. Я им гордилась и говорила себе: авось папенька оставит его в покое с этими докторскими экзаменами — к чему они Бэдику! Артисту степень совсем не нужна. Потом Бэда проводил рукой по волосам и с легкой торжествующей улыбкой вставал от рояля. Это были для меня счастливейшие минуты. А иной раз он закрывался в своем кабинете, и мы не смели его беспокоить: он говорил, что сочиняет. Тогда весь дом должен был ходить на цыпочках. Как-то ненароком я туда заглянула — Бэда лежал на оттоманке, заложив руки за голову... Ну, и взъелся же он на меня — мы-де не считаемся с его творчеством; схватил шляпу и хлопнул дверью. С тех пор, когда речь заходила об искусстве, ему никто уже не перечил, где там!

Некоторое время спустя пришел к нам как-то папенька, поговорил о том о сем, а потом вдруг так прямо и спрашивает пана Фолтына, когда, мол, вы думаете держать экзамен на доктора. Бедржих побледнел и встал.

— Пан Машек, — сказал он, — к вашему сведению, я решил посвятить себя исключительно искусству, и мне безразлично, нравится это кому-то или нет. Поступайте, как хотите; мне моя дорога ясна.

Взял шляпу и ушел. Папенька, конечно, рассердился — какое, мол, существование может обеспечить искусство? Не такой он дурак, чтобы всю жизнь кормить зятя.

Он еще с этим бездельником поговорит, черт побери. Я, натурально, в слезы, и маменька тоже на сторону моего мужа стала. Она, бедняжка, все себя винила, что я за него замуж пошла, и притом ей было лестно, что он ей десять раз на дню к ручкам прикладывался. Она уговаривала папеньку до тех пор, пока не уговорила, чтобы он не портил мне супружескую жизнь, и вообще композитор там или дирижер хоть и не зарабатывает много денег, а в обществе занимает вполне солидное положение; он может стать профессором консерватории, например, или чем-нибудь еще. Папенька поворчал, но потом, видно, решил, что на его денежки можно кому-то и искусством заняться. В то время принцесса какая-то королевского роду убежала с музыкантом, такой позор был, однако на музыкантах этот скандал оставил печать чего-то сомнительного и в то же время благородного. Короче говоря, папепька смирился с тем, что у него зять — артист, и больше не заводил речи о степени, только пан Фолтын давал понять, что он все-таки из другого мира, нежели наши.

С тех пор он велел величать себя маэстро. Маэстро Бэда Фольтэн, и не иначе. Мне это не нравилось: к нему обращались «маэстро Фольтэн», а ко мне — «пани Фолтынова», как будто я и не жена ему. А потом он стал приглашать к нам музыкантов и литераторов. Раз, а то и два в неделю у нас исполнялись квартеты или фортепьянные пьесы, и гостей набиралось человек до пятидесяти — для молодой хозяйки это, прямо скажу, не шутка. Пан Фолтын принимал гостей в бархатном сюртучке, с широким черным галстуком и золотой цепочкой на запястье. При гостях я должна была говорить ему «Бэда» и «вы», а он называл меня «пани Фолтынова», чтобы звучало благороднее. Иногда он уступал уговорам и сам играл что-нибудь, но своего ничего не играл, не хотел. Иногда у нас исполняли первые сочинения молодых музыкантов, читали новые пьесы — это называлось «премьеры у Фолтынов»; стоили они уйму денег, столько при этом съедалось и выпивалось. Артисты были по большей части очень милые, простые и скромные люди; правда, некоторые засиживались далеко за полночь и напивались — прошу прощения — вдрызг; как после этого выглядели ковры и занавески, насквозь пропахшие дымом, и передать невозможно. Мне это было не по душе, но пан Фолтын гово-

рил: видишь ли, это артисты, к ним ты должна подходить с другой меркой, бывает, им иногда нужно напиться. Я по себе знаю, говорил он, что такое голод. Ему было приятно разыгрывать из себя мецената и вельможу. Бедржих очень любил с ними спорить; он почти ничего не пил, зато яростно дискутировал по вопросам современного искусства. Для меня это было чересчур мудрено, и я предпочитала уйти и лечь, но иной раз почти до утра было слышно, как разглагольствует мой супруг, а его собеседники что-то бормочут все более пьяными голосами. «Ладно, — думала я, — если это ему в удовольствие; со мной ведь об этом не поговоришь...»

Вскоре бедный папенька скончался от удара. У нас был траур, и вечера прекратились. Пану Фолтыну очень их не хватало, и он стал встречаться с музыкантами и литераторами где-то в других местах. Я была даже рада, что он может немножко рассеяться; по правде сказать, в его артистическом обществе я никогда не чувствовала себя уютно и особенно после смерти папеньки как-то острее поняла, к какому миру принадлежу. Потом к моему мужу опять стали приходить всякие литераторы да музыканты; пан Фолтын говорил, что работает с ними, но я думаю, он давал им деньги взаймы. Иногда он намекал, что создает нечто грандиозное, и на целые сутки запирался в своем кабинете. Я боялась, как бы он снова не начал кашлять. Я ему говорила: «Прошу тебя, не работай так много, ведь тебе это не нужно», — но уговоры мои очень его расстраивали... «Ты понятия не имеешь, — кричал он, — что значит творить! Истинный творец должен прямо сжечь себя в своем творении, должен принести ему в жертву все, свое «я», свою жизнь...» А потом вдруг неделями ни за что не брался, только лежал на диване и бродил по улицам — это называлось «сосредоточиться». Тут я не разбираюсь; однако, судя по тому, что я видела, творчество — весьма странное занятие.

Выглядел он неважно; часто обижался, выходил из себя по пустякам и объяснял — это-де артистический темперамент. Но я думаю, его что-то мучило. Он все время говорил только о своей работе — это, мол, труд всей его жизни. Это должна была быть опера, только мне было чудно, почему он называет ее то «Юдифь», то «Абеляр и Элоиза», — сейчас, мол, он сочиняет либретто, а потом сразу возьмется за музыку. В голове, мол, у него все уже

готово, остается записать. И вдруг на тебе, бросил все и исчез на несколько суток; возвратился бледный и как в горячке, — вот теперь, говорит, я в подлинно творческом трансе. А потом опять как сквозь землю провалился, только оставил записку, что идет туда, куда влечет его призвание. Можете себе представить мое состояние! А на другой день узнаю, что он убежал с одной заграничной певицей. Не буду ее называть — это была стареющая дива, большая и толстая, похожая на кобылу, голос она уже теряла и ездила по свету, волоча за собой остатки славы. Люди ходили на нее поглазеть и смеялись...

Странно, но по натуре я совсем не ревнивая, наверно, такая уж во мне рыбья кровь; а может, потому, что с мужем у нас давно уже были не такие отношения, чтобы ревновать, — не знаю. Скорее мне было стыдно, что он так глупо убежал, как влюбленный мальчишка, и что позор его получил такую широкую огласку; говорят, эта старая грымза заводила любовников во всех городах, куда приезжала на гастроли. Через десять дней он вернулся с покаянием; стал передо мной на колени и исповедался в грехах: дескать, он должен, должен был это сделать потому, что в этой женщине увидел тип своей Юдифи и потому, что она необыкновенно вдохновляла его как художника. Художник все, все должен принести в жертву своему творению, повторял он со слезами на глазах, он должен пройти через все испытания, лишь бы дело его жизни получило завершение. У художника есть на это право, кричал он с отчаянием, хватая меня за руки, ты должна понять и простить меня, я чувствую себя с тобою так уверенно...

Я с ним вовсе не ссорилась; я только подумала, во сколько это обошлось. Пожалуйста, сказала я, оставайся; у тебя есть своя комната, а перед людьми будем держаться, как будто ничего не произошло. Но моим имуществом ты больше распоряжаться не будешь. На расходы я тебе дам, а дела стану вести сама. Я даже удивилась, до чего женщина может ожесточиться. Он ушел, оскорбленный, и с тех пор у него прямо на носу было написано, что я поступила с ним жестоко и несправедливо.

Какие люди чудаки: раньше, когда денег у Бедржиха было хоть пруд пруди, он был такой скряга; теперь же, получив свое содержание, он спускал его немедленно и,

глядя на меня с укором, уходил к себе и творил. Он исхудал и даже начал пить, и раза два я заметила, что он вынул у меня деньги из сумочки. Я ничего не сказала, но он, должно быть, понял, что я знаю, и стал намекать, что я, дескать, должна остерегаться прислуги и деньги прятать. А потом я уже нарочно иногда оставляла для него немного денег на видном месте; каждый из нас знал, что другому все известно, но мы не показывали этого, чтобы не смущать друг друга. В это время он начал встречаться с какими-то странными людьми, со слепым Каннером, например, — его я прямо боялась. Пан Фолтын всегда поил Каннера коньяком, и тот после этого горланил и колотил по роялю — ну прямо страх, да и только. Конечно, у меня не хватало характера, а нужно было как-то положить этому конец, — можно ли этакое животное впускать в квартиру! Да что поделаешь, думала я, это музыканты, ты в их дела не лезь, по крайней мере, Бедржих занят своим искусством, занят серьезно. Да, это правда — в то время он все что-то писал и черкал, проигрывал на рояле и снова бежал записывать. Иной раз слышу, ночь напролет возится и расхаживает но комнате. Похудел он ужасно, один нос торчал, и волосы топорщились в разные стороны. Теперь я всем покажу, говорил он, что во мне есть! Вы еще увидите, на что способен Бэда Фольтэн, все увидите! При этом глаза у него прямо горели, как будто и нас, рабски служивших ему, он яростно ненавидел. И все-то он с этим слепым Каннером возился; иногда вытаскивал его из кабака среди ночи и привозил домой, и они орали и молотили по роялю; а утром мы спотыкались об этого Каннера, уснувшего в коридоре. Вы видите, я все это терпела, я убеждала себя, что, может, и в самом деле пан Фолтын сочиняет нечто великое и ему необходимы такие встряски. Но однажды они поссорились — прямо кошмар; я услышала вопли, накинула халат и бегу к Фолтыну в комнату. Каннер этот сидит в низком кресле, топает ногами и верещит, будто его режут; по лицу у него течет кровь. А пан Фолтын стоит над ним с ножом в руках, у рта пена, глаза бегают, как у помешанного. Ну, тут я так вмешалась, что и не спрашивайте лучше, больше у нас Каннер не появлялся. Пан Фолтын плакал, что этот мерзавец его ограбил, украл музыкальные идеи, оттого, мол, он так и рассвирепел; он бы его убил, если б не я. Еле-еле я его успокоила, в таком он был отчаянии.

Из окошка хотел выпрыгнуть. Да, сударь, нелегкая у меня была жизнь!

Потом какое-то время все шло по-хорошему; пан Фолтын прилежно писал и был тихий, как покойник. Он говорил, что уже кончает свою оперу о Юдифи и Олоферне и что сюжет потрясающий. Он проигрывал мне на рояле некоторые арии и отдельные пассажи; я, правда, в музыке особенно не разбираюсь, но скажу вам, в той сцене, где Юдифь в шатре у О л о ф е р н а, — так просто жуть берет, и откуда только такая дикая страсть и судорога взялась в моем муже! И опять на губах у него была та легкая торжествующая улыбка, которую я так любила. Как хотите, а все-таки он был большой музыкант. Может, даже гений, не знаю. И я себе говорила: ну, пускай супружество мое счастливым не назовешь, но если Бедржих напишет что-нибудь великое, то, значит, я жила не напрасно.

К нам тогда ходил другой музыкант, пан Троян его звали; этот вроде и не походил на артиста: длинный и худой такой, на носу очки, скорей ученый муж — тихий он был, деликатный, учтивый. Пан Троян был в опере консультантом или еще кем-то; говорили, он превосходный музыкант. Целыми днями сидели они с паном Фолтыном, тихо о чем-то беседовали, а иногда выстукивали что-то на рояле. Я всегда сама носила им кофе с булочками, и пан Троян быстро вскакивал с места, когда я входила, и так учтиво кланялся мне; все вокруг было устлано нотной бумагой, пан Фолтын прямо не чаял, когда я уйду, он был весь в своей работе. Ни о чем другом он и не говорил — только об опере, дескать, до чего же мучительная работа... инструментовка, кажется? Однажды я чуть не столкнулась в дверях с паном Трояном, когда он уходил, он смутился и, заикаясь, проговорил:

— Милостивая государыня... милостивая государыня, скажите ему, пусть он оставит это... или переделает все! Умоляю вас, скажите ему!

Как мне было жалко Бедржиха, ведь он потратил столько сил!

— Вы думаете, у него нет таланта? — спросила я.

— Да н е т, — проговорил пан Троян почти нетерпелив о. — Талант у него есть, но... на один талант я не полага-

юсь. Талант — ничто. Чтобы сочинять музыку, нужно... нечто большее, не только то, что в ушах...

Он махнул рукой, не зная, как бы это попроще объяснить.

— Скажите ему, что он должен стать другим человеком. Прощайте!

И исчез. Такой странный человек. За ужином я заметила пану Фолтыну, что, кажется, у пана Трояна есть какие-то возражения против его оперы.

Пан Фолтын покраснел и положил вилку.

— Он говорил тебе что-нибудь?

— Да нет, — отвечаю, — просто у меня такое впечатление. Он действительно разбирается в музыке?

Пан Фолтын пожал плечами.

— Разбирается, только... только воображения у него ни на грош. Сочинять оратории, это пожалуйста, но чтобы создать оперу, необходимо прямо дьявольское воображение. Куда Трояну, он просто какой-то факир от искусства, весь иссох. Артист все-таки не монах.

И пошло: сам же начал, но все будто бы спорил с паном Трояном, творить-де невозможно без страсти, артист должен изощрять свои чувства и инстинкты, и тому подобное.

— Кстати, — заметила я, — насчет этого изощрения. Я уже слышала, что ты снова волочишься за какой-то певичкой.

Это была совсем молоденькая девушка, только что вылетевшая из консерватории и несколько раз выступившая в театре. Я не ревнива, вы знаете, но коли он сам завел разговор, не оставаться же мне глухой?

Пан Фолтын и глазом не моргнул.

— Представь себе, — воскликнул он, — этот Троян считает, что Юдифь не для нее! Но это же превосходная, потрясающая Юдифь! Только в ней нужно пробудить глубинную женственность, эротическое бесовство.

И так далее, все как в первый раз.

— И ты хочешь в ней это пробудить? — спрашиваю. Он надулся, будто это разумелось само собой.

— А почему бы нет? — бросил он самоуверенно. — К вашему сведению, я сделаю из нее великую артистку, я, Бэда Фольтэн! Она должна радоваться, что встретила меня! Во мне есть нечто варварское, олоферновское, я вылеплю из нее Юдифь телом и душой...

Вы только представьте себе, это он говорит за столом своей законной супруге! Я никогда не видела его таким бесподобно самоуверенным. Он кричал о себе, о своем искусстве, и что все хотят его закабалить — Троян, и все прочие; и о том, как он презирает эту мелкую, мещанскую среду! Вот где-нибудь в другом месте Бэду Фольтэна оценили бы! Но теперь он, невзирая ни на что, всего себя отдаст своему творению, только теперь он ощутил в себе страшную, варварскую творческую силу...

Подбородок у него тряссся. Фолтын брызгал слюной, стучал кулаком по столу, а мне вдруг стало так его жалко! Ай-ай-ай, бедняжка, подумала я, видно, плохи дела с оперой, видно, ничего из нее не выйдет. Я это ни с того ни с сего отчетливо вдруг поняла, уж и не знаю почему, — может, потому, что он так судорожно и прямо-таки отчаянно хвастал? Видать, ничего у тебя, голубчик, не выйдет, и придется тебе с этим смириться. Мне как-то даже легче стало; оставит он свое искусство, по крайней мере, будет покой... На житье у нас с ним хватит, нам уже не по двадцать лет, так чего метаться! Нет, конечно, я бы чувствовала себя счастливейшей женщиной на свете, если бы Бедржих сочинил что-нибудь великое и прославился; но в нас, женщинах, иногда воскресает жажда или потребность смириться. Тогда как-то уютнее себя чувствуешь.

Ну, разумеется, некоторое время его почти не было дома — бегал за певичкой; только по утрам мы слышали, как он в ванной свистит или поет, чтобы показать, какой он молодой и счастливый; в петлице всегда цветок, сам наглаженный, надушенный и весь сияет. Ну, думаю, немногого ты у нее достиг. Домой он приходил к утру, чтобы мы думали, будто он на ночь у нее оставался, а на самом деле, рассказывали, один-одинешенек в кафе сидел да в барах, тянул гренадин, а как закрывали, по улицам до рассвета мотался. Горничная видела, как он дома перед зеркалом на щеках пятна помадой рисует, — это как будто она его целовала; выходил он к обеду в халате, зевая во весь рот — ну, просто комедия! Я думала, это для того, чтобы не слишком заметно было, что он бросил свою оперу. Но нет. Оперу он не бросил. Не знаю уж где, но нашел он некоего Моленду, и тот только что не поселился у нас. И снова запирались они с ним в кабинете,

и Фолтын делал вид, что работает, заканчивает свою «Юдифь»... Однажды он наткнулся в газете на фамилию той молодой певицы. Отложил газету и бросил пренебрежительно:

— Эта девчонка, кажется, говорила, что будет петь мою Юдифь! Дурочка! До Юдифи у нее еще нос не дорос...

На том все и кончилось.

Моленда был когда-то медиком, но больше любил музыку и попойки. Говорят, он играл по трактирам и сочинял пародии и всякие песенки. Молодой еще человек, по лицо припухшее, скалозуб был хороший и насмешник, все-то норовил обратить в шутку, — но музыкант был прирожденный и идей полна голова, музыка из него так и сочилась. Медицину он забросил и принялся сочинять шлягеры, танго и тому подобные вещи и, говорят, большие деньги зарабатывал. Потом вдруг исчез и зацепился в Америке, в варьете, не то в каком-то негритянском джаз-банде, не то музыкальным эксцентриком. Вернулся он домой весьма потрепанным и ужасно пил; в ту пору пан Фолтын и отыскал его, и завел с ним дружбу. По полдня сидели они в его кабинете, препирались и играли на рояле; но в конечном счете всегда получался вальс или танго. Вы бы поглядели, как кривлялся пан Моленда, когда, подскакивая на табуретке, бренчал и распевал свои вещицы. И смех и грех, такой это был шут гороховый. Не знаю, как они уживались: Бедржих по природе скорее серьезный, чопорный... Вечером они отправлялись кутить — конечно, если у пана Фолтына было на что. Иногда этот шут Моленда впадал в отчаяние и пил больше обычного; придет бледный, растрепанный и долго играет что-то безумное на рояле... пока снова не перейдет на привычное тра-ля-ля.

Однажды после такого буйного периода оба вдруг както отрезвели и уселись голова к голове; потом из комнаты хозяина понеслись сплошные фокстроты, и танго, и всякие любовные серенады... Знаете, я веселую музыку люблю больше, чем серьезную, но... как бы это выразиться... Бедржиху она как-то не подходила. Потом к нам начали ездить большие господа, директора какие-то, одно слово, вельможи, и выглядели они, словно у каждого — пол-Америки. Пан Фолтын держался чрезвычайно солидно и называл это совещаниями. Во время этих совещаний было слышно, как разглагольствует мой муж, а Моленда

бренчит свои фокстроты — ну, все это не вызывало у меня восторга. Однажды вечером пан Фолтын словно мимоходом намекнул мне, что пора уже и ему заявить о себе всерьез, что теперь он покажет, на что способен Бэда Фольтэн; пора и ему заработать свою копейку и зажить по-княжески — тут-то он с волнением и жаром все мне выложил. Великолепный, мол, план: они с Молендой напишут оперетту для кино. Сценарий почти готов, а что касается музыки, то песенки — лучше не придумаешь. Сейчас в ходу только кино, уверял он. Самое время взяться за него настоящим мастерам; но, разумеется, начинать надо с чего-нибудь полегче...

У меня прямо горло сдавило — так мне стало его жалко, и, наверное, он это заметил, потому что пылко принялся уверять, что это принесет нам фантастические суммы и тогда он вернется к своей «Юдифи». Он ерошил свои волосы и кричал — как обычно, когда хотел убедить самого себя. Вот когда его оперетта получит всемирное признание, прогремит на весь мир и его «Юдифь». Только ради нее он затевает это, только ради нее. Ты не думай, лихорадочно твердил он, в наши дни даже Моцарт и Сметана писали бы для кино, а кроме того, либретто такое поэтичное...

— Послушай, — говорю я ему, — у тебя что, шашни с киноактрисой?

Он смутился и покраснел.

— Почему ты так думаешь? Конечно, у меня должны быть совещания с киноактерами! Там есть прекрасная женская роль — Элоиза... И на эту роль мы нашли сказочную певицу: совершенно новое имя, но до чего хороша, чудо! И голосок, и sex appeal! В кино должен быть секс-эпил, понимаешь? Ты не бойся, нас ждет грандиозный успех! Эта женщина будет сниматься в Голливуде, я тебе это письменно могу...

— Постой, — говорю я ему, — такое отдаленное будущее меня не волнует, я хотела бы знать, к чему ты мне все это рассказываешь?

— Понимаешь ли, — начал он, и тут выясняется, что хоть продюсеры и вдохновлены его идеей и полны решимости ее осуществить — тут уже достигнута договоренность, — но для всемирного успеха нужна великолепная постановка и все такое прочее. Разумеется, эти деньги вернутся не менее чем в троекратном размере, но для

начала нужна наличность, чтобы достойно воплотить идею...

— Сколько? — спрашиваю.

Пан Фолтын несколько раз проглотил слюну, так что у него кадык запрыгал. Ну, не так чтобы очень много. Достаточно полутора миллионов. Это просто до смешного мало по сравнению с тем, что фильм наверняка принесет.

— А у тебя есть эти полтора миллиона?

Пан Фолтын все глотал слюну и прочесывал пятерней волосы. Он, мол, рассчитывал, что я продам один или два дома (к тому времени, нужно вам сказать, из пяти папенькиных домов осталось только три). Для меня, мол, это будет сказочно выгодное помещение капитала — через год как пить дать я верну все до копейки. Если я говорю, кричал он, значит, ты можешь на меня положиться! Ведь это мое детище — и тебе тоже должно быть важно, чтобы я наконец пробился...

— Погоди, — сказала я ему. — За свое супружество я уже заплатила двумя домами, не считая приобретенного опыта. Ну, да это ладно. А вот помогать, чтобы ты и как музыкант погиб, этого ты от меня не дождешься. Это мне еще не все равно. И на это я не дам ни копейки. И прошу тебя — больше ты об этом со мной не говори.

Пан Фолтын встал, глаза его наполнились слезами. Он сделал вид, будто уходит.

— Не ждал я, — оскорбленно выдавил он, — что ты мне не поверишь. Я тебе клянусь, что иду на это только ради своей «Юдифи». Кому только я ее не предлагал!.. Сколько тысяч заплатил за одну переписку! Но пока не проявишь себя как композитор, все напрасно. Мне конец! — прошептал он и махнул рукой в отчаянии. — Конец, конец.

Он дошел до дверей и остановился, взявшись за ручку.

— Если хочешь знать, — сказал он невнятно, — теперь мне придется застрелиться.

— Тебе? — говорю я. — Какая чепуха!

Он стоял повесив голову, как ребенок, признающийся в проступке.

— Я... дело в том, что я... подписал векселя, — произнес он, заикаясь и шмыгая носом.

— На сколько?

— На... семьсот тысяч... (Потом обнаружилось, что на миллион двести тысяч; по для него это уже были мелочи.)

— Боже мой, — говорю я, — какие векселя! Ведь у тебя нет ни полушки!

— Я им сказал, что я совладелец твоих домов, — бормотал он сокрушенно. — Я так рассчитывал на то, что ты вложишь капитал в это дело... раз успех обеспечен...

— Побойся бога, — кричу, — сумасшедший, ведь это же мошенничество!

— Знаю, — отвечает он. — Но я сделал это ради «Юдифи». Знаю, я пропащий человек... Хорошо! — закричал он вдруг в ярости и гордо откинул голову назад. — Убейте меня! Бэда Фольтэн ничего у вас не просит!

С меня было довольно. Ты еще передо мной задаваться будешь, думаю.

— Поступай как знаешь, — говорю, — я передаю дело своему адвокату. Дольше говорить об этом бесполезно.

Целую ночь напролет пан Фолтын шумно возился в своем кабинете. Хлопал дверцами шкафа и ящиками стола, а то подходил к роялю и брал несколько аккордов, будто прощался. Утром он исчез, и десять дней его не было. В комнате остался только чад от сожженной бумаги. На ковре у камина лежал обгоревший по краям лист бумаги с надписью: «Юдифь, опера в пяти действиях. Либретто и музыка Бэды Фольтэна». А в камине полно горелой бумаги. Я присмотрелась — это была чистая нотная бумага.

Наш адвокат был старый, очень умный господин, большой друг покойного папеньки. Как юрист он мне советовал:

— Оставьте это дело, пусть его, бродягу, судят.

Но как старый друг дома он охотно согласился выполнить мою просьбу и как-нибудь все уладить.

— С одним условием, пани Карличка, — сказал он. — Вы с этим фанфароном разводитесь. Иначе у вас скоро не останется даже дверных ручек от тех домов, что построил ваш покойный батюшка.

Как ему это удалось, не знаю, но в конце концов он скупил все векселя за четыреста тысяч и запер в своем сейфе.

К тому времени пан Фолтын вернулся домой, страш-

но потрепанный, прямо будто на скамейках в парке ночевал; он сказал, что пришел только взять кое-какие вещи; но когда служанка принесла ему на подносе обед, он очень обрадовался; она рассказывала, что сама чуть не заплакала — так он ее благодарил; и подбородок у него дрожал от волнения. Он сидел в своей комнате, тихий, как мышь, и все писал что-то или как-то шепотком наигрывал на рояле. Потом сложил свои ноты и куда-то ушел. Стоял ноябрь, а он нарочно не надел теплое пальто, так побежал, в бархатном сюртучке и с развевающимся галстуком, чтобы выглядеть как голодающий музыкант. Он любил такие штучки выкидывать.

Когда наш адвокат обрушил на него дело о разводе, пан Фолтын, говорят, заплакал. Признаю, сказал он, признаю: соединить свою судьбу с судьбой артиста — это сущий ад. Передайте пани Шарлотте, что я возвращаю ей свободу. Никаких препятствий он не чинил и был учтив и покорен судьбе. Только когда адвокат сообщил ему, что я назначаю ему небольшое ежемесячное содержание, которое он может получать в его конторе, пан Фолтын выпрямился, покраснел и возмущенно закричал: «Что? Деньги? Вы думаете, я нищий? Я лучше сдохну с голоду, чем приму ваше подаяние!»

— Хорошо, — говорит адвокат, — я так пани Карличке и передам.

Пан Фолтын, говорят, схватился за голову и захохотал, как безумный. Вы правы, бормотал он, я нищий! Я артист! Простите, а вы не могли бы дать мне вперед пятьсот крон?

С тех пор я потеряла его из виду. Один раз встретила на улице — надо ли говорить, каково мне было. Сумасшедший — и все тут. Косматую свою голову он нес, будто парил в облаках, на шее — грязный бант, под мышкой ноты...

Каждый месяц он приходил в контору за деньгами, неприступный, как бог, небрежным жестом совал деньги в карман и рассказывал, что как раз ведет переговоры с Зальцбургом или с «Метрополитэн-опера» о премьере «Юдифи». Или же говорил, что только теперь почувствовал себя свободным, ибо только в нужде и грязи артист может быть артистом, ну, и тому подобные вещи. Однажды он пришел в лихорадочном состоянии, говорит, через

неделю состоится пробное представление «Юдифи» в какой-то киностудии, по особым приглашениям. Смотреть ее съедутся дирижеры и оперные антрепренеры со всего света... Он передал адвокату два билета: один для вас, говорит, а другой... может быть, кто-нибудь пожелает...

Ну, я туда, конечно, не пошла.

А примерно через неделю мне сообщили, что его увезли в Богницы; через два дня он там, бедняжка, и умер. В газетах о его смерти не было ни словечка... Я ему устроила приличные похороны в крематории; он всегда хотел, чтобы его сожгли... Как птица феникс, говорил он. И знаете, на похороны собралось человек двадцать — тридцать, все больше музыканты, которые ходили к нам на музыкальные вечера. Пан Троян тоже был, грустно так поглядывал сквозь очки. И этот шут Моленда со своей бражкой пришел. Плакал — как ребенок. Пришла и та молодая певица, за которой покойник когда-то бегал, — теперь она уже знаменитость, величина! — очень мило с ее стороны. Но самое удивительное — вдруг заиграл орган и зазвучало Генделево «Largo», да так проникновенно! Это один известный профессор консерватории играл... А потом струнный квартет. Наши самые лучшие музыканты, представьте себе! Они сыграли квартет Бетховена... Я не знаю, кто это постарался, наверное, пан Троян, а может, еще кто, но было это так прекрасно и торжественно, что меня вдруг отпустило и сами собой потекли слезы. Должно быть, пан Фолтын все же был большим артистом, раз его провожали такие мастера, и притом совсем бесплатно. Да, похороны у него вышли, как у настоящего музыканта... ничего не скажешь.

И вот я себе иногда говорю: может, он и вправду мог что-нибудь создать? Я, конечно, была не та жена, которая нужна артисту, я знаю, но все-таки я принесла ему благосостояние и мешала так мало, как только может женщина. Наверное, я не очень понимала его; но обыкновенный человек может дать только то, что у него есть. Я хоть надгробие ему красивое поставила: бронзовая лира, а через нее — веточка лавра. И надпись: Бэда Фольтэн. И больше ничего.

V

Проф. универ, д-р Штраус

АБЕЛЯР И ЭЛОИЗА

С паном Фольтэном я познакомился на его домашнем концерте, в котором принял участие наш любительский «профессорский» квартет (два профессора, один председатель суда и наша замечательная первая скрипка — научный сотрудник института анатомии), в котором я играю на альте, — у него в доме часто давались музыкальные вечера с очень приличной программой. Когда мы кончили музицировать, пан Фольтэн, узнав, что моя специальность — сравнительная история литератур, увлек меня в соседнюю комнату. Он произвел на меня впечатление образованного, богатого и благородного молодого человека, питающего любовь к музыке и ко всему прекрасному. Итак, он отвел меня в сторону и начал говорить, что восхищен историей Абеляра и Элоизы и хотел бы написать на эту тему роман или даже оперу; не окажу ли я ему любезность и не расскажу ли немного об Абеляре и его эпохе.

Чистая случайность, но одиннадцатое и двенадцатое столетия с их схоластикой и расцветом монастырей — в некотором роде мой конек. Боюсь, что тогда я несколько увлекся и совсем как на лекции стал трактовать вопросы средневекового номинализма, анализировал «Glossulae super Porphyrium» [1] и даже пустился в полемику со Шмейдлером: я беру на себя смелость утверждать, что письма Абеляра и Элоизы хотя бы отчасти — подлинные. Пан Фольтэн слушал, как будто все это его чрезвычайно занимало, хотя не знаю, как могли послужить для его оперы Абеляровы «Glossulae» или «Introductio in theologiam» [2], но я, войдя в профессорский раж, об этом и не думал. Я даже пообещал ему, что, если его так интересует эта история, я снабжу его соответствующей литературой для изучения вопроса. Пан Фольтэн пришел в восторг и заранее благодарил. Мне очень понравилось, что композитор или писатель так серьезно относится к интересую-

---

[1] «Глоссы к Порфирию» (*лат.*).

[2] «Введение в теологию» (*лат.*).

щему его сюжету и пытается овладеть им, как специалист; поэтому я послал ему целую кипу источников, различные абеляровские издания, Хаусрата, Каррьера и еще кое-что. Некоторое время спустя я его встретил и спрашиваю, как, мол, поживает Элоиза. Пан Фольтэн сообщил мне, что трудится над ней неустанно; любовь Абеляра и Элоизы — это благороднейшая и увлекательнейшая тема для оперы, какую только можно себе представить. Меня это порадовало: двенадцатый век с его конфликтом между духовным уставом и человеческими, уже отчасти предренессансными факторами — поистине драгоценная эпоха. Я не хотел просить его вернуть первоисточники до тех пор, пока они могли служить ему источником вдохновения или руководством. К сожалению, позднее я потерял его из виду, так что уже не мог послать ему повое, критически комментированное гейеровское издание трактата Абеляра «De unitate et trinitate divina» [1], там было любопытное замечание насчет того, почему Абеляр был заключен в монастырь.

Позднее я с глубоким прискорбием узнал, что пан Фольтэн скончался в нищете, — мои книги, в частности редкое и ныне недоступное издание Кузена 1849 года, после его смерти, по всей вероятности, погибли. Жаль, очень жаль, что молодой, подававший надежды композитор, по-видимому, не закончил свою оперу об Абеляре и Элоизе; это поистине редкий случай, когда художник подошел к материалу, увлекшему его, с такой глубокой серьезностью и профессиональной подготовкой.

VI

Д-р И. Петру

ТЕКСТ К «ЮДИФИ»

Пану Фольтэну меня представили в театре, на какой-то премьере. Я слышал о нем и раньше — как о необыкновенно богатом человеке, боготворящем искусство. При первом знакомстве он произвел на меня впечатление несколько тщеславного и аффектированного, но в общем сердечного молодого человека. Мне не понравились его

[1] «О единстве и тройственности бога» (*лат.*).

бакены, его монокль, золотая цепочка на запястье, вся его благоухающая духами элегантность. По правде говоря, я подумал: сноб. Он с необычайной живостью и восторгом пожал мне руку и тотчас же пригласил к себе — «к пани Шарлотте и ко мне, на наши интимные музыкальные вечера», как он выразился. Он приглашал так настойчиво, что я согласился, хотя и без особой охоты, и через некоторое время мне пришло печатное приглашение на soiree musicale chez M-me et Maître Beda Folten. Comme chez soi[1].

Мне довелось присутствовать лишь на одном таком вечере. Фольтэн с развевающимся галстуком и в бархатном сюртуке приветствовал меня с бурной сердечностью.

— Проходите, проходите, — восклицал он, — вы здесь в мире искусства!

Его жена была несколько бесцветная и анемичная, но, по-видимому, славная женщина. Она напомнила мне евангельскую Марфу, которая нужна лишь для того, чтобы заботиться о еде и питье; только порою она робко и как-то по-матерински улыбалась оставшемуся в одиночестве гостю, с которым — хоть убей! — не знала, о чем говорить. Зато здесь прислуживали два приглашенных из кафе официанта, хорошо мне знакомые; их облачили в короткие панталоны, шелковые чулки и даже в белые напудренные парики, чтобы они больше потели, разнося чай и шампанское. Гостей было человек сорок, и многих я знал; добрая половина из них, как и я, недоумевала, в то время как другая спешила побольше съесть и выпить. Во всем чувствовалась какая-то принужденность и несовместимость. Фольтэн в своем бархатном сюртучке с напускной веселостью прохаживался среди этой пестрой публики; одного тащил в буфет, другого по-приятельски похлопывал по плечу, на ходу ухаживал за какой-то музыкальной дамочкой — этакая странная смесь снисходительности, дружелюбия, представительности и слишком наигранной, фамильярной sans façon[2] или pas de chichi[3] богемы. Потом нас перегнали в «музыкальный салон»

---

[1] Музыкальный вечер у мадам и маэстро Бэды Фольтэн. Запросто (*франц.*).

[2] непринужденность, бесцеремонность (*франц.*).

[3] панибратство (*франц., разг.*).

и усадили на пол, на подушки, на низенькие диванчики, прислонили к камину и дверному косяку. Начался концерт. Молодой композитор сыграл свою фортепьянную сюиту, затем какая-то девица исполнила на скрипке произведение длинноволосого и очкастого юноши, аккомпанировавшего ей на рояле, — по-моему, это было неплохо. Но более всего я был захвачен тем, как маэстро Фольтэн и его супруга восседают в центре комнаты в креслах, подобно царской чете, среди раскинувшихся вокруг них на полу и на подушках «артистов». Прищурившись, с видом знатока Фольтэн одобрительно кивал, а пани Фолтынова, плотно сжав губы, явно думала лишь о распоряжениях прислуге. Не знаю почему, но все это вызывало у меня раздражение; наверное, мы не созданы для такого великолепия.

По окончании программы Фольтэн доверительно взял меня под руку и увлек в маленький салон.

— Я так рад познакомиться с вами, — пылко заверил он, — я был бы счастлив оказать вам какую-нибудь услугу.

Я не мог себе представить, какую услугу мог бы оказать мне пан Фольтэн, а он продолжал говорить, что необычайно, исключительно высоко ценит мои суждения как театрального критика и теоретика искусства.

— Дело в том, что я сочиняю оперу «Юдифь», — объявил он, слегка зардевшись. — И сам написал к ней либретто. По-моему, — сказал он, запуская пальцы в свою гриву, — по-моему, композитор должен сам писать свои либретто, только тогда его произведение будет представлять собой нечто целостное — в нем не будет ничего чуждого, ничего, что бы не вытекало из самых глубин его собственной интуиции.

Против этого в общем-то возражать не приходилось. С видимым удовольствием Фольтэн повторял это на все лады, пока наконец не проговорился, чего он хочет от меня. Не окажу ли я ему любезность прочесть вышеупомянутое либретто. И не выскажусь ли откровенно, в чем оно не выдерживает наистрожайшей критики.

— Видите ли, я скорее музыкант, чем поэт, — извинился он и потом снова заговорил о том, как безгранично доверяет моему мнению и так далее.

Что делать — я съел у него два бутерброда, поэтому мне не оставалось ничего другого, как сказать, что с ве-

личайшим удовольствием, и тому подобное. Он горячо пожал мне руку.

— Я пришлю вам рукопись завтра, — сказал он, — а сейчас, прошу вас, пойдемте к молодежи.

Молодежь тем временем вдрызг перепилась и вопила так, что дребезжали стекла; оторопевшая хозяйка дома натянуто улыбалась, а пан Фольтэн восклицал:

— Резвитесь, резвитесь, дети! Как дома! Здесь все артисты!

На следующий день прибыла рукопись — в огромной корзине, полной вина, винограда, лангустов и бог весть чего еще; при виде ее я испытал адское желание отправить все обратно. Либретто оказалось ужасающим: несколько превосходных строф или приличный прозаический пассаж, а потом — страница-две бреда параноика; затем вдруг опять многообещающий кусок диалога или более или менее выразительная сцена, и снова путаные и высокопарные тирады. Все это претендовало на демонические страсти, а было чем-то маниакальным, чудовищным в своей патетической выспренности. Действующие лица выплывали неизвестно откуда, вне всякой связи с предыдущим и исчезали неизвестно куда: половину из них автор вообще забыл включить в список. В первом акте в Юдифь влюблен пастух по имени Эзрон, в третьем он превращается в полководца Робоана, а далее исчезают оба. Сущий хаос. Я не знал, что и думать: что, собственно, хотел этим сказать Фольтэн; я снова стал листать рукопись, вновь перечитал диалог Олоферна, написанный лукаво позванивающим, неброским ироническим стихом, и вдруг меня осенило: это мог написать только Франта Купецкий!

Эта мысль не давала мне покоя, и вечером я, прихватив рукопись, отправился в трактир, где всегда сидел Франта.

— Прочти-ка эти стихи, Франтик, — говорю я, — как они тебе покажутся?

Купецкий подмигнул мне и ухмыльнулся.

— Не дурны. А вот что дальше, так это к ним не относится.

Он перелистывал рукопись и качал головой. Потом громко заржал.

— Ой, братцы, — хохотал он, — ой, братцы, вот это да!..

— Франта, — сказал я, — взгляни-ка, не похоже ли, что этот диалог Юдифи написал Тереба?

Купецкий кивнул.

— Значит, Тереба тоже... — пробормотал он. — Ну, конечно, ему ведь тоже жрать нечего было!

— И сколько он вам заплатил?

— Он? — заворчал Франта. — *Мне* лично эта мразь дала три тысячи за все либретто, но в этом винегрете от меня осталось только три отрывка. Самые лучшие стихи выбросил.

Купецкий заулыбался, словно китайский божок.

— Gesamtkunstwerk [1]. Я полагаю, что тут писало человек пять, по крайней мере. Вот это, например, Восмик. А это, — задумался он над одной страницей, — кто бы мог это написать? «Юдифь, Юдифь, что шаг твой неуверен?» Этого я не знаю. «В моей груди косматой...» — пожалуй, это Льгота. Помнишь его «...как гулок шаг мужей косматых...»? Ты не знаешь Льготу? Такой молоденький дохлятик, сильно желторотый птенец...

— Послушай, а как он заказывал вам эту работу? — спросил я.

Купецкий пожал плечами.

— Как, как! Пришел сюда... будто случайно. «Ах, как я счастлив видеть здесь любимого поэта!..»

— А на музыкальные вечера он тебя не приглашал?

— Нет, — солидно ответил Франта, — таких свинтусов он не приглашает. Ему нужна богема, но чтоб при лакированных туфлях. Салон, понимаешь? Он тут вот, в трактире, со мной сидел, меценат этот. Я нарочно делал вид, будто пьян вдребезину, чтобы говорить ему «ты», — уж он извивался... — Купецкий захохотал. — Ну, а потом начал: я-де, дорогой мой, сочиняю оперу, либретто пишу сам...

— ...чтобы было нечто целостное.

— Вот именно. Но что голова его полна музыкальных образов и он не может сосредоточиться на либретто. Вот если бы я в общих чертах составил ему план, подбросил парочку идей и несколько стихотворных монологов — чтобы были на какое-то время ориентиры для его музыкаль-

---

[1] Собрание сочинений (*нем.*). Игра слов: может быть понято как «собрание разных сочинений, сборная солянка».

ных вдохновений. Наплел с три короба. Вот уж кто подлинно испытывает муки творчества...

— И ты попросил у него аванс?

— Откуда ты знаешь? — удивился Купецкий. — Послушай, у тебя нет какой-нибудь работы?

— Нет, — сказал я. — А этот бред сумасшедшего, как ты думаешь, он сам сочинил?

— Как же, сам, — проворчал Франта. — Для этого у него есть молодой поэт, из тех, что к нему в гости ходят в лакированных туфлях.

— Он не сумасшедший?

— Да вроде бы нет, — заметил поэт Купецкий. — Впрочем, про поэтов ничего нельзя сказать с уверенностью.

* * *

Когда Фольтэн пришел ко мне за рукописью, я повел разговор примерно так:

— Послушайте, Фольтэн, так не годится. Как вы сами исключительно верно изволили заметить, художественное произведение должно представлять собою нечто целостное. А то, что вы называете либретто, выглядит так, будто его сочиняли пять человек. Как если бы вы взяли пять текстов, написанных пятью разными авторами, и кое-как, по кусочкам слепили воедино. Тут нет ни начала ни конца, нет связного действия, в каждой сцене иной стиль, иное звучание, совсем другие действующие лица... Вы можете выбросить это, Фольтэн.

Он несколько раз судорожно глотнул, моргая, как провинившийся ученик.

— Доктор, — проговорил он, запинаясь, — а вы сами не могли бы это немножко подправить? Разумеется, не бесплатно.

— О нет. Простите, но как вы можете покупать у нескольких авторов тексты и затем выдавать их за свое собственное либретто? Так все-таки не поступают!

Он был удивлен и даже немного оскорбился.

— Но почему? Ведь «Юдифь» все равно мое духовное детище! Сделать из нее поэму или оперу — это моя идея, сударь!

— Да, — сказал я ему. — Только до вас эта идея почему-то пришла в голову какому-то Иоакиму Граффу,

и Микулашу Коначу, и Гансу Саксу, и еще Опицу, Геббелю, Нестрою и Кайзеру, а оперу о Юдифи написал некий Серов — и еще Ветц, Онеггер, и Гуссенс, и Эмиль Николаус фон Резничек. Но именно поэтому о Юдифи можно написать еще дюжину опер, — добавил я поспешно, увидев, как он потрясен, — все зависит от того, как понят материал.

Он заметно воспрянул духом и просиял.

— Вот именно! И понимание тут чисто мое! Олоферн пробуждает в девственной Юдифи женщину... такую яростную эротическую одержимость, — только поэтому она его и убивает... Великолепная мысль, не правда ли?

Я готов был его пожалеть, — он явно не понимал, насколько это тривиально.

— Ну, — сказал я, — по-моему, тут важнее всего музыка. Знаете что? Предложите какому-нибудь приличному драматургу написать все либретто, и пусть он поставит свою подпись, понимаете?

Он снова горячо жал мне руку и трогательно благодарил. Я-де его понял и пробудил в нем новое желание работать, — чем это, не знаю. И слова он прислал мне роскошную корзину с ананасами, вальдшнепами и аперитивом «Мария Бризар». Видно, потому, что считал себя страстным сенсуалистом и гедоником.

* * *

Примерно через месяц он появился снова, сияя больше чем когда-либо.

— Пан доктор! — провозгласил он победно. — Несу вам свою «Юдифь»! Теперь уж это настоящее! Я вложил сюда всю свою концепцию. Полагаю, на этот раз вы останетесь довольны и композицией, и развитием действия...

Я взял рукопись.

— Это вы написали сами, Фольтэн?

Он чуть заметно глотнул.

— Сам. Все сам. Я никому не мог доверить свое видение Юдифи. Это чисто мое представление...

Я начал перелистывать сей манускрипт и вскоре понял что к чему. Это была переведенная крайне небрежно, а порой и бесстыдно искаженная Геббелева «Юдифь»; в текст Геббеля всунуто кое-что из сухих пародийных

стишков Купецкого, «косматая грудь» Льготы... и опять кое-какие из прежних полоумных тирад.

— Достаточно, Фольтэн, — сказал я. — Кто-то вас ловко провел. На четыре пятых это плагиат «Юдифи» Геббеля. С этим нельзя выступать публично.

Фольтэн покраснел и судорожно глотнул.

— А может, подписать так, — слабо защищался он: — «По драме Геббеля — Бэда Фольтэн»?

— Не делайте этого, — предостерег я. — С Геббелем тут так обошлись, что это прямо вопиет к небу; казнить за это надо. Давайте, я лучше сразу же брошу это в огонь.

Он вырвал у меня рукопись и прижал к груди, как величайшую драгоценность.

— Только посмейте, вы! — закричал он, и глаза его запылали отчаянной ненавистью. — Это моя Юдифь! Моя! Это мое, только мое видение. И не важно что... что...

— Что это уже кто-то написал, не так ли?

Я видел, что ему абсолютно недоступна, так сказать, моральная сторона проблемы, что он прямо по-детски влюблен в свою Юдифь; этот человек мог бы покончить с собой, если бы кто-нибудь доказал ему, что он заблуждается. Я пожал плечами.

— Возможно, вы и правы, Фольтэн. Когда человек что-то любит, это в известной степени принадлежит ему. Я вам вот что предложу. Я буду считать ваше либретто плагиатом и жульничеством, а вы считайте меня идиотом или чем хотите, и все.

Он ушел от меня, глубоко оскорбленный. С тех пор он величал меня не иначе как литературным крохобором, жалким педантом и бог весть как еще. Что правда, то правда: ненавидеть он умел как истинный литератор. В этом он был неподражаем.

VII

В. Амброж

МЕЦЕНАТ

Мы учились в консерватории — трое бедных ребят: скрипач Прохазка, именуемый Ладичек, толстый и сонный Микеш, по прозвищу Fatty [1], и я; только одному

[1] Толстяк (*англ., разг.*).

богу известно, чем мы были живы, — скорей всего, тем, что брали друг у дружки взаймы одну и ту же двадцатикроновую купюру, которую как-то в счастливый вечер Fatty заработал за роялем в каком-то ночном заведении.

Однажды нас вызвал к себе наш обожаемый учитель и мэтр и радостно объявил: «Юноши, я, кажется, нашел для вас мецената!» Оказывается, к нему приходил один самостоятельный «друг искусства» и сказал, что охотно поддержит двух-трех талантливых начинающих композиторов. «Сто пятьдесят крон в месяц, мальчики, — сказал профессор, — это немного, но если вы постараетесь, со временем это может принести и больше. Так что, босяки, не посрамите меня, — закончил старый добряк в умилении, — и ведите себя прилично! Помните, что воротнички всегда должны быть чистыми и что шляпу нельзя класть на рояль. Короче, берите ноги в руки и скорей представляться!»

Разумеется, мы помчались во все лопатки. Сто пятьдесят крон — для нас это был невероятный дар небес. Когда мы позвонили у дверей пана Фольтэна, нам казалось, что нас целое стадо, целый табун многообещающих композиторов в черных потертых костюмах, и мы изо всех сил старались сделаться потоньше, чтобы казалось, будто нас не так много. Горничная в белом передничке провела нас к пану Фольтэну. Он в шитом золотом парчовом халате сидел за огромным письменным столом и что-то писал. Пан Фольтэн поднял голову, надел очки — что сделало его лицо старше и строже — и внимательно рассмотрел нас всех по очереди. Очевидно (не знаю только почему), он остался нами доволен, потому что дружески кивнул нам и проговорил:

— Так вот вы какие? Мне вас рекомендовал ваш учитель. Это великий артист, господа! Великий артист и великий человек!

Мы забормотали, что да, конечно, разумеется. Пан Фольтэн позвонил и встал. Сердце у меня екнуло — уж не натворили ли мы чего и не вышвырнут ли нас сейчас вон; Fatty в волнении сопел, а Ладичек, широко раскрыв глаза, рассматривал бархатную комнату. Но нас не выгнали, просто вошла та бойкая горничная и сделала книксен, совсем как на театре.

— Анни, подайте господам чай, — приказал пан Фольтэн. — Садитесь, господа; сюда, пожалуйста.

Мы забормотали, что с удовольствием постоим, но сесть все-таки пришлось: в таких креслах мы никогда и не сиживали. Fatty погрузился в кресло так глубоко, что прямо окаменел с испугу, Ладичек не знал, куда девать свои длинные ноги, а я весьма инициативно начал разговор робким покашливанием. Пан Фольтэн бросился в свое кресло и сложил кончики длинных пальцев.

— Великий артист, — повторил он еще раз. — Я поздравляю вас, господа, с таким учителем. Вообще, посвятить себя искусству — это прекрасный жизненный путь. Прекрасный... и трудный. Уж кто-кто, а я знаю, какая это мука — быть творцом.

Длинными пальцами он провел по волосам.

— Вы должны быть готовы к суровой жизни, полной самоотречения...

Толстяк Микеш испуганно моргал, а Ладичек блуждал взором по коврам и занавескам. Пан Фольтэн говорил о непонимании, с которым сталкивается великий художник, а я изредка издавал разнообразные звуки, выражающие согласие. Тут вошла горничная с огромным подносом в руках. Ладичек вскочил, чтобы галантно его подхватить, но, наверно, этого не надо было делать, потому что она, не обратив на него никакого внимания, водрузила всю эту роскошь прямо перед нами. Мы отродясь не видывали ничего подобного: чашки тончайшего фарфора, тарелочки, хрупкие как дыхание, чайник с заваркой, чайник с кипятком, графинчик с ромом, графин с лимонным соком, блюдо с бутербродами, тарелка с бисквитами, вазочки с конфетами, что-то еще, — и все это горничная расставляла теперь перед нами на столе. Ладичек совершенно бесстыже разглядывал ее своими большими поэтическими глазами, и вид у него был такой, будто он вот-вот возьмет ее за руку. Изумленный Fatty затаил дыхание и только пинал меня под столом, и я один поддерживал разговор, временами вставляя: «Да-да».

— Прошу вас, господа, — пригласил нас пан Фольтэн и сам стал разливать ч а й . — Покрепче? Не очень?

Мы в тот день еще ничего не ели; Толстяк протянул руку к бутербродам и уже нес ко рту кусок, обильно нагруженный ветчиной и лососиной. Я еле-еле успел его ткнуть, чтоб обождал. Пан Фольтэн между тем налил себе

чаю и медленно помешивал его серебряной ложечкой; сахару он не взял. Я сделал то же самое. Толстяк в замешательстве положил свой бутерброд на кружевную салфетку, чтобы не испачкать тарелочку, и тоже начал помешивать чай. Пан Фольтэн задумчиво помешивал чай и рассуждал о тяжкой доле артиста в наше время; потом взял маленькое печенье и, откусывая его крошечными кусочками, запивал несладким чаем. Я сделал то же самое — откусывал печенье и запивал терпким чаем. Fatty бросил на меня вопросительный взгляд и тоже взял печенье. Надеюсь, мы произвели на пана Фольтэна благоприятное впечатление. Но тут Ладичек вдруг вышел из своего восторженного оцепенения, добавил в чай рому и начал набивать брюхо бутербродами. К сожалению, я не мог до него дотянуться под столом. Я всегда считал, что скрипачи не умеют вести себя в обществе и слишком много о себе думают. Увидев это, Fatty опять взял свой бутерброд и впился в него зубами. Наверно, он не должен был этого делать, потому что пан Фольтэн смерил его взглядом и сказал:

— Так вы пианист, пан... пан?

Несчастный Fatty покраснел, заглотнул полбутерброда, а оставшуюся половину снова положил на салфетку.

— Микеш, — сказал он сдавленным голосом, — Да.

Пан Фольтэн еще некоторое время его расспрашивал, а Ладичек спокойно пожирал бутерброд за бутербродом. Затем настала моя очередь: пан Фольтэн очень любезно спросил, откуда я родом, кем был мой отец, какую музыку я больше всего люблю и так далее — словом, вопросы соответствовали моему возрасту. Потом он посмотрел на Ладю. Ладичек встал, потянулся, как сытый кот, и как ни в чем не бывало направился к роялю, где лежала темнокоричневая скрипка; он взял ее в руки, опытной рукой тронул струны и небрежно спросил:

— Миттенвальдская?

Это было первое слово, которое он произнес.

Пан Фольтэн просиял.

— О да. Собственноручная работа мастера Маттиаса Клотца. Минутку, я покажу вам ее паспорт.

Мы с Микешем переглянулись. Погоди, Ладичек, мы тебе это попомним! А Ладичек Прохазка между тем сунул хриплую скрипочку под подбородок, раза два провел по струнам смычком и заиграл «Песню» де Фальи. Да,

этот мальчик умел себя показать — прямо будто век общался с меценатами. Пан Фольтэн опустился в кресло и слушал, прикрыв глаза и одобрительно кивая головой.

— Хорошо, — сказал он под конец. — А свое что-нибудь?..

Ладичек, не моргнув глазом, стал играть свои вариации на детские темы. Сыграв три, он сказал: «Вот так», — положил скрипку и опять навалился на бутерброды. Пан Фольтэн взглянул на меня. Я мигом очутился за роялем и довольно храбро исполнил свое «Анданте»; теперь-то я знаю, что в нем было достаточно много цитат из нашего дорогого учителя, но тогда я очень гордился своим опусом № 3. Потом пришел черед нашего гениального Fatty. Он ужасно нервничал и скверно исполнил свою блестящую «Чакону» с великолепной главной темой. Пан Фольтэн не сказал на это ничего. Признаюсь, меня это раздосадовало; конечно, Толстяк играл в тот день препаршиво и при каждой ошибке морщился, будто толстый младенец, который вот-вот заревет, но его «Чакона» была такая кристальная вещичка, что всякий, кто немножко разбирается в музыке... впрочем, кто в ней действительно разбирается?

В общем все обошлось хорошо; пан Фольтэн объявил, что живо заинтересовался нами и с большим тактом вручил нам запечатанные конверты — в каждом оказалось по две новеньких сотни. Он даже сердечно пожал нам руки и пригласил зайти через месяц — сыграть что-нибудь новое. Мы шли домой вне себя от восторга: у нас был свой меценат, а денег, по нашим понятиям, просто куры не клевали, и вообще все небо пело тысячами скрипок, только Ладичек все возвращался горестной мыслью к своей горничной. Мальчики, вспоминал он, вы заметили, какие на ней были туфельки? А наколка? Интересно, что, когда мы пришли туда во второй и в третий раз, она показалась нам далеко не такой красоткой, а еще удивительней было то, что с двумя сотнями в кармане нам жилось ничуть не лучше, чем без них. Как это получается, понять не могу.

Спустя месяц мы нагрянули снова, неся под мышкой несколько нотных листов: сочинения, посвященные маэстро Бэде Фольтэну. Ладичек написал фанданго для скрипки в сопровождении фортепьяно, я сочинил музыку к од-

ному стихотворению, а Fatty принес маленькое романтическое «Рондо» для фортепьяно. Пан Фольтэн искренне обрадовался; он сам сел за рояль и проиграл мою поэму, мурлыча при этом мотив; он сыграл и Микешево «Рондо», одобрительно кивая головой. Играл он непрофессионально, но бегло и с музыкальным чувством. Потом мы с Ладей исполнили фанданго; Ладичек неожиданно добавил чертовски удачную импровизацию pizzicato a la guitarra, и пан Фольтэн просто сиял.

— Хорошо, юноши, — сказал он, — вы меня радуете.

Потом он заговорил о сочинении музыки.

— Я думаю, юноши, неправильно писать только то, что приходит тебе в голову; я бы дал молодому композитору задание: теперь, дескать, покажи, на что ты способен. Для творческих порывов у тебя еще будет время, когда ты найдешь свой стиль.

Он задумался, а потом сказал:

— Вот если бы вы все трое разработали одну тему, это было бы очень интересно. Я бы лучше вас узнал и мог бы посоветовать, в каком направлении работать.

Он провел рукой по лбу.

— Ну, например... например, маленькая увертюра: ночь в воинском стане. Как перед битвой. Сильный музыкальный образ, не правда ли?

Толстяк выпучил глаза.

— А... звезды светят?

Пан Фольтэн прикрыл глаза рукой:

— Нет. Скорее, как перед грозой. Я вижу огненные молнии на горизонте. В стане гремят барабаны и трубят стражи...

— А какое это войско? — сдержанно спросил Ладичек.

— А что?

— Ну, как же — какие инструменты выбрать?

— Правильно, — согласился пан Фольтэн и одобрительно кивнул. — Ну, скажем, войско царя Навуходоносора, а? Это было бы чрезвычайно экзотично.

— Но ведь это ж были язычники!.. — сокрушенно пробормотал Fatty.

Пан Фольтэн взглянул на него с удивлением:

— И вам это мешает?

Fatty покраснел, и вид у него стал совсем несчастный.

— Да нет, просто я про них ничего не знаю, — проговорил он, заикаясь. — Если б там хоть звезды были!.. Звезды еще можно выразить!

— Творчески мыслящий художник может представить себе все, — заметил наш меценат. — Но я вас не принуждаю. Просто мне пришла в голову такая идея.

На этот раз в конвертах оказалось уже по три сотни, но, к нашему изумлению, их хватило ровно на столько же, на сколько и двух предыдущих. На деньгах, видно, лежит какое-то проклятие: сколько ни получай, все мало.

Разумеется, мы принялись за стан Навуходоносора, чтобы доставить пану Фольтэну удовольствие. Ладичек, не долго думая, решил, что нужно сделать «нечто сарацинское», и начинил партитуру турецким барабаном и литаврами; протяжный отдаленный вой должен был символизировать «пение муэдзина» (Ладичек упорно говорил «музеин»). У меня получилось что-то вроде лирического ноктюрна с робким намеком на вечерний зов трубы; зато Fatty до глубокой ночи потел над навуходоносорским станом и в отчаянии рвал на себе волосы, потому что у него не выходили «огненные молнии на горизонте». «Все у меня там звезды получаются, — твердил он безнадежно, — без звезд какая ночь, — это не ночь, а пустая черная дыра!» В конце концов родилось короткое героическое «Largo» для фортепьяно, — пожалуй, лучшая вещь из всего написанного Микешем до той поры. Но с военным лагерем это «Largo» имело мало общего.

Наш любезный меценат был очень доволен. С очками на носу он изучал наши творения, беззвучно шевеля губами.

— Недурно, — бормотал он одобрительно, склонившись над партитурой Ладиi, — вот этот шакалий мотивчик — хорошая идея.

Ладичек пнул нас ногой под столом, чтобы мы не заикались о «музеине». У меня пан Фольтэн похвалил вечернюю зорю, но, пробежав глазами «Largo», нахмурился и стал ковырять в ухе зубочисткой.

— Холодновато, — произнес он. — И нет масштабности.

— Да, — прошептал уничтоженный Fatty.

— Послушайте, — вдруг решил пан Фольтэн, — вам,

наверно, больше по душе всякие там пасторальки. Представьте себе стадо овец... юный пастух играет на свирели песнь любви...

— Да-да, — еле слышно прошептал Fatty, преданно моргая, но на его пухлых щеках был написан ужас, и пот у него выступил на лбу при одной мысли о стаде овец и пастушеской песне любви. Ладе задали торжественный марш языческого военачальника. Это будет примерно так, с готовностью отозвался Ладичек и забарабанил по столу варварский марш. Мне пан Фольтэн выдал какие-то стихи, чтобы я положил их на музыку. Кажется, хор женщин, оплакивающих ужасы войны. Стихи мне показались чудовищными. На каждом шагу: «О, горе, горе!» — и тому подобное. Но рука пана Фольтэна на сей раз была еще щедрее, и мы постарались угодить ему, как только могли.

— Знаешь что, Fatty, — говорю я, — давай я тебе сделаю стадо овец со свирелью и песнь любви; всякие «бе» да «ме» и мечта любви — это как раз по моей части. А ты за это положи на музыку «О, горе, горе!» Ты ведь прямо создан для «О, горе!» и хора жен и матерей, а пан Фольтэн не догадается, кто что писал.

Песнь любви получилась у меня такая, что добродетельный Fatty только краской заливался — такое это было воркование и страстные стоны.

— Послушай, — защищался он, — я не могу ему это отдать, он меня засмеет. Разве похоже, чтоб я мог такое сочинить?

Зато с каким совершенством сконтрапунктировал он «О, горе!» в виде cantus firmus; многоголосие оттенялось легким эхом, и все завершалось протяжной монотонностью звучащих в унисон альтов — прямо мороз подирал по коже.

Когда мы сдали пану Фольтэну работу, он не скрыл своего удовлетворения; только на Fatty глянул поверх моей пасторали почти с укором.

— Холодная музыка, — произнес он с сожалением. — Разработка отличная, но нет страсти.

— Да, — промямлил несчастный Fatty.

Видно, наш меценат решил к нему придираться!

— Вы еще не любили, не так ли?

— Нет, — прошептал Fatty покаянно.

— Это плохо, — заявил пан Фольтэн. — Артист должен, *должен* любить — страстно, безудержно, дионисийски...

— Да, — снова выдохнул Fatty и в ужасе заморгал глазками; он, видимо, боялся, что к следующему разу наш меценат потребует от него доказательств безудержной страсти. Вместо этого ему всего-навсего была поручена тема «девы, идущей с амфорой к колодцу». У Fatty отлегло от сердца — тема была как раз для него. Мне достался речитатив герольда, возвещающего о войне, а Ладе — любовный дуэт пастуха Эзрона с какой-то Юдифью. Дуэт сочинил я, Ладичек обработал герольда, потому что любил фанфары; он ввел туда шесть трубачей — шесть труб, голубчик, наслаждался он, это уже кое-что!

Пан Фольтэн чуть ли не обнял нас, когда мы принесли ему свои партитуры. Он был прямо по-отечески счастлив.

— Эти листы, юноши, я спрячу до тех дней, когда вы станете великими музыкантами. Я вижу, вы делаете успехи.

Мы его и правда любили. Он был великодушен и обожал музыку — чего еще требовать от человека? Он стал расспрашивать нас, как мы живем, с кем встречаемся, и тому подобное.

— Так нельзя, юноши, — решительно объявил он, — придется мне ввести вас в свет. Большой художник должен уметь держаться и в самом высшем обществе. Он должен быть как князь. Настанет время, когда вы будете сидеть за одним столом с королями и любить благороднейших принцесс...

Fatty глаза вытаращил от ужаса, зато Ладичек только подмигнул, будто хотел сказать: что до принцесс, так я хоть сейчас.

— Так вот, — продолжал пан Фольтэн, — у меня почти каждую неделю собирается музыкальное общество. Выдающиеся артисты, интеллектуалы, критики... Совершенно интимное общество, но вам эти люди могли бы быть полезны, а? Вы приобретете ряд знакомств — артисту это не помешает. По крайней мере, вам откроется путь к успеху. Какие у вас костюмы, юноши?

Оказалось, что все лучшее было на нас.

Пан Фольтэн критически осмотрел нас и сморщил нос.

— Нет, это не годится, — сказал он. — Знаете что, я закажу для вас отличные смокинги. А вы придете ко мне на вечер и сыграете что-нибудь из своих сочинений. Решено? Это для вас — лучший старт в жизнь.

Он был явно рад, что может оказать нам и такую услугу. Он направил нас к первоклассному портному и велел прийти показаться ему, когда все будет готово.

Ну, что ж, мы пришли. Был знойный летний день, и нам чудилось, что все оборачиваются на трех молодых людей, шествующих по улице среди бела дня в вечерних костюмах. Высокий Ладик шел небрежно, словно прекрасный благородный принц, я чувствовал себя как в день конфирмации, а несчастный Fatty потел и надувал щеки, будто его ведут на казнь, а смокинг нестерпимо жмет под мышками. Пан Фольтэн всплеснул руками при виде наших сорочек и ботинок.

— Юноши, это не годится, — заявил он. — Вы должны купить себе приличные галстуки-бабочки, сорочки и лакированные туфли; в следующий четверг приходите сюда в восемь часов вечера, соберется общество. Я буду рад, если вы исполните композиции, которые посвятили мне.

Ладно, мы явились в полной сбруе, как только часы пробили восемь: Ладичек, небрежный, как князь, я, торжественно взволнованный, и Fatty Микеш — весь одеревеневший от страха. Мы позвонили, и нам открыл двери лакей в шелковых чулках и напудренном белом парике.

— О господи, — только и выдохнул Микеш, но Ладик прошел в двери величественно, будто у него самого дома был десяток лакеев, и откуда только у скрипачей такие повадки?

В передней было пусто.

— Господа — музыканты? — опросил лакей. — Пожалуйте сюда, я о вас доложу.

Он завел нас в маленькую комнатку и оставил одних любоваться друг другом. Через некоторое время появился пан Фольтэн в коричневом бархатном сюртучке и с развевающимся галстуком.

— Привет, привет, юноши, — произнес он рассеянно и скороговоркой, — я сейчас распоряжусь, чтоб вам дали поесть.

И исчез.

Вскоре в комнату вплыла горничная с подносом.

— Вам надо поесть, — объявила она.

Ладик с бутербродом в зубах начал приставать к служанке. Она принимала это как нечто вполне естественное и лишь попискивала: «Ах вы, такой-сякой» или «ах, оставьте, что это вы, право», — и тому подобное. У Микеша, видно, горло перехватило — он не мог есть, а я, младший член нашего трио, был смущен непонятно отчего. Когда горничная удалилась, показав Ладику язык, Ладичек, высоко подняв брови, заметил:

— Братцы, похоже на то...

— На что? — спросил Fatty сдавленным голосом.

Ладичек пожал плечами:

— Я бы лучше пошел домой.

Тут в дверях возник лакей:

— Маэстро Фольтэн вас ожидает.

Мы гуськом поплелись за ним. В большом салоне стоял пан Фольтэн в своем коричневом сюртучке, а рядом с ним — не очень красивая, будничная, неуверенно улыбающаяся пани.

— Дорогая моя, — обратился к ней пан Фольтэн совсем по-рыцарски, — позвольте мне представить вам моих юных друзей.

Мы промямлили что-то насчет особой чести и по очереди приложились к ее короткой, мягкой руке. А пан Фольтэн уже радостно приветствовал первого гостя.

— Проходите, проходите, — восторженно восклицал он, — будьте как дома!

Потом появился второй, третий гость; пан Фольтэн уже не обращал на нас никакого внимания. Ладик толкнул меня локтем:

— Смотри, никаких смокингов!

Мы трое стояли в углу черным островком, в то время как радушный пан Фольтэн у дверей издавал приветственные клики, а его пани, неуверенно и мило улыбаясь, подавала входящим руку. Гости входили один за другим и, бросив на нашу черную группку вопрошающий отчужденный взгляд, упругой походкой направлялись в соседний салон, где, по-видимому, находился буфет. Чем дальше, тем пуще обливало нас жаром: в смокингах не было никого. И никто с нами не разговаривал.

— Что нам делать? — прошептал я.

— Подожди, — зашипел Ладичка и ткнул в ребро Fatty, который стоял в оцепенении, будто коротенький толстый идол. — Слушай, да пошевелись ты хоть немножко.

Fatty и впрямь моргнул и начал дрожать.

— Нам бы надо рассредоточиться, — зашептал Ладик в ярости, — чтобы мы не так бросались в глаза.

— А как? — выдохнул совсем потерявшийся Fatty.

Страдания его, по-видимому, достигли предела, и он готов был расплакаться — от унижения или еще от чего; его детские губы кривились и дрожали. Ладичек побледнел и нахмурил брови. В ту минуту он выглядел великолепно. Как раз в этот момент пан Фольтэн провожал в буфет какую-то знаменитость, если судить по восторгу, какой источал хозяин, Ладичек сделал два шага вперед и слегка поклонился.

— Позвольте, сударь, — сказал он громко, — представить вам композитора Микеша.

Знаменитость растерянно взглянула на нас, а бедняжка Fatty в испуге отвесил поклон, будто мешок муки наклонился. Пан Фольтэн покраснел и глотнул слюну.

— Да-да, — промолвил он поспешно и нервозно, — очень способный композитор. А это... пан... пан... пан Прохазка.

Ладичек протянул знаменитости руку с бесстыдством урожденного принца.

— Очень приятно, сударь...

— Кто это был? — прошептал вновь остолбеневший Fatty.

— Почем я знаю, — отвечал Ладик равнодушно я хмуро.

Пан Фольтэн, выйдя из буфета, сразу направился к нам.

— Господа, — сказал он с тихой яростью, — не забывайте, что вы здесь не гости, а... а...

— ...нанятые музыканты, — спокойно подсказал Ладик. — Извольте.

Пан Фольтэн повернулся на каблуках и поспешил к дверям. Большая гостиная постепенно заполнялась группками гостей, возвращавшихся из буфета.

— Пошли, братцы, — шепнул Ладичек, — в музыкальный салон!

Рояль фирмы Стейнвей был уже выдвинут на середи-

ну комнаты, и на нем лежала темно-коричневая миттенвальдская скрипка. И наши сочинения с любовно выведенным посвящением маэстро Бэде Фольтэну. Понятно, это был бунт челяди, но мы ничего не могли с собой поделать. Мы грянули внезапно тра-ля-ля, тру-лю-лю, фу-ты ну-ты, — мы с Fatty в четыре руки за роялем, Ладичек со скрипочкой под подбородком — короче, первоклассная пошлятина из ночного кабаре; Fatty радостно скалился, а Ладик кружился и приплясывал, ни дать ни взять — заправский цыган-премьер, даже прядь волос на лоб скинул, шельма. В дверях показались изумленные лица. Мы забренчали еще пуще, а Ладичек надувался прямо на глазах и кланялся, будто собираясь играть гостям «на ушко». Но тут в салон ворвался пан Фольтэн и захлопнул за собой двери. Он был бледен и трясся от бешенства.

— Вы рехнулись, вы... вы...

— Простите, сударь, — промолвил Ладичек, удивленно поднимая брови, — разве мы не ваш домашний оркестр?

Не прошло и минуты, как мы очутились на улице; но нам полегчало. Утром мы отправили пану Фольтэну наши новые наряды; только мстительный Ладик предварительно раздобыл свечку, чтобы закапать смокинг воском.

* * *

Тогда у нас было такое чувство, что мы обманулись в своем меценате. Но с тех пор нам как музыкантам пришлось кое-чего хлебнуть, и все это было не намного лучше. Впрочем, пан Фольтэн тоже в нас обманулся: никто из нас не стал композитором. Наш бедный Fatty, наш гениальный Микеш, вскоре умер от болезни Паркинсона — осложнение после гриппа, Ладичек Прохазка исчез где-то в России, а я стал, как пишут на афишах, «партия фортепьяно — В. Амброж».

VIII
ДВА ПРИМЕЧАНИЯ

В рассказе пани Карлы Фолтыновой проскользнуло упоминание о двух лицах, сыгравших некоторую, хотя и эпизодическую, роль в жизни и творчестве Бэды Фоль-

тэна. По вполне понятным причинам мы не могли обратиться к ним с просьбой рассказать о своих встречах с покойным композитором; те немногие сведения, которые нам удалось прямо или косвенно получить об этих лицах, мы помещаем здесь для сохранения последовательности и связи событий.

Первая из них — «заграничная певица», как ее назвала пани Карла Фолтынова. Когда-то она действительно была одной из самых прославленных оперных звезд, и о ее капризах примадонны, ее романах, драгоценностях, полученных гонорарах и разорванных контрактах ходили невероятнейшие слухи. В ту пору, когда она гастролировала на нашей сцене, слава ее уже угасала; артистке было далеко за пятьдесят, а Бэда Фольтэн едва переступил рубеж тридцатилетия. Тем не менее она сохранила свою женскую привлекательность, и ее выступления не кончались провалом, как намекает пани Фолтынова: ее актерское мастерство все еще производило сильнейшее впечатление.

Автор этих строк сам присутствовал в театре, когда она в ту гастрольную поездку пела в «Кармен». В антракте я встретил в фойе Бэду Фольтэна.

— Как она вам понравилась? — спросил я его.

Фольтэн скорчил гримаску.

— Никак, — сказал он сухо. — Слишком стара.

— Еще бы, — говорю я, — вы только посчитайте: она уже была знаменита, когда стала любовницей...

И я назвал одного из крупнейших в мире оперных композиторов, который уже лет двадцать как покоился в могиле. Такое говоришь не по мерзости характера, а просто потому, что трудно удержаться от соблазна.

Бэда Фольтэн выпучил на меня глаза.

— Неужели? Но это потрясающе! Откуда это вам известно?

— Да это всем известно, — сказал я. — А потом у нее был такой-то, а за ним такой-то... — И я назвал одну владетельную особу, великого тенора и знаменитого писателя. На Фольтэна это явно произвело огромное впечатление.

— Послушайте, она, должно быть, сказочная женщина! — воскликнул он с восхищением. — Я хотел бы с ней познакомиться!

Когда занавес опустился, я увидел, что Фольтэн стоит в первом ряду кресел; он аплодировал как безумный, чуть не падая в оркестровую яму. Он остался там почти в полном одиночестве, продолжая яростно аплодировать, и дождался-таки, что прославленная примадонна особо ему поклонилась и послала воздушный поцелуй.

Через два дня она уехала с ним куда-то в Альпы; она должна была выступать в «Мадам Баттерфляй» или в чем-то еще, но это была очередная из ее широко известных эскапад. А еще через три дня ко мне явился Бэда Фольтэн, уничтоженный и в таком волнении, что у него даже подбородок дрожал мелкой дрожью.

— Прошу вас, — зашептал он, — пожалуйста, позвольте мне пожить у вас несколько дней; я еще не хочу возвращаться домой...

Я всплеснул руками:

— Как, эта старая Венера вас уже вытурила?

Он покраснел и оскорбленно нахмурился.

— Ну, что вы, — процедил он сквозь зубы, — она в меня впилась с такой страстью... Жуткая особа! Вот увидите, она еще за мной приедет... Я не хочу, чтобы она меня разыскала.

— Фольтэн, — говорю я, — зачем вы с ней, собственно, убежали?

Губы его дрогнули, он с усилием глотал слюну:

— Я думал... я думал, в ней бог знает что... Вы же сами говорили, кто ее любил!..

Он прожил у меня с неделю. По некоторым намекам и отдельным вырвавшимся у него репликам я понял, что они сняли виллу где-то на берегу Вольфгангзее, но чтя в первую же ночь у них разыгрался жуткий скандал, и неукротимая оперная богиня обрушила на голову Фольтэна целый сервиз хрусталя. Наутро она отбыла — кажется, в Италию, — а Фольтэн потихоньку вернулся домой.

Собственно, мне было жаль его. По-моему, у него это было отнюдь не то, что называется любовным помешательством, а скорее своего рода честолюбие: он желал ее, потому что она была любовницей одного из величайших композиторов, какого-то короля и прочих знаменитостей, а может, потому, что сама была знаменитостью, — кто знает? Я иногда думаю, что хотя бы таким путем он хотел стать чем-то вроде преемника того блестящего музы-

канта и композитора, который некогда ее любил. Быть может, он считал, что такой удел достоин великого артиста — опалить себе пальцы в этом почти историческом пламени. Спустя годы он любил показывать пятнышко, оставшееся у него на шее после золотухи, поясняя, что это след удара кинжалом. Из ревности, мол. А затем таинственно намекал: это память о божественной N — знаете, та, что была возлюбленной знаменитого композитора... Он и мне рассказывал эту версию: наверно, забыл, что мне сей эпизод известен несколько более подробно.

* * *

Другая личность, которую упомянула в своих воспоминаниях пани Фолтынова, — «слепой Каннер». Речь идет, по всей вероятности, о Ладиславе Каннере, который ныне исчез с наших горизонтов, но в свое время был хорошо известен в определенных музыкальных кругах и среди завсегдатаев пражских ночных заведений. Он и в самом деле был почти слеп и действительно был музыкантом, но где он учился играть, никто не знает. Он фанатически ненавидел консерваторию и презирал «ученых господ музыкантов»; стоило указать ему на кого-нибудь, сказав, что это — «господин из консерватории», как он впадал в такую ярость, что мог бы его задушить. Каннер был низенький, плешивый и чудовищно нечистоплотный, лицом похожий не то на Верлена, не то на Сократа. Жил он где-то за Ольшанским кладбищем в дощатой конуре, где, разумеется, не было никакого рояля, да и вообще ничего не было; на что он существовал, неизвестно, но около полуночи его всегда можно было найти в каком-нибудь из кабаков от Жижкова до Коширж, если там служила хоть одна толстая буфетчица и стояло какое-нибудь, хоть самое разбитое, пианино. К этому времени он бывал уже вдрызг пьян и нес ахинею, бессмысленно тараща остекленевшие, невидящие глаза. Время от времени он поднимался и шел к роялю поиграть; когда он был пьян, то всегда ходил играть, как иные ходят в уборную, — у него это было что-то вроде неутолимой, настоятельной и нечистой потребности излиться. Иногда он зло и едко пародировал сочинения «господ музыкантов» (и где только он при своем образе жизни мог их слышать?), иногда для собственного удовольствия играл неистовые и темные

импровизации, порой играл по заказу, за деньги; но никогда не исполнял чужих пьес или песен. Когда ему говорили: «Каннер, сыграй мне вальс из «Кавалера *роз*», — Каннер, скрипя остатками коричневых зубов, сипел: «Каннер не играет!» Ему нужно было говорить так: «Каннер, сыграй мне, что плевал я на весь мир. Каннер, сыграй-ка, что мне нужно прикокнуть свою девчонку, эту шлюху потасканную. Каннер, сыграй что-нибудь непотребное». И Каннер тут же начинал играть. Я сам не музыкант, хотя музыку люблю чрезвычайно; но однажды я нарочно привел в ночной бар, где Каннер выколачивал музыку из рассохшегося пианино, одного большого дирижера. Дирижер слушал Каннера в таком напряжении и лихорадке, что лицо его все время искажалось гримасой, как у безумца. «Этот тип — гений! — хрипло шептал он, с силой сжимая мне руку. — Это животное даже не может понять, что играет! *Постойте*, — и снова по лицу его пробежало что-то похожее на нервный *тик*, — постойте, что это?.. Господи боже, вот свинья! Вы слышите, вот сейчас... сейчас...» А Каннер отрывисто ржал, бесстыдно раскачивая свою пульсирующую варварскую рапсодию. «Еще! И еще!» — скрипел и скрежетал он и как одержимый подпрыгивал на табуретке. «И еще! Вот так!»

Я не мог удержать моего дирижера; он вскочил, пошел к Каннеру и сунул ему тысячу крон.

— *Свинья*, — сказал он, бледный от *волнения*, — а теперь вы будете играть то, что пристало играть такому великому и гениальному музыканту, как вы, скотина!

Каннер поднялся, весь синий и ощетинившийся; я думал, он бросится на моего дирижера и станет его душить, но он только пятился и, заикаясь, повторял:

— Каннер не играет! Каннер не играет!

Дирижер взял его за ворот.

— Каннер! — сказал он грозно.

И вдруг Каннер начал как-то чудно и жалко усмехаться.

— Я знаю, — вымолвил он, внезапно отрезвев, — вы *такой-то*. — И он назвал имя великого дирижера. Как этот полуслепой человек узнал его — не понимаю.

— Ну так как? — процедил дирижер сквозь зубы. — Услышим мы что-нибудь пристойное?

Казалось, Каннер сейчас рухнет на колени.

— Прошу вас, маэстро... прошу вас, — хрипел он, — прошу вас, нет... Перед вами — нет!

— Почему?

Каннер дрожал, как лист.

— Я скот, маэстро... Я уже не сумею... Пожалуйста, отпустите меня!

— Пойдем посидим вместе, Каннер, — сказал дирижер. — Можешь говорить мне «ты». Я тоже ведь немножко понимаю в музыке, а?

Это был странный вечер. Каннер, едва ворочая языком, в порыве отчаянного, фанатического обожания не спускал с дирижера своих выпученных глаз, подернутых зеленоватой пленкой бельма. Когда звучало имя Баха, или Бетховена, или Сметаны, или другое подобное имя, он ударялся лбом о край стола и невнятно бормотал:

— Маэстро, я недостоин.

Потом все как-то смешалось; за нашим столом очутился какой-то маляр, и все мы были на «ты».

— Я тоже мастер, — кричал маляр. — Каннер, играй!

— Каннер, — сказал дирижер, — сегодня я тебе буду играть. — И сел к роялю. — Ты это помнишь? — Каннер все бился головой об стол и всхлипывал: «Недостоин». — Ты это помнишь, Каннер? А это? Это Глюк. А это? Это Гендель...

Маэстро не был особенно хорошим пианистом, но память у него была отменная.

— А этого Баха тоже знаешь? Погоди, сейчас будет то место. Ты слышишь, Каннер?

Было похоже, будто он служит сумбурную и сумрачную мессу за погибшую человеческую душу. Или изгоняет бесов. Он был бледен, волосы у него торчали в разные стороны, по лицу пробегал нервный тик; я никогда не видел, чтобы он так сурово и самоотреченно отдавался музыке.

— Каннер, вот сейчас, слушай! Ты слышишь это? Друг! Боже, какая музыка! Каннер, ты все еще недостоин?

А Каннер в отчаянии мотал головой.

Под утро я провожал дирижера. Он был мрачен, как черт.

— Жаль окаянного пропойцу, — брюзжал он безнадежно. — У него в одном мизинце больше музыки, чем у меня в обеих руках!

А маэстро был не из тех, кто мало себя ценит.

* * *

Я напомнил этот незначительный эпизод лишь для того, чтобы стало ясно, каким человеком был Каннер. Тем более удивительно, что он сошелся с Бэдой Фольтэном, или, вернее, Фольтэн с ним. Для всех тех, кто знал элегантного, ухоженного Фольтэна с его шикарной гривой, моноклем в глазу и золотой цепочкой на запястье, Фольтэна светского и возвышенного, навсегда осталось загадкой, почему он терпит рядом с собой эту жалкую человеческую развалину, и не только терпит, но и пытается завязать с Каннером самые близкие отношения. Они появлялись вместе в дешевых кабачках, где играл Каннер; обычно после этого Фольтэн грузил его в экипаж и вез к себе домой. Фольтэн намекал, что пытается спасти Каннера нравственно и как художника, но при этом напаивал его до бесчувствия и даже сам как-то опустился, будто и он подвергся каннеровскому разрушительному воздействию. Фольтэн явно и даже демонстративно пренебрегал собой, словно ему хотелось выглядеть легкомысленным и слегка помятым представителем богемы. Он страстно поддакивал Каннеру, подогревая его презрение к ученым господам музыкантам. «Музыка должна быть вот где, — восклицал он, ударяя себя в грудь, — а не в школьном свидетельстве; Каннер, мы им еще покажем, этим буквоедам! Человек должен быть обуян музыкой, — кричал он, сверкая глазами, — творчество — это бешенство и упоение!»

В ответ на это Каннер мотал головой и что-то каркал невпопад. Фольтэн загружал его в экипаж, и они отбывали. Странная парочка.

Некоторое время спустя они разошлись — почему, не знаю. Встречаю я как-то Фольтэна — снова светского, надушенного и с моноклем — и спрашиваю, как поживает Каннер. Он нахмурился и сморщил нос.

— Невозможный тип, — проворчал он с неприязнью. — Пропащее дело. Я пытался его спасти, но...

И он безнадежно махнул холеной рукой с золотой цепочкой на запястье.

А потом как-то ночью я встретил на улице Каннера, разумеется, пьяного, и спросил его, между прочим, о Фольтэне. Он понес какой-то вздор, что будто Фольтэн хотел его зарезать. И все поминал какую-то Юдифь.

— Юдифь-то моя была, — твердил он, — и он не имел права... не имел права... плевал я на его деньги, сударь! — злобно скрипел он. — Передайте ему это, сударь! И еще скажите, что я ему свою Юдифь не отдам!

Я сначала подумал, что он говорит об опере, о которой столько распространялся Фольтэн, но потом вспомнил, что в одном кабачке, куда они вместе ходили, была черноволосая буфетчица, которую они называли Юдифь, великая грешница. По-моему, они оба за ней ухлестывали, во всяком случае, Каннер был от нее без ума, однажды я слышал, как он там импровизировал «Песнь о Юдифи», — этакий необузданный сексуальный порыв или нечто в этом роде; я жалел только, что этого не слышал маэстро дирижер. Возможно, они разошлись из-за этой Юдифи; однако воспоминания пани Фолтыновой, пожалуй, свидетельствуют в пользу первого предположения.

Как уже говорилось, Ладислав Каннер вскоре после того исчез; он просто перестал появляться в привычных кабаках; прежде чем его собутыльники о нем вспомнили, немало воды утекло, и Каннер пропал бесследно. У каждого поколения артистов есть свои чудаки; но этот помешанный и полуслепой музыкант исчез слишком рано, чтобы занять достойное место хотя бы в хронике своего времени.

IX

Ян Троян

ИНСТРУМЕНТОВКА «ЮДИФИ»

Мои встречи с покойным паном Фольтэном продолжались недолго и носили, собственно, деловой характер. Как-то оп пришел ко мне в оперу, где я работал консультантом по вокалу, с особой просьбой: помочь инструментовать его оперу «Юдифь», которая была уже совсем го-

това. Он сказал мне, что он самоучка, играет с детства и страстно любит музыку, но обстоятельства не позволили ему поступить в консерваторию.

— Возможно, — сказал он мне, — я больше поэт, чем музыкант; меня увлек сюжет «Юдифи», и я задумал было написать драму. Но я не мог ничего с собой поделать; каждая сцена, которую я писал, каждый диалог, который я создавал, неумолимо и властно вызывали в моем сознании музыкальный образ. Вместо речи я слышал пение.

Он беспомощно пожал плечами.

— Я был просто вынужден писать это в виде музыкального произведения. Мало-помалу оно росло само, музыка и текст. Сейчас я вчерне закончил работу и не знаю, что делать дальше. Все-таки мне не хватает некоторых технических, я бы сказал, ремесленных, навыков — например, в оркестровке...

— Простите, сударь, — сказал я ему, — в искусстве нет ничего ремесленного. Искусство целиком должно быть совершенным ремеслом и целиком должно быть искусством. Так непозволительно говорить, сударь, — заметил я ему, — оркестровка отнюдь не ремесло. Взгляните на Берлиоза, сударь. Или перечитайте партитуру «Дон-Жуана», какое же это ремесло! Нет, так не годится, сударь; тогда нам с вами не о чем разговаривать...

Он стал извиняться, что, дескать, не то имел в виду, просто он вполне отдает себе отчет в том, как остро не хватает ему определенного технического опыта и знания законов музыки; ему нужны только некоторые указания или советы, которые помогли бы ему в дальнейшей работе, и потому он обращается ко мне; вслед за этим он предложил мне гонорар, который удивил меня своею щедростью.

— Нет, так нельзя, пан Фольтэн, — сказал я ему, — я не могу это принять. Я могу давать вам уроки, пока вы не найдете кого-нибудь получше; я бы рекомендовал такого-то и такого-то. — И я назвал ему нескольких хороших музыкантов. — Я больше специалист по вокальным сочинениям, — сказал я ему, — но даю и уроки. Столько-то и столько-то в час. Однако советую вам позаниматься у кого-нибудь другого, если вас интересует инструментовка. Инструменты — не моя специальность, пан Фольтэн, мне

достаточно человеческого голоса. Вряд ли я буду вам полезен.

— Но мне нужна именно ваша помощь, — сказал о н . — О вас все говорят, что вы исключительно строгий и взыскательный музыкант. А мне как раз не хватает дисциплинированности, — сказал о н . — Я опасаюсь, как бы мое музыкальное проявление не стало слишком беспорядочным. Признаюсь, я немножко варвар. Я з н а ю , — сказал он, — у меня переизбыток творческой силы и воображения; но я не вполне уверен, что в моем произведении есть истинный и стройный порядок.

— Это не годится, пан Ф о л ь т э н , — сказал я е м у , — порядок должен быть в вас самом. Знаете что, я взгляну на вашу оперу, но я не смогу научить вас ничему такому, чего не было бы в вас самом. Весьма сожалею, но, простите, это абсолютно исключено. Такой библейский сюжет, как «Юдифь», — сказал я, — это очень серьезная вещь, пан Фольтэн. Хотя это и апокриф. Я сам пытался сочинять на темы псалмов, сударь, и знаю, что это такое. Трудно. Очень трудно.

Мы договорились, что я приду к нему домой и он проиграет мне главные темы своей « Ю д и ф и », — тогда мы все и обсудим. Я пришел к нему, как мы условились; пан Фольтэн принял меня весьма сердечно и тут же заговорил об общей концепции «Юдифи».

— Прошу вас, не н а д о , — сказал я е м у , — сначала сюжет и сразу же извольте проиграть. Кусок за куском, пан Фольтэн, строчку за строчкой. Чего нет в строке, того нет и в концепции.

— Как х о т и т е , — сказал о н . — Тогда начнем с увертюры у ворот Бетилуи. Представьте себе пастушеский пейзаж, любовный напев свирели. Утро, и дева Юдифь с кувшином идет к колодцу за водой.

— За ворота? — сказал я. — Но это ошибка: в укрепленных городах колодцы всегда были внутри стен, сударь. Так не годится.

— Но это, мне кажется, несущественно, — возразил пан Ф о л ь т э н . — Ведь мы говорим о музыке, а не об истор и и . — Вид у него был р а з д р а ж е н н ы й . — Ну, затем входит герольд Олоферна с трубачами и призывает город Бетилую сдаться. Город отказывается. Потом трубы трубят тревогу и хор женщин скорбит по поводу начала войны. Это увертюра.

— Извольте проиграть, — сказал я. — Для музыки всего этого даже многовато.

Играл он не очень чисто, но достаточно бегло. После пассажа с девой у колодца он остановился.

— Здесь у меня нет перехода к трубам и герольду, — извинился он. — Я не знаю, как от пасторали перейти к фанфарам.

— Но вы должны это сами знать, пан Фольтэн, — сказал я. — Вы должны знать, что там у вас происходит. Но, пожалуйста, играйте дальше!

Он продолжал и сам напел арию герольда. Потом снова остановился.

— А теперь город отказывается сдаться Олоферну. Этого у меня еще нет. А теперь сигнал тревоги, — сказал он и ударил по клавишам, — и плач женщин.

Вся эта сцена длилась восемнадцать минут.

— Пан Фольтэн, это не годится, — сказал я. — Абсолютно не годится. Вы можете все выбросить и начать сызнова.

Он был уничтожен и судорожно глотал слюну.

— По-вашему, это так плохо?

— Плохо, — сказал я. — Мне очень жаль, но приходится это сказать. По большей части у вас там все хорошие вещи, но все вместе очень плохо. Ваша пастораль — это Дебюсси, но пастух со свирелью совсем сюда не подходит — это пастух в стиле рококо. А рококо здесь никак не может быть: ведь библейский пастух — это кочевник, сударь, кочевник, вооруженный копьем! Музыкант должен думать! Дева с кувшином хороша, это почти классика. Чистая работа, но свирель с ней не сочетается — в свирели есть что-то от фавна. Этому там не место, сударь, нечисто звучит и как-то несерьезно. Словом, это абсолютно исключено. Фанфары — это Верди, «Аида». Ловко скомпоновано, с блеском, драматично и эффектно, только я бы этого сюда не вводил — тут бы нужно что-нибудь более строгое. Тревога в городе — вообще плохо. Это, извините, веризм, натурализм, в общем — не музыка. Дальше у вас там хор женщин на слова «О, горе, горе». Очень хороший хор, пан Фольтэн. Просто отличный. Его даже жаль включать в оперу. Лучше сделать самостоятельное вокальное сочинение. Я бы на вашем месте, пан Фольтэн, оставил оперу. Опера — не чистый жанр. Это театр и еще

многое другое. Это не чистая музыка. Вы могли бы писать чистую музыку, — вот, например, дева у колодца или хор женщин. Не знаю, что вам сказать еще...

Он слушал, тихонько касаясь клавиш.

— Наверное, вы правы, — сказал он с усилием. — Во мне всего так много... И я не в состоянии со всем этим совладать, я не могу причесать, пригладить... — Он вдруг встал и пошел к окну. По спине его было видно, что он плачет.

— Послушайте, пан Фольтэн, — сказал я, — так не годится. Нельзя плакать. Искусство не игрушка, чтобы из-за него плакать. Нельзя думать о себе. Важно не то, что есть в вас, а то, что вы из этого сделаете. Желаете сочинять оперу — сочиняйте, но плакать — это, сударь... Тогда я не могу даже тут оставаться. Никаких таких чувств, пан Фольтэн. Искусство — труд. Творчество — это труд, труд и труд. Сядьте-ка к роялю и сыграйте вариации на тему пасторали. Попробуйте ее как «Largo» в мажорном ключе.

Он громко высморкался, как ребенок после слез, послушно сел к роялю и не глядя коснулся клавиатуры.

— Пожалуйста, — сказал он, — не надо сегодня! Сегодня я не могу. Покажите мне сами, как вы это мыслите.

Я не люблю импровизировать, по все же проиграл героическую вариацию на его мотив. Он просто сиял от счастья.

— Недурно, — воскликнул он. — Вы думаете, в таком виде увертюра пошла бы?

— Попробуйте теперь сами, — сказал я.

Он сел к роялю и точно, до последней ноты, сыграл мою вариацию; должно быть, он обладал необыкновенной музыкальной памятью.

— Ну что это такое, пан Фольтэн, — сказал я. — Ведь вы повторили мою вариацию! Попробуйте что-нибудь свое.

Наморщив лоб, он стал играть, но у него опять получилась та же вариация, только он ввел эту противную тему свирели. Я покачал головой. Он перестал играть и сказал:

— Простите, я сегодня не чувствую истинного вдохновения.

— Да вам и не нужно никакого вдохновения, — сказал я. — Музыка, сударь, должна быть такой же точной, как знание. Вы должны знать, чего вы хотите. Размышлять нужно, вы понимаете меня? Никакого вдохновения. Только труд.

Он надул губы, как капризный ребенок.

— Этого я не умею. Я не могу творить по сухому расчету.

— Жаль, — сказал я. — В таком случае я ничему не смогу вас научить, пан Фольтэн. Весьма сожалею, но мне больше у вас нечего делать.

Глаза Фольтэна снова увлажнились.

— Как же мне быть? — шептал он сокрушенно. — Я ведь должен закончить свою «Юдифь».

Он был так по-детски несчастен, что мне стало жаль его.

— Послушайте, пан Фольтэн, — сказал я, — давайте поступим так: я разберу с вами «Юдифь», ноту за нотой, и буду говорить вам, где что плохо или как бы это написал композитор. А вы уж сами сделаете выводы, как и что исправлять, согласны?

Пан Фольтэн согласился, и я начал давать ему уроки.

* * *

Я столь пространно описываю свой первый разговор с паном Фольтэном, потому что из него, я полагаю, вытекает несколько выводов. Во-первых, что Фольтэн и впрямь фатально любил музыку и его снедало желание написать оперу; пожалуй, он выбросился бы из окна, если бы кто-нибудь помешал ему в этом. Во-вторых, он, безусловно, был самоучкой и дилетантом, которого ставило в тупик задание, пустяковое для самого посредственного студента консерватории. В-третьих, — судя по некоторым отрывкам, которые он мне проиграл, — он обладал редким и прекрасным даром. Тем более меня озадачивало и изумляло, что с такими удивительно чистыми композициями, как дева у колодца или хор женщин, у него соседствовали банальные и даже второсортные пассажи, а он совершенно не понимал различия между ними.

Кроме того, я вынес из первого урока убеждение, что мы с паном Фольтэном, к сожалению, никогда не найдем общего языка. Он явно принадлежал к тем художникам,

которые считают искусство каким-то средством самовыражения и самоутверждения, средством, благодаря которому беспредельно проявляется их собственное «я». Я никогда не мог примириться с таким пониманием искусства — не скрою, все личное кажется мне чем-то наносным, замутняющим художественное проявление. То, что есть в тебе, что делает тебя человеком и неповторимой личностью, весь ты — это только материал, материя, но отнюдь не форма; если ты художник, ты обязан не умножать материю, а придавать ей форму и вносить в нее порядок. У меня всегда перехватывает дыхание, когда я читаю в Писании: «В начале сотворил бог небо и землю. Земля же была *безвидна и пуста,* и дух божий носился над водою». Носился в отчаянии, ибо то была лишь материя без формы, материя *«безвидна и пуста».* «И сказал бог: да будет свет! И стал свет». Это следует понимать как первый акт самопознания: материя осознала самое себя в брезжущем рассвете; это начало всяческого формотворения. «И увидел бог свет, что он хорош, и отделил бог свет от тьмы». Сказано: *«отделил».* Это означает: расчленил, отграничил и очистил. «И отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И назвал бог твердь *небом.* И сказал бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится место сухое. И стало так. И назвал бог сушу *землею.* И увидел бог, что это хорошо». Слова эти о сотворении богом *«вначале»* неба и земли, означают именно то, что не само возникновение, а только вот это отделение и упорядочение явилось истинным началом и божественным творческим актом. Я не мастер толковать Библию, я только музыкант и понимаю это следующим образом: вначале ты один, материя безвидная и пустая; ты один, и твое «я», твоя жизнь, твой талант — все это лишь материя: не творчество, а лишь сотворенность. Как бы широко ты ни распахивал свое «я» и ни наполнял свою жизнь — ты все равно не более чем материя, пустынная и хаотичная, над которой дух божий носится в отчаянии, не зная, куда опуститься. Ты должен отделить свет от тьмы, чтобы материя обрела форму; ты должен отделять и отграничивать, чтобы возникли четкие контуры и мир предстал пред тобою в полном свете, прекрасный, как в день своего сотворения. Ты творишь лишь постольку, поскольку придаешь форму материи; творить — значит расчленять

и снова и снова создавать конечные и незыблемые границы в материи, которая бесконечна и пуста. Отделяй, отделяй! Иначе мир твой растечется бесформенной материей, на которой еще не почила милость божия. Ведь уже слушая и глядя, воспринимая и познавая, ты разграничиваешь предметы или звуки; и как же чисто и ясно, строго и умно должен ты их разграничить, если ты творец и пытаешься идти по стопам божьим! Отделяй, отделяй! И пусть творение твое исходит из тебя — все равно его начало и конец заложены в нем самом; его форма должна быть столь совершенно замкнута, чтобы в ней уже не оставалось места ни для чего другого, даже для тебя самого, — ни для твоей самобытности, ни для твоего честолюбия, ни для чего из того, в чем находит себя и упивается собою твое «я». Не в тебе, а в самом себе творение должно иметь свою ось. Все дурное, все нечистое искусство возникает оттого, что в нем осталось что-то личное, что не стало формой и не обрело самостоятельности, — это и не суша, которую бог назвал землею, и не собрание вод, названное морем, но — болото, материя нерасчлененная и пустая. Большинство художников, как и большинство людей, лишь до бесконечности умножают материю, вместо того чтобы придать ей форму; у одних она извергается подобно адской лаве, у других отлагается подобно осклизлому илу на берегах вод; и снова и снова кипит и купится земля безвидная и неискупленная, чающая грозного и прекрасного акта творения. Отделяй! Отделяй! — никогда не потеряет силы и не перестанет устрашать этот строгий закон, закон дня первого.

Ибо и сатана проникает в искусство, стараясь подпортить; вы всегда узнаете сатану, ибо он от природы тщеславен и суетен. Он кичится материей, оригинальностью или мощью; всякая чрезмерность, всякое буйство порождены его пагубным дыханием; любая мания величия, все показное раздувается его нечистой и судорожной гордыней; все, что есть в искусстве дешевого, блестящего, рассчитанного на легкий успех, — это краденые блестки его обезьяньей спеси; все неоконченное и незавершенное — это поспешные следы его лихорадочного нетерпения и вечного ничегонеделания; всякая фальшивая и показная форма — это взятая напрокат маска, которой он тщетно старается прикрыть свою безнадежную пустоту. Всюду, где работает художник, — как везде, где человек

стремится достичь высот духа, — бродит дух зла, подстерегая случай проявить себя, искусить и вселиться в тебя. Сам творить не умея, он стремится овладеть тобой. Чтобы погубить твое творение, он насылает порчу на тебя, разъедает твое нутро самовосхвалением и самодовольством. Чтоб обмануть тебя, чтобы ты не узнал его в его истинном, безобразном обличье, он выдает себя за тебя самого, принимая на себя защиту твоих интересов. «Это я, — шепчет он тебе. — я твое δαιμονιον [1], твое гениальное, жаждущее славы «я». Пока я с тобой, ты велик и независим и будешь творить как захочешь: лишь себе будешь служить». Ибо дьявол никогда не настаивает, чтобы ты служил ему, — только себе, себе служи; он отлично знает, почему делает так, знает, как управлять человеческими душами и поступками. Его вечное несчастье, но и сила его в том, что у него нет ничего своего: мир принадлежит богу, и нечистый дух не имеет в нем своего дома. Ему дано лишь разрушать то, что не принадлежит ему, и ты никогда не можешь быть уверен, что дьявол не вмешивается в твои дела. Одного только дух зла не умеет — творить чисто и совершенно.

Слава богу, теперь я могу наконец вернуться к теме искусства; но я должен был сказать о боге и о сатане, ибо — поверьте! — нет искусства вне добра и зла. Напротив, в искусстве для самой возвышенной добродетели и для самой низкой подлости и порока больше места, чем в какой-либо другой человеческой профессии. Есть искусство чистое, которое стремится работать чисто и совершенно; есть искусство, в котором форма вещи отделена и искуплена, и, я бы сказал, обожествлена — ибо творение может нести на себе как отпечаток отчетливой святости, так и смутного проклятия. Все зависит только от тебя, чем больше ты любишь мир, с тем большим усердием будешь ты пробиваться к полному познанию его таинственно-совершенного бытия. Твой урок тебе задан не для того, чтобы ты мог проявить себя в нем, но для того, чтобы ты им очистился, освободился от самого себя; твори не из себя, но собой; твердо и упорно добивайся лучшего видения и слышания, более ясного понимания, большей любви и более глубокого знания нежели то, с каким ты приступал к своему делу. Ты творишь для того, чтобы

---

[1] демон, демоническое начало (*греч.*).

через свое творение *познать* форму и совершенство мира. Твое служение ему есть служение богу.

И, напротив, есть искусство нечистое и проклятое...

На этом обрывается текст Карела Чапека.

Свидетельство жены писателя

О композиторе Фолтыне должны были рассказать еще несколько человек — из их «показаний» прояснилась бы картина последних дней героя. К сожалению, автору уже не пришлось ни выслушать этих свидетелей, ни прочесть их письменные материалы. На листке бумаги осталось лишь несколько записей, тихих и безмолвных, как смерть. Всего несколько строк, написанных почерком бесконечно близким, который для меня больше, чем лицо, больше, чем голос того, кого я потеряла. Эти строки мало что сказали бы непосвященному — когда бы не было у меня горького счастья недавних вечеров, когда два человека в доме своем говорили друг с другом о своей работе.

Для Карела Чапека тот, о ком он писал, был больше чем живой человек; обычно неразговорчивый, он мог часами рассказывать о своем герое; глаза его горели, и лицо освещалось каким-то особым выражением, делавшим его красивым, — как всегда, когда он говорил об искусстве. Потому я так много знаю о композиторе Фолтыне, и решаюсь дополнить свидетельства предыдущих рассказчиков без каких-либо подробностей, полагая, что за многоточием, поставленным смертью, не нужно много чужих слов.

Я знаю, автор хотел, чтобы Фолтын наконец слепил кое-как свою оперу «Юдифь». Плагиатом и подлогом, кражей художественных мыслей он породил жалкое и чудовищное музыкальное произведение, которое в течение долгих лет было его манией. Сам он не вложил в него ничего, кроме болезненного тщеславия быть художником, — человек, столь неспособный проявить себя, — ни в ученье, ни в любви, ни в чем.

— Может быть, когда-то в нем что-то и было, что завладело им целиком, — сказал мне однажды Карел Чапек; сумерки сгустились, и мы не видели даже глаз друг друга, — но его, беднягу, убила лживость — он попал в мир

жизненной лжи и уже не смог из него выбраться. Он был воплощением лживой фантазии и полного неприятия правдивой действительности, он порвал с ней нравственные узы, — понимаешь? — и как, из чего хотел он после этого творить, несчастный глупец?..

Разумеется, никто не принял его оперу, хотя, будучи богатым человеком, он пытался устранить препятствия и трудности с помощью денег; но однажды, когда он уже был нищ и беден, он отыскал «своих людей», которые помогли «Юдифи» появиться на свет божий.

Это было так. Бэда Фольтэн, уже сильно потрепанный и отощавший, ходил по кабакам, выискивая старых и новых друзей. Он плакал, бахвалился, молол вздор и пил и всем и каждому рассказывал о своей опере. А потом плелся домой — без шляпы, роскошно встряхивая своей артистической гривой, смущая порой позднего прохожего громким разговором с самим собой. Часто он прислонялся к холодной стене дома и выразительно прикладывал руку к сердцу; случившиеся при этом уличные мальчишки и всякая шпана посмеивались, потому что никто не знал, как сильно на самом деле у него болит сердце.

А потом одна веселая компания вдруг уцепилась за Фольтэна и его «Юдифь». Ну, что с ним, ненормальным, делать — давайте разыграем для него чудную комедию и сами повеселимся. «Эта несправедливость должна быть исправлена, Фольтэн!» — «Мы поможем вам прославиться, маэстро!»

Он бегал по городу, как безумный, приглашая всех, кого знал еще по своей прежней жизни, и особенно тех, кто когда-то не верил в его «Юдифь».

Один из его добрых друзей нанял помещение для этого коварно задуманного представления, какую-то киностудию, где для желающих демонстрировались фильмы; позади экрана находилась крохотная сцена, несколько квадратных метров — все равно не было денег, чтобы нанять больше хористов. Фолтын сам собрал оркестр и певцов из отставных и начинающих актеров, бегал на репетиции, хватался за сердце и горел. На свой вечер он явился во фраке, который у кого-то одолжил, и, войдя в зал, несколько раз благодарно тряхнул своей гривой в сторону первых рядов, где сидели его друзья, устроившие это торжество. Конечно, он не знал, что его давно не считают

нормальным человеком, что он попался на страшный розыгрыш, что время сделало из него дурака, шута и паяца, болтуна и враля, мошенника, жалкое существо, — ибо подлинное лицо человека, как бы долго ни укрывалось оно за фразой и духовным гримом, в конце концов всегда предстает перед людьми.

Разумеется, опера имела бурный успех у званой публики, овация и крики «браво» вынудили красного и счастливого Бэду Фольтэна выйти на авансцену, он кланялся, встряхивая шевелюрой, и изображал полное нервное изнеможение, вызванное творческим напряжением. С великодушной признательностью он оглядел первые ряды тех, кому был обязан этим триумфом, потом перевел взгляд дальше, на ряды вопящей публики, — и тут румянец славы и успеха на его покрытом потом лице сменился смертельной бледностью.

Бэда Фольтэн вдруг впервые увидел свой мир ясно, без лжи и самообмана, таким, каким он на самом деле выглядел оттуда, с театральной рампы, — сотни знакомых лиц, которых он знал по своим чаепитиям и музыкальным вечерам, сотни людей, которых он посвящал в свой поддельный и нечистый замысел, лицо критики, которую он тщетно пытался подкупить, изображая то смирение, то надменность художника.

Челюсть у него начала странно отвисать, он никак не мог удержать рот в закрытом состоянии, как приличествует в столь торжественный момент, потому что отчетливо и ясно увидел, что вся эта аплодирующая толпа насмехается над ним. Господа из трактира, потешившие себя довольно дорогой шуточкой, бывшие приятели, принявшие приглашение, чтобы вдоволь посмеяться над безумцем. Его зрители сыграли с ним такую же комедию, как и он с ними, — отсюда он теперь видит это, убитый горем, раздавленный, разоблаченный, жалкий враль; он видит, как один подбивает другого кричать и восторгаться еще громче, видит локти, подталкивающие соседей, видит ли-а, искривленные усмешкой, качающиеся перед ним, словно маленькая сцена стала вдруг палубой корабля среди бурного моря.

Он выбрался за кулисы, ослабев от ужаса, стыда и отчаяния; сердце его сжалось в комок, как раздавленная собачонка, и дышится ему тяжко-претяжко. Издеватель-

ские аплодисменты в зале усиливаются, кто-то даже неприлично затопал ногами, и снова выкликают его имя подлые, насмешливые голоса.

Бэде Фольтэну стыдно упасть в обморок, а бежать нет сил, впрочем, бежать и некуда, за кулисы набились артисты, которые стоят на его пути мягкой и непроницаемой стеной.

— Вас вызывают, господин композитор!

— Выйдите же поклониться, маэстро!

— Покажитесь им, Бэда Фольтэн!

Покажитесь им, Бэда Фольтэн, — верещат жидкие голоса жалких музыкантов, которые за несколько сотен согласились участвовать в этой веселой комедии, покажитесь им, призывают его их язвительные взгляды, покажитесь этой ревущей своре в зале, которая явилась обеспечить вам успех, ибо вы, несчастный, всю свою жизнь только к тому и стремились! Покажитесь им, ведь сейчас они наконец могут видеть вас таким, как вы выглядите на самом деле, пусть же насладятся этим зрелищем, как и мы, которым вы так же смешны!

Его еще несколько раз выталкивали на сцену, и несколько раз он возвращался к насмешливым лицам участников спектакля. В нем уже не осталось ничего, ничего от прежнего Бэды Фольтэна, — куда девалась его осанка и гордая посадка головы, волосы падают на бледное лицо уже не так, как прежде, когда он владел своей длинной шеей, пот струится по отворотам убогого фрака и ноги потешно подгибаются. Это редкое, редкостное развлечение для аплодирующей публики, и пуще всего она смеется, когда он обеими руками хватается за сердце, потому что до сих пор этот манекен все только ломал комедию, и это, конечно, лишь забавное продолжение сцены изнеможения гения, обессилевшего под бременем славы.

«Как это возможно?» — думает Фолтын, у которого сдавило сердце и горло, а пол сцены предательски и озорно убегает из-под ног. Что случилось с его и их глазами, которые вдруг увидели все так, как оно есть? Какая это злая, жестокая и враждебная толпа! Ее крики и хлопки еще туже завинчивают тиски, сдавившие ему горло и сердце. Ему хочется плакать, как маленькому, он опирается на плечо фаготиста и грязным платком вытирает пот и все думает, кого попросить о милости, чтобы

можно было наконец перестать выходить и кланяться этой подлой и злодейской шайке в зрительном зале.

Фаготист терпеливо поддерживает потное и обмякшее тело, и у Бэды Фольтэна есть несколько секунд, чтобы обратиться к господу богу. Всю жизнь я бился и мучился, пожирал и покупал, чтобы дождаться этого дня! Всю жизнь я служил чему-то, что считал своим призванием! Он думает, что втягивает носом, а сам громко плачет; сердце, раздавленная собачонка, корчится от страшной боли. Господи, как это возможно, ведь на это ушла вся моя жизнь, все это жалкое ничтожное время, отмеренное мне тобой!

В тот вечер «Юдифь» так и не была исполнена до конца, потому что Бэда Фольтэн сошел с ума, чего, конечно, вовсе не желала публика, которая давно считала его ненормальным. Беднягу увезли в Богницы, как он был, в чужом фраке, и директор психиатрической больницы, который числился у автора предпоследним в списке свидетелей, должен был дать показания о его конце. Я могу сказать лишь то, что знаю от автора и из рассказа пани Фолтыновой: что через два дня он там умер.

— У него будут прекрасные похороны, — звучал голос Чапека в последних сумерках нашей совместной жизни. — Многие из его знакомых в порыве трогательного сочувствия придут с ним проститься. Знаешь, в конечном счете жизнь должна иметь и своих несчастных безумцев, а смерть, пожалуй, последнее из божественных установлений, к которому люди еще питают хоть каплю почтения. Пани Фолтынова все-таки добрая душа, славные устроила похороны, достойные доброго имени ее семейства. И во время церемонии в крематории один знаменитый профессор из консерваторских сыграл на органе Генделево «Largo», а в конце наш лучший струпный квартет — Бетховена. Не всякому так везет, правда?

Разумеется, я спрошу у них, как это вышло и почему, — но я заранее знаю, что они мне ответят: он хотя и не был артист, но все-таки сгорел из-за искусства. Так и кое-кто из нас берет себе задачи не по плечу, а из этого всегда получается трагедия. А кроме того, наверняка прибавит кто-нибудь из них, вы знаете, с этим Фолтыном странное дело: плагиатор, убожество и фигляр, а несколько истинных крупиц в нем все-таки было. Правда, для всей жизни этого мало, очень мало, сударь, но на

Страшном суде не должна затеряться ни одна крупица золота. А Фолтын оставил нам целых две в своей убогой лоскутной «Юдифи». Есть там одно место с очень забавным текстом «О, горе, горе», а потом этот мотив девы — музыка чистая и прозрачная, как вода в священном источнике. Мы долго размышляли над этим, сударь, бог знает, откуда это у него взялось!

— Так это для него сочинил тот Fatty, которого ты уморил болезнью Паркинсона, помнишь?

— Да, он. Вот видишь, когда-то никто не хотел признать, что у этого мальчика есть талант, — но вот это осталось с нами, и это главное. Хотя б за это похоронили безумца Фолтына как настоящего артиста...

Комментарии



Гордубал. Метеор. Обыкновенная жизнь

Романы, составляющие философскую трилогию Чапека, «Гордубал», «Метеор» и «Обыкновенная жизнь», были написаны за два года — с 1932 по 1934 г.

Писатель начал работать над «Гордубалом» летом 1932 г. Второго августа в письме к жене Ольге Шайнпфлюговой он сообщает, что уже дошел до сто двадцать девятой страницы. «Завтра я убью беднягу Гардубея (так первоначально именовался герой романа), и начнется вторая часть», — добавляет Чапек и замечает, что он доволен первой частью, но несколько опасается за вторую, которая должна быть выдержана совсем в ином тоне. Видимо, Чапек был очень увлечен работой, потому что он пишет в том же письме: «Я совсем огардубеился, стал серьезным и грустным, как мой герой, так же молчалив и так же стыжусь своих чувств, только лишь не хожу вразвалку» [1]. Восьмого августа Чапек извещает брата Иозефа: «...Только что, в понедельник, едва часы начали отбивать полдень, я закончил роман... писал я его четыре недели и три дня, последнее время страниц по десять ежедневно... Это странное, трудное произведение, есть в нем что-то гнетущее» [2].

«Гордубал» публиковался в «Лидовых новинах» (с 27 ноября 1932 г. до 21 января 1933 г.). Отдельным изданием вышел в том же 1933 г. в издательстве Ф. Борового.

До последнего времени считалось, что непосредственным импульсом, под воздействием которого возник замысел романа, была корреспонденция «Подкарпатская трагедия», опубликованная в «Лидовых новинах» (14 октября 1932 г.). В этой корреспонденции сообщалось об убийстве крестьянина Иржи Гардубея в деревне Барбово близ Мукачева. Гардубей, вернувшийся из Америки, куда он ездил на заработки, обнаружил, что его жена Полана сошлась с батраком Василем Маняком, с которым обручила свою одиннадцатилетнюю дочь Гафию. Гардубей прогнал батрака, после чего тот проник ночью в дом и с помощью Поланы убил хозяина. Убийцы проткнули ему сердце шилом для плетения корзин.

Чапек сохранил в романе фактическую канву этого уголовного дела. Однако к моменту опубликования корреспонденции в газете роман его был уже закончен. Очевидно, писатель был

---

[1] K. Čapek. Listy Olze, Praha, 1971, s. 266—267.
[2] Цит. по кн.: О. Малевич. Карел Чапек. М., 1969, с. 123.

знаком с материалами слушания дела в первой инстанции 23 апреля 1932 г. в краевом суде в Ужгороде. В письме к брату Чапек пишет, что придется изменить фамилию Гардубей, поскольку процесс пересматривается.

В том же письме к брату Чапек роняет знаменательное замечание: «На этот раз никакой охранительной лояльности по отношению к государству».

В «Письме к одному читателю», опубликованном посмертно, Чапек писал: «В «Гордубале» я сделал попытку продемонстрировать, насколько по-разному может представляться судьба человека и облик людей, когда они рассматриваются с различных точек зрения; и насколько искаженную и насильственную конструкцию мы создаем в нашем ретроспективном воссоздании действительности» [1].

Работу над второй частью трилогии, романом «Метеор»? Чапек начал летом 1933 г. По свидетельству О. Шайнпфлюговой, трудясь над романом, Чапек без конца заводил пластинку с записью кубинского танца, «опьяненный монотонным перестуком ритма». 24 июля Чапек сообщает, что ему осталось написать только рассказ писателя, который должен получиться лучше всего. Из завершенных к тому времени глав ему самому больше всего нравилось повествование ясновидца. В августе в Карловых Варах Чапек уже исправлял готовый текст романа. «Метеор» первоначально был опубликован в газете «Лидовы новины» (с 5 ноября 1933 г. по 10 января 1934 г.). Отдельным изданием вышел в 1934 г. в издательстве Ф. Борового. «Метеор» был отмечен Государственной литературной премией за 1934 г.

Говоря о замысле романа в «Письме к одному читателю», Чапек отмечал, что в «Метеоре» предпринятое им изучение путей человеческого познания осуществляется еще методичнее, чем в «Гордубале». «В этой повести я решил показать, как один и тот же действительный факт удается сконструировать различными путями, которыми может следовать наше познание мира, потому что даже самый малый фрагмент действительности — это нечто огромное: он лежит на перекрестке разных дорог и может быть открываем с диаметрально противоположных сторон».

Последняя часть — «Обыкновенная жизнь» писалась летом 1934 г. В письме О. Шайнпфлюговой от 18 июля он пишет, что находится уже на пятидесятой странице и добавляет: «Дело идет помаленьку, но пока книжка получается довольно серая. Приблизительно через неделю начнется более драматичная и сложная

[1] K. Čapek. Poznámky o tvorbě. Praha, 1960, s. 103.

часть, чему я заранее радуюсь». Видимо, работа давалась Чапеку с трудом. 13 августа он сообщает: «Я страшно увяз в этом романе, мне приходится переделывать последние главы: все как будто шло ничего, но в конце — одни рассуждения. А как ни старайся, рассуждения никогда не достигнут интенсивности действительности... Вот и приходится мне их переделывать на действительность, а это дьявольски трудно» [1]. Вполне возможно, что форма диалога в последних главах романа появилась в результате такой переделки с целью избежать излишней абстрактности. Роман «Обыкновенная жизнь» впервые публиковался в «Лидовых новинах» с 30 сентября по 27 ноября 1934 г. и вышел в том же году в виде книги в издательстве Ф. Борового.

Впервые Чапек представляет три романа как единое целое в статье под заголовком «Что я хотел сказать» в сентябрьском номере журнала «Пршитомност» за 1934 г. Эта статья была присоединена к первому изданию романа «Обыкновенная жизнь» и в дальнейшем фигурировала в качестве авторского послесловия ко всем изданиям трилогии. По-русски «Послесловие» впервые воспроизводится в настоящем Собрании сочинений.

Значительная часть чехословацкой критики в момент выхода в свет трилогии отнеслась к ней несколько упрощенно. В «Письме к одному читателю» Чапек с горечью отмечает, что критика не поняла «Гордубала»: «Три четверти рецензентов потом твердили, что герой повести примитивный полуидиот: они поняли в буквальном смысле все, что там о нем сказано». Некоторые критики упрекали Чапека в отсутствии местного колорита и, главное, социальных конфликтов и оставляли в стороне художественную оригинальность трилогии, другие утверждали, что трилогию вообще нельзя считать художественным произведением, а скорее эстетическим трактатом, психологическим этюдом или философским эссе. Наиболее обстоятельный анализ своеобразной художественной формы романов, входящих в трилогию, дал в те годы Я. Мукаржовский. Он относит их к произведениям, построенным на принципе «реконструкции происшествия», так же как и «Рассказы из одного кармана» [2].

Один из основоположников чешской пролетарской поэзии И. Гора по выходе трилогии отмечал, что «романическая форма, созданная Чапеком, — новый шаг в развитии мирового романа» [3].

---

[1] K. Čapek. Listy Olze, s. 273—274.

[2] J. Mukařovský. Предисловие к книге Výbor z prózy K. Čapka. Praha, 1934.

[3] J. Hora. Závěr románové trilogie K. Čapka. «České slovo», 1935. 2 ledna.

«Человечность «Обыкновенной жизни» подчеркивал и Фучик в своей статье на смерть Чапека. Глубокую оценку трилогии дала М. Пуйманова, назвавшая «Обыкновенную жизнь» «бесконечно тонким зондированием человеческой души и исследованием одного человеческого «я», в вынужденной ограниченности которого таятся безграничные возможности». Пуйманова говорит и о месте трилогии в европейской литературе: «Марсель Пруст искал в своем знаменитом цикле романов утраченное время, а Карел Чапек ищет в своей трилогии, слава которой будет, несомненно, возрастать в будущем, утраченную правду, погружаясь со всей самоотверженностью художника в тишину, которая переживет грохот, царящий на историческом распутье» [1].

Предсказания Пуймановой оправдались, и слава трилогии действительно возрастает.

В Советском Союзе «Гордубал» вышел в 1937 г., и советская критика высоко оценила художественное своеобразие романа, подчеркнув его социальное содержание.

Вторая часть трилогии (роман «Метеор») переводилась в конце 50-х годов для Сочинений Карела Чапека в 5-ти томах; третья часть — «Обыкновенная жизнь» впервые на русском языке вышла в 1970 г.

Переводы сделаны по книге: K. Čapek. Hordubal. Povětron'. Obyčejný život, Praha, 1956.

Метеор

Стр. 200. *Даго* — уничижительное прозвище североамериканцев в странах Латинской Америки.

Стр. 212. *...размахивая сине-белыми флажками...* — Тогдашний национальный флаг Кубы — синие и белые полосы и у древка красный треугольник, внутри которого находится белая пятиконечная звезда.

Первая спасательная

В интервью, данном после выхода в свет романа «Первая спасательная», Чапек рассказал, что он писал эту книгу при чрезвычайно благоприятных обстоятельствах: летом в живопис-

---

[1] M. Pujmanová. Sedmero mistrovských ctnosti K. Čapka. Kritický měsíčník, 1939, s. 43—44.

ном деревенском уединении под Прагой. В одном из писем от августа 1937 г. Чапек сообщает, что у него написаны сто двадцать одна страница и что он с удовольствием думает о завтрашней главе. «Там будет в центре крепильщик Мартинек, сегодня был у меня Адам, а вчера вся бригада». Он сообщает в этом же письме, что перечитал всю рукопись: «Скажу тебе откровенно, я ничуть не был разочарован» [1]. Роман был опубликован в сентябре 1937 г. в «Книговне «Лидовых новин».

Чапек добросовестно собирал материал для своего произведения. Он побывал в шахтах в Кладно, беседовал с шахтерами и инженерами, знакомился с условиями их труда. В интервью по поводу романа Чапек рассказывал: «Мой отец был рудничным врачом, и мир копей оставил глубокий след в моем воображении. И потом еще воспоминание: мальчиком я запоем читал роман французского писателя Гектора Мало «Без семьи», где есть глава, как маленький герой с несколькими шахтерами переживает страшные минуты в затопленной шахте. Эта сцена надолго осталась в моей памяти» [2]. В то же время писатель настаивает на том, что «Первая спасательная» — это не роман о жизни шахтеров. В заметке, опубликованной в «Лидовых новинах», он писал: «Мне хотелось написать книгу о мужской храбрости, о разных типах и мотивах того, что обычно называют героизмом, о мужской солидарности — словом, об определенных физических и моральных свойствах, которые признаются наиболее ценными, когда отдельным людям или всему народу нужны настоящие мужчины. Это могла бы быть книга о солдатах, но для этого я слишком пацифист в глубине души, или о команде корабля, об участниках какой-нибудь опасной экспедиции или о другой ситуации, которая позволила бы наблюдать горстку мужчин в наивысшем проявлении силы, отваги и солидарности. Я остановился на катастрофе в шахте, хотя бы потому, что горный промысел играет такую большую роль в чешской жизни» [3].

Реакция чешской критики на появление романа не была однородной. Наиболее глубокую оценку романа дала коммунистическая критика. Революционный поэт С.-К. Нейман, отметив слабые стороны романа, к которым он относил невнимание к классовой борьбе, с восхищенном писал о великолепном мастерстве автора «Первой спасательной»: «Карел Чапек мастерски соединил профессиональный жаргон шахтеров, основательно им изученный,

---

[1] K. Čapek. Listy Olze, s. 279.
[2] K. Čapek. Poznámky o tvorbě, s. 115.
[3] Там же, s. 114.

и повседневную речь простых рабочих, неприглашенную и неиспорченную литературностью, с изощренным мастерством современного романиста, умеющего освободить свое повествование от пут сухой логики, наполнить его великолепной выдумкой, сделать ладным и увлекательным»[1]. М. Пуйманова подчеркнула удивительное мастерство Чапека в воспроизведении национального характера: «Ребята из «Первой спасательной» не очень-то стесняются в выражениях... но одно для Чапека невозможно: говорить торжественно, напыщенно, надуто, словом, «говорить красиво». Нелюбовь к патетическому ораторствованию и сентиментальному сюсюканью и недоверие к нарочито красивому жесту — это наша национальная особенность. Карел Чапек испытывал уважение к чешской стыдливости в этом отношении. Понятие героизма в «Первой спасательной» основано на национальных достоинствах, и да будет автору воздана за это хвала»[2]. Иозеф Гора также говорит о выдающемся месте романа Чапека в чешской литературе: «Познание рабочего писателем-интеллектуалом — одна из труднейших задач, которые стоят перед нашей литературой. Чапек, создавший столько абстрактных персонажей в своих романах-утопиях, к нашему удивлению, с поразительной конкретностью проник в народную душу»[3]. В чешской критике того времени роман Чапека сближался и с новейшим советским романом. Так, известный критик Арне Новак указал на то, что роман Чапека близок к коллективной эпопее, создаваемой в Советском Союзе, а Ф. Гётц в статье «Героический реализм Карела Чапека» заявлял, что чапековское понимание героизма «многими своими чертами сближается с концепциями сегодняшней России».

На русский язык «Первая спасательная» была переведена в 1959 г. Перевод сделан по тексту книги: K. Čapek. První parta. Praha, 1954.

Жизнь и творчество композитора Фолтына

Чапек начал работать над этим своим последним произведением осенью 1938 г., сразу же после мюнхенской катастрофы, и не закончил его. Роман был издан посмертно с послесловием О. Шайнпфлюговой, которая пытается по рассказам Чапека

---

[1] «Tvorba», 1937, s. 41.
[2] «Kritický měsičník, 1939, s. 44.
[3] «České slovo», 9. XI. 1937.

реконструировать концовку книги (1939, Лидова тискарна). В этом произведении продолжаются искания Чапека в области новой формы романа. Ольга Шайнпфлюгова приводит слова Чапека, важные для понимания одной из центральных тем романа — темы искусства: «Из моего «Фолтына» неожиданно получается что-то вроде исповедания веры художника... Подумай только, такой бездарный дилетант, трепач, позер и лгун — а вот заставил же меня бесстрашно коснуться таких святых вещей, как искусство и его ответственность, и оценить их самым строгим образом. Ну что ж, приличный человек из меня ничего бы не вытянул, с ним постыдишься откровенничать...» [1] К проблеме этического смысла искусств и моральной ответственности художника Чапек неоднократно возвращался и в публицистике, и в художественном творчестве. В статье под заголовком «Литература и нравственность» (1933) Чапек писал: «Чем выше искусство поднимается по шкале духовных и социальных ценностей, тем более серьезную ответственность берет оно на себя... Говоря откровенно, без всякого снобизма, я уверен, что не существует безнравственного искусства. Красота, совершенство, величие не могут быть безнравственными, потому что они не могут быть низки в духовном и ничтожны в человеческом смысле. Существует безнравственная литература. Но если мы вдумаемся, то придем к выводу, что аморальность является одновременно художественной неправдой... Подлинная поэзия не может быть аморальной, как не бывает аморальна правда» [2].

В романе «Жизнь и творчество композитора Фолтына» тема нравственного содержания искусства перерастает в тему моральной ответственности человека. В эти трагические для Чехословакии дни Чапек задумывается о необходимости строгих нравственных критериев в общественной жизни. Об этом Чапек пишет в 1938 г.: «Народ может чувствовать себя бессмертным только тогда, когда он чувствует себя высоко нравственным... Это должно быть в политике, в хозяйстве, в книгах, в повседневной жизни — словом, повсюду... Попробуйте отнять у народа нравственность, и вы отнимете у него бессмертие» [3].

В пору работы над романом Чапек говорил: «Мир полон Фолтынов и в политике и в искусстве, нужно поставить их на свое место» [4].

---

[1] O. Scheinpflugová. Český román. Praha, 1969, s. 420.
[2] K. Čapek. Místo pro Ionathana. Praha, 1970, s. 38.
[3] «Lidové noviny», 1938, 27 února.
[4] O. Scheinpflugová. Český román, s. 415.

Современная чехословацкая критика относит «Жизнь и творчество композитора Фолтына» к лучшим произведениям Карела Чапека.

Перевод сделан по тексту книги: К. Čapek. Život a dílo skladatele Foltýna. Praha, 1964.

Стр. 570. *Фибих Зденек* (1850—1900) — выдающийся чешский композитор, пианист и дирижер.

Стр. 601. *Абеляр и Элоиза.* — Абеляр Пьер (1079—1142) — выдающийся французский средневековый философ и богослов. Полная трагических перипетий любовь Абеляра к его ученице Элоизе закончилась пострижением обоих в монахи. Письма Абеляра и Элоизы были впоследствии изданы.

Номинализм — направление в средневековой философии, к которому примыкал Абеляр. Приверженцы этого направления считали, что так называемые универсалии (общие понятия) не имеют самостоятельного существования вне реальных вещей. Номиналисты были предшественниками философов-материалистов.

Стр. 602. *Гейеровское издание.* — Немецкий филолог Б. Гейер издавал философские труды Абеляра в Мюнстере (1919—1933).

Издание Кузена. — Труды Абеляра в издании Кузена выходили в Париже (1849—1859).

Стр. 608. *Микулаш Конач* (ум. в 1545 г.) — чешский литератор и книгоиздатель.

Ганс Сакс (1494—1576) — выдающийся немецкий поэт.

Опиц Мартин (1597—1639) — немецкий поэт и теоретик литературы, представитель немецкого классицизма.

Геббель Фридрих (1813—1863) — немецкий драматург, поэт и теоретик искусства. Трагедия Геббеля «Юдифь» завершена в 1840 г.

Нестрой Иоганн Непомук (1801—1862) — известный австрийский драматург.

Кайзер Георг (1878—1945) — немецкий драматург, представитель экспрессионизма.

Серов А. Н. (1820—1871) — известный русский композитор и музыковед. Опера «Юдифь» поставлена в 1863 г. в Петербурге.

Онеггер Артур (1892—1950) — французский композитор; его опера «Юдифь» была поставлена в 1926 г.

Гуссенс Юджин (род. в 1893 г.) — английский композитор и дирижер. «Юдифь» Гуссенса была поставлена в 1929 г. в Лондоне.

Эмиль Николаус фон Резничек (1860—1945) — австрийский композитор и дирижер.

Стр. 612. *Де Фалья* Мануэль (1876—1946) — известный испанский композитор.

Стр. 625. *«Кавалер роз»* — опера немецкого композитора Рихарда Штрауса (1864—1949).

Стр. 629. *Берлиоз* Гектор (1803—1869) — выдающийся французский композитор-романтик.

В томе использованы рисунки Иозефа Чапека, — элементы оформления разных книг (заставки, концовки, виньетки и др.).

Содержание

ГОРДУБАЛ *Перевод Ю. Молочковского*

Часть первая 7
Часть вторая 85
Часть третья 103

МЕТЕОР *Перевод Ю. Молочковского* 125

ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ *Перевод Н. Аросевой* 263

ПЕРВАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ *Перевод В. Чешихиной* . . . 393

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРА ФОЛТЫНА *Перевод Н. Беляевой*

I. Окружной судья Шимек. Друг юности 559
II. Панн Итка Гудцова. Ариэль 570
III. Д-р В. Б. В университете 579
IV. Пани Карла Фолтынова. Мой супруг 584
V. Проф. универ. Д-р. Штраус. Абеляр и Элоиза 601
VI. Д-р И. Петру. Текст к «Юдифи» 602
VII. В. Амброж. Меценат 699
VIII. Два примечания 621
IX. Ян Троян. Инструментовка «Юдифи» 628
Свидетельство жены писателя 635

И. Бернштейн. Комментарии 615

Чапек К.

Ч 19 Собрание сочинении. В 7-ми томах. С илл. Карела и Иозефа Чапеков. Ред. коллегия: Н. А. Аросева и др. Т. 3. Романы. Пер. с чешского. Коммент. И. Бернштейн. М., «Худож. лит.», 1975.

656 с.

Третий том Собрания сочинений Карела Чапека составили философская трилогия («Гордубал», «Метеор», «Обыкновенная жизнь»), примыкающая к ней повесть «Жизнь и творчество композитора Фолтына» и одно из последних произведений писателя «Первая спасательная» (1937).

Ч $\frac{70304\text{-}024}{028(01)\text{-}75}$ **подписное** **И (Чехосл)**

Карел Чапек

Собрание сочинений
Том 3

Редактор
В. Мартемьянова
Художественный редактор
Г. Масляненко
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректоры
М. Муромцева
И. Филатова

Сдано в набор 11/IV 1974 г. Подписано в печать 4/II 1975 г. Бумага типографская № 1. Формат 84x108 1/32. 20,5 печ. л. 34,44 усл. печ. л. 35,205 + 1 вкл.=35,255. уч.-изд. л. Заказ № 225. Тираж 75 000 экз. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Художественная литература». Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имена Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 19S052, Ленинград, Л-52, Измайловский пр., 29